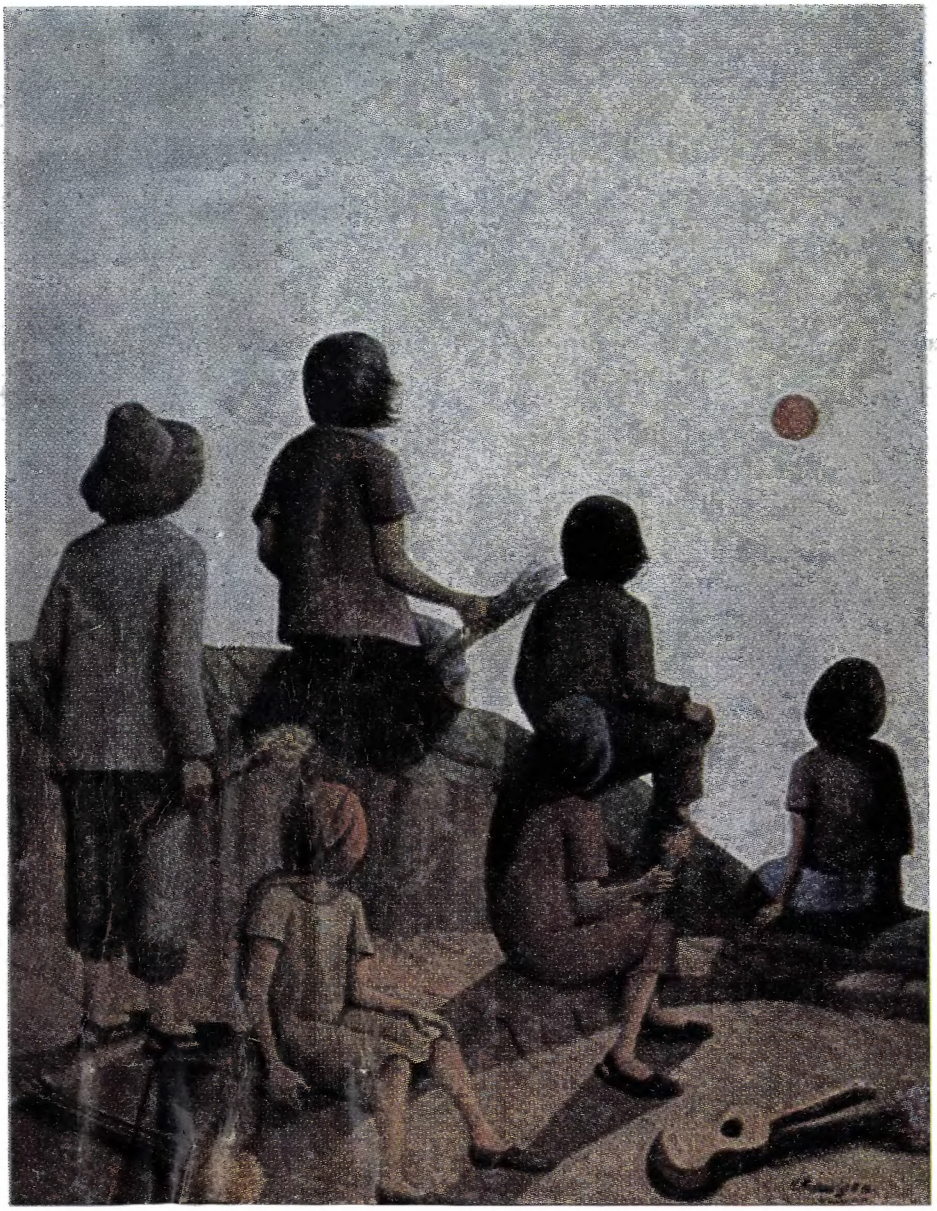
ISSN 0130–6545

2.1980

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА



Цветные иллюстрации номера — работы венесуэльского художника

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА.

2 Февраль 1980

Содержание

ЙОЗЕФ КАДЛЕЦ — Возвращение из Будапешта *(Повесть. Перевод с чешского Т. Аксель и Ю. Шкариной)* 3

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ — Стихи *(Перевод с английского Андрея Сергеева. Вступление А. Зверева)* 67

Ж. М. Г. ЛЕКЛЕЗИО — Мондо *(Повесть. Перевод с французского М. Архангельской)* 78

ХОСЕ АНТОНИО РАНХЕЛЬ — Стихи *(Перевод с испанского О. Островского. Вступление автора)* 107

НОРМАН ЛЬЮИС — Сицилийский специалист *(Роман. Окончание. Перевод с английского И. Якушкиной)* 111

Критика

АЛЛА ЛЮБАРСКАЯ — Цитадель надежды (Томик стихов с ленинской книжной полки) 186

Сопоставляя точки зрения

ИМЕ ИКИДЗЕ — Бунтари и прорицатели. Революционные тенденции в современной африканской прозе *(Перевод с английского В. Рамзеса)* 192

В. ИОРДАНСКИЙ — Учащенный пульс времени 198

Заметки писателя

ЯН КЕРЬЮ — «Все возвращается к родным холмам» *(Перевод Е. Гальпериной)* 205

Культура и современность

Заметки на полях

А. Николаевская — Новые варвары или самотворящая личность? 211

Публицистика

ЛЕВ БЕЗЫМЕНСКИЙ — Под именем доктора Иорданова 215

Н. ФЕДОРЕНКО — Сесар Ренхифо — художник социального реализма 218

С. КОНДРАШОВ — Блики Нью-Йорка. Вместо воспоминаний *(Окончание)* 227

Антирубрика

Ф. СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД — Как финансировали Финнегана *(Перевод с английского Михаила Загота)* 252

ЯН ДЖЕЖДЖОН — Знак *(Перевод с польского Регины Ковенацкой)* 256

Венгерские народные сказки *(Перевод Ларисы Васильевой)* 259

Наши гости

Ю. Архипов — Барбара Фришмут (Австрия) 262

Среди книг

Издано в СССР

Когда человек не одинок. Н. Смирнова — Веселый и грустный Радичков. Разговор с писателем (Беседа А. Свиленова с Й. Радичковым) 265

Издано за рубежом

И. Млечина — Гневное сердце поэта ✦ К. Чугунов — Час возмездия. ✦ Е. Солонович — Групповой портрет 270

Из месяца в месяц

277

На 1, 2, 3 и 4-й страницах обложки — картины венесуэльского художника СЕСАРА РЕНХИФО.

© «Иностранная литература», 1980.

ЙОЗЕФ КАДЛЕЦ

Возвращение из Будапешта

ПОВЕСТЬ

Перевод с чешского Т. АКСЕЛЬ и Ю. ШКАРИНОЙ

...То, что никогда не сбывается, то, что блестит так просто, словно в зарослях вода.

ВИТЕЗСЛАВ НЕЗВАЛ

1

Утреннее заседание закончилось раньше, чем он предполагал, в его распоряжении оказалась вся вторая половина дня и даже целый вечер — можно было без всякой цели побродить по улицам и насладиться дразнящей атмосферой малознакомого города.

Нельзя сказать, что Будапешта он не знал совсем, ему случалось уже бывать здесь, но всегда недолго, день-два, и самое большее, что он успевал, это торопливо оглядеть улицу Ваци, заскочить в магазины, на ходу полюбоваться набережной Дуная или островом Маргит, посидеть немного в каком-нибудь старомодном кафе или в знаменитой кондитерской на площади Вёрёшмарти.

Хотя он и знал о Будапеште немного, город давно очаровал его — казался ему приветливым, близким, иногда чересчур опрятным, нарядным, слишком уж заботящимся о своей внешности.

Он любил его широкие зеленые бульвары, уютные кафе со столиками, расставленными прямо на тротуарах, его архитектуру в стиле «модерн» с необыкновенно яркими фасадами домов и нетерпеливое движение города — бесконечный людской поток, целый день перетекающий с места на место, с одного берега Дуная на другой.

После утреннего заседания ему предложили машину, чтобы отвезти в гостиницу, но он решительно отказался, заявив, что с удовольствием пройдется пешком, ведь тут недалеко, дорогу он помнит, да и день великолепный, солнечный и ясный.

ЙОЗЕФ КАДЛЕЦ — JOSEF KADLEC (род. в 1919 г.).

Чешский писатель. Автор повестей и романов «День, которого не было» («Den, ktorý nebyl», 1965), «Мир, открытый случайностям» («Svět otevřený náhodám», 1973), «Мир, полный надежд» («Svět plný nadějí», 1973), «Двойной свет» («Dvojí světlo», 1976) и др. Перу Й. Кадлеца принадлежат также очерки, репортажи, переводы, в частности произведений русских и советских писателей (Тургенева, Горького, Шолохова, Вс. Иванова). На русском языке издана его повесть «Виола» («Новый мир» № 8, 1979).

Мы предлагаем вниманию читателей повесть «Возвращение из Будапешта» («Návrat z Budapešti». Praha, Československý spisovatel, 1975).

© Josef Kadlec, 1975.

Так он и брел по многолюдным улицам, то и дело замедляя шаг, оглядываясь или бездумно рассматривая витрины, хотя в магазинах ему ничего не было нужно. Или вдруг замирал на краю тротуара у перекрестка, его завораживало стремительное уличное движение, нескончаемая лавина машин, трамваи, поток прохожих — все это мелькало у него перед глазами, напоминая кадры цветного широкоэкранного фильма.

Казалось, весь город тоже куда-то двигался, тихо, едва заметно, будто слегка колебалась земля или воздух или слишком жарко припекало солнце. Ряды домов словно отступали в стороны и неожиданно опять возвращались на свои места, окна вытягивались в длинные стеклянные полосы и тоже волнообразно колебались, как бы отражая звуки шагов. А там, вдали, где ряды домов пересекались, густело и нарастало пестрое движение, люди, машины, трамваи толкали друг друга в страшной спешке и суматохе. Ослепительный натиск солнца на какое-то мгновение словно бы задержал этот стремительный поток, он на миг как бы замер на месте, прежде чем опять, судорожно вздрогнув, разлететься в стороны, слившись с живыми струями соседних улиц.

Он шел, и улицы любезно раскрывали перед ним бесконечные новые просторы, манили все дальше и дальше, в глубь прелестных ансамблей, выставляя напоказ свою необычную, может быть до сих пор не познанную красоту.

Он шел и открывал для себя незнакомые пейзажи, удивительные жилые массивы, зеленые скверы, небольшие площади, красивые костелы, поразительные здания, уютные кафе, магазины, рестораны и на первый взгляд не слишком занятные, но для этого города весьма характерные закоулки.

Он чуть не заблудился, запутался в схожих боковых улочках и переулках, не сразу сообразил, в каком же направлении надо идти, чтобы попасть на главный проспект.

Между высокими домами он вдруг увидел тихий, ничем не примечательный скверик с купами деревьев, преимущественно каштанов, густые кроны которых бросали тень на скамейки, стоящие возле затоптанного, чахлого газона.

Все скамейки были заняты, люди тут отдыхали, а в стороне, в самом углу сквера, в песочнице на детской площадке, весело играли дети.

Ощутив внезапную усталость от яркого солнца и шумных улиц, он с наслаждением опустился на свободное место, почти у самой границы тени.

Люди вокруг разговаривали на непонятном языке; не разбирая ни слова, он хотя бы по жестам старался догадаться, о чем идет речь, но и это ему не удавалось.

Рядом с ним сел мужчина средних лет, с головы до пят одетый в черное, даже шляпа у него была черная, носовым платком он вытер пот с лица, но шляпу так и не снял. Потом вынул из портфеля бутерброды с салом и стал есть, похрустывая зеленым перцем, и еще умудрялся при этом сопя читать вечернюю газету, разложив ее на коленях.

На противоположной скамейке, в глубокой тени, играли в карты пожилые мужчины в одних только рубашках да брюках на подтяжках, очевидно, пенсионеры; они громко спорили между собой, вокруг них собрались многочисленные «болельщики» и тоже что-то кричали.

Откуда-то со стороны Дуная короткими порывами налетал сухой горячий ветер, он не освежал, а скорее увеличивал усталость.

По тропинке проходили люди — наверное, возвращались с работы, откуда-нибудь с ближайшей фабрики, и оставляли за собой обрывки фраз.

Сосед по скамейке доел хлеб, догрыз перец и некоторое время сидел неподвижно, шляпу он так и не снял, газета лежала у него на коленях; но вот он начал клевать носом, голова его то и дело падала на грудь, порой он резко вздрагивал и снова дремал.

«Арпад, Арпад»,— настойчиво звал чей-то пронзительный женский голос около детской площадки, но никто не отзывался, и женщина кричала и кричала до хрипоты.

Было два часа дня, по-видимому время обеда.

Он встал, отряхнул костюм и двинулся дальше. Не задумываясь над тем, куда он идет, он шел по тенистой стороне улицы, стараясь укрыться от палящих солнечных лучей.

И вдруг оказался на главном проспекте, прямо напротив расчлененного фасада старой гостиницы, где вчера остановился. Подождав, пока на переходе загорится зеленый свет, перешел дорогу и скрылся от солнечного зноя в полутьме вестибюля, который и днем освещался хрустальными люстрами.

Когда он получал ключи от своего номера, прилизанный портье на минутку оторвался от каких-то бумаг и спросил по-немецки:

— Простите, вы инженер Бендл?

— Да, это я.

— Вам записка,— строго произнес портье и вместе с ключом подал ему вчетверо сложенный листок бумаги.

Записка была написана по-чешски круглыми буквами, словно разбегающимися во все стороны. Почерк был маловыразительным, скорее всего женским. В записке, нацарапанной на листке, вырванном из блокнота, лаконично сообщалось:

«Зайду за вами в 19.30, есть два билета в оперу. А.».

Ему сразу припомнилось утреннее заседание, как вначале он там беспомощно стоял, нелепо улыбаясь, никто из его торговых партнеров не говорил по-чешски, а он, в свою очередь, не владел венгерским. Обменявшись несколькими любезными фразами по-немецки, все опять растерянно заулыбались. Некоторое время он ждал, что же будет дальше, но ничего не происходило, все молчали, стоя друг против друга, переминаясь с ноги на ногу, улыбки постепенно застывали на губах. Пока среди них не появилась хрупкая, небольшого роста, энергичная девушка, с коротко подстриженными волосами неопределенного светлого оттенка и невероятно ясными большими глазами. Он обратил внимание только на эти глаза, сияющие глаза, устремленные на него.

— Извините, пожалуйста, за опоздание,— сказала она на точном, заученном по учебнику чешском языке, слишком твердо произнося слова.— Я далеко живу... на самой окраине...

Она пришла, и у всех словно стало легче на душе. Напряжение, которое заметно нарастало под масками улыбок, тут же исчезло, все оживились и были готовы, не теряя больше времени, как можно быстрее начать переговоры.

И сам он тоже почувствовал себя сразу куда увереннее, теперь ему было на кого опереться, кого позвать на помощь. Карие глаза были здесь, рядом, в его распоряжении, они следили за движением его губ, когда он говорил, или беспокойно блуждали, стараясь понять и осмыслить поток его слов.

На переговорах она сидела возле него с правой стороны, положив перед собой раскрытую школьную тетрадь и блестящую шариковую ручку, но за все это время ничего не записала, переводила уве-

ренно, быстро, очевидно достаточно точно, на свой родной язык, о чем можно было судить по ответам венгерских партнеров.

Председатель комиссии Домокош говорил о выгоде совместного сотрудничества, о том, как успешно с самых первых шагов развиваются их отношения, которые сегодня уже приобрели характер регулярного торгового обмена, и что их активному балансу немало способствовали личные контакты представителей обеих сторон.

Нужно было отметить, что и чешская сторона считает взаимные связи очень важными, ценит их, основывается на уже достигнутых результатах при планировании поставок на ближайшие годы, потому что опыт последних лет подтвердил возможность дальнейшего расширения торговых связей,— этому немало способствуют добрые, дружеские отношения обоих государств и, разумеется, личные контакты, а в данном случае нельзя не отметить исключительную роль председателя комиссии товарища Домокоша.

Затем настала очередь отчетов, цифр, анализов, планов.

Он говорил спокойно, уверенно; произнеся несколько слов, умолкал, чтобы прозвучал приятный, мелодичный голос его переводчицы.

За все это время он не успел рассмотреть ее, он был слишком сосредоточен на сложном ходе переговоров. Он только ощущал ее присутствие, чувствовал тонкий сладковатый запах ее духов, видел ее нежный девичий профиль и короткие волосы над высоким лбом, беспокойное движение ее руки на фоне темного стола конференц-зала. Неожиданно его взгляд соскользнул вниз, и он увидел, что она сидит, положив ногу на ногу, что ее ноги — в черных лакированных туфлях с золотыми пряжками — длинные, стройные и, бесспорно, красивые. И наверняка она об этом знает, раз так смело, без всякого стеснения выставляет их напоказ.

Как только заседание окончилось, Бендла со всех сторон окружили люди. Перебивая друг друга, они говорили на том же, что и он, ломаном немецком, и все словно бы чувствовали облегчение от того, что на сегодня все уже кончилось. Ни с того ни с сего у всех возникло множество вопросов и желание дать друг другу полезные советы, исчезла та первоначальная скованность, которая утром, перед началом заседания, вызывала неловкие улыбки.

Ему хотелось как можно скорее поблагодарить свою переводчицу за помощь в успешно прошедших переговорах, он хотел сказать ей, как он рад, что она и дальше будет помогать ему во время работы комиссии. Но он напрасно оглядывал длинный конференц-зал — очевидно, она незаметно удалилась сразу же, как только председательствующий закрыл заседание. Школьная тетрадь и серебряная шариковая ручка исчезли так же, как и их владелица.

Он вспомнил, что еще до начала переговоров она вскользь заметила, что позвонит ему или оставит в гостинице записку, но он тогда не обратил на это никакого внимания и ни о чем не спросил ее. Он не предполагал, да и не мог предполагать, что она готова посвятить ему часть своего свободного времени.

Теперь они шли вместе по широкой улице, но на таком далеком расстоянии, что если один из них уступал дорогу встречному, то они уже с трудом отыскивали друг друга в густом потоке людей.

Разноцветные неоновые огни искрились на фоне вечернего неба.

— Положение казалось критическим, но тут появились вы,— улыбаясь, сказал Бендл и принялся описывать, какое у всех было настроение сегодня утром перед ее приходом.

— Не может быть... — сказала она, делая вид, что удивлена.— Да, я пришла слишком поздно...

— Вы пришли в тот самый момент, когда больше всего были нужны... — старался польстить ей Бендл.— И были просто восхитительны...

Она рассказывала ему о себе, как изучала в Карловом университете язык, в каком районе жила в Праге, куда ходила, в какие библиотеки, театры, танцевальные залы. Иногда она просто изумляла его неожиданными вопросами о каких-то незначительных подробностях, вроде того, как сейчас выглядит Мальтезианская площадь и не бывал ли он в последнее время в кабачке «У Шутеров». И все это говорилось как бы мимоходом, на лету, среди густой толпы, которая поминутно то уносила ее, то возвращала обратно.

Он и не заметил, как они очутились перед театром.

Вход словно окутывала пелена от света фонарей, утопающих в жемчужной мгле сумерек. Одна за другой подъезжали машины, со всех сторон спешили зрители, боясь опоздать к началу спектакля, а театр радушно приглашал их войти.

Опера была веселая, местами — просто озорная, с полусказочным сюжетом, неизбежным чардашем и танцевальным ансамблем в национальных костюмах. Представление было динамичным, декорации менялись на глазах, все шло без помех, легко рождая душевное спокойствие, как в приятном сне.

В зале не было ни одного свободного места, прямо посреди действия иногда раздавались бурные аплодисменты и взрывы смеха.

В антракте все прогуливались по просторному фойе, большая часть публики была в вечерних костюмах, у мужчин белоснежные воротнички и неизменные черные бабочки, женщины с праздничными модными прическами — этот вечер застал их в парадном виде и в наилучшем настроении.

Только его спутница в своем будничном, будто бы детском платьице, с наспех причесанными короткими волосами выглядела на их фоне довольно скромно.

Он осторожно рассматривал ее: она казалась спокойной, уверенной в себе, ему нравился ее гордый, выпуклый лоб, живые, блестящие глаза, правильные, тонкие черты лица. Его восхищала ее манера держать себя как подобает искушенному гиду, иногда, правда, она была чересчур профессионально сдержанна, но ее молодость, к счастью, то и дело вступала с этим в противоречие.

Он старался быть внимательным к ней, хотел дать понять, как он рад, что она тут, рядом с ним. Повел ее в буфет, предложил выпить чашечку кофе, они на секунду присели за низкий столик и, оказавшись друг против друга, невольно заулыбались.

Нащупав в кармане сложенный листок, он рассеянно повертел его в руке и, наконец, припомнил:

— Вы подписались весьма загадочно... Что, собственно, означает это ваше «А»?

Она сразу догадалась, о чем речь, лукаво усмехнулась и, как бы извиняясь, произнесла:

— Это я по привычке... по глупости... Меня зовут Анико.

— Странное имя! По-чешски, наверное, Анна? — спросил он.— Не так ли? Или Анежка... Или Андела?

— Да нет,— засмеялась она.— Может быть, скорее всего Анна... Но Анико — это просто Анико...

Антракт был короткий, по крайней мере он им таким показался, и спектакль продолжался.

Сидели они на балконе и слишком уж издалека следили за конусами света от цветных прожекторов и за движущимися по сцене актерами. Когда содержание оперы было недостаточно понятно, Анико тихо, доверительным шепотом, объясняла ему смысл происходящего. Но, разумеется, когда это было в самом деле необходимо. И в густом полумраке театра он встречался со взглядом ее сияющих глаз, наклонялся к ней, слушал ее, и сияние этих глаз обжигало его — ведь она была так близко...

Между тем на залитой красным светом сцене, словно в отблеске зарева, Янош Хора беззаботно распевал о том, какой прекрасной может стать жизнь, если только человек сам того пожелает, сколько всюду веселья и забав, сколько радости и любви. Янош Хора пел и танцевал, высоко выбрасывал ноги в мягких сапожках, смеялся и веселился. Своей бодростью он заразил весь зрительный зал, публика смеялась вместе с ним, восторженно аплодировала и, наверное, была бы возможность, танцевала бы вместе с ним, а может, и запела бы... Наконец его бодрый, сильный голос отзвучал, долетев до верха, под самый купол, и рассеялся там. Оркестранты внизу уже складывали свои инструменты, сцену медленно закрывал золотисто-желтый занавес, зажглись огни. Но зрители продолжали бушевать. Янош Хора, одетый в военную форму, низко кланялся, стоя на фоне опущенного занавеса.

— Я вам очень признателен,— несколько сдержанно поблагодарил ее Бендл, когда после спектакля они вышли из театра.— Это действительно было чудесно.

— Вот как,— отозвалась Анико,— а я-то боялась, что вам не понравится.

— Странного вы были обо мне мнения...

— Я вас совсем не знала.

— А теперь знаете?

— Немножко знаю.

— Вот только я отнял у вас массу времени,— продолжал он.— Собственно, сегодня весь день и весь вечер вы посвятили мне.

— Я это делала с удовольствием,— сказала она.— А как же иначе?

— Ведь у вас свои интересы... свои знакомые...

— Конечно... но это еще не значит, что я не могу пойти в театр.

— Вы бы могли найти более приятные развлечения.

— Это не развлечение — это работа.

— Ах вот оно что,— протянул Бендл.

Некоторое время они шли молча.

На улице царило такое же оживление, как и до начала спектакля. Только неоновых ламп, казалось, стало больше; они светили буквально отовсюду и просто лезли в глаза.

— Здесь вы перейдете улицу, а направо, совсем рядом, ваша гостиница,— вдруг сказала она и подала ему руку.— А я подожду трамвая.

— Я подожду вместе с вами.

— Зачем, не стоит...

— Мне все равно некуда спешить...

Напротив, на другой стороне улицы, светились широкие окна большого кафе, оттуда доносилась приглушенная музыка, и через приоткрытые двери у стойки бара можно было разглядеть посетителей. Временами музыка вырывалась на улицу и тут же тонула в ее шуме.

— Жаль, что вы так спешите,— как-то неуверенно проговорил он.

— Почему?

— Да так... Скажем, мы могли бы зайти в кафе.

— В другой раз,— ответила она.— Наверняка такая возможность еще представится...

И села в дребезжащий трамвай, который сразу же пошел по направлению к набережной. Он еще увидел ее на площадке вагона, и ему показалось, что она помахала ему, слегка приподняв руку.

Он сидел в кафе гостиницы, где жил уже второй день, за круглым столиком на двоих, пил лимонный сок, в котором плавали маленькие кусочки льда, и скучал. Спать не хотелось, усталости он не чувствовал — поболтать бы, да не с кем. В переполненном зале с обитыми плюшем креслами и диванчиками, с большими зеркалами на стенах каждый развлекался как мог, в компании или с кем-нибудь уединившись.

Стоило ему повнимательнее вглядеться в какого-нибудь случайного посетителя, как тут же начинало казаться, что все они — актеры на сцене, и даже освещение выглядело театральным, искусственно притушенным, и каждый из них старался как можно лучше сыграть порученную ему роль.

Большинство мужчин — с напомаженными волосами, у всех черные брови, тонкие усики, выбритые до синевы, гладкие, без морщин лица, белоснежные воротнички и манжеты. Женщины нежные, романтичные, с застывшими печальными улыбками, утомленные бессонными ночами, которые оставили у них под глазами темно-серые тени.

От нечего делать он принялся разглядывать, какая из этих женщин могла бы ему понравиться и вызвать его интерес, но ничего достойного внимания не находил. Все они напоминали ему отблески ночных огней на Дунае, которые тускнеют под утро, исчезая вместе с рассветом.

А может, так казалось ему только потому, что он не понимал речи, струившейся неравномерным и вдруг стремительно обрушившимся на него потоком или звучавшей как шум ночной улицы, врывающийся в открытые окна; он воспринимал лишь пылкие движения, ничего другого, кроме этих движений, самоуверенных, прочно усвоенных, выражающих превосходство, ловкость, искушенность в жизни. Ему казалось, что они заняты собой, любуются своим умением удобно развалиться в креслах и каждое свое слово сопровождать движением руки, бровей, рта, наклоном головы или умиленным взглядом. А он сидел здесь между ними одинокий, неуверенный, разглядывая каждого, пока не убедился, что все они приятно проводят вечер и никого из них абсолютно не волнует его присутствие. Он был для них пустотой, всего лишь пространством, в силу каких-то обстоятельств случайно занятым креслом.

Так сидел он над своим стаканом лимонного сока за столиком на двоих, опустив глаза. И вдруг осознал, что в этом пестром и красочном городе, где на каждом шагу, несомненно, открываются тысячи возможностей для любых развлечений, все они были предназначены не для него. При его характере, взглядах, возрасте, положении да и его «финансах» он был предоставлен главным образом самому себе, мог рассчитывать только на свое собственное общество, рассматривать все издали или вот, как сейчас, наблюдать, сидя за своим уединенным столиком.

И эти авантюрные отношения между людьми существовали где-то за пределами досягаемости, без его участия, без его ведома и только для других.

Допив лимонный сок, он расплатился и собрался уходить.

Человек в полосатой рубашке и зеленом, как трава, галстуке, что сидел за столиком в противоположном конце зала, был тоже один — по всей вероятности, кого-то ждал, потому что настораживался при любом движении в зале, оборачивался к дверям и тут же опять разочарованно откидывался на спинку кресла.

Возможно, он тоже ждал напрасно.

Неожиданно Бендл вспомнил свою хрупкую переводчицу, ее маленькое улыбающееся лицо с выпуклым лбом и сияющими глазами.

Она сказала, что ее зовут Анико... Звучало это как-то по-японски, даже экзотично, словно доносилось издалека, с другого берега.

Впрочем, она милая, и красивая, и совсем иная, чем он предполагал, чем можно было ожидать...

И снова он мысленно услышал ее слова, сказанные весело, мимоходом, как бы о чем-то второстепенном: «В другой раз... Наверняка такая возможность еще представится...»

И тут же, словно нападая, обернулось против него острие его же вопроса:

— А что, если и вправду представится?

Он собирался перед сном позвонить домой, хотел узнать, что нового, как чувствуют себя жена и родные. Но время бежало, и ему показалось, что уже слишком поздно и он только зря разбудит жену, напрасно ее напугает. Ведь ничего особенного не произошло, можно спокойно отложить разговор на завтра.

Номер в отеле ночью выглядел более тесным и убогим, чем днем. Кровать, ночной столик, шкаф, два стула и умывальник — вся эта мебель бесцветная, безликая, казенная.

Его внимание привлекла единственная, висящая в рамке над столом репродукция какого-то желтого пейзажа — очевидно, венгерская степь под жгучим, палящим солнцем, а впереди, на косогоре, был изображен небольшой каменный домик с низкой соломенной крышей и высокий колодезный журавль. Он как будто откуда-то уже знал этот полумертвый край, пейзаж казался ему давно знакомым, примелькавшимся, может быть по иллюстрациям в книгах или виденный во сне, скорее всего из часто повторяющегося одного и того же сна. Ведь известно, что во сне некоторые пейзажи часто повторяются и у каждого человека есть такой, только ему одному близкий, исхоженный вдоль и поперек край его сновидений.

Тесный, неуютный номер с затхлым воздухом, с занавесками, пропахшими табачным дымом,— на всем, казалось, лежит тонкий слой пыли, и отовсюду поднимается едкий запах дезинфекции или мастики. А больше всего раздражал этот тусклый, рассеянный свет, исходивший от молочно-белого шара слабой, затерянной у самого потолка лампы, который едва достигал резного верха старого шкафа; весь номер был погружен в полумрак.

Погасив этот белый шар на потолке, он зажег настольную лампочку у постели, затем открыл настежь скрипящие створки окна, и тогда из узкого темного переулка, словно из погреба, в комнату ворвались звуки цыганского оркестра, пение, смех, шум и едкий чад.

Он с раздражением закрыл окно, улегся в постель, погасил ночник и, размышляя в темноте, ждал, когда же его одолеет сон.

В общем-то, подумал он, этот маленький номер его вполне устраивает на те несколько дней, которые он проживет в Будапеште.

Через день, другой он, может быть, и привыкнет к нему, научится жить здесь в одиночестве.

Казалось, шум всего города достигал этого узкого переулка, проникал в окно его номера и не давал ему покоя ни на минуту, пока он не спрятал голову под подушку и не забылся легким сном.

Он видел перед собой пожелтевшие травы широких-преширокихюжных степей, которые уже выступили из убогой рамы и, разливая кругом свою грязноватую желтизну, затопили весь тесный номер.

Его отовсюду обдавал сухой, жаркий воздух и одурманивающий запах горьковатой полыни; желтая удушливая пыль забиралась в уши, в нос, в глаза, во рту пересохло, его одолевала усталость от прожитого дня.

По оврагам вдаль убегала извилистая дорога, она то исчезала в густом хаосе сухой надломленной травы, то снова появлялась впереди, на пологом склоне спокойного холмистого края.

А там, под зеленым пригорком с обнаженной землей, блестела синяя гладь озера, густо поросшего высоким камышом, все освежающая синь среди дневного зноя.

И весь этот край, горы, степь, а главное, это озеро казались неправдоподобными, нереальными, как бы по ошибке попавшими в раму картины, бессмысленно соединенными с горячечным видением. Что это — сказка, игра воображения или, может быть, просто сон...

Над степью в прозрачном воздухе летят птицы, диковинные большие птицы, скорей всего соколы; широко распластав могучие крылья, они легко парят в свободном просторе, поднимаются ввысь в редеющей пелене солнечной желтизны.

В темный номер отеля ворвались первые лучи начинающегося дня.

Солнце вдруг резко осветило противоположную стену, и золотой отблеск упал, как нежная лента, на еще сомкнутые сном глаза.

2

Еще перед отъездом из Праги Бендл представлял, как распорядится в Будапеште своим свободным временем — что успеет сделать, куда пойдет, кого навестит и кому позвонит.

Но потом визиты эти откладывал на неопределенное время, с утра до вечера был занят.

Совещания, заседания, бесконечные консультации, плановые комиссии, неотложная подготовительная работа, посещение выставок образцов, экскурсии на заводы, осмотр новых производственных линий, деловые и товарищеские встречи, а потом то обед, то ужин или просто чашка кофе с друзьями.

И совсем мало времени оставалось для себя.

В первую же свободную минуту, которая выпала, он решил дать о себе знать тете Лауре, так как дома его настойчиво просили об этом.

Ему не очень улыбалась встреча с этой дальней родственницей, ведь он ее никогда не видел и знал о ней только понаслышке из разных семейных легенд и рассказов, в которых она, как добрая фея или волшебница, все сразу улаживала, всех спасала или переворачивала все вверх дном. Он слышал о ней столько удивительного и противоречивого, что не мог составить о ней сколько-нибудь ясного представления, но это его, собственно, мало беспокоило, он просто должен выполнить поручение своей семьи, позвонить ей по телефону и передать приветы. Он встретится с ней мимоходом где-нибудь в городе, извинится, что очень спешит, и вручит маленький подарок.

И, конечно, больше на тетю Лауру он времени тратить не собирается. Зачем?

Утром он встал сравнительно рано, принял душ, надел чистую рубашку и почувствовал себя совсем бодрым, хотя и спал ночью довольно скверно. Начинался погожий, солнечный день, над крышами синело чистое, безоблачное небо, и изнурительная жара подступала с раннего утра к окну номера, со дна узкого переулка.

К завтраку он пришел первым. У входа в ресторан ему, словно манекен, механически поклонился метрдотель в тщательно выутюженном костюме и пожелал доброго утра. Бендл с аппетитом поел в залитом солнцем ресторане, тут уже начали подходить и другие гости отеля, группами или в одиночку, большей частью иностранцы, метрдотель всех встречал поклонами. Солнечные полосы лежали на белых скатертях зала.

В половине восьмого Бендл был уже в банке, который находился неподалеку, он с удовольствием прошелся, пока на улицах было не шумно. Ему стало смешно, что у банка такое длинное и трудно произносимое название, он несколько раз безуспешно пробовал его прочитать по слогам, но останавливался на середине или, в лучшем случае, на двух третях слова. Он никак не мог справиться со множеством согласных в этом бесконечном названии, звуки просто застревали у него на языке.

Чеки ему оплатили немедленно, ждать не пришлось. Девушка за стеклянной перегородкой так мило ему улыбнулась, что он чуть было не пригласил ее прогуляться по набережной Дуная или посидеть на плюшевом диванчике в полутьме какой-нибудь старинной кондитерской.

Он вернулся в гостиницу и, так как у него оставалось еще немного времени, подошел к телефону и набрал номер тети Лауры.

Нетерпеливо слушал, как на другом конце провода долго и безнадежно звонил телефон. Собирался уж было нажать рычаг, как вдруг кто-то поднял трубку и, кажется, детский невнятный голос сказал: «Алло» — и все. Он попытался объяснить по-немецки, что хотел бы поговорить с госпожой Лаурой, и незнакомый голос неуверенно произнес:

— Ein Moment! — И опять наступила тишина.

Через минуту тот же голос сказал почти шепотом:

— Sie schläft noch [1].

Бендл посмотрел на часы, было ровно половина девятого, он поблагодарил ребенка и пообещал позвонить позднее. Он уже представлял себе, как в Праге расскажет своим, что тетя Лаура спала или ее не было дома, просто никак ее не удавалось застать; и больше никаких церемоний и напрасной потери времени в обществе тети.

В полдень он зашел после заседания ненадолго в гостиницу, чтобы оставить там кое-какие мелочи, вымыться и немного отдохнуть, и портье безупречно вежливым, но безразличным тоном сказал ему, что господина ждет в холле дама.

Бендл подумал, уж не Анико ли это, но такое предположение казалось неправдоподобным — что ей было здесь делать, в это время. Он искал ее глазами в кожаных креслах просторного холла, несколько взволнованный возможностью встретиться с ней помимо запланированных ежедневных заседаний, но напрасно он волновался. Анико здесь не было, и не было никого, кто бы походил на нее хоть немного.

В холле сидело несколько человек, семейная пара, готовая к отъезду, двое длинноволосых молодых людей, группа шумных иностранцев, видимо немцев, и совсем в стороне, спиной ко входу, пожилая дама в соломенной шляпе, украшенной букетиком бархатных

[1] Она еще спит *(нем.)*.

цветов, какие носили когда-то наши прабабушки. А перед ней на столике стояла чашечка кофе и лежала развернутая газета.

Не иначе как это тетя Лаура, подумал Бендл, подошел к ней и некоторое время стоял рядом, так как она была поглощена статьей — впрочем, не статьей, а скорей всего кроссвордом, да, определенно, она решала кроссворд с большим увлечением, упрямо морщила лоб и в рассеянности грызла кончик карандаша.

— Добрый день,— сказал он умышленно по-чешски, достаточно громко.

Она повернула к нему голову, сквозь очки из-под полей широкой соломенной шляпы посмотрела на него своими невинными светло-голубыми глазами на чуть загорелом, веснушчатом, круглом лице и сказала без особого интереса:

— Ах, это вы... Я здесь вас жду... присядьте, пожалуйста, на минутку, сейчас я закончу, один момент...

И снова углубилась в кроссворд, как азартный игрок, охваченный страстью перед самым концом партии.

— Я должна была это отгадать,— сказала она как бы в свое оправдание, когда вписала в свободные еще квадратики нужное слово.— Извините, пожалуйста.

Говорила она медленно, осторожно подбирая слова, явно боясь что-нибудь спутать, ей, может быть, не хватало уверенности, она долго, очевидно, не говорила по-чешски, и понадобилось некоторое время, чтобы снова овладеть этим непростым языком.

Выглядела она приятно — унаследовала от своих предков широкое, славянское лицо, да и вообще, наверное, во всем была типичной славянкой. На ней был светлый летний костюм с белым бантом, завязанным у ворота, ей могло быть лет шестьдесят, а может быть, немного больше. Это была просто дама неопределенного возраста, сравнительно моложавая на вид.

— Покажитесь-ка, какой вы,— изучала она Бендла, долго вглядываясь в него сквозь очки,— я ведь вас почти не знаю...

— Конечно, мы ведь никогда не виделись,— сказал он.— Я вас тоже знаю только по рассказам.

— Я жду вас здесь уже целый час,— сказала тетя деловым тоном.— Что же, пойдем вместе пообедаем?

— У меня совсем мало времени...

— Но пообедать-то вы все равно должны,— проговорила она строгим, не допускающим возражения голосом.— Идемте сразу... чтобы не терять времени.

Когда тетя поднялась с кресла, она оказалась выше, чем можно было предполагать, и в своей широкополой шляпе выглядела солидной, респектабельной дамой. Опираясь о палку, но не прихрамывая, она довольно проворно двинулась к выходу.

Только на улице перед отелем остановилась.

— Так куда же мы пойдем? — спросила она.

— Не знаю, вы здесь ориентируетесь лучше меня.

— Ты уже пил кофе? — перешла она ни с того ни с сего на «ты».

— Пил, а что?

— Прежде всего надо выпить кофе,— заявила она и направилась к угловому дому, откуда из открытых дверей бистро на всю улицу разносился запах кофе.

Он удивился — ведь только что она пила кофе в гостинице,— но ничего не сказал, шел послушно за ней, надеясь, что все, возможно, кончится коротким посещением бистро.

Но где там! Тетя ловко протиснулась между людьми, стоящими

около автомата, удобно уселась за столиком у окна, повесив палку на стул позади себя, и решительно попросила его:

— Закажи кофе... и коньяк... ты, конечно, пьешь коньяк?

Оставалось только подчиниться.

Он принес два кофе и два коньяка и сел напротив нее.

Тетя вынула из сумочки помятую пачку сигарет и протянула ему:

— Возьми!

— Я, тетя, курю только по праздникам...

— А сегодня у тебя праздник... разве нет? — сказала она весело и с удовольствием, словно в подтверждение своих слов, выпила глоток коньяку.— Праздник, потому что мы встретились...

И снова засмеялась, ее смех напоминал удушливый кашель.

За окном бистро был виден шумный перекресток, один поток пешеходов спешил перейти на зеленый свет с солнечной стороны в тень, другой наоборот — с теневой на солнце, по освободившейся дороге проплывали крыши бесчисленных машин.

Тетя курила «фечке», самые дешевые и самые крепкие венгерские сигареты, какие только были ему известны, из-за них у нее, очевидно, и был такой осипший голос, а смеялась она, как кабатчик из ночного пивного бара.

— Вы много курите? — спросил Бендл, чтобы поддержать разговор.

— Да нет, две пачки за день, не больше,— ответила она с достоинством и допила свой коньяк.— Видишь, я же тебе сказала, что не задержимся...

Прежде чем он потушил сигарету и допил остаток коньяка, тетя со своей неизменной палкой уже выходила через стеклянные двери на шумную улицу. Догнал он ее уже в толпе, она направлялась к набережной.

— Я должен вам передать привет от жены и от всей нашей семьи,— вспомнил он.

— Я знаю,— тетя оставалась невозмутимой,— потом мне все расскажешь... теперь идем обедать...

— Куда?

— В лучшую столовую самообслуживания.

К счастью, столовая была недалеко, и волей-неволей пришлось признать, что о существовании этой уютной на вид столовой он и не догадывался, хотя, конечно, несколько раз проходил мимо нее.

— Тетя, но здесь уйма народу,— предостерег он.— Сейчас, в полдень, наверное, большой наплыв посетителей.

— Ничего. Там всегда быстро обслуживают... Ты и не заметишь, как подойдет наша очередь...

Они стали в очередь. Первым делом у кассы за талоном, в который заносят на раздаче количество взятых блюд, чтобы при выходе оплатить счет. Потом — за бакелитовыми подносами и, наконец,— к стойке у раздачи, где очередь двигалась особенно медленно. Там они ждали, переминаясь с ноги на ногу, довольно долго.

— А что возьмем? — спросил он, полагаясь на ее опыт.

— Что? Это зависит от того, какой будет выбор... Или все, что нам попадется на глаза...

Чем ближе они подходили к цели, тем становилось все более душно. У тети, как он заметил, из-под соломенной шляпы стекали тонкие струйки пота.

Было видно, как на раздаче повара в белых высоких колпаках ловко делят на порции кушанья, раскладывая их на тарелки. От кас-

трюль, больших противней и сковородок поднимался пар, смесь разных запахов валила оттуда, как из волшебного котла.

— Ну, что возьмем? — присмирев, спросила тетя, когда они уже стояли у самой цели.

— Откуда я знаю,— сказал он,— главное, скорее что-нибудь выпить...— И устремил вопросительный взгляд на тетю, надеясь, что она сама выберет для него какое-нибудь блюдо, посоветует ему, ведь она-то знакома с венгерской кухней, найдет, чем его угостить.

Когда подошла их очередь и повар, держа белую тарелку в руке, посмотрел на них с немым вопросом, тетя в самый ответственный момент вдруг сморщила нос, словно что-то насторожило ее, и произнесла, к великому удивлению своего попутчика:

— Знаешь что... мне здесь не нравится... идем в другое место.

Что было делать, тетя сказала, а ее слово — закон.

Они пробирались к выходу против течения, со всех сторон на них раздраженно ворчали, но тетя, снисходительно улыбаясь, палкой прокладывала себе дорогу, пока не дошла до кассы, и они, отдав пустой талон, с облегчением вырвались на улицу.

И вдруг оба, довольные, рассмеялись, как школьники, которые только что обманули учителя.

Тетя по-дружески взяла его под руку, и они вместе, смеясь, даже не зная, над чем, пошли по направлению к Дунаю.

По всей вероятности, им весело было потому, что у обоих от голода урчало в желудке, или оттого, что был такой прекрасный день и Дунай светился голубизной под мостом Эржебет, а над железной конструкцией Цепного моста сиял ослепительный небосвод.

Куда же было теперь идти, как не к прославленному «Матяш пинце», в самый известный будапештский ресторан, куда следовало зайти каждому, кто хоть ненадолго попадает в этот приветливый город.

В садике, обнесенном оградой, на теневой стороне улицы, недалеко от главного входа, они увидели покрытые белыми скатертями столики и уже больше не раздумывали.

Тетя торопливо перелистала несколько страниц меню, в то время как официант, почтительно склонившись, ждал в стороне, затем тетя что-то сказала ему по-венгерски, всего несколько слов, он старательно записал ее заказ в блокнот и исчез. Другой официант, ничего не спрашивая, поставил перед каждым из них на бумажный подносик по огромному стакану пенящегося пива, такого аппетитного, что они оба не удержались и тут же с удовольствием попробовали этот освежающий напиток.

— Что вы, собственно, заказали? — спросил он тетю после того, как, отпив большой глоток пива, снова ощутил ужасный голод.

— Не беспокойся,— ответила тетя, не успев еще вытереть салфеткой рот,— разумеется, самое дешевое, что у них тут есть... не сомневайся...

И оба снова так расхохотались, что те, кто сидел рядом, и порхающие вокруг официанты в белых передниках с удивлением посмотрели на них.

Когда тетя смеялась, она казалась моложе, мелкие морщинки вокруг рта исчезали, отступали к самому носу, смеялась она заразительно, а глаза ее сияли и увлажнялись от набегавших слез.

— Ты должен знать, что... в ресторане люкс и самые дешевые блюда должны быть на уровне... в той столовой нечем было дышать, а здесь, по крайней мере, на воздухе... воздуха сколько хочешь.

В подтверждение своих слов она глубоко вздохнула и с удовольствием откинулась на спинку стула.

Ветер приносил раскаленный воздух откуда-то из полуденной жары с берегов Дуная, по пути ему негде было охладиться.

— Вы удивительно хорошо говорите по-чешски,— сделал ей комплимент Бендл,— и как только вы его за это время не забыли?

— Как же я могла забыть? — сказала тетя и стала серьезной.— Я ведь прожила у вас лучшие годы своей жизни...

— Знаю, но если нет разговорной практики, язык забывается...

— Иногда я покупаю у нас в табачной лавке «Руде право» и прочитываю ее целиком... и кроссворд решаю.

— Любите решать кроссворды?

— Да, это моя слабость... главное, вечерами; когда дома наступает тишина и все засыпают, я сажусь в кресло и решаю кроссворды. Если бы ты знал, сколько разных безделушек я уже выиграла... А сколько книжек! У меня уже целая библиотека.

Принесли заказанное блюдо. На красивых тарелках с синими цветами было уложено какое-то невиданное, непонятное кушанье, поданное без гарнира, напоминавшее наструганную, добела вываренную морковь, заправленную мукой и загустевшую: загадочное блюдо, желтоватого цвета, которое трудно было как-то назвать или с чем-то сравнить. И к нему еще подали корзиночку с аппетитным свежим хлебом. Такой хлеб ему всегда нравился, и он заказывал его в отеле на завтрак.

Тетя, не раздумывая, тут же принялась за еду, он последовал ее примеру. В загустевших овощах они обнаружили два куска прекрасного говяжьего мяса, сочного и мягкого, они заедали его белым хлебом и запивали пивом.

Тетя справилась с едой раньше, чем он, и вытерла салфеткой рот, вид у нее был в высшей степени довольный.

— Ну как, понравилось? — спросила она.

— Очень,— еще с полным ртом ответил он,— но как это, собственно, называется?

— Откуда мне знать,— засмеялась она своим заразительным смехом.— Настолько чешским я уже не владею. По-немецки это — Kürbis [1]... а что это такое, если не знаешь, посмотри в словаре.

Он не знал, но это не имело значения, обед ему понравился, так стоит ли беспокоиться?

— Кстати, как тебя зовут? — тетя удивила его своим вопросом.— Я ведь не знаю как к тебе обращаться.

— Меня? Йозеф, просто Йозеф.

— М-м... Такое скучное имя. Лучше бы тебя назвали Робертом или Рихардом.

— Меня оно вполне устраивает... Я к нему как-то привык.

— У нас дома говорили Пепи. Буду тебя называть Пепи.

Он случайно взглянул на часы, и настроение у него сразу испортилось, он занервничал.

Так заболтался с тетей Лаурой, что совсем забыл о своих служебных обязанностях, ему давно надо было ехать на один из заводов-изготовителей, разве теперь туда поспеешь?

— Я должен идти,— сказал он виновато,— опаздываю на свидание.

— Ну, ну,—не понимала тетя,— ведь ты же на свидании со мной... Тебе этого мало? Или это, может быть, неважно?

И снова без всякого повода безудержно рассмеялась.

— Ведь тебе же никогда не приходилось обедать в таком уютном месте?

---

[1] Тыква *(нем.)*.

Нельзя было не признать, что тетя права.

— Я знаю, но...

— Я тебе кое-что скажу, мой милый. У меня в жизни один принцип, которого я всегда придерживаюсь. Такое мудрое и простое правило: не делай сегодня того, что можешь спокойно сделать завтра... Понял, Пепи? Иначе у тебя вообще не останется времени на то немногое, что называется жизнью.

Она все еще смеялась, но постепенно становилась серьезной.

— Хм, может, это и хорошо,— возразил он неуверенно, нельзя сказать, чтобы эта точка зрения его не устраивала,— но это же противоречит тому, что нам внушали с детства.

— Я тебе ничего не навязываю, а только делюсь своим опытом.— И тетя сделала вид, что немного обижена.— Если тебе надо, беги, а я никуда не спешу... Мне здесь нравится, так что я еще немного посижу. Всякая спешка вредит моему здоровью.

Он позвал официанта, оплатил счет, заказал тете еще кофе, чтобы не оставлять ее за пустым столиком, и распрощался.

— А я не успел передать вам подарок из Праги,— вспомнил он,— оставил в гостинице...

— Неважно,— сказала она,— мы еще непременно увидимся.

К счастью, у главного входа как раз остановилось такси, он заметил его издали и поднял руку. Машина развернулась и через минуту подъехала к противоположному тротуару. Может быть, он еще успеет вовремя.

После того как Бендл назвал адрес и машина тронулась, он еще увидел, как тетя Лаура сидит, выпрямившись, за столиком около красных бегоний, в своей широкополой соломенной шляпе, курит сигарету, выпуская в горячий воздух небольшие струйки дыма, и как будто повторяет:

— Всякая спешка вредит моему здоровью.

3

Наконец-то он собрался позвонить домой, Прагу дали сразу, слышно было превосходно, как будто он говорил с кем-то из соседней комнаты.

Жена была рада что он дал о себе знать, дома все в порядке, особых новостей нет. Вот разве что вчера кто-то звонил с его работы, она не может вспомнить, кто именно, у него какое-то странное имя, да, вот уже вспомнила: Нейтек, Нейдек или что-то в этом роде, он хотел узнать, когда, мол, муж вернется, как будто не мог спросить об этом у себя в учреждении. Она ему сказала все, что ей было известно, то есть, что не ранее чем через неделю, но ведь они могут, если это необходимо, в любое время связаться с гостиницей, где остановился муж.

Поскольку Нейтек звонил поздно вечером и домой, после рабочего дня, его телефонный звонок озадачил Бендла и он долго не мог уснуть.

После нескольких дней, прожитых в Будапеште, он как-то отвык от обычной суматохи в их объединении и не мог сразу сообразить, что именно заставило Нейтека звонить к нему домой. Ведь всем должно быть ясно, что он вернется, как только на переговорах обе стороны достигнут определенных результатов. И что для этого понадобится несколько дней. Это было понятно каждому, кто имел хоть какое-то представление о сути переговоров.

И почему звонил именно Нейтек? С какой стати он вмешивается не в свое дело? Почему он вообще сует свой нос? Он ведь не имеет и

не мог иметь ничего общего со служебной командировкой Бендла. Пусть бы он лучше занимался собственными делами и не превышал своих полномочий.

Когда Бендл вспомнил его породистое, какое-то помятое и будто невыспавшееся лицо с покорным, беззащитным взглядом голубых, как незабудки, глаз, он понял, что этот тип сидит у него в печенках, что он просто терпеть его не может, ненавидит. Последнее время он избегал встреч с ним, ему были противны эти сладкие и пустопорожние разговорчики обо всем и, собственно, ни о чем.

Наконец Бендл начал себя упрекать в том, что он несправедлив к нему, зря осуждает его, завидует, что ли, его личному обаянию. Вообще надо быть к людям более снисходительным, более терпимым, а не так вот сразу, без причины ощетиниться и возненавидеть человека.

Они были знакомы уже лет пятнадцать, а то и больше и кое-что знали друг о друге.

Поэтому он принял все это за иронию судьбы, когда примерно год назад их директор — который, разумеется, не мог ничего знать — привел нового сотрудника Нейтека и представил его Бендлу.

Оба они были достаточно смущены, подали друг другу руки, но не решились произнести ни слова. Только через несколько минут, когда пришел еще кто-то, Нейтек собрался с духом и сказал Бендлу:

— Потом загляни ко мне, поговорим...

— Так вы знакомы! — удивился директор.

— Немного,— с ухмылкой сказал Нейтек и несколько таинственно добавил: — У нас ведь одна специальность...

И когда на следующий день они неожиданно столкнулись в коридоре, он произнес в своей вкрадчиво-льстивой манере:

— Я пришел сюда работать, потому что ты здесь и, значит, есть на кого опереться...

Само собой разумеется, что это были пустые слова,— он ведь всегда старался завоевать чью-нибудь благосклонность, приспособиться к обстоятельствам, втереться, примазаться и при этом врал не краснея.

Нейтек крепко держал его за руку чуть выше локтя, несколько шагов прошел с ним по коридору и настойчиво прошептал ему на ухо:

— А что здесь за женщины? Ты, конечно, разбираешься в этом?

— Я? — удивился Бендл.— Я вряд ли... если тебя это так интересует, женщины здесь, как и везде, одни более красивы, другие менее...

— Это я знаю,— вкрадчиво продолжал Нейтек.— Но меня интересуешь ты, что они о тебе говорят?

— Об этом ты можешь сам их спросить,— спокойно оборвал Бендл его попытку перейти на дружеский, доверительный тон.

Сейчас он вдруг вспомнил, как однажды, еще много лет тому назад, встретил Нейтека на Вацлавской площади и почти не узнал его, он был плохо одет, весь какой-то помятый, неопрятный, в расстегнутом пиджаке — погода, правда, стояла теплая,— его «пивное» брюшко нависало над поясом. Он как-то совсем опустился и одряхлел за то время, что они не виделись.

— Что с тобой? — с сочувствием спросил его Бендл.— Выглядишь таким усталым... ты не болен?

— С чего ты взял,— усмехнулся Нейтек,— я чувствую себя отлично, лучше, чем когда-либо.

Только позднее от кого-то Бендл узнал, что именно в это время у Нейтека были какие-то нелады в семье, будто бы от него даже ушла жена и он запил.

Впрочем, выпить-то он любил всегда.

Но если говорить о женщинах, то у них он пользовался незаслуженно большим успехом — то ли на них производила впечатление его благородная седина на висках, то ли кроткий взгляд поразительно голубых глаз, то ли он умел вскружить им голову своей вкрадчивой, доверительной болтовней.

О нем рассказывали много занятных историй, порой выдуманных, порой нет, будто он заводил всякие интрижки с женщинами и что на какой-то международной ярмарке обольстил жену одного крупного деятеля. Злые языки обо всем этом с удовольствием судачили, но никто его за это не осуждал, не ставил ему это в вину.

Даже тот случай в архиве.

Возможно, что это был незначительный эпизод, случайное стечение обстоятельств, но тогда, более десяти лет назад, впервые, собственно, стало ясно, кто такой Нейтек и что скрывается за его добродушной внешностью и изысканно-вежливым поведением.

Волею случая они оба работали в одной экспортной организации, разумеется, каждый на своем участке, но тогда, так же как и теперь, время от времени встречались, многое знали друг о друге.

Там же, в архиве, служила одна бледная, малокровная девица, вовсе не красивая, ничем не привлекательная, так, ничего особенного. Только глаза у нее были сияющие, зелено-голубые, и она всегда так пристально смотрела на людей, словно ждала от них то ли помощи, то ли спасенья.

Она всем нравилась, все любили ее за внимание к людям, за желание всегда пойти навстречу, за ее мягкий и ласковый характер, а больше всего, по-видимому, за то, что она была нужна, что всем постоянно помогала, разыскивала тот или иной материал, какой-нибудь акт, сноску, которую они в своих записях и протоколах никак не могли найти. В архиве она поддерживала всегда образцовый порядок, вела точные записи о затребованных документах, ни одной бумажки никому без расписки не выдавала.

За исключением Нейтека.

Всем было известно, что время от времени он заходил к ней и, прислонившись к шаткой конторке, вел долгие, какие умел только он, разговоры,— ей, по-видимому, это нравилось, по крайней мере, она охотно слушала его и весело вместе с ним смеялась.

Никто не предполагал и даже не мог предположить, что между ними могут возникнуть близкие отношения, что она может им заинтересоваться, но вдруг она начала им восхищаться, сама искала с ним встречи и, наконец, безнадежно в него влюбилась.

Он ходил к ней до тех пор, пока все это не кончилось ее попыткой покончить с собой. Она проглотила якобы большую дозу снотворного и в бессознательном состоянии была отправлена в больницу, несколько дней там пролежала и в архив больше уже не вернулась.

В списке выданных документов не хватало около двенадцати бумаг, большей частью с грифом «секретно», которые она, очевидно, выдала Нейтеку — все были твердо уверены, что именно ему,— и без расписки, под честное слово.

А он, как предполагали, куда-то их заложил или засунул, все ведь знали, что он работает всегда медленно, лениво, ничем себя не обременяет, ни над чем слишком не ломает голову...

А девушка — может быть, из-за несчастной любви, а может, из-за пропавших документов или из-за всего вместе — чуть не лишила себя жизни.

В какой мере Нейтек был за это в ответе, какова была его вина, одному богу известно...

Все осталось по-прежнему, словно этого происшествия и не было, словно ничего не случилось. Нейтек при любых обстоятельствах умел сохранять хорошее настроение. Как и раньше, он улыбался людям, прикидывался милым, со всеми был в добрых отношениях, с каждым мог посидеть и поболтать.

Об этой истории знали все, но никто не придавал ей большого значения, ведь у каждого есть на совести какой-нибудь грешок, какое же мы имеем право упрекать других.

Бендл давно уже чувствовал, что их разделяет что-то невысказанное — оно восстанавливает и настораживает его против Нейтека. Когда бы он с ним ни встретился, в нем просыпалось непонятное внутреннее беспокойство, сперва едва заметное, трудно объяснимое, может быть, и ни на чем не основанное, но постепенно оно вырастало до непомерных размеров.

Напрасно Бендл старался вспомнить, когда и при каких обстоятельствах возникла между ними эта натянутость — случалось ли им поссориться или сказать друг другу обидное слово. Ничего такого не приходило в голову, хотя он упорно напрягал память.

За все годы их знакомства — а знакомы они были немало лет — ничего заслуживающего внимания, ничего особенного, о чем бы стоило говорить, не произошло.

Ведь сразу, при первой же их встрече, точно он уже не помнил, когда и где это было. Нейтек и его покорил своей учтивой деликатной манерой вести себя — умением слушать и понимать собеседника. Все его ценили, восхищались им, с удовольствием проводили с ним время — и когда говорил Нейтек, все молчали, никто не отваживался помешать ему, перебить его.

Отношение к нему окружающих имело, по-видимому, влияние и на Бендла, и первое время он тоже подпал под его обаяние и восхищался им.

Бендлу вспомнилось, как в те годы, когда они еще только познакомились, Нейтек с увлечением рассказывал невероятные истории, в которых он сам большей частью играл главную роль, по меньшей мере героическую, в то время как остальные выглядели недоучками, льстецами или недалекими людьми. Особенно он любил рассказывать одну неправдоподобную историю о том, как однажды в сочельник спас жизнь своему приятелю, когда они решили сократить путь и пройти через железнодорожный туннель, но в середине туннеля их настиг поезд — они-то думали, что он уже давно прошел. Туннель был якобы узким, рядом с колеей тянулась только тропинка и канава с водой, и когда поезд приблизился, у приятеля от шума и грохота сдали нервы, он вдруг в панике побежал по колее, спотыкаясь о шпалы и щебень, и огни паровоза уже освещали его спину... Нейтек бросился за ним и, наконец дернув приятеля за рукав, вместе с ним плюхнулся в воду, в канаву, а в этот момент с оглушительным грохотом над ними промчался поезд.

Эту историю Нейтек рассказывал всегда одинаково эмоционально, только каждый раз добавлял подробности, изменял их и варьировал по своему усмотрению. Слушая его в третий-четвертый раз, Бендл не мог не заметить некоторых несоответствий.

— Вчера ты рассказывал иначе,— отважился однажды заметить Бендл.— Вчера это происходило у Железной Руды, сегодня у Кашперских гор...

— Это же один район,— смеялись слушатели,— совсем рядом!

Может быть, именно потому, что он поддел Нейтека в присутствии других сослуживцев, тот обозлился и возразил:

— А может, ты вчера слушал одним ухом.

И у Нейтека на мгновение исчезла приветливая улыбка, лицо стало хмурым, недовольным, а светлые глаза, всегда добрые и участливо-внимательные, ожесточились, и в них промелькнула ненависть.

Скорее всего этого никто даже не заметил, потому что разговор продолжался и настроение ни у кого не испортилось. И Бендл мог об этом эпизоде спокойно забыть, ведь ничего особенного не произошло. Но бог весть почему в памяти у него надолго сохранялись такие вещи.

Ничего другого, кроме этой мелочи, мгновенной искорки озлобления в короткой перепалке, ему не припоминалось.

Ничего заслуживающего внимания в их отношениях за эти годы не произошло, ничего настораживающего и ничего успокаивающего, они поддерживали знакомство, виделись, даже пытались, вероятно, понять друг друга, но не сближаясь, не проявляя к этому особого интереса, и ничего у них не получалось.

Конечно же, в их отношениях была зависть, настороженная зависть одного к успехам, к продвижению по службе другого.

Самое неприятное — их считали верными друзьями, мол, они находят общий язык, вместе сидят за кружкой пива, играют в карты...

Прошло несколько лет с тех пор, как Бендл потерял его совсем из виду, ничего о нем не знал.

И вдруг Нейтек свалился как снег на голову, пришел неожиданно к ним в объединение и сразу же приобрел славу перспективного работника, способного на большие свершения.

Теперь это был седой, элегантный, светский человек с приятной улыбкой, только его круглое «пивное» брюшко не мог скрыть даже безукоризненно сшитый костюм.

Но сейчас уже поздняя ночь, зачем же ломать голову над вопросом, почему к нему домой звонил именно Нейтек, размышлял Бендл, бог с ним, пусть живет, как может...

К счастью, он далеко, чуть ли не за пятьсот километров отсюда, и это гарантия того, что в ближайшие дни Бендл с ним не встретится.

Все время, пока Бендл жил в гостинице, он мало и плохо спал, ночи были короткими, шумными, внизу, в подвале, далеко за полночь шумел винный погребок, а с раннего утра громыхала улица, и в узком ущелье под его окном глухо разносился каждый звук.

Иногда ему казалось, что он вместе со своей постелью очутился посредине улицы и совсем рядом около него грохочут трамваи, дребезжат стекла окон, визжат тормоза. Или что весь город ворвался в его тесный номер, и Буда, и Пешт, и гора Геллерт, и Крепость с Рыбацким бастионом, где вчера после обеда они были с Анико.

Они ездили туда на машине в перерыве между двумя заседаниями, чтобы хоть немножко подышать воздухом, посмотреть сверху на Дунай, на город.

Оттуда далеко была видна голубая полоса широкой, могучей реки, ее воздушные мосты, остров Маргит, утопающий в густой зелени, высокое здание парламента с блестящим позолоченным куполом, отражающим во все стороны солнечные лучи, совсем новый, посовременному строгий отель «Интерконтиненталь» — весь этот четко распланированный город с широким кольцом бульваров, а вдали, в тумане Варослигет — необозримый парк с зоологическим садом, выставками, Луна-парком, простирающийся вплоть до скрытого в дымке тумана Непстадиона.

Мосты легко и плавно изгибались над мелкими волнами реки, особенно хороши были мост Маргит и Цепной мост, под ними про-

плывали маленькие грузовые пароходики, точно игрушечные. На реку набегала рябь, вода искрилась в легком прибое, дома на набережной отражались в ней, казалось, они наклонялись, изменяли свою форму, разбегались в стороны, и весь город, насколько хватало глаз, тоже как будто накренялся вперед и, колеблясь, уплывал в ослепительную даль, и снова удлиненные тени башен, бульваров и парков отражали свою задумчивую красоту в глади реки.

— После обеда иду на холм под Бельведером, сажусь там на скамейку и смотрю на Дунай,— как будто снова слышал Бендл низкий голос тети Лауры, когда она ему за обедом в «Матяш пинце» рассказывала, как обычно проводит свой день.

Вспомнил теперь ее слова и понял, почему тетя, не жалея своих сил, подымается наверх, опираясь на палку, и глядит оттуда на свой город и свою реку, которые ей стали так дороги, что без них, по ее словам, жизнь потеряла бы смысл.

А сейчас совсем близко от него стояла Анико и своим мелодичным голосом старалась рассказать ему историю возникновения Будапешта.

— Судя по археологическим исследованиям,— говорила она, как опытный гид, несколько торжественно, словно декламируя,— это один из старейших городов мира. Он возник почти две тысячи лет назад, когда римские легионеры добрались даже сюда, на место теперешнего Будапешта. В то время, в начале нашего летосчисления, расположился здесь военный табор — большой военный лагерь, а потом на западной его стороне разросся и многолюдный город...

Он мысленно представил себе голую холмистую равнину вдоль реки и надвигающееся издали войско римских легионов, представил, как они где-то здесь, может быть в том месте, где теперь они находятся с Анико, остановились и раскинули военный лагерь. Сколько их, по всей вероятности, погибло в пути, сколько утонуло во время переправы в половодье, скольких жизней стоила эта дальняя дорога. А там, на противоположном берегу, где сегодня раскинулся Пешт, тогда начал вырастать обширный город с шумными базарными площадями и тенистыми улочками.

Мимо них, громко разговаривая, прошла группа иностранных туристов и направилась к Королевскому дворцу, а Анико увлеченно продолжала свой рассказ:

— Буда, Пешт и Старая Буда — или, как ее называют, Обуда — постепенно превратились в большие города, а в пятнадцатом веке они уже стали крупными и широкоизвестными торговыми и экономическими центрами.

Между тем небосвод у самого горизонта затянуло вуалью из перистых облаков, и на этом белесом фоне очертания города выступили острее, отчетливей. Казалось, весь город на мгновение сжался, стянул к Дунаю все свои дома, парки, улицы и площади, собрал их в кучу.

— В этом году исполняется сто лет,— объясняла неутомимая Анико,— с того времени, когда произошло объединение Пешта, Буды и Обуды, а также острова Маргит и образовался единый Будапешт. Само собой разумеется, что сегодняшний облик он приобрел только в последние десятилетия, когда после войны повсюду выстроили новые здания, выросли целые кварталы и возник современный большой город.

На некоторое время она умолкла, словно у нее перехватило дыхание, но тут же заговорила снова:

— Вам бы надо было приехать сюда осенью, лучше всего в сентябре, как раз когда будут большие торжества...

— Я бы рад,— сказал он.— Но, к сожалению, это от меня не зависит...

И он подумал, как было бы хорошо прийти на этот холм поздно вечером или ночью, конечно вместе с Анико, прогуляться и посмотреть на ночной Будапешт, на реку, отражающую тысячи огней, на освещенные мосты, на колеблющиеся в воде отражения крыш и башен, которые сливаются с темной синевой ночи.

Надо бы куда-нибудь пригласить Анико, поужинать или потанцевать, вообще проявить к ней внимание, попытаться провести с ней хоть один вечер, может быть два, больше времени у него все равно не найдется.

Анико бы наверняка ему не отказала, она не из тех, кто ломается, в крайнем случае призналась бы откровенно, что занята или что ее это по какой-либо причине не устраивает, но скорее всего она приняла бы его приглашение как нечто совершенно естественное.

Вспомнил, как Анико вела себя в разных ситуациях все эти дни, какой она всегда была внимательной, дружелюбной, приветливой.

Правда, порой она вдруг становилась рассеянной, уходила в свои мысли, в мир собственных мечтаний и образов, неведомых ему. На мгновение она словно исчезала, «отключалась», но тут же приходила в себя и, тряхнув головой, смотрела на него мягким, извиняющимся взглядом.

Сколько ей может быть лет? Наверно, она не так уж молода, если пять лет тому назад окончила университет. Не меньше двадцати семи, а может, и чуть побольше...

У нее красивый, выпуклый лоб, маленькое лицо с умными, какими-то неспокойными, взволнованными глазами — зрачки то сужаются, то расширяются, в зависимости от настроения.

Анико старательно поддерживала разговор, иногда ей это удавалось, иногда нет, и тогда она отделывалась банальными, вежливыми фразами. Но это пустяки, на это никто из них не обращал внимания, все сглаживала ее детская, наивная улыбка.

Ведь именно Анико создала такую приятную атмосферу для него в Будапеште, придавая особую прелесть этим дням, и, безусловно, сама была их естественным украшением. Может быть, он несколько переоценивал ее роль в спокойном и успешном течении переговоров, но он наверняка мог сказать, что всюду, где она появлялась, воцарялось душевное спокойствие, лица присутствующих светлели и она невольно становилась центром внимания. И если он ожидал от нее чего-то большего, если питал в глубине души какие-то надежды, то он определенно ошибался, это было скорее ослепление, ожидание чуда.

«Жизнь иногда подобна плохому роману»,— сказал ему однажды Нейтек во время какого-то празднования в объединении, уже сильно подвыпивший, посмотрев на него отсутствующим взглядом приторно-ласковых глаз.

Конечно, это изречение он не сам придумал, вероятно, где-нибудь от кого-нибудь слышал и охотно повторял, но звучало это довольно остроумно, и что-то в этом, несомненно, было. Жизнь иногда, хочешь не хочешь, подобна роману, но часто бывает намного интереснее и удивительнее, чем самый лучший из них.

Хотя бы такой персонаж, как этот Нейтек... Иногда он ни с того ни с сего всплывал в памяти и бесцеремонно занимал его мысли, беспокоил и надоедал ему, от него не удавалось никак отделаться. Возникал он в такие моменты, когда меньше всего Бендл думал о нем,— чтобы напомнить о себе, о вчерашнем дне, как бы пытаясь навязчивым своим существованием ворваться в настоящее.

И сейчас вот опять откуда-то из глубины его сознания вынырнуло воспоминание о том, как он стоял перед ним и настойчиво с невинно-слащавой улыбкой спрашивал:

— Слушай, Бендл, по всей видимости, ты знаешь о нашем объединении куда больше, чем другие... Я удивляюсь, почему ты не заглядываешь немного в будущее... Почему ты не заботишься о дальнейшей своей карьере?

— Зачем? — удивился тогда Бендл.— У меня и так работы выше головы... и забот тоже... Зачем мне еще на себя взваливать новые?.. А моя должность меня вполне устраивает... Стараюсь свои обязанности выполнять как можно лучше.

— Подожди, ты меня не понял. Я думаю о нашем старике, о том, что он вот-вот уйдет на пенсию... Ты бы мог занять его место...

— Я? Что это тебе пришло в голову?.. Нет, меня это совсем не волнует... Тут другие этим интересуются...

Только позже до Бендла дошло, что одним из претендентов, а может быть самым главным из них, был как раз сам Нейтек. Поэтому он и задавал ему эти наводящие вопросы, поэтому так осторожно прощупывал его.

...Ему показалось, что за окном вдруг пошел дождь, затих уличный шум, город приготовился ко сну.

Да нет, никакого дождя нет, это машины поливают тротуары, асфальтовую дорогу и зеленые газоны посредине улицы.

Освежающие веера воды как будто бы смывают не только пыль, но и всю усталость прожитого дня, приносят хоть некоторое облегчение.

Утром Бендл чуть не проспал.

Когда спустился к завтраку, торопясь на совещание, портье передал ему телеграмму. Не хотели, мол, будить его ночью. Бендл прямо в вестибюле с волнением, несколько раз подряд прочитал текст:

УСКОРЬ ПЕРЕГОВОРЫ СВЯЗИ НОВОЙ СИТУАЦИЕЙ В ОБЪЕДИНЕНИИ

И подпись: НЕЙТЕК

4

Председатель комиссии Домокош устроил обед для своего партнера из Праги.

Обед, можно сказать, был и прощальный, потому что сам Домокош в тот же день уезжал на переговоры в Софию, но, конечно, он давался и в честь завершения их общей работы, так как в течение двух, самое большее трех дней комиссия должна была уже представить итоги переговоров.

На обеде присутствовал гость, хозяин, его заместитель — Шимон, который будет вести дальнейшие заключительные переговоры в отсутствии Домокоша, представитель Министерства внешней торговли и, разумеется, Анико, без которой нельзя было обойтись. Как обычно, единственная женщина среди мужчин.

Домокош усадил всех в служебную машину и отвез сразу же после заседания в клуб журналистов. В заранее заказанном кабинете их ждал накрытый стол, украшенный цветами, и все помещение было обставлено в народном стиле: вдоль стен стояли витрины с вышивками, над ними висели разрисованные керамические фигурки и тарелки.

Сразу же после первой рюмки установилась непринужденная обстановка, и вообще у всех было хорошее настроение. Первым слово

взял хозяин, который все время поддерживал беседу на должном уровне. Он рассказывал о своих поездках в Словакию и Чехию, о посещении Праги, шутил, смеялся, пытался даже говорить по-чешски и совсем сносно вдруг запел: «Танцуй, танцуй...»

Они знали друг друга уже несколько лет, но вначале это знакомство было, как говорится, шапочным. Год тому назад они провели первые совместные переговоры, где обсуждался один из вариантов сотрудничества, который потом был принят за основу долгосрочного соглашения, и во время этой работы сблизились.

Домокош был несколько старше Бендла и, конечно, опытнее его. Это был седой, элегантный человек лет шестидесяти, всегда изысканно учтивый, он совсем не изменился с тех пор, как они в последний раз, год назад, встречались в Праге, остался совершенно таким же, так же приветливо относился к Бендлу и старался быть полезным ему. Казалось, что они только вчера расстались.

— Мы хотели вас отвезти на Балатон,— сказал он своему коллеге,— хоть ненадолго, на прогулку после окончания переговоров... подышать воздухом, выкупаться, проветрить немного голову, освежиться... Но, как видите, к сожалению, ничего не получается, вы так спешите домой...

Он говорил быстро, торопливо, разумеется по-венгерски. Анико на одном дыхании переводила.

— Я-то не спешу,— совершенно искренне ответил Бендл.— Это у нас там спешат... С удовольствием бы побыл здесь еще...

Домокош, довольный, усмехнулся:

— Вижу, Будапешт вам понравился.

— Да. Он один из немногих городов, где я бы хотел жить...

— А где еще?

— В Праге, Ленинграде, Париже, Будапеште — в них что-то есть общее.

Он сказал это и понял, что мысль не завершена, и прежде, чем перейти к другой теме, повернулся к Анико и попросил ее:

— Скажите им, пожалуйста, что город для меня — это не только дома, улицы и переулки, а и люди... Если есть кому позвонить, с кем встретиться, если знаешь, где лучше всего пообедать, выпить чашку кофе, в каком табачном ларьке купить билеты на трамвай или метро,— тебе уютно в городе...

— Я думаю, в Будапеште вы все это уже знаете?

— Да, кое-что в этом городе я уже знаю... — подтвердил он многозначительно.

— Как я в Праге,— сказал Домокош.— Прага для меня тоже город, где я бы мог жить...

— Я там пять лет была так счастлива,— поддержала его Анико.

Обед был великолепный, подавали большей частью национальные венгерские блюда, выпили не одну рюмку доброго вина и под конец чашку кофе.

Домокош со своим заместителем должны были вернуться еще на работу, к четырем часам была заказана машина, и он предложил подвезти Бендла в гостиницу.

Но тот отказался, решив пройтись пешком, ведь этот район города он почти что не знал, да и свободный остаток дня ему очень кстати, надо же купить домой кое-какие мелочи. И Анико пойдет с ним, хотя бы на часик. Поможет ему сориентироваться в магазинах, а потом где-нибудь по пути вскочит в трамвай и поедет домой.

На прощанье они с Домокошем крепко пожали друг другу руки.

Как только Бендл и Анико остались одни на тротуаре в короткой тени низкого кирпичного забора, Анико заговорщически прошептала ему на ухо, словно подбивала его на что-то зепретное:

— А не заглянуть ли нам ненадолго з Видам парк?[1]

— Это гениальная идея,— одобрил он.— Как это вам пришло в голову?

— Очень просто,— засмеялась она.— Парк же совсем близко, рукой подать...

Хотя парк оказался несколько дальше, чем она сказала, но шли они быстро и через несколько минут, перейдя площадь Героев с известным Памятником тысячелетия, попали в густую тень старого парка.

Они шли по дорожкам, усыпанным песком, мимо живописных маленьких озер с белыми лебедями, мимо деревянных павильонов и детских площадок.

После отличного обеда, а может быть, и от выпитого вина настроение было превосходным, они чувствовали себя беззаботно-счастливыми, город остался позади, и ради этого дня и этих минут можно было забыть обо всех обязанностях.

— Без вас я бы наверняка здесь заблудился,— сказал он словно в шутку, взял ее под руку и бережно привлек к себе. Анико, не сопротивляясь, подчинилась, пошла совсем рядом, и они чуть не споткнулись на совершенно ровной дороге.

— Заблудимся вместе,— сказала она таинственным, приглушенным голосом, точно так же, как недавно предложила ему посмотреть парк.

Заблудиться, правда, было негде, перед ними неожиданно оказался деревянный городок, пестрый хоровод Луна-парка: качели, тиры, карусели, автодромы, бесчисленные киоски и павильоны. Всюду в тесных проходах двигался поток людей: девушки, солдаты, мамаши с колясками, студенты, иностранные туристы и, главное, дети, больше всего детей.

И над всей этой толпой разносились из невидимых репродукторов хриплые голоса и танцевальная музыка. Бендл и Анико смешались с толпой, увлеченные пестрым и красочным зрелищем, и беспокойный людской поток нес их от одного аттракциона к другому. Теперь уже, казалось, было совершенно опрозданным, что он сжимал ее руку выше локтя и поминутно привлекал ее к себе, особенно когда они застревали в толчее.

— Народу как во время храмового праздника святого Матея в Праге, а то и больше,— одобрительно сказал Бендл.

— Или когда со Стромовки народ идет в парк Юлиуса Фучика,— уточнила Анико.

Они случайно остановились перед лохнесским чудовищем — пресловутой каруселью, которая так изобретательно вытрясает из людей душу; зазывала услужливо пригласил их подняться по ступенькам наверх, и они, не сопротивляясь, пошли.

— Не знаю, не знаю, что с нами будет после такого сытного обеда,— предостерег ее Бендл.

Но они выдержали эту бешеную езду и остались в полном здравии, у них только тряслись колени и некоторое время все плыло перед глазами, когда они неуверенно ступили на твердую почву, которая тоже показалась им шаткой, кренилась то в одну, то в другую сторону.

Прошли они по лабиринту и вволю там насмеялись, глядя на свои фигуры, искаженные кривыми зеркалами. Тесно прижавшись друг

[1] Парк развлечений *(венг.)*.

к другу, катались в зеленом автомобильчике на автодроме, за рулем сидела то она, то он, они сталкивались с другими машинами, но в конце концов решили, что зеленый цвет машины, которую они выбрали, конечно же, цвет надежды.

— Если хотите, мы можем еще покататься на американских горах,— предложил он.

— Нет, благодарю, у меня уж и без того голова кружится,— сказала она, идя рядом с ним в шумном потоке людей. Он все время чувствовал ее присутствие, каждое ее нечаянное прикосновение и слегка поддерживал ее под руку, пока они проходили по каким-то фантастическим просторам Луна-парка.

Наконец, они остановились у тира, стреляли там в мишени, в подпрыгивающие над фонтанчиком цветные мячики, в музыкальные шкатулки, в жестяных барабанщиков, иногда они попадали в них, иногда нет, смеялись при этом, советовались, проверяли свое умение сосредоточиться и спорили, у кого из них точнее прицел.

Он выиграл несколько искусственных роз из вощеной бумаги и плюшевую собачку с кивающей головой и все это подарил ей.

Анико несла свои трофеи в объятиях, словно танцуя, удалялась от него и совсем неожиданно завернула на тихую тропинку, ведущую обратно в парк. Он шел за ней как зачарованный и чувствовал себя по-мальчишески счастливым и взволнованным, нисколько не сомневаясь, что и она испытывает те же чувства.

Она что-то крикнула ему, но доносившиеся из ближайших павильонов шум и голоса заглушили ее слова.

От Анико глаз не оторвешь, с алыми розами в руках она и сама порозовела...

Остановилась и ждет его.

— Буду называть вас Розмондой,— сказал он с нескрываемым восторгом.— Знаете, наверное, это стихотворение Аполлинера?

— Нет, не знаю,— призналась она.— О чем оно? Помните его наизусть? Прочтите мне!

Бендл не заставил себя просить и с некоторым пафосом прочел ей строфу из стихотворения, которое ему нравилось:

Я Розмондой назвал свою грезу
чьи уста словно розы цвели
а потом я ушёл и ни разу
на бескрайних дорогах земли
я не встретил прекрасную Розу [1]

— Прекрасные стихи,— вздохнув, сказала Анико.

На дорожках перед ними зажегся тусклый свет фонарей, которые издали были похожи на лампионы, висящие под низким сводом густых деревьев. Только теперь, при их свете, стало видно, что сыплет мелкий, частый дождь.

Они шли медленно по песчаной тропинке и не обращали внимания на дождь. Возможно, что у них уже выветрилось то беззаботное, легкомысленное настроение, которое было после выпитого вина, катанья на карусели и стрельбы в тире. Оба без всякой причины вдруг стали серьезными, притихли, замолкли, песок мягко поскрипывал у них под ногами, шум Луна-парка доносился до них все глуше и глуше.

— Скажите, что вы обо мне думаете? — удивил он Анико неожиданным вопросом.

Она не сразу ответила, шла тихо рядом с ним, тыльной стороной руки вытирая капли дождя на лице.

[1] Перевод М. Ваксмахера.

— Не знаю, ничего определенного,— сказала она совсем уже трезвым, слишком посерьезневшим голосом.— По всей вероятности, вы идеальный человек. Такой прямой, ровный...

— Не думал я, что вы обо мне столь высокого мнения...

— И создается впечатление, что вам можно верить... на вас можно положиться... Наверное, вы хороший спутник жизни...

— Вы просто льстите мне... Может быть, вам только так кажется?

— Ничего подобного,— сказала она заносчиво.— Я уже немного разбираюсь в людях...

Очевидно, ей трудно было идти. Она неуверенно ступала по мокрому песку, он опять слегка поддержал ее и осторожно повел, чтобы она не споткнулась, и Анико к нему доверчиво прильнула.

— Вы же вся промокнете.— Он старался вести ее под деревьями или под навесами крыш уже закрытых павильонов.

— Вы тоже промокнете,— засмеялась она.— А теперь ваша очередь откровенно сказать, что вы обо мне думаете... Все начистоту.

— Это совсем просто: вас ведь все любят, на вас нельзя обижаться... или сердиться.

— Нет, это не так...

— Вы ведь легко шагаете по жизни?.. Правда?

— Да нет.

— И вы хорошо знаете, что вам надо, идете прямо к намеченной цели... И не признаете компромиссов.

— Это уже звучит лучше. Словно гадание по руке...

— А вот ваша личная жизнь мне не совсем ясна...

— У меня нет тайн... обычная, как у всех... Все нормально, как говорится. Есть у меня и друзья, и поклонники... жизнь как жизнь. Ничего особенного...

— Кажется, я спросил лишнее...

— Пожалуй,— сказала она с некоторым раздражением.

— Извините...

— Да не за что... я понимаю, что вам хотелось об этом узнать.

Дождь продолжался, с деревьев уже падали капли.

Им еще надо было пересечь сквер и улицу, чтобы укрыться на станции подземной дороги.

Бежали под ливнем, увязая в песке на неровной дороге, капли дождя ласково касались их лиц, волос, попадали за воротник, стекали по рукам. В свете ламп было видно, как гладь озера покрылась рябью.

Вдруг Анико резко остановилась и нерешительно оглянулась. Когда они бежали во весь дух к станции, она обронила искусственные розы. Они лежали на песке и едва были видны в темноте.

— Оставьте их,— посоветовал он.

— Нет, не оставлю,— заупрямилась она.

И пошла, не обращая внимания на дождь, собирать свои восковые розы. Он был вынужден тоже вернуться и помочь ей.

Они ехали, промокшие, удивительной подземной дорогой — иностранцы прозвали ее «Музеем на колесах». Со станции Варошлигет на площадь Вёрёшмарти. С одной конечной станции на другую. Маленькие, до смешного маленькие вагончики, с деревянными скамейками вдоль стен, с медными великолепными дверными ручками и поручнями, с резной отделкой на наружных стенках, шумно и весело громыхали, тряслись, покачивались и подпрыгивали под аккомпанемент скрипа дерева, дребезжания стекол, гудения рельсов, а может быть — проверить это, разумеется, никак было нельзя,— и потрескивания обо-

дов на колесах. Эта первая подземная дорога в Европе на почти четырехкилометровой трассе честно служит на радость пассажирам семьдесят пять лет.

А между тем Будапешт уже строит современное комфортабельное метро по последнему слову техники.

Они ехали в переполненном вагончике, в который набилось в два раза больше народу, чем полагалось, и вагончик весело подпрыгивал в подземелье на ровной, как стрела, линии, а в это время там, наверху, шел проливной дождь.

Похоже на сон: все освещено слабым светом запотевших ламп, и люди выглядят как-то призрачно в промокшей, прилипшей к телу одежде, словно только-только вылезли из воды. Бендл и Анико стояли мокрые, облокотившись о медные поручни вагона, прижатые друг к другу, глаза у них блестели, они не замечали, что душно, что нельзя пошевелиться, встать поудобнее или откинуть со лба волосы, с которых капало, они даже не сопротивлялись мерному покачиванию вагона.

Анико одной рукой держалась за Бендла, другой прижимала к груди сумочку, восковые розы и промокшую плюшевую собачку, которая все время, в такт движению вагончика, трогательно покачивала головой, особенно когда поезд со скрипом подъезжал к станции.

Анико выглядела усталой, притихшей, погруженной в свои мысли и заботы, о которых он ничего не мог знать. Бендл пытался ее ободрить, рассеять, найти для нее теплые слова, но это ему не удавалось.

— Вы словно Принцесса папоротников,— сказал он, чтобы ее отвлечь.— Знаете эту сказку?

— Нет, не знаю.

— Сказка об одной прекрасной лесной фее, она питалась ягодами ежевики, играла с косулями и зайцами, была целомудренна и ничего не знала о людях и их поступках, пока однажды не нашла в лесу раненого старого солдата, возвращавшегося домой с турецкой войны... и не вылечила его лесными травами...

Казалось, она его совсем не слушает, мысли ее витают где-то далеко, взгляд у нее отсутствующий, но вдруг она, словно очнувшись, спросила:

— И вы этот солдат?

— Нет, это просто сказка,— защищался он.

— Да и я не Принцесса папоротников.

— Жаль,— посетовал он.— Вы так на нее похожи...

Остановки следовали часто, одна за другой, на станциях скопилось довольно много народу, очевидно, люди тоже хотели укрыться от дождя, но в вагон не попадали, начиная с первой станции, поезд шел уже переполненным. Они стояли на перроне в ожидании следующего состава с веселыми вагончиками.

— Когда я был в Будапеште год назад,— вспомнил Бендл,— один мой приятель долго удивлялся, почему в этом метро все станции с одинаковым названием. Мы его спросили, откуда он это взял, и он объяснил, что сам читал названия на остановках, там везде написано «Bejarát» или «Kijarát»...

Анико так смеялась, что у нее даже слезы потекли, а глаза стали большими и необыкновенно красивыми.

— Это же в переводе на чешский значит «приход» и «выход»,— сказала Анико, все еще смеясь.

— Мы говорим: «вход» и «выход».

— Да,— согласилась она,— но мой перевод тоже правильный.

— Конечно,— кивнул он,— даже, может быть, он более точен

И вот конечная станция. Пассажиры высыпали из вагонов, поднялись по лестнице и оказались на вечерней улице, где лил дождь, горели огни, сверкали освещенные окна и цветные неоновые лампы.

Они сидели в кафе гостиницы, где Бендл жил, и не спеша пили кофе, коньяк, ели мороженое. Анико, по ее словам, уже немного привела себя в порядок, расчесала на лбу прядь каштановых волос, что ей было очень к лицу, смеялась, шутила. Им было хорошо. Он заметил перемену в ее настроении, был доволен этим, и сам он чувствовал себя превосходно, как будто возвратился из освежающей загородной прогулки, а не пришел с улицы, где дул пронизывающий ветер и лил дождь. Случайно они заняли тот же столик на двоих, за которым Бендл в первый вечер своего приезда в Будапешт скучал, мрачный и одинокий, и он подумал, что сегодняшний день был его победой, успехом, на какой он даже не надеялся...

— Так вот, если вы, скажем, поедете в командировку в Прагу и там некоторое время пробудете, у вас вдруг появится чувство независимости и свободы,— говорил он ей, исходя из собственного опыта,— потому что ваши повседневные привычные заботы останутся дома... Понимаете?

— Кажется, да.

— И это естественно: человек, хоть на время меняя обстановку, сферу своей деятельности, удаляется от своих повседневных забот... Короче говоря, «чемодан» со своими заботами мы всегда оставляем дома.

Анико рассмеялась, что-то в этом сравнении показалось ей забавным.

— Значит, вот сейчас вы в Будапеште, а в Праге у вас уйма нерешенных проблем.

— Не знаю, действительно ли уйма, но в чем-то вы правы. Я вынужден был там оставить некоторые незаконченные дела.

Она перестала смеяться, только глаза ее еще улыбались.

— А они вас не преследуют?

— Иногда. В зависимости от того, насколько я им это разрешаю. Или насколько позволяет мне время думать о них.

— А оно позволяет?

— Нет, разве что ночью, когда не спится... А потом еще играет роль расстояние. Отдаленность иногда сама сглаживает острые углы.

— Из этого следует, что человеку надо как можно больше разъезжать. И всюду оставлять после себя «чемоданы» нерешенных проблем.

— Возможно. Но у каждого где-то есть свое пристанище, отчий дом. И там мы решаем свои проблемы, и если от них иногда удаляемся, то все равно возвращаемся к ним.

— Вы, наверное, очень уравновешенный человек, раз так хладнокровно рассуждаете об этом.

— Вы думаете? Не уверен, скорее нет. Чем человек старше, тем больше у него накапливается нерешенных проблем.

— Не очень-то веселый разговор у нас получается.

— Да. Но закрывать на это глаза нельзя.

Он толком не знал, зачем заговорил с ней об этом, ведь он так нелепо и неловко вредил сам себе и наверняка ставил под угрозу то малое, что на время завоевал.

— Я хотела бы когда-нибудь встретиться с вами в Праге,— сказала она неожиданно.— Вы показали бы мне свои любимые места, ре-

сторанчики, где часто бываете, или мы с вами посидели бы, например, в «Славии», а за окном была бы Влтава и Карлов мост.

— Почему бы и нет! Это вполне может произойти...

До сих пор он не замечал, что они отражаются в большом зеркале на противоположной стороне,— сидят друг против друга за низким столиком кафе и, наклонив головы, интимно беседуют, а в зеркале видно каждое их движение, каждый жест.

И вместо того, чтобы смотреть на свою молодую собеседницу, он вдруг взглянул в зеркало и замер пораженный, не веря собственным глазам, что это он и что он так выглядит...

Анико заметила это и тоже начала пристально вглядываться в зеркало. И это было для него тем более тягостно, что на фоне ее молодого, ясного и гладкого лица с большими глазами он казался бледным как тень, усталым и дряхлым. И тогда Бендл осознал, насколько он стар рядом с ней, насколько он ей не пара.

— Вам нехорошо? — спросила она сочувственно.— Вы так побледнели...

— Ничего, сейчас пройдет.

— Мне уже все равно пора домой,— вдруг вспомнила она. Хотя до этого момента они совсем не думали ни о времени, ни о часах. Сидели, болтали и никуда не спешили. Ни он, ни она до сих пор не задумывались над тем, где и когда закончат этот вечер, куда он их приведет. Им ведь казалось, что они начали понимать друг друга, както сблизились, что постепенно исчезают те преграды, которые стояли между ними.

И вдруг он сам все испортил, стал раздражительным, потерял самообладание, не сумел справиться с плохим настроением, поддержать разговор.

— Надеюсь, что я ничем не обидела вас?

— Нет, нет, вы тут совершенно ни при чем.

— Так кто?

— Никто. Это моя вина, со мной такое иногда случается...

Не стоило больше ее задерживать. Его дурное настроение передалось и Анико, она торопливо стала собирать свои вещи, разложенные на диванчике.

Бендл проводил ее до остановки.

— Вы еще не рассказали, чем кончилась сказка о Принцессе папоротников,— попыталась она еще раз отвлечь его.

— Разве? — удивился он.— Хотите знать? Осталось совсем немного. Солдат очень привязался к принцессе, называл ее Андулкой и заботился о ней, как о родной дочери. Потом в лесу появился прекрасный принц со своей свитой, влюбился в Андулку с первого взгляда и увез ее.

— А как же солдат? — спросила она.

— Уж и не знаю,— сказал он,— я забыл...

Ночью трамваи ходили редко, Бендл вместе с Анико стоял на остановке и слегка поддерживал ее под руку, она зябко ежилась, прижимая к груди свои измятые искусственные розы.

— Странный вы человек! — сказала она.

— Возможно,— ответил он. Ему нечего было сказать в свое оправдание.

Когда подошел трамвай, он почтительно на прощание поцеловал ей руку.

И вернулся по ночным тихим улицам в гостиницу в свой тесный и не слишком уютный номер.

5

Бендлу нравился город во время дождя.

Когда он утром встал и приоткрыл окно, дождь еще шел, на улицах поблескивали лужи, и все кругом выглядело таким тихим и чистым, словно вымытым под непрерывным потоком падающей воды.

Все ароматы города, казалось, поднялись над ним, стали резкими, осязаемыми, и над всеми преобладал какой-то незнакомый, диковинный, горьковатый запах кожи — может быть, это был запах сморщенной и с годами изношенной, пористой кожи самого города.

«А не идет ли и в Праге дождь?» — подумал он.

Еще до завтрака он решил, что сразу же после обеда, как только закончит свои дела, уедет домой.

Что касается его служебной миссии, то он мог со спокойной совестью считать ее выполненной, его участие в комиссии было засвидетельствовано в заключительном документе, и он мог теперь гордо доложить о результатах своей работы.

А вот дома бог весть что происходит, в особенности судя по телеграмме, присланной Нейтеком. И почему ее отправил именно он, какое он имеет к этому всему отношение? Это уже само по себе не предвещает ничего доброго.

Вдруг он забеспокоился, захотелось поскорее узнать, что же там происходит, как все это может отразиться на его работе в объединении, на его судьбе.

Время такое тревожное, что человек никогда не знает, что может случиться...

И его неудержимо потянуло домой, захотел увидеть жену, семью, друзей.

Ему уже не сиделось в Будапеште.

Сразу после завтрака он позвонил Шимону на службу и сообщил, что сегодня днем решил выехать в Прагу, что, по его мнению, теперь комиссия вполне может обойтись и без него. Поскольку он получил из пражского объединения телеграмму, ему ничего не остается, как подчиниться приказу, эта телеграмма его очень беспокоит. Текст протокола уже обсудили, осталось лишь начисто перепечатать его и потом послать к ним в объединение. А в основном ход переговоров отражен в примечаниях, он покажет их шефу и представит необходимую информацию, все остальное будет ясно из общих итогов.

Шимон был удивлен и никак не мог понять, почему такая спешка, ничего, мол, не случится, если Бендл уедет завтра или послезавтра, один день ничего не решает. Наконец, все-таки примирился с этим, заверил, что обязательно придет попрощаться, нет-нет, долго его не задержит, но должен же он Бендлу перед отъездом хотя бы пожать руку. Придет около двух.

Потом Бендл позвонил тете Лауре. Та, разумеется, еще спала, как же иначе, зачем ей вставать так рано, когда все время льет дождь. Шум дождя, как известно, убаюкивает, и под утро спится особенно хорошо.

Позвонил он и в диспетчерскую гостиницы и попросил передать в гараж, что через час хочет забрать свою машину, да, ту сероватую «эмбечку»[1] с пражским номером, после двенадцати он уезжает домой, счет оплатит наличными и просит выписать фактуру.

И начал упаковывать вещи.

«А как же Анико?» — подумал он. Надо, разумеется, позвонить ей и предупредить о своем внезапном отъезде. Попробовать ей объяс-

[1] Машина марки «шкода».

нить, почему он так спешит. У него нет причины от нее что-либо скрывать.

В бюро путешествий, где она работала, ему строго ответили, что Анико сегодня не будет. Она занята. Срочная работа, будет только завтра, можете, мол, позвонить.

Завтра? Завтра он уже будет весело шагать по Праге.

А не идет ли и в Праге дождь?

Бендл вернулся из гаража и застал в вестибюле гостиницы тетю Лауру. Он узнал ее издали, хотя на ней была совсем обыкновенная фетровая шляпка, похожая на каску, а не та, соломенная с букетиком бархатных цветов, лицо ее на этот раз выглядело еще круглее, еще добродушнее.

— Я уже здесь целый час тебя жду,— упрекнула она его с нарочитой строгостью.— И вчера вечером тоже сюда приходила, но не дождалась.

— Я сегодня уезжаю,— сказал он.— Времени в обрез...

— Ты опять раздражен,— сказала тетя с укором.— Если все начнут так дергаться, мир превратится в cvokhaus [1]. И ты этого хочешь?! Будто бог знает как важно, поедешь ли ты сегодня или завтра. Садись, отложи все спокойно на завтра и закажи кофе и коньяк. Чувствуешь, какое сегодня с утра низкое атмосферное давление?

Он послушно заказал кофе и коньяк и уселся в кресло напротив нее.

— Вы правы, тетя,— признался он,— часом позже, часом раньше, какое это имеет значение?

Тетя закурила свою любимую «фечке» и внимательно посмотрела на него сероватыми, словно выцветшими глазами.

— Что ты делал все это время, пока мы с тобой не виделись?

— Бегал, тетя, бегал... одна сплошная беготня.

— Ну, ну, этот твой образ жизни мне как-то не по душе...

— Понимаю,— сказал он подавленно,— но я иначе не умею и не могу.

— А что, если тебе сменить профессию?.. Приискать, пока еще не поздно, что-нибудь поспокойнее?.. Вроде должности лесничего, сторожа, кладовщика или библиотекаря? Что ты на это скажешь? Иначе в один прекрасный день из-за этой гонки будет у тебя инфаркт...

— Поздно, тетя, в моем возрасте не меняют профессию...

— В каком это ты таком возрасте? И что же тогда говорить мне, которой скоро стукнет восемьдесят? Никому об этом ни слова, но мне уже в нынешнем году исполнится восемьдесят... Вот это да! А ты совсем еще молодой человек, понимаешь? Молодой, надо только собраться с силами, распрямить плечи и немножко поухаживать за девушками.

И она засмеялась так заразительно, что и он не удержался от смеха.

— Этого я не могу себе позволить, тетя, я женат, у меня семья.

— Знаю, знаю,— закивала тетя головой.— Раз ты так считаешь, дело твое.— Кончив курить, тетя допила кофе и коньяк и спросила прямо: — Что же хорошего ты купил своим, если уж так много о них думаешь?

— Еще ничего... — признался он.— Я как раз собирался присмотреть для них что-нибудь в магазинах.

Тетя сразу оживилась, встала с кресла, взяла зонтик и направилась к выходу.

[1] Сумасшедший дом *(жарг.)*.

— Так идем,— приказала она,— все, что надо, купим на крытом рынке.

— У меня здесь машина,— сказал он.— Можно подъехать.

— Вот еще,— засмеялась она.— На трамвае быстрей.

По дороге она ему говорила о том, как важно, чтобы дома, когда приходишь вечером усталым после работы, был покой, чтобы можно было забыть о всех дневных хлопотах, отдохнуть в кругу семьи и окунуться в ее заботы.

— Но вы ведь живете одна? — прервал он ее бестактным вопросом, задумался о чем-то и брякнул первое, что пришло в голову.

— Во-первых, я не живу одна, понятно? У меня везде знакомые и друзья, куда бы я ни пришла, всюду,— сказала тетя, слегка повысив голос.— У меня и соседей много, если что-нибудь понадобится, они с удовольствием помогут... Только вот все время грохают дверьми... И это меня раздражает...

«Какая же она обидчивая»,— с улыбкой подумал он.

— Но я просто хотел узнать, как вы проводите время вечерами?

— Спокойно,— сказала она.— Всегда спокойно... Заварю себе чай, усядусь поудобнее в кресло, вытяну ноги, курю и решаю кроссворды... или слушаю музыку... по радио, у меня есть и пластинки... Чего мне еще надо?..

— И никогда вам не бывает скучно?

— Нет, никогда. Видишь ли, если человек привыкнет сам к себе, научится выносить свое обременительное присутствие, то потом уже никогда не скучает и ему не бывает грустно...

Крытый рынок оказался огромным сводчатым залом, похожим на бывший ангар или гараж для пожарных машин. Всюду магазинчики, ларьки, палатки, киоски, маленькие и большие, государственные, кооперативные или частные, с прекрасными товарами: фрукты и овощи, мясо и копчености — в общем, все, что душе угодно. Яблоки такие, что, глядя на них, сердце радуется — отборные, блестящие, а редиска так отмыта, будто она и в земле-то никогда не росла. Всюду невероятная чистота, и все ее поддерживают.

По рынку можно бродить с утра до вечера, и все время найдется на что посмотреть, чем полюбоваться. Тетя знала, куда ей надо идти, что и где купить, она обежала несколько магазинчиков, пока Бендл стоял поодаль, поговорила с продавцами на своем торопливом венгерском, и за считанные минуты сумка оказалась наполненной покупками.

— Все это возьмешь домой, — сказала она.— Пойдем теперь туда, вон к тому киоску, там перекусим что-нибудь, а потом я до геллера подсчитаю, сколько ты мне должен.

Пока им жарили душистые, словно домашние, копченые сосиски и разливали в бокалы белое вино, тетя записывала ему прямо на газете все, что потратила.

Они сидели за деревянным шатким столиком и с аппетитом уплетали на редкость вкусную еду, такой он еще никогда не пробовал, настроение было чудесное — наверно, молодое освежающее вино успело ударить в голову.

— А та колбаса наверху, в сумке,— объяснила тетя, когда доела сосиски,— в подарок от меня, я ее не засчитала, она для твоей жены.

— Зачем вы потратились, тетя?

— А как же? Ты ведь мне тоже привез подарок, а почему же мне нельзя? И скажи дома: живется мне хорошо, все у меня есть, пенсия приличная... А еще я иногда подрабатываю на нашем предприятии... Надо иметь кое-что и на праздники, понимаешь? Вообще скажи им, что я живу лучше всех.

Ему вдруг захотелось сказать ей что-то приятное:

— Тетя, вы замечательный человек...

— Ты тоже не самый плохой собутыльник...— засмеялась она.— Мы могли бы взять еще по кружечке... да здесь курить нельзя. А это не для меня!..

И как только переступила порог рынка, с нетерпением закурила сигарету.

На улице опять шел частый дождь, тетя открыла свой большой иссиня-голубой зонт, и они оба укрылись под его огромным сводом. Шли под руку, он нес сумку с покупками и зонт, тетя курила сигарету и шагала легко и весело.

— Давай споем,— предложила она.

— Ради бога не нужно,— испугался он,— я не очень-то умею петь... только мурлыкаю...

— Ну и мурлыкай... мне все равно,— рассмеялась тетя,— знаешь, скажем, вот эту.— И бодро затянула хриплым голосом:

Пойдем-ка, девица, в поход,
тебе там с нами повезет!

И он робко начал ей вторить:

И звезды золотые с неба будут падать,
ты мне одну из них подаришь...

Так шли они, распевая эту песенку, под проливным дождем к трамвайной остановке. Они с наслаждением тянули ее, словно пили сироп, и никому это не мешало, а им двоим и подавно...

Около двух часов дня все было уже упаковано и готово к отъезду. Он ждал Шимона в вестибюле гостиницы и был совершенно спокоен, не спешил, смирился с тем, что в Прагу ему до вечера не добраться. Переночует где-нибудь по дороге, утром встанет пораньше и как раз вовремя приедет на работу.

Шимон появился точно в два часа в стеклянных вращающихся дверях гостиницы с огромной коробкой под мышкой. А за ним вошла в вестибюль улыбающаяся Анико — хотя ее-то он совсем не ждал. Они нахлынули как половодье и сразу же начали извиняться, что где-то задержались — где именно, он недослышал, да это было и не важно — и что они привезли ему на память небольшой подарок. И тут же отдали ему объемистую коробку.

— Чтобы вы почаще вспоминали Будапешт,— сказали они.

Они заняли столик в вестибюле. Шимон сразу же заказал кофе и коньяк.

— Нет, извините, но коньяк я пить не стану,— сопротивлялся Бендл.— Я за рулем...

— Не хотите — не надо, мы вас не заставляем... воля ваша,— сказал Шимон.

Пока не принесли кофе, все молчали. Вдруг оказалось, что говорить-то не о чем, все как будто уже было сказано, все оговорено.

— Денек вы выбрали не самый удачный для такой дальней дороги,— начал было Шимон.

— Ничего, дождик — не помеха.

— Хотите еще сегодня успеть в Прагу? — спросила Анико приятным, мелодичным голосом, который он за эти дни успел полюбить.

— Возможно. Или где-нибудь по дороге переночую и дальше поеду уже утром,— ответил он с напускным спокойствием.— Там посмотрю...

— Я бы поехала сейчас с вами,— сказала она едва слышно и задорно добавила: — Разумеется, если вы не возражаете...

— Нет, что вы,— ответил он.

Шимон, конечно, по-чешски не понимал, поэтому в те короткие паузы, когда Анико его не переводила, она могла перекинуться с Бендлом словом.

— Вы рады, что едете домой? — спросил Шимон.

— А как же,— ответил Бендл,— я уже соскучился...

— Но в Будапеште вам ведь тоже было неплохо? — вмешалась Анико.

— Нет, конечно нет...

— Хорошо бы вам снова сюда приехать,— предложил Шимон.— Желательно, чтобы вы и подписывали договор...

— С радостью... но это от меня не зависит...

А как только Шимон на минутку отлучился позвонить по телефону, Анико доверчиво наклонилась и нежно положила Бендлу на плечо руку:

— Не грустите...

Он взглянул в ее широко раскрытые веселые глаза.

— Извините меня за вчерашний вечер,— сказал он,— я был невыносим.

— Не выдумывайте, вечер был прекрасный... с чего это вы взяли? Мне во всяком случае понравилось. Вы вели себя безупречно. Вот только в самом конце вечера... Вы как-то сникли... Но ничего...

— Именно за это извините меня. Да и свободного времени у вас много отнял... Отрывал вас от друзей...

— Вы уже это однажды говорили.— Она стала серьезнее, но еще улыбалась.— Что-то подобное я от вас слышала... Так вот, пожалуйста, не повторяйтесь, хорошо?

Шимон вернулся.

Они еще немного посидели, обменялись несколькими вежливыми фразами, поблагодарили друг друга за сотрудничество и выразили надежду, что скоро увидятся.

Потом проводили Бендла до машины — она стояла у входа,— положили в его чемодан подаренную огромную коробку, и Шимон крепко пожал ему руку.

Анико нежно посмотрела на него, поднялась на цыпочки и чмокнула в щеку.

Бендл машинально сел за руль, включил зажигание, медленно, привычным движением выжал сцепление, переключил скорость, и машина тронулась. Он сразу оказался в густом потоке автомобилей на главной улице и еще раньше, чем дали зеленый свет, торопливо махнул им рукой.

Они стояли рядом на тротуаре под дождем и натянуто улыбались. Казалось, они случайно встретились и тут же расстанутся. Мимо них двигался поток людей, цветные зонтики словно плыли под дождем.

И серая «эмбечка» уезжала непогожим днем в длинной веренице машин, «дворники» очищали ветровое стекло от капель дождя.

«Неужели и в Праге идет дождь?» — снова пришло ему в голову.

6

Самые неприятные дни лета — холодные.

Когда уже привыкнешь к теплу и даже к жаре, к духоте по ночам, и вдруг ни с того ни с сего повеет откуда-то холодом, и станет вдруг зябко, как поздней осенью.

Всю ночь, пока он ехал к границе, лил дождь, с полей и лугов несло сыростью; густой туман поднимался на его пути. Когда лента шоссе ныряла вниз, туман редел, рассеивался, открывая проезжую часть дороги.

Деревни и маленькие города, через которые он проезжал, под проливным дождем напитались влагой, трактора пятнали асфальт рыжей грязью с полей, немногие встречавшиеся ему люди были в плащах или под зонтиками: выходить из дому в сырость и слякоть мало кому хотелось.

И на государственной границе таможенники, прикрываясь тяжелыми от дождя брезентовыми накидками, осматривали машины бегло. Они даже не улыбались как обычно, должно быть, тоже подумывали о тепле под крышей или о чашке горячего кофе. Почему-то привлекла их большая коробка, которую принес ему перед отъездом Шимон. Но он и сам не знал, что в ней. Пришлось выйти из машины и под дождем надорвать упаковку. Кофеварка. Большая, красивая кофеварка, сразу на всю семью. Он сказал, что это подарок, и добавил, от кого именно. Таможенник махнул рукой и шлепнул печать на декларацию.

Когда он подъезжал к Братиславе, дождь кончился; низко над землей висела большая черная туча, а кругом все блестело от влаги. И откуда-то, будто из недр далеких северных гор, тянуло холодом.

Ехал он медленно, не торопясь, ведь у него было столько времени.

Он решил до наступления темноты добраться до Брно и там немного отдохнуть, а главное — поужинать: после того, как они съели на рынке по копченой сосиске, у него во рту не было и маковой росинки. А если почувствует усталость, там и заночует. Спокойно проведет вечер, пораньше ляжет спать и, наконец, выспится.

Но ни в одной гостинице Брно не нашлось свободного номера, а в пасмурный день темнело быстро.

Город казался ему слишком людным, всюду было полно иностранцев, здесь, наверное, проходила какая-то международная конференция или большая спортивная встреча. В конце концов он был даже рад, когда выбрался из оживленного центра с его неоновой пестротой и людской толчеей на городскую окраину.

Ему посоветовали проехать еще несколько километров по автостраде и там в мотеле переночевать.

И снова перед ним была лента асфальта, а пространство по обеим сторонам шоссе с ивняком вдоль ручьев, казалось, сливалось с густеющими сумерками.

Он проезжал по затихшим деревням; на небольших площадях раскачивались фонари, а дома стояли погруженные в полумрак: свет в окнах еще не зажигали.

В наступивших сумерках ему отчетливо виделись залитые солнцем улицы Будапешта, гладь мерно текущего зелено-голубого Дуная с его набережной, где под вечер на ступеньках собирается молодежь, уютные маленькие кафе с яркими пестрыми зонтами над столиками в скверах, полных цветов, оживленный перекресток перед гостиницей, нескончаемые потоки машин, фасады светлых домов, в верхних этажах которых отражалось солнце, из-за чего весь город выглядел слегка бутафорским, напоминал театральную декорацию...

Там он провел несколько безрассудно-счастливых дней. Конечно, он будет всегда их помнить и мысленно возвращаться к ним так же, как люди любят возвращаться в те места, где они что-то открыли для себя и в себе самих...

Места, которые он проезжал сейчас, становились все более тусклыми; напитавшись влагой, они теряли свои яркие краски, все окутывала серая пелена — признак холодного вечера.

Мотель был почти пуст, по крайней мере так казалось, судя по числу машин на стоянке и по безлюдной столовой.

Номер, в который его поселили, был хорошо проветрен, современно обставлен, с узким балконом и окном, выходившим в лес.

Он умылся, привел себя в порядок и пошел ужинать.

В ресторане — два зала: в первом, где находился бар, посетители сидели в полутьме при свечах, а во втором, большем,— за столиками, покрытыми белыми скатертями,— при обычном электрическом освещении.

Он остался в первом зале — наверное, потому, что ему был приятен полумрак, он с детства любил восковые свечи с их мерцающим светом.

Миловидная официантка с крутыми бедрами, в короткой юбке двигалась, словно пава, между столиками на своих длинных ногах, провожаемая взглядами мужчин.

Он заказал себе ужин и пиво, за эти несколько дней он соскучился по хорошему пльзеньскому пиву. И сразу же зажег обе свечи, стоявшие на его столике, и наблюдал, как они разгораются, потрескивают и отбрасывают тень на стену.

Сумерки за окном становились все гуще, небо темнело, а может быть, так казалось отсюда, из плохо освещенного ресторанного зала. Внизу, под каменной террасой, где стояли опустевшие деревянные столики, виднелась блестящая полоса автострады. Одна за другой мчались по ней машины, свет от их фар скользил по лугу и по живой зеленой стене у самой дороги и исчезал в низких порослях леса.

Одна из свечей горела плохо; короткий фитиль утопал в расплавившемся воске. Бендл развлекался, пытаясь поднять фитилек обгорелой спичкой, поддержать угасающее пламя.

Официантка принесла ему только бутылку пива и столовый прибор; устало улыбаясь, бросила через плечо: «Еще немного терпения».

Он налил себе пива в стакан и с удовольствием выпил, почувствовал вдруг, как он устал. Не дождавшись, пока официантка принесет отбивную, выпил всю бутылку. Заказал еще одну. А почему бы не заказать — после пива хорошо спится.

Кто-то за его спиной включил автоматический проигрыватель и набросал туда столько монет, что автомат играл одну песенку за другой.

«Розы, смотри, расцветают...» — нежно выводила певица, а за одним из столиков женский голос тихонько ей подпевал.

К мотелю подходили машины, было слышно, как они объезжают здание, чтобы занять место на стоянке позади него. Ресторан постепенно заполнялся.

При тусклом освещении Бендл вряд ли бы узнал вошедшего, возможно, они вообще не обратили бы друг на друга внимания. Но Бендл узнал его по голосу — достаточно было услышать несколько слов, сказанных одному из спутников при входе в ресторан. Он и его спутники заглянули сначала в первый зал, где все места были заняты, и в нерешительности остановились у входа во второй, обеденный.

Это был не кто иной, как Виктор.

Бендл окликнул его по имени, Виктор обернулся, а его спутники прошли в ярко освещенный зал.

— Какими судьбами? Вот сюрприз!

Сразу все выяснилось: Виктор со своими сослуживцами ехал в Братиславу, где у них завтра утром переговоры. Путь далекий, они остановились, чтобы поужинать.

Бендл предложил ему поужинать вместе. Со своими попутчиками он еще наговорится в машине, по дороге в Братиславу.

К Виктору он испытывал давнюю привязанность, считал его способным человеком, опытным работником, не раз восхищался его дальновидностью в сложных торговых переговорах. Он ценил его искренность, его неуступчивость и упорство, с которыми тот иногда отстаивал свое мнение. Ему совсем не мешала его известная всем медлительность, постоянная мишень для насмешек сослуживцев.

Но сколько Бендл знал Виктора, тот всегда был человеком объективным, умел на все смотреть как бы со стороны, без личной предвзятости.

Едва Виктор сел за столик и пламя свечей осветило его добродушное лицо, казавшееся теперь смуглым, Бендл засыпал его вопросами.

Ему не терпелось узнать, что у них нового на работе и что там, собственно, происходит. Виктор смущенно улыбался, но отвечал, как ни странно, спокойно, без волнения:

— В общем, ничего. По крайней мере, я ничего не знаю. Тебе, думаю, известно столько же, сколько и мне...

— Что там, за рубежом, можно узнать!..

— Будто бы что-то готовится,— говорил Виктор, с удовольствием принимаясь за еду.— Идут разговоры...

— Какие разговоры? О чем?

— Да так,— тянул Виктор, тщательно пережевывая недожаренное мясо.— Видимо, что-то будет...

— Что? Ты не знаешь ничего более определенного?..

Виктор отложил прибор и тщательно вытер рот салфеткой.

— Послушай,— сказал он спокойно.— У меня своя работа, и ее все равно никто за меня не сделает... Но раз уж мы об этом заговорили, я думаю, любые перемены у нас в объединении были бы к лучшему... Пошли бы на пользу...

— А может, и нет...

— Я, по крайней мере, так считаю,— продолжал Виктор.— Если ты имеешь в виду шефа, и ты, в конце концов, можешь думать о нем что угодно... только надо быть объективным. Шеф—пожилой человек, пенсионный возраст. Он, наверное, не может дать много нашему объединению... Самое большее — поддержать лишь то, что срабатывает само собой, по инерции. А сейчас этого уже, черт возьми, мало...

— Ты не слышал случайно ничего обо мне?

— О тебе? Нет, о тебе ничего... Нет, подожди, что-то все-таки было... Кто-то в чем-то тебя обвинял, но я уже не помню кто... Наверное, ничего серьезного...

— Вспомни, пожалуйста, это для меня очень важно...

В дверях зала Виктора ждали оба его спутника. Автомат за их спиной по-прежнему играл избитые мелодии. Виктор уже попрощался и собирался уходить, как вдруг задумался, что-то припоминая.

— Это не имело отношения к Будапешту? — Бендл пытался помочь Виктору.

— Нет-нет.

Они попрощались, Виктор направился к своим коллегам, но вдруг обернулся и сказал:

— Вспомнил!.. Это Нейтек, он у нас недавно, ты его наверняка знаешь. Это все ерунда... Ну, всего!..

Бендл видел, как все трое, оживленно беседуя, прошли по освещенной террасе и сели в машину. Машина тронулась и вскоре выехала на ровную полосу автострады.

Он решил перед сном немного пройтись, подышать свежим вечерним воздухом и отвлечься.

Было самое время уйти из ресторана: не слишком рано и не слишком поздно. Он рассчитался с услужливой официанткой и спустился на террасу.

Там было и в самом деле холодно, холоднее, чем он предполагал, а может быть, так ему показалось потому, что он вышел из уютного, теплого помещения.

По привычке он посмотрел на небо, оно было светлее, чем верхушки деревьев, а в широких прогалинах между облаками мерцали звезды. Природа, видимо, «образумилась», погода улучшилась, но особых надежд на потепление все еще не было.

Он шел вдоль глубокого кювета, заросшего травой, но почти не видел дороги: ослепляли фары встречных машин, идти было опасно.

Он свернул на узкую проселочную дорогу, ведущую через еловый лесок куда-то в поле, где было тихо и пусто.

Как только он миновал лес, вечерние сумерки рассеялись: здесь было намного светлее и воздух прозрачнее.

Впереди тянулась аллея из фруктовых деревьев, видимо черешен, яблонь и слив, белыми пятнами маячили столбы, и откуда-то издали доносился слабый собачий лай.

Прибавив шагу, он шел навстречу порывистому и все усиливающемуся ветру.

Даже по тому немногому, что ему сказал Виктор — хоть тот и не хотел особенно распространяться,— было ясно, что в объединении предстоят перемены. И та телеграмма от Нейтека, да и сам Нейтек...

Нейтек в этой истории играл, несомненно, важную, если не главную, роль. Сумел воспользоваться его отсутствием и направить удар против него. Но зачем он все это делал? Во имя чего? Может быть, это сулило ему какую-то выгоду? Или, может быть, он оборонялся и бил без разбору куда попало?

Разумеется, всегда виноват тот, кто отсутствует; он не может себя вовремя защитить...

Дорога пошла под уклон, из-за деревьев появилась табличка с названием деревни.

Там только что зажглись фонари и осветили по обеим сторонам дороги густую зелень в садах, белые каменные домики с цветочками в окнах, недостроенные кирпичные стены еще в лесах, большой хозяйственный двор со стоящими там тракторами и прицепами и темными длинными строениями без окон, по-видимому амбарами и ригами.

На лавочке перед магазином самообслуживания сидело несколько девушек, прижавшись друг к другу. Одна из них играла на гитаре и слабеньким голоском напевала:

...розы, смотри, расцветают,
розы цветут для тебя...

Когда он поравнялся с ними, они замолкли и наблюдали за ним, пока он не прошел мимо. Потом вдруг громко засмеялись, наверное в ответ на чью-то реплику.

Деревня была меньше, чем представлялась ему сначала: пройдя совсем немного, он оказался на ее краю. В гараже около последнего домика, освещенного большой подвесной лампой, кто-то ремонтировал машину, приподняв капот.

Женский голос из дома поторапливал:

— Ужин на столе!..

— Сейчас... Мне надо кончить.

Он медленно пошел назад по деревне. Девушек у магазина уже не было, лавочка была пуста. В домиках вдоль шоссе загорались лампочки; люди, наверное, садились ужинать. В окнах он увидел голубоватые

экраны телевизоров, холодно освещавшие стены комнат, и подумал: «Неплохо живут, у них есть, собственно, все, что им нужно... а кроме того, покой, чистый воздух... Они, наверно, живут более здоровой жизнью, чем мы, горожане...»

Когда он проходил по деревне, во всех дворах по обе стороны дороги исступленно лаяли собаки.

Небо над головой прояснилось, теперь оно казалось выше, холоднее, было полно ярко светивших и мерцающих звезд.

Он снова и снова обдумывал события, которые могут ждать его по возвращении, будто внимательно рассматривал все под микроскопом, но многое для него оставалось неясным.

«Утро вечера мудренее»,— сказал он себе.

7

Вечерняя прогулка по полям пошла ему на пользу, и когда он вернулся в мотель, в свой номер, он мечтал лишь о сне, о крепком, спокойном сне.

Он только боялся кроватей в отелях: до чего же они надоели за годы бесконечных командировок. Сколько кроватей он видел, на скольких спал, хорошо ли, плохо ли — он уже не помнил, наверное, плохо, что за радость спать все время в разных местах на разных кроватях.

Но здесь, в мотеле, кровать оказалась сносной, почти новой, с жестким матрасом и едва заметным возвышением у изголовья, постельное белье пахло свежестью, а может быть, стиральным порошком, и ему захотелось поскорее лечь.

Он зажег около постели лампочку, лег, раскрыл книгу, решил немного почитать перед сном, пока не одолеет усталость.

Книга интересная, но довольно сложная и трудная, в нее нужно вникнуть.

Ему с трудом удалось сосредоточиться, и он начал читать:

«Живая материя состоит из большого количества элементов или подсистем. У каждой из них свое управление и свои функции, у каждой свой вход и выход...»

Вспомнил, как они с Анико, насквозь промокшие, спустились в метро и ехали в смешном, словно игрушечном вагоне, где медные ручки и поручни были начищены до блеска, а на каждой станции мелькали надписи: «Bejárat», «Kijárát».

Анико переводила: «приход» и «выход». Он поправил ее — «вход» и «выход», но Анико настаивала на своем.

Попробовал читать дальше:

«Всякая энергия, всякая информация имеет свой вход и выход. В промежутке между входом и выходом происходит ее преобразование, обработка и накопление...»

Попытался представить себе, какой обработке подвергается информация между входом и выходом.

Но это ему не удавалось, вспоминался все тот же разболтанный, переполненный вагончик метро, где они с Анико стояли стиснутые, прижатые друг к другу, в мокрой, прилипшей к телу одежде, почти как нагие.

Анико продрогла, но задорно улыбалась, и казалось, что она вот-вот скажет: «А что, если это станет возможным?»

И опять замелькали ярко освещенные вестибюли станций.

Он заставил себя не вспоминать об этом и продолжал читать:

«...любая информация исключает неуверенность...»

Неуверенность, не-уверен-ность... выстукивают колеса вагона по гладкому металлу рельсов.

Неизвестно, что будет впереди, какие неожиданные трудности, чего он еще добьется...

И снова, как тогда в кафе отеля, в зеркале отражается его бледное, усталое лицо рядом с молодым и цветущим лицом Анико...

Побывает ли он еще когда-нибудь в Будапеште?..

Неуверенность во всем: в том, что будет завтра, послезавтра, неуверенность в своем будущем...

Точно такое же ощущение бывает, когда едешь холмистым краем в солнечный знойный день, а внизу от земли поднимаются потоки колеблющегося прозрачного воздуха, и до самого горизонта все кажется зыбким... а позади только реальное прошлое...

Командировка в Будапешт тоже уже в прошлом, нечего бояться воспоминаний о ней...

Завтра...

Что будет завтра?

Утро вечера мудренее.

Он уснул над раскрытой книгой, даже не погасив лампочку.

Где-то звонко рассмеялась женщина, смех все ближе, ближе... и вдруг оборвался. С грохотом захлопнулась дверь, снова раздался тот же звонкий смех, и все замолкло.

Внизу под террасой кто-то тщетно старался завести машину, но мотор барахлил: захлебывался, фыркал, потом поперхнулся, несколько раз громко чихнул и заглох.

Потом раздались голоса и пение, внизу в баре надрывался музыкальный автомат, звучали все те же избитые мелодии.

Он внезапно проснулся, сощурился от света лампочки и не сразу понял, где он и откуда этот шум. Со злостью погасил свет, повернулся на бок и снова попытался заснуть.

По автостраде один за другим проезжали тяжелые грузовики с прицепами, шины со свистом скользили по асфальту, как по стеклу; тормоза скрипели, а прицепы, пронзительно взвизгивая, чуть ли не становились на дыбы. От автомобильного грохота, как от порыва ветра, дребезжали стекла.

Наступила ночь. Движение на улицах Брно затихло, и водители грузовиков спокойно отправились в путь; теперь грузовики-гиганты уже не мешали движению, ночь — лучшее время для дальних рейсов.

Неуверенность, не-уверен-ность... все еще звучит в ушах стук колес по звонкому металлу рельсов, а шины грузовиков-гигантов, со свистом скользящие по шоссе, вторят ему тоном выше, протяжно и жалобно, словно стонут.

Анико в светлом платье бежит по набережной, она свежа, прозрачна и легка, как стрекоза, в движении ее ног есть что-то смешное, у нее веселое, по-детски озорное лицо... Анико издали что-то кричит, но ничего не понять, слышен только легкий плеск набегающих на камни волн.

Он нетерпеливо ждет, не спускает с нее глаз, тянется к ней, пытается поймать, удержать ее, не дать ускользнуть...

Над рекой, в голубоватом утреннем тумане, вырисовывается четкий контур заново отстроенного моста Эржебет...

Маленький пароходик, попыхивая, подходит к пристани и долго причаливает; его ждет толпа людей, все рвутся за город, на прогулку...

Пароходик гудит жалобно и протяжно, словно зовет на помощь. Потом медленно выплывает на середину реки и опять спокойно рассекает плещущие волны.

Анико куда-то исчезла, ее нет, она уже не бежит по пустынной набережной...

Какого, собственно, цвета Дунай?

Голубой? Желтый? Серый?

А может быть, его цвет меняется каждую минуту в зависимости от солнца, погоды, времени дня...

Чаще всего Дунай голубовато-серый.

Еще вчера он был уверен в своем завтрашнем дне, в светлом и спокойном будущем и в том, что жизнь его потечет гладко и размеренно, без всяких опасных поворотов. Его ждет благополучие, которое приходит со зрелостью: небольшие радости и скромные успехи на работе, постепенное продвижение по службе, квартальные премии, доброжелательное отношение сослуживцев и уютный дом, где он, окруженный заботами жены, будет отдыхать, возвращаясь из заграничных командировок, после большого нервного напряжения, бесконечных переговоров и совещаний.

Только в последнее время он вдруг начал сознавать, что все далеко не так безоблачно, как казалось, может произойти что-то непредвиденное, могут иначе сложиться обстоятельства, и у него появятся такие трудности, которые осложнят его жизнь, и ему придется принимать серьезное решение...

Так же, как несколько последних лет, пролетят и последующие годы, не успеешь оглянуться — и уже пора думать о пенсии, о том, что делать на старости лет, куда себя деть, чем жить...

А он, как и в молодости, все еще ждал от жизни бог весть чего, ему не терпелось дождаться завтрашнего дня, который, быть может, принесет неожиданности, радости, надежды...

Правда, порой одолевала усталость, сказывалась постоянная спешка, а может быть, и бесконечная смена впечатлений минувших лет.

Помнится, в юности он мечтал стать музыкантом, играть в оркестре.

Родители заставляли его учиться играть на скрипке, и вот он усердно занимался у чудаковатого дирижера местного оркестра... И тот не переставал твердить, что при желании он добьется большого успеха, и всегда говорил, что мальчик очень одарен, у него незаурядные способности.

Однако талант по-настоящему развивается только в сочетании с усердием, настойчивостью, методичностью, а это встречается довольно редко. Способности у него оказались средними, их бы развивать и совершенствовать, а ему как раз и не хватило упорства и подлинной увлеченности. Так что радужные надежды на музыкальную карьеру не оправдались, мечты рассеялись сами по себе и постепенно забылись. Говорят, что способности есть у каждого второго, но не всякому удается раскрыть их.

Вообще без способностей на любом поприще не обойтись: талантливый человек всегда берет от жизни больше других, и творческая отдача у него в любом деле больше. И так во всем — физическом ли, умственном ли труде или в сфере торговли.

Когда-то ему советовали устроиться в оркестр — мол, у каждого музыканта надежное будущее. В оркестре всегда спокойнее: если ты вдруг собьешься, можешь быть уверен: остальные тебя не оставят, поддержат, помогут снова вступить. В оркестре каждый растет, совершенствуется и добивается мастерства.

Вот и теперь он считал, что надо было поступить в оркестр и попытаться сыграть самую трудную партию... Он бы с ней наверняка справился... коллеги пришли бы ему на помощь, в хорошем ансамбле он бы с этой партией справился...

Сон никак не приходил; казалось, он вот-вот заснет, но достаточно было самого незначительного шороха — порыва ветра за окном,— и какие-то неопределенные мысли возвращались снова.

Однажды он со своими друзьями был на загородном стадионе, где проводились мотогонки; гонщики мчались по ровной дороге с бешеной скоростью — захватывающее, интересное зрелище, но самое удивительное, что, даже перелетев через руль, они тут же поднимались и мчались дальше, как будто ничего и не случилось. Один из гонщиков, претендент на первое место, почти перед самым финишем не удержал руль и вылетел на обочину, несколько раз перевернулся через голову, тут же вскочил на ноги, сел на мотоцикл, догнал лидеров и чуть не пришел первым.

«Как это им удается?» — удивился он.

«Надо знать, как падать,— пояснили ему.— Самое главное — уметь падать...»

Да, надо прежде всего научиться падать, падать так, чтобы не переломать себе кости, не свернуть шею.

Кто умеет падать, тот преодолеет любое препятствие, того не пугают непредвиденные трудности, не страшит завтрашний день.

В любой сложной ситуации существует множество решений, но два из них наиболее вероятны, выбирать надо самое трудное, самое неприятное, самое непредвиденное. Да, самое непредвиденное... Чтобы потом не было ненужных разочарований.

А преодолеть препятствие — это и значит чего-то добиться... Скажем, сыграть в оркестре самую сложную партию...

Наконец он совсем успокоился. Напряжения прошедшего дня как не бывало, все тревоги показались пустыми, выдуманными. Словно он освободился от непонятной тяжести и был рад, что все осталось так, как есть.

Что бы тетя Лаура сказала обо всем этом? Упрекнула бы за то, что он вдруг испугался за свое благополучие, за привычный уклад жизни, за свое будущее... Воспоминания о тете придают сил, они такие светлые...

Тетя Лаура — оптимистка, любит жизнь, умеет радоваться каждой мелочи, каждой минуте счастья.

«До чего хорошо заводить новые знакомства,— говорила она,— интересоваться людьми, принимать участие в их судьбе, вглядываться в них, как в незнакомые бескрайние просторы».

«Чего же мне еще надо? — убеждала его тетя Лаура,— куда ни приду, везде у меня друзья... Самое интересное в жизни — люди... что у них на душе, что в них хорошего, что их занимает... Такие ли они на самом деле, какими кажутся...»

Тетя Лаура открывала иссиня-голубой зонтик, такой большой, что он заслонял все свинцовое небо, и под ним становилось тепло и уютно, как дома, хотелось петь.

«Надо не только воспринимать и накапливать информацию,— подумал он сквозь сон,— но и уметь жить...»

Синий зонтик над головой подхватывается ветром, раскачивается и медленно поднимается, тетя идет рядом и напевает прокуренным голосом:

...и звезды золотые с неба будут падать...

Синее небо с мерцающими звездами качнулось, наклонилось и падает с высоты вниз, словно тонкая вуаль застилает глаза и навевает сон.

Едва слышно стучит по стеклу дождь...

По мокрому шоссе свистят покрышки огромных колес, грузовики, один за другим, сохраняя интервалы, уносятся вдаль.

8

К полудню он добрался до Праги, до знакомой улочки, где всегда оставлял машину, и, заперев ее, медленно пошел назад, к высокому серому зданию объединения, ставшему за эти годы его вторым домом. Снаружи оно выглядит так, будто в нем нет жизни, почти все окна закрыты, только наверху, в кабинете директора, за распахнутой створкой колышется прозрачная штора.

«Внешнее впечатление обманчиво,— говорил он себе.— В этом доме жизнь бьет ключом. Заключаются контракты, дребезжат телефоны, у людей сдают нервы, и никто не хочет да и не может заниматься личными делами других...»

Когда он вошел в здание через главный вход, на него пахнуло знакомым острым запахом — то ли горелой резины, то ли натертого линолеума, а скорее всего каким-то дезинфицирующим средством, которое, видимо, пропитало стены.

Дежурный выглянул из своей будки и широко ему улыбнулся, ослепительно сверкнув искусственной челюстью:

— Давненько вас не было видно, пан Бендл!

— Я был в командировке... Только что приехал — и прямо сюда...

— Далеко были?

— Да нет... в Будапеште...

Он вошел в лифт и нажал кнопку третьего этажа.

Вдруг он почувствовал себя плохо — сжалось сердце, на какое-то мгновение закружилась голова... Устал за долгую дорогу.

Лифт резко дернулся и остановился. Он вышел, закрыл как следует дверки.

В коридоре стояла непривычная тишина, и он никого не встретил.

За стеклянными дверьми то там, то здесь раздавались приглушенные голоса, слышалось постукивание пишущих машинок, где-то в конце коридора безнадежно звонил телефон...

Сначала он зашел в секретариат, взял почту, но из пяти машинисток застал здесь только одну, уже не первой молодости, пани Соучкову, которую все, неизвестно почему, звали только по имени — Адела.

Адела поливала пестрые цветы в ящичках за окном, скорее всего бальзамины, они хорошо росли — видимо, потому, что окна секретариата выходили на солнечную сторону.

Когда он вошел, она обернулась, держа в руках чайничек, и посмотрела на него с участием.

— Наконец-то вы здесь,— сказала она.— Вас все искали.

— Искали? Почему?

— Да так,— проговорила она неопределенно.— Все время вас кто-то спрашивал.

— А где все? Куда все подевались?

Она поставила чайничек на пол около стола, вышла ему навстречу и тихо, доверительно сказала:

— Все на совещании в конференц-зале. Приехал кто-то из министерства...

— А, черт,— вырвалось у него.— Вы не знаете — о чем совещание?

— Я не могу этого сказать,— ответила она с досадой, хотя, возможно, что-то и знала.— Хотите кофе?

— Нет, спасибо. Может быть, я должен туда зайти...

— Как вам будет угодно,— сказала она.— Им пора бы уже закончить... Совещание началось в девять...

Он посмотрел на часы. Было без четверти двенадцать.

— А кто меня, собственно, искал? — спросил он.

— Многие... Больше всего вами интересовался Нейтек, ведь вы его знаете...

Он молча кивнул, взял почту и направился к себе.

Когда он снова вошел в кабинет, где много лет работал, и посмотрел, все ли здесь в порядке, он опять почувствовал слабость, как в лифте. Должно быть, оттого, что здесь душно, давно не проветривали. Он открыл окно настежь, и вместе с теплым воздухом в кабинет ворвался грохот улицы, заглушивший оживление в коридоре: группки людей, в основном его сослуживцы, выходили из конференц-зала. Совещание окончилось, они громко разговаривали, но из-за шума на улице ничего нельзя было разобрать.

Следовало бы выйти и поздороваться. Но как они его встретят? Может быть, именно они его в чем-то обвиняли? Кто знает, что им о нем наговорили. А может быть, наслушавшись вздору, будут смотреть на него подозрительно. Сам он вряд ли сможет себя защитить. Ведь он понятия не имеет, что произошло, какие слухи о нем распустили. Не может же он выйти в коридор и сказать: «Это неправда!» — если сам ничего решительно не знает.

Он бы с удовольствием с ними встретился, как прежде, когда возвращался из командировок, но сделать это сейчас не решался.

Он сидел за столом, чувствуя усталость, и рассеянно просматривал накопившуюся за его отсутствие почту.

Телефон на его столе резко зазвонил.

Звонила Адела. Товарищ Нейтек просит его зайти.

Все в нем воспротивилось этому. Какого черта он его приглашает к себе? Если он хочет что-то ему сказать, может прийти к нему сам. Нейтек ему не начальник, работает в другом отделе, занят главным образом административной работой и, следовательно, приказывать ему не может.

Он позвонит Аделе и скажет, чтобы она передала Нейтеку: если тот хочет с ним поговорить, пусть соблаговолит зайти к нему сам.

Но он этого не сделал: обострять отношения не хотел. Да и любопытно, что же все-таки стряслось, пока его здесь не было. Что, собственно, Нейтек от него хочет.

Он не торопясь взял из шкафа мыло и полотенце и пошел в туалет привести себя в порядок. Вымыл руки, лицо, а причесывался так, будто готовился к очень важной встрече.

Увидев в зеркале свое побледневшее, осунувшееся, измученное лицо, он снова почувствовал тошноту, как в лифте. «Пусть подождет,— подумал он, освежаясь холодной водой.— Он хочет, наверное, преподнести мне очередную гадость...»

Нейтек тем и отличался, что умел с особенным удовольствием сообщать людям всякие пакости. Иногда его новости были заведомо лживыми и становились еще более мерзостными оттого, что излагались с милейшей улыбкой. Он как будто наслаждался тем, что избранная им жертва, раненная в самое уязвимое место, теряет самообладание и никнет, и он не мог скрыть своего злорадства.

— Слушай, Бендл,— сказал он ему недавно, когда они случайно проходили вместе по узкому коридору к лифту,— говорят, что у тебя шашни с Аделой... Будто вас кто-то видел...

— Глупости. Кто мог это сказать?

— Я слышал это,— улыбнулся он.— Будь осторожен... Представь, если дойдет до жены... Что ты связался с секретаршей...

Разумеется, глупость. Совершеннейшая глупость. Адела жила одна, где-то снимала комнату; наверное, раньше была хорошенькой, но молодость, увы, прошла, она потеряла надежду выйти замуж. В общем, милая, скромная, даже немного забитая. Ему было ее жалко, и он, возможно, когда-то и разговаривал с ней дружески, участливо, не больше. И не смотрел на нее так хмуро, как другие.

— Ты связался с секретаршей,— ухмылялся Нейтек.

Неприятно и унизительно.

Бендл мог бы на все махнуть рукой и не расстраиваться, если бы не опасение, что Нейтек и дальше с удовольствием будет разносить этот вздор по всему объединению.

Очевидно, за подобными выпадами, «проказами» он скрывал собственные слабости — и прежде всего чувство неполноценности, которое неизбежно должно было у него возникнуть из-за его непоследовательности и вечной неудовлетворенности работой.

Как все люди, неуверенные в себе, он не мог открыто признать, что совершил оплошность, дал маху, ошибся. Спорил с пеной у рта, лавировал и выкручивался, только бы не признать, что был неправ. Допустив промах, он становился землисто-серым, еще больше ожесточался, крушил всех и вся без разбору. Взгляд его голубых глаз делался стальным, он смотрел враждебно, с ненавистью, исподлобья. «Бендл будет говорить, что я манкирую своими обязанностями,— голос его срывался и временами переходил в злобное шипение.— Пусть при всех открыто скажет, что я, может быть, не выполнил свои обязательства... Но пусть тогда скажет, какие именно... Пусть он сам подумает о том, кто из нас не проявил должной принципиальности... Кто из нас нарушил установленные сроки!..»

Это была невыносимая демагогия.

Нейтек умел ловко выйти сухим из воды, обелить себя и сразу ринуться в наступление. Он делал вид, что не понимает критических замечаний, адресованных ему и только ему, мгновенно реагировал, направляя их острие в адрес своего противника — на кого же еще, как не на своего противника.

...Когда Бендл зашел к себе, чтобы положить мыло и полотенце, на его столе трезвонил телефон, но пока он приблизился к нему, звонки прекратились.

И он отправился к Нейтеку.

В коридоре он встретил нескольких знакомых, они, видимо, направлялись в столовую, на обед, на ходу поздоровались, один из них, как только прошел мимо, сказал коллеге: «Смотри, Бендл уже вернулся...»

Бендл постучал в дверь кабинета Нейтека, и оттуда сразу же послышался глухой голос:

— Да...

Нейтек, видимо, ждал его. Мгновенно встал из-за стола, вышел ему навстречу. С преувеличенным усердием потряс ему руку.

— Ну, как съездил? — спросил он.— Как все прошло?

— В общем, неплохо,— ответил Бендл.— Пришлось попотеть. Все не так просто, как думают у нас в главном управлении...

Нейтек расположился за своим столом, и его гладкое, лоснящееся лицо, как обычно, растянулось в широкой, бодрой улыбке, он будто таял от радости, что видит своего коллегу. А тот тем временем присел на стул, как случайный посетитель.

Кабинет у Нейтека был тесный, второй стол вряд ли бы здесь уместился. Да и намного темнее, чем помещения на другой стороне коридора, а единственное окно выходило на задний двор. Почти вся

мебель была темная. Всюду разбросаны кипы газет, журналов, проспектов и бог знает чего...

— Жаль, что тебя здесь не было,— сказал без какого-либо вступления Нейтек, руки его беспокойно скользили по краю полированного стола.— Здесь вершились большие дела!

— Большие дела? — удивился Бендл.— Так сразу, неожиданно...

— Сразу... неожиданно...— досадливо повторял Нейтек.— Будто ты не знал, что все в подвешенном состоянии... вопрос только времени — когда и как все это произойдет...

— Если я правильно тебя понял, уже решено...

— Более или менее решено...

— А что я мог бы во всем этом изменить?

Нейтек, беспокойно поигрывая карандашом, механически вычерчивал каракули на открытой странице блокнота.

— Я хотел бы с тобой поговорить до того, как ты пойдешь к шефу...— с явным усилием проговорил он.

— Но я не иду к шефу... Сегодня я к нему не собираюсь...

— А ты должен бы к нему пойти...

Он глянул на Нейтека и понял, что тот нервничает. Неожиданно им овладело чувство отвращения к Нейтеку, чувство, которое росло, становилось нестерпимым.

— А зачем я должен к нему идти? Скажи, черт возьми, зачем! — невольно повысил Бендл голос.

— Я не компетентен обсуждать с тобой столь важные мероприятия,— сказал Нейтек уклончиво.— Лучше всего будет, если ты пойдешь к шефу сам... Пока он еще здесь.

— Как это понимать — «пока он еще здесь».

— Так, как я говорю. Ты понял правильно.

Нейтек придвинулся к нему ближе, немного успокоился: самая трудная часть разговора была позади. Он неожиданно встал, выпрямился. Из полурасстегнутого пиджака смешно выпирало круглое «пивное» брюшко. Нейтек стоял и, казалось, ждал, когда его гость тоже поднимется, чтобы он мог закончить разговор.

— А телеграмма, что ты мне послал в Будапешт? — спросил Бендл волнуясь.— Зачем ты ее отправил?

— Я хотел, чтобы ты приехал,— сказал Нейтек.— Ты мне был нужен здесь.

— Не понимаю,— ответил Бендл и медленно, нехотя встал.— Именно ты по мне соскучился?..

Они стояли друг против друга, их разделял темный письменный стол, заваленный бумагами.

Значит, так оно и есть. Предположения подтвердились. Во всех этих странных и для него пока не совсем понятных событиях главным действующим лицом был Нейтек. Очевидно, за всем происходящим стоял он и пытался манипулировать людьми, передвигая их, как шахматные фигуры.

— Ты мне нужен был здесь,— повторил Нейтек, на его лице отразилось нетерпение, будто он тратит время попусту.— Я тебе давно вбивал в голову, что вот-вот освободится место директора... Этот момент настал.

Бендл не сдержался и коротко, нервно хихикнул.

— Ну, а при чем тут я? Могу тебя заверить...

— Мне все же жаль, что это не произошло,— пробурчал Нейтек, опустив голову.— Ты был наверняка самым лучшим кандидатом!

— Тебе нечего жалеть,— сказал Бендл смеясь.— Я этого не добивался, и, насколько я знаю, ты бы первым выступил против меня.

— Ты можешь удивляться, но я настаивал на твоей кандидатуре. До последнего момента я тебя защищал...

— Напрасно.

Не имело смысла продолжать разговор. Нейтек явно знал больше, чем говорил, или, по крайней мере, делал вид, будто знает кое-что еще о закулисных переговорах, проходивших в последние дни.

— И это все, что ты хотел мне сказать?

— В сущности, да... Пока все,— бурчал Нейтек под нос.— Если бы ты хотел... или если тебе будет что-то неясно... когда поговоришь со стариком, зайди ко мне, и я с радостью тебе все объясню.

Он продолжал стоять у своего письменного стола, на котором царил хаос, опираясь о него руками, и его голубые, увлажненные глаза смотрели куда-то поверх Бендла, а на губах играла таинственная, почти плутовская усмешка.

В секретариате, около кабинета директора, где всегда толпятся люди, ожидающие приема или начала совещания, было пусто. Вероятно, потому, что был обеденный перерыв и директор, возможно, вышел из здания.

Секретарша директора, красивая и услужливая, бесспорно, идеальная для этой профессии, потому что не только вела себя безупречно и прекрасно одевалась, но и знала цену словам — никогда не говорила больше, чем нужно,— в этот момент переключала телефон, и на аппарате, стоявшем перед ней, загорелась желтая лампочка.

— Как поживаете, Оленька? — спросил ее Бендл.

— Что — я, как вы? — ответила она.— Вы так долго не давали знать о себе...

— Надеюсь, вам-то было известно, где я?

— Мне — да, а другие делали вид, что не знают,— говорила она и при этом очень мило ему улыбалась.— Присядьте, шеф как раз говорит с главным управлением, разговор может затянуться...

— Может, мне зайти попозже?

— Нет-нет. Наверняка он захочет вас видеть.

— Я слышал, что шеф уходит...

— Кто вам это сказал?

— Нейтек.

— Этот все знает раньше других...

Лампочка на переключателе погасла.

— Вот видите, совсем недолго,— сказала она.— Можете войти...

Кабинет шефа всегда поражал его своим длинным полированным столом для заседаний, в конце которого располагался сам директор. Здесь, за этим столом, он председательствовал на совещаниях, произносил свои программные речи, руководил огромной, многосторонней деятельностью объединения.

Когда он вошел, прозрачная занавеска на приоткрытом окне кабинета заколыхалась от порыва ветра.

С улицы сюда доходил грохот трамваев и грузовых машин, и директор, возможно, не сразу заметил, что кто-то вошел. Склонившись над столом, он был чем-то очень занят.

Только приблизившись к нему по мягкому ковру, Бендл увидел, что директор старательно чистит яблоко; красная кожура аккуратной, ровной ленточкой отделялась и ложилась на листок бумаги.

Директор поднял голову, седую и узкую, с сильно выдающимся вперед лбом и светлыми запавшими глазами, и спокойно сказал:

— А, Бендл! Садись. Я тебя ждал....

Бендл сел на ближайший стул и смотрел, как директор искусно чистит помятое яблоко.

На столе директора не было ни одного документа, никаких заметок, лишь в середине его гладкой поверхности лежал лист бумаги с огрызками и яблочной кожурой.

— Когда ты приехал? — спросил директор.

— Только что,— сказал Бендл.— Я приехал прямо сюда.

— Я слышал, что у тебя все прошло успешно...

— Думаю, что да. Я привез с собой все материалы. Было бы хорошо, если бы вы их прочли и передали на рассмотрение, чтобы можно было подписать контракт...

Директор не проявил к его словам большого интереса, во всяком случае восторга он не выразил.

— Здесь ходили слухи, что у тебя там какая-то женщина... По крайней мере, так говорили... Или все это сплетня?

— Конечно, сплетня. С нами работала переводчица из комиссии.

— А как Будапешт? Вот это город, а?

— Будапешт прекрасен,— ответил он с плохо скрываемым нетерпением.— Но меня интересует, что здесь... что здесь происходит?

Директор дочистил яблоко, вытер нож бумагой и положил его рядом с кожурой. Затем осторожно передвинул бумагу с яблочной кожурой на край стола, чтобы не мешали при серьезном разговоре.

— Все то, что у нас происходит и вокруг чего столько лишних разговоров, вполне обычное дело,— сказал он решительно и слегка возбужденно, подняв, наконец, глаза на своего собеседника.— Обычное потому, что каждый год, как ты знаешь, к нам сверху посылают контрольную комиссию... а на этот раз при проверке обнаружены некоторые несоответствия... Разумеется, ничего страшного, но этого было достаточно.

Сказав это, он сразу же снова опустил глаза.

Он выглядел, как никогда, бледным, уставшим, а может быть, даже больным. За то время, что они не виделись, он изменился, постарел. Он производил впечатление человека, который мало и плохо спит и все время ждет, не свалится ли на него какая неприятность.

— Впрочем,— продолжал директор своим грустным, погасшим голосом,— тебя все это непосредственно не касается...

— Как так? — возразил Бендл чуть ли не возмущенно.— Меня это должно касаться, пока я работаю с вами в одном объединении...

— Ну, хорошо... Если хочешь, пусть так,— сказал директор совсем спокойно.— Это касается всех... Но не лично тебя...

— Почему?

— По крайней мере наверху, насколько мне известно, против тебя ничего не имеют. А когда вопрос обсуждался в парткоме, говорили также о тебе...

— В какой связи?

— Высказывались различные соображения, обсуждались кандидатуры моих возможных преемников. О тебе говорили все очень хорошо, все признают твои заслуги. Только Нейтек, когда увидел, что твою кандидатуру принимают всерьез, заявил, что у тебя как у специалиста есть, конечно, все данные, но что ты недостаточно принципиально и недостаточно критически относишься к людям... и прочее. Не знаю, что было между вами, но я думаю, он испугался, что ты можешь стать директором....

Шеф несколько минут молчал — может быть, припоминал другие подробности заседания парткома,— а потом сказал:

— В конце концов, кто знает, не задумал ли он занять это место сам... Это не исключено.

— А вы? Что же будет с вами?

— Со мной? Ничего особенного,— сказал он угасшим голосом, словно разговор его утомлял.— Пойду на пенсию — для каждого когда-то настает такой момент...

— Все это произошло за последние четырнадцать дней, пока меня здесь не было?

— Что ты! За два дня, не больше.

Зазвонил телефон. Директор вздрогнул и сразу снял трубку. Несколько минут он слушал женский голос, должно быть это была Оленька, она что-то ему обстоятельно передавала, но он не дал ей закончить, прервал на полуслове, сдержанно добавив:

— Пусть обратится к моему заместителю,— и повесил трубку.

— А кто должен будет прийти на ваше место? Надеюсь, не Нейтек?

Слабая улыбка мелькнула на губах директора и сразу исчезла.

— Нет, не Нейтек. Не бойся,— сказал он, чуть не успокаивая его.— В конце концов решили, что придет новый человек из главного управления. Его фамилия Кокш или Кокеш... дело не в имени, ты его, наверно, знаешь...

— Что-то не припоминаю.

— Одновременно было принято решение,— продолжал директор, колеблясь,— что ты пойдешь на его место, понимаешь, на место старшего референта в главное управление... Смена караула, ясно? Может быть, ты завтра же зайдешь к генеральному директору...

— Я? Почему именно я?

— Да, ты. Будешь работать в главном управлении. Идешь туда, собственно, с повышением.

На лице директора снова отразилась едва заметная улыбка.

— А Нейтек? — спрашивал Бендл, сгорая от любопытства.

— Нейтек должен занять твое место.

— А, черт побери...

Он хотел что-то добавить, сказать о Нейтеке, о том, насколько вероломна его тактика, но промолчал. Зачем надоедать своими жалобами и догадками добряку директору, который собрался на заслуженный отдых, на пенсию. Да и сам он чувствовал себя страшно уставшим; снова у него появилась странная слабость, и он лишь произнес несколько слов, обычных в таких случаях — поблагодарил за разговор и зачем-то добавил:

— Вы меня не очень обрадовали.

— Я знаю,— сказал директор.— Такие вещи не могут радовать. Ничего, нельзя вешать голову. Все, что ни делается, все к лучшему...

Уходил он с тяжелым чувством: разговор велся в спешке, как во сне, не было возможности прийти к определенному решению.

Да и сам директор был каким-то странным.

Он понял, что, должно быть, это его последний визит к директору, что и он сам успел ему сказать далеко не все, что хотел и должен был сказать.

Бендлу было его очень жаль.

Когда расстаешься с человеком, это всегда волнует, ведь они проработали вместе немало лет и пережили много хорошего и плохого, сделали что-то полезное.

Их отношения выходили за рамки чисто служебных отношений, он довольно часто советовался со своим старшим, более опытным другом, и тот всегда встречал его с пониманием или со снисходительной улыбкой, если требования были непомерными.

Ему навсегда запомнилась седая голова директора, его лицо с прикрытыми, словно бы невидящими глазами, не осмеливающимися посмотреть на другого человека. Он сидел, опираясь о край стола, а

на разложенной бумаге лежали огрызки яблок и кожура, свернувшаяся спиралью.

В голове у Бендла шумело, и откуда-то доносился деланно спокойный голос: «А что тебе, тебя это не так уж и касается... Ты, собственно, получил повышение...»

— Вам плохо? — спросила его Оленька, когда он выходил из кабинета директора в секретариат.— У вас такой вид...

— Ничего, пройдет,— улыбнулся он.— Устал после долгой дороги.

Он вышел в коридор, где было шумно: многие возвращались после обеденного перерыва.

Он шел сослуживцам навстречу, здоровался с ними, но видел их как в тумане.

Бендл направился к Нейтеку. Ведь он его просил зайти, если ему не все будет ясно.

Нейтек в этот день не обедал, не пошел выпить пива в ресторан напротив, куда ходил обычно.

Он сидел, склонившись над столом, заваленный ворохом бумаг, и когда Бендл без стука вошел к нему, поднял на него изумленное лицо.

— Ну что?

— Я хочу тебя поблагодарить,— сказал Бендл непривычно твердым голосом.— За твою заботу о моей персоне, за твои хлопоты...

Обмякшее лицо Нейтека медленно краснело, что-то в нем дрогнуло.

— Я знал, что все обернется против меня,— сказал он.— И почему это люди всегда напускаются на меня...

Очевидно, эту истину он установил давно, а теперь только мрачно и чуть ли не с обидой повторял ее.

— Должно быть потому, что я с каждым откровенен...

«Ты-то уж наверняка»,— подумал Бендл, пристально глядя на своего противника.

— Тебе везет больше, чем ты того стоишь,— сказал ему Бендл.— Другой на моем месте набил бы тебе морду!

— Ты, Бендл... должен был бы меня понять.

Но Бендл, повернувшись к нему спиной, уже выходил из его темного, заваленного бумагами кабинета, где всегда царил удивительно неприятный, затхлый запах.

Выйдя в коридор, затихший после обеденного перерыва, он сильно хлопнул дверью.

9

В кабинете директора на сверкающей поверхности стола для заседаний стояли вазы с цветами, подносы с бутербродами и рюмки, такие неожиданные в строгой, официальной обстановке, где для торжеств подобного рода, как правило, не хватает времени.

На этот раз во главе стола сидел сам генеральный директор, рядом — с одной стороны — бывший директор, с другой — предназначаемый ему преемник, а уже потом — заместители директора, заведующие отделами... Одним словом, весь цвет руководства.

Бендл сидел на своем обычном месте, спиной к окну, сквозь которое проникали палящие лучи солнца, и поэтому мог спокойно наблюдать отсюда все происходящее, как оно было задумано.

Но так случилось, что против него сидел Нейтек. Сидел, удобно развалясь на стуле, и тупо, с застывшей улыбкой все время — о чем

бы ни заходила речь — услужливо кивал головой. Это действовало Бендлу на нервы.

Поэтому он больше смотрел на генерального директора, как тот жмурился и смешно морщил нос от слишком резкого солнечного света, безжалостно слепящего его. Спрятаться от солнца оратору, произносившему речь, было некуда, оно светило ему прямо в лицо.

Он говорил о заслугах бывшего директора, о его достойной подражания трудоспособности, о его неиссякаемой энергии, об огромном опыте, накопленном за годы работы в объединении, о его по-мужски прямом характере, о доброжелательном отношении к людям...

Говорил и щурился от солнца, его глаза, казалось, слезились, даже наверняка слезились, потому что в щелочках глаз у него блестели слезы — может, от солнца, а может, и от волнения; он часто повторялся и почти каждую фразу заканчивал заверением:

— ...Поэтому он всегда будет для нас примером.

А Нейтек, сидевший напротив, усердно кивал головой.

Генеральный директор продолжал говорить о выдающихся способностях бывшего директора, руководителя объединения, о его умении точно определить, где нужно закрутить гайки, где нужно сразу обрубить концы, о его искусстве расставить людей и своевременно обеспечить выполнение сложнейших задач и планов...

— ...Поэтому он всегда будет для нас примером.

А Нейтек сидел уже вполоборота к оратору и кивал головой, ревностно показывая свое согласие с ним.

Оратор не скупился на похвалы, распространяясь о доброте, терпимости, искреннем и дружественном отношении бывшего директора к людям, о его житейской мудрости.

Говорил, не жалея слов.

А Бендл думал о том, как его встретила жена — повисла у него на шее, припала к груди.

— Ты даже не представляешь себе, как я рада, что ты вернулся...

Она почти не отходила от него, брала его за руку, нежно гладила по волосам, пристально смотрела на него своими большими преданными глазами.

— Как Будапешт? Как Дунай? Как прошли переговоры?

Но он отвечал односложно, чувствуя страшную усталость: день был трудный...

— А как на работе? Что нового? — спрашивала она, не спуская с него глаз.— Что хотел Нейтек? Зачем он, собственно, тебя искал? Зачем звонил?

Любящая жена, она почувствовала, что ему может быть не до разговоров, лучше обо всем этом не спрашивать, лучше в другой раз, потом, когда он немного придет в себя.

— У нас готовятся большие перемены...— сказал он ей.

— А тебя они коснутся?

— Очевидно,— сказал он.— Посмотрим...

Она пыталась его отвлечь, рассказывала, перескакивая с одного на другое, что делала в его отсутствие, как ей его не хватало. Днем, на работе, еще как-то можно было выдержать, а по вечерам становилось невыносимо.

Даже ужин, который она приготовила к его приезду, показался ему не очень вкусным: он проглотил несколько кусочков и отодвинул тарелку.

— Ты не болен? — спросила она обеспокоенно.

— Да нет... Мне только после такого пути как-то не по себе, меня всего ломает... Да и ночью я плохо спал...

— Может, у тебя неприятности в объединении?

— И это тоже,— сказал он.— В какой-то степени и меня коснулось. Я не ожидал, что все произойдет так скоро...

— А для тебя это лучше или хуже?

— Я не знаю,— признался он, наконец, в том, что его сильнее всего угнетало.

Больше об этом не говорили.

Он подсел к телевизору и рассеянно смотрел какую-то пьесу, не зная даже, о чем она, почему ее герои с ума сходят от ревности. Сидел у телевизора, следил за движениями актеров, не воспринимая смысла происходящего.

— Я боялась за тебя,— услышал он издали голос жены.

— Почему?

— Ведь ты же все время среди чужих людей... один...

— Но это же не чужие люди,— сказал он.

Он извинился, сказав, что чувствует себя неважно, и довольно рано лег спать. Пытался заснуть; ему казалось, что он лежит в своем маленьком и длинном будапештском номере, а снизу, с первого этажа, доносится заунывная мелодия, которую играет цыганский оркестр, убаюкивает его, мысли путаются, он погружается в полудрему.

А в утомленном сознании снова знакомая картина — венгерская степь где-то на юге страны, залитая солнцем, ее зеленая трава, словно промытая дождем, и чистое, безоблачное, прозрачное и голубое небо. Подгоняемый легким ветерком, летал белый пушок — может, от одуванчика, а может, от пырея,— летал и кружился в прогретом солнцем воздухе, собираясь густыми хлопьями, и падал, словно снег с бездонного небосвода...

Чувство усталости не покидало.

Необходимо избавиться от него, собраться с духом, обрести силы, чтобы суметь защитить себя от обвинений и закулисных интриг. Не может же он молча смотреть на все это, соглашаться со всем, что бы кому ни вздумалось сделать без его ведома...

Раздались аплодисменты; это сидевшие за длинным столом сотрудники давали понять, что они со всем согласны, а генеральный директор, которому солнце все еще светило прямо в лицо, передавал бывшему директору подарок главного управления — объемистый сверток, несколько раз перевязанный серебряной ленточкой, и еще букет красных гвоздик.

Все долго хлопали, Бендл тоже присоединился к ним, а Нейтек усердствовал больше всех, пока аплодисменты не начали мало-помалу стихать и не прекратились.

Бывший директор стоял около генерального и тряс своей продолговатой седой головой — казалось, он немного взволнован. Когда он благодарил за оказанные ему почести, его голос был спокойным, звучал, как всегда, резко. Говорил он кратко и по существу: он желает всем, а прежде всего новому директору и его сослуживцам, с которыми тот будет непосредственно связан по работе, успешно продолжать начатое дело и удачи во всем.

Нейтек, сидевший напротив, кивал головой, как китайский болванчик, будто слова бывшего директора были адресованы ему одному.

Бендл решил на него не смотреть, повернувшись чуть в сторону, но все равно видел, как Нейтек ерзает и, устремив взгляд на директора, жадно ловит каждое его слово.

Оленька тут же принесла высокую стеклянную вазу, и букет гвоздик стоял теперь перед бывшим директором, а сам он тем временем опустился на стул и как-то съежился, будто хотел, чтобы его не замечали. Директор снова был похож на того человека, которого Бендл застал, вернувшись из командировки: он сидел тогда за пустым директорским столом и тщательно, перочинным ножом чистил яблоки.

Неожиданно кто-то напротив встал, с грохотом отодвинув стул.

— Я хотел бы присоединиться к тому, что здесь уже сказано... что так метко определил наш генеральный директор... — услышал он взволнованный голос Нейтека.— В первую очередь я хотел бы отметить стремление... — На какое-то мгновение он заколебался, не зная, как ему лучше назвать бывшего директора,— усилия нашего прежнего руководителя,— нашелся он,— направленные на то, чтобы у нас не доходило дело до конфликтов, чтобы все, что только возможно, сглаживалось и разрешалось спокойно, по-хорошему... Он никогда не прислушивался к разным сплетням и обвинениям — их ведь всегда хватало... Я хотел бы от всех нас выразить ему нашу глубочайшую благодарность...

И это говорил он, который за глаза критиковал директора, высмеивал, распространял о нем нелепые слухи и не забывал заметить, что старому человеку уже пора на заслуженный отдых...

При этом все в объединении знали, что недавно, перед самым обеденным перерывом, он ждал директора в коридоре, когда тот пойдет на обед, и как бы случайно пошел вместе с ним в столовую. Чтобы сослуживцы увидели, как хорошо к нему относится директор, даже за обедом обсуждает с ним служебные дела, одним словом, они, дескать, с директором в прекрасных отношениях. А Нейтек в любой момент может замолвить за кого-нибудь словечко или очернить...

Бендл почувствовал, что в нем зреет протест. Он порывисто встал и как в тумане увидел перед собой всех участников совещания. Прямо перед ним сидел, развалившись, Нейтек, расплывчатый, неясный; в этот момент, собственно, он и не видел никого другого, только его.

Будто издалека он услышал свой неуверенно звучавший голос:

— Я не могу согласиться с предыдущим оратором...

Какое-то мгновение он преодолевал поднявшееся в нем возмущение.

— Извините,— сказал он, несколько раз глубоко вздохнув, чтобы успокоиться.— Я уважаю нашего директора, но не мог бы назвать наше отношение к нему безропотным почтением, ни в коем случае... Напротив: мы были искренни и откровенны с ним, наше отношение к нему было таким, какое должно быть всегда между сослуживцами и людьми вообще. Наш директор ни от кого никогда не скрывал, как обстоят дела. Со всеми говорил откровенно, оставляя без внимания улыбки и елейные речи. Насколько мне известно, он не пытался сглаживать острые углы и при этом решал все дела в объединении по-человечески и с пониманием...

За столом послышался шум, началось какое-то странное беспокойство, сидевшие наклонялись друг к другу, переговариваясь между собой. Он увидел Нейтека: тот ерзал на своем стуле, недовольно качая головой, может быть хотел что-то возразить.

— Я не хотел бы спорить... — сказал Нейтек поникшим голосом.— Ведь я, собственно, говорил то же самое.

— То же, но не совсем,— продолжал спокойно Бендл.— Все зависит от искренности, и важно, чтобы слова не расходились с чувствами и поступками...

Шум стих — казалось, все внимательно его слушают.

Наверное, в этот момент он должен был закончить, сесть и больше не выступать, так как сказал все, что хотел сказать. Но после небольшой паузы, побуждаемый тем, что его все внимательно слушали, он несколько резко добавил:

— Разрешите мне, пользуясь случаем, высказать свое удивление...— Казалось, он задыхается, слова душили его.— Возможно, я недостаточно информирован... — торопился он,— но если в связи с переменами в руководстве объединения я должен уйти с того места, которое занимал почти пятнадцать лет и чего-то достиг... то я считаю это по меньшей мере недоразумением... маневром, необходимым лишь для того, чтобы освободить это место для кого-то другого.

И снова, превозмогая возмущение, он закончил срывающимся голосом:

— Извините, что я об этом заговорил... Должно быть, момент не очень подходящий...

Едва заметная участливая улыбка появилась на губах генерального директора, но он молчал, решив, видимо, высказать свое мнение позднее.

Прошло несколько минут, пока сгладилось впечатление от необдуманного выступления Бендла, внесшего диссонанс в торжественное заседание. Потом стали выступать другие ораторы и предлагать тосты за здоровье уходящего на пенсию директора. Бендл их не слышал, в голове у него шумело, он ругал себя за то, что поторопился, надо было молчать.

Нейтек, сидевший напротив, делал вид, что он не то обижен, не то жалеет Бендла. Он оживился, когда снова взял слово генеральный директор, и заговорил уже не о бывшем, а о новом, только что назначенном директоре, которого представляли собравшимся сотрудникам объединения...

Нейтек восторженно смотрел на выступавшего, стремясь показать, как искренне одобряет он каждое его слово.

Бендл невольно вспомнил свой недавний спор с Нейтеком — внезапная ссора, подобная грозе, разразившейся средь ясного дня, как это бывает, когда неожиданно набегут тучи, хлынет дождь и ты промок до нитки.

На одном из совещаний руководства Бендл несколько опрометчиво, недостаточно продуманно предложил ликвидировать отдел Нейтека как лишний, изживший себя. Было бы лучше для дела, сказал он, постепенно передать его функции разным отделам, чтобы сами референты в своих же интересах и более квалифицированно занимались подбором необходимой информации по регионам. Вот Нейтек и вскипел:

— Бендл с большим удовольствием ликвидировал бы все, лишь бы добиться своего... Я усматриваю в этом выпад с его стороны против меня как руководителя отдела!..

Тогда в объединении как раз проводили частичную реорганизацию, но предложение Бендла, хотя и интересное, показалось слишком радикальным и не прошло. Каждый лишь кивал головой в знак согласия, но никому не хотелось встать на сторону Бендла более решительно. Возможно, пугались яростного сопротивления Нейтека, никто не хотел с ним связываться, он давно уже был известен как весьма опасный противник.

С тех пор прошло почти полгода, и только теперь он понял, что тогда, собственно, и проявилось враждебное отношение Нейтека к нему. Оно складывалось постепенно, незаметно, и уже ничто не могло его смягчить. Бендл подумал, что теперь, возможно, будет наконец

ликвидирован совершенно ненужный отдел Нейтека — если предполагается, что Нейтек пойдет на повышение в его отдел.

— ...И именно за эти качества руководящего работника, которые могут служить примером,— говорил тем временем генеральный директор,— я могу вам с чистой совестью рекомендовать нового директора товарища Кокеша... Я желаю всем вам больших успехов в совместной работе, добрых отношений и взаимопонимания...

Раздались тосты, звон бокалов, и глаза всех присутствующих устремились на нового директора.

Он выглядел довольно симпатичным, немного нескладным человеком, а может быть, просто смущенным, с буйной шевелюрой и с глазами слегка навыкате, как бы прикрытыми густыми черными бровями. Когда он встал, то оказался неожиданно сухопарым верзилой и возвышался, как мачта, над низким столом, слегка покачиваясь во время выступления и то и дело приглаживая седоватые волосы большими руками.

Он сказал несколько самых обычных в таких случаях слов: прежде всего он должен познакомиться с новым для него делом, с людьми и поэтому просит на некоторое время набраться терпения, а он, в свою очередь, позаботится о том, чтобы их совместная работа на благо социалистической отчизны шла успешно, и постарается стать достойным продолжателем своего предшественника.

Снова раздались аплодисменты, громче всех, конечно, хлопал Нейтек.

Бендл почувствовал, что снова к горлу подступает тошнота...

Люди, сидевшие вокруг стола, вдруг побелели, словно на негативе, и сразу же потемнели, стали совсем черными, он увидел черные контуры их голов. Все закачалось у него перед глазами, на светлых негативах появились черно-белые пятна и поплыли перед ним, они наклонялись и тряслись и все быстрее и быстрее вертелись, будто кто-то ловко крутил рулетку.

Казалось, колебательное движение захватывает его, уносит с собой. Он судорожно схватился за стол, чтобы прийти в себя...

— Что с вами, Бендл? — услышал он голос соседа.

— Извините,— выдавил он с трудом.

Он чувствовал, как пот течет у него по лицу, как все труднее и труднее дышать. Сердце у него сильно билось и, казалось, вот-вот остановится. Против своей воли он начал медленно и как-то странно клониться вперед, едва не ударился лицом о стол и, вдруг почувствовав, что не владеет собой, сполз на пол около стола.

Кто-то вскрикнул, подбежал к нему, белые головы, как серые тени с негатива, склонились над ним, обращались к нему, о чем-то его спрашивали, но он их не слышал. Он успел ощутить, что солнце, еще недавно сильно припекавшее, скрылось, кабинет директора погрузился в полумрак, как это бывает, когда спускаются сумерки.

Бендл очнулся на диване в секретариате, где всегда сидели посетители, ожидая, пока их примет директор, он лежал вытянувшись, кто-то расстегнул ему воротничок, положил на сердце холодный компресс, снял с него ботинки, он чувствовал себя совершенно беспомощным...

Издали, как во сне, до него доносились отзвуки приглушенных голосов, они то приближались, то удалялись, а рядом, в соседнем с секретариатом кабинете директора, наверное, еще продолжалось заседание или, может быть, люди расходились: были слышны шаги, хлопанье двери, обрывки непонятных фраз.

Около него, словно тень, двигалась Оленька, клала ему на лоб холод, успокаивающе приговаривала:

— Отдохните... Вам станет лучше... Сейчас придет доктор.

— Хорошо,— сказал он с трудом.— Вы не могли бы открыть окно? — попросил он.

— Оно же открыто...

И снова он шел по раскаленному солнцем Будапешту, шел без цели, не торопясь, чтобы полюбоваться городом, посмотреть на те места, которых еще не видел. Он, собственно, о Будапеште знал совсем мало, все кругом казалось ему незнакомым и удивительным: и дома, и улицы, и машины, и люди — все поражали яркостью красок, а резкий солнечный свет делал все это похожим на отличную фотографию.

Он шел, невольно держа руку на груди, в том месте, где сердце, чувствовал его биение; оно то замирало, то колотилось сильнее и сильнее, и временами казалось, что оно от такого напряжения разорвется. Но ему было хорошо, удивительно хорошо, легко и весело, хотелось даже петь, и он чуть было не запел в ритм своему шагу:

Пойдем-ка, девица, в поход...

Его видения прервал доктор, высокий, солидный, в белом расстегнутом халате; его гладкое, круглое лицо с детскими, невинными глазами заботливо и близко склонялось над ним, он чувствовал его дыхание, запах табака. Мягкие руки врача бережно прикасались к нему, и он следил за каждым их движением, когда тот подготавливал небольшой черный аппарат, напоминающий кинокамеру. Когда три металлические ножки аппарата прикоснулись к его груди, он почувствовал холод. Врач сосредоточенно, морща свой гладкий лоб, смотрел в камеру, может быть в видоискатель или в кадровое окно. Это, вероятно, был кардиограф, с помощью которого врач следил за вялой деятельностью сердца. Все это продолжалось долго, по крайней мере так ему казалось.

— Ничего страшного,— приветливо улыбнулся доктор и задумался, медленно снимая камеру с его груди.— Как вы себя чувствуете?

— Терпимо... Я только потерял сознание...

— Вы, наверное, переутомились,— сказал врач.— Но скоро вам станет лучше...

— А что же это было?

— Это невроз сердца. Вам надо менять образ жизни — на более разумный, спокойный.

Доктор, ничего не знавший о нем, советовал ему изменить образ жизни.

— Немного полежите, успокойтесь, а потом попробуйте подняться,— продолжал он.— Несколько дней побудете дома, а потом зайдете в поликлинику.

Когда врач ушел, он закрыл глаза, и опять все начало куда-то проваливаться, и он чуть было не задремал.

Вскоре он пришел в себя; все помещение, где он лежал, снова было залито солнцем. Он был там один, Оленька куда-то убежала, вокруг царила тишина.

Двери приоткрылись, и из кабинета выглянул новый директор. Несколько минут он смотрел на него, стоя в дверях, затем спросил:

— Ну как? Получше?

— Лучше,— бодрился Бендл.— Я должен просить у вас извинения за то, что испортил вам торжественное вступление в должность...

Директор засмеялся:

— Мы очень опасались за вас. Больше всех беспокоился Нейтек.
— Это похоже на него.
— Вы его не любите?
— Нет, не люблю.

Он медленно поднялся и сел, спустил ноги на пол и поискал ногами ботинки.

— Вы должны полежать,— убеждал его директор.— Потом мы вас отвезем домой.

Он принес себе стул и сел около.

— Вы поволновались, правда? У вас довольно слабые нервы... а дела надо решать спокойно...

— Я знаю, но не всегда бываешь в форме.

— Когда вам станет лучше, приходите ко мне, все спокойно обсудим.

Двери в кабинет директора были приоткрыты, и там без конца звонил телефон.

— Поправляйтесь поскорее,— добавил директор.— Нам надо вместе «добить» наш Будапешт...

— Непременно,— оживился Бендл.— С удовольствием.

— Вы поедете туда на подписание соглашения.

— Я? На это я и не рассчитывал.

— От главного управления,— засмеялся директор.

10

Бендл лежал дома, в своей комнате и снова воскрешал в памяти, как все это происходило. Уже третий день он был освобожден от работы, хотя в общем чувствовал себя неплохо. Выполнял все предписания врача: большую часть дня лежал, старался не волноваться и не принимать ничего близко к сердцу.

Жена о нем заботилась, боясь за него, и он сам ее успокаивал, убеждал, что у него, собственно, ничего серьезного нет, небольшое отклонение от нормы, все скоро пройдет.

— Ты знаешь, сколько сейчас инфарктов? — говорила она ему.— И у людей еще сравнительно нестарых...

— Знаю,— улыбался он.— К счастью, это с инфарктом не имеет ничего общего...

— Говорят, бывают какие-то скрытые инфаркты, о них вначале и не догадываешься...

Она настаивала на своем, пугалась всего, и это передалось и ему; над ней довлел страх возможного инфаркта, своими чрезмерными опасениями она вносила тревогу в эти довольно спокойные дни.

— Лучше всего, если бы ты перешел на менее ответственную работу, пусть с меньшим окладом, но чтобы у тебя не было ежедневно таких перегрузок и нервного напряжения... а мы бы в чем-то себя ограничили...

В самом деле, дети более или менее обеспечены: сын уже второй год в армии, дочь в прошлом году вышла замуж за ветеринара из районного центра и в общем живет неплохо, так что они одни, а их запросы не так уж велики. Он понимал, что теперь он, собственно, единственное существо, о котором она может вот так по-женски заботиться; он стал для нее еще более необходимым, потому она так и привязана к нему и уж слишком заботится о нем, о его здоровье.

— Ты готова сделать из меня инвалида,— смеялся он,— лишь бы я был все время дома и ты могла бы ухаживать за мной...

— А иначе я тебя совсем не вижу,— сетовала она.— Тебя ведь никогда нет дома, или ты где-нибудь в командировке...

— Уж такова наша жизнь,— пытался он объяснить ей.— Лично я и не представляю ее другой. Здесь я работаю немало лет, в чем-то уже разбираюсь, меня это интересует и приносит мне те небольшие радости, которые человеку необходимы...

— Но и огорчения,— вставила она.

— Одно с другим связано. Это нельзя изменить. Да и я не могу уже измениться, я такой, какой есть. Мне нужна моя работа, которая приносит мне удовлетворение...

Он снова читал ту книгу, которую брал с собой в Будапешт. Там он в нее ни разу не заглянул, только потом, по пути домой, прежде чем лечь спать в мотеле, с трудом прочел несколько страниц. Теперь он опять за нее взялся.

«Если стрессовые ситуации повторяются снова и снова и успешно преодолеваются,— читал он,— стрессовые реакции постепенно ослабевают. Это основа тренировки...»

Он наткнулся в тексте на объяснение, которое отнес к самому себе:

«Следовательно, стрессовая «монета» имеет две стороны. Прежде всего, позитивная ценность. Если стресс не слишком интенсивен, то он приводит к адаптации и, собственно, заставляет организм больше сопротивляться. Можно сказать, что это — предпосылка активной жизни. Неразрешимый стресс, напротив, требует столько энергии, что выбивает из привычной колеи».

«Выбивает из привычной колеи,— повторил он.— Но это не мой случай...»

Он снова думал о своих отношениях с Нейтеком, о ситуации, которая сложилась в объединении и так его озадачила по возвращении из командировки, и не увидел в ней ничего неразрешимого. Напротив. Все нашумевшие события в объединении становились и для него необходимой «предпосылкой активной жизни». Ведь не должен же он поддаваться накопившейся усталости или настроениям, он обязан трезво, объективно оценить обстановку, выработать свое отношение, свою оборонительную позицию.

Он должен был бы спокойно поговорить с новым директором, изложить ему свою точку зрения. Наверняка ему можно рассказать обо всем, он сам давал понять, что готов заняться его делами.

Оставался один тревоживший его вопрос: как показать новому директору, что представляет собою Нейтек, что скрывается за его деланной заинтересованностью, показать, что он, в сущности, из тех людей, которые при всех обстоятельствах плетутся в хвосте и на серьезное дело не способны.

Как быть с такими людьми, которые прикидываются обиженными, пострадавшими, будто бы им не были даны те же возможности, что и другим, а в глубине души лелеют надежду, что им удастся без особых усилий и без труда добиться своего за счет других?

Вечером он сидел в кресле и смотрел телевизор. Сначала — телехронику, а потом — фильм о Грузии. Когда диктор, улыбнувшись своей очаровательной улыбкой, объявила концерт эстрадных певцов, он быстро поднялся и выключил телевизор.

Вдруг он вспомнил, что нужно было бы написать в Будапешт несколько слов тете Лауре.

В письменном столе он нашел красочную открытку с видом ночной Праги, на ней были изображены празднично освещенные Градчаны, Карлов мост, Лорета и Малостранская площадь. Несколько минут он с интересом ее рассматривал, стараясь представить, какое впечатление она произведет на тетю Лауру: ведь та говорила, что любит Прагу как родную мать...

И затем, долго не раздумывая, начал писать:

«Привет Вам из Вашей любимой Праги. Я уже заранее испытываю огромное удовольствие, когда представляю себе, как я следующий раз приеду в Будапешт, и мы вместе пойдем в «Матяш пинце», и закажем себе самое дорогое блюдо, какое там только будет, и к нему по кружке пенистого пива и еще Вашу «фечке», которую, правда, невозможно курить...»

Он остановился, представив тетю Лауру, ее широкую, добродушную улыбку и ее хриплый голос, непрестанно повторявший: «Всякая спешка вредит моему здоровью».

«Вы были совершенно правы,— писал он.— Сразу же по возвращении домой я разболелся, у меня начало пошаливать сердце. Это, наверное, от постоянной спешки».

Вошла жена, только что приготовившая ему еду на завтра: ведь утром она уйдет на работу.

— Почему ты выключил телевизор? — удивилась она.— Такая хорошая программа...

«Жена Вам тоже шлет привет»,— добавил он в конце открытки и подписался.

Перед сном он снова погрузился в чтение книги, все еще лежавшей на тумбочке у его постели, книги, которая кое-что ему подсказала и придала ему веры в собственные силы.

Ему понравилась мысль о возможности предупреждать стрессы, коварные воздействия извне на его и так слабую нервную систему, он уже начинал верить в необходимость защитных тренировок, в иммунитет. А может быть, как гонщикам, которых он видел тогда на стадионе, прежде всего нужно научиться падать...

Когда он прочел вслух: для состояния нервной системы существенное значение имеет прием, обработка, накопление и выдача информации... ее «вход и выход», он мысленно улыбнулся, будучи твердо уверенным, что на следующий день закроет больничный лист и выйдет на работу.

Он чувствовал себя здоровым: ничто его не беспокоило.

Они сидели друг против друга за столом для заседаний.

Новый директор, видимо, много курил: пепельница перед ним была полна окурков, а все остальные пепельницы, аккуратно расставленные в ряд посередине стола, сияли чистотой.

— Послушайте, меня не интересует, что было вчера, до того, как я сюда пришел. На это я уже не смогу повлиять,— говорил директор медленно, взвешивая каждое слово.— Меня интересует сегодняшний день, то, что мы имеем на сегодня, то, что нужно будет организовать завтра, послезавтра... Вы меня понимаете?

И сдержанно засмеялся.

Не оставалось ничего другого, как согласиться.

— А если у вас с Нейтеком и были какие-то конфликты, то и они в настоящий момент не имеют большого значения,— продолжал он.— Больше всего меня интересует, как каждый из вас способен выполнять поставленные перед вами задачи и на кого из вас можно положиться.

— Я эту должность занимаю уже пятнадцать лет,— успел он вставить.

— Я знаю,— продолжал директор,— но и вам известно, что иногда полезно ввести в организм немножко свежей крови...

— Но Нейтек — это ведь не свежая кровь...

Директор закурил следующую сигарету и, щурясь от дыма, продолжал говорить, настаивая на своем:

— Послушайте, не я выдумал эти перестановки, хотя у меня такое впечатление, что в них что-то есть... а вы имеете самую высокую квалификацию, вот вам и работать в главном управлении.

— Только Нейтек с отделом не справится,— защищался Бендл.

— Почему вы так считаете?

— Потому что я знаком с ним много лет и кое-что о нем знаю...

Директор задумался, наморщил лоб, старательно погасил окурок сигареты о край пепельницы.

— Будет лучше, если мы позовем Нейтека,— сказал он решительно. Он направился к двери в секретариат и, открыв ее, попросил Оленьку пригласить Нейтека.

Сразу же возвратившись, он снова сел напротив Бендла.

— Будет интересно послушать и его мнение,—сказал он.

— Боюсь, что этот разговор не будет очень приятным.

— В мои задачи не входит вести только приятные разговоры...

Вошел Нейтек, как всегда улыбающийся, сияющий, в хорошем настроении, явно ожидавший хороших вестей. Он увидел Бендла, улыбка с его лица сошла.

— Садитесь,— предложил ему директор.— Мы здесь с Бендлом натолкнулись на вопрос, связанный с будущим его отдела... Как вам, видимо, известно, вы должны будете взять на себя руководство этим отделом...

— Я знаю,— сказал Нейтек.

И больше ни слова. Он уставился в стол и, всегда такой словоохотливый, красноречивый, теперь сидел молча, опустив глаза.

Они сидели втроем на самом конце длинного стола для заседаний и молчали.

Казалось, что и директор потерял дар речи, но лишь на какое-то мгновение, пока не закурил следующую сигарету и не спросил Нейтека прямо:

— А что вы думаете по этому поводу? Выскажите свое мнение...

Нейтек выглядел так, будто он пробуждался ото сна, его голубые, умиленно смотревшие глаза медленно открывались из-под тяжелых век — казалось, что он не выспался и не понимает вопроса.

— Я? А почему я? Я нахожусь на службе, я — человек дисциплинированный, и мне нечего об этом сказать. Я это принял как новое задание...

— Подождите,— нетерпеливо прервал его директор,— я хочу знать, каково ваше мнение о работе отдела? Что вы о нем знаете и как собираетесь руководить им?..

— Разумеется, у меня есть опыт, накопленный на другом участке,— сонно тянул Нейтек.— Что же касается моего мнения, то оно явно отрицательное... Я бы не хотел распространяться об этом в присутствии Бендла...

— А вы не стесняйтесь,— сказал директор.

Нейтек сидел неподвижно и в упор смотрел перед собой, на полированную поверхность стола.

Возможно, он думал о том, как бы поточнее охарактеризовать работу отдела, или же вообще решил воздержаться, не высказывать своих суждений.

Бендл внимательно вглядывался в его обмякшее, бесформенное лицо: у него, как у слепого, были прикрыты глаза, и казалось, что выражение лица непрестанно меняется, отражая то одобрение, то отказ от чего-то, или же вдруг в мягких, гладких складках лица все неожиданно соединялось, и оно становилось непроницаемым, каким-то неопределенным, чуть ли не загадочным.

— Так что? — торопил его с ответом директор.

— Я думаю, что работа отдела могла бы быть более активной... можно было бы с большим опережением устанавливать контакты...

— Что за чушь! — не сдержался Бендл.— Это же нелепость. Разве можно установить с кем-либо контакты с опережением, если надо ждать, когда начнет переговоры партнер... И он тоже должен проконсультироваться в своем объединении...

— А вы смогли бы это осуществить, если бы мы поручили вам руководство отделом? — спросил директор.

— Беру на себя смелость сказать, что да,— заявил Нейтек, не смущаясь.

— Вот как! — засмеялся директор и обратился к Бендлу: — Ваш преемник — энергичный и целеустремленный человек...

— Пустые разговоры,— сказал Бендл строго.— Он же не имеет ни малейшего представления о сложной работе отдела...

— Будет лучше всего,— неожиданно решил директор и повернулся к Нейтеку,— если мы сначала поручим вам разработать краткие предложения по улучшению работы отдела. В чем вы видите его слабые места и как бы вы действовали, будучи его руководителем...

Лицо Нейтека мрачнело, он ничего не понимал. Должно быть, он представлял себе этот разговор совсем по-другому.

— И тогда мы решим, доверим ли мы вам этот участок, очень важный для работы объединения... — продолжал директор.

Нейтек покраснел и сказал:

— Это, кажется, было уже решено...

— Было или не было — сейчас это не имеет значения,— возразил директор спокойно.— Все важные перестановки кадров я намерен проводить сам.

Директор встал, давая им обоим понять, что разговор окончен.

— Я, наверное, откажусь,— пробормотал Нейтек.— В таких условиях не имеет смысла претендовать на эту должность.

Директор, высокий и худой, смотрел сверху вниз на маленького, грузного Нейтека.

— Как хотите,— повторил он.— Все будет зависеть только от вас.

Нейтек отступил назад, будто попятился, но не смолчал:

— Я боюсь, что вы превышаете свои полномочия... Вы забываете, что это было решено в главном управлении.

Оттого ли, что он говорил приглушенным голосом, или из-за злобы, которую он старался унять, его последние слова прозвучали как угроза.

— Это моя забота,— холодно оборвал его директор.— Предоставьте это решать мне...

Нейтек вышел из кабинета директора не попрощавшись.

— А вы, Бендл,— в голосе директора было волнение,— пока что будете руководить своим отделом. И одновременно готовиться к заключению контракта в Будапеште.

— Что значит — «пока что»?

Директор засмеялся:

— Так говорят. Это означает примерно следующее: пока не будет принято другое решение...

И он подал ему руку.

Жарким летним вечером они вместе с Виктором шли по Народной улице, пробираясь сквозь людской «муравейник». Выглядели они несколько необычно в густой, пестро одетой толпе: оба в пиджаках, с белыми воротничками, в галстуках, а большинство людей были оде-

ты по-летнему — женщины в легких, ярких платьях, а мужчины — в рубашках с открытым воротом и в светлых брюках, будто они с работы направлялись прямо в бассейн.

В конце рабочего дня Виктор зашел к нему и спросил, как, мол, его дела, ведь они долго не виделись, до него доходили всякие слухи...

— А что?

— Говорят, будто ты от нас уходишь,— приставал Виктор.— И что у тебя чуть было не началось нервное расстройство...

— Ни то и ни другое,— засмеялся он.— Я немного прихворнул. Но ничего серьезного. Все позади...

И тут же сам признался:

— Сегодня у меня с новым директором был откровенный разговор.

— Ну и как?

— Мне директор понравился.

— По-моему, я его знаю,— вспоминал Виктор.— Несколько раз мы с ним вместе вели переговоры, мне кажется, он был с нами и в Варшаве.

— Сначала мы были вдвоем,— рассказывал Бендл.— А когда разговор перешел на Нейтека, он и его пригласил.

— А, черт! — огорченно воскликнул Виктор.

— Это было самое интересное. У Нейтека был жалкий вид. В конце концов он пошел на попятную...

— В этом я не уверен.

— Я тоже... Но это так...

— Пожалуй, твое место — для него мало,— высказал Виктор свое предположение.

— И это возможно.

— Скользкий человек,— сказал Виктор решительно.— По крайней мере, судя по тому немногому, что я о нем знаю...

Мимо прошла группа людей в ярких рубашках навыпуск — должно быть немцы; они остановились на тротуаре и ждали, пока появится зеленый свет, о чем-то громко говорили и смотрели в сторону Национального театра.

— И как вы договорились? — спросил Виктор.

— Наверное, все останется как прежде...

— А Нейтек?

— Тоже. Я должен буду снова поехать в Будапешт.

— И ты это принимаешь?!

— Я туда поеду, очевидно, от главного управления,— он употребил выражение директора, стараясь придать своей информации больший вес.

— Чтобы не забыть. У тех моих коллег, которые были со мной в Братиславе, тоже печальный опыт общения с Нейтеком,— сказал Виктор.

— Я о нем и сам достаточно осведомлен,— сказал Бендл с неприязнью, ему надоело говорить о Нейтеке.

Но Виктор считал, что он должен рассказать ему все, что узнал.

— Помнишь, они говорили, что этот Нейтек помог отправить старика на пенсию... Его отдел систематически выходил за рамки бюджета, было утеряно несколько документов, обнаружены заказы, которые он делал, полагаясь на честное слово... И в конце концов Нейтек свалил всю ответственность на старика, а тот не сумел себя защитить.

Бендл вспомнил свой последний разговор с бывшим директором, его продолговатую седую голову, склонившуюся над письменным столом, и его горькие слова: «Знаешь, это разные вещи, уходишь ли ты

на пенсию по возрасту, или потому, что допустил ошибки... Ты даже не представляешь себе, что это такое — уходить с чувством вины...»

Они дошли до трамвайной остановки у Национального театра, Виктор начал прощаться:

— Мы все равно едем в разные стороны.

— Я пройдусь пешком,— сказал он Виктору.— Хочу немного полюбоваться Прагой.

Они ждали, пока подойдет трамвай.

— Вот увидишь,— сказал Виктор,— эти изменения — к лучшему.

— Надеюсь.

Они простились. Виктор сел на трамвай, идущий к Смихову, и помахал ему рукой.

Бендл перешел улицу, постоял на набережной, наблюдая, как кормят чаек, как дикие птицы стремительно пролетают над металлическим парапетом, на мгновение застывая в воздухе рядом с людьми.

Река сверкала и бурлила в лучах солнца, заходящего где-то за Петршином, они освещали своим слабеющим светом зелень парков, крыши домов, купола башен.

Градчаны, величественные, возвышающиеся над волнистым морем крыш, словно темный корабль, плывущий против течения...

«Все уладится, успокоится, войдет в свою колею»,— говорил он себе, медленно проходя по набережной в направлении к Карловым баням и часто останавливаясь.

Как всегда, он с восхищением смотрел на реку, на Карлов мост, на панораму домов, на Малой Стране, с тонкой Мостецкой башней и с выделяющимся на фоне Страговских садов медным куполом Микулашского костела, также тронутого лучами заходящего солнца.

По набережной шли люди — и в одиночку, и группами, большей частью иностранные туристы, они щелкали фотоаппаратами; и задумчиво смотрели на завораживающую картину предвечерней Праги.

Бендл попытался представить себе, какое впечатление производит на иностранцев этот вид. Наверняка он поражает их и запомнится им, но никогда не вызовет у них такого волнения, как у человека, который здесь родился и связан с Прагой всю жизнь.

Он стоял в толпе на мосту Новотного и смотрел на шумевшую плотину, где вода пенилась и стремительно куда-то неслась, а у плотины оставалась спокойной, неподвижной и темной; смотрел и на Совову мельницу, на зелень старых деревьев на Кампе — любовался всем этим, и сердце его билось сильнее... «Я всегда с удовольствием буду возвращаться сюда»,— думал он. Уходить ему не хотелось, и он долго стоял, а другие приходили и уходили.

Он смотрел на Влтаву, на серую дымку, которая тянулась от Славянского острова и, медленно сгущаясь, сливалась с опускающимися сумерками в единую непроницаемую пелену.

Где-то вдали лодка скользила по водной глади и плавно поднималась над водой, проплывая под туманным покровом от моста к мосту. Бендл вспомнил Будапешт, залитый солнцем, его широкие бульвары, дома, похожие на театральные декорации...

И он снова мысленно шел с Анико по берегу Дуная, ветер развевал их волосы, покрывал рябью желтовато-серую гладь реки, и Анико вспоминала о Праге, с волнением говорила обо всем, что там полюбила, вспоминала также и мост Новотного, и Карлов мост, и этот неповторимый вид на Влтаву...

Когда Анико приедет в Прагу, они пройдут по всем этим местам, открывая для себя непознанную, загадочную красоту города, и обязательно постоят и здесь, у парапета над рекой...

А может быть, он снова будет вспоминать Будапешт, называть то,

что ему там полюбилось, а Анико будет над ним смеяться и непременно скажет: «Зато вы живете в Праге!..»

Он не торопясь прошел по Манесову мосту к Кларову, там ему оставалось пройти по узкому проходу под Хотковым шоссе прямо на Шпейхар, а оттуда — рукой подать до дома.

«Все уладится, успокоится, войдет в свою колею,— повторил он уже в который раз и твердо поверил, что так оно и будет.— А Нейтек? Как быть с Нейтеком?.. А зачем мне ломать над этим голову? В жизни, как и в игре, у каждого есть свой противник...»

Или такое решение — стремление уйти с поля боя невредимым и без потерь? Не примиренчество ли это, не вынужденное ли отступление?

Может да, а может и нет... Рано или поздно они должны столкнуться, хотят они или нет, наверное, этого не избежать... Тем более если оба останутся в объединении и ежедневно будут встречаться...

Он должен остерегаться Нейтека, быть с ним поосторожнее, ведь это Нейтек помог отправить старого директора на пенсию.

«Отношения между людьми не могут обойтись без конфликтов, — слышался ему вразумляющий голос бывшего директора,— но ведь коллектив от этого не должен страдать...»

И без какой-либо связи со сказанным тот же голос его предостерегал: «Беда, если побеждает личная выгода и зависть...»

Он опять видел директора за пустым столом, как он чистил яблоки, поглощенный этим занятием.

«Ну и что же,— простодушно возразил он тогда своему директору,— с вами же ничего не может случиться, пойдете на пенсию...» Директор наградил его проницательным и насмешливым взглядом.

«Только есть разница — уходить с незапятнанной репутацией или с чувством вины...»

Хотя солнце уже зашло, на помосте купальни, внизу, под каменной набережной, еще двигались загорелые люди в плавках. Видимо, им не хотелось в этот тихий вечер уходить оттуда — вода освежала.

И снова ему вспомнилось, как он мечтал об оркестре, где все играют свои партии так, как им позволяют их способности, чтобы доказать другим, на что они способны и что они могут, и как все играют вместе; их объединяет единая воля и стремление как можно лучше исполнить произведение, приблизить одного человека к другому, найти самого себя, заверить друг друга в том, что один человек может очень мало — собственно, почти ничего... Он хотел бы стать музыкантом и играть в оркестре и сегодня, и ежедневно, шлифовать свое умение, стремиться внести свою лепту в общее дело, совершенствовать свое искусство и готовиться к совместным ответственным выступлениям, на которых оркестранты показали бы друг другу и всем остальным, на что они способны...

Градчаны, словно корабль, неожиданно быстро приблизились с левой стороны, сейчас они выглядели еще величественнее, еще выше в мягком, пастельном освещении наступившего вечера, в котором преобладал нежно-голубоватый оттенок...

А тетя Лаура будет смеяться и своим глухим, хриплым от сигарет голосом повторять одну из своих извечных и правдивых жизненных мудростей: «Никогда не бывает так хорошо, чтобы не могло быть еще лучше...»

И оба они будут смеяться по любому поводу — достаточно одному из них только начать, и смеху не будет конца.

Хорошо жить на свете, когда есть тетя Лаура.

Мягкие очертания города медленно исчезали, сливаясь с речной дымкой, сумерки под светлым небосводом тихо опускались на Прагу. Завтра будет прекрасный день.

■

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

Стихи, включенные в эту подборку, взяты из двух последних книг Роберта Лоуэлла — «Избранное» (1976) и «День за днем» (1977). Поэт считал их итоговыми для десятилетия работы. Вышло так, что они подвели итог всей его творческой биографии.

Мне довелось видеть его только однажды. Было это летом 1977 года в Москве, во время первой советско-американской писательской встречи. Лоуэлл поражал какой-то предельной самоуглубленностью. Худой, высокий, по-молодому резкий и угловатый в движениях — трудно было поверить, что ему только что исполнилось шестьдесят,— он говорил отрывисто и часто отклоняясь от общей дискуссии, словно круг собственных мыслей, неотступных и мучительных, полностью замкнул его бытие, отмежевав от окружающих незримой чертой.

Его стихи у нас уже печатались, и чувствовалась в них та властная логика завершенного художественного мира, которую, хотя бы ненадолго отказавшись от своих личных представлений, читатель должен усвоить, чтобы двери в этот мир раскрылись. В жизни от собеседников Лоуэлла требовалось такое же подчинение, та же настроенность на его духовную волну. Иначе не возникало контакта.

Книга «День за днем» вышла в августе того года, и, читая ее, я особенно остро ощутил эту цельность поэтического и житейского облика Лоуэлла, в стихах — случай не столь уж частый — до полного совпадения похожего на самого себя.

А вскоре появилось сообщение, что, возвращаясь из аэропорта душным и влажным сентябрьским полднем в Нью-Йорке, Лоуэлл умер от сердечного приступа в такси.

Так его последние книги приобрели значимость художественного завещания. Это многое меняет в их восприятии. Поэзия Лоуэлла отныне принадлежит истории не только по сути, как принадлежала всегда, с начального сборника «Земля несоответствий» (1944), но даже и формально. Такое «даже» — не мелочь: книги Лоуэлла отделились от потока, по которому, невольно сближая выдающееся и заурядное, судят о характере и уровне американской поэзии наших дней. Они обособились от совокупности, от «контекста» и сразу стали яснее черты, придающие им своеобразие, глубину, стройность и завершенность, отличающие лишь очень немногочисленные явления современной классики.

Та внутренняя логика, которая и создает художественный мир, обозначилась теперь с особой рельефностью. Разумеется, за тридцать с лишним лет поэтической работы очертания этого мира заметно изменились, но все-таки в нем есть своя доминанта. Может быть, всего точнее назвать такой доминантой всегда отличавшее Лоуэлла

РОБЕРТ ЛОУЭЛЛ — ROBERT LOWELL (1917—1977).

Американский поэт, лауреат нескольких литературных премий. На русском языке стихи Р. Лоуэлла печатались в «Иностранной литературе» (№ 3, 1967, № 3, 1970), в антологии «Современная американская поэзия» (М., «Прогресс», 1975).

Публикуемая подборка составлена из двух книг стихов — «Избранное» («Selected Poems», 1976) и «День за днем» («Day by Day», 1977).

стремление не просто свидетельствовать о времени, а жить во времени, втягивая в свою духовную орбиту самые грозные, самые драматические события эпохи и переживая их так непосредственно и напряженно, что ими оказываются впрямую затронуты даже совсем, казалось бы, частные, глубоко интимные стороны его индивидуального бытия.

Пафосом Лоуэлла неизменно было исповедание. Одно время в нем видели даже главу целого «исповедального» направления, для которого частная история поэта как личности, оказываясь самодостаточным творческим материалом, почти исчерпывает поэтический макрокосм.

Четверть века назад это направление было в Америке ведущим. Его приверженцы — и среди них такие талантливые, как Джон Берримен или Теодор Рётке,— вполне осознанно ограничивали свой творческий горизонт горизонтом одного. Дневник души, которой так неуютно в американских буднях, игра фантазии, ритмы и краски природы — все это не требовало дополнения хроникой тревожной общественной истории Америки послевоенных лет. В поэзию эта хроника входила не столько преломленной творческим сознанием, сколько приглушенной им, потерявшей свое давящее всевластие, уже не так болезненно чувствующееся за искусственно возведенной перегородкой между социальной жизнью и той бытовой реальностью, в которой формируется конкретный жизненный опыт.

Лоуэлл отдал дань такой поэтике — она присутствует у него в ранних книгах, вплоть до «Этюдов из жизни» (1959). Но он же раньше других понял ее недостаточность. Сам он считал свои книги «автобиографией в стихах, отчасти отступающей от фактов в движении сюжета и в деталях». Отступления были многообразны. Это и поэтическая публицистика антивоенных стихов 60-х годов, далеко не связанная фактами непосредственного участия Лоуэлла в движении против войны во Вьетнаме — а он был среди самых мужественных и непоколебимых ее противников. Это и несколько циклов переводов-стилизаций, где поэты разных эпох — от Проперция до Пастернака — объединены перекличкой мотивов, имеющих прямое отношение к конфликтам американской жизни последних десятилетий. Это и обращения к мифологическим сюжетам, переосмысленным в свете исторического опыта нашего столетия.

И все-таки главным отступлением от тесноватых границ автобиографии был провозглашенный в программном для Лоуэлла интервью 1961 года принцип, согласно которому «свои переживания уместнее выразить в форме «Макбета», чем в форме исповеди». Речь шла о том, чтобы наполнить запечатленный в стихах мир личных переживаний гулом истории в ее высоких и трагических противоречиях. Рамки автобиографии раздвинулись, но сохранилось глубоко индивидуальное, неповторимое, как личность, содержание поэтического «я», не признающего никаких масок, потому что ему дорога интимность, сиюминутность душевных мук и преодолений. Возникло давно искомое единство — время в человеке и человек во времени.

Оно предопределило и поэтическое ви́дение позднего Лоуэлла, и его метафоричность. В созданном им образе мира главенствует стремление разрушить барьер между творчеством и жизнью, жестко контролируя эмоциональный поток отточенной стиховой конструкцией, но не сдерживая его свободы, не приглушая напряженности самого чувства. Все его творчество подчинено потребности сохранить эту остроту восприятия «текущего», вместе с тем не отступая от требований строгой формы, высокой ясности и стиховой виртуозности.

Лоуэлл унаследовал поэтическую традицию, восходящую к английскому XVII веку — к Донну, к Марвеллу, и перенял самое ценное из опыта столь разных поэтов нашей современности, как Т. С. Элиот и Уильям Карлос Уильямс. Он был уже третьим Лоуэллом в американской поэзии: прадед, Джеймс Рассел, блистал в созвездии последних романтиков, тщетно пытавшихся утвердить эстетическую гармонию и условную красоту посреди торгашеской повседневности Америки конца прошлого века, а в начале нашего столетия Эми, приходившаяся Роберту теткой, возглавила кружок имажистов, в чьих антологиях впервые заявил о себе за океаном авангардизм. Устремления и искания их обоих оставили свой след в творчестве младшего Лоуэлла. Вопреки преобладавшей тенденции он долго держался рифмованного стиха и классических форм (позднее он с иронией вспомнит, как показывал Роберту Фросту большую поэму о крестоносцах, написанную пятиударным ямбом, и Фрост, яростный сторонник традиционности, попрекнул его консерватизмом). А затем у него началась полоса проб в метризированном верлибре, который вырос из имажистских экспериментов. Но магистральная дорога Лоуэлла пролегла в другом направлении.

Свободный стих в итоге сделался его основным поэтическим средством, но Лоуэлл не доверился ни идее разговорности, естественности, вольной протяженности строки, справедливо видя здесь опасность разрыва основы стиховой ткани, ни тем приемам механического повторения и параллелизма, которые ставили перед такой опасностью чисто формальный заслон и сдерживали живое движение стиха. Вслед за поздним Уильямсом, которого он ценил исключительно высоко, Лоуэлл пошел по труднейшему пути реконструкции классической строфы средствами верлибра. Свободный стих Лоуэлла несет новое мироощущение, а тем самым и необычное для классики содержание, однако сохраняет гармоничность, скульптурную четкость очертаний складывавшихся

веками форм. Сонеты из книги «Избранное» были в этом смысле его высшим творческим достижением. И в книге «День за днем» он упорно бился над той же задачей — отнюдь не формалистической, потому что речь шла об укрощении хаоса жизни, о поиске художественной цельности, помогающей преодолеть то, что в одном из стихотворений Лоуэлла названо «глумливой эксцентричностью эпохи».

Сегодня эти поиски воспринимаются как часть лоуэлловского завещания, к которому наверняка не раз вернется американская поэзия. Ведь ту угрозу ее будущему, о которой так настойчиво заговорили в последние годы, Лоуэлл почувствовал еще двадцатилетие назад, признав углубляющийся «разрыв между творчеством и культурой в широком значении слова». Его не могло удовлетворить холодное мастерство — оно оказывалось внутренне пустым, если не было одухотворено причастностью к тревогам мира, неподдельностью их переживания.

Требованием времени он тогда назвал «прорыв к действительности». Для многих в 60-е годы эта задача решалась предельным сокращением дистанции между материалом и поэтическим словом, и стих вытеснялся слегка ритмизованной прозой, а мысль — механической записью сумятицы впечатлений. Лоуэлл отверг это искушение газетностью. Подчеркнуто злободневные, его стихи не поступались ни глубиной мысли, ни лиризмом, ни выверенностью поэтической композиции.

В давнем споре между последователями Уитмена, ценившими в поэзии прежде всего ее «открытость», и сторонниками Элиота, которые дорожили «точностью», ставя во главу угла совершенство и емкость стиха, он занял свою позицию, добиваясь синтеза того и другого. Спору, вероятно, длиться еще долго. Но теперь уже ни один серьезный поэт не пройдет мимо уроков Лоуэлла.

Каждый новый его сборник — «Павшим за Союз» (1964), «Записная книжка» (1969), «Дельфин» (1973) — представлял собой, в сущности, исповедальный роман в стихах, наполненный прямыми отголосками больших общественных событий. Однако искания и заблуждения, драмы и надежды личности, которая встает перед нами со страниц этого романа,— все это не только не отступило на периферию, а, наоборот, приобрело особый драматизм, оказываясь включенным в движение истории, включенным не усилиями поэта, а логикой вещей. Ведь

История кормится тем, что было,
тем, чем мы неумело владели,—
а мы умираем скучно и страшно;
книги конечны, жизнь бесконечна.

В этих строчках из «Истории» всего отчетливее выразилась тональность лирики позднего Лоуэлла. Ее не передать жесткими определениями, в ней переплетаются многие мотивы. Страдание, боль, хрупкая радость. Стоическое мужество под ударами судьбы. Конечное одиночество человека перед лицом смерти, приступы отчаяния, когда все прожитое кажется уродливым и бессмысленным. И все же закат жизни был для Лоуэлла «золотым летом», «временем совместности» с природой — кратким, но прекрасным, пусть мрачная тень уже виделась ему за дверью. Он сохранил достоинство и в этом последнем испытании.

Быть может, он и сам ощущал «День за днем» как завершение; слишком часты здесь мысли об итогах. Порой они становятся жестокими. Обнажаются самые глубокие тайны, выплывают из небытия воспоминания сорокалетней давности: об утраченной любви и давно пролетевших «ночах обожания», о людях, принадлежавших к поколению грозовых 30-х, и о том, как далеко развела их жизнь, кого-то сделав старшими компаньонами фирм, а кого-то, как Уистана Хью Одена, кумира тогдашней левой молодежи, превратив в почтенного мэтра, научившегося «ценить загнивающий капитализм».

Ранние соприкосновения с болью и грязью будней не позабылись, а накопленный опыт побуждает к честности горьких признаний:

то, к чему мы тщетно стремились,
никогда не могло совершиться...

Это сказано о молодежи предвоенных лет, воодушевленной горячими, хотя и расплывчатыми мечтами о великом перевороте, который покончит с несправедливостью и откроет простор для гармоничных и гуманных отношений между людьми. Конечно, можно здесь увидеть всего лишь иронию умудренных жизнью над своими же юношескими иллюзиями, «самоубийственное самопрощение» стариков. Такой оттенок несомненен, и тем не менее центр стихотворения в его последней строке:

но должно быть сделано лучше.

«Самопрощение» как раз было совершенно несвойственно Лоуэллу. Через все его творчество прошла тема своей прямой вины за то зло, которое совершается в мире, за то, что в «зловонном дыме» войн погибает культура, за то, что XX век пережил волну фашистского варварства, «систематичного и философичного», в отличие от варварства Аттилы. С такого рода «философичностью» неизменно вступала в спор поэзия Лоуэлла, приобретая черты высокой гражданственности.

В последних его книгах все более разветвленными становились параллели и контрасты, стягивающие в тугой узел непосредственно испытанное поэтом и переживаемое всем человеческим сообществом. Насколько тонкими были эти ассоциативные соотне-

сения, можно судить хотя бы по стихам о Наполеоне. При всей своей лаконичной выразительности портрет дальновидного и «хладнокровного в кровопролитии» императора — лишь часть более широкого замысла, для которого не менее важен и образ поэта, преследуемого мыслью о трех миллионах солдат, убитых в наполеоновские войны, и непереносимым сознанием равнодушия толпы к урокам истории, таким актуальным для нашего времени. Прошлое и сегодняшнее, личное и всеобщее в этом стихотворении соединены нерасторжимо.

Лоуэлл был выдающимся мастером таких вот монтажных стыков, придающих его «кадру» глубину философского обобщения, позволяя вместе с тем сохранить всю конкретность и выразительность моментального снимка движущейся жизни:

Мы живем в промежутке
между тем, что мы есть, и тем, чем мы были.

Он поэт настоящего, но его «день за днем», текущее время — это, как сказано в другом стихотворении, «инфекция отшумевшего»; двойная перспектива — пожалуй, самая примечательная особенность его поэтического мышления. Удивительна отчетливость, с какой он улавливает ход истории почти в каждом событии и явлении окружающего мира. Оттого ему и остались чужды восприятие текущего как хаоса и чувство своей беспомощности перед непостижимыми законами мироздания — те настроения, которые так распространены в американской поэзии последнего времени.

Его переживание реальности драматично, но это всегда переживание реального, а не разного рода мифов о реальном. Наверное, здесь секрет той неубывающей духовной стойкости Лоуэлла, которая поражает в его лучших книгах, включая «День за днем».

В них отразилась драма человеческого отчуждения в буржуазном обществе, но нет и следа осознанной отчужденности поэта от этой жизни при всем ее трагизме, вульгарности, пошлости. Потому нет и одномерности восприятия, которое у множества поэтических сверстников Лоуэлла окрашено лишь одним побуждением — ненавистью. Бродя по улицам «города-убийцы, американского города», на всех его перекрестках подмечая приметы моральной апатии и кризиса духа, Лоуэлл без приукрашиваний передает эту тягостную атмосферу современной Америки. Но он отказывается принять ее как конечный и необратимый результат исторической хроники человечества. Двойная перспектива включает сегодняшнее в «отшумевшее», вновь и вновь устанавливается органическая связь времен. И для Лоуэлла это не бессмысленная преемственность: большое время, всегда присутствующее в его стихах, заполнено борьбой антигуманного и истинно человечного, а она далеко не завершена, и ее исход еще вовсе не определился.

Однажды он назвал поэзию «искусством возможного». Это не только полемический вызов тем, кто, объявив современную действительность мертвенной, признал невозможным и всякое искусство и призвал к «молчанию» как последнему выходу, оставленному художнику такой реальностью. Это и декларация веры в то гуманно «возможное», что сохраняется в человеческой душе. Все творчество Лоуэлла служило активизации таких возможностей человеческого духа. И оно останется непреходящим завоеванием литературы нашего времени.

А. ЗВЕРЕВ

Тридцатые

Два месяца туманы, сырость, спертость
тем лучшим летом, сорок лет назад:
девчонки по пути домой, пластинки,
туманы, покер, танцы, «спать пора»
какой-то поздней птицы; местный хемлок
чернеет, словно римский кипарис;
амбар-гараж под маяком Ковша,
в пруду мизантропичная лягушка
брюзжит на ужас жизни — до утра!
Короткими ночами долги сны;
в кострах на свалке чайки ищут падаль,
скрипя, как цепи; парусник причалил,
и поселенцев в желтых капюшонах
увез автобус, желтый, как листва.

© by Robert Lowell, 1976 и 1977.

Наполеон

В ныне исчезших, провинциальных
бóстонских книжных развалах рылся,
волок домой охапки растрепанной
раззолоченной макулатуры —
его жизнеописанья... он был
не кровожадный, скорей хладнокровный
в кровопролитии, дальновидный,
умной железной рукой обуздывал
неуправляемые обстоятельства,
якобинцев, народ, дворянство...
Три миллиона убитых солдат,
в их жилах — бравурная гранд-опера́.
И мы теперь скажем, что он аморален?
Что все исчезло, как дым его пушек?

История

История кормится тем, что было,
тем, чем мы неумело владели,—
а мы умираем скучно и страшно;
книги конечны, жизнь бесконечна.
Авель конечен; осечка смерти
дразнит скептика, чьи коровы —
как черепа с трансформаторных будок,
чей младенец воет всю ночь,
как неотлаженная машина.
В бледной охотнице, пьяной туманом,
библейской луне ребенок видит
четыре провала: глаза, нос, рот —
наивное до кошмара лицо,
мое лицо в предрассветном морозце.

Окно

Полночные деревья сбились с ног;
в окне, природной раме живописца,
страсть борется с классичностью — любовь
течет сквозь пальцы. Поднимаем шторы:
дрожанье мокрых белолицых стен,
шального мира, лондонского мела...
Дома́ нам стали поперек пути,
но мы встречаемся, глотаем бурю.
В столицах, даже самых захолустных,
бездомной буре не ворваться к людям,
пока ее не впустит в дом окно.
Мы слышим, как молотит кулаками,—
жизнь ничему ее не научила...
Бегущие деревья сбились с ног.

Дома

Было, стало... с 30-х гг.
ребята моей компании —
старшие компаньоны фирм. Лысые,
как птенцы, мечтают
о выходе на покой.

У алтаря уступчивости
мы встретились
в час доверчивости.
Как ясно твоя беда рисовалась нам,
двадцатилетним.

В мишуре казино
как наивно мы коротали ночи,
всегда мартини «Везувий»:
в горький джин для подсластки
не вермут, а водка —

лицо щекотали ресницы
в ночь обожания...
вскоре каждую ночь напролет,
пока не пропало это твое драгоценное
обыкновение.

Чадородие не для дерзающих,
красота не для резких —
наготу лета
наши ссоры прикрыли
золотым листком.

Иногда
я спохватываюсь на том,
что ум мой остекленелым взором
ищет утраченную любовь,
твое утраченное лицо.

Из лета в лето
тополя увядают
от яркости —
это город для молодых,
здесь они разбиваются о прибой.

Ни собака здесь не узнает меня по запаху.

День

Удивляет,
что день все длится,
как молния над открытым полем,
твердь земная и вспышка
текучего многообразия,
свежесть,
как в ту минуту,

когда человек впервые,
словно крокус, пробился в почве.

В окне вагона коровы,
нанизанные на нитку,
одно однополое стадо,
иерархия однообразия
на склоне холма —
солнце их выкрасило
в цвет полудня.

Они были картинками в детской книжке —
я прочел ее, не научившись читать.

Они пролетают мимо окна:
осечка, осечка
Великого дня,
dies illa[1],
когда мы жили мгновеньями
вместе, вечно
в согласии с нашей натурой —

как будто в конце,
венчаясь с небытием,
мы могли еще убежать,
целы и невредимы.

Городу Шеридану

Мы живем в промежутке
между тем, что мы есть, и тем, чем мы были.

На загубленном негативе
существуешь ты,
улыбка, загадка,
старомодный ребенок
в старомодной шапке.

Три века в мгновение:
тот же мальчишка на той же картинке,
он, я, ты — до отказа —
одного фасона, как серебро
из материна приданого,—

гномик, рыбка, нахрапистый ангелок.

Мы видели четко
одно и то же,
но негатив поплыл.

За пятьдесят — изумленно
с самоубийственным самопрощением
мы открываем:
то, к чему мы тщетно стремились,
никогда не могло совершиться —
но должно быть сделано лучше.

[1] Тот день *(лат.)* — день Страшного суда.

После 1939

Мы прозевали объявление войны:
уехали в свадебное путешествие,
листали в вагоне революционные
стихи тогдашнего Одена и задремали —
убаюкивали уютные
ритмы, старевшие на глазах...
Ныне мне задремать труднее,
ныне я заблуждаюсь сознательней.
Вот студентка читает нового Одена.
На вид она из современных,
она вскрывает его охладелое тело.

Теперь он — история, как и Мюнхен,
и, кажется, научился
ценить загнивающий капитализм.

А мы до сих пор
обсуждаем его отступничество,
которое дьявол рад бы списать
на глумливую эксцентричность эпохи.

Нынешний недоделанный революционист —
конец всему, ничему не начало...
Неискренние поминки по Дьяволу
Дьявол пережил и, чертыхаясь,
хромает к самоуничтожению,
у меня на душе так тяжело —
никакими весами не взвесишь,
и вокруг плевки как цветочки...

И Англия и Америка одряхлели
и могут страшиться прошлого,
привычки тают, как воск;
процветавшие весельчаки
ядовито иронизируют...

Лет десять назад
невоспитанные африканцы
захламили свои английские кладбища
побелевшими от былой власти,
изваянными из мыла фигурами
Викторий, Китченеров,
бельфастских наемников —
эти хотели краплёными картами
обыграть всемогущее невезение.
Штукатурили щеки, как старая примадонна,
для успеха на генеральном прогоне...
Думали, что они еще живы,
если мысли приходят...

Мы чувствуем, что машина не слушается,
словно ведет ее кто-то другой;
если мы видим свет в конце тоннеля,
это свет приближающегося поезда.

Ясный день в Бостоне

Радость — вырваться от зубного,
протезы словно руины Акрополя...

Радость — бродить по Бóстону,
в голове — молодой Генри Адамс[1]
с незамеченной белой повязкой —
целый день носил против рабства.

Эпоха назад — мгновение,
когда можно было жить где угодно,
и ничто тебе не угрожало,
и ты ничему, кроме приличий...

На солнечной стороне Молла
теперь студенческое общежитие,
блузки флиртуют в малиновых стеклах —
неколебимый и неуместный
крепостью с башнями особняк
Огáстуса Лоуэлла,
феодала фабрик, любителя роз...

Никто не подумал спилить с окон
извилистое железо решеток,
гримасу умершего ремесла.

Стройные уличные фонари
из того же изысканного железа,
слабые, словно свечи,
беспричинно горят
весь день.

Город убийства, американский город.

Этот дом, тот дом —
голый, безликий кирпич —
я жил во всех.

Кровь обязывает мое сердце
всегда быть на стороне побежденных;
но жалеть богатых — убийство,
даже когда они мертвые так же,
как Гектор, герой и наездник,—
богатые обречены вернуться
и быть с нами в качестве бедных.

Прибой пригорода

На моей бессонной руке
ты хлебнула сна, словно кофе.

Тормошишь подушку, ищешь
свои французские сигареты —
так медведь ворошит улей.

[1] Генри Адамс (1838—1918) — американский историк и писатель.

Между нами ни слова —
и вдруг, как всегда, машины,
побрели спросонья за кормом,—
оживает прибой пригорода,

алмазные, как твои глаза,
стеклянные взгляды фар
скользят по невидимой им дороге —

сцепление, сжатие и т. д.,
их дело — лакать
бензин вместо виски.

Долгие, неритмично ухают волны,
нарастают и разбиваются,
громко, так, чтоб услышали —

мерзкие, механические,—
утихают, медлят, отходят
и всегда поразительно доведут
до удушья тревоги —

настойчивые перебои сердца...
я приветствую новый день,
перемирие с ненадежным небом.

Неверный покой — самый ценный покой.

В свете полудня
машины — жестянки, стандартные, пестрые,
пародия
на их дорассветную сущность,
невидимую, как выхлоп,
у каждой твари отдельную.

Пропало
волнующее дыхание Пана.

Мы были в раю

Здесь мы были в раю —
как иначе любить?

Три недели природа
покрывалась испариной,
как зеркало в ванной:
холмы, коровы, сусличьи норы
вдали от Атлантики...

жатва —
мы посвистываем из травы.

Оторванная от дуба молнией
ветвь весом в тонну
еще подрагивает листвой,
пьет свет полудня,
словно живая.

Как нам это вынести?
От зерна́ до мякины
природа не знает трагедий.

Откуда безумие?
От настоящего, да,
мы в нем, а оно
отравлено прошлым...

Три года не слышал,
как на ветру гремит
атлантическая газета.

Отчего любишь женщину
больше, чем женщин?

Золотое лето

Золотое лето,
обильный песок,
поджаристый хлеб —
вовсе не золотые.

У полей желто-белые космы
патриархов, чье достояние
две козы и бегущий день —
плодородие несказанное.

Наша кошка только что
окотилась,
я нес поднос и отдавил ей лапу —
она с воем вылетела в окно,
оскорбленная женщина.

Неужели краткое время
совместности
так безмятежно, что я обязан
примысливать тень за углом...
в подъезде... за дверью?

Даже в золотое лето
я вижу на одуванчиках пауков —
они доводят до бешенства
игрой паутинок на солнце.

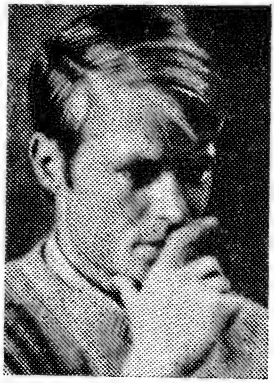
Мы срывали запретные злаки,
сознавая библейскую
хрупкость цветов —
где наша пастушья юность?

Я уйду с земли,
завязав шнурки,
чтоб не поранить
босые ноги.

■

СЕРГЕЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (род. в 1933 г.).

Советский переводчик с английского. В его переводе выходили книги избранных стихотворений Роберта Фроста, Т. С. Элиота, Э. А. Робинсона, в антологиях и журналах печатались подборки стихов Карла Сэндберга, Роберта Грейвза, Дилана Томаса, Алена Гинзберга, Ричарда Уилбера и других американских, английских, австралийских, африканских поэтов XX века.



Ж.М.Г. ЛЕКЛЕЗИО

Мондо

ПОВЕСТЬ

Перевод с французского М. АРХАНГЕЛЬСКОЙ

Пожалуй, никто не смог бы сказать, откуда взялся Мондо. В один прекрасный день он как-то незаметно оказался среди нас, и мы очень быстро к нему привыкли. Это был мальчик лет десяти с круглым и спокойным лицом и красивыми черными, чуть раскосыми глазами. Но удивительнее всего были его волосы: каштановые с пепельным оттенком, они меняли цвет в зависимости от освещения, а в сумерках казались почти серыми.

Никто не знал, есть ли у него дом, родители. Вполне возможно, их у него и не было. Он появлялся неожиданно то на углу улицы, то на пляже, то на рыночной площади. С решительным видом он шагал, поглядывая вокруг,— всегда один, в одних и тех же голубых холщовых штанах, кедах и просторной зеленоватой трикотажной рубашке с чужого плеча.

Он подходил к вам, глядел в лицо и улыбался, при этом глаза его превращались в блестящие щелочки. Так он здоровался. Если же человек ему нравился, он останавливался и просто спрашивал:

— Вы не хотите меня усыновить?

И прежде чем человек приходил в себя от изумления, Мондо был уже далеко.

Что привело его в наш город? Может, он решил передохнуть после долгого путешествия в трюме парохода или в хвосте товарного поезда, который много дней и ночей вез его по нашей стране? Или ему захотелось остаться, когда он увидел солнце и море, белые виллы и пальмовые рощи? Одно несомненно — прибыл он издалека, он родился по другую сторону гор, на другом берегу моря. С первого взгляда было видно, что он нездешний и побывал в далеких краях. Об этом говорили и черные блестящие глаза, и медный цвет кожи, и походка — ходил он легко, совсем бесшумно, немножко бочком, точно собака. И еще одно поражало в нем — удивительное изящество и уверенность в себе, что такая редкость для детей его возраста. Он лю-

---

ЖАН МАРИ ГЮСТАВ ЛЕКЛЕЗИО — J. M. G. LE CLÉZIO (род. в 1940 г.).

Французский писатель. Его первый роман «Протокол» («Le procès-verbal»), вышедший в 1963 г., был удостоен премии Ренодо. Затем вышли романы «Terra Amata» (1968), «Книга бегств» («Le livre des fuites», 1969), «Война» («La guerre», 1970), «Гиганты» («Les géants», 1973) и др.

Мы знакомим читателей с творчеством Леклезио, публикуя его повесть «Мондо» из сборника того же названия («Mondo et antres histories», 1978).

© Editions Gallimard, Paris, 1978.

бил задавать странные вопросы — как загадки. Но ни читать, ни писать не умел.

Он пришел в наш город в самый канун лета. Стояла уже сильная жара, и каждый вечер на холмах вспыхивали пожары. По утрам небо было голубое, высокое, гладкое, без единого облачка. С моря дул сухой, горячий ветер, он иссушал землю, и огонь пожаров разгорался сильнее. Мондо появился у нас в базарный день. Он зашел на рыночную площадь и сразу начал кружить вокруг голубых фургонов зеленщиков. Работу нашел себе быстро — ведь зеленщикам всегда нужен помощник на разгрузку ящиков.

Мондо разгружал один фургон, получал несколько монеток и переходил к другому. С той поры на рынке он стал своим человеком. Он приходил на площадь спозаранку, чтобы не упустить работу, и зеленщики, заприметив его, кричали:

— Мондо! Эй, Мондо!

Торговля заканчивалась, но Мондо не уходил с рынка. Он бродил между прилавками и подбирал с земли картошку, апельсины, финики. Другие дети и старики тоже собирали в сумки листья салата и картошку. Торговцы любили Мондо, они никогда не гнали его. Толстая Роза, торговка фруктами, то и дело совала ему яблоко или банан со своего прилавка. На рыночной площади стоял неумолчный гам, над горами фиников и изюма вились осы.

Голубые фургоны разъезжались, а Мондо все не уходил. Теперь он поджидал своего друга-поливальщика, высокого, худого человека в темно-синем халате. Мондо никогда не разговаривал с поливальщиком, он только смотрел, как тот орудует своим шлангом. Поливальщик направлял струю воды на кучи мусора, и вот очистки, отбросы, гнилые фрукты пускались наутек, спасаясь от воды, точно зверюшки, а брызги воды веером взлетали ввысь. Вокруг все гремело и грохотало, вода плескалась по мостовой, над стоящими в стороне машинами вспыхивали маленькие радуги. Поэтому Мондо и дружил с поливальщиком. Ему нравилось смотреть на летящие во все стороны брызги — они дождем обрушивались на кузов и ветровые стекла машин. И поливальщик любил Мондо, но тоже никогда с ним не разговаривал. Впрочем, они все равно не смогли бы толком поговорить — они просто не услышали бы друг друга. Мондо следил за длинным черным шлангом, который извивался как змея. Ему очень хотелось самому подержать шланг, но он все никак не решался попросить об этом поливальщика. Да и струя била с такой силой — он боялся не устоять на ногах.

Мондо никогда не уходил с площади, пока поливальщик не закончит работу. Брызги летели ему в лицо, оседали на его волосах прохладной освежающей росой. Окончив работу, поливальщик сворачивал шланг и уходил на другое место. А прохожие смотрели на мокрую мостовую и удивлялись:

— Вот те на! Оказывается, был дождь.

Потом Мондо шел поглядеть на море, на горевшие холмы или же отправлялся на поиски других своих друзей.

В то время у него совсем не было дома. Спал он там, где удавалось укрыться: у пляжа или еще дальше, в белых скалах на окраине города. У Мондо были прекрасные тайники, где он чувствовал себя в полной безопасности. Полиция и благотворительные общества не любят, когда дети живут вот так, на свободе, едят что придется и спят где придется. Но Мондо был хитрый, он знал, когда надо спрятаться и переждать.

В спокойные дни он с утра до вечера разгуливал по городу, смотрел, что делается вокруг. Больше всего он любил бродить про-

сто так, без всякой цели, сворачивал на какую-нибудь улицу, потом на другую, возвращался обратно проходным двором, останавливался ненадолго в парке, снова отправлялся в путь. Когда он встречал человека, который ему нравился, он подходил к нему и спокойно говорил:

— Здравствуйте. Вы не хотите меня усыновить?

И вероятно, многие и в самом деле не отказались бы его усыновить: Мондо был такой славный — круглолицый, черноглазый. Но дело это было непростое. Люди не могли его усыновить вот так, с ходу. Они начинали выяснять, сколько ему лет, как его зовут, где он живет, кто его родители, а Мондо не очень-то любил такие вопросы. Он говорил:

— Не знаю. Не помню.— И поскорее убегал.

Вот так, гуляя по улицам, Мондо приобрел немало друзей. Правда, не со всеми ними он разговаривал. Не такие это были друзья, чтобы с ними разговаривать или играть. С такими друзьями можно поздороваться на ходу, подмигнуть или издали помахать рукой. Были у него другие друзья, которые его подкармливали: например, булочница — та каждый день давала ему кусок хлеба. У нее было румяное старенькое лицо, правильное и гладкое, как у итальянской статуи. Одевалась она всегда во все черное, а седые заплетенные в косы волосы стягивала на затылке в пучок. Кстати, и имя у нее тоже было итальянское — Ида. Мондо часто заходил к ней в булочную. Иногда он помогал ей — разносил хлеб по соседним лавочникам. Когда он возвращался, она отрезала от круглого хлеба большой ломоть и, завернув в прозрачную бумагу, протягивала ему. Мондо ни разу не попросил ее усыновить его, наверно, он стеснялся, потому что очень ее любил.

Потом Мондо не спеша шел к морю и ел хлеб. Он откусывал хлеб маленькими кусочками, чтобы не съесть сразу, и брел потихоньку и жевал. Пожалуй, в то время он и питался-то одним хлебом. Но он никогда не забывал оставить несколько крошек для своих друзей — чаек.

Лишь миновав много улиц, площадей и парк, можно было наконец почувствовать запах моря. Порыв ветра неожиданно приносил его вместе с монотонным шумом волн.

У выхода из парка стоял газетный киоск. Мондо задерживался возле него и покупал себе журнал в картинках. Он долго копался в выпусках с приключениями Акима, но в конце концов все же выбирал Кита Карсона. Уж больно ему нравилась обложка — Кит Карсон в своей знаменитой куртке, туго перетянутой ремнем. Теперь поскорее бы прочесть журнал. Задача не из легких — надо найти кого-то, кто бы прочел ему слова под картинками. Правда, время удачное — полдень: на скамейках в парке, изнывая от скуки, дымят сигаретами пенсионеры — бывшие почтовые служащие. Мондо выискивал старичка посимпатичнее и подсаживался к нему на скамейку. Он слушал и разглядывал картинки.

Перед Китом Карсоном, скрестив на груди руки, стоит индеец.

«Прошло десять лун,— говорит он,— и мой народ доведен до отчаяния. Я приказал отрыть топор наших предков».

Кит Карсон вскинул руку:

«Сдержи свой гнев, Бешеный Конь! Ты можешь жестоко поплатиться».

«Поздно,— отвечает Бешеный Конь.— Смотри!»

Он указывает Киту Карсону на собравшихся у подножия холма воинов.

«Мой народ больше не хочет ждать. Мы объявляем войну, все вы умрете, и ты тоже, Кит Карсон».

Воины по приказу Бешеного Коня бросаются на Кита Карсона, но

он повергает наземь одного, другого. И вот Кит Карсон скачет прочь. Он оборачивается и издали кричит Бешеному Коню:

«Я еще вернусь! Мы с тобой расквитаемся!»

Выслушав историю Кита Карсона, Мондо забирал журнал и благодарил старичка.

— До свидания,— говорил старичок.

— До свидания,— говорил Мондо.

Теперь Мондо спешил к молу, выступавшему далеко в море. Некоторое время он любовался морем, щурясь от сверкавших на воде солнечных бликов. Небо было ярко-голубое, без единого облачка, и чуть тронутое рябью море серебрилось под солнцем.

По маленькой лесенке Мондо спускался к молу. Он очень любил это место. Огромные прямоугольные каменные плиты уходили далеко в море. А в конце мола возвышался маяк. Птицы медленно кружили над морем, недвижно парили, камнем падали вниз, жалобно постанывая тоненькими детскими голосами. Они пролетали над самой головой Мондо, задевая его крыльями, что-то кричали ему. Мондо бросал в воздух крошки хлеба, он старался подбросить как можно выше, и птицы ловили их на лету.

Мондо так любил гулять по молу! Он прыгал с одной плиты на другую и смотрел на море. Ветер бился о его щеку, трепал волосы. Несмотря на ветер, солнце жгло довольно сильно. Волны ударялись о подножье мола, и сверкающие россыпи брызг взлетали ввысь.

Мондо останавливался, смотрел на берег — коричневая полоска, усеянная маленькими белыми параллелепипедами, была уже совсем далеко, а за ней — серые и зеленые холмы. Кое-где в небе странное серое пятно — дым от пожаров. Но самого огня не видно.

— Надо бы мне сходить туда, поглядеть,— говорил Мондо.

И ему представлялись красные языки пламени, пожирающие кустарники и рощи пробкового дуба. А на дорогах много-много красных пожарных машин. Они такие красивые.

На западе тоже словно полыхал пожар, но уже на море — на самом деле это было солнце, отражавшееся в воде. Мондо останавливался, закрывал глаза, и маленькие солнечные язычки плясали на его веках, а потом снова пускался в путь, прыгая по каменным плитам.

Мондо различал каждую плиту по виду. Плиты были похожи на огромных зверей, которые заснули в воде, а спины выставили погреться на солнце. На спинах у них всякие отметины: красные и коричневые пятна, ракушки, вросшие в камень. У основания мола, там, где бились волны, ковром росли зеленые водоросли, в них жили моллюски с белыми ракушками. У Мондо была и своя любимая плита в самом конце мола. Он всегда усаживался именно на нее. Его плита немножко клонилась в море, совсем чуть-чуть, она была вся стертая и совсем гладкая. Мондо усаживался на ней по-турецки и что-то тихонько говорил ей — здоровался. Иногда он развлекал ее, рассказывал ей разные истории — она ведь, конечно, скучала здесь, все время на одном месте. И он рассказывал ей о путешествиях, о пароходах, и, конечно же, о море, и об огромных китах, которые не спеша плавают от одного полюса к другому. Плита молчала и лежала не двигаясь — видно, любила послушать истории, которые ей рассказывал Мондо. Наверно, потому она и была такая ласковая и гладкая.

Мондо долго сидел на молу, смотрел на искрящееся море и слушал плеск волн. Когда же за полдень солнце начинало припекать все сильнее и сильнее, он свертывался калачиком, прижимался щекой к теплому камню и ненадолго засыпал.

В один из вечеров он и познакомился с Жорданом-Рыбаком. Плиты мола передали Мондо отзвук чьих-то шагов. Он вскочил,

собираясь спрятаться, но, увидев человека лет пятидесяти с длинной удочкой на плече, передумал.

Человек дошел до соседней плиты и приветливо махнул ему рукой.

— Что ты здесь делаешь?

Он расположился на молу, вынул из клеенчатой сумки лески и крючки. Тогда Мондо подошел к нему поближе и стал смотреть на его приготовления. Рыбак показал ему, как надо надевать наживку и как забрасывать удочку: сначала осторожно отвести ее назад, а потом, когда катушка раскрутится, с силой бросить вперед. Он дал Мондо подержать удочку и научил его спускать леску непрерывным движением, чуть покачивая удочку слева направо.

Жордан-Рыбак никогда ни о чем не спрашивал Мондо, и Мондо очень любил его за это. Изборожденное глубокими морщинами лицо рыбака побагровело от загара, и маленькие ярко-зеленые глаза невольно привлекали к себе внимание.

Он удил на молу до самого вечера, пока солнце не клонилось к горизонту. Жордан все больше молчал — конечно, чтобы не распугать рыб, но когда на удочку попадалась рыбина, смеялся. Точными, уверенными движениями он высвобождал крючок из рыбьей пасти и бросал добычу в клеенчатую сумку. Время от времени Мондо ходил вместе с ним поохотиться на серых крабов для наживки. Он спускался к подножию мола и выслеживал крабов в пучках водорослей. Когда волна отступала, серые крабики вылезали наружу и Мондо хватал их. Жордан-Рыбак разбивал крабов о каменную плиту и разрезал ржавым ножичком.

Потом они увидели далеко в море бесшумно скользивший черный пароход.

— Как он называется? — спросил Мондо.

Жордан-Рыбак приставил к глазам руку козырьком и сощурился.

— «Эритрея»,— ответил он, а потом удивленно спросил: — Ты плохо видишь?

— Да нет,— сказал Мондо.— Я просто не умею читать.

— Ах вот оно что...

Они долго смотрели на пароход.

— А почему он так называется, этот пароход? — спросил Мондо.

— Эритрея? Это такая страна на побережье Африки, у Красного моря.

— Какое красивое название,— сказал Мондо.— И страна, наверно, тоже очень красивая.

Мондо на минутку задумался:

— А море, говорите, называется Красным?

Жордан-Рыбак рассмеялся:

— Ты думаешь, море там и в самом деле красного цвета?

— Не знаю.

— На закате море и вправду отсвечивает красным. Но называется оно так не поэтому, понимаешь, племена там жили такие...

Мондо смотрел вслед пароходу.

— Он ведь плывет туда, в Африку?

— Ну да, и это очень далеко,— сказал Жордан-Рыбак.— Там страшно жарко, солнце палит круглый день, а берег похож на пустыню.

— А пальмы там есть?

— Есть, а еще там длинные-длинные песчаные пляжи. Днем море ярко-голубое, по нему плавают рыбачьи лодочки под парусами, похожими на крылья, они плывут вдоль берега от деревни к деревне.

— Значит, можно сесть где-нибудь на пляже и смотреть на них?

Выбрать себе местечко в тени, любоваться морем и лодками и рассказывать сказки?

— Да нет, люди там работают не покладая рук: чинят сети или вытаскивают лодки на берег и сшивают их корпуса цинковыми пластинами. А дети собирают сухие ветки и разжигают костры, чтобы подогреть смолу, которой замазывают щели в лодках.

Жордан-Рыбак забыл про свою удочку. Он устремил взгляд вдаль, туда, где небо сливалось с морем, словно и в самом деле видел то, о чем рассказывал.

— А в Красном море водятся акулы?

— Да, одна-две акулы всегда плывут за лодкой, но все к ним давно привыкли, никто и внимания на них не обращает.

— А они не злые?

— Видишь ли, акулы похожи на лисиц. Только и ждут — не упадет ли чего в море, вдруг удастся что-нибудь стянуть. Но вообще-то они совсем не злые.

— Красное море, наверное, очень большое,— сказал Мондо.

— Очень. А знаешь, как удивительно называются там порты: Баллул, Баразали, Дебба... Массауа. Массауа — большущий город, весь белый. Вот так вдоль берега и плывут лодки, плывут день и ночь, к северу до Ра Казара или к островам в Дахлак Кебир, к архипелагу Нора, а бывает, доплывают и до противоположного берега, до островов Фарасан.

Мондо очень любил острова.

— И наверно, там много островов с красными скалами и песчаными пляжами, на которых растут пальмы.

— В сезон дождей там такие страшные бури, что ветер вырывает пальмы прямо с корнями и сносит крыши с домов.

— А как же тогда лодки? Тонут?

— В такую погоду люди сидят по домам, в море никто не выходит.

— Но дожди ведь ненадолго.

— На одном маленьком островке живет рыбак со своим семейством. Они построили себе домик из пальмовых листьев у самого моря. Старший сын рыбака уже большой, твой ровесник. Он выходит в море с отцом, забрасывает сети и вытягивает их, полные рыбы. Он очень любит рыбачить вместе с отцом, он сильный и уже умеет управляться с парусами. Когда погода хорошая и море спокойно, рыбак берет с собой всю семью, они едут навестить родственников и друзей на соседних островах и возвращаются домой только под вечер.

— И лодка плывет сама собой, совсем бесшумно, а Красное море и правда становится красным от заходящего солнца.

Пока они разговаривали, «Эритрея» сделала большой круг по морю. Потом лоцманский катер, качаясь на поднятых «Эритреей» волнах, вернулся к причалу, а «Эритрея» дала короткий прощальный гудок.

— А вы когда туда поедете? — спросил Мондо.

— В Африку? На Красное море? — засмеялся Жордан.— Я не могу туда поехать. Мне уже здесь на молу век вековать.

— Почему?

Рыбак не сразу нашелся, что ответить.

— Потому что... Потому что я моряк без лодки.

И он снова уставился на удочку.

Когда солнце уже совсем склонилось к горизонту, Жордан-Рыбак положил удочку на каменную плиту и вынул из кармана куртки бутерброд. Он отдал половину Мондо, и они ели бутерброд, любуясь солнечными бликами на воде.

Мондо ушел еще засветло: он боялся, что не успеет найти себе на ночь тайник.

— До свидания,— сказал он Жордану.

— До свидания,— сказал ему Жордан. А когда Мондо отошел на несколько шагов, он крикнул ему вслед: — Приходи. Я научу тебя читать. Это совсем не трудно.

Он удил, пока совсем не стемнело и маяк не начал слать свои сигналы через каждые четыре секунды.

В общем, все было бы прекрасно, если бы не Колотыга. Каждый день на рассвете на улицах города появлялся серый фургон с зарешеченными окнами. Бесшумно, почти вплотную к тротуарам он ехал по еще спящим улицам, выслеживая бездомных собак и детей.

Однажды Мондо, только что выбравшись из своего тайника на берегу моря, шел по парку и вдруг увидел его. Фургон остановился совсем рядом, Мондо едва успел спрятаться за соседний куст. Задняя дверь распахнулась, и на землю спрыгнули двое в серых халатах. В руках у них были мешки и веревки. Они принялись рыскать по аллеям, и когда проходили мимо куста, за которым притаился Мондо, он услышал обрывок их разговора:

— Он где-то здесь.

— Ты видел?

— Да. Далеко он не мог убежать.

Они разошлись в разные стороны, а Мондо застыл за кустом, не смея ни вздохнуть, ни пошевелиться. Секундой позже раздался хриплый, сдавленный крик, потом снова наступила тишина. Те двое вернулись, один из них нес что-то в мешке. Они забросили мешок в фургон, и оттуда снова донесся душераздирающий вой, от которого у Мондо резало уши. Это выла собака. Серый фургон медленно тронулся с места и вскоре исчез за деревьями. Какой-то прохожий сказал Мондо, что это Колотыга, он ловит бездомных собак, потом прохожий приглядeлся к Мондо и, как видно решив припугнуть его, добавил, что фургон иногда забирает и детей, которые гуляют в парке, вместо того чтобы ходить в школу. С этого дня Мондо то и дело озирался по сторонам и даже оглядывался, боясь, как бы серый фургон не подкрался к нему незаметно.

Когда дети выходили из школы или же в праздничные дни Мондо был спокоен: он твердо знал, что бояться нечего. Но вот когда улицы пустели — рано утром или с наступлением темноты,— надо было смотреть в оба. Может, потому он и ходил бочком, как собаки.

К тому времени Мондо уже познакомился с Цыганом, Казаком и их другом, старым Дади. Так прозвали их здесь, в нашем городе, а их настоящих имен никто не знал. Цыган вовсе не был цыганом, он получил это прозвище за смуглый цвет кожи, иссиня-черные волосы и орлиный профиль, а скорее всего потому, что жил прямо на площади в старом автомобиле марки «гочкис» и зарабатывал на жизнь, показывая фокусы. Казак был с виду очень странный: лицо как у монгола, а на голове громадная меховая шапка, придававшая ему сходство с медведем. Казак играл на аккордеоне возле открытых кафе, чаще всего по вечерам, потому что днем он обычно бывал пьян.

Но больше всех Мондо любил старого Дади. Мондо познакомился с ним однажды на пляже. Старик сидел, подстелив под себя газету, и грелся на солнышке, не обращая внимания на проходивших мимо людей. Рядом, на другом листе газеты, стоял желтый фибровый чемоданчик, весь продырявленный,— он особенно заинтересовал Мондо. Дади выглядел таким спокойным, ласковым, и Мондо совсем его не

боялся. Он подошел поближе, чтобы разглядеть желтый чемоданчик, и спросил:

— А что у вас в чемоданчике?

Дади чуть приоткрыл глаза. Не говоря ни слова, он поставил чемодан к себе на колени и приподнял крышку. Потом загадочно улыбнулся, просунул под крышку руку и вытащил из чемодана пару голубей.

— Ах, какие красивые! — сказал Мондо.— А как их зовут?

Дади погладил голубей по перышкам, потом прижался к ним щекой.

— Его зовут Пилу, а ее — Зоэ.

Он держал голубей в руках, ласково терся о них. Он смотрел куда-то вдаль своими влажными светлыми близорукими глазами.

Мондо осторожно погладил голубей по головкам. Они жмурились на ярком солнце, им не терпелось вернуться в чемодан. Дади, чтобы успокоить их, шепнул им что-то и спрятал обратно.

— Какие они красивые! — повторил Мондо и пошел дальше, а старик снова закрыл глаза и заснул, сидя на газете.

С тех пор под вечер Мондо шел к Дади на площадь. Там они вместе с Цыганом и Казаком давали публичное представление, вернее, Дади сидел поодаль со своим желтым чемоданчиком, Цыган играл на банджо, а Казак зычным голосом сзывал публику. Цыган играл, не сводя глаз со своих бивших по струнам пальцев, и негромко подпевал. Его темное лицо блестело в свете фонарей.

Мондо пробирался в первый ряд и здоровался с Дади. Но вот начиналось представление. Прямо перед носом у зрителей Цыган с молниеносной быстротой извлекал из сжатого кулака разноцветные платочки. Платочки легкими лепестками слетали на землю, и Мондо подбирал их. Это была его работа. Потом Цыган извлекал из кулака ключи, кольца, карандаши, картинки, пинг-понговые мячики, даже горящие сигареты — в общем, самые разнообразные и неожиданные предметы и тут же все их раздавал зрителям. Он проделывал это так быстро, что никто не успевал уследить за движением его рук. Люди смеялись и аплодировали, а на землю сыпались монеты.

— Малыш, помоги нам собрать деньги,— говорил Казак.

В руках у Цыгана оказывалось яйцо, он заворачивал его в красный платочек, руки на мгновенье замирали в воздухе:

— Алле... гоп!

Раздавался хлопок, и когда он разворачивал платок, никакого яйца там уже не было. Люди аплодировали еще громче. Мондо опять собирал монетки и складывал их в жестяную коробочку.

Подобрав все монеты, Мондо присаживался на корточки и внимательно следил за руками Цыгана. Они двигались так быстро, что казалось, будто живут своей собственной жизнью. На сей раз Цыган вынимал из сжатого кулака яйца, и в один миг яйца исчезали у него в ладонях. Каждый раз, когда очередное яйцо должно было исчезнуть, он смотрел на Мондо и подмигивал ему:

— Гоп! Гоп!

Цыган знал еще один фокус, пожалуй, самый замечательный: он доставал откуда-то два белых яйца, одно он заворачивал в красный платочек, другое — в желтый, потом вскидывал вверх обе руки и на мгновение замирал. Все смотрели на него, затаив дыхание.

— Алле... гоп!

Цыган опускал руки, встряхивал платки, и из них выпархивали два белых голубя, они пролетали у него над головой и опускались на плечи старого Дади.

— Ах, ах! — удивлялись зрители, они очень громко аплодировали, и монеты сыпались дождем.

Когда представление заканчивалось, Цыган шел за бутербродами и пивом, и они все вместе устраивались на ступеньках старого «гочкиса».

— Ты здорово мне помог, малыш,— говорил Цыган Мондо.

Казак пил пиво и кричал Цыгану:

— Цыган, он что, твой сын?

— Нет. Мондо мой друг.

— Тогда за твое здоровье, наш друг Мондо!

Казак уже начинал пьянеть.

— Ты умеешь играть на аккордеоне?

— Нет, мсье,— отвечал Мондо.

Казак хохотал:

— Нет, мсье! Нет, мсье! — передразнивал он, а Мондо не мог понять, что же тут смешного.

Потом Казак брал свой маленький аккордеон и начинал играть. Он играл что-то мало похожее на музыку — то была странная монотонная песнь, она то взлетала вверх, то падала вниз, то неслась быстро-быстро, то словно застывала на месте. Играя, Казак отстукивал такт ногой и низким голосом тянул:

— Ай, ай, йяйя, йяйя, айяйя, йяйя, айяйя, йяйя, айай!

Так он играл и пел, качаясь из стороны в сторону, и Мондо думал, что он и вправду похож на большого медведя.

Прохожие приостанавливались, чтобы поглядеть на него, посмеивались и шли дальше.

Позднее, когда становилось совсем темно, Казак замолкал и садился на ступеньки «гочкиса» рядом с Цыганом. Они закуривали сигареты с крепким черным табаком и, потягивая пиво, заводили долгий разговор. Они говорили о чем-то давнем и далеком — Мондо не слишком понимал о чем,— о войне, о путешествиях. Иногда старый Дади тоже вступал в разговор, и тут Мондо весь обращался в слух. Дади рассказывал о птицах: о чайках, о голубях. Тихим прерывистым голосом Дади рассказывал истории о том, как эти птицы летели куда-то далеко-далеко над равнинами и под ними скользила земля: извилистые реки, черные ленты дорог, обсаженных маленькими деревьями, домишки под красными и серыми крышами, фермы, окруженные разноцветными полями, лужайки, холмы, горы, похожие на груды камней. Но птицы всегда возвращались назад к своему дому: они узнавали обратный путь не по карте, а по рекам и лесам или читали по звездам, как моряки и летчики. У птиц были свои домики, похожие на башни, только вместо дверей — узенькие окошечки под самой крышей. Когда становилось тепло, из башен доносилось воркование, и тогда все понимали, что птицы вернулись домой.

Мондо слушал голос Дади и смотрел на светившиеся во тьме огоньки сигарет. Вокруг площади катили машины, и шум их убаюкивал, как журчание воды. Огни в домах постепенно гасли. Было очень поздно, и у Мондо перед глазами все плыло, потому что ему очень хотелось спать. Тогда Цыган укладывал его на заднее сиденье «гочкиса», и Мондо спал там всю ночь. Старый Дади возвращался к себе домой, а Цыган и Казак так и не ложились. Они сидели на подножке машины до самого утра, пили пиво, курили и беседовали.

Мондо очень любил сесть где-нибудь на пляже, обхватить колени руками и смотреть, как восходит солнце. Без десяти пять небо становилось светло-серым и чистым, только несколько легких облачков висело над морем. Солнце появлялось не сразу, но Мондо чувствовал,

что оно уже ждет там, за горизонтом, и постепенно поднимается, разгорается, как костер. Сначала появлялось бледное сияние, оно медленно ширилось — казалось, горизонт дрожит от напряжения, и эта дрожь отдавалась во всем теле. Но вот над водой появлялось солнце, лучи его ударяли прямо в глаза, море сливалось с землей. Секундой позже проступали первые краски, первые тени. Но фонари в городе по-прежнему светились бледным, усталым светом, будто еще не было полной уверенности, что начинается день.

Мондо смотрел на солнце, восходившее над морем. Раскачиваясь из стороны в сторону, он пел ему песню Казака:

— Айяйя, йяйя, йяйяйя, йяйя...

На пляже ни души, только несколько чаек плавают по морю. Вода совершенно прозрачная — голубая, серая, розовая, а камни — белые-белые.

В море для рыб и для крабов сейчас тоже начинается день, думал Мондо. Может быть, и в морской глуби все светлеет, розовеет, как на поверхности земли? Рыбы просыпаются и медленно плавают под своим небом, похожим на зеркало, им хорошо под множеством пляшущих солнц, морские коньки ползут по стебелькам водорослей поглядеть на новый свет. Даже ракушки приоткрывают свои створки, впуская к себе новый день. Мондо долго думал обо всем этом и смотрел, как лениво бьются о гальку волны, рассыпаясь тысячью искр.

Когда солнце поднималось чуть выше, Мондо вставал: ему становилось холодно. Он скидывал с себя одежду. Вода была нежнее и теплее, чем воздух, и Мондо заходил в нее по самое горло. Он даже опускал в воду лицо и открывал глаза, чтобы получше разглядеть морское дно. Волны теперь накатывали где-то далеко-далеко, будто звучала какая-то неземная музыка.

В воде Мондо оставался так долго, что у него синели пальцы, а ноги начинали дрожать. Тогда он снова садился на пляже, прислонясь к опорной стене, и ждал, когда солнечное тепло согреет его тело.

Отсюда, с пляжа, казалось, что холмы вовсе не так уж далеко. Деревья и белые фасады вилл были до того красиво озарены светом, что Мондо опять говорил себе:

— Надо бы сходить туда, поглядеть.

Потом он одевался и шел в город.

Был праздничный день, и он мог не бояться Колотыги. В праздники собаки и дети могут спокойно гулять по улицам.

К сожалению, все было закрыто. Зеленщики с овощами не приехали, на витринах булочных опущены металлические шторы. А Мондо хотелось есть. Он остановился у киоска с мороженым под названием «Снежок», купил себе стаканчик с ванильным мороженым и пошел дальше.

Солнце уже залило тротуары ярким светом. Но людей пока не было видно. Наверно, они еще не отдохнули со вчерашнего дня. Время от времени все же попадался какой-нибудь прохожий, и Мондо здоровался с ним, но прохожий смотрел на него с недоумением, наверно, удивлялся, отчего это у Мондо такое черное лицо, а волосы и ресницы белесые от соли. А может, прохожий принимал его за нищего.

Мондо разглядывал витрины магазинов и лизал свое мороженое. В глубине одной витрины светилась лампа, там стояла широченная кровать из красного дерева, застеленная бельем в цветочек, будто ждала, что вот-вот кто-то ляжет на нее спать. Другая витрина была заставлена белоснежными газовыми плитами, а в одной из них медленно крутился на вертеле картонный цыпленок. Все это было очень странно. У дверей другого магазина Мондо нашел журнал и, сев на скамейку, стал разглядывать картинки.

В журнале была напечатана история с цветными картинками про то, как молодая белокурая женщина готовила обед и играла со своими детьми. История была очень длинная, и Мондо стал рассказывать ее вслух, поднося фотографии к самым глазам, отчего они сливались в одно радужное пятно.

— Мальчика зовут Жак, а девочку — Камилла. Их мама — в кухне, она приготовила им много вкусных вещей: хлеб, жареного цыпленка, печенье. Она спросила: «Что вам приготовить сегодня на сладкое?» — «Испеки нам, пожалуйста, большой-пребольшой пирог с клубникой»,— ответил Жак. Но мама сказала, что у нее нет клубники, у нее есть только яблоки. Тогда Камилла и Жак почистили яблоки, нарезали их маленькими кусочками, и мама сделала пирог. Вот он уже в духовке. По всему дому разносится такой вкусный запах. Наконец пирог готов, мама ставит его на стол и разрезает на куски. Жак и Камилла едят пирог и запивают горячим шоколадом. Потом они говорят: «Никогда мы еще не ели такого вкусного пирога».

Кончив рассказывать эту историю, Мондо отправился в парк и спрятал журнал в кустарнике, чтобы потом поглядеть еще раз. Он бы с удовольствием купил себе еще какой-нибудь журнал, например, с приключениями Акима в джунглях, но газетный киоск был закрыт.

Посредине парка на скамейке спал пенсионер — бывший почтовый служащий. Рядом с пенсионером лежали сложенная газета и шляпа. Когда солнце поднялось еще выше, свет стал спокойным и мягким. По улицам покатили машины, загудели гудки. В дальнем конце парка, у самого выхода, маленький мальчик катался на красном трехколесном велосипеде. Мондо подошел к нему.

— Это твой велосипед? — спросил он.

— Мой,— ответил мальчик.

— Дашь покататься?

Мальчик изо всех сил вцепился в руль:

— Не дам, не дам! Отстань.

— А как называется твой велосипед?

Мальчик помолчал, опустил голову и вдруг выпалил:

— Мини.

— Какой красивый! — сказал Мондо.

Он еще немножко полюбовался велосипедом — рама была красная, сиденье — черное, а руль и крылья — хромированные. Мондо позвонил в звонок раз, другой, но тут мальчик оттолкнул его и укатил прочь, крутя педалями.

На рыночной площади народу было немного. Люди группками шли к мессе или на прогулку к морю. В такие праздничные дни Мондо особенно хотелось остановить кого-нибудь и спросить:

— Вы не хотите меня усыновить?

Но, может быть, сегодня его никто и слушать бы не стал.

Мондо заходил наугад в какой-нибудь подъезд. Он разглядывал пустые почтовые ящики и противопожарные щиты — все было так интересно. Он нажимал на кнопку, зажигался свет, и он слушал тиканье механизма, пока свет снова не гас. В глубине вестибюля виднелись нижние ступеньки лестницы с начищенными до блеска деревянными перилами, на стене между двух гипсовых статуэток висело большое тусклое зеркало. Мондо очень хотелось покататься на лифте, но он побоялся — ведь детям запрещается играть с лифтом.

В дом вошла молодая красивая женщина. Волосы у нее были каштановые и волнистые, светлое платье шуршало, и пахло от нее очень приятно.

Мондо шагнул к ней из-за двери, и она вздрогнула:

— Ты что, мальчик?

— Можно я поднимусь вместе с вами на лифте?

Женщина ласково улыбнулась:

— Ну конечно. Пойдем.

Лифт чуть качнулся под ними, как пароход.

— Тебе куда?

— На самый верх.

— На седьмой? Мне тоже.

Лифт медленно пополз вверх. Мондо смотрел на уходившие вниз этажи. Скрипели тросы, дверцы лифта подрагивали, и на каждом этаже раздавался странный щелчок.

— Ты здесь живешь?

Женщина смотрела на Мондо с любопытством.

— Нет, мадам.

— Ты пришел в гости, к друзьям?

— Нет, мадам, я просто катаюсь.

— Ах вот как!

Женщина все смотрела на Мондо. У нее были большие спокойные глаза, ласковые и чуть влажные. Она открыла сумочку и протянула Мондо конфету в прозрачной обертке.

Этажи медленно уплывали вниз.

— Мы высоко, как в самолете,— сказал Мондо.

— А ты летал на самолете?

— О нет, мадам, еще не летал. Но это, наверно, очень приятно.

Женщина засмеялась.

— Самолет летит гораздо быстрее лифта.

— И конечно, поднимается выше.

— Да, гораздо выше.

Лифт заскрежетал, вздрогнул и остановился. Женщина вышла.

— Ты выходишь?

— Нет, я поеду вниз.

— Ну, как хочешь. Тогда нажми на предпоследнюю кнопку, вот здесь. Только смотри не трогай красную, это аварийный сигнал.

Закрывая дверцу, она опять улыбнулась:

— Приятного путешествия!

— До свидания,— сказал Мондо.

Когда Мондо вышел из дома, солнце поднялось уже совсем высоко, почти туда, где оно бывает в полдень. Не успеешь оглянуться, как начнет темнеть. А если не думать об уходящем времени, оно пролетает еще быстрее. Потому люди так и торопятся. Спешат сделать все свои дела, покуда не зашло солнце.

В полдень люди прямо-таки носились по улицам города. Выходили из домов, садились в машины, хлопали дверцами. Мондо так хотелось крикнуть им: «Подождите! Подождите меня!» Но никто и внимания-то на него не обращал.

Иногда и у Мондо начинало вдруг быстро колотиться сердце; тогда он останавливался где-нибудь на углу и, скрестив руки на груди, смотрел на уличную толпу. Люди выглядели уже не такими усталыми, как утром. Они куда-то спешили, топая, громко разговаривая и смеясь.

Вдруг Мондо заметил в толпе старушку. Она медленно плелась по тротуару, и у нее была такая тяжелая сумка, что чуть ли не касалась земли. Мондо подошел к ней и взял сумку. Старушка, задыхаясь, следовала за ним.

Она остановилась у подъезда серого дома, и Мондо поднялся вместе с ней по лестнице. Может быть, старушка приходится ему бабушкой или тетей, подумал Мондо, но не спросил ее об этом — старушка была глуховата. Она отперла дверь на пятом этаже, прошла в кухню

и вынесла ему черствый пряник. Когда она давала Мондо пряник, он заметил, что рука у нее сильно дрожит. И голос тоже дрожал, когда она сказала: «Да благословит тебя господь».

Очутившись на улице, Мондо вдруг почувствовал себя очень маленьким. Он жался к стенам домов, ему казалось, что люди стали ростом с деревья, лица их мелькали где-то у балконов домов. Он пробирался между этими великанами. Он обходил высоких, как колокольни, женщин в необъятных платьях в горошек, громадных, как скалы, мужчин в синих костюмах и белых рубашках. Может, они казались ему такими при дневном свете: ведь свет увеличивает предметы и уменьшает тени. Мондо совсем затерялся в этой толпе, и только те, кто шел, глядя себе под ноги, могли его заметить. Вообще-то ему не было страшно, разве только когда он переходил улицу. Он все искал кого-то в городе, в парке, на пляже. Он и сам толком не знал, кого ищет и зачем, может, просто хотел заглянуть в чьи-то глаза, прочесть в них ответ и тогда уже крикнуть:

— Вы не хотите меня усыновить?

Примерно в эту пору, когда стояли такие чудесные дни, а ночи были длинные и теплые, Мондо познакомился с Тхи Шин. Как-то под вечер он вышел из своего тайника у мола. Теплый, сухой ветер дул от земли, он заряжал волосы электричеством и раздувал пожары. Белый дым вздымался над холмами и растекался по небу.

Мондо постоял, посмотрел на освещенные солнцем холмы, а потом вдруг свернул на дорогу, ведущую к ним. Петляя, она поднималась все выше и выше, местами переходя в лестницу с широкими ступенями из квадратных бетонных плит. Водосточные канавы по обеим сторонам дороги были полны листьев и обрывков бумаги.

Мондо очень нравилось подниматься по таким лестницам. Они петляли по холмам словно бы без всякой цели. Вдоль всей дороги тянулись высокие каменные стены, усеянные осколками бутылок,— даже не поймешь, что это и где ты. Мондо медленно поднимался по ступенькам и заглядывал в канавы. То и дело попадалось что-то интересное: монетка, ржавый гвоздь, какой-то диковинный фрукт.

Чем выше он поднимался, тем больше приплющивался город, дома превратились в прямоугольные коробки, а улицы — в ровные линии, по которым бегали красные и синие машинки. А море под холмами поблескивало, точно жестяная пластина. Время от времени Мондо оборачивался и смотрел вниз сквозь ветви деревьев, поверх вилл.

На лестницах не было никого. Мондо повстречалась лишь большая полосатая кошка — притаившись в канаве, она доедала остатки мяса из ржавой консервной банки. Кошка припала к земле и, прижав уши, посмотрела на Мондо своими огромными желтыми глазами.

Мондо прошел мимо, ничего не сказав. Но пока он не свернул за угол, он все чувствовал на себе пристальный взгляд кошачьих глаз.

Мондо шагал совсем бесшумно, осторожно обходя веточки и семена, тенью скользя по ступенькам.

А вот эта лестница была капризная: то вдруг круто заберет вверх — карабкаясь по ее высоким ступенькам, Мондо даже задыхался,— то, словно обленившись, не спеша тянется вдоль частных владений и пустырей. Иной раз даже казалось, что ей хочется спуститься обратно.

Мондо не спешил. Он шел медленно, подходил то к одной стене, то к другой. Останавливался, заглядывал в водосточную канаву или срывал листочки с деревьев. Он брал листик перца, растирал его меж-

ду пальцами, а потом нюхал, и у него начинало щипать нос и глаза. Потом срывал цветочек жимолости и высасывал маленькую сладкую капельку, которая блестела у основания чашечки. Или же прижимал к губам травинку и свистел.

Мондо нравилось гулять здесь одному. Он поднимался все выше и выше, и солнечный свет золотился все ярче и нежнее, казалось, его излучают листья растений и камни старых стен. За день земля насквозь пропиталась светом, а теперь она отдавала его и он уходил вверх теплой волной к самым облакам.

На холме тоже ни души. Правда, уже смеркалось, да и место было пустынное. Виллы спрятались за деревьями, они были не грустные, а какие-то сонные за своими ржавыми оградами и облупившимися, плохо закрывавшимися ставнями.

В зеленой чаще пели птицы, ветви деревьев чуть потрескивали на ветру. Больше всего шума производила цикада, ее резкий, пронзительный стрекот сопровождал Мондо всю дорогу. Он то отдалялся, то приближался — так что Мондо даже оборачивался, надеясь увидеть ее саму. Но цикада была уже где-то далеко впереди на дороге или наверху на стене. Мондо перекликался с ней, посвистывая на травинке. Но цикада не показывалась. Она предпочитала оставаться невидимкой.

Где-то очень высоко, над самой вершиной холма, зной сгустился в облака. Они мирно плыли к северу, а когда находили на солнце, тень их падала Мондо на лицо. Краски менялись, сдвигались, золотой свет вспыхивал и гас.

Мондо уже очень давно хотелось добраться до вершины этого холма. Он часто глядел на него из своих тайников на берегу моря, холм весь зарос деревьями, и свет там был какой-то особенно красивый. Он озарял фасады вилл и сияющим нимбом отражался в небе. Мондо казалось, что лестницы ведут прямо в небо, к самому свету, потому он и хотел подняться на этот холм. Это был действительно очень красивый холм — он возвышался над самым морем и едва не доставал до облаков; Мондо подолгу глядел на него по утрам, когда холм был еще серым и далеким, по вечерам и даже ночью, когда он светился тысячью огней. Мондо было приятно сейчас взбираться на него.

Под грудой опавших листьев, у стен, прятались саламандры. Мондо не раз пытался застать их врасплох и тихонько подкрадывался к ним, но они были начеку и мгновенно исчезали в щели.

Мондо даже свистнул саламандрам разок-другой. Ему так хотелось иметь свою собственную саламандру. Хорошо бы ее приручить, посадить в карман и гулять вместе с ней. Мондо сам будет ловить для нее мух и кормить ее, а когда сядет погреться на солнышке на пляже или на скалах, она вылезет из кармана и взберется к нему на плечо. Она будет сидеть там смирно и раздувать горлышко — ведь так саламандры поют.

Но вот Мондо и подошел к Дому Золотого Света. Едва увидев этот дом, Мондо сразу же окрестил его этим именем и с тех пор только так его и называл. Это был красивый, старинный дом в итальянском стиле, покрытый желто-оранжевой штукатуркой, с высокими окнами за поломанными ставнями и крыльцом, сплошь увитым диким виноградом. Небольшой садик вокруг дома так зарос ежевикой и сорняками, что даже забора не разглядишь. Мондо толкнул железную калитку и по усыпанной гравием дорожке бесшумно пошел к дому. Дом был совсем простой, без всяких украшений — ни мраморной отделки, ни лепнины над окнами, но Мондо казалось, что он еще никогда не видел такого красивого дома.

В запущенном саду перед домом росли две очень красивые пальмы, их верхушки качались у самой крыши, и при каждом дуновении ветра листья пальм царапали водосточную трубу и черепицы. Вокруг них темнел кустарник, прорезанный фиолетовыми побегами ежевики, которые стелились по земле наподобие змей.

Но красивее всего был озарявший дом свет. Потому-то Мондо и окрестил этот дом Домом Золотого Света. Сейчас, на закате, свет был мягкий, спокойный и теплый, как осенние листья или песок, он убаюкивал и опьянял. Пока Мондо медленно шел по дорожке, этот свет так и ласкал его лицо. Мондо клонило ко сну, сердце билось все медленнее, медленнее. Дыхание стало реже.

Опять громко запела цикада — теперь как будто из зарослей в саду. Мондо остановился, послушал ее и медленно направился к дому, готовый убежать, если вдруг выскочит собака. Но сад был безлюден. Только неподвижные растения с отяжелевшими от жары листьями обступали Мондо.

Он забрался в самые заросли. Встал на четвереньки и прополз под ветками, отводя в сторону побеги ежевики. Устроив себе тайник среди кустов, он стал разглядывать оттуда золотистый дом.

Фасад светился еле заметным светом. Вокруг ни шороха, лишь стрекот цикады да надоедливое жужжание мошкары, плясавшей вокруг Мондо. Сидя под лавром, Мондо разглядывал дверь дома, серповидные ступеньки, похожие на полумесяцы, ведущие к крыльцу. На ступеньках росла трава. Потом, подложив локоть под голову, он свернулся калачиком и уснул.

Как приятно было спать под душистым деревом возле Дома Золотого Света, в тепле и покое, под громкую песню неумолчной цикады. Когда ты спишь, Мондо, тебя здесь нет. Ты унесся куда-то далеко-далеко от своего собственного тела. Ты покинул свое тело здесь, на земле, в нескольких шагах от гравиевой дорожки, а сам разгуливаешь где-то за тридевять земель. И это так странно. Твое тело лежит на земле, оно спокойно дышит, глаза закрыты, и ветер гонит тень от облаков по твоему лицу. Полосатые мошки пляшут у тебя над головой, черные муравьи исследуют твою одежду и руки. Вечерний ветерок чуть колышет волосы. Но самого тебя здесь нет. Ты где-то далеко, ты унесся вдаль в теплом свете, струящемся от дома, в аромате лавровых листьев, в парах, которые отдает земля. Вот и для пауков пришло время просыпаться — они уже подрагивают в своей паутине. Старые саламандры, черные и желтые, выскальзывают из щелей, чтобы поглядеть на тебя, они висят на стене дома, цепляясь за нее своими лапами с растопыренными пальцами. Глаза у тебя закрыты, и потому все вокруг смотрят на тебя. А где-то на другом конце сада, в кустах ежевики и остролиста, рядом со старым, засохшим кипарисом тебя ждет стрекоза, она все зудит и зудит, как пила, она зовет тебя, она хочет с тобой поговорить. Но ты не слышишь ее, ты унесся так далеко.

— Ты кто? — спросил громкий голос.

Перед Мондо стояла женщина такого маленького роста, что он сначала даже принял ее за девочку. Ее черные, коротко остриженные волосы лежали ровным кружком, на ней был длинный голубовато-сероватый фартук.

Она улыбалась:

— Ты кто?

Когда Мондо встал, оказалось, что он совсем ненамного ниже ее. Он зевнул.

— Ты спал?

— Простите,— сказал Мондо.— Я зашел в ваш сад — мне захотелось немножко отдохнуть, я и вздремнул. Сейчас я уйду.

— Почему ты хочешь уйти? Тебе не нравится сад?

— Нравится, он очень красивый.— Мондо вглядывался в лицо маленькой женщины — не сердится ли она. Но она по-прежнему улыбалась. В ее раскосых глазах было что-то странное, кошачье. Вокруг глаз и возле рта много глубоких морщин, и Мондо подумал, что, наверно, она уже старая.

— Пойдем, посмотришь и дом,— сказала она.

Маленькая женщина поднялась по ступенькам-полумесяцам и отворила дверь.

— Ну иди же!..

Мондо вошел за нею следом. Комната была просторная и полупустая, с четырех сторон через высокие окна в нее лился свет. Посередине комнаты стоял деревянный стол и стулья, а на столе — лакированный поднос с черным чайником и чашками. Мондо застыл на пороге, он разглядывал комнату, окна. Окна были сделаны из маленьких квадратиков матового стекла, и от этого проникавший сквозь них свет еще больше теплел и золотился. Такого красивого света Мондо еще не приходилось видеть.

Маленькая женщина стояла у стола и разливала чай.

— Ты любишь чай?

— Да,— сказал Мондо.

— Тогда садись за стол.

Мондо нерешительно присел на краешек стула и стал пить. Чай был тоже золотистый, обжигающий.

— Горячий! — сказал Мондо.

Маленькая женщина осторожно отхлебнула из своей чашки.

— Ты не сказал мне, кто ты,— сказала она. Голос ее напоминал ласковую музыку.

— Я Мондо,— сказал Мондо.

Маленькая женщина смотрела на него, улыбаясь. Когда она сидела, она казалась еще меньше.

— А я Тхи Шин.

— Вы китаянка? — спросил Мондо.

Маленькая женщина покачала головой.

— Нет, вьетнамка.

— Ваша страна далеко отсюда?

— Да, очень, очень далеко.

Мондо пил чай, и усталость постепенно проходила.

— А сам ты откуда? Ты ведь нездешний?

Мондо не знал, что ей ответить.

— Нездешний,— сказал Мондо и опустил голову. Пряди волос упали ему на лоб, и он откинул их.

Маленькая женщина продолжала улыбаться, но в ее узких глазах вдруг промелькнула тревога.

— Да ты посиди еще,— сказала она.— Что же ты так сразу?

— Нехорошо, что я зашел в ваш сад,— сказал Мондо.— Но калитка была открыта, а мне так хотелось немножко отдохнуть.

— Ну и хорошо, что зашел,— сказала Тхи Шин.— Знаешь, ведь я нарочно для тебя оставила калитку открытой.

— Значит, вы знали, что я приду? — Эта мысль сразу успокоила Мондо.

Тхи Шин кивнула и протянула Мондо жестяную коробочку с миндальным печеньем.

— Ты хочешь есть?

— Хочу.— Мондо грыз печенье, глядя на большие окна, сквозь которые лился свет.— Как здесь красиво,— сказал он.— Почему здесь все золотое?

— Это от солнца,— ответила Тхи Шин.

— Значит, вы богатая?

Тхи Шин засмеялась:

— Это золото не мое, оно ничье.

Они как завороженные смотрели на золотистый свет.

— Этот свет напоминает мне мою страну,— тихо сказала Тхи Шин.— Когда солнце садится, небо там становится вот таким же, совсем золотым, по нему плывут легкие черные облачка, похожие на птичьи перышки.

Золотой свет заливал всю комнату; как и горячий чай, он наполнял Мондо спокойствием и силой.

— Тебе нравится у меня? — спросила Тхи Шин.

— Да, мадам,— ответил Мондо. В глазах его светились отблески солнца.

— Тогда можешь считать этот дом своим.

Так Мондо познакомился с Тхи Шин и с Домом Золотого Света. Мондо еще долго сидел в большой комнате и смотрел на окна. Мягкий золотистый свет струился сквозь них, покуда солнце не скрылось за холмами. Стены комнаты настолько пропитались им, что, даже когда солнце исчезло, казалось, свет не может погаснуть. Но в конце концов стемнело, и все вокруг стало серым: стены, окна, волосы Мондо. Маленькая женщина встала, чтобы зажечь лампу, а потом повела Мондо в сад посмотреть на ночь. Над деревьями блестели звезды и светил тонкий полумесяц.

Той ночью Мондо спал на подушках в глубине большой комнаты. С тех пор он спал там часто, потому что очень полюбил этот дом. Иногда, если ночь была совсем теплая, он спал в саду под лавром или у двери на крылечке. Тхи Шин мало говорила, наверно поэтому Мондо так любил ее. Только в первую их встречу она спросила, как его зовут и откуда он, и с тех пор никогда не задавала никаких вопросов. Она просто брала его за руку и показывала что-нибудь интересное в саду или в доме: камни необычной формы, с причудливыми узорами, листья деревьев в тонких прожилочках, красные семена пальм, белые и желтые цветы, растущие среди камней. Она приносила ему в кулаке черных скарабеев, сороконожек, а Мондо взамен дарил ей ракушки и перья чаек, которые подбирал на берегу моря.

Тхи Шин угощала его рисом, чуть-чуть сваренными, почти сырыми красными и зелеными овощами в горшочках и обязательно горячим чаем, который она наливала в маленькие белые чашки. Иногда, если ночь выдавалась очень темная, Тхи Шин брала книжку с картинками и рассказывала Мондо старинную сказку. Длинную-длинную сказку про неведомую страну с островерхими замками, про драконов и зверей, говорящих человечьим языком. Сказка была такая прекрасная, что Мондо не мог дослушать ее до конца. Он засыпал, а маленькая женщина, погасив лампу, бесшумно исчезала. Она спала в узкой комнате на втором этаже. Утром Мондо уходил, не дожидаясь ее пробуждения.

Приближалось лето, и теперь пожар охватил почти все холмы. Днем небо пятнали огромные столбы белого дыма, а вечером повсюду вспыхивали тревожные огни, похожие на ярко-красные точки сигарет. Мондо частенько поглядывал на горящие холмы с пляжа и когда поднимался по лестницам к дому Тхи Шин. Однаж-

ды он даже пришел к ней раньше обычного и вырвал все сорняки вокруг дома, а когда Тхи Шин спросила, зачем он это делает, он ответил:

— Чтобы сюда не добрался огонь.

Теперь, когда он почти каждую ночь спал в большой комнате в Доме Золотого Света или в саду, он меньше боялся серого фургона Колотыги. Он совсем забросил свои тайники в скалах у мола. Едва начинало светать, Мондо шел купаться в море. Он очень любил прозрачное утреннее море, чаек, кричащих в небе, любил с головой погрузиться в воду и слушать, как загадочно плещутся над ним волны. Потом он заходил на рынок, помогал разгружать ящики и подбирал с земли фрукты и овощи. Весь свой сбор он приносил Тхи-Шин на ужин.

После полудня он шел к Цыгану, который в это время обычно мечтал на подножке своего «гочкиса». Говорили они о разных пустяках, но Цыган всегда был рад немножко поболтать с Мондо. Потом появлялся Казак с бутылкой спиртного. И конечно, уже навеселе.

— Эй! Наш друг Мондо! — кричал он своим зычным голосом.

Иногда к ним присоединялась толстая женщина с красным лицом и светлыми глазами, она умела гадать по руке; но Мондо она не нравилась, и, едва завидев ее, он уходил.

Он шел к старому Дади. Найти его было не так-то просто — старик часто переходил с места на место. Он сидел где-нибудь на газетке, поставив рядом свой продырявленный желтый чемоданчик, и прохожие принимали его за нищего. Чаще всего Мондо находил его на церковной паперти и устраивался рядышком. Мондо очень любил послушать старика — тот знал столько интересных историй о простых и почтовых голубях. Старик рассказывал ему об их родине, о стране, где много деревьев, где текут спокойные реки, зеленеют поля, где ласковое небо. Голуби там селятся по соседству с людьми в остроконечных башенках, крытых красной и зеленой черепицей. Речь Дади текла плавно, неторопливо — так кружит, парит в небе птица. Эти истории старик и рассказывал одному только Мондо.

Люди смотрели с удивлением на Мондо и Дади, сидевших вот так рядом на церковной паперти. Трудно было равнодушно пройти мимо маленького мальчика и старика с голубями. Люди останавливались и давали им деньги. Только вот дамы обязательно начинали приставать с расспросами и подозрительно разглядывали их — поэтому Мондо не очень любил собирать милостыню. К тому же нельзя было забывать о Колотыге. Если бы в это время появился серый фургон, те двое в халатах непременно бы выскочили и схватили его. Наверно, они забрали бы и Дади вместе с голубями.

Однажды, когда дул сильный ветер, Цыган сказал Мондо:

— Пойдем-ка посмотрим на битву бумажных змеев!

Битвы бумажных змеев устраивались только в ветреные воскресные дни. Цыган и Мондо пришли на пляж спозаранку, но ребята со своими бумажными змеями их опередили. Каких только змеев здесь не было — всех видов и цветов: квадраты и ромбы, монопланы и бипланы, а многие ребята еще разукрасили своих змеев головами зверей. Но самый красивый змей оказался у мужчины лет пятидесяти, стоявшего в стороне, у кромки воды. Его змей был похож на черно-желтую бабочку с огромными крыльями. Стоило мужчине запустить свою бабочку, как все на пляже замерли и уже не могли оторвать от нее глаз. Бабочка с минуту парила в двух-трех метрах над морем, а потом хозяин дернул ее за нитку, и бабочка

взмыла в небо. Ветер раздувал ее крылья, и она стремительно набирала высоту. Она поднималась все выше и выше над морем. Ее полотняные крылья хлопали на ветру. А хозяин стоял как вкопанный: он только разматывал катушку, не отрывая глаз от порхавшей в небе черно-желтой бабочки. Время от времени он дергал за нитку и немного сматывал ее на катушку, а бабочка все летела и летела ввысь. Она уже обогнала всех других змеев и, распластав крылья, парила над пляжем. Подвластная одному ветру, она парила теперь так высоко над землей, что нитку и разглядеть было невозможно.

Мондо с Цыганом подошли к хозяину бабочки, и он дал Мондо подержать катушку.

— Держи хорошенько,— сказал он.

А сам сел на песок и закурил.

Мондо боролся с ветром.

— Если нитка очень натянется, немножко отпусти ее, а потом намотай обратно.

Мондо, Цыган и хозяин змея по очереди держали катушку, а тем временем все остальные змеи, утомившись, уже упали в море. Теперь в небе летала лишь одна большая черно-желтая бабочка, и все, закинув голову, следили за ней. Она оказалась настоящим чемпионом — ни один бумажный змей не смог подняться так высоко и летать так долго.

Но вот медленно, постепенно мужчина начал спускать свою бабочку. Змей качался на ветру, хлопая крыльями, нить пронзительно свистела. Это был самый опасный момент: натянутая до отказа нить в любую минуту могла оборваться — и хозяин бабочки подался вперед, сматывая катушку. Когда змей был уже совсем близко от берега, его хозяин вдруг шагнул в сторону, сильно дернул за нить, потом тотчас совсем отпустил ее, и змей плавно, как самолет, приземлился на берег.

Они так устали, что решили отдохнуть на пляже. Цыган купил булочки с сосисками, и они ели булочки и смотрели на море. Хозяин змея рассказал Мондо, какие сражения устраивались когда-то на пляжах в Турции: к хвостам бумажных змеев прикрепляли бритвы. Когда змеи взлетали в небо, их сталкивали друг с другом. Ведь если бритвой разрезать змею крыло, он упадет. Однажды, изловчившись, новый знакомый Мондо перерезал у одного змея нить, и тот унесся вдаль, как подхваченный ветром сухой лист. В ветреные дни дети запускали в голубое небо сотни бумажных змеев, и все небо покрывалось разноцветными пятнами.

— Наверно, это очень красиво,— сказал Мондо.

— Да, очень. Но люди давно разучились пускать бумажных змеев.

Он встал и завернул большую желто-черную бабочку в целлофан.

— В следующий раз покажу тебе, как сделать настоящего бумажного змея. В сентябре — это самое время — ты запустишь его и полетит твой змей сам собой, как птица.

Мондо подумал, что он сделает своего змея белоснежным. Как чайка.

У Мондо был еще один друг, которого он время от времени навещал. Лодка по имени «Окситон». Первый раз он увидел ее около двух часов дня, когда солнце стояло прямо над портом. Привязанная к причалу, лодка покачивалась с боку на бок среди других таких же лодок. Она была совсем небольшая, без нарядных белых парусов, да и нос самый обычный, не похожий на акулий. Нет, это была совсем простенькая лодка с пузатым дном и с короткой мачтой впереди, но

Мондо она понравилась с первого взгляда. Он спросил портового рабочего, как она называется, и ее имя ему тоже пришлось по душе.

С тех пор он часто приходил с ней повидаться, всякий раз, когда оказывался поблизости. Он останавливался на краю причала и громко, чуть нараспев звал ее:

— Окситон! Окситон!

Лодка устремлялась в море, натягивая канаты, потом возвращалась, стукалась о пристань и снова уплывала. Корпус у нее был красно-синий с белой каемкой. Мондо присаживался возле кольца, к которому был привязан причальный канат, ел апельсин и смотрел на «Окситон». А еще он смотрел на море, на солнечные блики и на тихие волны, покачивающие лодку. Казалось, «Окситон» скучает, потому что никто никогда не выходит на нем в море. Потом Мондо спрыгивал в лодку. Он пробирался на корму и сидел там на банке, прислушиваясь к движению волн под днищем. Лодка тихо покачивалась, поворачивалась чуть вправо, чуть влево, потом удалялась, поскрипывая канатом. Хорошо бы уплыть на ней далеко-далеко в море, думал Мондо. Проплывая мимо волнореза, он позовет к себе в лодку Жордана-Рыбака, и они вместе отправятся к Красному морю.

Мондо подолгу сидел на корме, следя за солнечными бликами и стаями мелких рыбешек, скользящих в воде. Иногда он напевал лодке песенку, которую специально для нее сочинил:

Окситон, Окситон, Окситон,
Давай поскорей уплывем,
И наловим сардин,
И наловим сельдей,
И креветок наловим потом.

Попрощавшись с лодкой, Мондо гулял по пристани возле пароходов и навещал еще одного друга — подъемный кран.

Сколько было вокруг интересного: на улицах, на пляже и на пустырях. Многолюдные места Мондо не нравились. Он предпочитал широкие просторы, где ничего не мешает взгляду: площади, уходящие в море молы, прямые проспекты с катящимися по ним автоцистернами. Ведь именно там он встречал людей, с которыми мог поговорить, у которых мог спросить:

— Вы не хотите меня усыновить?

Все эти люди были немножко мечтатели, они ходили, заложив руки за спину, думая о чем-то своем. Среди них попадались астрономы, профессора истории, музыканты, таможенники. А иногда — и художник-любитель: сидит на раскладном стульчике и рисует пароходы, деревья или закаты. Как-то раз Мондо остановился около такого художника и посмотрел на его картину. Художник оглянулся.

— Тебе нравится?

Мондо кивнул. Потом он показал художнику на мужчину с собакой, которые гуляли вдалеке по набережной.

— А их вы тоже можете нарисовать?

— Конечно,— ответил художник. Он выбрал самую тонкую кисточку, и на холсте мгновенно появилась маленькая черная фигурка, похожая скорее на насекомое.

Мондо призадумался.

— А вы можете нарисовать небо? — вдруг спросил он.

Художник опустил кисть и удивленно поглядел на него:

— Небо?

— Да, небо, облака, солнце. Вот бы хорошо!

Художник никогда об этом не задумывался. Он посмотрел на небо и рассмеялся:

— Ты прав! На следующей моей картине я нарисую только небо.

— И облака? И солнце?

— Да, непременно. И облака, и сияющее солнце.

— Это будет очень красиво,— воскликнул Мондо.— Как мне хочется скорее поглядеть на вашу картину.

Художник снова поднял глаза на небо.

— Я начну ее завтра же утром. Надеюсь, погода будет хорошая.

— Погода завтра будет замечательная, а небо еще красивее, чем сегодня,— подтвердил Мондо: ведь он немножко умел предсказывать погоду.

Познакомился Мондо и с плетельщиком стульев. Днем он частенько заходил к нему. Плетельщик работал во дворе старого дома, а рядом сидел его внук Пипо, закутанный в огромный пиджак. Мондо любил следить за работой плетельщика — плетельщик хоть и был уже очень старый, но когда он переплетал и завязывал солому, пальцы его двигались быстро-быстро. А внук неподвижно сидел рядом в пиджаке, похожем на пальто, и Мондо любил немножко поиграть с ним. Он приносил ему свои находки: занятные камешки, пучки водорослей, ракушки мидий, целые пригоршни отполированных морем зеленых и голубых осколков стекла. Пипо брал камешки, долго разглядывал их и прятал в карман пиджака. Говорить Пипо не умел, но Мондо очень любил его хотя бы за то, что мальчик всегда тихонько сидел рядом со своим дедушкой в сером пиджаке, который был ему до пят и прикрывал даже его руки, как старинное китайское платье. Мондо вообще любил людей, которые умеют просто так сидеть на солнце, неподвижно, молча,— людей с задумчивым взглядом.

В нашем городе у Мондо действительно было очень много знакомых, но близких друзей не так уж много. Ему нравились люди с красивыми блестящими глазами, люди, которые улыбались вам, словно были очень рады вас видеть. Мондо останавливался поговорить с ними, он спрашивал их о море, о небе, о чайках, и после разговора с ним люди как бы менялись. Вопросы у Мондо были совсем простые, но они касались того, о чем люди давно перестали думать, о чем они забыли много лет назад,— например, почему бутылки зеленые и почему иногда падают звезды? Словно люди только и ждали, что кто-то заговорит с ними об этом вот так, прямо на углу улицы, скажет всего лишь несколько слов, а Мондо как раз знал те самые слова.

Очень важно правильно задать вопрос. Чаще всего люди этого не умеют. А Мондо умел, он всегда выбирал нужную минуту, он заставал человека врасплох. Люди замирали от неожиданности, забывали о себе, о своих делах, задумывались, глядя куда-то вдаль,— им вспоминалось, что и сами они когда-то задавали такие же вопросы.

И еще с одним человеком Мондо любил встречаться. Это был довольно молодой, высокий полный голубоглазый мужчина в синей форменной куртке. На плече у него всегда висела большая кожаная сумка, набитая письмами. Мондо часто встречал его по утрам на лестницах.

В первый раз, когда Мондо спросил толстяка: «Нет ли у вас письма для меня?» — тот рассмеялся. Но Мондо встречал его чуть ли не каждый день и каждый день подходил к нему и задавал все тот же вопрос:

— А сегодня? У вас нет для меня письма?

Толстяк открывал сумку и перебирал письма.

— Посмотрим, посмотрим... Так как же тебя зовут?

— Мондо,— говорил Мондо.

— Мондо... Мондо... Нет, сегодня тебе нет писем.

Иногда он вынимал из сумки какую-нибудь газетку или рекламу и протягивал Мондо:

— А вот сегодня для тебя кое-что есть.

Он подмигивал Мондо и снова пускался в путь.

Однажды Мондо захотелось самому написать письмо, и он решил отыскать человека, который научил бы его читать и писать. Он направился было в парк, но стояла такая жара, что из парка исчезли даже пенсионеры. Мондо поискал-поискал их и пошел к морю. Солнце палило нещадно, и на гальках пляжа сверкала соль. Мондо посмотрел на ребят, игравших на берегу. Они были в разноцветных ярких майках — кто в красных, как помидоры, кто в зеленых, как яблоки, наверно, потому им и было так весело. Мондо совсем не хотелось подходить к ним.

Возле деревянной кабины на частном пляже Мондо увидел старика в голубых линялых грязных шортах — он разравнивал гальку длинными граблями. Старик и в самом деле был очень старый. Кожа как горелая хлебная корка, а лицо усталое-усталое и все в складках, как у старого слона. Старик с трудом волочил по камешкам грабли от кромки моря вверх к стене, не обращая никакого внимания ни на детей, ни на купальщиков. По лицу его струился пот, спина и ноги блестели на солнце. Время от времени он останавливался, вынимал из кармана носовой платок и вытирал лицо и руки.

Мондо сел у стены и стал ждать, пока старик кончит выравнивать свой участок пляжа. Наконец старик подошел к стене, тоже сел и повернулся к Мондо. Глаза у старика были светло-серые, казалось, будто на его коричневом лице прорезаны две щели. Пожалуй, старик немного смахивал на индийца.

Он смотрел на Мондо так, словно уже знал, о чем тот его попросит.

— Привет,— сказал он просто.

— Не могли бы вы научить меня читать и писать? — спросил Мондо.

Старик даже не шелохнулся и, казалось, ничуть не удивился.

— Ты не ходишь в школу?

— Нет, мсье.

Старик сидел все в той же позе, прислонясь спиной к опорной стене, подставив лицо солнцу. Он смотрел прямо перед собой, и хотя нос у него свирепо выгибался горбом, а щеки исполосовали морщины, глаза были спокойные и ласковые. Когда он поворачивал голову к Мондо, тому казалось, что взгляд этих светлых глаз пронзает его насквозь. Но вот в глазах старика заплясал веселый огонек, и он сказал:

— Я с удовольствием научу тебя читать и писать, если тебе так хочется.— Голос у него был, как глаза, очень спокойный и далекий, словно старик боялся произвести слишком много шума.— Ты совсем ничего не умеешь?

— Нет, мсье.

Старик вынул из пляжной сумки старый перочинный нож и начал чертить на плоских камешках буквы. Он чертил и рассказывал Мондо об этих буквах, обо всем, что можно в них увидеть, когда на них смотришь и когда их слышишь. Буква «А», говорил он, похожа на большую муху с крыльями, сложенными сзади. У буквы «Б» вырос один живот, а у буквы «В» — целых два, «Д» — это домик, «С» и «Э» похожи на полумесяц, а «О» — на полную луну в темном небе, «Н» — высокая лестница, по которой можно взобраться на деревья и на крыши домов, «Е» — это грабли, а «Г» — лопата, «У» качается на качелях, «Р» заснула на одной ноге, а «Ц» и «Щ» уселись на свой собственный

хвост, «К» похожа на согнувшегося пополам старика, «Я» — на солдата, уверенно шагающего вперед, «Ф» — это дерево, а «М» — море, «Ж» — жук, буква «Т» — стройная, красивая, как мачта корабля, «Ч» — это чайка, парящая над морем, «П» — плывущий по морю пароход, «И» — это изюм, а «Ш» — шоколад, «З» — это змея, «Л» — листочек, упавший с дерева, «Х» — памятный крестик.

Острием ножичка старик чертил буквы на камешках и раскладывал камешки перед Мондо.

— Как тебя зовут?

— Мондо.

Старик выбрал несколько камешков, потом добавил еще один:

— Смотри. Здесь написано твое имя.

— Как красиво! — сказал Мондо.— Сначала море, потом луна, кто-то взбирается по лестнице на крышу дома, наверно, хочет поздороваться еще с одной луной. А почему столько лун?

— Такое уж у тебя имя,— сказал старик,— тут ничего не поделаешь.

Он смешал камешки.

— А как вас зовут? Что там, в вашем имени?

Старик передавал Мондо камешки один за другим, а Мондо брал их и выкладывал перед собой в ряд.

— Тут есть жук.

— Вполне возможно, что раньше, до того, как стать человеком, я был жуком.

— Потом полная луна.

— Я родился в полнолуние.

— Змея!

— Когда-то в детстве меня действительно укусила змея.

— Грабли!

— Вот они!

Старик показал на лежавшие рядом с ним грабли.

— А в конце — дерево!

— Правильно, может быть, после смерти я превращусь в дерево и буду неподвижно стоять на берегу красивой речки.

— Очень приятно уметь читать,— сказал Мондо.— Мне так хочется как следует выучить все буквы.

— А сейчас ты сам будешь писать,— сказал старик. Он отдал свой ножичек Мондо, и тот долго чертил буквы на камешках. Время от времени он откладывал камешки в сторону и читал, что́ у него получилось. В его словах было много «О» и «И» — эти буквы ему нравились больше всего. А еще он полюбил «Т» и «З», чайку — «Ч» и пароход — «П». Старик читал:

— ОЧО, ОПО, ОТТО, ИЗТИ.— И оба они весело смеялись.

Старик рассказал Мондо еще много интересного и удивительного. Глядя куда-то вдаль, на море, спокойным, ласковым голосом он говорил о далекой большой стране, что лежит по ту сторону моря; в ней живут красивые и добрые люди, там не бывает войн, и потому никто не боится умереть. А еще в той стране есть река, широкая, как море, и люди каждый вечер на закате купаются в ней. Старик рассказывал Мондо про эту страну, и речь его текла все медленнее, голос становился все ласковее, а светлые глаза глядели уже куда-то совсем далеко, словно он унесся туда, на берег той реки.

— А нельзя ли мне поехать туда с вами? — спросил Мондо.

Старик положил руку Мондо на плечо.

— Хорошо, я возьму тебя с собой.

— А когда вы поедете?

— Не знаю. Надо вот подсобрать денег. Может быть, через год. Но я обязательно возьму тебя с собой.

А потом старик снова взялся за грабли и стал дальше разравнивать пляж. Мондо положил в карман камешки со своим именем, помахал новому другу рукой на прощанье и ушел.

Теперь повсюду: на стенах, на дверях, в витринах — Мондо различал множество знаков. Он шел по улицам, смотрел на них и многие из них узнавал. В одном месте прямо на тротуаре он увидел такую надпись:

Д
Э
НАДИН
Э,

но смысл этой надписи понять было не так-то просто.

Когда стемнело, Мондо, как обычно, вернулся в Дом Золотого Света. Вместе с Тхи Шин они поели в большой комнате риса с овощами, а потом Мондо спустился в сад. Он подождал Тхи Шин, и они медленно пошли по гравиевой дорожке; и скоро со всех сторон их обступили деревья и кустарники. Тхи Шин взяла Мондо за руку и так крепко сжала ее, что ему стало больно. Но Мондо было очень приятно идти по дорожке в полной темноте, теперь только скрип гравия служил им ориентиром, и прежде чем сделать шаг, нужно было нащупать дорожку ногой. Где-то притаилась цикада, Мондо слушал ее пронзительный стрекот и вдыхал аромат кустарников, расправлявших в темноте свои листья. У него даже немножко кружилась голова, и маленькая женщина крепко-крепко сжимала его руку.

— Ночью все так хорошо пахнет,— сказал Мондо.

— Это потому, что ты ничего не видишь. Когда ничего не видишь, лучше чувствуешь и слышишь.

Она остановилась.

— Гляди, сколько звезд на небе!

Пронзительный стрекот цикады доносился как будто прямо с неба. Одна за другой на небе зажигались звезды и тихо мерцали во влажной тьме.

— Какие красивые! А они могут что-нибудь сказать, Тхи Шин?

— Да, они много чего могут сказать, но их никто не поймет.

— Даже те, кто умеет читать?

— Даже те, Мондо. Людям не дано понять, о чем говорят звезды.

— Может, они рассказывают о том, что будет через много-много лет?

— Может быть, а может, просто рассказывают друг другу сказки.

Тхи Шин смотрела на звезды и крепко сжимала руку Мондо.

— А может, они указывают нам дороги в незнакомые страны, пути, по которым мы когда-нибудь пойдем?

Мондо задумался.

— Как ярко они загорелись! Может, это чьи-то души?

Тхи Шин хотелось видеть лицо Мондо, но было совсем темно. И вдруг она задрожала, будто чего-то испугалась. Она прижала руку Мондо к своей груди и припала щекой к его плечу. И голос у нее стал очень странный и грустный, словно что-то причиняло ей боль.

— Мондо, Мондо...

Дрожа всем телом, задыхаясь, она повторяла его имя.

— Что с вами? — спросил Мондо. Он пытался ее успокоить.— Я здесь, с вами, я никуда не уйду, я не хочу отсюда уходить.

Он не видел лица Тхи Шин, но по тому, как сотрясалось ее тело, понял, что она плачет. Она отодвинулась, чтобы ее слезы не капали на Мондо.

— Прости меня, я такая глупая,— сказала она, но голос ей не повиновался.

— Не надо грустить,— сказал Мондо и повел ее в другой конец сада.— Пойдем посмотрим, как отражаются в небе огни города.

Тхи Шин и Мондо дошли до того места, откуда был виден большой розовый гриб, светящийся над деревьями. Над их головами, подмигивая, пролетел самолет — они рассмеялись.

Потом, не разнимая рук, они сели прямо на дорожку. Маленькая женщина перестала грустить и снова о чем-то тихо заговорила, похоже, она даже не думала, о чем говорит. Мондо тоже что-то говорил, а цикада стрекотала среди листвы в своем тайнике. Мондо и Тхи Шин долго сидели на дорожке, потом веки у них стали тяжелеть. Так они и уснули, и сад, будто корабль, медленно поплыл вдаль.

А потом все кончилось. В тот день Мондо, как всегда, на заре тихонько ушел из Дома Золотого Света. Он не спеша спускался с холма по лестницам. Деревья и травы были покрыты росой, а над морем повисла легкая дымка. На широких листьях вьюнка, облепившего старые стены, бриллиантами сверкала роса. Мондо протягивал губы к листку, опрокидывал его и пил прохладные капельки. Они были крохотные, но он всасывал их в себя, и они утоляли жажду. Каменные стены вдоль дороги были сухими и теплыми. Саламандры вылезли из щелей полюбоваться на солнечный свет.

Мондо спустился к морю, на пустынный пляж и устроился на своем излюбленном месте. В это время на пляже были одни чайки. Они качались на волнах у берега или вперевалку вышагивали по камешкам, вдруг вздыхали, чуть приоткрыв клюв, потом поднимались в воздух, делали круг и присаживались отдохнуть уже чуть подальше. По утрам чайки кричали странными голосами, словно делали утреннюю перекличку перед тем, как улететь далеко-далеко.

В розовом небе солнце поднималось все выше, в городе гасли фонари, и оттуда доносился привычный гул. Далекий глухой шум улиц, зажатых высокими домами, отдавался в камешках пляжа. Мотоциклы мчались по улицам, жужжа как шмели; они везли куда-то мужчин и женщин в куртках с меховыми капюшонами.

Мондо сидел на пляже, пока солнце не прогрело воздух. Он слушал, как плещутся о камни волны. Мондо очень любил это время, потому что у моря никого не было — только он да чайки. И он мог спокойно подумать о жителях города, обо всех, кого он сегодня встретит. Он думал о них, и ему казалось, что они где-то далеко и в то же время совсем близко — сидят вот здесь, вокруг него. Чтобы их увидеть, надо только взглянуть на них, а отвернешься — и они тут же исчезнут.

И Мондо на пустынном пляже разговаривал с людьми. Он разговаривал с ними по-своему, без слов, просто слал им волны; вместе с солнечным светом и шумом прибоя волны летели к людям, настигали их, где бы они ни находились, и люди принимали их, не зная, откуда они взялись. Мондо думал о Цыгане, о Казаке, о плетельщике стульев, о Розе и булочнице Иде, о чемпионе по бумажным змеям и старике, который научил его читать, и все они слышали его. В ушах у них раздавался странный свист, похожий на звук летящего самолета, и они задумчиво качали головой, не понимая, в чем дело. А Мондо очень радовался, что может с ними вот так поговорить, он все слал и слал им волны — и в них море, солнце и небо.

Потом Мондо дошел по берегу до деревянной кабины на частном пляже. Он отыскал у опорной стены камешки, на которых старик чертил ему буквы. Мондо давно не заходил сюда, и буквы поблекли от

соли и солнца. Мондо нашел острый камешек и подрисовал буквы, а потом написал свое имя, разложив камешки по берегу:

М

О О

Д Н

Он хотел, чтобы старик, как только придет на пляж, сразу увидел его имя и понял, что он был здесь.

Этот день был не похож на другие — в городе кого-то не хватало. Мондо искал старого нищего с голубями, и сердце его билось все сильнее и сильнее — ведь в глубине души Мондо уже не верил, что найдет его. И все же он искал его повсюду: на улицах, в переулках, на рыночной площади, у церквей. Мондо так хотелось его повидать. Но ночью проехал серый фургон, и двое в халатах забрали старого Дади.

А Мондо не сдавался. Он бегал от одного тайника к другому, и сердце его стучало все громче и громче. Он побывал всюду, куда старый нищий мог забрести, осмотрел подворотни, черные лестницы, обежал фонтаны, парки, подъезды старых домов. Иногда он натыкался на обрывок газеты, валявшийся на тротуаре, он останавливался и смотрел по сторонам, словно все еще надеясь, что старый Дади сейчас вернется и спокойно усядется на свою газетку.

В конце концов Казак объяснил ему, в чем дело. Мондо встретил его на улице, у рынка. Казак спотыкался на каждом шагу и держался за стену — он был мертвецки пьян. Люди останавливались и, посмеиваясь, смотрели на него. Даже его маленький черный аккордеон куда-то пропал, наверно, кто-нибудь стащил его, пока Казак отсыпался после вчерашней выпивки. Мондо спросил Казака, где старый Дади с голубями, и Казак вначале бессмысленно уставился на него, а потом промычал:

— Не знаю... Его забрали ночью...

— Куда?

— Не знаю... В больницу.

Казак силился сдвинуться с места.

— Погодите! А голуби? Неужели и их забрали?

— Голуби?

Казак ничего не понимал.

— Ну как же, такие белые птицы!

— А-а, голуби... Я не знаю.— Казак пожал плечами.— Я не знаю, что они сделали с его голубями. Может, зажарят их и съедят.

И Казак, шатаясь, пошел дальше вдоль стены.

И вдруг Мондо почувствовал ужасную усталость. Он хотел вернуться к морю и поспать где-нибудь на пляже. Но до моря далеко, а силы его были на исходе. Может, он слишком давно не ел, а скорее — просто ужасно испугался. Все уличные шумы зазвенели у него в ушах, и земля закачалась под ногами.

Мондо поискал глазами, где бы сесть, опустился прямо на тротуар и прислонился спиной к стене дома. Он как будто чего-то ждал. Неподалеку сверкала на солнце огромная витрина мебельного магазина. Мондо сидел не шевелясь, люди спешили мимо, иногда приостанавливались на минутку, но Мондо их не видел. И не слышал их голосов. Он словно оцепенел, по телу медленно разливался холод, губы помертвели, глаза застыли.

Теперь уже сердце его не колотилось бешеными толчками, оно стучало где-то далеко, совсем тихо и так медленно, словно вот-вот вовсе остановится.

Мондо вспоминал свои любимые тайники у моря, в белых скалах, возле мола, в саду Дома Золотого Света. Вспомнил он и о лодке «Ок-

ситон», которая так старалась вырваться на волю и уплыть в Красное море. Но Мондо прямо прирос к месту, к этому тротуару, к этой стене — у него будто отнялись ноги.

Люди заговаривали с ним, но он не поднимал головы. Так и сидел на тротуаре, уронив голову на руки. Люди обступили его полукругом, совсем как во время представлений, которые устраивал Цыган. Лучше бы они не останавливались, шли бы своей дорогой, подумал Мондо. Он смотрел на окружившие его ноги — на огромные черные мужские ботинки, женские туфельки на высоких каблуках. Он слышал голоса у себя над головой, но смысла слов не понимал.

— Надо позвонить...— говорил чей-то голос.

Кому позвонить? Мондо подумал, что он похож на собаку, старую рыжую собаку, которая спит на тротуаре, свернувшись в клубок. Кому нужна старая рыжая собака, кто обратит на нее внимание? Холод медленно расползался по всему телу, проникал в руки, в ноги, в живот и наконец добрался до головы.

И тут подъехал серый фургон Колотыги. Словно в полусне Мондо услышал, как заскрежетали тормоза, как скрипят открывающиеся двери. Ноги расступились, и к Мондо направились синие штаны и черные ботинки на толстой подошве.

— Ты болен?

Голоса людей в халатах раздавались где-то очень далеко, за тысячу километров отсюда.

— Как тебя зовут? Где ты живешь?

— Пойдем с нами!

А Мондо представлялось, что вокруг города вспыхнули все холмы... Будто он сидит на обочине дороги и смотрит на огромные красные языки пламени, на груды раскаленных угольев и задыхается от горящей смолы, от белого дыма, вздымающегося в небо, — он даже видел в зарослях красные пожарные машины, видел, как люди раскручивают длинные черные шланги.

— Ты можешь идти?

Кто-то подхватил Мондо под мышки и легко, как пушинку, понес к задним дверям фургона. Ноги были как чужие, они скребли по земле, потом глухо стукнулись о ступеньки фургона — будто ноги деревянной куклы, прибитые к телу железными гвоздями. Двери с шумом захлопнулись, и фургон покатил по городу. Все было кончено.

Спустя два дня в кабинет комиссара полиции вошла маленькая вьетнамка. Она была бледная и усталая. Две ночи она не сомкнула глаз. Две ночи она ждала Мондо, а днем искала его по всему городу. Комиссар равнодушно взглянул на нее:

— Вы его родственница?

— Нет, нет,— сказала Тхи Шин. Она не знала, как объяснить.— Я его друг.

Несмотря на морщинистое лицо, она казалась совсем маленькой, почти ребенком.

— Вы знаете, где он?

Комиссар не спешил с ответом — он разглядывал ее.

— В приюте,— сказал он наконец.

— В приюте,— вслед за ним повторила маленькая женщина, словно не понимая, о чем речь.— Но это невозможно! — вдруг крикнула она.

— Почему невозможно? — спросил комиссар.

— Но за что? Что он сделал?

— Он сказал нам, что у него нет родителей, поэтому мы и отправили его в приют.

— Это невозможно, невозможно! — повторяла Тхи Шин.— Неужели вы не понимаете...

Комиссар строго посмотрел на нее:

— Это вы, мадам, не понимаете, мальчик без семьи, без дома, таскается по улицам с бродягами, нищими, бог знает с кем. Да он жил как настоящий дикарь, ел что попало, спал где придется... Кстати, нам уже сообщали о нем, люди писали жалобы, мы сами искали его, но он, видно, хитрил, прятался. Пора было положить этому конец.

Маленькая женщина напряженно смотрела перед собой, она дрожала. Комиссар немного смягчился.

— Вы что, принимали в нем участие, мадам?

Тхи Шин кивнула.

— Так вы можете взять его к себе, если хотите. Можете стать его опекуншей.

— Вы должны сейчас же отпустить его...

— Нет, пока что он останется в приюте, он к тому же болен. Если вы хотите взять его к себе, подайте заявление, мы заведем дело, это потребует времени.

Тхи Шин силилась что-то сказать, но не могла выдавить из себя ни слова.

— А пока что предоставьте решать нам. Этот мальчик... Кстати, как его зовут?

— Мондо... Я...

— Он сейчас в изоляторе... Он болен. В приюте им займутся, заведут на него дело. Ведь он не умеет ни читать, ни писать, он никогда не ходил в школу, а он не такой уж маленький.

Тхи Шин никак не могла сладить со своим голосом.

— Можно мне с ним повидаться? — спросила она наконец.

— Да, конечно.— Комиссар встал.— Через несколько дней, когда ему станет лучше, вы сможете навестить его, возьмете разрешение у директора.

— Нет, сегодня! — снова крикнула Тхи Шин, и голос у нее сорвался.— Мне надо видеть его сегодня, обязательно сегодня!

— Это исключено. Вы сможете навестить его через пять-шесть дней, не раньше.

— Я прошу вас. Для него сейчас это очень важно.

Комиссар проводил Тхи Шин до дверей.

— Через пять-шесть дней.

Уже в дверях он вдруг спохватился:

— Дайте мне ваш адрес и скажите, как вас зовут на случай, если нам понадобится с вами связаться.

Он записал ее имя и адрес в потрепанный блокнот.

— Хорошо, позвоните мне через два дня, и мы заведем дело.

Но на следующий же день комиссар сам пришел к Тхи Шин. Он толкнул калитку и по гравиевой дорожке прошел к дому.

Когда Тхи Шин отворила ему, он буквально ворвался в большую комнату и обвел ее взглядом.

— Ваш Мондо...— начал он.

— Что с ним? — Сегодня Тхи Шин была еще бледнее, чем накануне, и глаза ее со страхом смотрели на полицейского.

— Он исчез.

— Исчез?

— Да. Исчез. Испарился.

Через голову Тхи Шин полицейский шарил глазами по дому.

— Вы не видели его? Сюда он не приходил?

— Нет! — крикнула Тхи Шин.

— Он поджег свой матрас в больнице и, воспользовавшись паникой, сбежал. Я подумал, может, вы его видели?

— Нет-нет! — снова крикнула Тхи Шин. Теперь ее раскосые глаза сверкали от гнева. Комиссар отступил.

— Вы сами видите, я ведь сразу пришел вас предупредить. Надо найти мальчишку во что бы то ни стало, а то еще наделает глупостей.

Комиссар спустился с крыльца.

— Если он придет, уведомите меня.— И он направился к калитке по гравиевой дорожке.— Я же говорил вам: он настоящий дикарь.

Тхи Шин неподвижно стояла на крыльце. Глаза ее наполнились слезами, а горло так сжалось, что она чуть не задохнулась.

— Вы ничего не поняли, ничего! — говорила она шепотом сама себе, а комиссар полиции тем временем уже отворил калитку и размашистым шагом зашагал по лестницам к черной машине.

Тхи Шин опустилась на белую ступеньку крыльца и долго-долго неподвижно сидела, не замечая золотого света, лившегося в большую пустую комнату, не слыша звонкой песни затаившейся цикады. Она тихонько плакала, даже не понимая, что плачет, слезы капельками стекали по ее носу на голубой фартук. Она знала, что мальчик с пепельными волосами не вернется ни завтра, ни послезавтра, не вернется никогда. Лето уже наступило, а как будто стало холодать. Все в нашем городе это сразу почувствовали. Люди по-прежнему сновали взад-вперед, что-то продавали и покупали, машины все так же носились по улицам и проспектам, все так же тарахтели моторы и гудели гудки. Время от времени в голубом небе пролетал самолет, оставляя за собой длинную белую дорожку. Нищие все так же просили милостыню, прижавшись к стене у входа в мэрию, или на церковной паперти. И все-таки что-то изменилось. Словно облако нависло над землей, и свету стоило больших трудов пробиться сквозь него.

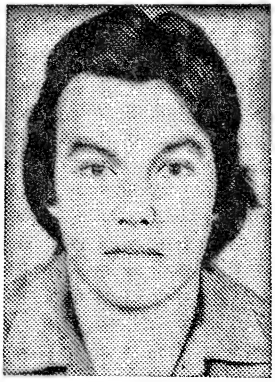
Все было как-то не так. Кстати, вскоре арестовали Цыгана: кто-то заметил, что он проделывает фокусы с карманами прохожих. Выяснилось, что пьяница Казак никакой не казак, потому что родился он в Оверни. Жордан-Рыбак сломал о мол все свои удочки и больше уже не собирался ни в какую Эритрею. Старый Дади вскоре вышел из больницы, но голубей своих не нашел и вместо них купил себе кота. Художник-любитель не сумел нарисовать небо и снова занялся морскими пейзажами и натюрмортами, а у мальчика из парка украли трехколесный велосипед. И старик, похожий на индийца, не уехал к берегам Ганга, он по-прежнему разравнивает граблями свой участок пляжа. Лодка «Окситон» так и стоит, привязанная к ржавому кольцу, и качается на испятнанных нефтью волнах, и больше никто не сидит у нее на корме, никто не поет ей песенку.

Дни, месяцы, годы проходили теперь без Мондо, но нам казалось, что время тянется слишком медленно, а то, наоборот, пролетает с молниеносной быстротой, и очень много людей в нашем городе всё ждали кого-то, не решаясь в этом признаться. Мы часто ловили себя на том, что ищем его в толпе, на углу улиц, у дверей домов. Мы вглядывались в белые камешки пляжа, в море, похожее на стену. А потом мы начали забывать...

Однажды, спустя много-много дней, маленькая вьетнамка шла по своему саду на вершине холма. Она присела в тени лавра, где плясало целое полчище полосатых мошек, и вдруг заметила на земле очень странный камень, отполированный морем. На его краешке были нарисованы какие-то значки, едва заметные под слоем пыли. Торопливо, с бьющимся сердцем она стерла пыль концом фартука и прочла два слова, написанные неуклюжими печатными буквами:

ВСЕГДА ОЧЕНЬ

■



ХОСЕ АНТОНИО РАНХЕЛЬ

■

Перевод с испанского О. ОСТРОВСКОГО

Несколько слов о себе

Родился я 16 сентября 1952 года в Каракасе в бедной семье. Отец мой крестьянин, родом из горного селения наших могучих Андских Кордильер, мать — рабочая, привыкшая гнуть спину, как и отец, с ранних лет. Они познакомились в городе, куда отец переехал в поисках работы,— подальше от истощенной земли, от измученных, больных крестьян. Но жизнь в большом городе, казавшаяся такой привлекательной, не принесла ему ничего, кроме разочарований.

Я, старший сын в семье, обучался начальной грамоте в школе иезуитов. Если чему доброму и научили меня святые отцы — так это любви к чтению. В целом же годы, проведенные в школе, были для меня мукой. В тринадцать лет я вынужден был оставить учебу и поступить на работу. Я окончил курсы механиков, но смог устроиться только рабочим на металлургический завод. В эти нелегкие годы я многое понял и многому научился. Тогда все рабочие говорили о предательской политике профсоюза. И понятно: в его руководстве не было коммунистов.

Не сразу я смог осознать, как засасывает молодого человека капиталистическое общество. Американские фильмы, наркотики, пропаганда насилия. Насилия над собой, над своими братьями, над друзьями.

Я плохо ориентировался в жизни и сам не заметил, как стал наркоманом. Это длилось пять лет. Интерес к чтению постепенно угас. Я был на грани катастрофы. Но я чувствовал, как во мне растет ненависть, ненависть рабочего человека к эксплуататорам.

И только когда один мой друг предложил мне брать у него книги, которые принадлежали его дяде, вновь открылся для меня путь, с которого я сошел. Это были произведения Льва Толстого, Достоевского и других писателей. А когда я прочитал Пушкина, мне захотелось стать писателем и поэтом.

Я стал лучше понимать, за что борется наш народ и что означает засилие империализма в нашей стране. Вскоре я стал читать марксистскую литературу, и жизнь моя обрела свое русло. Тогда я решил писать, писать о том, что видел, что сам пережил. Я вступил в ряды коммунистической партии, работал с Эдуардо Гальегосом Мансерой, секретарем ЦК Компартии Венесуэлы по международным вопросам, который многое сделал для моего становления. Для меня он не только пример коммуниста, но и мой второй отец. Ему посвящено стихотворение «Товарищу отцу».

ХОСЕ АНТОНИО РАНХЕЛЬ

Каракас,
20 марта 1978 г.

ХОСЕ АНТОНИО РАНХЕЛЬ — JOSÉ ANTONIO RÁNGEL.
Молодой венесуэльский поэт. На русском языке публикуется впервые. Стихи получены в рукописи.

■ ■ ■

Балконы —
белые платки.
Окна пристально смотрят
на морские
дороги.
Время и соль
на щеках домов.
Рыбацкие сети — обнаженные вены.
Сладок запах
плененной в волнах
древесины.
Обросший тиной баркас —
морская рука.
Пальма с кокосом — слеза и ресницы.
Глаза открыты
строги.
Ловкие
пальцы
сплетают
и расплетают
волну
рыбью стаю
и ночь.

■ ■ ■

Он скитался по белому свету
ему некуда было зайти.
Все знали его
бродягу
с мешком за спиной
полным птиц
и дешевого спирта.
В него тыкали пальцем
им пугали детей.
Никто не подарил ему
доброго слова.
Когда же его убили
он закрыл глаза
под шепот анютиных глазок
под крики чужих матерей
под холодным взглядом убийцы.

■ ■ ■

Капля по капле —
и стал человек
человеком.
Он очнулся и увидел
что пальцы его
проворны.
Затем его плуг распахал
каменистую землю
и ночь.
Разноголосые краски
звездами первых рисунков
усыпали своды пещер.

Огнедышащий металл
лизнул грубую руку
человека.
И только тогда
он научился любить брата
и только тогда
он познал
горечь и сладость
слез.

Гранма[1]

Гранма —
тренированный мускул
позвонок истории
шепот острова-моря.
Гранма —
песчинка родины
зоркое око
кубинское сердце.
В море
в море выходят
твои сыновья.

Товарищу отцу

Эдуардо Гальегосу Мансере

Ты частица самой истории
защитник мира
и обличитель несправедливости.
Ты — питомник для саженцев.
Твое живое доброе лицо
не бледнело перед палачами.
Твои идеи не боятся тьмы.
Таким я знаю тебя:
стойким
немногословным
отважным солдатом
в первой цепи
смельчаков.
Как листья к чистому свету
тянутся к тебе руки
и с твоей улыбкой
возвращается радость
в наши дома.
Ты все вокруг наполняешь
светом твоей Вселенной.

■ ■ ■

Желтые сумерки
истекали
прохладой
и умолкали
песни.

[1] Название яхты, на которой в 1956 г. кубинские революционеры во главе с Фиделем Кастро тайно вернулись на Кубу.

Теплый
очаг
мать
ее легкая тень
добрый смех.
Жена —
герой нескончаемых
будничных сражений.
Комната —
обитель примет времени
неугомонные книги
зовущие в дальнюю даль
и письма
теплые письма
поезда
перевозящие
сны.

■ ■ ■

Я скрываюсь в предметах
прикрываюсь чужими идеями
но высеваю другие.
Меня разыскивают
на улицах
но я маскируюсь
заметаю следы и прячусь
за воздухом
за каким-нибудь атомом
кусаю его от злости
и расщепляю его
проникаю внутрь и пишу.
Теперь пускай ищут меня
микроскопы!
Я смеюсь над ними
не захотевшими читать моих стихов
которые я все же сеял
над их головами.
И вот уж проклюнулись ростки.
Когда стемнеет
я пойду и сорву их.
Потому что они нужнее
в автобусах
в хмурой толпе.
Я скажу:
вот буквы — это мои годы.
Я в них живу.
Возьмите их себе.

■

ОСТРОВСКИЙ ОЛЕГ МАРКОВИЧ (род. в 1946 г.).

Советский переводчик, филолог-испанист. В его переводах публиковались стихи испанских и латиноамериканских поэтов — Элисео Диего, Роке Дальтона, Берталисии Перальты и др. Автор работ по романской филологии.

НОРМАН ЛЬЮИС

Сицилийский специалист

РОМАН

Перевод с английского И. ЯКУШКИНОЙ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I

Погожим зимним днем 1959 года повстанцы вошли в Гавану. Переход города из рук в руки совершился настолько спокойно, что жители вряд ли осознали, что происходит. Накануне город был наводнен рассвирепевшими, стреляющими направо и налево полицейскими, а на следующий день они исчезли, и вместо них появились одетые в военную форму, вежливые низкорослые крестьяне, которые не допускали никаких эксцессов, за исключением того, что поглотили за двадцать четыре часа все гаванские запасы кока-колы. В конце взлетно-посадочной полосы в аэропорту Ранчо-Бойерос стояли наготове самолеты, которые должны были увезти в изгнание президента, его близких друзей и главных членов правительства. Вокруг чувствовались радость и облегчение, что все разрешилось таким образом. Рестораны и кафе, как всегда, были полны, а столики в ночных клубах приходилось заказывать накануне. Совершенно незнакомые люди обменивались рукопожатиями и поздравляли друг друга. Самые доброжелательные и незлобивые в мире проститутки были, как всегда, заняты делом, а некоторые, особенно великодушные и щедрые, обслуживали клиентов бесплатно, чтобы ознаменовать таким образом первый день победы революции. Туристы продолжали прибывать на самолетах и пароходах и по-прежнему свободно играли в многочисленных казино Около ста человек, напившихся за ночь до потери сознания, были подобраны новыми отрядами охраны порядка, напоены черным кофе и с почтением водворены в отели. Солдаты, бывшие крестьяне из глухих провинций, увлеченно играли в шарики на ровных, выложенных красивым узором тротуарах Гаваны, весело предлагая иностранным гостям и местным жителям принять участие в игре.

Атмосфера вежливости и терпимости, созданная новым правительством Кубы, не удивляла Сальваторе Спину; он не сомневался, что за рукопожатиями и улыбками кроются твердость и целеустремленность. Он умел лучше других определить, куда дует ветер, и в конце концов понял, что победа повстанцев неизбежна, но был поражен тем, как быстро рухнуло старое правительство.

Однако и тут ему помогло его исключительное, легендарное везение. Накануне падения Гаваны в порт вошел «Гольфо-ди-Поликастро», доставивший для него из Неаполя партию героина в невиданном для западного полушария количестве. Спине удалось закупить в Турции девяносто процентов всего произведенного за год опиума и,

Окончание. Начало см. в № 1.

минуя традиционного французского посредника и лабораторию в Марселе, подвергнуть его переработке в старом автобусном гараже в пригороде Палермо — Порта-Нуова. Привезенные «Гольфо-ди-Поликастро» двести пятьдесят килограммов героина стоили около 130 миллионов долларов; они находились в семи обыкновенных крепких фибровых чемоданах, охранявшихся старшим помощником капитана, и означали, что пять миллионов человек смогут ненадолго забыть о боли, отчаянии, голоде, вожделении, одиночестве и страхе.

На рассвете, когда Спина поднимался на борт парохода в сопровождении директора таможни, трусившего вслед за ним по трапу, из восточных предместий отчетливо доносилась ружейная стрельба: последние остатки правительственных войск, прежде чем бросить оружие и разбежаться по домам, нервно и беспорядочно палили по любому движущемуся предмету. Спина выпил чашку кофе со старшим помощником, который приходился ему дальним родственником, поблагодарил его, забрал чемоданы и с помощью начальника таможни и нескольких матросов перенес их в свой «кадиллак», который ждал на пристани.

В это ласковое тропическое утро, наполненное громыханием лебедок, криками чаек, летавших над отбросами с судов, перезвоном церковных колоколов и приближавшейся стрельбой, для Спины наступал конец целой эпохи. Мысленно он представлял себе директора таможни в тюрьме на острове Пинос. Накануне он позвонил начальнику тюрьмы и договорился о переводе Боначеа Леона в отделение для политических заключенных с тем, что все его документы будут переписаны на имя узника, содержавшегося в тюрьме без суда и следствия по весьма неопределенному обвинению в том, что он представляет опасность для режима, которому, впрочем, суждено было вот-вот рухнуть. За это начальнику тюрьмы были обещаны гостеприимство и деньги в Майами, но какое-то шестое чувство подсказывало Спине, что вряд ли этот человек с репутацией жестокого тюремщика доживет до награды.

Проходили недели, и все шло своим чередом. Желающая веселиться во что бы то ни стало Гавана устраивала одно празднество за другим. Спина, как и все, ходил по улицам, размахивая флажком, когда его всовывали ему в руки, и неизменно проявлял готовность остановиться и обнять любого встретившегося ему бородатого молодого солдата. Ему оставалось лишь наслаждаться жизнью и выжидать, поскольку новое правительство, на первый взгляд такое беспечное, оказалось на удивление умелым, когда дело коснулось введения контроля в портах и на аэродромах; отправку героина в Соединенные Штаты пришлось приостановить, пока не будут выработаны новые методы и средства борьбы с системой. Почти все, с кем Спина был связан, находились в тюрьме, а некоторые уже были расстреляны в пересохшем рву у внутренней стены крепости Кабанья.

Целый месяц семь чемоданов стояли в сейфе в конторе Спины. Иностранцы; в отличие от кубинских граждан, никаким особым проверкам не подвергались, но инстинкт говорил Спине, что рано или поздно положение ухудшится — будут вскрыты банковские сейфы, произведены обыски и начнут допытываться, почему в стране остались богатые иностранцы без каких-либо определенных средств к существованию. Чтобы избежать внимания к своей персоне, он открыл небольшое дело по экспорту крокодиловой кожи для фиктивной фирмы в Соединенных Штатах.

Мысль о подходящем месте для хранения героина пришла Спине однажды вечером, когда он смотрел из окна своей конторы на кладбище Колумба. Это был настоящий небольшой городок, величественное гетто мертвых, где семьи богатых и сильных покоились в роскошных склепах, часто — миниатюрных копиях великолепных вилл, которые они занимали при жизни. В Гаване культ мертвых был почти так же развит, как в Египте при фараонах. Многие склепы были обставлены дорогой заграничной мебелью и оснащены телевизорами, а в некоторых имелись даже установки для кондиционирования воздуха и электрические лифты. Это кладбище не было безлюдным, как другие кладбища; на хорошо освещенных аллеях толпился народ, особенно в выходные дни и в праздники; возложив цветы на могилы, люди не спешили расходиться, считая кладбище приятным местом для вечерних прогулок.

На следующий день Спина посетил кладбище и обнаружил, что большинство склепов в хорошем состоянии, хотя попадались и такие, которые пришли в упадок

и были явно заброшены. Он поговорил с главным смотрителем, который подтвердил, что, действительно, некоторые склепы не посещаются родственниками уже несколько десятилетий; трудность состоит в том, добавил он, что за них уплачено полностью и теперь ничего нельзя поделать, хоть они и портят общий вид. Конечно, администрация кладбища была бы рада, если бы заброшенные склепы перешли в другие руки и были приведены в порядок, а потому он охотно поможет Спине связаться с агентом по продаже. Вскоре в одном провинциальном городке Спина разыскал прикованную к постели старуху, которая унаследовала склеп от одного из своих дальних родственников, чьей фамилии она даже не помнила, и с радостью согласилась продать эту недвижимость. Сделка была совершена немедленно. Спина получил ключ, и вскоре владение было зарегистрировано в кладбищенской книге на имя Артура де Баеза. В склепе было захоронено восемь взрослых и одиннадцать детей, и за небольшую плату служители согласились вытащить гробы и перенести их в общую могилу. Спина не скупясь оплатил работы по ремонту склепа снаружи и внутри, и когда все было завершено, туда водворили три гроба с медными дощечками, на которых были выгравированы имена Луизы, Симона и Педро де Баез, и внесли героин, упакованный в ящики с надписью «Мебель». Спина провел несколько часов в склепе, переложил героин в гробы, а затем задвинул их в ниши, где еще недавно покоились останки родственников прежнего владельца.

Годы, превратившие Дона Винченте из американца среднего возраста в стареющего сицилийца, не пощадили и его голоса, так что, когда он позвонил, Спина с трудом узнал его. Навсегда исчез акцент, приобретенный в былые времена в Малберри-Бенд; казалось, его слабый, каркающий голос, прерываемый помехами на линии, вот-вот перейдет на родной диалект.

— У меня плохо с Виктором. Его в декабре избили.

— Боже мой, Вин. А я и не знал. Как это случилось?

— Он сцепился с бандой латиноамериканцев. Они били его кирками. Бедный парень провел два месяца в отделении интенсивной терапии. У него и сейчас металлическое крепление в челюсти.

— Madonna troia! Говоришь, латиноамериканцы?

— Да, именно. Клянусь памятью моей сестры, которая умерла девственницей...

Спина терпеливо выслушал клятву об отмщении до конца.

— Что поделаешь, Вин! У них теперь своя организация. Поднимешь шум, они сожгут твой дом.

Внезапно Спина, человек от природы жизнерадостный, почувствовал себя старым, и ему стало грустно. С трудом верилось, что наступил день, когда у сицилийца, который когда-то наводил страх на все Восточное побережье, какие-то паршивые латиноамериканцы могли до полусмерти избить сына, и никто пальцем не пошевелил, чтобы его защитить или отомстить за него.

— А сейчас он у тебя? — спросил Спина.

— Он живет у Марка Ричардса — у Риччоне, помнишь того парня, которого ты мне прислал? И знаешь, почему я его там держу? Кто-то — неважно кто — нанял эту пуэрториканскую шпану, и когда они узнали, что Виктор выжил, то прислали письмо, что подождут, пока он выйдет из больницы. Мы решили, что ему безопаснее в городе, у Ричардсов, которые за ним ухаживают, чем с нами в лесу.

— Черт возьми! Какая ужасная история, Вин. Вот уж никогда не думал, что доживу до того дня, когда нами будет командовать свора иммигрантов.

— Я могу за себя постоять, Сальва, ты хорошо это знаешь, но Виком я не могу рисковать. Ему не только изуродовали лицо, но, главное, повредили мозги. Он говорит теперь, как восьмидесятилетний старик. И не может стоять — тут же валится. Первые две недели у его постели день и ночь дежурили сиделки и он лежал с капельницей, а в носу были трубки. Когда сняли повязки и разрешили мне на него посмотреть, я подумал, что произошла ошибка. «Вы уверены, что это мой сын?» — спросил я. Он только лепетал что-то бессвязное. Я плакал, как ребенок.

— Представляю себе, сколько ты выстрадал. Могу я чем-нибудь помочь, Вин?

— По правде сказать, можешь. Виктор живет пока у Ричардсов, но я нутром чувствую, что там все обстоит не слишком блестяще. Ричардс — замечательный парень, но жена у него несносная, и нельзя сказать, что она очень расположена к мальчику.

— А не пришлешь ли ты его ко мне на пару месяцев, Вин? Может, и Ричардс сумеет с ним приехать. Полежит Вик здесь на солнышке, ни о чем думать не будет, глядишь, и наберется сил. Кроме того, я слышал, в этих краях не очень-то любят латиноамериканцев.

— Я так и знал, что ты мне это предложишь, Сальва. Возможно, я воспользуюсь этим. Как только он будет в силах ехать, ладно? Всего на месяц-два. Просто подержать его подальше от беды.

— Виктор — парень умный,— сказал Спина.— Может, ты и сам не знаешь, какой он умный. Буду очень рад, если он к нам приедет.

Виктор прибыл три дня спустя в сопровождении Марка Ричардса, и Спина устроил его на безопасном отдаленном ранчо в Пинар-дель-Рио, принадлежавшем его кубинскому приятелю. Виктор спал допоздна, упражнялся в стрельбе из пистолета, ходил по вечерам в кино или на петушиные бои и, к удивлению своих хозяев, игнорировал хорошеньких девиц, которые в одиночку посещали бары и другие общественные места. В спокойном, расслабляющем тропическом климате он начал быстро поправляться. Через несколько дней он подружился с хозяином гаража в ближайшей деревне, и тот разрешил ему приходить и заниматься мелким ремонтом машин.

Марк снял комнату в гостинице «Севилья», и через несколько часов Спина пригласил его к себе в контору, откуда открывался вид на кладбище. Марк с благоговейным трепетом пожал руку Спине.

— Дон Сальваторе,— произнес он.

— Давай без дона,— сказал Спина, обнимая его за плечи.— Молодец, что так быстро приехал, Марк. Что ты думаешь насчет Вика?

— С ним все будет о'кей,— ответил Марк.

— Не сомневаюсь. И скажу тебе еще кое-что. Ему необходима была эта трепка, она ему только на пользу пошла. Меня в его возрасте тоже раз хорошенько побили. Одиннадцать переломов, но я только лучше стал. Понимаешь? Я стал немного философом. Такой урок никому не повредит.— Ореховое от загара лицо Спины сморщилось в улыбке, когда он вспомнил, как его выбросили из машины на пустырь и оставили там, думая, что он уже мертв. Шрамы зажили, боль была забыта, однако этот эпизод породил в нем способность к сопротивлению, которая его с тех пор ни разу не подводила.

— Как ты думаешь, что из него получится? — спросил он.

— С ним все будет о'кей,— снова сказал Марк.

— Что ты заладил: о'кей да о'кей — как американец! Я хочу знать, что ты по-настоящему думаешь? — взорвался Спина.

— У него отцовская голова,— сказал по-английски итальянец Марко,— и в конечном счете он может стать хорошим организатором. Я бы скорее согласился иметь за своей спиной его, чем кого-либо другого. Он перестал быть хвастуном, но ему не хватает умения владеть собой. Этому ему еще надо научиться.

— Я услышал от тебя все, что хотел,— сказал Спина,— и я тоже так считаю. Его было бы полезно иметь при себе. Я слышал, твоей жене не очень нравилось, когда он жил у вас. Что это с ней? Кажется, Дон Винченте считает, что у тебя с ней не все гладко.

— У нас разные взгляды на некоторые вещи, — сказал Марк.

— Жаль. Очень приятная молодая женщина. Я помню, какой она была, когда я провожал вас тогда в Генуе. Милая и немного застенчивая.

— Она и сейчас такая, но нам сложно жить на новом месте. Тереза слишком уж старается войти в круг тамошней жизни.

— Все дело в перемене климата,— сказал Спина.— В Солсбери зимой слишком холодно, а женщины этого не выносят — у них начинаются всякие женские болезни. Так было и с Донной Карлоттой. Она отравляла Дону Винченте всю жизнь, пока не занялась религией.

— Вы можете себе представить, что моя жена заседает в Комитете по защите граждан? — спросил Марк.— Что она в компании евреек устраивает митинги протеста и пикетирует муниципалитет?

Покрытое сеткой морщин лицо Спины выражало искреннее сочувствие. Позор друга был его позором.

— Тебе надо забрать ее оттуда и переехать в другое место,— сказал он.

— В Солсбери у меня работа,— ответил Марк.— К тому же на шее висит дом, который для нас слишком велик. И неоплаченные счета.

— Ты мог бы устроиться лучше, сам знаешь,— сказал Спина.— По моим сведениям, Дон Винченте практически отошел от дел. Зачем тебе оставаться в Солсбери? Возьми Терезу и поезжай в другое место, где ей будет спокойнее, да и ты лучше устроишься.

— Может, я так и сделаю, если представится случай.

— Отлично. Именно это я и хотел услышать. Вот сейчас тебе и представляется подходящий случай. Я хочу, чтобы ты работал на меня. Мне нужен persona di fiducia [1].— Он пересек комнату и снова обнял Марка за плечи. Марк встал, нерешительно поднял руку, не зная, полагается ли ему ответить на объятие Спины.— Я хочу, чтобы мы вместе вошли в дело — ты и я,— продолжал Спина. Это прозвучало как приказ.

Марк посмотрел сверху вниз на морщинистое личико, ощутил силу маленьких хищных рук на своих плечах. И улыбнулся, пытаясь скрыть смущение.

— Когда бородача не станет,— сказал Спина,— мы должны быть в полной готовности взять дела в этом городе в свои руки. Это — отличное место.— Он показал в окно на белые башни и небоскребы на фоне далекого моря, на вычурные надгробия вблизи. Внизу какая-то компания с флейтами и гитарами готовилась петь мертвецам серенады.— Снова потекут большие деньги. Я хочу, чтобы ты подключил к этому Виктора. Вот почему я спрашивал, что ты о нем думаешь. Может быть, мы сумеем договориться с Доном Винченте, чтобы он передал сыну отели. И через год парень станет самым крупным владельцем казино на Кубе.

— А какова моя роль в этом? — спросил Марк.

— Мне нужен здесь человек, которому я мог бы доверять. Не какая-нибудь дубина, а человек с умом и воображением, способный решать действительно серьезные вопросы. Марк, у меня здесь огромное дело. Я думаю, ты уже знаешь, чем я занимаюсь.

— Кое-что я слышал.

Спина засмеялся трескучим смехом — будто вдалеке прокаркала ворона.

— Все такой же diplomático [2], а? Ты ведь прекрасно знаешь, что я занимаюсь наркотиками, и думаю, всегда это знал. Как ты к этому относишься?

— Меня считают старомодным,— сказал Марк.

— Я это слышал. Что же ты имеешь против?

Марк искал оправдание тому, что сейчас начинало казаться ему глупым, сугубо личным предрассудком.

— Там, откуда я родом, наркотиками не занимались. Только и всего.— Он почувствовал слабость от страха потерять престиж в глазах Спины.— Я работал на Дона Винченте, а он не хотел, чтобы его люди дурманили себя. Его слово было закон.

— Мир изменился,— сказал Спина.— Сейчас половина континента лопает наркотики, колется или нюхает, а я лишь удовлетворяю существующий спрос. Положение точь-в-точь как во времена сухого закона. Если они не получат наркотики от нас, то получат от других. А тебе не наплевать, что с ними станет?

Это был подходящий случай вернуть потерянные позиции. Судьба наркоманов волновала Марка не более, чем судьба жителей Венеры, если они там есть вообще.

— Конечно наплевать.

---

[1] Человек, на которого можно положиться *(итал.)*.
[2] Дипломат *(итал.)*.

— В наших с тобой краях у людей хватает мозгов не принимать этой дряни. А если эти скоты хотят себя гробить, чего нам волноваться? Не я создал этот рынок — он был и до меня.

— Наверное, вы правы,— сказал Марк. Наркоманы казались ему глупцами, и он испытывал к ним такую же антипатию, какую другие испытывают к преступникам: каково бы ни было наказание, они его заслужили.

— Ну, так что́ скажешь?

— Мне придется перестроить всю свою жизнь. Дайте подумать несколько дней.

Спина кивнул в знак согласия, но Марк почувствовал его властную волю. Стареющий глава мафии сейчас излучал какую-то таинственную силу, подобно бродячим актерам, которые завораживали горных жителей Кальтаниссетты в день праздника волхвов. Простые и необразованные люди в лохмотьях подчиняли толпу своей воле, опьяняли ее надеждами, ослепляли чудесными видениями, которые бесследно исчезали на рассвете.

— Спешить нечего,— сказал Спина.— Сейчас все тихо, и я справлюсь сам, но скоро ты мне можешь понадобиться, и тогда я тебя позову.

Марк кивнул; в одном он не сомневался: как только его позовут, он будет вынужден явиться.

2

Из конторы Спины Марк пошел во вновь созданное министерство национальной реконструкции на встречу с чиновником отдела, ведающего конфискованным у иностранцев имуществом. Национализация на этой стадии юридически еще не была завершена, и представители иностранного капитала, оставшиеся в Гаване, пытались при помощи всевозможных доводов и уговоров оттянуть окончательную катастрофу в надежде, что если новый режим рухнет, то предприятия, еще не переданные государству, снова спокойно начнут функционировать без каких-либо юридических осложнений в связи с передачей собственности. Как и прочие, Марк хватался за любую соломинку — терять было нечего. Раз у него выдалось несколько свободных дней, надо провести их с пользой для своего старого хозяина.

Проводив Марка, Спина закрыл контору, ибо в этот день больше не собирался в нее возвращаться, доехал на такси до самого конца Прадо, вышел из машины и, завернув за угол, пошел по улице Анимас, своей самой любимой улице в мире. Он шел медленно, наслаждаясь теплом, пряным воздухом, под громкое чириканье тысяч невидимых птиц, которым шум Гаваны никогда не давал уснуть. Толпа кубинцев, вышедших на вечернюю прогулку, напоминала ему хор в музыкальном спектакле — казалось, они готовы в любую минуту запеть или закружиться в вихре танца. Он слился с вереницей красивых женщин, которые, выразительно жестикулируя, обсуждали события дня и насыщали воздух своим запахом. Над мозаичным узором тротуара мягко трепетали веера, и изящный рисунок теней шевелился словно листва, когда легкий ветерок раскачивал подвешенные на цепях фонари.

Спина направился в «Буэна-Сомбра», известный в городе дом свиданий, терпевший сейчас убытки и приобретенный им довольно дешево. Холодный экономический расчет побуждал его заниматься наркотиками, но он всегда тяготел к тому, что было связано с прекрасным полом. Он любил общество женщин, и женщины, как правило, откликались на его восхищение и платили ему ответной симпатией. Самым легким способом войти в жизнь как можно большего числа женщин была организованная проституция.

В этой области Гавана представляла совершенно исключительные возможности. Красивых и нуждающихся женщин было очень много, рынок безграничен, а организация находилась на примитивном уровне. Спина приобрел шесть заведений, велел снять плитку, которой они были облицованы внутри, утихомирил звуки спускаемой в унитазах воды и установил комфортабельные американские бары с мягким освещением и приятными хозяйками, сидевшими на высоких стульях и бравшими теперь с посетителей в пять раз больше, чем прежде.

Данные специальных обследований убедили Спину в огромных возможностях, таящихся в системе продажной любви, а тут люди, знавшие местный рынок как свои

пять пальцев, сообщили ему, что каждая вторая женщина в Гаване, достигшая брачного возраста, готова при случае продать себя за пять долларов и что это не считается зазорным. Этим занимались даже респектабельные дамы, когда их мужья сидели без работы и без денег, не говоря уже о продавщицах, уборщицах и прачках.

Поэтому в свободное время, когда другой человек мастерил бы что-нибудь или выращивал орхидеи, Спина занимался организацией этого жаждущего денег материала, составляя каталоги с адресами, номерами телефонов, физическими данными и фотографиями, которыми могли пользоваться люди, работающие на комиссионных началах в каждом отеле. Девяносто процентов женщин были цветные — «карамельные попочки», как их ласково называл Спина,— но некоторые клиенты предпочитали белых, и, чтобы удовлетворить этот спрос, он и приобрел «Буэна-Сомбра». Заведение, управляемое образованной пожилой аристократкой, предлагало в качестве «фирменного блюда» белых девушек из обедневших семей средней руки, но сейчас на нем начали тяжело сказываться наступившие перемены: многие богатые кубинцы, не доверяя новому правительству, покидали страну.

Вход в «Буэна-Сомбра» был неприметным — узкая дверь между обувной лавкой и банком. Спина нажал кнопку звонка, и его впустила горничная — живая девочка-мулатка с огромными глазами.

Дом был темным и старомодным, в нем было слишком много потускневших зеркал и продырявленных картин. Привлеченный всплесками фонтана в центре внутреннего дворика, Спина подумал, что даже золотые рыбки, лениво плававшие в бассейне, выглядят старыми и вылинявшими. Слишком много гербов и мало жизни, света, музыки. Старая мадам — по слухам, внучка какого-то генерала,— ведьма в желтом парике, с лицом, изрезанным забитыми пудрой морщинами, сделала из гостиной, которая должна была бы вселять в посетителя бодрость и уверенность, пещеру, полную поломанной мебели. Но самым скверным в доме были принадлежавшие сеньоре двенадцать кошек.

На этот раз кошек видно не было, и Спина решил приступить к разговору о своих планах.

— Времена меняются,— сказал он, поздоровавшись с мадам и выпив чашку кофе,— и мы должны идти с ними в ногу. Ваши доходы в этом месяце опять упали. Надо что-то предпринять, чтобы привлечь клиентов.

— Дом должен поддерживать свою репутацию,— возразила она.— Наша клиентура консервативна, и слишком резкие изменения могут вызвать недовольство.

Спина потянул носом воздух.

— Чем это пахнет?

— Аэрозоль с духами, сеньор Спина. Я вычистила весь дом в соответствии с вашими указаниями. Аэрозоль придает воздуху свежесть.

— Мне показалось, что все еще пахнет кошками,— сказал он.— Возвращаясь к вопросу о клиентах, сеньора: вы должны понять, что старая аристократия острова вымирает. Сколько клиентов, например, было у вас сегодня?

— Понедельник никогда не был хорошим днем. Однако нас удостоил посещением маркиз де Санта-Анна.

Произнося это имя, сеньора понизила голос до почтительного шепота.

— И сколько времени маркиз здесь находился?

— Он провел с нами почти всю вторую половину дня.

— И могу я спросить, какой счет ему представили за этот визит?

Она осторожно объяснила:

— Мы не считаем удобным устанавливать какую-либо плату. Гость может оставить столько, сколько сочтет нужным.

«Ей придется уйти, — подумал он, — и я могу сказать об этом прямо сейчас». Он прикидывал, как лучше сообщить эту новость, но тут рядом с ним что-то зашевелилось, и огромная серая кошка прыгнула ему на колени. Спина вскочил с диким воплем и пинком ноги отбросил ее в другой конец комнаты.

— Ладно, сеньора, — сказал он, ледяной улыбкой прикрывая ярость. — Тут мы поставим точку.

Она поняла, что пришел конец, и к презрению, которое он вызывал у нее, присоединилась ненависть. Она попыталась проводить его до двери, но Спина ее оттолкнул, и она тяжело опустилась на свой стул. Когда молоденькая горничная Диньора открывала ему дверь, хозяйка увидела, как рука Спины воровато скользнула по телу девушки. И в этот момент у нее возник план мести.

Спина подставил лицо мягкому воздуху ночи. На мозаичном тротуаре виднелись раздавленные остатки сигар, кругом были зубчатые здания, веселые пестрые рекламы прохладительных напитков и сигарет. Город готовился отдаться во власть сновидений. Замерли нищие, как часовые на своих постах, растекалась по домам побежденная армия продавцов лотерейных билетов, держа над головой, точно знамена, остатки своего товара, попружались в сон бездомные, заняв стулья, покинутые чистильщиками сапог.

Будучи сам организатором, Спина научился ценить и любить порядок и тонко развитое чувство времени, свойственное современному обществу. Гавана была полна удовольствий, как корзина с отборными фруктами. Повстанцы пришли, чтобы уничтожить симметрию этого устройства, но он верил, что какой бы урон они ни причинили, он будет лишь временным и в конечном счете они потерпят поражение. Надо было только не терять головы, притаиться, дать понять властям, что он готов с ними сотрудничать, и избегать неприятностей. А тем временем сладкая жизнь возвратится, и когда это произойдет, Куба будет принадлежать не тем, кто проливал свою кровь, чтобы вернуть прошлое, а синдикатам во главе с ним, Спиной. По его мнению, кратковременное похолодание — совсем неплохая штука, оно спугнуло мелких гангстеров из Флориды, и те сейчас стремятся продать свои капиталовложения людям его калибра, которые верят, что продержатся до конца.

Он видел свет в конце туннеля. Во время одной из своих кратковременных поездок в Турцию он договорился о приобретении большей части производимого в стране опиума на ближайшие три года. Он предполагал распространить свои операции на Дальний Восток, и его доверенные лица уже действовали в Лаосе и Северной Бирме. Всегда теплившаяся в затаенных уголках его души уверенность, что рано или поздно он приберет к рукам империю отелей и казино Дона Винченте, начала приобретать более конкретные формы после несчастья, постигшего Виктора. Спина знал, что Виктор преклоняется перед ним и, судя по сообщениям Дона Винченте, готов и в дальнейшем подчиняться его руководству.

Спина был доволен также тем, что заключил, как он полагал, молчаливый союз с Марком Ричардсом. Он почувствовал в Марке потребность работать на человека, который вызывал бы у него восхищение, что в глазах Спины было не менее важно, чем несгибаемая преданность. Он уже видел, как Марк берет на себя всю мелкую повседневную работу в будущей организации, что позволит ему, Спине, заняться осуществлением своих великих планов. А в случае затруднений с правительством США на помощь можно призвать таинственного Брэдли. Спина никогда не мог точно уяснить себе, кто такой этот Брэдли, хотя и не очень верил слухам, будто к Брэдли прислушивается сам президент, но человек этот, без сомнения, являлся реальной силой, и в один прекрасный день — Спина был уверен — он непременно представит счет за оказанные услуги.

На углах начали продавать последние выпуски вечерних газет. Он купил «Гавана пост» и, даже не взглянув на заголовки, сунул в карман. Поэтому он не знал, что в этот день было опубликовано решение нового правительства о мерах борьбы с проституцией. В районе Прадо он остановился на минутку пожать руки двум низкорослым солдатам, возвращавшимся с вечеринки, где пили кока-колу. Девушки в зеленой милицейской форме, которых он видел днем во время занятий строевой подготовкой, садились в автобус и разъезжались по домам. Это было еще одним знамением времени — скверного времени. Но оно должно миновать.

У Спины были в «Севилье» обширные апартаменты, которые прежде занимал Кобболд, и теперь, проходя через вращающиеся двери, он увидел, что за один день уже произошли изменения к худшему. Огромную картину, изображавшую корабль под

названием «Мария Селесте» на фоне замка Морро, сняли и заменили плакатом, призывавшим бороться с неграмотностью, а половину зала для игры в карты отгородили, и там теперь стояли черная доска и столы, за которыми служащие гостиницы будут заниматься математикой. Хорошенькая девушка вручила Спине листовку, предлагавшую принять участие в сборе кофе, за что в награду была обещана одна лишь похвала,— он улыбнулся и поклонился ей. Будучи умеренным в еде и питье, Спина, однако, любил выпить на ночь коньяку; он направился в бар и заказал рюмочку «Реми Мартена». В баре было полно бородатых офицеров, на шее у них висели цепочки с серебряными пулями. Они были любезны, приветливы, и он, как всегда, пожимал им руки и угощал каждого, кто принимал его угощение. Затем он отправился спать.

Была половина первого, Спина уже собрался было позвонить вниз и вызвать миловидную прачку, но тут в его дверь постучали, и он увидел Диньору в сопровождении коридорного. Она не проявляла ни малейшего признака застенчивости. Спина знал едва ли десяток слов по-испански, но девчонка объяснила жестами и мимикой, что прислана ему в подарок от сеньоры. «Хитрая старая бестия,— подумал он,— как будто это может ей помочь».

Но когда вскоре прибыл отряд по охране общественной нравственности, Спина понял, что сеньора все же одержала победу. Молодая инспектриса велела Диньоре одеться и увезла ее на год в исправительную колонию, Спине же дали полчаса на сборы и затем под эскортом двух полицейских доставили в аэропорт.

Спина редко терял самообладание. Единственным человеком, который сейчас мог его спасти, был Брэдли, но, когда Спина набрал номер телефона, который тот ему оставил, трубку взял Фергюсон и резко ответил, что Брэдли находится за пределами Кубы.

— Я буду в Нассау,— сказал Спина.— Попросите его позвонить мне в «Камберленд-хаус».

Фергюсон повесил трубку.

Двое полицейских шесть часов находились при Спине в зале ожидания. Они вместе позавтракали, причем полицейские, радуясь возможности поговорить по-английски с американцем, усердно записывали слова и выражения. В девять часов утра самолет поднялся в воздух.

Это была неудача, но Спина не падал духом. Если раньше он сосуществовал с новым режимом, ожидая, когда его кто-нибудь свергнет, то теперь сам готов был участвовать в перевороте. В одном из банков Нассау у него было припасено на всякий непредвиденный случай пять миллионов долларов.

3

Проведя несколько дней на Багамских островах, Спина перебрался на Антигуа, спокойный и опрятный остров, преданный американскому туристу и его доллару. Здесь спустя неделю к нему присоединился Виктор.

Они поселились в отеле «Галлеон-Бей казино», где Спина мог отдохнуть в обстановке, напоминавшей его любимую Кубу. Казино содержалось по кубинскому образцу. Здесь были все виды жульничества: женщины-крупье работали с краплеными картами, подставные игроки пользовались костями, наполненными ртутью; здесь были проститутки, привезенные из Новой Англии под видом скучающих дочерей богатых родителей; «утешители» — специалисты по психологии проигрыша,— которые умели успокоить ошалевшую, но все же улыбающуюся жертву и отправить ее обратно домой в Грейт-Нек[1]. Спина, игрок по необходимости, знавший все тонкости нечестной игры, проигрывал здесь точно так же, как и любой загипнотизированный делец, которого склонили принять участие в так называемом «празднестве». Многочисленные проститутки, в обязанности которых входило восхищаться неудачниками и удерживать их на пути, ведущем к разорению, принимали его за богатого простофилю.

Время шло весьма приятно. Для поддержания сил Спина питался моллюсками и сырыми яйцами с коньяком, почти каждую ночь мог развлекаться с девицей и проигрывал в карты по тысяче долларов в день. Он купался, плавал в теплом море и под-

[1] Городок близ Нью-Йорка.

ставлял свою сморщенную, как кора старой дикой яблони, кожу ласковым лучам солнца. Он нанял шхуну водоизмещением в 160 тонн и команду из девяти пьяных голландцев и держал ее в Инглиш-Харбор. Через день он устраивал вечеринки со свободными в этот вечер девицами из казино, на которые приглашал любую попавшуюся ему на глаза «пляжную киску». Виктор же оставался ко всему этому безразличен, хотя у него был такой широкий выбор девиц, что ему бы мог позавидовать любой турецкий паша. У Спины это вызывало беспокойство.

— Ну, в чем же дело, Вик? Ты же полноценный мужчина, верно?

— Да просто какая-то усталость. Через пару недель все будет в порядке.

Действительно, здоровье его шло на поправку. С каждым днем уменьшались нервозность и страх. Он больше не жаловался на то, что люди подталкивают друг друга и пялят глаза, когда он входит в комнату. Пульсация в голове, которую он чувствовал долгие месяцы, прекратилась, перестало двоиться в глазах. Его речь стала более отчетливой, дрожь в руках прошла, и хромота была заметна, только когда он уставал.

Страдавший от одиночества Спина по-настоящему привязался к Виктору, причем эта привязанность основывалась не столько на наблюдениях, сколько на интуиции, которая, как он считал, никогда его не подводила. Ему достаточно было поговорить с человеком пять минут, чтобы либо принять его, либо отвергнуть. Он никогда бы не смог выразить словами, что именно его привлекало в Викторе, но своим животным инстинктом он угадывал силу за внешней слабостью Виктора, способность к преданности и железную волю.

— Что ты сегодня будешь делать, Вик? — спрашивал он.

Ответ был обычно одинаков:

— Ты хочешь идти играть, Сальва?

— Черт возьми, нет. В этой дыре все решено заранее. Надоело проигрывать этим мошенникам.

— Тогда, может, покатаемся на яхте?

Таким было представление Виктора об удовольствиях. Они будили капитана, приказывали ему вызвать команду из бара в гостинице «Адмирал» и шли на яхте вдоль побережья. Частенько яхта привлекала внимание группы обученных дельфинов; тогда Спина и Виктор, сидя на стульях на палубе, стреляли по ним в упор из полицейского пистолета 38-го калибра, принадлежавшего Виктору. Спина был плохим стрелком и редко попадал в цель, но потоки крови, которые вдруг появлялись и тянулись за подпрыгивавшими и переворачивавшимися животными, доказывали, что пуля Виктора не прошла мимо.

По мере того как улучшалось здоровье Виктора, в нем росла жажда деятельности.

— Сальва, я хочу чем-нибудь оправдать свое содержание. Может, я сумел бы поработать на тебя. Давай организуем где-нибудь игру и сорвем с этих мошенников приличный куш!

— То, что ты видишь здесь,— мелочь,— ответил Спина.— Эти ребята задницы просиживают, чтобы взять за неделю несколько тысяч. Ты должен мыслить миллионами. Не волнуйся, Вик. Наше время еще придет.

— Я бы хотел хоть начать. Я чувствую в себе силу для любого дела.

— Потерпи,— сказал Спина.— Отдохни. Я тебе уже говорил, что мы с тобой вступим в дело, как только обстановка на Кубе переменится. И похоже, у нас будет третий партнер — наш старый друг Марк Ричардс.

— Ты шутишь!

— Совершенно серьезно, Виктор, детка. Я говорил с ним. Осталось только утрясти парочку деталей, но все указывает на то, что он согласится. Что ты на это скажешь?

— Колоссально! Марк малый исключительный. Понимаешь, Сальва, он на голову выше всех остальных.

— Самый надежный из всех, кого я знаю, и, если станет жарко, на него можно положиться.

— Знаешь, Марк ведь никогда много не говорит, не болтает зря языком. Он действует.

— И даже в большей мере, чем ты думаешь, мой мальчик. Если все пойдет так, как я рассчитал, через месяц-другой мы втроем снова вернемся на Кубу и произведем там небольшую чистку.

— Как только бородача не станет, да?

— Как только бородача не станет, мы сядем на первый же самолет, улетающий с этого острова в Гавану. И поверь мне, Виктор, мальчик мой, мы переделаем этот город. То, что ты видишь здесь,— ерунда, Лас-Вегас в подметки не будет годиться Гаване, когда мы провернем там наше дельце.

— Не знаю, будет ли от меня большой толк, Сальва, но я, конечно, буду стараться вовсю.

— Знаю, а вместе мы — кулак что надо. Но я говорю все это затем, чтоб ты не волновался и окончательно выздоравливал.

— Я и так в полном порядке,— сказал Виктор.— Никогда не чувствовал себя лучше.

— Я этому поверю, когда увижу, что ты бегаешь за юбками,— сказал Спина.

Во время прогулки на яхте случилось небольшое происшествие. В последнее время Спина брал с собой хорошенькую, довольно светлокожую девушку, которая раньше работала стюардессой и в прошлом году дошла до последнего этапа конкурса на звание «мисс Вселенная». Один из голландцев, второй моторист в машинном отделении, безнадежно влюбился в «пленницу белых рабовладельцев» и в течение всей недели пьянствовал.

Когда яхта выходила в море, Спина сидел на палубе, восхищаясь красотой бухты и рассеянно поглаживая живот девушки, которая только что принесла ему сок с газированной водой. Звук шагов отвлек его от этого занятия, и он увидел на верху трапа влюбленного голландца.

— Эй ты, грязный итальяшка, убери руки от девочки,— крикнул он, брызгая от ярости слюной и размахивая пивной бутылкой.

Спина перестал любоваться видом и слегка повернул голову, чтобы видеть, как подойдет голландец, покачивавшийся, как челнок. Девушка попыталась улизнуть, но Спина крепко схватил ее за руку.

— Слышал, что я сказал, хозяин?

Голландец подходил, подняв над головой бутылку, а Спина спокойно сидел и с любопытством наблюдал за ним. Когда их разделяло лишь ярда три, между ними встал Виктор. Голландец размахнулся было, чтобы ударить Виктора бутылкой по голове, и — опустил руку. Виктор молча глядел на него, не вынимая рук из карманов, и моряк отступил.

— Похоже, что ты кое-что все-таки перенял у своего отца,— сказал потом Спина как бы между прочим.

Позже, подремав в шезлонге на палубе, он отправился искать Виктора и обнаружил его в незапертой каюте вместе с королевой красоты, метнувшейся было в платяной шкаф. Спина от души порадовался. Это было лучшим доказательством того, что Виктор вернулся в свое нормальное состояние.

На следующее утро с Кубы прибыл долгожданный гонец от Брэдли, и после разговора с ним Спина дал согласие на поистине удивительную сделку.

— Вы совершите патриотический поступок, мистер Спина,— сказал Фергюсон.— Во сколько вы оцениваете этот товар?

— На Кубе, там, где он сейчас? Черт побери, этого никто не может сказать. А в США при быстрой продаже в розницу — миллионов десять.

— Из них вы готовы пожертвовать половину — то есть пять миллионов — в фонд кампании «За спасение Кубы»?

— Совершенно верно. *Если*, конечно, мистер Брэдли дает гарантию. Я не менее его заинтересован в спасении Кубы. На эти деньги ваши друзья могут купить несколько реактивных самолетов.

— Будем надеяться,— сказал Фергюсон.

— Мне нужна помощь Брэдли, чтобы вывезти товар с Кубы, ибо там он не представляет для меня вообще никакой ценности.

—Я уверен, что мистер Брэдли сможет оказать вам помощь.— На широкую, во весь рот, улыбку Спины он ответил тихой полуулыбкой, ставшей для него привычной,— она напоминала Брэдли улыбку ребенка, у которого болят глаза. «Вот, оказывается, кто главный носитель зла,— думал Фергюсон,— этот любезный, худой, с морщинистым лицом человек, которого столь многие хвалят за великодушие и дружелюбие, за мягкость и вежливость в обращении с нижестоящими, за мужество и стоицизм, с какими он переносит превратности судьбы».

Фергюсон исповедовал теперь буддизм «малой колесницы», или хинаяну, в которой искал прибежища, когда не мог больше мириться с предательством и ложью своей профессии. Он стал вегетарианцем, спал на досках и, исполненный милосердия ко всему живому, не позволял своему слуге пользоваться даже аэрозолем, чтобы уничтожать в квартире мух. В соответствии со своим пока еще никому не объявленным решением он предполагал через несколько месяцев оставить работу в ЦРУ и отправиться по странам Востока, где еще сохранилась вера в ее чистом виде: в Бирму, Лаос, на Цейлон. Но прежде чем приступить к выполнению этого решения, Фергюсон намеревался внести особый вклад в судьбы человечества, а коль скоро вся его подготовка была направлена на изучение методов конспирации и маневрирования, его план мог быть осуществлен лишь с помощью этих знакомых ему методов. Применяя необходимые при сложившихся обстоятельствах хитрость и обман, коварство и двурушничество, Фергюсон намеревался уничтожить союз между своим шефом и Спиной.

Спина не очень был уверен в правильности своей оценки Фергюсона, но в одном он не сомневался: к наживе этот человек не стремился. Он отказался от всего: от вкусной еды, выпивки, от настойчивого приглашения задержаться на несколько дней и насладиться щедрым гостеприимством казино «Галлеон-Бей».

— Я был бы не прочь,— в ответ сказал Фергюсон,— да времени мало.— Он приучил себя испытывать сострадание к таким людям, как Брэдли и Спина, чьи души, запутавшиеся в жестокой дхарме, были обречены на перевоплощение лишь в низшие формы живых существ — в слизняков или крыс из сточных канав.— В любое другое время я был бы счастлив,— вежливо добавил он.

— Значит, в ваш следующий приезд,— сказал Спина.— Я уверен, вы скоро вернетесь.

— Искренне надеюсь, мистер Спина.

— Будем считать, что мы договорились.

— Безусловно,— сказал Фергюсон.— Я должен доложить обо всем мистеру Брэдли, и у меня нет никаких сомнений, что он даст этому ход. Если надо будет урегулировать какие-либо мелкие детали, мы свяжемся друг с другом.

— Очень приятно было познакомиться с вами, Фергюсон,— сказал Спина.— И не забывайте: когда вам захочется весело провести ночку, вас тут всегда ждут.

4

— Прямо не верится, что все прошло так гладко,— сказал Брэдли.

— Лучше и быть не могло,— ответил Фергюсон.— Хотите свежего ананасного сока?

— Спасибо, с удовольствием.

— Вы, должно быть, совсем на ногах не стоите.

— Немного устал от долгого сидения в самолетах. Хорошо вернуться в Гавану — мне все еще нравится здесь.

Фергюсон наполнил стакан ананасным соком и подал Брэдли. Тот поднес было стакан ко рту, но, заметив плававшую в соке маленькую муху, поставил стакан на стол.

— Здесь полно мух.

— Да, они всегда в это время года немного надоедают. Я привык не обращать на них внимания. Москиты — тоже проблема. Вечером их тут тучи.

— Негигиенично — кругом мухи,— сказал Брэдли.— А как у вас с желудком?

— Небольшой понос время от времени,— ответил Фергюсон с легким смешком.— Ничего страшного.

— Возвращаясь к нашим новостям,— сказал Брэдли,— это самые лучшие за последние годы. Я уже начинаю видеть свет в конце туннеля. А до этого была долгая, темная ночь. А как вы нашли великого Спину? Я помню, вы давно хотели с ним познакомиться.

— Он совсем обычный,— сказал Фергюсон.— Я всегда считал, что убийца и должен походить на убийцу, а он вовсе не такой. Обыкновенный человек, находящийся в плену своих плотских желаний.

Брэдли бросил на него удивленный взгляд.

— По-прежнему окружен девицами, да? Несмотря на преклонный возраст. Однако для нас самое главное, что он хозяин своего слова. Если он говорит — пять миллионов, то так и будет. Деньги мы получим, как только выполним наши обязательства.

— А ведь странно, что слово преступника надежнее, чем слово обычного законопослушного человека,— сказал Фергюсон.

— Это часто случается. Такие люди, как Спина,— люди очень сложные. Однако пока все обстоит прекрасно. Я решил оставшуюся часть операции переложить на вас. Дело в том, что завтра я должен быть в Гватемале, чтобы встретиться с игорными боссами. Надеюсь, вы сумеете успешно завершить это дело — вся подготовительная работа сделана, так что вам остается не очень много. Еще до вашего отъезда я заготовил все документы, и вам надо лишь отнести их в таможню. Когда вы получите таможенное разрешение, вы пойдете на кладбище Колумба, спросите смотрителя, который к тому же мой личный друг, назовете свою фамилию и передадите ему доверенность и ключ от склепа. Он сделает все остальное и позаботится о доставке в аэропорт.

— А не надо проследить за погрузкой в самолет?

— Нет, не надо. Чем меньше возни вокруг, тем лучше. Ваша миссия будет окончена, как только вы передадите ключ и письмо.

— И вы уверены, что таможенники пропустят груз с такой легкостью?

— А почему бы им не пропустить? Никаких оснований для подозрений. Это самая обычная операция. В Штатах примерно два миллиона кубинских семей. У них особое отношение к покойникам, и вполне естественно, что они хотят, чтобы тела их родителей были выкопаны и перевезены, раз они устроились на новом месте и решили на Кубу не возвращаться. Кубинцы, которые переезжают на Кубу из Соединенных Штатов, делают то же самое. Таможенники не станут открывать старые гробы.

— Однако мы не слишком-то много делаем за пять миллионов.

— Вы совершенно правы,— сказал Брэдли.— Но у Спины здесь нет других контактов, и выбирать ему не приходится. Либо так, либо ничего. Кроме того, он знает, что мы его не обманем.

Брэдли собирался добавить еще несколько слов, чтобы заверить Фергюсона в простоте и надежности операции, но тут неожиданно на полу около его левой ноги что-то зашевелилось. Присмотревшись, он увидел огромного таракана. Он поднял ботинок и аккуратно опустил его, стремясь раздавить насекомое так, чтобы не оставить большого пятна на полу. Однако на расстоянии нескольких ярдов между ножками стула выполз на свет еще один таракан. Брэдли вскочил и направился к нему.

— Прошу вас не делать этого, Роналд,— сказал Фергюсон.

Брэдли виновато рассмеялся, затем плотно сжал губы и сел,— таракан неторопливо проследовал мимо и исчез под кушеткой.

— Извините,— сказал он.— Я совсем забыл. Вы ведь стали буддистом, не так ли?

— Совершенно верно,— ответил Фергюсон.

— В таких случаях всегда ожидаешь увидеть какое-нибудь чудное одеяние и бритую голову. А у вас совсем другой вид, Элистер. Я заметил, вы даже перестали носить сандалии.

— Я не считаю нужным рекламировать мое внутреннее душевное состояние,— сказал Фергюсон. Упрекнув себя за невольную вспышку гнева, он постарался опять придать лицу спокойное выражение и слегка улыбнулся, что всегда раздражало Брэдли, находившего эту его полуулыбочку идиотской.

— И будучи буддистом, нельзя убить даже таракана?

— Нельзя,— сказал Фергюсон с обезоруживающей убежденностью.— Потому что таракан, которого вы убили, мог вполне оказаться, скажем, вашим дедушкой в ином воплощении.

Брэдли подавил в себе желание превратить это в шутку. Его собеседник говорил совершенно серьезно.

— Извините меня за таракана. Значит, вы — воинствующий буддист, Элистер, и не можете отнять жизнь, в какой бы форме она ни проявлялась. А знаете что? Сейчас это кажется просто фантастикой. Мне даже не верится, но ведь шел разговор о том, чтобы подготовить вас для особых операций... Скажите, а не трудно вам примирять убеждения с вашей работой?

Фергюсон серьезно обдумал вопрос.

— Сейчас нет. Раньше, пожалуй, было трудно. Признаюсь, меня мучили противоречия.

— Во всяком случае, вы пришли к согласию с самим собой?

— Я считаю, что да. Насколько это вообще возможно.

— Как же это вам удалось, Элистер?

— Это слишком сложная и личная вещь, и ее трудно объяснить. Мерзость существует повсюду. И не всегда удается избежать соприкосновения с ней. Задача в том, чтобы не осквернить себя.

Брэдли засмеялся:

— Я не совсем понимаю, как мне к этому относиться. Я был бы очень обеспокоен, если бы ваши недавно обретенные религиозные верования вступили в противоборство с верностью профессиональному долгу, потому что тогда вам пришлось бы отойти от дел. Наша профессия требует самоотдачи и своеобразной религиозной преданности, как я иногда говорю.

— Я с этим согласен,— сказал Фергюсон.

— С чем вы согласны — с тем, что пришлось бы отойти от дел?

— Да.

— Можете вы меня заверить, что готовы без малейших колебаний довести до конца наш общий проект?

Фергюсон не знал, что ответить, он чувствовал, что Брэдли наблюдает за ним.

— Готовы, Элистер?

Ложь унизит его как личность и отбросит назад на длинном пути, который ведет через многие формы жизни к конечному совершенству, но данный момент требовал этой жертвы.

— Пожалуй, да,— сказал он.

— До конца?

— Да.

— Хорошо, мне сразу стало легче. Вы меня успокоили.

5

Спина позвонил Марку и, почувствовав его настороженность и сомнения, постарался их рассеять.

— Послушай, Марк, мальчик в полном порядке, ведет себя благоразумно и снова бегает за юбками. Я отправил его на осмотр к врачу, и он дал нам зеленую улицу. Вику нужна деятельность и чувство ответственности, чтобы он понимал, что приносит пользу. Только нельзя, чтобы он действовал самостоятельно. Кто-то должен быть рядом и направлять его. Я бы поехал сам, но ты знаешь, как обстоят дела. Если мы сможем провернуть это дельце и вручить денежки нашим друзьям, считай, все в порядке. Они купят на них столько оружия, сколько душе угодно.

— Что же я должен делать? — спросил Марк.

— Я хочу, чтобы ты встретил его на аэродроме в Майами. Он скажет, куда держать путь дальше. И помни: никаких трудностей у тебя не будет. Груз упакован. С момента, как он будет отправлен с острова, и до того, как ты его примешь, все обеспечено. А после этого ответственность ложится на тебя. Куда он должен быть доставлен, я не знаю. Вик даст тебе телефон, по которому ты позвонишь, как только будешь готов двинуться в путь. Осечка исключена — дело может сорваться разве что в одном случае из миллиона.

Марк произнес ровным, ничего не выражающим тоном:

— Деньги получаю я?

— Нет. Они будут переведены нашему общему другу через банк. Об этом позаботятся ребята, которые примут груз. Тебе не о чем беспокоиться. Передашь товар и отправляйся домой. Все очень просто.

— Ладно,— сказал Марк.— Я встречу его в аэропорту. Будут еще указания?

— Нет, кажется, все. Хотя вот еще что: осторожность не помешает. Вик перестал взрываться, поэтому все будет в порядке, но приглядывай за его железкой — на всякий случай, хорошо? Ты знаешь молодых ребят. Он сейчас носит эту штуку с собой; может, он ее не возьмет, но ты все-таки имей это в виду. Проследи, чтобы он не купил что-нибудь такое в Майами или в другом месте, когда ты отвернешься. Никогда ничего нельзя знать заранее.

— Можете на меня положиться,— ответил Марк.— Я буду смотреть за ним в оба.

— Как только ты клюнул на эту цветную девчонку, я понял: все позади,— сказал Спина.

— Хорошо бы снова с ней встретиться, когда я вернусь,— сказал Виктор. Он посчитал разумным подкрепить веру Спины в его восстановившуюся мужскую силу.— Надеюсь, она еще будет здесь.

— Будет здесь. Будет сидеть и ждать тебя. В тот день, когда ты вернешься, возьмем яхту. А я немного попрактикуюсь с твоим пистолетом, пока тебя тут не будет.

— Все зависит от того, как его держать,— сказал Виктор, испытывая скромную гордость от возможности дать совет великому Спине.— Этот пистолет годится на все случаи жизни, если его держать правильно, чтобы он стал как бы частью руки. И целиться надо так, будто показываешь на предмет пальцем.

— Я вижу, ты его так и держишь,— сказал Спина.

На пути в аэропорт, проезжая через деревню Всех Святых, они на скорости восемьдесят миль в час сбили собаку. Виктор чуть не соскользнул с сиденья, когда Спина выравнивал машину.

Спина установил между ними верный тон и сейчас, осклабившись, так что лицо его стало еще больше похоже на череп, продолжал разговор:

— Мне кажется, автомобиль — то же, что и пистолет, Вик. Ты и машина — одно целое, верно? Одно должно соответствовать другому.

Пробка в Парэме была для них неожиданностью — они очутились среди негров, вовсю глазевших на них. Двинувшись дальше, раздавили курицу, опрыскавшую кровью ветровое стекло,— Спина смыл ее водой и включил «дворники».

— У нас еще много времени,— сказал он и сбавил скорость.

Виктор почувствовал, как мышцы его расслабились и пальцы разжались. Последние пять минут у него начало стучать в висках.

— Нам надо кое о чем поговорить,— сказал Спина.— У Марка неприятности. Может, он об этом еще не знает, а может, и знает. Вчера по телефону я ничего не мог сказать. Передай ему, что я получил сигнал: к нему очень скоро обратятся по поводу той истории с Кобболдом. Он поймет, что я имею в виду. Дело в том, что какая-то девка вроде бы на него донесла.

— Ты говоришь про Эндрю Кобболда?

— Конечно, про кого же еще? Проходимец, который работал на твоего отца. Ходят слухи, что его давно собирались убрать.

— Я всегда считал, что Кобболда убрал Марк.

— Ты не имеешь никакого права что-либо считать,— сказал Спина.— Никто не давал тебе права иметь мнение на этот счет. Все, что тебе положено знать,— это то,

что федеральные власти заинтересовались этим случаем. Не понимаю только, почему они ждали до сих пор — может, хотят что-то выжать из Марка? Поэтому передай ему от меня, что самое лучшее для него сейчас — смыться. Скажи, что это еще один довод, чтобы провернуть кубинское дело, потому что с Кубы его не вышлют. И еще помни: все, что говорит Марк,— закон. Он — начальник.

— Конечно, Сал.

Спина посмотрел сквозь стекло на небо. Самолет из Майами шел на посадку, таща за собой грязный дымный шлейф. Выждав немного, он добавил:

— У тебя есть вопросы?

— Только один,— сказал Виктор.— Какой смысл тащиться в Седж-Бей за этими гробами? Почему бы не отправить их самолетом сразу либо в Бискейн, либо в Форт-Лодердейл, куда можно добраться, не отбивая себе зад в рейсовом автобусе? Мне кажется, глупо таскать их из одного конца штата в другой.

— На это есть свои причины,— ответил Спина.— Людям, которые занимаются порошком, сейчас повсюду чудятся призраки. Ты слышал, как прошлой осенью Бюро по борьбе с наркотиками выследило судно, пришедшее из Франции?

— Но то ведь был Синдикат из Нью-Джерси?

— А мы и имеем дело с Синдикатом из Нью-Джерси. У них есть контора во Флориде. Сейчас трое их ребят получили от восьми до пятнадцати лет, поэтому они и проявляют осторожность. Твое дело — заказать катафалк, чтобы везти груз в Форт-Пирс, затем позвонить им и делать то, что они скажут. Может, тебе придется два-три раза менять маршрут. Я думаю, так и будет. У этих ребят своя система проверять, следят ли за ними, и они не хотят садиться за решетку из-за какого-нибудь фортеля, который ты можешь выкинуть.

— Этого не будет,— сказал Виктор.

— Да уж, пожалуйста, Виктор, детка. Ради всех нас.— Спина нажал на акселератор. Зеленые аллеи Антигуа кончились, и они оказались на небольшом коричневом пятачке пустыни, где сверкающий самолет компании «Пан-Американ» поджидал своих пассажиров.

6

В аэропорту Майами Марку сообщили, что его просят позвонить Дону Винченте.

— Слава богу, Тереза знала, где тебя найти. Слушай, Марко, возьми себя в руки: у меня плохие новости. Убили твоего брата. Мне только что позвонил один человек из Палермо.

— Паоло? — переспросил Марк.— Вы говорите, убили Паоло?

— Ну да, убили.

Слова в инструкции по пользованию телефоном, находившейся на уровне глаз Марко, внезапно поменялись местами и образовали абсурдные сочетания, в которых выделялось одно-единственное бессмысленное итальянское слово: «Timballo». «Timballo»,— прочитал он. Барабан. Почему барабан? Слово исчезло, не оставив ничего, кроме разбросанных в хаотическом беспорядке английских слов. Голос Дона Винченте пузырился и расщеплялся в пространстве. Марк приложил трубку плотнее к уху.

— Дон Винченте, что случилось? Я не понимаю.

— Я говорю, они подложили ему в машину бомбу и взорвали.

— И Паоло взорвался вместе с машиной?

— Да, взлетел вместе с машиной,— сказал Дон Винченте с преувеличенной четкостью, но на мгновение в его серьезном тоне прорвались нотки раздражения.

— Может, это ошибка? В тех местах, где мы жили, не меньше пятнадцати Риччоне. Может, речь идет о ком-то другом?

— Ошибки быть не может,— сказал Дон Винченте.— Они охотились за твоим братом, за беднягой, который держал гараж. Сегодня утром он был убит. Если ты хочешь знать время, то это произошло сразу после семи утра. Твой брат убит. Хочешь не хочешь, а это так.

Какое-то мгновение невозможность поверить в смерть Паоло сосуществовала с убеждением, что трагедия коснулась именно его. Затем неверие исчезло.

— Он всегда был такой тихий,— сказал Марк.— Никогда не попадал ни в какие передряги.

— Конечно. Но не все такие тихие. Они ждали долго.

— Он ничего не сказал? А священник был?

— Я же говорю тебе: его тело разбросало по всей улице. Его больше нет, и ничто на свете не вернет его, Марк. Пойми.

У Марка было такое чувство, словно ему ампутировали ногу. Нанесли жестокую кровоточащую рану.

— Он не страдал,— произнес он, как бы стремясь убедить самого себя.

— Что ты сказал?

— Он был хорошим человеком. Я сказал, что он не страдал перед смертью.

— Конечно не страдал. Как он мог страдать? Когда тебя разносит на куски, не страдаешь.

— Дон Винченте, извините меня. Я не знаю, что говорю. Вы ведь помните, Паоло растил нас после смерти отца, я тогда был еще мальчишкой. Мне кажется, мне было бы легче, если бы я смог повидать его перед смертью.

— Я это знаю, Марк. Послушай, у меня появилась мысль. Я уже все проверил и, если хочешь, могу устроить тебе поездку на похороны.

— Я должен поехать, что бы ни случилось.

— Ничего не случится. Я разговаривал с одним человеком, и он сказал, что это можно сделать. Похороны задержат до твоего приезда. Ты можешь поехать на один день и тут же вернуться. Тебя там как бы не заметят — это будет перемирие. Кое-кто встретит тебя и будет все время рядом, пока ты не улетишь. Но если ты пробудешь там больше двадцати четырех часов, то обратно тебя привезут в ящике.

— Я полечу первым же самолетом. Большое спасибо вам за все.

— Не стоит, Марк. Ты член моей семьи, и, значит, твой брат тоже. Я должен тебе помочь. Так что я свяжусь с Палермо и дам им знать, что ты летишь. Как ты думаешь, сколько времени тебе понадобится на перелет из того места, где ты сейчас?

— Не знаю. Все зависит от того, когда я сделаю пересадку. Часов семнадцать-восемнадцать, не меньше.

— Тебя будут ждать,— сказал Дон Винченте.

Час спустя Марк встретил Виктора, прилетевшего самолетом из Антигуа, они разыскали находившуюся при аэропорте гостиницу компании «Говард Джонсон» и устроились в пустом уголке ресторана. Пожатие Виктора было крепким и походка бодрой, но какая-то тень отчаяния проступала под привычным выражением уверенности.

— Черт, как хорошо снова увидеться, Марк.

— Я рад тебя видеть. Ты здорово выглядишь.

— Я так себя и чувствую.— Виктор широко улыбался. Он научился улыбаться, чтобы скрыть скованность и смущение, но улыбка получилась ненастоящей и немного диковатой.

— Хорошо провел время в Антигуа?

— Замечательно. Солнце, море, девушки, выпивка — все, что только пожелаешь.

— Говорят, там очень хорошо,— сказал Марк.— Ты здорово загорел.

И в самом деле, вся кожа Виктора была покрыта отличным бронзовым загаром, при котором, однако, стали заметнее маленькие бледные шрамы.

— Все время на воздухе,— сказал Виктор.— Там такая жизнь, что забываешь любые неприятности. Я бы сказал, живешь одним днем.

— Хорошо, когда удается так пожить,— сказал Марк.— А как Сальва?

— Веселится вовсю. У этого малого потрясающая жизнеспособность.— Улыбка снова появилась и исчезла, оставив выражение подавленности.

— Да, ты прав,— сказал Марк. Он успел полностью взять себя в руки — монарх, правящий империей спокойствия. Официантка в баварском национальном костюме принесла их заказ, и он дружески кивнул ей.

— А как Тереза и дети?

— Все в порядке.

— У тебя отличные ребята. До того смешные — настоящие обезьянки. Здорово было пожить у тебя.

— Мы были очень рады тебе, Вик. Ребята все время о тебе говорят.

Наступило молчание. Стрелки часов над головой Виктора подошли к 1.45. В 2.30 Марку надо было улетать.

— А теперь вот сидим здесь,— сказал Виктор.— И готовы вместе двинуться в путь. А знаешь, Марк? Это просто здорово, что в этом деле мы с тобой работаем. Я чувствую, что от меня впервые в жизни будет хоть какая-то польза. Когда мы отправляемся?

Марк положил в кофе ложку сахара и задумчиво его размешал.

— Видишь ли, Вик, планы несколько изменились,— сказал он.— И нам придется сейчас кое-что обсудить.

— Господи, Марк! Что случилось?

— Я только что узнал, что убит мой брат Паоло.

— Что? Твой брат Паоло убит? Не может быть!

— К сожалению, это правда. Его убили там, в Сицилии. Я только что узнал от твоего отца. Завтра его хоронят, и мне надо там быть.

Потрясенный Виктор искал в лице Марка хоть какой-то признак волнения, но безуспешно.

— Боже мой, Марк. Не понимаю. Твой брат убит, а ты сидишь здесь и разговариваешь со мной, как будто ничего не случилось. Его на самом деле убили?

— Взорвали вместе с машиной,— сказал Марк.— Я вынужден сказать тебе больше, чем следует, потому что иначе тебе будет непонятно. На родине у меня кое с кем были неприятности, и эти типы ждали целых десять лет, чтобы рассчитаться, как это обычно делается. Поскольку им не удалось заполучить меня, прикончили его. Именно поэтому я должен ехать. Мне очень не хочется оставлять тебя здесь, но ты понимаешь, как обстоит дело. Это меня должны были бы завтра хоронить, а хоронят его, и я не могу, чтоб его без меня положили в землю.

— Конечно не можешь, Марк. Я слышал, что Паоло был прекрасным человеком. Тереза постоянно говорила о нем. Видно, любила его, как и все другие.

— Мы были очень близки,— сказал Марк.— Не хочу долго объяснять, но он был для меня скорее отцом, чем братом. Ты, конечно, слышал, что его два года продержали в английском лагере для военнопленных, и, когда он вернулся к нам, кости пересчитать можно было. Потом ему пришлось воспитывать нас, так что было не до женитьбы. В доме не хватило бы еды для жены и ребятишек.

— Тереза рассказывала мне. Она его очень любила.

— Его все любили,— сказал Марк.— Он был необыкновенным человеком.

Лицо и фигура его брата, вспоминавшиеся прежде лишь с мягкой благожелательностью, теперь были окружены ореолом. В жизни он был незначительным человеком, но смерть в результате вендетты внезапно возвысила его, и память о нем в Кампамаро отныне будут хранить наравне с памятью о тех, кто совершил ужасные преступления или великие благодеяния.

— Чтобы успеть пересесть на самолет, вылетающий в Рим,— продолжал Марк,— я должен вылететь отсюда через полчаса. Сальва сказал, что у вас все спланировано. Ты знаешь, что надо делать?

— Да ничего особенного,— ответил Виктор.— Предполагалось, что мы поедем в Седж-Бей и заберем там в похоронном бюро товар, который упакован в три гроба. Все детали продуманы. Рейсовый автобус уходит в Седж-Бей через каждые два часа. Мы должны забрать там гробы и нанять для перевозки катафалк. У меня есть телефон, по которому из Седж-Бея надо позвонить, как только мы будем готовы двинуться в путь.

— Сколько времени у нас на все это дело? То есть, другими словами, нельзя ли подождать, пока я слетаю домой и вернусь?

— Сальва говорит, что доставка должна быть произведена в течение трех дней.

— Отлично. Я изучил расписание, и, если все будет в порядке, я смогу обернуться за два дня.

— А мне что делать, Марк?

— А тебе надо снять номер в гостинице аэропорта, сидеть там и ждать меня.— Марк взглянул на часы.— Сейчас два часа дня, понедельник. Итак, если я не вернусь к четырем часам дня в среду, тебе придется действовать одному. Сумеешь?

— Сумею, Марк, верь мне. Все будет в порядке.

— Это-то я знаю. Но мне хотелось бы быть рядом с тобой, потому я постараюсь вернуться вовремя. Если же не смогу, я уверен, ты нас с Сальвой не подведешь.

Через несколько минут по радио объявили о посадке. У барьера Марк и Виктор пожали друг другу руки и обнялись.

— До скорого,— сказал Марк.— И если я не смогу вернуться, не горячись и действуй с умом. Что бы ни случилось, не теряй голову.

7

Во время длительного перелета через Атлантический океан из Нью-Йорка в Рим Марк принял решение. Он воспользуется этой поездкой и попробует договориться о возвращении в Сицилию. Поскольку его деловые связи с Доном Винченте почти прекратились, жизнь в Новой Англии не сулила больших перспектив. У него не было особого таланта или стремления заниматься мелкими махинациями в области торговли недвижимостью, да к тому же он чувствовал, что семья его медленно разваливается под влиянием нового образа жизни. Правда, Дон Винченте уже прощупывал его в отношении кубинского проекта, но первоначальный энтузиазм Марка поостыл.

«В Солсбери нет будущего, Марко, даже если б мы и захотели тут задержаться. Грабчеку не удастся добиться переизбрания, а как только он уйдет, это дерьмо Уайсмен снова будет рыть землю копытом. По правде говоря, и сейчас от них мало толку. Надо смотреть фактам в лицо: раз сюда могут приезжать латиноамериканские иммигранты и наносить нам урон, значит, времена переменились. Я хотел бы знать, есть у тебя какие-нибудь личные планы?»

«Вроде нет».

«Я считаю, тебе следует, по крайней мере, поразмыслить над кубинским проектом. Нам известно от нашего человека там, что это беспроигрышный номер. Я говорю о Брэдли, которого ты знаешь гораздо лучше, чем я. Несколько лет назад я оказал ему услугу, и с тех пор мы поддерживаем деловые отношения. Я могу тебе сказать, что это он поставил точку на Кобболде».

«Брэдли вызывает у меня дрожь,— сказал Марк.— Я ему инстинктивно не доверяю».

«У меня он тоже вызывает дрожь, но он полезен. Это новое правительство только становится на ноги, и сейчас самый подходящий момент, чтобы кто-нибудь его свалил. Я вложил в злачные места на Кубе тридцать миллионов и, похоже, смогу часть из них получить обратно».

«Вы все получите обратно. Там много друзей, которые на вас работают. Многих из них вы и не знаете».

«Тогда почему бы тебе не объединиться с нами? Почему бы нам снова не начать работать в прежнем составе? — Мгновенная вспышка надежды и энергии вызвала прилив крови к желтушным щекам Дона Винченте, и маленькие, как бы обведенные по краям красным карандашом глазки его заблестели.— Как насчет этого, Марко? Что ты скажешь?»

«Я должен поговорить с Терезой, Дон Винченте. У нас много проблем с детьми и со школой. Неизвестно, как она отнесется к новой перемене места. Вы знаете, женщины консервативны».

«Во всяком случае, подумай, Марко. Если захочешь быть с нами, мы тебе будем рады. Эта возможность для тебя всегда открыта».

Стыковка в Риме получилась неудачная, да еще вылет задержали на три часа, так что самолет сел в Палермо только в десять часов утра во вторник.

Все здесь переменилось. Годы отдалили Марка не только от знакомых ландшафтов, сейчас заслоненных огромными новыми зданиями, но он забыл внешний вид своих соотечественников: мужчины, казалось, стали ниже и были похожи на крабов, суетившихся в полированном пространстве аэропорта; лица женщин, прежде ясные и спокойные, теперь казались ему пустыми и апатичными.

Его встретил невысокий, аккуратный человечек с черной сигарой в углу безгубого рта. Он схватил руку Марка и энергично потряс ее.

— Меня зовут Джо Фоска, счастлив с вами познакомиться.

— Очень рад, Джо.

— Как хорошо снова поговорить по-английски,— сказал Джо.

— Вы были в Штатах? — вежливо спросил Марк.

— Знаете Шестьдесят девятую улицу в Восточной части города? Я восемь лет снимал там квартиру. Потом некоторое время держал итальянскую лотерею в Бруклине. Меня выдворили одновременно со Спиной, и мы вместе приехали сюда. И я снова в глуши, в Кастельнуово.— Он скорчил гримасу.— На еду хватает.

На стоянке аэропорта ждала красная «альфа-ромео». Они сели в машину, и Фоска завел мотор.

— Куда едем? — спросил Марк.

— Мне велено отвезти вас в Кампамаро, оставаться с вами до конца похорон и затем снова доставить сюда.

— Я хочу поехать в Пьоппо навестить тещу,— сказал Марк.— Кроме того, я хотел бы повидать родственников в Кальтаниссетте и в Сан-Стефано.

— Не получится,— ответил Фоска.— Пока вы здесь, за вами все время будет хвост, и если вы не будете вести себя как надо, вас прикончат.

— Вы кому подчиняетесь? Человеку по фамилии Джентиле или кому-нибудь, связанному с Джентиле?

— Я никому не подчиняюсь. Это просто дружеский жест с моей стороны. Я оказываю вам услугу, как, надеюсь, вы окажете когда-нибудь мне. Только я не хочу попадать под перекрестный огонь, если вы выкинете что-нибудь неожиданное.

— Может, вы свезете меня к Дону К.? Это будет не слишком большой крюк?

— Он вчера слег. У него опять сердечный приступ, и он не сможет вас принять.

— А Тальяферри вы знаете?

— Знал. Он умер в июне прошлого года. Вы, по-видимому, растеряли свои связи. Вот что получается, когда уезжаешь.

— А как насчет Креспи? Того, что прошел по мандату христианских демократов от Кальтаниссетты. Это мой двоюродный брат.

— Вот это, пожалуй, похоже на дело. Говорят, он должен войти в будущий кабинет. Только он большей частью находится в Риме.

— Мне нужен траурный костюм,— сказал Марк.

— Ладно. Остановимся в городе по пути.

Они остановились у магазина готового платья на улице, где торговали дешевой одеждой. В Палермо готовые костюмы покупали только бедные труженики, и скроены они были так, что придавали человеку смиренный и даже пришибленный вид. Однако траурные одеяния шили с некоторой долей щегольства — ведь самые торжественные случаи в жизни бедняков связаны с обстоятельствами, сопутствующими смерти. Марк взглянул на свое отражение в стершемся, покрытом пятнами зеркале и понял, что траур ему идет. За его спиной Фоска одобрительно кивал. Невысокий молчаливый человек, вошедший вслед за ними в магазин, перебирал дешевые галстуки на вертушке и не обращал никакого внимания на подошедшего к нему продавца. Когда Марк с Фоской вышли, он еще немного задержался у стенда, а затем последовал за ними.

Растущее беспокойство несколько упорядочило мысли Марка. Он вспомнил номер телефона, который ранее занес в свою записную книжку.

— А можно мне позвонить?

— Почему же нет? Только я постою рядом, пока вы будете разговаривать.

Они зашли в соседний бар, Марк купил жетон у стойки и набрал номер телефона в Палермо. К телефону подошла женщина.

— C'è l'avvocato Crespi?[1]

Ее голос звучал осуждающе:

— Vuol' parlare con l'Onorevole?[2]

— L'Onorevole. Si. Scusi tanto. Mi sono dimenticato[3].

В трубке раздался нетерпеливый мужской голос:

— Pronto. Chi parla?[4]

— Джованни, это Марко. Твой двоюродный брат Риччоне. Я говорю по-английски на тот случай, если телефоны здесь прослушиваются.

— Марко, рад услышать твой голос! Сколько времени уже прошло, а? Целых десять лет. Когда мы можем встретиться?

Марк с трудом верил, что разговаривает с человеком, который десять лет назад был тощим косноязычным семинаристом, собиравшимся отвернуться от церкви и заняться юриспруденцией.

— Послушай, Джованни. Я здесь очень ненадолго, и обстановка довольно сложная. Я хотел бы тебя повидать. Ты знаешь о смерти Паоло? Будешь на похоронах? Тогда мы увидимся там, ну, я надеюсь, ты сможешь мне кое в чем помочь.

— Марко, у меня просто нет слов. Сказать, что мне очень жаль,— это ничего не сказать. Я читал про Паоло, и меня страшно огорчает, что я не смогу отдать ему последний долг. Он был прекрасным человеком, и смерть его для меня личная трагедия. Если бы похороны были в другой день! Может, ты слышал, люди, съехавшиеся в Кальтаниссетту, решили избрать меня своим представителем, и моя жизнь больше мне не принадлежит. Ты меня здесь застал по чистой случайности. Я только вчера прилетел из Рима. Завтра я улетаю обратно, а до этого мне надо выступить на трех собраниях.

— Значит, ты будешь все время занят? Понятно, тогда и говорить не о чем.

— К великому сожалению. Меня уже ждет такси, иначе я предложил бы тебе приехать сюда.

— Ничего. Это понятно. Ты человек занятой.

— Как жаль, я бы очень хотел повидаться с тобой, Марко. Послушай, а может, ты остановишься на обратном пути в Риме? Я буду рад принять тебя и показать тебе город.

— Я здесь только на один день. Вечером я должен вылететь обратно в Штаты.

— Вот досада! Но ничего не поделаешь. Во всяком случае, у тебя есть мой адрес. В Риме надо обращаться в Палату депутатов. Значит, нам остается лишь надеяться на скорую встречу. Готов в любое время сделать для тебя все, что в моих силах, Марко. Запомни: все, что в моих силах.

В машине Фоска сказал, словно читая его мысли:

— Похоже, ваша ставка здесь проиграна. Могу посочувствовать, на себе испытал. Когда я вернулся из Штатов, мое влияние здесь оказалось равным нулю. А мне ведь не надо было бороться с членами клана Джентиле.

Они проехали окраины, и впереди, за черно-серебряными кубами новых заводов, показалась Рочелла. У светофора рычание мотора «альфа-ромео» стихло, но его заменил пронзительный заводской гудок.

— Я кое-что узнал о вас,— сказал Фоска.— Ваш случай заинтересовал меня. Насколько я понимаю, вы сплотили вокруг себя много сторонников, но не сумели довести дело до конца. Как только вы удрали, организация распалась, как карточный домик. Эти двое исполнительных и очень приятных парней, которые работали на вас в Кальтаниссетте — Сарди и Лобрано, так, кажется, их звали? — не протянули и месяца. Они кормят в земле червей. Матта сделал хороший ход и перешел на сторону Джентиле. Джордано устроили западню, и он отбывает пятилетний срок в Уччардоне. Дон К. вынужден был присоединиться к группе Джентиле, потому что в одиночку не мог выстоять против нас, вновь прибывших.

— Вы когда-нибудь встречались с моим братом? — спросил Марк.

---

[1] Можно адвоката Креспи? *(Итал.)*
[2] Вы хотите говорить с самим достопочтенным депутатом? *(Итал.)*
[3] С достопочтенным депутатом. Да. Извините, пожалуйста, я забыл *(итал.)*.
[4] Слушаю. Кто говорит? *(Итал.)*

— Раза два заправлялся на его колонке, но не помню, видел ли его. Ему суждено было умереть, потому что вас не было. Это понятно. Судя по всему, он никогда ни с кем не был связан. Его могли убрать в любое время.

— А кто приобрел его дело?

— Кто-то из заправил клана Джентиле. Рано или поздно узнаете, но ничего хорошего это вам не сулит. В тех местах, куда мы едем, цивилизации нет и в помине. Они живут в прошлом.

У поворота на Багерию Марк оглянулся: отсюда Палермо напоминал старый, изъеденный зуб на огромной челюсти горизонта. Великие перемены произошли лишь в городах; за их пределами ничто не менялось, кроме времен года. Сожженный солнцем ландшафт был серым и зернистым, как старая кинопленка. На маленьких клочках земли, окруженных камнями, волы тащили плуги. Крестьяне, глазевшие на них из своих лачуг, казалось, совсем одурели от своего скорбного труда.

— Сейчас здесь спокойно,— сказал Фоска.— А когда я вернулся, у нас пять лет шла гражданская война. Возвращавшимся из Штатов было нелегко. Большинство примкнуло к Джонни Ла Барбере, но с тех пор, как братьев Ла Барбера кто-то убрал, у нас умирают без покаяния. Во всяком случае, тот, кто их убил, положил начало новой моде. Теперь человек, которого следует отправить на тот свет, взлетает на воздух вместе со своей машиной.

У Марка в горле застрял комок. Он глотнул.

— Быстрая смерть, без всяких страданий,— заметил он.

Кампамаро едва можно было узнать. Деньги, полученные с помощью спекуляции и мелкого жульничества в послевоенные годы, обитатели поселка вложили в постройку безобразных дешевых сооружений. В стремлении подражать городу расчистили площадь, но бросили на половине, изрыв, как поле боя, траншеями для укладки труб, которые никто так и не заложил; здесь красовались четыре цементные скамьи, фонтан, полный зеленой плесени, и общественный писсуар, к которому до сих пор не подвели воду. В старом баре, где когда-то старики оказывали Марку честь, играя с ним в карты, теперь стоял автоматический проигрыватель, висела реклама пепсиколы и сидела молодежь нового поколения. Ни одного знакомого лица. Стариков не было видно — они вместе со священником Доном Карло Маньей были отсюда изгнаны и доживали свой век вдали от людских глаз. Слабоумная девица — ее Марку предлагали в качестве невесты — давно была замужем и родила несколько не менее слабоумных детей, а девушки, которыми он некогда мечтал обладать, уже надели платья, приличествующие так называемому среднему возрасту. Теперь было трудно определить, в какой из деревенских домов, похожих друг на друга благодаря одинаковой дешевой облицовке, его затащили тогда марокканцы и какие участки, засаженные теперь капустой, удобрены их телами. Только горы оставались такими, какими он их помнил,— словно груды нерафинированной каменной соли, они сверкали кристаллическим блеском под блеклым небом.

Паоло построил свой гараж рядом с их старым домом, и взрыв, который произошел, когда он сел в свой грузовичок и включил зажигание, произвел чудовищные разрушения. Между двумя сгоревшими дотла бензиновыми колонками лежала груда искореженного металла, в том числе радиатор, два колеса, бампер и номерной знак, подобранные на дворах и снятые с крыш, куда их забросило взрывом. К этим останкам грузовичка был прислонен венок из нескольких сотен желтеющих лилий. Дом почернел от пожара, а его единственное на первом этаже окно было выбито. Балкончик сейчас убрали пальмовыми ветками, перевитыми крепом, а широкие ленты черного атласа с белыми буквами «Паоло» прикрепили в виде гигантского креста над фасадом, отчего создавалось впечатление, будто смерть заколотила дом.

— Дон К. разрешил похороны и велел, чтоб все было по первому разряду,— сказал Фоска.— Мы заказали гроб из тикового дерева. Было бы хорошо, если бы вы могли взглянуть в последний раз на брата, но гроб пришлось забить. Вы, конечно, знаете почему.

Марк знал. При таких трагедиях, когда от жертвы почти ничего не оставалось, похоронная фирма из Палермо присылала манекен, и этот манекен, одетый в лучший

костюм умершего, с наклеенной на лицо увеличенной фотографией, клали в гроб. В таких случаях гроб не принято было держать открытым.

— Мы раздобыли около тысячи лилий и привезли трех плакальщиц,— сказал Фоска.— В наши дни их не сыщешь. Они обычно отказываются ехать в глухие места, если не прикатишь за ними на шикарном автомобиле и не пообещаешь трехразовое питание. Мы с ног сбились, пока их нашли.

Марк вышел из машины и огляделся. В домах возле окон стояли неподвижные фигуры с накрытой чем-то головой, чтобы не видно было лица, а впереди, на краю деревни, ожидал старенький катафалк, вокруг которого в глубоком молчании стояли те, кому предстояло нести гроб, а также три женщины, нанятые Фоской,— они должны были рвать на себе одежду и причитать. Такого рода драматическое представление деревенский житель едва ли мог надеяться увидеть более одного-двух раз в жизни; обычай предписывал точное выполнение церемонии, в которой каждому актеру была отведена своя роль и в которой сейчас главным действующим лицом был Марк. По правилам следовало делать вид, будто убитый умер в результате естественных причин,— лишь в самом конце одна из плакальщиц сообщит о том, что он явился жертвой вендетты.

Знатные люди деревни подошли пожать руку Марку и выразить соболезнование. Сначала им завладел маленький священник с птичьим личиком; за ним следовал молодой учитель, затем владелец цементного завода, потом член Общества чести с лицом, похожим на тотемный столб американских индейцев, а за ним целая толпа бакалейщиков и мясников, составлявших местную буржуазию. На какое-то мгновение Марку показалось, что среди них мелькнуло лицо человека, которого он видел в магазине готового платья.

Они гуськом вошли в дом и заняли места вокруг гроба, стоявшего на постаменте под грудой венков. Даже дом казался теперь незнакомым; Паоло пристроил эту комнату, потратив все свои сбережения на то, чтобы набить ее дешевой полированной мебелью. Между треснутыми зеркалами висела старая фотография. Увядающие лилии наполняли комнату острым запахом; с ним смешивался затхлый запах одежды, которую обычно держат в сундуках и вынимают, чтобы проветрить, только по торжественным случаям.

Священник проблеял молитву по-латыни, а затем главная плакальщица Мария Ла Скадута — эпилептичка с мужеподобным лицом, щеками, изрытыми оспой, и низким лающим голосом, который начал делать ей имя на палермском телевидении,— принялась причитать. Никто не понимал, что она говорит, так как она декламировала старинную похоронную оду, не имевшую никакого отношения ни к обстоятельствам жизни Паоло, ни к тому, как он умер. Старинные слова она произносила неправильно, искажая их до такой степени, что они теряли значение, и, хотя это была скорее какая-то тарабарщина, аудитория нервно реагировала на ритм и модуляции ее голоса.

Когда подошло время объявить, что Паоло был убит, люди уже находились на грани истерии. Ла Скадуте, умудрившейся забыть имя убийцы, шепотом его подсказали, после чего она откинула назад голову и завыла: «Джузеппе Джентиле. Era lui chi ha mandatu i sicariu» [1]. Раздались крики ужаса и удивления. Одна из помощниц с громким воплем упала на руки человеку из Общества чести, симулируя обморок; другая, стеная, осторожно царапнула себя по щеке, так что появилась капелька крови. Маленький священник в знак утешения положил руку на плечо Марка и процитировал стих о смирении из Книги Екклесиаста. Затем все вышли на улицу.

Старый катафалк задним ходом подъехал к положенному месту, носильщики вынесли гроб и вкатили его внутрь, затем завалили крышу машины венками. Водитель во фраке и в черных очках, покрыв черным бархатом колени, включил мотор и поставил катафалк позади старенького предводителя братского ордена святого Рокко, который с барабаном в руках ждал, чтобы возглавить процессию. За ним должны были последовать священник и служки, несущие изображение святого, а за ними — мальчики, брызгающие святой водой.

По сигналу священника затрещала барабанная дробь, катафалк попятился, потом рванулся вперед, и три плакальщицы начали корчиться и выть. Марк шел один, за

[1] Это он подослал убийцу *(итал., сицил. диалект)*.

ним трусцой по пыли следовали Фоска и достопочтенные обитатели Кампамаро по шесть человек в ряд. Длинный хвост рабочих с цементного завода, которым местный лидер Общества чести велел присутствовать, да горстка издольщиков и пастухов замыкали шествие.

Глаза Марка были устремлены на гроб под пурпурным бархатным покровом, с которого свешивался черный шнур с кистью. Того, который раньше назывался его братом, в гробу не было, на кладбище несли куклу в новом шелковом белье и в парадном костюме Паоло. Это знали все, но считали несущественным, потому что, согласно народным верованиям, кисть на черном шнуре олицетворяла душу умершего, которая сейчас здесь присутствовала и которая освободится только после захоронения. Через несколько минут, когда гроб начнут опускать в могилу, наступит самый драматический момент похорон — Марк должен будет в присутствии толпы молча, без единого лишнего жеста взять эту кисть и принять тем самым на себя все обязательства вендетты. В этом отношении деревня Кампамаро не перебралась в век пепси-колы и кофеварки «эспрессо».

Они шли, не попадая в такт ударам барабана, по направлению к приземистой, будто высеченной из кремня церкви в конце деревни. На крышах сидели женщины и дети; звонил церковный колокол; на невидимом цементном заводе в знак печали и уважения выла сирена; профессиональные плакальщицы громко рыдали и рвали на себе одежды. Священный момент приближался. В прошлом году в Бомпенсьере, по другую сторону гор, роковую кисть пришлось взять четырнадцатилетнему мальчишке, а через полгода его убили из засады.

У кладбищенских ворот катафалк со скрипом остановился, носильщики вынули гроб, процессия перестроилась и снова двинулась вперед, втискиваясь в узкую извилистую тропинку. Около могилы Марк почувствовал, что его зажали со всех сторон. Не снимая пурпурного покрова, гроб опустили на землю, и черный шнур с кистью теперь лежал на нем как змея. Все выжидающе смотрели на Марка в молчании, нарушаемом лишь доносившимися издалека голосами женщин и детей, которые покинули крыши и теперь торопливо шли к кладбищу. Все ждали. Все единодушно считали, что раз он приехал, то должен сыграть предназначенную ему традициями роль. Так считал священник с молитвенником в руках, с глубоко запавшими глазами, которые вдруг словно провалились, отчего лицо его стало похоже на череп. Так считал Фоска, человек из Общества чести, и все мелкие деревенские чиновники, и все владельцы лавок, а молодой учитель с умным лицом отложил до лучшего случая свои прогрессивные идеи и как бы требовал, чтобы Марк оставался верен прошлому. Ла Скадута и ее две помощницы, выполнив свои обязанности, теперь ждали того же самого с его стороны. Рабочие с цементного завода, пастухи и поденщики твердо знали, что он должен уважать традиции, в которых они все были рождены. Он чувствовал силу их воли, молчаливую тяжесть их решения. От стремления противостоять этому массовому напору и атавистической жажды схватить кисть и сжать ее так, чтобы все видели, у него задрожали руки. Он закрыл глаза и подумал о жене и детях.

Среди растерянного молчания священник открыл молитвенник и начал читать.

Теперь все лица, ранее с надеждой обращенные к Марку, были повернуты в сторону. Он знал, что навсегда отрезал себя от Кампамаро.

8

Туман, закрывавший Айдлуайлд[1] в течение тридцати шести часов, нарушил расписание самолетов в половине аэропортов мира. Единственный шанс Марка вернуться в Майами к четырем часам дня в среду зависел от точности стыковок пересадок, но самолет «Алиталии», на котором Марк должен был лететь из Рима в Нью-Йорк, прибыл с пятичасовым опозданием и на обратном пути, изменив курс, совершил посадку в Бостоне. В результате и Марк на двадцать минут опоздал к назначенному времени; когда он вышел из самолета и отыскал в зале для транзитных пассажиров

[1] В настоящее время аэропорт Кеннеди в Нью-Йорке *(прим. перев.)*.

телефонную будку, Виктор, расплатившись за номер в гостинице, уже ехал в такси к автовокзалу компании «Грейхаунд».

Около семи часов вечера, после двух пересадок, Виктор попал, наконец, в Седж-Бей. К этому времени он чувствовал себя отнюдь не наилучшим образом. Последние часы пребывания в Майами он мучился нетерпением, ожидая возвращения Марка, и сейчас нервная слабость, о которой он предусмотрительно никогда не говорил ни Спине, ни Марку, превратилась в неотвязную головную боль. Он зашел в мужскую уборную, умылся холодной водой, потом заглянул в бар, чтобы на ходу чего-нибудь выпить, и, собравшись с силами, отправился в город. Стоял чудесный весенний вечер, свет уходящего дня медленно струился, словно впитываемый сияющим зеленым горизонтом, вдоль далекой линии берега то тут, то там мигали огни города, последний катер на большой скорости чертил короткий белый узор на темнеющем входе в бухту.

Виктор взял такси и направился в похоронную контору, принадлежавшую гробовщику по имени Эдвин Экс. Экс был единственным гробовщиком в Седж-Бее, и Виктор надеялся, что Марк, вернувшись из Рима, сможет сразу же найти его по телефонному справочнику и даст знать, когда он приезжает.

— Наверное, вашему другу не удалось дозвониться,— сказал Экс.— У нас вчера был шторм, и некоторые местные линии повреждены.

— Когда их починят? — спросил Виктор.— Сегодня вечером?

— Сомневаюсь. Может, завтра. У нас здесь очень примитивная связь. А вот за городом телефон почему-то работает отлично.

Экс был крупным, веселым, разговорчивым человеком с удивительно подвижными глазами на туповатом лице, хотя сам он двигался — возможно, под влиянием постоянной близости моря — солидно и размеренно, как рыбак в высоких сапогах.

Он с удовольствием говорил о своем бизнесе.

— Раньше это был рыбный холодильник,— объяснял он.— Как только объявили, что он продается, я тут же его купил. Рыбой сейчас здесь никто не занимается. Город обеспечивает нам достаточную клиентуру — не говоря уже о проезжих...

Виктор мучился, не зная, на что решиться. Подождать еще или приступать к делу? Экс, возможно, ничего не знал о содержимом гробов, и тем не менее он вызывал у Виктора какое-то чувство настороженности. Было что-то отталкивающее в этом человеке, который зарабатывал себе на жизнь с помощью мертвецов.

— У нас установились отличные деловые отношения с Багамскими островами,— бодро продолжал Экс.— Там умирает гораздо больше приезжих, чем в других местах, где люди ведут не такой бурный образ жизни. Наша фирма пользуется успехом, потому что она гораздо дешевле, чем любая похоронная контора в большом городе. Что же касается Кубы, то раньше мы транспортировали мертвецов туда, теперь же, по-видимому, направление меняется. Уже второй раз в этом году мы получаем оттуда груз. Знамение времени, должно быть. Столько кубинцев приезжает сюда. Хорошо еще, не приходится заниматься перезахоронением. То есть я хочу сказать, нам не надо заниматься гробами, которые долгое время пролежали в земле и уже подгнили.

Они вышли из конторы и направились к стоявшему неподалеку побеленному дому со следами недавнего ремонта.

— Кстати,— продолжал Экс,— при всем моем уважении к мистеру Баезу должен сказать, что кубинцы не умеют заботиться о своих покойниках. Обычно они арендуют склеп на определенное время, по истечении которого, если плата перестает поступать, труп извлекают и без всяких церемоний бросают в так называемую fosa común — общую могилу. Большинство американцев сочло бы это оскорбительным. Это как-то трудно совместить с религиозными убеждениями. Разве я не прав?

— Правы,— согласился Виктор.

— Гробы обычно делают из самых дешевых материалов, и они часто оказываются слишком малы для покойника.— На лице Экса вдруг появилась гримаса непритворного ужаса.— Приходится прибегать к средствам, о которых лучше не говорить... Ну, вот мы и пришли.

Он отпер большую полированную дверь, отодвинул большое стекло, образовывавшее вторую стенку, и включил яркий свет. Виктор оказался в помещении, которое

можно было принять за только что построенный супермаркет, куда должны завезти товары. Посередине в широких белых эмалированных холодильниках, какие используются для хранения замороженных продуктов, стояли гробы. Чуть слышно пахло душистым аэрозолем.

— По-моему, то, что мы ищем, находится вон в том углу,— сказал Экс.— Ну, конечно, вот они. Три гроба, отправленные с Кубы, если я не ошибаюсь, неким мистером Фергюсоном. Я сейчас их подниму наверх. Вы уже договорились насчет транспорта?

— Мне хотелось бы арендовать у вас катафалк, если это возможно.

— Почему же нет? А куда ехать?

— В Форт-Пирс. Мистер Баез предполагает обосноваться там. Он хочет, чтобы его родители были захоронены на местном кладбище.

— Понятно. Форт-Пирс — славное место. Там сейчас приобретают землю многие кубинцы. Лично я нахожу, что там слишком влажно, но это, по-видимому, не беспокоит наших кубинских друзей. Они люди привычные: у них на Кубе тоже влажный климат.

— Я хотел бы поехать этой же машиной, если вы не возражаете.

— Ну что ж, дорога приятная. Гораздо больше увидишь, чем из окна поезда, и очень интересно к тому же. Я так понимаю, что вы выедете завтра?

Виктор наконец принял решение.

— Я хочу выехать сегодня вечером.

— Не знаю, удастся ли это сделать,— сказал Экс. Виктор уловил в его взгляде любопытство.

— Дело в том, что у меня не так много времени.

— В такую позднотищу шофера не найдешь. До Форт-Пирса ведь далеко. Боюсь, что придется заплатить вдвое, даже если мы и уговорим кого-нибудь. Люди, которых я вынужден нанимать,— продолжал он,— ведут себя весьма независимо.

— Я согласен на двойную оплату,— сказал Виктор.— Если хотите, на тройную. Главное — двинуться в путь.

Их взгляды встретились — Виктор внимательно наблюдал за лицом Экса, ища новые признаки любопытства.

— А что сказать вашему другу, если он позвонит? — спросил Экс.

— Просто скажите, что я уехал,— ответил Виктор.

— Сказать ему, чтобы он связался с вами в Форт-Пирсе?

— Очевидно.

— Куда вам там позвонить?

— Он знает, где меня найти.

— Отлично,— сказал Экс.— А в общем, вы с таким же успехом могли бы выехать и завтра рано утром. Переночевали бы в моем скромном жилище, если вы ничего не имеете против,— мне жаль ваших денег.

У Виктора непрерывно гудело в голове, и он с трудом сдерживал нетерпение.

— Спасибо за предложение, мистер Экс, но у меня завтра дел по горло. Буду вам страшно признателен, если вы отыщете шофера.

— Попытаемся,— сказал Экс.— Если из моих людей никто не согласится, тут рядом есть агентство по прокату машин. Подождите минутку, я схожу узнаю, не смогут ли они нас выручить.

Он ушел, а Виктор занялся гробами. Он осмотрел головки винтов в крышках — все было в порядке. никаких мелких блестящих царапин на потускневшем металле, никаких следов недавнего прикосновения отвертки.

Экс не появлялся, и чем дольше его не было, тем сильнее нервничал Виктор. Наконец, минут через двадцать, Экс вернулся, тяжело ступая по полу и зыркая по сторонам глазами, точно рыбак, идущий по оседающему песку.

— Ну нам, кажется, повезло. Очень хороший парень и вполне надежный. Я несколько раз пользовался его услугами в таких же экстренных случаях. Нам удалось застать его дома, и он сейчас придет. Я велю своей секретарше подготовить необходимые документы и напечатать квитанцию, чтобы вы расписались.

— Сколько времени займет у нас эта поездка? — спросил Виктор у шофера, тощего носатого парня, похожего на кинематографического индейца из племени сиу.

— Форт-Пирс, мистер? Это смотря как поедем. По Первой дороге или по магистрали?

— По магистрали.

— Большинство предпочитает Первую дорогу. Приятная дорога по берегу. Прекрасный вид на море.

— Но не ночью.

— Сейчас полнолуние. На воде видны огни рыбацких лодок. Такие городки, как, например, Юпитер и Стюарт, ночью очень красивы. Если по Первой, то проедем через Палм-Бич.

— Все равно давай по магистрали.

— Если по магистрали, то будет, пожалуй, часа три с половиной.

— Три с половиной! Господи, сколько же нам надо проехать?

— Миль сто сорок.

— И на это потребуется три с половиной часа?

— Самое меньшее. Из старой развалины больше сорока миль в час не выжмешь. Мистер Экс не любит тратить деньги на свои катафалки, время от времени подкрасит — и все. Кроме того, до Киттс-Холлоу дорога не очень-то хорошая. А потом она сходится с Первой.

— В таком случае тронулись.

— Как скажете,— с явным неудовольствием отозвался шофер.

Стук в висках у Виктора стал сильнее, и, когда он менял положение на неудобном сиденье, боль возрастала в тех местах, где были трещины и переломы. Он приписал это внезапной перемене климата.

На дороге стояла жидкая грязь.

— Шли сильные дожди? — спросил Виктор.

— Сейчас такое время года, мистер.

— Остановись у бара,— сказал Виктор.— Мне надо позвонить.

Он зашел в бар, заказал порцию виски и стакан пива и из телефона-автомата позвонил в Майами. Номер оказался занят; Виктор вышел из будки и пошел обратно к двери. На другой стороне улицы под ободранными ветром пальмами стояли два кренящихся друг к другу дома; дождь шлепал по черной луже, очертаниями похожей на южноамериканский континент. Катафалк фирмы «Крайслер» отлично вписывался в этот безрадостный ландшафт и мог бы стоять здесь вечно. Через пять минут Виктор позвонил снова. На этот раз ему ответил детский голос.

— Это Виктор,— сказал он.— Скажи папе, что с ним хочет поговорить Виктор.

Ответа не последовало, и он испугался, что их разъединили; затем мужской голос спросил:

— Кто говорит?

— Виктор. Мне велели позвонить вам. Я только что приехал.

— Откуда ты звонишь?

— Из автомата в баре.

— Груз при тебе?

— Да.

— Дай-ка трубку Ричардсу.

— Его здесь нет. Он не смог приехать.

— Как это — не смог приехать? Мы знаем, что это он все устраивал.

— Его задержали семейные неприятности.

— Мне это не нравится. Мы на него рассчитывали.

— Я мог бы его дождаться, но мне сказали, что вам нужен груз в течение трех дней. Ждать мне его?

— Нет, поезжай как есть. Ты один?

— Еще шофер.

— Ты его знаешь?

— Откуда я могу его знать? Я здесь первый раз в жизни. Он при машине.

— А-а. Ладно, запиши его имя и адрес. Присмотрись к нему — возраст и как выглядит. Самое главное, разузнай, откуда он. Нам нужно знать о нем все.

Виктор положил трубку возле аппарата и вышел из бара. Шофер сидел согнувшись, с закрытыми глазами, будто умер от сердечной недостаточности, пока ждал.

Виктор схватил его за плечо и потряс:

— Как тебя зовут?

Человек открыл глаза и, по-видимому, с трудом пришел в себя.

— Я спрашиваю, как тебя зовут?

— Эдди.

— Эдди — а дальше как?

— Мистер, зачем вам это?

— Я только что разговаривал с одним приятелем, который утверждает, что знает тебя.

— Меня зовут Эдди Морено.— В голосе шофера прозвучала сдержанная гордость.— Морено. По-испански это значит «темный».

— Понятно. И ты живешь в Седж-Бее?

— В Седж-Бее я работаю. А живу в Нью-Ривер-Инлет. Слыхали когда-нибудь о таком месте?

— Нет, не слыхал.

— Я так и думал. Это маленькое местечко. А до этого я жил в Саймон-Драм. Знаете что? По-моему, ваш друг ошибся.— Он хитро ухмыльнулся и, откинув назад голову, поглядел на Виктора.

— Я пойду объясню ему, а то он собирался поговорить с тобой,— сказал Виктор и, вернувшись в бар, снова подошел к телефону.

— Его зовут Эдди Морено,— проговорил он в трубку.— Живет в Нью-Ривер-Инлет, а до этого жил в Саймон-Драм. Возраст — около тридцати пяти, вес примерно сто сорок фунтов. Может быть, из индейцев.

— Отлично, дружище. Мы все проверим, но на это нужно время. Позвони мне снова через час, только по другому номеру. Запиши: Коппервейл, восемьдесят восемь, пятьдесят три. Поезжай по Сто седьмой дороге, но обязательно позвони, прежде чем попадешь в Киттс-Холлоу. Может, мы дадим тебе другой маршрут.

— Хорошо, я позвоню позже.

— Вот что еще. Расскажи мне о Ричардсе. Как его зовут?

— Марк. Друзья зовут его Марко.

— Как он выглядит?

— Лет тридцати пяти. Небольшого роста. Худощавый. Темные волосы с сединой на висках. Острый нос. Немного похож на Джорджа Рафта из его первых фильмов.— «Теперь они и меня проверяют,— подумал он.— Видно, что-то им не нравится».

— Случайно не знаешь, откуда он родом?

— Как будто из-под Кальтаниссетты. Еще что-нибудь?

— Нет, вроде все. Тебе пора отправляться.

Виктор вышел на улицу, постучал по дверце катафалка и сел в машину. Шофер включил мотор, и они тронулись. Буквально через несколько минут последние окраинные хибарки Седж-Бея исчезли за деревьями, мрачным частоколом стоявшими вдоль дороги.

— Давай помедленней,— сказал Виктор.

— Я думал, вы торопитесь.

— Противно, когда эту развалину качает из стороны в сторону. Меня тошнит.

— Дело ваше.

— Еще тише. Не больше тридцати миль.

— Этак, мистер, мы протащимся всю ночь.

— Ты ведь чем дольше едешь, тем больше получаешь. Чего же беспокоиться?

— Ошибаетесь. Плата все равно одна, сколько бы времени мы ни ехали. И потом, жена меня ждет в Седж-Бее. Она любит меня не за то, что я ночами где-то езжу.

— Как называется этот район?

— Мы едем через Эверглейдс. Вон там, направо, если вам видно, начинается болото Биг-Сайпресс.

— Довольно пустынно здесь, а, Эдди? И машин почти нет.

— Движение здесь бывает, когда ребята с химического завода едут в Кларксвилл и Стэн-Крик. Они все уже проехали часа два назад.

Виктор почувствовал судорогу в левой руке, сухожилия и хрящи которой были повреждены во время первого удара киркой, когда он выставил ее, чтобы защитить голову. Он потянул за ручку дверцы, желая выпрямить сведенный большой палец. Конечности начало покалывать. Решив отвлечься от мыслей об этих симптомах, Виктор попытался вызвать в памяти легкомысленный образ стюардессы, с которой в самый последний момент у него не получилось близости. Попытка оказалась безуспешной: он не сумел даже представить себе роскошное, податливое тело девушки.

— Сколько еще до Киттс-Холлоу?

— При такой скорости — сорок минут.

— Поезжай медленнее. Я не очень хорошо себя чувствую.

— Это из-за рессор. Не выдерживают тяжести. Вместе с кузовом мы весим тонны две, не меньше. Хотите остановиться на минутку?

— Нет, не надо,— сказал Виктор. Мрачная зелень в свете фар начинала оказывать на него гипнотическое действие. Голова кружилась — к горлу подкатывала тошнота. Да и шофер вызывал у него все большее недоверие.

— Тебе много приходится ездить, Эдди?

— Конечно. Я целыми днями за рулем.

— На кого ты работаешь? На мистера Экса?

— Нет, он редко нанимает меня. Иногда я работаю в фирме пиломатериалов в Седж-Бее. А в туристский сезон — у Хертца.

— Это у тебя карта? Дай-ка взглянуть. Ты, должно быть, знаешь этот район отлично, Эдди. Куда же ты ездишь?

— Да, пожалуй, в любое место, какое ни назови — Нейплс, Аркадия, Канал-Пойнт, Пунта-Горда.

— Для фирмы пиломатериалов? — Виктор посмотрел на карту.— А знаешь, например, озеро Истокпога?

— Конечно.

— Как туда добраться?

— По Девяносто восьмой дороге. Севернее озера Окичоби.

— Правильно, Эдди. Ты на самом деле много времени проводишь за рулем.

— Могу показать дорогу в любое место Флориды, мистер.

Внезапно в ветровом стекле на мгновенье появился и тут же исчез маленький квадратик света. Виктор оглянулся. За поворотом мелькнули фары какой-то машины.

— Прибавь-ка скорость,— сказал он шоферу.

Морено нажал газ, и стрелка спидометра медленно подползла к цифре 65.

— Больше не можешь?

— На пределе, мистер.

Огни фар отдалились, но ненамного.

— Ладно, теперь давай потише. Сбавь до двадцати,— сказал Виктор.

Машина, следовавшая за ними, тоже сбавила скорость и через милю свернула влево.

— Куда она пошла? — спросил Виктор.

— Наверно, на юг, в Джэксон-Понд. На заводе есть несколько ребят оттуда.

— Тебе не показалось, что она идет за нами?

— Да нет. Кому это надо?

— А почему она одновременно с нами ускоряла и замедляла ход?

— Может, не хотела отставать от нас. Может, аккумулятор сел, вот и пользовалась нашими фарами.

— Да-а, возможно... Послушай, мне надо позвонить человеку, который ждет этих мертвецов, и сказать, что мы задерживаемся. Где тут есть телефонная будка?

— Была одна на бензоколонке неподалеку. Если ее не убрали, когда там был пожар.

Минут через пять они подъехали к сгоревшей бензоколонке. Трава среди почерневших насосов доходила до колена, а дикий виноград придавал остаткам постройки вид вековых развалин.

Телефон, однако, работал. Виктор опустил монету в десять центов и набрал коппервейлский номер, но ответа не было.

— Занято,— сказал он шоферу.— Надо подождать.

— Там дальше, в Хони-Майл, тоже есть телефон.

— Этот, по крайней мере, работает. Не будем рисковать.

— Так мы приедем в Форт-Пирс к утру,— проворчал Эдди.

Виктор отшвырнул ногой черную, обуглившуюся перекладину.

— А что здесь произошло?

— Парень разорился и привез сюда из Майами какого-то поджигателя-артиста. К тому времени, как из Седж-Бея подоспели пожарники, остались одни угли.

— А как звали этого артиста?

— Фостер. Бенедикт Фостер.

— И как ты умудряешься все знать? — спросил Виктор.

— Я, как и все, читаю газеты.

— И память у тебя неплохая, а?

Виктор снова набрал Коппервейл — на этот раз телефонистка велела ему опустить сорок центов, когда произойдет соединение.

Голос был тот же, что и раньше.

— Слушай внимательно, друг. Мне надо знать, где ты, только не называй места. Скажи, сколько примерно миль вы проехали по этой дороге, после того как ты звонил последний раз?

— Около тридцати.

— Около тридцати, говоришь? Ладно, теперь слушай: у тебя есть карта?

— Конечно.

— Не доезжая пяти миль до города, куда вы едете, будет перекресток, от которого налево отходит дорога. Поезжай по ней.

— Все?

— Да. Теперь насчет парня, который с тобой. Мы проверили в обоих местах, которые ты назвал, и никто о нем никогда не слыхал. И какого черта ты с ним связался? Мы думали, вы поедете вдвоем с Ричардсом.

— Иначе ничего нельзя было сделать. Сами потом поймете.

— Как считаешь, за тобой нет хвоста?

— Вроде нет, но вообще-то не исключено.

— Первым делом надо узнать это наверняка.

— А как?

— Съезжай где-нибудь на обочину и постой немного. А если тебе придется разделаться с этим болваном, ты сможешь доехать один?

— Смогу.

— Ну ладно. Тогда устрой ему хорошую проверку и, если почувствуешь, что он с душком, стреляй.

— Хорошо.

— И через час снова позвони. Хендерсон, восемьдесят четыре тридцать один. Дай знать, как там у тебя. Может быть, мы кого-нибудь вышлем тебе навстречу.

Впереди из-за деревьев поднималась луна, и слабый свет ее позволял различать предметы в кабине. Быстрым незаметным движением Виктор вытащил из сумки автоматический пистолет «беретта» 25-го калибра, который он купил на Антигуа, не сказав об этом Спине и сунул под рубашку в висевшую через плечо кобуру.

— Ехать побыстрее? — спросил Эдди.

— Не надо. Мне что-то нехорошо. Так кидает на поворотах, что у меня все нутро выворачивает.

— Вы устали, мистер. Может, вам немного поспать?

— Мне сейчас не до сна. Я вот думал о тебе, Эдди,— ты ведь индеец?

— Отец был индеец,— сказал Эдди и по привычке виновато улыбнулся.— Семинол. Из местных индейских племен.

— Я слышал про семинолов. Это индейцы, живущие на болотах, да? Когда я был в Корал-Гейблс, там показывали деревню семинолов. За пятьдесят центов можно было сфотографировать индеанку, кормящую грудью своего ребеночка. Твой отец тоже жил в Нью-Ривер-Инлет — или в Саймон-Драм, что ли?

— В Саймон-Драм. Несколько лет назад там еще жили две-три индейских семьи. Нам пришлось уехать из-за детей. У младшей девочки бывают судороги, а там нет лечения, которое ей нужно, так что мы переехали в Инлет и теперь два раза в неделю возим ее в Бискейн.

— Ну и как она сейчас?

— Ничего Теперь эту болезнь научились лечить.

— Судороги у нее, говоришь? Это плохо.

— Доктор сказал, что мы должны пять лет только ею и заниматься. Все самое лучшее — ей. До прошлого года она не училась. Все деньги уходят на то, чтобы поправить ее. Мы только о ней и думаем.— В его голосе появились плаксивые нотки. Виктор понял, что Эдди чем-то напуган. «Наверно, заметил пистолет»,— подумал он.

— Да, это, конечно, несчастье, Эдди. Видно, ты примерный семьянин. Я думаю, что самое дорогое у человека — это семья, с ней не хочется разлучаться без крайней необходимости, верно? Но кое-что меня не устраивает в тебе и в твоей печальной истории, Эдди. Мне бы хотелось рассеять эти дурные мысли, а потому включи-ка свет и покажи свои права.

Эдди включил свет и вытащил из нагрудного кармана рубашки права. Виктор начал их рассматривать.

— Фотография неплохая, Эдди, но здесь написано, что ты живешь в Йихо-Джанкшен. Как же это понимать?

Шофер втянул в себя щеки, и заискивающая улыбка превратилась в гримасу.

— Я жил там три месяца, когда получал права, только и всего.

— И ты не потрудился их обменять, когда переехал в Нью-Ривер-Инлет? Что ж, бывает. А сейчас твоя семья живет в Инлете?

— Да.

— Но ты сказал, что тебе надо домой к жене в Седж-Бей. Ты мне совсем заморочил голову, Эдди. Я просто не знаю, что и думать: концы-то с концами не сходятся.

— Это была просто отговорка, мистер. Мне хотелось пораньше вернуться домой, вот я и ляпнул первое, что пришло в голову.

— Понятно. Скажи мне, Эдди, еще одну вещь. Удовлетвори мое любопытство: сколько тебе платят за работу?

— Чтобы отвезти вас в Форт-Пирс?

— Ну, если хочешь. Да, скажем так.

— Семьдесят пять. Это меньше нормальной цены. Мистер Экс не платит надбавки за ночную работу.

— Каждый лишний доллар имеет значение при твоих расходах, так ведь?

— Конечно.

— А вот эти просеки вправо от дороги — они куда ведут?

— Наверное, вниз, к одной из рек, не знаю. В этом районе полно рек.

— Сверни на следующую просеку.

Виктор сунул руку под рубашку и держал пистолет, не вынимая его.

— Это еще зачем? — спросил Эдди.

— Сейчас узнаешь,— сказал Виктор.— Делай, как я говорю.

Морено повернул на просеку, и, когда он поворачивал, Виктор наклонился и выключил фары. Внезапно оказавшись в темноте, Морено резко затормозил, затем крутанул рулевое колесо, чтобы вывернуть машину, которую начало заносить на грязной обочине. Дорога, сужаясь, шла под гору, по обеим сторонам ее непроходимой стеной стояли карликовые и папоротниковые пальмы. Морено ехал со скоростью пешехода, затем включил первую скорость.

— Стоп! — скомандовал Виктор.

Машина поползла, затем остановилась.

— Выходи.

Морено как будто не слышал. По-прежнему держа правую руку на баранке, он левую протянул к отделению для перчаток.

Виктор вытащил пистолет и уперся дулом ему в грудь. Морено медленно поднял обе руки на уровень ушей. Виктор наклонился, открыл отделение для перчаток и вытащил старый, армейского образца, автоматический кольт.

— Зачем держишь оружие? Боишься нападения?

— Я уже дважды попадал в передрягу. Теперь ни один водитель без оружия не ездит, если он в своем уме.

Виктор помахал перед ним «береттой».

— Пошли обратно на дорогу, Эдди, мне кажется, мы увидим что-то интересное.

Морено вылез, и Виктор знаком велел ему идти вперед.

— Не нервничай, Эдди. Голову не поднимай, помогай мне, и все будет в порядке.

— Мистер, я хочу, чтобы вы сказали мне — в чем дело?

— Все в свое время, Эдди, все в свое время. Мы здесь немножко подождем и посмотрим, не произойдет ли случайно чего-нибудь такого, что подкрепит мои подозрения, а они все растут и растут.

Через пять минут Виктор услышал тихий шорох автомобильных покрышек, и мимо них по направлению к Киттс-Холлоу проехал «бьюик» с потушенными фарами. Машина медленно проползла в пятнистой тени деревьев, и через несколько секунд ее серая масса исчезла в зарослях.

— Похоже, что еще у одного парня вышла из строя батарея, а, Эдди? — сказал Виктор.— Ладно, давай-ка опять прогуляемся по лесу.

Они двинулись обратно, Морено шел немного впереди; каблуки их башмаков проваливались в губчатую, мшистую землю. Виктор держал пистолет у лопаток Морено; в висках у него стучало. В низине болото тихо шипело от насекомых, как будто где-то далеко выпускали пар; несколько цапель на прогалине захлопали крыльями и снова успокоились.

— Тихое место,— сказал Виктор.— Месяц пробудешь здесь и никого не встретишь.

— Там дальше есть дом,— через плечо пробормотал Морено.

На холме возникло призрачное старинное здание с портиком, и они пошли к нему по крутому склону. Когда-то изящная лестница, теперь ободранная, изъеденная ржавчиной, вела наверх к галерее, от которой остался лишь серый остов. В дверном проеме, высоком и широком, не было двери, а в оконных рамах — стекол. Прокричала в своем убежище невидимая во тьме сова.

— Это когда-то был дом,— сказал Виктор.— Когда ни меня, ни даже тебя не было на свете.

Он напряженно вслушивался. Темнота была полна мягких присвистов, призывов ночных животных и шелеста растений. Это вызывало в нем чувство тревоги. И кроме того, он ужасно боялся змей.

— А вон привязана лодка,— сказал Морено тонким от страха голосом и смахнул кончиками пальцев пот с лица.— Сюда часто приезжают охотники на крокодилов.

— Больше не приезжают,— сказал Виктор.— Даже я это знаю. В такие болота приезжают только туристы. Да и то летом, а не в марте.— Он на минутку оставил Морено, чтобы осмотреть лодку, затем вернулся.— Твоя лодка пробита и полна воды. Думается, сейчас на многие мили вокруг нет ни одной живой души. Никого, кроме нас, Эдди. Как ты думаешь, зачем этот «бьюик» шел за нами?

— Почему он должен был идти за нами, мистер? Господи боже мой, это могли быть парни с девочками, которые искали, где бы остановиться.

— С выключенными фарами?

Морено пожал плечами.

— Хочешь знать, как я это понимаю? Это та самая машина, которая раньше свернула к Джэксон-Понд. Как только мы скрылись из виду, она снова вышла на магистраль, а при луне можно не включать фары. Когда я остановился, чтобы позвонить,

машина тоже остановилась. Она все время держалась в сотне ярдов от нас, но мы ее не видели.

— Если эта машина и следила за нами, мистер, я об этом ничего не знаю.

— Вот это-то нам и надо серьезно обсудить, Эдди. А сейчас я собираюсь пройтись по твоим карманам, так что держи руки вверх и дай мне посмотреть, нет ли там чего-нибудь такого, чего не видно простым глазом.

Морено поднял руки вверх, Виктор вывернул его карманы, в которых оказалось несколько монет, кольцо от ключа, фонарик и засаленный бумажник. Он посветил фонариком, чтобы рассмотреть содержимое бумажника.

— Ничего особенно интересного нет, Эдди. Две десятидолларовых бумажки и три доллара. Одно извещение о просроченном платеже по страхованию с указанием твоего адреса в Йихо-Джанкшен. Один талон на право въезда в гараж. Счет открытого ресторана «Фламинго» в Иммокали на пять девяносто пять и религиозная брошюрка «Готовьтесь встретить Всевышнего». И знаешь что? Все в тебе: эта твоя рваненькая рубашка, эти брюки с заплаткой на колене, эти сапоги, которые вот-вот спадут с ног, и дребедень, которую ты носишь в карманах, не говоря уже о том, что ты мне про себя рассказывал,— создает впечатление, что ты очень бедный. Конечно, ты возишь с собой оружие — но кто в наши дни его не возит? Так что передо мной парень, который отбивает себе зад весь день и половину ночи, чтобы послать своей любимой семье в Нью-Ривер-Инлет несколько лишних монет в неделю. Должен признаться, Эдди, что я уважаю людей, у которых на первом плане жена и дети. Это мне в тебе нравится. Но, Эдди, одна мелочь портит столь красивый фасад: кто такая Энди? Вот у меня в руках фотография прелестной девицы, которая, по-видимому, тебя знает. На фотографии надпись: «Чудесному парню Эдди, с любовью. Спасибо за Рено. Энди». Спасибо за Рено, а? Что же ты делал в Рено, штат Невада? Ты мне об этом не рассказывал.

— Я был зазывалой в клубе.

— Судя по дате на карточке, это было месяца два назад. Ты был зазывалой в одном из клубов Рено? Это меняет весь твой облик. Почему ты не рассказал мне про Рено?

— По правде говоря, побоялся.

— Чего же ты побоялся, Эдди? А что это ты так дышишь? Надо бросать курить эти чертовы сигареты. Так чего же ты боялся?

— Не знал, как вы это воспримете. Можно я опущу руки?

— Нет, не стоит. Давай-ка поговорим об этой красотке. Уличная девка. По-моему, на ней норка. С любовью чудесному парню. Держу пари, ты уж напустил там пыли. Во фраке, под руку с этой красивой дамочкой. Твой старенький папа в Саймон-Драм должен гордиться тобой.

Внезапно Виктор дулом пистолета ударил Морено в пах. Тот взвизгнул, как собака.

— Слушай, Эдди, даю тебе три секунды, не заговоришь — прострелю тебя насквозь. Для начала. Ты что, частный сыщик? А слыхал ты когда-нибудь о мафии, Эдди? Некоторые утверждают, что ее не существует, но, может быть, ты сейчас именно перед ней и стоишь.— Он снял предохранитель.— Вопрос номер один, Эдди. На кого ты работаешь — на Бюро по борьбе с наркотиками?

— Уберите свой пистолет, и я все вам скажу.

Виктор поднял пистолет.

— Ну?

— Вроде бы. Мне пришлось взяться за эту работу, потому что у меня плохо с деньгами. Эти типы мне кое-что изредка подкидывают. Сюда приехали два специальных агента из Майами и ждали вас, но сегодня днем они попали в аварию. Еще двое находились в пути из Мелборна; вот почему Экс уговаривал вас остаться на ночь. Когда вы сказали, что хотите ехать немедленно, он был вынужден нанять меня, потому что я один оказался на месте с лицензией частного детектива.

— Значит, Экс с ними заодно?

— Ему пришлось. Агенты из Бюро приказали. Последние две недели они день и ночь крутились вокруг этого места. По какой-то причине груз на Кубе задержался. Он пришел только два дня назад. Им с Кубы дали знать об отправке.

— Дали знать с Кубы? Так вот оно что! Они все вытащили и заложили мешки с мелом или с чем-то еще?

Самообладание постепенно возвращалось к Морено, дыхание успокаивалось.

— Нет. Один из парней, занимавшихся этим делом, хотел было, но другие решили, что это не очень-то удачная мысль. Они думали, что вы приведете их к тем, кому везете груз, и боялись, что вы остановитесь и проверите. Надежнее было оставить все как есть. Они послали за вами хвост, да к тому же на всех дорогах между этим местом и Майами курсируют патрульные машины. Катафалк привлекает внимание. Мне неприятно говорить это, мистер, но уйти вам не удастся.

Виктор посмотрел на него, взвешивая все возможности. В манерах и в выражении лица Морено появилась дерзость — значит, вернулась уверенность. Морено был не столько подавлен затруднительным положением, в которое попал, сколько рад, что кончилось ожидание.

— Очень скоро эта передняя машина обнаружит, что она вас потеряла, и они передадут по радио приказ заблокировать все въезды в Киттс-Холлоу, затем поедут назад и прочешут боковые дороги.

Виктор почувствовал, что попал в ловушку. Такое же чувство было у него в тот зимний день, когда его избили чуть не до смерти. На него снова нахлынули страхи, которые лечившим его психиатрам так и не удалось устранить. Почему, черт побери, нет Марка, когда он действительно ему нужен?

— Как ты думаешь, здесь водятся змеи? — задал он совершенно неуместный вопрос.

— Да. Водяные и камышовые гремучие. Один мой приятель умер прошлой осенью от укуса. Сейчас их уйма. В больницах есть сыворотка, но надо суметь сразу туда попасть.

Морено произнес это весело и жизнерадостно, как будто смерть приятеля была забавным событием.

— И это случилось здесь?

— В этом районе. Может быть, пять — десять миль в сторону.

— Можно сказать, почти здесь. Как называется это место?

— Гуз-Флэт.

Водяные и гремучие змеи! Неудивительно, что здесь никто не живет.

— А где тут ближайший город?

— Ближайший город? Купер-Слоу, должно быть. Миль десять по прямой. Если вы думаете выбраться в том направлении, то имейте в виду, что там лишь потоки, из которых торчат кипарисы, да аллигаторы. Оттуда живым не выйти.

— Неважные дела, а, Эдди? Знаешь что? Я видел аллигаторов лишь в зоопарке, и у меня, признаться, нет желания встретиться с ними в другом месте.

— Я был в Бразилии,— сказал Морено.— Вы когда-нибудь слыхали о Мату-Гросу? Так вот, Мату-Гросу — ничто в сравнении с тем, что ожидает вас там. Тут нужен речной бульдозер, как у лесников, чтобы проложить путь среди мангровых деревьев и кипарисов. Но даже если вам удастся выбраться на сухое место там вас уже будут поджидать. Послушайте, мистер, а почему бы вам не сдаться? Вас все равно рано или поздно поймают и тогда уж засадят надолго. А сейчас еще есть шанс договориться. При теперешней ситуации вам дадут самое меньшее от восьми до пятнадцати лет, а если вы сдадитесь, вам половину скостят, это я гарантирую.

— От восьми до пятнадцати, говоришь? — сказал Виктор.— От восьми до пятнадцати — большой срок, Эдди.

— Вы еще молоды. Вы только будете приближаться к среднему возрасту, когда выйдете. Если хотите договориться, не надо ставить людям палки в колеса. Будете мешать им — они вас просто прибьют. Такой груз героина еще никто не пытался ввезти, так что, если попадется строгий судья, он вас утробит. Будете сидеть за решеткой, пока все зубы не выпадут.

Виктор приложил левую руку к животу, чтобы унять внезапно возникшую боль. Он знал, что это предвестник нервного поноса, самого серьезного и неуправляемого из всех его старых психосоматических заболеваний. Мелькнула мысль, что если Морено сейчас бросится на него, а он спустит курок, то может выйти осечка. Автоматическое

оружие — вещь ненадежная. «А этот Морено хоть и маленький, но крепкий,— подумал Виктор.— И знает все приемы, а мне сейчас совсем плохо».

— Где, ты сказал, будет суд?

— Насчет суда я ничего не говорил. Вас повезут в Таллахасси и будут судить за нарушение федеральных законов.

— С минимальным сроком от восьми до пятнадцати лет?

— Или от пяти до восьми, если пойдете на сделку.

— Там, на юге, не слишком любят итальянцев, не больше, чем черномазых и индейцев. Каково быть индейцем в этих местах, Эдди? Не очень здорово, а?

— Если сам хорошо относишься к людям, то и они к тебе будут хорошо относиться, будь ты итальянец, индеец или еще кто-нибудь. Здесь, как и везде, люди не любят, чтобы их задирали. И если тебя приперли к стене, нет смысла осложнять жизнь другим. А вас, приятель, приперли, и единственный выход — сдаться. Признаете себя виновным, отсидите наименьший срок и гуляйте себе на свободе.

Внезапно боль, раздиравшая внутренности, исчезла, и в голове у Виктора сразу прояснилось. Он выпрямился, по-прежнему держа пистолет на уровне солнечного сплетения Морено, и весело улыбнулся.

— У меня другая мысль, Эдди. Я только что решил, что не стану сдаваться.

— И сделаете большую ошибку, приятель, вот все, что я могу сказать.

— Ты говоришь, у нас в катафалке самая большая партия порошка, какую до сих пор ввозили в страну. Зачем же его бросать? Чтобы спрятать его, лучшего места, чем эти леса, не найдешь. Нам с тобой надо всего-навсего перенести гробы в хорошее, безопасное место, завалить их ветками — и готово.

— Их все равно найдут,— сказал Морено. Голос его опять зазвучал неуверенно.

— Почему ты так думаешь?

— Потому что нетрудно догадаться. Они пойдут по нашим следам, а затем начнут искать вокруг. Гробы весят целую тонну, так что им не придется далеко ходить.

— Да-а-а, Эдди, правильно. Но следов-то не будет. Мы с тобой в пять минут уничтожим их на этой щебенке. И катафалка не будет. Так что беги ты к этому катафалку, только помни, что пистолет нацелен тебе в спину, и выгружай гробы.

Морено повернулся и пошел вверх по склону. Усевшись за руль, он нажал на щитке управления кнопку, с помощью которой открывались задние дверцы катафалка, и выкатил первый гроб. Через пять минут все три гроба были выгружены и спрятаны в чаще. Ползучие растения тотчас сплели свои ветви, закрыв маленькую прогалину большими сердцевидными листьями.

— Теперь уж эти гробы никому не найти, Эдди, пока мы не укажем, где они спрятаны.

— А дальше что, приятель? — спросил Морено.

«Надо, чтобы он считал, что у него есть шанс остаться в живых,— думал Виктор,— иначе он бросится на меня. Я должен убедить его в этом. Все надо делать спокойно, без суеты». У него опять начало двоиться в глазах, в голове настойчиво звенело, и он боялся, что в любой момент его может схватить желудочная колика.

— Потопим катафалк.

— Где?

— Вон в том болоте внизу. Где же еще?

— Здесь воды-то всего на два-три фута. Какой смысл?

— Два-три фута воды и два-три фута тины. Эта штука все равно что паровоз. Ее сразу закроет. Все следы нашего пребывания здесь, Эдди, должны исчезнуть, а ты лично должен принять важное решение. Я сказал тебе, что лодка пробита. Нет там никакой пробоины. Мы вычерпаем воду, и можно плыть. Я хочу дать тебе шанс сохранить свою жизнь. Ты знаешь дорогу и, если хочешь, можешь присоединиться ко мне. Веди себя разумно и сумеешь неплохо заработать. Героин принадлежит самому мощному синдикату на юго-востоке, и, если я скажу, что ты помог мне, они в долгу не останутся. Хоть ты время от времени и роскошествовал в Рено, Эдди, держу пари, сотня тысяч долларов тебе не повредит.

— Почему я должен вам верить? Сейчас вы говорите одно, а как только выйдем из лодки, передумаете.

— Эдди, ты должен мне верить потому, что у тебя нет другого выхода. Я держу тебя на мушке и хочу отсюда выбраться, а если ты попытаешься меня задержать, я продырявлю тебе голову. Тебе предлагают сделку, так почему не пошевелить мозгами и не согласиться? Даже если ты отправишь меня в этот суд в Таллахасси, то в конечном счете проиграешь, потому что не успеешь ты дать показания, как присланные синдикатом охотники за головами прикончат тебя.

— А что помешает вам разделаться со мной, когда мы доберемся до места?

— Доброе чувство,— сказал Виктор.— У меня, как и у всякого, есть добрые чувства. Я уже к тебе привязался, Эдди. Ты очень толковый парень, и у меня такое ощущение, что, если все для нас обернется благополучно, мы можем подружиться. К чему мне тебя приканчивать?

— Вы сказали — сто тысяч?

— Да.

— Мне придется отсюда уехать, пока все не уляжется. Как вы считаете, куда я могу поехать?

— В Мексику, Эдди. Может, и та девчонка в норке с тобой поедет. Говорят, Акапулько — отличное место.

— Говорят.

— А пока нам с тобой надо тут кое-что сделать, так что давай-ка для начала заметем следы.

Виктор переложил пистолет в левую руку и отломил две сухие ветки. Одну ветку он отдал Морено, и через пять минут они заровняли небольшие колеи, оставшиеся после того, как Морено резко затормозил на грязной дороге.

Виктор выпрямился, отбросил ветку и проследил за ней взглядом до самого края воды, где она ушла под куст посеребренного туманом болотного мирта.

— Вот тебе и мелко! — сказал он.— А когда здесь жили люди, как они, по-твоему, добирались сюда?

— На повозках, запряженных мулами,— сказал Морено.— Во всех этих домах в те времена были повозки с мулами. Хорошая упряжка мулов может доставить повозку к самой стене дома.

— Все-то ты знаешь, Эдди. А что нам заменит весла, когда мы сядем в лодку?

— Оторвите пару досок от дома, придайте им форму и гребите.

— А как насчет всех этих мангровых деревьев и болотных кипарисов? Сможем мы среди них проплыть?

— Зная дорогу, можно. Это не так трудно.

— Другими словами, ты преувеличивал, Эдди?

— Может быть. Надо держаться широких протоков, в этом все дело. Простой здравый смысл.

— Ну, похоже, что мы готовы к нашему великому путешествию,— сказал Виктор.— Осталось только утопить этот ящик. Придется нам сесть в него, завести мотор и выпрыгнуть.

— Или просто подтолкнуть — какая разница?

— Разница в том, что катафалк должен быть под водой. Он должен идти со скоростью пятьдесят миль, когда полетит в воду. Тебе надо поставить на вторую скорость, ручной газ на максимум, отпустить сцепление и прыгать.

— А вы что будете делать?

— Я буду сидеть рядом с тобой. Мы оставим дверцы открытыми и в тот момент, как он двинется, прыгнем.

— А может, вы все-таки уберете пистолет? Если я вам доверяю, то и вы должны мне доверять.

— Я буду доверять тебе, Эдди. Я уберу пистолет, как только мы сядем в лодку. Мы станем тогда приятелями. Нам светит большое будущее — и тебе, Эдди, и мне. Может, они даже предложат тебе присоединиться к синдикату.

Морено колебался. Он смотрел в дуло пистолета, нацеленного сейчас в его правый глаз, и пытался определить, почему дикая улыбка на лице стоявшего перед ним человека сменилась гримасой и он заскрипел зубами.

— Садись в машину и действуй, Эдди.

Морено сел за руль и включил зажигание. Виктор уселся рядом.

— Дверца открыта, Эдди?

— Открыта.

— Хорошо, дай побольше оборотов.

Мотор взревел.

Виктор приготовился к прыжку, его правая нога висела в воздухе. Он держал пистолет рядом с виском Морено.

— Давай, Эдди, поехали.

Катафалк подпрыгнул. Виктор нажал спусковой крючок, и пистолет рванулся в его руке как маленькое, попавшееся в ловушку животное. От резкого рывка цель сместилась. Виктор увидел черное пятнышко на скуле Морено; индеец выпустил руль и рухнул на бок, а Виктор, вывалившись из машины, покатился вниз и встал на ноги как раз в тот момент, когда катафалк ушел в воду. Секунду спустя на поверхности запенились пузыри. Затем их не стало. Виктор выпрямился, спрятал пистолет под рубашку и шагнул в заросли. Безотчетный страх охватил его. У него появилось чувство, что за ним следят; вопреки всякой логике ему пришло в голову, что каким-то образом Морено удалось бежать.

Он подождал минут десять, затем, мягко ступая по листьям, стал пробираться от одного куста к другому, избегая мест, залитых бумажно-белым светом луны. Добравшись до края болота, Виктор сквозь листву осмотрелся: ему все время казалось, что вот-вот снова появится Морено и устало вылезет на берег. «Может, ему только пару зубов выбило,— думал Виктор.— Он хоть маленький, а крепкий. А может, он успел выскочить из машины до того, как она упала в воду, и где-то затаился, ожидая, когда я уйду».

Он снова прислушался — не обнаружит ли какое-нибудь движение или звук тайного присутствия Морено, затем, пригнувшись, бросился к разрушенному дому. В боковой стене была дыра, и Виктор в нее протиснулся. В первых двух комнатах как бы продолжались джунгли Эверглейда. Фонарик, который Виктор взял у Морено, осветил ползучие растения, древесные грибы и летучих мышей на обнаженных балках. Виктора поразила пустота третьей, чисто убранной, комнаты — здесь на подметенном полу в прямоугольнике лунного света стояло кресло-качалка со сломанной спинкой, в углу лежали рыболовные снасти, в буфете с распахнутой дверцей виднелись пустая бутылка из-под виски и железные банки, предназначавшиеся, по-видимому, для хранения муки, сахара и соли. Там, где некогда был очаг, лежали четыре кирпича. В образованном ими квадрате тлели угли. Кирпичи были еще теплыми, и в комнате стоял слабый запах табака. Виктору снова почудилось, что за ним наблюдают; он попятился к стене и вытащил пистолет. В доме эхом отдавались какие-то скрипы, под окном вдруг послышалась возня. Он на цыпочках подошел к окну, но не увидел ничего, кроме листвы, освещенной луной, и края болота. «Кто-то постоянно живет здесь,— подумал он.— Какой-нибудь бродяга. Может, он все видел и просто решил удрать. Надо уходить».

Прежде всего надо было из чего-то сделать весло. Старый, полусгнивший буфет вполне годился для этого, и Виктор выломал из него полку. «Но как без ножа придать ей форму весла? — думал он.— Наверное, мне все-таки следовало взять с собой индейца; убрать его я успел бы и в Купер-Слоу. Пора уходить». Через комнаты, полные вьющихся растений, он выбрался на лунный свет. Он шел все быстрее, затем побежал, не обращая внимания на грязь, хлюпавшую под его башмаками. Открылся последний клапан, не дававший страху выйти наружу. Воображаемое слилось с реальным и преследовало его угрожающими криками и видениями; главное же, он чувствовал, будто за ним гонится что-то одновременно и человекообразное и сверхъестественное — сама смерть.

9

Марк сказал Терезе, что уезжает дня на три-четыре, но когда он внезапно вернулся, она не выказала ни удивления, ни радости и сделала вид, будто не заметила его подавленного настроения.

— Я думала, ты все еще в Майами. Что было нужно Ди Стефано?

— Он сообщил, что умер мой брат,— ответил Марк, отвернувшись.

Маска безразличия, которую Тереза носила тщательно, как изысканный костюм, внезапно сползла. Она всегда испытывала нежность к Паоло.

— Madonna! Что случилось?

— Автомобильная катастрофа. Я летал на похороны.

— Где его похоронили? — спросила она тихим, ровным голосом.

— В Кампамаро. В могиле отца и матери.

— Упокой его душу, господь.

Больше Тереза ни о чем не спрашивала. Ее, по-видимому, не интересовали ни подробности его пребывания в родных местах, ни то, как поживают их друзья.

— Я пытался дозвониться тебе из Майами,— сказал он,-- но к телефону никто не подходил.

— Меня почти не бывало дома.

Внезапно он вспомнил, что у детей были каникулы и они гостили у друзей.

— Виктор не звонил?

— При мне — нет.

— Он должен был позвонить в понедельник. Я беспокоюсь о нем.

— Если бы он услышал мой голос, он, вероятно, повесил бы трубку. Один такой звонок действительно был.

Марк попытался пробиться сквозь стену ее показного безразличия, заставить Терезу понять, как важна была для него эта поездка в Сицилию и на каком распутье он сейчас стоит.

— У меня там никого больше не осталось. Мама и Паоло умерли, и если трезво смотреть на вещи, то вряд ли я когда-нибудь увижу свою сестру или получу от нее весточку. Креспи довольно ясно дал понять, что не желает меня знать. Остальные друзья — тоже. Они отвернулись, и для меня это конец.

Она ушла в кухню, и, войдя туда, он заметил, что она автоматически крутит рычажки новой стиральной машины.

— Я часто думал о том, что надо принять окончательное решение и подать документы на перемену гражданства. Нет никакого смысла это оттягивать. В глубине души я всегда надеялся, что мы когда-нибудь вернемся обратно. Но при нынешнем положении дел нас с Сицилией больше ничто не связывает.

— Тебе уже давно следовало подать бумаги.

— Раньше у меня не было уверенности, а теперь вопрос решен.

Он сделал еще одну попытку победить ее молчаливое безразличие:

— Есть одно предложение. Мы могли бы уехать отсюда, поселиться на Кубе и начать все сначала. Как ты к этому относишься?

Внезапно стена безразличия рухнула. Она смотрела на него с яростью, которая сразу состарила ее лет на двадцать и исказила все пропорции лица.

— Ради бога, не говори мне о Кубе.

Он отказался от борьбы:

— Мне кажется, мы сегодня ни до чего не договоримся. Я устал и ты, наверно, тоже. Давай поговорим об этом завтра.

На следующий день, когда он вернулся из конторы домой, она встретила его с непроницаемым лицом.

— Виктор случайно не звонил? — спросил он.

— Нет, не звонил. Был детектив, хотел поговорить с тобой.

— Обычный полицейский детектив?

— Нет, из какого-то агентства.

— Ты спросила у него документы?

— А разве нужно было? Он очень вежливо держался. Некий мистер Смит, работает на какую-то фирму в Бостоне.

— Частный детектив обязан предъявить документы,— сказал Марк.— Иначе как узнать, что он именно тот, за кого себя выдает. У этих ребят свой способ проникать в дом. Ты же должна помнить, что если не хочешь, то не обязана с ними разговаривать или впускать их. Он сказал, что ему надо?

— Говорил что-то про Кубу. Я не желаю больше слышать даже упоминания об этом месте. Он оставил свою карточку и просил позвонить.

— Мне ему звонить незачем,— сказал Марк.— Если он появится снова, дай ему мой телефон в конторе, и, если у меня будет время, я с ним поговорю. Еще что-нибудь сегодня произошло?

— Да,— сказала Тереза.— Я видела Ханну.

— Какую Ханну?

— Ханну Кобболд.

— А-а, совсем забыл. Она ведь связалась с каким-то сыскным агентством. Возможно, этим и объясняется приход того парня.

— Возможно,— согласилась Тереза.— Поскольку все произошло на Кубе, Ханна потратила половину денег, которые Эндрю ей оставил, на частных детективов.

— Как мне кажется, результатов мало?

— Да, но за последние несколько дней они кое-чего добились. Она никогда не верила, что он погиб так, как ей рассказали, и оказалась права.

— Ты хочешь сказать, его убили не революционные студенты?

— Нет, его убил либо какой-то американец, либо кто-то, нанятый американцем. Это агентство послало своего человека на Кубу, он пробыл там три месяца, разбираясь в этом деле. Кубинцы очень помогли ему, и многое выплыло наружу. Типичное убийство, совершенное Обществом.

— Как ты отличаешь типичное убийство, совершенное Обществом, от любого другого?

— По тому, как оно задумано, как проведена подготовка. Общество знает, как заметать следы. Если членам Общества удается найти способ обвинить невинного человека в убийстве, они так и делают. Любой свидетель должен быть убран. На этот раз они убили кубинского рыбака: он видел, что произошло. Никакие революционеры не стали бы убивать нищего рыбака.

Марк заметил ее растущее возбуждение и новый, резкий тон голоса. Он почувствовал, что его припирают к стене, загоняют в спрятанную ловушку.

— Откуда тебе все это известно? — спросил он.

— Так было дома. В Пьомбино, когда я была ребенком, люди из Общества чести убили восемнадцать человек. Они убили моего дядю, а невинного человека посадили в тюрьму на десять лет.

— Ты мне никогда этого не рассказывала.

— Я могу держать кое-что про себя, так же как и ты. Они убили моего дядю за то, что он стал судиться по поводу какой-то земли, и человек, который не причинил ни ему, ни кому-либо еще никакого вреда, был отправлен в Прочиду[1]. Так делалось там, так делается и здесь, только здесь Общество называется мафией. Сколько людей сидит за убийства, которых они никогда не совершали! Одному студенту-революционеру подсунули пистолет, из которого убили Эндрю Кобболда. Так могли сделать только люди из Общества чести.

— Ты женщина и видишь лишь одну сторону дела,— сказал Марк.— Есть множество вещей, которые ты просто не способна понять.

— Я это уже не раз слышала,— сказала она. Ее щеки пылали от возбуждения.— Если я молчала, то вовсе не потому, что ничего не знала о происходящем. Ты хотел, чтобы я верила той версии, которую они распространили об убийстве Кобболда, но меня она не могла ввести в заблуждение. Эндрю Кобболда убили за то, что он пошел против торговцев наркотиками на Кубе.

— Он мертв, и его больше нет, неважно по какой причине. Что бы ни вытаскивали наружу, обратно его не вернуть. Он был мужем женщины, которая нам даже не близкий друг. Почему это должно иметь такое большое значение?

— Это имеет значение, потому что затрагивает меня и моих детей.

— Каким образом? — спросил он, стараясь владеть собой и уже предчувствуя, что сейчас последует.

— Когда Эндрю убили, с ним была девушка, которую зовут Линда Уотс.— От злости черты ее лица заострились. Он никогда не видел ее такой.

— Ну и что? — сказал он.

[1] Остров при входе в Неаполитанский залив, где старый замок используется как тюрьма.

— Кубинская полиция говорит, что ее, возможно, использовали как приманку.

Чувство отрешенности, которое всегда появлялось у него в трудные минуты, возникло и сейчас. Ощущение собственного «я» исчезло — скоро он будет смотреть на эту ссору как бы со стороны.

— Она выступала со стриптизом в каком-то кабаре у нас в городе. Проститутка,— добавила Тереза медленно и неуверенно, будто это слово ей было незнакомо.— Она отправилась на Кубу за три дня до смерти Эндрю, а на следующий день после его смерти уехала.

— Я не вижу здесь никакой драмы. Он имел право пригласить к себе подружку.

— Она не была его подружкой. Кубинской полиции удалось проследить практически каждый ее шаг в Гаване. Она не спала с Кобболдом. В отеле, где она останавливалась, она дала бостонский адрес, и они уже нашли девушку, с которой она вместе снимала квартиру до переезда в Солсбери. После Гаваны она три месяца где-то пропадала, а затем появилась в Бостоне, чтобы забрать оставленные там вещи. Она сказала своей подруге, что один человек возил ее с собой на Кубу и что там у нее были большие неприятности. С тех пор, как стало известно, она сменила фамилию, и ее пока не могут найти. Но теперь, говорят, это вопрос дней.— Она умолкла, с трудом переводя дыхание.

— Ты до сих пор так и не сказала, при чем здесь ты,— сказал он.

— При том, что ты доводишься мне мужем. Ты возил Линду Уотс в Гавану.

Было бессмысленно и недостойно отрицать это обстоятельство, которое, несомненно, не раз проверила и перепроверила дотошная бостонская фирма. Марк молчал, наблюдая за ее лицом, на котором сквозь гнев стало проступать облегчение.

— Узнай уж все как есть. Выяснилось, что ты ездил с ней на Кубу и вместе с ней вернулся. Люди из агентства показали Ханне фотографию, где вы сняты все трое в каком-то ночном клубе. Видели, как ты ее обнимал в Айдлуайлде в тот день, когда ты вернулся. Между прочим, эти сведения не от агентства. Это мне рассказал один человек, который считает, что я не заслуживаю выпавшего мне на долю счастья, и поспешил довести это до моего сведения задолго до того, как все вышло наружу.

Марк взвесил все стороны возникшей проблемы.

— То, что ты мне рассказала,— мягко объяснил он,— не проливает никакого света на смерть Эндрю Кобболда. С ним была девушка, когда его убили. Предположим, это новый факт, но вряд ли он имеет большое значение. Откуда известно, что она послужила приманкой? Если полиция вывела эту теорию на основании того, что она скрылась и изменила свою фамилию, то этого недостаточно. Девушки такого сорта вечно попадают в неприятности; у них всегда есть основания желать на время исчезнуть из поля зрения.

— Полиция, а не я изобрела теорию, что она служила приманкой. Полицейские убеждены, что Эндрю убил американец или человек, нанятый американцем, и что девушка выполняла роль приманки. Что там было на самом деле, мы узнаем, как только ее найдут, а этого недолго ждать.

— Ты с кем-нибудь говорила об этом? Хоть с одним человеком?

— Нет,— сказала она.— Я поступаю так, как должна поступать хорошая жена-сицилианка. В последний раз.

Он внимательно, с любопытством вгляделся в нее, будто видел впервые.

— Трудно поверить, что ты — та самая женщина, на которой я женился,— сказал он.

На мгновение ее лицо скрылось под маской отчужденности, как уже бывало и прежде. Он понял, что драгоценные качества — молчание и покорность — исчезли у нее вместе с юностью. В последние годы произошли такие быстрые и огромные изменения. Дети, когда-то сицилийцы, стали настоящими американцами, не по летам независимыми и на американский манер отдалившимися от родителей. Семья распалась и не существовала больше как единое целое. «В Сицилии,— думал он,— мы держались друг за друга, чтобы успешнее бороться с врагом и охранять свой очаг».

Наступило время признаваться.

— Что бы я ни делал, я делаю это ради всех нас, и другого выбора у меня нет.

— Ты всю жизнь был человеком из Общества чести,— сказала она и замолчала, пораженная своим безрассудством, словно боялась, что он сейчас ее ударит.

Но он только смотрел на ее новое, неузнаваемое лицо и качал головой.

— Люди из Общества чести — это чудовища,— продолжала она,— чудовища о двадцати руках и десяти головах. Ни у кого из вас нет своей жизни. Мы никогда не могли жить так, как живут другие. Сначала это был Дон К., затем Винченте Ди Стефано. Кто будет после того, как Ди Стефано умрет? Вам даже думать самим не разрешают.

Марк спрашивал себя, откуда она знает такие вещи, которые обычай не разрешает знать женщинам. Впрочем, может быть, все жены знают, может, женская привычка к притворству так же сильна, как привычка мужчин хранить тайны.

— Я собираюсь расстаться с тобой,— сказала она.— Не сейчас, потому что я еще не все обдумала, но как только мы вместе решим все вопросы. Мне развод не нужен, но если ты хочешь развестись, я готова пойти в суд, чтобы ты был свободен. Я хотела бы найти какую-нибудь работу. Я видела в «Глобе» объявление, что требуются работники по ссциальному обеспечению. А может быть, я смогла бы устроиться в больницу санитаркой.

Он ушам своим не верил, и это помогало ему сохранять спокойствие. Женщина-католичка и мать никогда не выполнит такую угрозу.

— А дети? — спросил он.— Что будет с детьми?

— Мы обсудим это,— ответила Тереза.— Спешить не к чему. Может, Мартина удастся устроить в Чоут, если у тебя есть на это средства. А для Люси вполне подошла бы школа при монастыре.

— Мы никогда не собирались отправлять детей в школы в другие города.

— Мы никогда не предполагали, что с нами такое случится. Как только люди, нанятые Ханной Кобболд, закончат расследование, она передаст дело прокурору округа. Когда это произойдет, дети должны быть там, где они не смогут увидеть местных газет, чтобы товарищи не издевались над ними по поводу их отца.

— Я могу сделать так, чтобы мое имя не упоминалось, как бы дело ни обернулось,— сказал Марк.

— Сомневаюсь. Даже если в нашем городе не знают, кто ты на самом деле, они знают, что ты связан с Ди Стефано. А Макклейрен только и ждет такого дела. Он распнет тебя.

Он направился к выходу из комнаты, но она окликнула его. В руке у нее было письмо.

— Извини,— сказала она.— Это письмо пришло, когда ты уезжал. Его принес кто-то из твоей конторы. Я забыла отдать тебе вчера.

Он вышел в соседнюю комнату, вскрыл конверт и достал письмо.

Дорогой Марк!

Извини за беспокойство, но избежать этого невозможно. В свое время ты очень убедительно говорил относительно одной вещи, но после долгих раздумий я пришла к выводу, что не могу согласиться с твоим объяснением. Прошлой осенью, узнав, что кое-кто хочет со мной поговорить, я решила переехать в другое место. Здесь я построила свою жизнь совсем иначе, вступила в религиозную общину, и сейчас один хороший человек сделал мне предложение. Но я узнала, что старые вопросы возникли снова. Марк, это, наверно, мой последний шанс добиться счастья в жизни. Я пишу тебе и умоляю, если это в твоих силах, оградить меня от того, что может произойти. Если же ты не сможешь и дело обернется плохо, знай, что я по-прежнему верю в тебя и буду на твоей стороне.

Л.

Он сунул письмо в карман, затем осмотрел заднюю сторону конверта, но он был тщательно заклеен. Вряд ли она вскрывала его. А ведь любой человек в ее положении сделал бы это, подумал он.

10

Брэдли по-прежнему сидел в Гаване и без зазрения совести теребил Белый дом, добиваясь, чтобы президент выслушал вынашенный им план и дал согласие на акцию против нового кубинского правительства. В конце концов на Кубу для переговоров с ним был направлен Говард Спрингфилд, сотрудник секретной службы и, по слухам, советник президента.

Брэдли предложил ему по телефону встретиться в загородном клубе «Мирамар».

— Вас довезет туда любое такси. Мы можем выкупаться, если захотите, и спокойно обо всем поговорить.

Клуб — последнее приобретение Дона Винченте в Гаване — недавно стал государственной собственностью. Спрингфилд, привыкший к обстановке залов, где собираются холостяки, и гольф-клубов в маленьких городках, был поражен роскошью «Мирамара» — мрамор, полированный тик, картины и бюсты могущественных сахарных магнатов, которые в свое время были президентами клуба, а сейчас величественно взирали на его новых хозяев, большей частью негров.

Спрингфилд взял напрокат купальные трусы и полотенце, оставил у портье записку для Брэдли и отправился на пляж.

Сделав несколько шагов по мелководью, Спрингфилд поплыл — вверх тотчас взметнулся, задев его, косяк крошечных серебряных рыбок. Ощущение было неприятное, да и слишком теплая вода не освежала тело. Он вышел на берег и лег на песок.

Позади на мягком песке заскрипели шаги; Спрингфилд повернул голову — над ним стоял Брэдли.

— Привет, Говард.

— Доброе утро, *мистер* Брэдли.

— Рад, что вы смогли приехать,— сказал Брэдли.— Удалось вам организовать мне встречу с президентом?

— Не удалось.

— Насколько я знаю, он всю прошлую неделю был в Палм-Бич,— сказал Брэдли.

— В настоящий момент он на Скво-Айленде.

— Как вы считаете, я мог бы его там повидать?

— Очень сожалею, но он отдыхает. Во всяком случае, он обещал встретиться с Редпатом и, полагаю, коснется всех вопросов, которые вас волнуют.

Три года назад Спрингфилд работал в ЦРУ и подчинялся Брэдли, и сейчас, хотя Брэдли уже не был его начальником, Спрингфилд по привычке чуть было не назвал его «сэр» и чувствовал себя неловко от того, что лежит перед ним на песке.

— Очень жаль,— сказал Брэдли.— Мне дали понять, что встреча будет организована. Мистер Редпат очень хотел, чтобы я изложил свои соображения лично, поскольку я здесь, на месте.

Спрингфилд постарался сдержаться, не грубить, чтобы не обнаружить отсутствие уверенности в себе.

— Президент направил меня сюда,— сказал он.— У меня есть документ за его подписью, дающий мне полномочия выслушать все ваши соображения.

— У *тебя* есть документ за подписью президента? — сказал Брэдли. Ему удалось вложить в личное местоимение презрительную фамильярность, показывавшую, что, по мнению Брэдли, президент, дав Спрингфилду бумагу за своей подписью, совершил чудовищную оплошность.

— Вы слышали, что я сказал.

— Вы достаточно долго работали в разведке, чтобы знать, что есть вещи, которые предназначаются только для ушей президента. Я уже отказался излагать свои соображения Комитету начальников штаба.

— Вы можете отказаться разговаривать и со мной,— сказал Спрингфилд.— Меня просили встретиться с вами и обсудить все вопросы, которые вы хотите поставить. Не хотите разговаривать, дело ваше.

Спрингфилд чувствовал на себе взгляд Брэдли, видел краешком глаза застывшую ухмылку, выражавшую одновременно презрение и разочарование.

— Насколько я понимаю, Говард, вы принадлежите к числу тех блестящих и верных нашему новому президенту молодых людей, которые его окружают? — спросил

Брэдли.— Но вы ведь, кажется, не учились в Гарварде? А к сожалению, именно это имеет вес в том кругу, в который вы вступили. Вас приглашали на обед в клуб «Грайдирон» в этом году?

Спрингфилд не был приглашен на обед в клуб «Грайдирон».

— Если вам нечего мне сказать, мы могли бы на этом и закончить,— сказал он.

— А вам нравится президент — как человек?

— Мистер Брэдли, я бы предпочитал, чтобы мне не задавали вопросов такого рода. Я не собираюсь делиться с вами своим мнением.

— Мы ведь проработали вместе три года,— сказал Брэдли.— Я мог бы надеяться на несколько более тесный контакт.

— Давайте пойдем в гардероб, и я покажу вам эту бумагу,— сказал Спрингфилд.— Если вы не заинтересованы в продолжении разговора, можете написать на ней: «Ничего не выйдет», и мы разойдемся в разные стороны.— А сам подумал: «Еще несколько минут, и я пошлю этого подонка к черту».

Он отвернулся, чтобы не видеть профиль Брэдли. На пляже школьники соорудили внушительный замок из песка и ждали одобрения хорошенькой учительницы. Она подправила угол бастиона, в другом месте добавила ракушку. Наконец был развернут маленький национальный флаг и водружен на башенке. Какая мирная картина. Трудно поверить, что они все сидят на вулкане, как говорили Спрингфилду.

В его поле зрения снова попал Брэдли — он делал рукой примирительные жесты, будто составлял букет цветов.

— Собственно, говорить особенно нечего. Я предлагаю простое и верное решение проблемы, которая, должно быть, заботит нашего любимого президента не меньше, чем всех остальных. Полагаю, вы не хуже меня знаете, что происходит в эти дни во Флориде и в Гватемале.

— Вы имеете в виду компанию пьяниц и бандитов, которую ваши люди сколотили для захвата этой страны? Да, знаю, все знают!

— Это — проект, которым я не очень доволен, хотя Редпат и в восторге,— сказал Брэдли.— Возможны большие жертвы. Даже если все пойдет хорошо, мы можем потерять от двух до десяти тысяч человек.

— Если все пойдет хорошо.

— Если же нет, то потери могут оказаться в пять раз больше, что при теперешнем положении вещей обойдется в сто миллионов долларов — по пятьдесят миллионов в неделю, считая, что операция продлится две недели. А если она продлится шесть месяцев? Или больше? А каковы будут международные последствия? Сколько бы мы ни повторяли, что все это устроено кубинцами, никто не поверит, что это не наших рук дело.

— Так в чем же состоит надежное решение?

— Нужна группа специалистов, которую можно было бы направить сюда для ликвидации бородача.

— Я так и знал,— сказал Спрингфилд.

— Я очень тщательно изучил вопрос, и ситуация предельно проста. Вы можете поверить мне на слово — такой вещи, как обеспечение безопасности, здесь нет. Просто не существует. Бородач разъезжает по стране, как ему хочется, вопрос о его охране даже в голову никому не приходит. Я поручил своему помощнику засечь все его передвижения, и мы создали очень точную схему. Специалист будет снабжен всеми необходимыми данными.

— У вас есть кто-нибудь на примете?

— Конечно есть. Экстра-класс.

— Понятно,— сказал Спрингфилд.— Однако целый ряд положений, на мой взгляд, неверен.

— А именно?

— Какие у вас основания полагать, что, убрав одного человека, вы свергнете весь режим?

— Это оркестр, состоящий из одного человека. Мы считаем, что с любым преемником нам удастся прийти к соглашению. Мы уже провели переговоры с одним членом кабинета, который сказал, что их сдерживает лишь бородач.

— Вы говорили о международных последствиях,— сказал Спрингфилд.— Можете себе представить, какова будет реакция латиноамериканских стран,— они и сейчас уже ненавидят нас до мозга костей.

— С ними никаких проблем не будет. Они могут догадываться, что это наших рук дело, но точно никогда ничего не узнают. Убрать одного человека совсем не то, что финансировать вторжение. Во всяком случае, зачем тогда существует «Союз ради прогресса»? Как только бородача не станет, мы вложим немного больше денег туда, куда нужно, и эти латиноамериканцы опять станут ручными.

Спрингфилд поднялся на ноги.

— Об этом вы и хотели говорить?

— Примерно. Если президент сможет уделить мне час, я с удовольствием изложу ему все детали. Когда вы его увидите?

— Не могу сказать,— ответил Спрингфилд. Это была минута его торжества, и он с удовольствием ее смаковал.— Ради того, что вы мне сейчас рассказали, вряд ли стоит прерывать его отдых,— добавил он. Этой фразой он расплатился по всем старым счетам.

Почувствовав себя полным хозяином положения, он двинулся по направлению к клубу. Брэдли, внезапно потерпевший поражение, низведенный до уровня просителя, шагал рядом, он что-то объяснял, но Спрингфилд едва слушал.

Когда они дошли до входа в клуб, Спрингфилд остановился и, улыбаясь, повернулся к Брэдли.

— Я слышал, ребят из вашего Управления по-прежнему называют «драгунами Донована» [1],— заметил он.— Знаете что я вам скажу? Времена меняются, и мы должны меняться вместе с ними.

Продолжая размышлять над этой неудачей, Брэдли вылетел в Гватемалу, где провел смотр разношерстного контингента беженцев и наемников, ожидавших того момента, когда надо будет принять участие в нападении на Кубу; затем, обуреваемый дурными предчувствиями, вернулся во Флориду для разговора со своим начальником Джулиусом М. Редпатом, директором отдела особых операций, отдыхавшим в Палм-Бич. Это было как раз утром того дня, когда Виктор очутился в болотах Эверглейда.

— Я все-таки решил, что мне необходимо лично встретиться с президентом,— сказал Редпат.— Вам удалось меня убедить.— Он резко тряхнул головой — то ли желая подчеркнуть сказанное, то ли от нервного спазма. Это был ипохондрик, высохший и состарившийся от постоянного напряжения; от него за милю разило пессимизмом.— Позвольте мне раз и навсегда сказать: я не считаю — и никогда не считал,— что с этим человеком можно как-то поладить. Единственный, кого он готов слушать по кубинскому вопросу, это Говард Спрингфилд. Ваше предложение, между прочим, было весьма энергично отвергнуто.

— Была названа моя фамилия?

— Нет, но Спрингфилд косвенно ссылался на вас, причем в оскорбительной манере. В его докладе упоминались сумасброды, которым что-то чудится. Мне очень неприятно, но президент рассмеялся.

— Как только я узнал, что он посылает Спрингфилда, мне стало ясно, что мы потерпим неудачу.

Редпат с несчастным видом сидел на плетеном стуле. В дни молодости он возглавлял отряд самых отчаянных в управлении людей, осуществлял дерзкие перевороты, вел тайные войны, различными путями манипулировал послушными президентами, находившимися в тот или иной период у власти, и был полон уверенности, что блестящие faits accomplis [2] оправдывают все,— да так оно и было. И сейчас, несмотря на свой несчастный и больной вид, Редпат все еще сохранял боевой дух.

Упоминание о теперешнем президенте, который далеко не был послушным [3], вызвало у него растущую боль под ложечкой.

---

[1] Донован — директор Управления стратегической разведки, впоследствии преобразованного в ЦРУ *(прим. перев.)*.

[2] Совершенные деяния *(франц.)*.

[3] Имеется в виду президент Джон Кеннеди.

— Извините, я сию минуту,— сказал он вставая. Он направился к буфету, налил в мензурку немного белой жидкости и проглотил ее залпом, поморщившись от вкуса мяты. Затем снова тяжело опустился на стул.— Боюсь, Роналд, что нам нечего больше ждать от Белого дома — ни отдельным лицам, ни организации в целом. Не спрашивайте меня, как была получена эта информация, но, когда я ушел, президент не стесняясь высказал враждебное к нам отношение. Он сказал буквально следующее: «Я совершил ошибку, оставив Редпата. Надо что-то делать с ЦРУ. Бобби только зря теряет время в министерстве юстиции. И если мы решаем сохранить ЦРУ, нам надо ставить его туда. Я иногда просто поражаюсь, как Айк[1] мог переносить эту свору псов, тявкавших на него. Макнамара правит обороной, Раск немало сделал в Госдепартаменте, но никто не занимается Редпатом и ЦРУ, а именно этим, господа, и надо заняться». И это почти буквальные слова президента.

— Звучит не очень многообещающе, правда? — заметил Брэдли.

— Если президент счел нужным сказать такое, значит, моим надеждам конец. Но я не могу поверить, что, отказавшись принять ваше простое решение кубинской проблемы, он склонился в пользу другого варианта. Чувствуется, что это вообще не вызывает у него восторга. Он говорит «да» таким тоном, будто хочет сказать «нет». У него вообще невозможно вырвать твердое обещание. А ведь нам не хватает людей, денег, оружия. Операция может дать осечку, и, если это произойдет, мы окажемся перед одной из худших катастроф в истории нации.

— Наихудшей,— сказал Брэдли.

— Роналд, у меня такое чувство, что нашей нации приходит конец, что за кулисами, видимо, пришли в движение какие-то таинственные силы.

— Вы знаете, что это и мое мнение,— сказал Брэдли.

— Если мы с кубинским предприятием провалимся, знаете, что будет? Нас угробят.

— Именно потому мы не должны проваливаться, и этим объясняется мой приезд к вам. Мне сказали, что у нас опять не хватает фондов.

— У нас всего не хватает. После смены администрации не было ассигновано ни единого цента. А те фонды, которыми мы располагаем, находятся под скрупулезным контролем.

— А мы пускали шапку по кругу? — спросил Брэдли.

— Неоднократно,— сказал Редпат.— Однако почти невозможно привлечь внимание людей к опасности, которая им самим не угрожает. Несколько наших друзей-нефтепромышленников говорят, что им нужно время, чтобы обдумать этот вопрос. Человека два или три, имеющие вложения на Кубе, Ди Стефано в частности, проявили щедрость, но у нас все равно нет денег.

— Пять миллионов нас бы устроили?

— Пять миллионов долларов — это манна небесная.

— Я, кажется, знаю, где их взять. Помните Сальваторе Спину?

— Отлично помню. Мы встречались с ним год или два назад. Это человек, которого не забудешь.

— У него кровные интересы в Гаване. Я уверен, он пойдет на все.

— Пять миллионов, говорите? Я уже прикидываю, на что израсходовать эти деньги.

— Мы могли бы купить, например, семь самолетов «Б-26».

— Вы шутите?

— Я редко шучу, когда решаются такие серьезные вопросы, Джулиус.

С Редпатом внезапно произошла перемена. Мышцы его лица напряглись, в нем появилось что-то дерзкое, пиратское.

— Где находятся самолеты? — твердым, чуть ли не грозным тоном спросил он.

— Заморожены на военном аэродроме Милонга в Сан-Хосе.

— И мы можем их получить?

— Почему же нам их не получить? Президент и министр обороны занимаются рэкетом. Они уже многие годы пытаются продать эти самолеты, но рынок на бомбардировщики очень ограничен.

[1] Имеется в виду президент Эйзенхауэр.

— Они не могут перепродавать военное оборудование, поставленное нашим правительством, без разрешения Госдепартамента, который при этом, несомненно, заинтересуется, куда оно пойдет.

— Госдепартаменту совсем не обязательно об этом знать. Старые «Б-26» есть у всех, и все они выглядят одинаково. У нас их девять, так? А будет шестнадцать.

— Вы их видели?

— Собственными глазами,— ответил Брэдли, самодовольно улыбаясь.

— И вы хотите сказать, что эти люди вот так легко могут распоряжаться национальной собственностью и прикарманивать вырученные деньги?

— Они в прошлом году продали британский фрегат. С президентом я не встречался, но министра обороны знаю. У него четырнадцать спортивных машин, личный самолет, вертолет и большая яхта. Деньги у него тают быстро. Пяти миллионов долларов хватит ненадолго.

— Можно только благодарить бога за то, что латиноамериканские политики так склонны к коррупции,— сказал Редпат.

Семь бомбардировщиков «Б-26», которые продавались в Сан-Хосе, с момента покупки пять лет назад ни разу не поднимались в воздух и стояли во временных ангарах с дырявой крышей, которая плохо защищала от летних проливных дождей. Несколько месяцев назад Брэдли выезжал туда с экспертом для их осмотра. Первоначально за один самолет просили 200 000 долларов; теперь — полмиллиона.

Эксперт только качал головой. Всюду проникли ржавчина и коррозия. Пулеметы были украдены, приборы сняты, колеса в плохом состоянии, и в трех самолетах не открывались бомбовые отсеки.

Министр обороны не возражал против того, чтобы американская фирма — за счет покупателя — произвела ремонт из расчета по 35 000 долларов за самолет. Был отдан приказ начать работу.

Через три месяца работа была закончена, и привезенный Брэдли эксперт заверил его, что «Б-26» смогут летать. Но тут пришло сообщение о провале операции Виктора Ди Стефано, подтвержденное лаконичной телефонограммой от самого Спины. Это означало, что денег на покупку самолетов не будет.

Редпат, по-прежнему находившийся в Майами, не возлагал больших надежд на то, что удастся раздобыть деньги где-то еще.

— Нет времени,— сказал он.— Все должно произойти буквально на днях, и задержать операцию мы уже не в силах.

— Если мы не получим самолеты, у нас нет шансов добиться успеха. Вы больше ничего не можете придумать?

— Я могу дать вам список лиц, к которым стоит обратиться,— сказал Редпат,— но сейчас уже слишком поздно. Даже нефтепромышленники не держат миллионы под кроватью.

Брэдли предпринял отчаянную попытку наверстать упущенное и заметался по Техасу, но проницательные люди, которые при встрече крепко пожимали ему руку, не принимали его всерьез, и всякий раз он получал одни лишь выражения сочувствия, добрые пожелания и обещания. Из Хьюстона он полетел в Сан-Хосе, взывая к благожелательности своего друга, министра обороны, который тепло обнял его, но заявил, что, к своему глубокому сожалению, кредит предоставить не может.

Тем временем Редпат вылетел в Гватемалу, где шли уже последние приготовления к вторжению. И Брэдли из Сан-Хосе направился туда, чтобы доложить своему начальнику о постигшей его неудаче.

— Я встречался с Рикардо Астуриасом,— сказал он, когда они поздоровались.— Сделка насчет «Б-26» отменяется.

Редпат не выразил удивления.

— Откровенно говоря, я никогда и не верил, что она состоится.

— Наличных нет, и Астуриас с его компанией отказываются ждать. Поскольку сами они люди неверные, они не верят и другим.

— Конечно. Это вполне понятно,— заметил Редпат.

— Вы знаете, за все случившееся мы должны благодарить Фергюсона,— сказал Брэдли.— Он был в союзе с нашими врагами, а я оказался слишком легковерным. Мы окружены шпионами.

— Никому не доверяйте — клятвы не стоят и ломаного гроша,— произнес Редпат.— Я слышал, что он умер при несколько необычных обстоятельствах где-то на Дальнем Востоке, правда?

— Да, в Лаосе,— сказал Брэдли.— Он плыл по реке, и на пароход напали повстанцы. К счастью, он оказался единственной жертвой.

Лицо Редпата стало унылым, словно у него начиналась лихорадка.

— Я не сомневаюсь, что, даже если бы вы достали наличные, они все равно под каким-нибудь предлогом отказались бы от продажи самолетов. Думаю, они действуют по приказу, а чьему — вы знаете. Уверен, что президент готовится нас предать. Кубу мы отдадим — как и все прочее, за что мы боролись, Роналд, как и все, за что мы боролись.

Они сидели на веранде фермерского дома, арендованного для руководителя особыми операциями. Со стороны города доносились неясные звуки рожка — там проходили подготовку силы вторжения.

— Легион обреченных,— сказал Редпат.— При недостаточной поддержке с воздуха их всех перестреляют на пляжах — если они вообще доберутся до берега. То, чему мы сейчас являемся свидетелями, это саботаж в своей самой изощренной и отвратительной форме, спровоцированный разгром, после которого, как полагает президент, он сможет отвернуться от Кубы и от всего, что она олицетворяет.

— А международный коммунизм одержит победу,— сказал Брэдли.

— Ибо ему удалось создать плацдарм даже в самом Белом доме.

— Прежде всего в Белом доме. Все ведь началось с Рузвельта и его Нового курса... Кстати, в Техасе я слышал, что в шестьдесят четвертом году вице-президента свалят, а он — наша последняя надежда.

— Я убежден,— сказал Редпат,— что надвигающееся фиаско послужит предлогом, чтобы нас уничтожить. Ни один из нас не уцелеет, когда начнется чистка, если мы не готовы пойти на крайние меры — не только для самозащиты, но и для защиты нашей страны.

— Крайние меры? — спросил Брэдли, ища разгадку на унылом лице Редпата.

— Разве нужно что-либо пояснять? Меры, разработанные на случай чрезвычайного положения. Акции, которые в любое другое время немыслимы. Интересно, догадываетесь ли вы о настоящей цели моего визита в Гватемалу, Роналд? Нет, конечно, вы не можете догадаться.

— Я предполагал, что вы приехали сюда, чтобы готовить вторжение.

— Я здесь для того,— заявил Редпат,— чтобы расследовать знаменитую тайну совершенного несколько лет назад убийства президента Кастильо Армаса.— Внезапно он выпятил челюсть, считая, что это делает его похожим на Наполеона, и напрасно ждал, что Брэдли удивится сходству.— Если беспристрастно проанализировать это убийство,— продолжал он,— станет ясно, что это была одна из самых успешных операций подобного рода. Проведена быстро, аккуратно, без каких-либо последствий в плане общественного спокойствия. Был найден козел отпущения, признан умственно неполноценным и тихонько убран со сцены. Подлинные мотивы убийства — которые, конечно, были политическими — не выплыли наружу. Если уж убивать, то надо вот так.— И он улыбнулся, славя победу смерти.

— Я, помню, сам поверил этой версии,— сказал Брэдли.— Подозрительным казалось лишь то, что все уж *слишком* гладко прошло.

— Как вы думаете, кто осуществил эту операцию? — спросил Редпат.— Я случайно в курсе дела.

— Догадываюсь, что один из наших преступных синдикатов. Она была выполнена в сицилийской манере. Я думаю, были привезены специалисты из мафии, кото-

рые за определенную плату выполнили работу на высоком профессиональном уровне.— Брэдли потер руки — быстрый жест, означавший: «И концы в воду».

— Ваша догадка и мои заключения совпадают,— сказал Редпат.— Как вы полагаете, можем мы с вами извлечь что-либо полезное для себя из данного случая?

Пронзительный голос его зазвучал бархатнее, отягощенный подспудным смыслом; выдерживая взгляд Редпата, внезапно ставший настороженным, Брэдли тревожно размышлял.

— Я не совсем понимаю, к чему вы клоните, Джулиус,— сказал он.

— Ну, зачем нам с вами ходить вокруг да около? Давайте скажем так. Готовы ли вы лично сдаться и позволить, чтобы вас, как овцу, повели на бойню, или хотите присоединиться ко мне в борьбе за принципы, в которые мы верим? Мне очень важно быть убежденным в вашей лояльности.

— У вас никогда не было случаев в ней сомневаться. Кроме того, я не намереваюсь класть свою голову на плаху,— сказал Брэдли.

— У вас есть связи с особыми людьми. Из всех нас один только вы с ними связаны. Помню, вы всегда выдвигали теорию, что рано или поздно может возникнуть чрезвычайная ситуация, которая заставит нас к этим связям прибегнуть. Я считаю, что сейчас такой момент наступил. Я достаточно ясно излагаю свои мысли?

— Более чем,— сказал Брэдли и почему-то вскочил. Редпат тоже встал, и они пожали друг другу руки.

— Не хочу излишне драматизировать,— сказал Редпат,— но у меня чувство, что судьба подает нам знак.

У Брэдли тоже было такое чувство. В горле у него першило, как это иногда бывало, когда он слушал музыку великих композиторов.

— Страна ждет от нас действий,— напыщенно сказал Редпат.

Три дня спустя офицер кубинских военно-воздушных сил, капитан Перес, начальник военного аэродрома в Гаване, получил на рассвете по телефону приказ предпринять боевые действия против сил вторжения, появившихся ночью в кубинских водах. Капитан, смелый, но ничем особо не отличавшийся человек, который достиг своего теперешнего положения в военно-воздушных силах только благодаря длительной службе, оказался в затруднительном положении. Было пятнадцатое апреля 1961 года. Накануне днем все основные военные аэродромы подверглись таинственным атакам с воздуха, в результате чего была выведена из строя четверть и без того немногочисленных военно-воздушных сил страны, в том числе и тренировочный самолет капитана «Т-33», который ничем не уступал любому боевому самолету, за исключением, конечно, истребителей класса «Миг» — «Мираж» — «Вампир». После налета у капитана остался лишь английский «Си-Фьюри», который был громоздок, не мог развивать больших скоростей и который Перес попросту не любил. За всю свою жизнь Перес ни разу не сделал боевого выстрела, и два других пилота— лейтенанты Феррер и Матеос — также не имели никакого опыта. Перес, проведший тревожную ночь, положил телефонную трубку, осушил четырнадцатую после полуночи чашку черного кофе, закончил письмо к жене, в котором давал ей указания относительно передачи имущества, а также образования детей, и пошел к самолету.

По полученным сведениям, высадка произошла в заливе Свиней, и через двадцать минут после вылета с аэродрома три самолета уже были над заливом. Перес заметил, что большая часть кораблей вторжения стоит на якоре в миле от берега, но что самый крупный транспорт «Либерти», все палубы которого были усеяны солдатами, подошел почти к самому пляжу и от него отходят десантные суда. Картина с высоты трех тысяч футов казалась мирной. Перес не знал, что из-за паники и неразберихи высадка производилась гораздо позже намеченного срока, вследствие чего между диверсантами с кораблей и парашютистами, сброшенными ранее самолетами из Центральной Америки, произошли столкновения. В результате один из батальонов, находившихся на транспорте, отказался высаживаться.

Перес сбросил одну из своих двух 250-фунтовых бомб, промазал по крайней мере ярдов на двадцать и отошел: его самолет был в нескольких местах продырявлен

зенитным огнем. Он решил, что единственная надежда поразить транспорт — это спикировать на него, однако при выходе из пике у старенького самолета могли отвалиться крылья. Тем не менее с высоты 1200 футов, находясь в зоне зенитного огня, он направил свои самолет со скоростью 400 миль в час в центр палубы, заполненной охваченными паникой солдатами, и выпустил четыре ракеты. Они попали в среднюю часть судна, и оно почти немедленно дало крен. При втором заходе Перес потопил маленький транспорт, стоявший в море на якоре, и орудийным огнем разбросал строй десантных лодок.

Матеос, который, по мнению Переса, плохо видел и не мог попасть в цель, как бы она ни была велика, сбросил 500-фунтовую бомбу и попал в корму корабля, где находилось все оборудование связистов и запасы боеприпасов. Корабль взорвался и через несколько минут затонул. «Величайшая счастливая случайность в истории воздушной войны»,— скромно описывал свой подвиг Матеос, и хотя Перес втайне с ним соглашался, эта случайность подорвала успех вторжения. В течение нескольких дней солдаты, высаженные на берег, вели слабые оборонительные бои, но те, кто был в курсе операции и следил за ее осуществлением, прекрасно знали, что надежды на успех нет. Когда президента обманным путем все-таки вынудили дать разрешение на бомбардировку Кубы самолетами из Центральной Америки, это делалось лишь в надежде провести эвакуацию солдат с плацдарма. Однако и эта отчаянная попытка провалилась, потому что не было принято во внимание различие во временных поясах и самолеты «Б-26» появились над плацдармом на час раньше самолетов с авианосца, которые должны были оказать им поддержку, и все они были сбиты.

Через четыре дня после поражения в заливе Свиней последние остатки высаженных на берег солдат сдались и были отправлены в тюрьму.

11

— Марк,— раздался голос в трубке.— Это Брэдли. Да, да, Рон Брэдли, твой старый приятель. Я нашел твой телефон через фирму, в которой ты раньше работал. Я в городе, и нам надо повидаться. Послушай, я как раз собирался в тот гараж — кажется, гараж Гаррисона, на Двадцать второй улице. С тех пор как мы последний раз встречались, я стал увлекаться машинами старых марок, а у них, наверно, найдутся кое-какие запчасти для старого «корда», который я только что приобрел. И мы спокойно поболтаем. Сможешь быть там через час?

— Вы могли бы приехать и сюда, но если хотите встретиться в гараже, я не возражаю,— сказал Марк.

Брэдли, по-видимому, никогда не повзрослеет. К чему эта таинственность и выдумки с гаражом? Почему не встретиться просто в каком-нибудь баре?

В Солсбери парк делла Фаворита заменял проезд, по обе стороны которого были свалки; от Двадцать второй улицы он был скрыт нагромождением старых машин, ждавших своей очереди, чтобы отправиться под гидравлический пресс. Брэдли поставил здесь свой «порш» со складным верхом и, встретив Марка, направлявшегося в контору Гаррисона, крепко пожал ему руку.

— Как приятно снова видеть тебя, Марк. Ты отлично выглядишь. Немного похудел, но по-прежнему в блестящей форме.

Лицо Брэдли стало шире, в бровях появились отдельные седые волоски. В остальном он не изменился. На нем был прекрасный твидовый костюм скромного английского покроя, выглядевший в Солсбери просто шикарным.

— Рад тебя видеть, Марк. Честное слово, рад... столько лет прошло. Когда бываю в этих местах, всегда здесь останавливаюсь, надеясь тебя встретить, но ты все где-то разъезжаешь. Если не ошибаюсь, в последний раз мы с тобой встречались в Гаване. Кстати, я несколько раз в этом году видел твою фамилию в газетах и страшно обрадовался, когда они сняли с тебя обвинение в убийстве. Как только девчонка снова исчезла, у них не осталось никаких шансов. Но даже еще до того, как они потеряли главного свидетеля, это было юридически безнадежно. А что ты сейчас поделываешь? По-прежнему занимаешься торговлей недвижимостью?

— Я теперь частный консультант,— сказал Марк.— Я ушел из фирмы вскоре после того, как мистер Ди Стефано продал свою долю.

— А как поживает Дон Винченте? Я его тоже много лет не видел. Удивительный человек. Я всегда испытывал к нему симпатию, всегда им восхищался. Я слышал, у него последнее время одна неприятность за другой. В особенности с его сыном Виктором. Мне искренне его жаль. Сначала он потерял все свои капиталы на Кубе, потом эта история с сыном. Все одно к одному.

Марк ждал, весь напрягшись. Он отлично помнил, как искусно умеет Брэдли играть в кошки-мышки.

— Виктору здорово досталось, но сейчас он почти оправился,— сказал он.— Когда я последний раз его видел, он выглядел совсем неплохо.

— Я не о том,— сказал Брэдли.— Разве ты не слыхал? Его сцапали на прошлой неделе в Бонито-Спрингс. Он обвиняется в убийстве агента Федерального бюро по борьбе с наркотиками и ввозе в страну крупнейшей партии героина. По моим предположениям, его ждет электрический стул.

— Плохо дело,— сказал Марк.— Я и не знал.— Об аресте Виктора ему стало известно через тридцать шесть часов после того, как это произошло, но он хотел услышать официальную версию.

— Все до того невероятно и драматично,— продолжал Брэдли, сопровождая свои слова размашистым жестом, который ему пришлось сдержать, чтобы не стукнуться о стенку машины.— Виктор переправлял героин в катафалке. Когда его загнали в угол, он спрятал героин, убил агента и потопил катафалк в болоте. Полиции удалось отыскать какого-то помешанного бродягу, который живет там в заброшенном доме,— он почти все видел. После этого Виктор недели две скрывался в Эверглейдсе, питаясь сырой рыбой. За это время он отрастил себе бороду, вышел из болот и нанялся официантом в ресторан; там-то его и зацапали.

— Я только слышал, что его разыскивают.

— Вы ведь были очень дружны, правда? — спросил Брэдли.

— Мне всегда было его жаль.

— Я слышал, что он около двух месяцев жил у тебя на Чемплейн авеню.

— После того как его избили, мы с женой некоторое время выхаживали его. Что бы он ни натворил, он в общем-то хороший парень.

— Ему бы здорово помогло, если бы они нашли то место, куда он спрятал героин. Да и тебе тоже.

— А при чем тут я? Я знаю об этой истории только то, что было в газетах, и то, что вы мне сейчас рассказали.

— Марк, хватит ходить вокруг да около. Мы оба взрослые люди, хорошо знаем и уважаем друг друга. Я, видно, должен сказать без обиняков: тебе грозят большие неприятности.

— Для меня это не новость.

— Я говорю не только про дело Кобболда, это лишь одна частица. Главное в том, что Федеральное бюро по борьбе с наркотиками собирается тебя выслать. Они хотят отправить тебя домой, в Сицилию.

— Перестаньте, Брэдли, не берите меня на пушку.

— Я слишком тебя уважаю для этого. Они *могут* выслать тебя, и они это сделают. Даже если исключить дело Кобболда и Линду Уоттс, ты являешься сообщником человека, которому инкриминируется ввоз в страну героина на десять миллионов долларов и убийство одного из агентов Бюро. Далее, с момента приезда в США и вплоть до последних месяцев ты работал на человека, которого «Провиденс джорнэл» назвал недавно — цитирую — «одним из самых темных заправил подпольного мира».

Марк презрительно опустил уголки губ.

— Конечно, это журналистские штучки,— сказал Брэдли,— и на нас с тобой они не производят впечатления, но при рассмотрении вопроса о твоей высылке это будет учтено. Некоторые утверждают, что ты был правой рукой Ди Стефано, и на данный момент достаточно уже одного этого. Конечно, каждый знает, что, какое бы обви-

нение против тебя ни выдвинули, доказать они ничего не могут, но выслать — это для них проще простого. Я абсолютно не могу понять, почему вопреки здравому смыслу ваши люди никогда не побеспокоятся о том, чтобы получить гражданство; теперь же стоит Бюро по борьбе с наркотиками подготовить бумаги и объявить тебя нежелательным лицом — а этим они сейчас и заняты,— как на тебя обрушится общественное мнение, пробудившееся в связи с ростом потребления наркотиков. Так что я, к сожалению, должен тебе сообщить, что через две недели ты уже будешь в дороге. Может быть, тебя немного утешит то, что за этот месяц в том же направлении проследовали еще двое выдворенных. Здесь периодически проделывают такие штуки.

Марк был ошеломлен. Он знал, что Брэдли не берет его на пушку — это было бы бессмысленно: ведь Брэдли прекрасно понимает, что Марк без особого труда может выяснить истинные намерения ФБН.

— Какая ваша цена? — спросил он.

Брэдли поморщился.

— Мне бы не хотелось называть это ценой. Ты — мой старый боевой товарищ. По роду своей работы я вел одинокую жизнь, и у меня мало друзей, но я всегда считал тебя другом. Мы с тобой оба, Марк, сейчас в тяжелом положении. У тебя — ситуация отчаянная, а я вижу, как рушится дело, которому я отдал всю свою жизнь. Нам надо подумать о том, чтобы помочь друг другу. Вот как я на это смотрю.

Марк понимал, что пришло время вести игру в открытую. За сентиментальной болтовней Брэдли стояли факты, с их обычной неумолимой безжалостностью Сейчас оружием Брэдли была угроза высылки, и Марк вынужден был смириться с тем, что ему придется работать на Брэдли. Дома, в Сицилии, он не проживет и двадцати четырех часов, и Брэдли, вероятно, тоже это знает.

— Давайте выкладывайте,— сказал Марк — Будем говорить в открытую.

— Хорошо,— сказал Брэдли.— Ты когда-нибудь слышал о человеке по фамилии Армас? Кастильо Армас?

— Кажется, что-то слышал,— припомнил Марк.— По-моему, о нем писали в газетах несколько лет назад.

— Если быть точным — в пятьдесят седьмом году,— сказал Брэдли.— Он был президентом Гватемалы и его убрали по политическим мотивам.

— Его как будто пристрелил какой-то сумасшедший из охраны?

— Согласно официальной версии, которую сфабриковали,— сказал Брэдли.— На самом же деле это было убийство особого рода совершенное теми, кого я предпочитаю назвать их подлинным именем — мафией Прости, что я употребляю это слово, Марк. Я знаю, ты всегда считал его оскорбительным.

В прежние дни Марк ответил бы на это каменным взглядом. Теперь же он улыбнулся.

— Просто оно ассоциируется у меня с желтой прессой.

— Я всегда стою за то, чтобы называть вещи своими именами. Пойдем дальше. Насколько нам известно, стрелявший был кубинцем, он осужден пожизненно и сидит в какой-то тюрьме. Начальник тюрьмы, выпускавший его для выполнения подобных заданий, имел таким образом приличный приработок.

«Как тесен мир»,— подумал Марк.

— Ты согласен, что это звучит почти невероятно? — спросил Брэдли.

— Да нет,— ответил Марк.— Это похоже на Латинскую Америку.

— Пилот вашей организации доставил его в страну и вывез обратно.

— Пилот мафии, вы хотите сказать? — спросил Марк.

— Пусть будет мафии,— со смешком согласился Брэдли.— Через двенадцать часов он, говорят, как ни в чем не бывало снова сидел в камере. Это была блестящая работа,— поводя большими, навыкате, глазами, продолжал он.— В качестве козла отпущения использовали одного политического недоумка. Его пристрелили и подложили ему дневник, из которого следовало, что он самый обыкновенный сумасшедший. Все этому поверили. Дело даже не вызвало особой сенсации.

— Люди верят тому, что им говорят,— сказал Марк.

— Конечно, после этого пришлось немного почистить... Так — провести небольшую, но тщательно продуманную операцию. Человек двадцать или тридцать, которые могли слишком много знать, исчезли — в то время произошло несколько автомобильных аварий и одна авиационная катастрофа, причины которой так и не удалось выяснить. Организатор этой операции предусмотрел все детали.

— Искусный мастер, судя по тому, что вы говорите.

— Да,— сказал Брэдли.— Своего рода организационный гений. Вся беда в том, что мы не можем найти этого человека. Вот почему я обращаюсь к тебе.

— Так чего же вы хотите? — спросил Марк.

— Мы хотим, чтобы ты организовал кое-что в таком же роде для нас. Однако ты удивишься, когда узнаешь, что именно. Если хочешь, даю тебе сутки на размышления.

Предложение было действительно неожиданным, но у Марка все эмоции быстро переходили в свою противоположность, вот и сейчас его охватило обычное состояние отрешенности.

— Ну, что ты на это скажешь?

— Я растерял связи,— ответил Марк.— Последние пять лет я занимался продажей недвижимости.

— Не будем говорить про поездку в Гавану, ну, а как насчет того, что было до переезда сюда? Я имею в виду Мессину, Сарди, Манкузо, Джентиле и прочих. А кто отправил на тот свет братьев Ла Барбера?

— Чего вы от меня хотите?

— Марк, я, вероятно, единственный англосакс, которому удалось проникнуть в Общество чести. Я знал почти все, что там творилось.

— Я должен был делать определенные вещи и старался делать их как можно лучше.

— Другими словами, ты считал своим долгом выполнять приказы людей, стоявших над тобой.

— Пусть будет так.

— Ты не расскажешь мне, как был убит Мессина? Без подробностей — они мне известны. Меня интересует лишь стратегия.

События тех лет отошли для Марка в далекое прошлое, о котором он почти никогда не думал. Он сосредоточенно нахмурился, подбирая слова, чтобы возможно короче и равнодушнее описать эту эпопею, полную крови и предательства. Он заговорил медленно, раздумчиво, как будто объяснял решение математической задачи:

— Идея состояла в том, чтобы оторвать его от друзей и заманить в такое место, где он был бы один. В горах он представлял огромную силу, а вне гор был ничто. Как только он спустился вниз, ему пришел конец.

— А как обстояло дело с Джентиле?

— Примерно так же. Когда он бывал окружен своими людьми, к нему никто не мог подойти. Но у него была одна слабость — козы. Пришлось нарочно устроить продажу коз подальше от тех мест, где он жил. То же самое было проделано и с Кремоной, когда мы его прикончили в Колло.

— Но убийство Армаса, как мне кажется, требовало иного решения,— сказал Брэдли.

— Это ведь было политическое убийство, а в таких случаях и решения должны быть иными. Трудность, очевидно, состояла в том, чтобы скрыть от народа Гватемалы подлинного исполнителя. Я, конечно, говорю лишь на основе того, что вы мне сказали. Вот тут в качестве козла отпущения и появляется подставное лицо.

— По-видимому, самое лучшее — сочетание двух методов,— сказал Брэдли.

— Да, это идеальный вариант.

— Я хочу, чтобы именно такую операцию ты для нас и провел. Снайпер, пилот, а потом чистка, какая потребуется. Тут нужно высокое мастерство, а, Марк?

— Вы хотите невозможного,— ответил Марк, но он уже знал, что выход у него лишь один — соглашаться.

— Взамен,— продолжал Брэдли, не обратив внимания на его слова,— я даю гарантию, что ФБН перестанет настаивать на высылке. Линда Уоттс сможет выйти из

своего укрытия, и разговоры о том, что ты уложил ее спать вечным сном, прекратятся. Я буду, если хочешь, ходатайствовать о предоставлении тебе гражданства. Но самое главное — тебя оставят в покое.

— Сюда должно быть включено еще кое-что.

— Что именно, Марк? По-моему, я и так очень щедр.

— Виктор Ди Стефано. Мне не хотелось бы, чтобы его отправили на электрический стул.

— Здесь трудно что-либо обещать.

— У вас нет выбора. К операции будет привлечен его отец, а я не могу идти к нему с пустыми руками.

— Чего он хочет? От восьми до пятнадцати?

— От пяти до восьми,— сказал Марк.— Максимум. Он души не чает в мальчишке.

— Могу лишь сказать: посмотрю, что тут можно сделать. Ты меня знаешь, Марк, у меня есть кое-какие связи, и я приложу все усилия. Когда ты встретишься с Доном Винченте?

— Постараюсь поскорее.

— Хорошо. А знаешь что, Марк? Я пью редко, но сейчас я бы не отказался пропустить с тобой по этому случаю стаканчик. Немало ведь прошло времени с тех пор, как мы с тобой встречались по делу. Но еще тогда, в Сицилии, пятнадцать лет назад, я знал, что рано или поздно возникнет нечто такое, что сможешь сделать только ты, и я спланировал все так, чтоб мы были вместе. Ради нашего с тобой блага, ради блага всей страны. Ждать пришлось долго, но сейчас все складывается так, как я предполагал.

В улыбке и взгляде Брэдли было что-то безумное. «Этот человек сошел с ума»,— подумал Марк.

— Я не совсем понимаю, как это вы могли спланировать, чтоб мы были вместе?

— Я попросил Дона К. отправить тебя ко мне в Штаты, и он выполнил мою просьбу. Дело в том, что, когда мы пришли в Сицилию, я сделал Дона К. мэром в его родном городе.

У Марка перехватило дыхание. Его изумление было так велико, что заслонило собой все другие чувства. Затем пришло спокойствие, которое иногда наступает после страшного удара. Он снова обрел способность дышать.

— Значит, ради этого Дон К. отдал меня в руки семьи Джентиле?

— Как он этого добился, я не знаю, но я, разумеется, выступил бы против любого предложения отдать тебя в руки твоих врагов. Мы оба считали, что молодой человек с такими уникальными талантами в Новом свете может надеяться на лучшее будущее, чем в Старом. А в те дни наше с тобой будущее представлялось самым радужным, хотя на практике не все получилось так, как я надеялся. Наше сотрудничество возобновляется в такое время, когда дело всей моей жизни находится под угрозой. Моим единственным стремлением всегда было служить моей стране и лучшей части человечества, но тебе ведь это непонятно, правда?

«Gli anime, che ti murt — да покарает господь ваши умершие души»,— пробормотал Марк, не шевеля губами. Его предки — суровые люди, выдержавшие многовековое отчаяние, осуждали тех, кто, выплескивая свой гнев наружу, лишь попусту тратит силы; они признавали самообладание и зрелое размышление. Сейчас для него было важно одно — остаться в Соединенных Штатах, а Брэдли он успеет предать тайному внутреннему суду и со временем вынесет ему приговор. Если будет решено, что Брэдли должен своей кровью расплатиться за кровь Паоло, так оно и случится. Но ни единым проявлением враждебности нельзя заранее предупреждать врага.

— Ты совершенно бесстрастный человек,— говорил тем временем Брэдли.— Пожалуй, я таких больше не встречал. Я не могу представить себе, чтобы кто-нибудь, услышав такую вещь, даже бровью не повел. Либо у тебя действительно стальные нервы, либо ты не чувствуешь так, как другие. Что же из двух?

Марк повернул к нему ничего не выражающее лицо:

— Просто я научился ко всему относиться философски.

На обеде в доме Ди Стефано чревоугодие соседствовало с горем. Престарелая Донна Карлотта, когда-то хрупкая красавица из Кастелламмаре-дель-Гольфо, а ныне существо, похожее на костлявого старика в женском платье, главенствовала за столом, ломившимся от блюд, которые непрерывно подносила новая служанка. Это был сугубо семейный обед. Для отсутствующего Виктора был поставлен прибор, однако двух священников, сидевших в передней, к столу не пригласили. Донна Карлотта, напудренная и нарумяненная, в платье цвета ржавчины, приобретенном по случаю и вышедшем из моды лет пятнадцать тому назад, непрерывно молола языком, в промежутках между словами засовывая в рот огромные куски.

— Как видишь, мы в отчаянии,— хрипло и невнятно говорила она, не переставая жевать.— Ridotti alla disperazione. Мой бедный мальчик! Святая душа! Скажи мне, Марко, что они хотят с ним сделать?

Дон Винченте сидел сгорбившись; его глаза были того же цвета, что рис с шафраном, который горкой лежал перед ним на тарелке. Он ел с трудом, заставляя себя глотать пищу только потому, что это было нужно. Он помахал рукой, которая вдруг стала похожа на когтистую лапу, словно пальцы держали горстку мелких монет.

— Ничего с ним не случится, мамочка. Его выпустят. Все будет хорошо.

— Ты только говоришь, а сам ничего не делаешь.— В этот момент служанка внесла поднос, на котором лежал жареный молочный поросенок в чесночном соусе. Глаза Донны Карлотты проследили за движением подноса.— Возьми porchetta, - сказала она Марку.— И не благодари — ты у себя дома.— Она схватила его тарелку и положила заднюю ногу и полдюжины ребрышек. Дон Винченте поспешно отвернулся. При виде еды жена забывала все на свете. Положив себе на тарелку свиную лопатку и засунув в рот булочку, она снова вспомнила о своем горе, и глаза ее наполнились слезами.— Это все подстроено,— сказала она,— нашего бедного мальчика заманили в ловушку.

— Конечно подстроено,— согласился Дон Винченте.— Самый настоящий сговор. Я это знал уже тогда, когда они пытались обвинить его в изнасиловании. У меня в Сицилии много врагов, и теперь они сводят счеты.

— Наш сын не стал бы заниматься наркотиками,— сказала Донна Карлотта.— Мы воспитали его в строгости. Может быть, никто не говорил тебе, Марк, но он всегда ходил в церковь. Только отец не хотел... Ma lei non mangia. Ну, что же ты ничего не ешь? Может, porchetta тебе не нравится? Цыпленок очень вкусный, возьми цыпленка.

Дон Винченте прополоскал рот сицилийским вином чернильного цвета.

— Все начал это дерьмо Макклейрен, но кто-то снабжал его деньгами, и я еще выясню, кто за ним стоял... Когда в наш город приезжал мистер Трумэн, тогдашний мэр-голландец — как его звали? — представил меня, и президент пожал мне руку.

— Он и должен был пожать тебе руку,— сказала Донна Карлотта.— Кто поставил этот город на ноги? Кто позаботился, чтобы ни один отец семейства не стоял в очереди за хлебом? Кто пожертвовал четверть миллиона долларов на городскую больницу? Кто дал приданое двадцати двум девушкам из приюта святой Марии?.. А сейчас никто палец о палец не ударил, чтобы остановить красных, когда они забирали все, что нам принадлежало на Кубе. Кто теперь даст двести индеек для бедняков на Рождество? Уж конечно не Макклейрен.

— Дерьмо,— повторил Дон Винченте. Он сделал еще глоток вина и поморщился.— Все в городе прикрыли. Тридцать два пустых здания на Дуайт-стрит, десять процентов безработных И ты не хуже меня знаешь что, если кто хочет сыграть на деньги, ему теперь надо ехать в Крэнстон. А ты слышал про банды подростков на улицах? Если не вывернешь карманы и не отдашь часы, тебе ноги переломают. И вся эта молодежь начиняет себя наркотиками. Это что, по-твоему,— прогресс, демократия?

— Всем известно, что город превратился в настоящие джунгли,— сказал Марк.

— А раньше как здесь было чудесно,— заметил Дон Винченте.— Тихо, спокойно Полиция занималась только тем, что штрафовала за неправильную парковку машин. Поблагодарим Макклейрена за то, что сейчас творится. Я вот что скажу, Марко.

Я держал этот город в своих руках. Президент Эйзенхауэр прислал мне фотографию с собственноручной подписью. Ему, наверное, сказали, какие суммы я пожертвовал на его кампанию.

Донна Карлотта, еле сдерживая слезы, дергала Марка за рукав.

— Ну, сделай мне приятное. Попробуй хоть polpette [1].

— Послушай, мамочка, оставь его, ради бога, в покое,— сказал Дон Винченте.— Он, как и я, не может есть. У него слишком много неприятностей.

— Прости меня, Марк, я забыла. Может, тебе не хочется об этом вспоминать, но как у тебя с Терезой? Сердце говорит мне, что вы скоро снова соединитесь. Все непременно. В такие времена нам нельзя считаться только со своими чувствами. Ради детей, Марк, ради детей.

После обеда Дон Винченте повел Марка к себе. Когда он потянулся, чтобы выключить рекламную трескотню, передававшуюся по телевизору, Марк по его лицу, обычно сонному и инертному, уловил, что он нервничает.

— Ну, выкладывай. Как дела? — спросил Дон Винченте.

— Пока хорошо,— ответил Марк.— Самая большая удача в том, что мы сумели узнать, где Леон. Оказывается, Сальваторе вытащил его из кубинской тюрьмы и посадил на последний самолет, улетевший до переворота с Кубы в Майами.

— Сальва умеет смотреть вперед,— сказал Дон Винченте.— Всегда этим отличался. Потому он и достиг вершин.

— Я сказал Брэдли, что найду этого парня, но на это нужно время. Он договорился с Бюро, чтобы мне дали отсрочку.

— Мне кажется, он активно нам помогает. Я знаю, что тебя от него тошнит, но в данный момент у нас нет оснований жаловаться. Ты слышал, что Виктора перевели в Льюисберг? Ему поставили телевизор и кормят мясом и яйцами. Мне говорили, что ребята там проводят почти целый день в саду среди роз и наслаждаются жизнью. Нам удалось добиться, чтобы слушание дела еще раз отложили. Осталось только найти руку в Вашингтоне, тогда он смог бы признать себя виновным, отсидеть восемнадцать месяцев и выйти на поруки.

— Я летал в Майами в расчете на то, что разыщу Леона. Оказывается, сейчас там миллион кубинцев. Полный хаос, и если бы не наши друзья, на которых мне удалось опереться, я мог бы с тем же успехом вернуться домой. Хорошо, если бы вы послали в Джексонвилл какой-нибудь подарочек Малатесте и Венециано в знак признательности за их работу. Они вдвоем перебрали не меньше тысячи беженцев, говорящих по-испански.

— Быть хорошим другом и иметь друзей — всегда полезно,— сказал Дон Винченте.

— В конце концов мы обнаружили фамилию Леона в списке одного из комитетов за освобождение, которые они там организовали. Оказалось, он уже несколько месяцев находится в Мексике. Его задержали в Майами по подозрению в поджоге дома, и он бежал.

— Он специалист и по поджогам к тому же?

— Нет, псих. Убивает и поджигает дома. Сейчас он в тюремной больнице для умалишенных. Перейдя границу, он тут же пристрелил какого-то мексиканца, и его обвинили в убийстве, но потом признали психически больным. В Мексике очень гуманная система наказаний.

— Вот cafogna [2],— сказал Дон Винченте.— Как их только земля носит? — Он аккуратно сплюнул в маленькую бронзовую плевательницу и вытер рот тыльной стороной руки.— Ты думаешь, его отпустят? Тебе удастся их уговорить?

— Уже удалось. Я съездил в Мехико-Сити и повидал нашего друга Паскуале. Он устроил мне встречу с одним человеком из тюремного ведомства, который заинтересован в получении большой суммы на благотворительные нужды. Придется выложить сто тысяч, но Брэдли заплатит.

[1] Биточки *(итал.)*.
[2] Падаль *(итал.)*.

— Черт побери, Марко, это же замечательно! Значит, ты можешь забрать этого человека в любое время?

— Надо только предупредить заранее. Он будет сидеть в тюремной больнице и плести свои корзинки, пока не понадобится. Мы можем взять его на несколько дней — как было на Кубе. Таким образом, его отсутствия никто не заметит.

— Что еще предстоит сделать? — спросил Дон Винченте.

— Нужен пилот.

— А почему бы нам не взять того же пилота?

— Сможем ли мы его найти?

— Сможем. Пока тебя не было, я тут кое-что разузнал,— сказал Дон Винченте.— Этот пилот не кто иной, как знаменитый Гарри Морган, которого Росси из Нью-Джерси использовал для похищения Гальдоса.

— Я думал, его уже нет в живых. Разве он не повесился в тюрьме не то в Панаме, не то еще где-то?

— В Доминиканской Республике,— сказал Дон Винченте.— Его собирались выдать и переслать сюда, поэтому ему пришлось исчезнуть. По моим сведениям, он продолжает жить там под другой фамилией.

Марк хорошо помнил дело Гарри Моргана, связанное с похищением одного из видных беженцев, которого схватили на улице Манхэттена, усыпили и увезли на самолете. Посыпались многочисленные протесты. Пока шла шумиха, газета Макклейрена «Экземинер» увеличила свой тираж на несколько сотен экземпляров, а Тереза вступила в комитет «За спасение Гальдоса», образованный через две-три недели после того, как Гальдоса тихо похоронили.

— Это была жуткая sciocchezza [1],— сказал Дон Винченте.— Чистка после этой операции была как война. Стольких пришлось убрать! Конечно, друзья Росси получили в награду игорную концессию в Доминиканской Республике, а каково было тем беднягам, которым пришлось за все это расплачиваться?

— Говорят, в этом отношении с Армасом все прошло лучше.

— Все равно плохо. Такие вещи не приносят ничего хорошего. Может быть, они кое-чему научились после дела Гальдоса. Своим людям я всегда говорю: не шутите с наркотиками и не балуйтесь с политикой. Нам всем нужна спокойная жизнь.

— Аминь,— отозвался Марк.

— Что касается Моргана, то дело обстоит так,— сказал Дон Винченте.— Кардильо, шурин Росси, имеет сейчас концессию в Трухильо-Сити [2]. Он заботится о Моргане и следит, чтобы тот не попал в какую-нибудь беду, а парень время от времени выполняет разные поручения — отрабатывает свой хлеб. Я вынужден тебе сказать напрямик, Марко: у меня нет влияния на Кардильо. Несколько лет назад я мог бы ему приказать.— Его глаза подернулись печалью.— Я уже не имею такого веса, как раньше, Марко. Повсюду расползлись слухи о том, что меня накрыли на тридцать миллионов на Кубе, и уважение ко мне падает.

— Вы получите свои деньги обратно. Не пройдет и года, как мы вернемся на Кубу.

Дон Винченте покачал головой:

— Послушай, Марк, не давай себя обманывать. Мы не вернемся обратно, и, поверь мне, такие люди, как Росси и Кардильо, знают это не хуже меня. Поэтому, если ты хочешь использовать Моргана для операции, которую затевает Брэдли, я лично ничем не могу тебе помочь. Тебе надо встретиться с Кардильо самому. Единственное, что я могу сделать, это сказать ему, что ты приедешь и что ты стóящий человек.

— Спасибо, Дон Винченте. Я сразу же поеду туда.

— Как только вернешься, зайди ко мне, я должен знать, о чем ты договорился с Кардильо.— Дон Винченте уставился на экран телевизора, словно пытался прочесть в его мелькающих глубинах, что может сулить будущее.— Что-то не нравится мне это дело,— произнес он наконец.— Я всегда считал, что мы держим Брэдли на

---

[1] Глупость *(итал.)*.
[2] С 1961 г.— Санто-Доминго.

всякий случай. А теперь получается как раз наоборот. Признаться, меня бросает в дрожь при одном его виде. Non è un cristiano[1]. И если я чего не люблю, так это непонятного.

13

— Вышлите нам свою фотографию, отправляйтесь в Трухильо-Сити и ждите в гостинице «Манагуа»; с вами свяжутся,— сказали Марку, когда он по указанию Дона Винченте позвонил в Цинциннати.

Неделю спустя Марк прибыл в столицу Доминиканской Республики, в незнакомый и молчаливый тропический город, погруженный на протяжении тридцати лет диктатуры в мрачное безмолвие. У пограничного контроля, пока на паспорт ставили штамп, его сфотографировали, отобрали газету и транзисторный приемник, заверив, что он получит его обратно, когда будет покидать страну. С каждой стены смотрел изображенный в разных видах диктатор: мрачный толстогубый человек в генеральской форме с четырьмя рядами орденских колодок; яхтсмен у руля самой большой в мире яхты; государственный деятель в вечернем костюме, выступающий перед покорным сенатом. Он пришел к власти, победив на выборах, где число поданных за него голосов превышало число избирателей, после чего хладнокровно уничтожил тридцать тысяч своих политических противников и теперь, как говорили, прикарманивал три четверти национального дохода.

Марк был поражен великолепно освещенными, но совершенно пустыми улицами города, а также услужливостью таксиста, который умудрился одновременно и салютовать, и поклониться ему, когда он садился в такси, и повторил ту же процедуру, когда они приехали в гостиницу «Манагуа». Там старший посыльный и вся его команда тотчас скинули головные уборы и низко поклонились. В этой стране всем, кто обслуживал иностранцев, было строжайше приказано проявлять всемерную вежливость.

Марк поселился в гостинице и стал ждать. Прошли сутки, но никто к нему не обращался. Он как мог убивал время, написал длинное письмо Терезе, умоляя ее сообщать подробнее о жизни детей и о своей жизни, плавал в гостиничном бассейне, листал спортивные и женские журналы, купленные в табачном киоске, — единственное здесь чтиво на английском языке. Выехать за пределы города без специального разрешения полиции Марк не мог, а все местные достопримечательности — три церкви и заброшенный зоопарк — он уже осмотрел из окна такси. С заходом солнца город словно переставал существовать.

Ночью казино наполнилось людьми, и отель превратился в оазис шумной суеты посреди молчаливой пустыни города. Марк сидел в баре до тех пор, пока все посетители, за исключением одного, не ушли к карточным столам. Наконец, оставшийся посетитель попросил счет, подошел к Марку, сел за его столик и протянул руку с тщательно наманикюренными ногтями.

— Ваша фамилия Ричардс, верно? Я — Джонни Кардильо. Мне говорили, что вы должны приехать.

У Кардильо было худое лицо крестьянина с глубоко посаженными глазами, небольшим носиком и маленькими ушами, словно добавленными после долгого раздумья. Он был в сером шерстяном костюме, выдававшем своей нарочитой скромностью происхождение Кардильо.

— Вы американец или итальянец, Ричардс?

— Сицилиец.

— Из какой части Сицилии? — Кардильо пристально смотрел на Марка, словно подозревая, что он просто бахвалится.

— Кампамаро. Рядом с Кальтаниссеттой.

— А Энну знаете?

— Это в пятнадцати милях от того места, где я родился.

Восторженное выражение медленно расползлось по лицу Кардильо.

— Надо же! У меня отец родился в Энне, а мать из Санта-Катерины — это, знаете, по дороге в Кальтаниссетту.

---

[1] Он не христианин *(итал.)*.

— Там жила моя бабка с отцовской стороны. У нее была пекарня. Дожила до девяноста четырех лет.

— В Санта-Катерине? Да, мир тесен, Ричардс. Подумать только — в такой вот дыре встретиться с человеком из Кальтаниссетты! Вот совпадение, а? Сколько вы собираетесь пробыть в Трухильо-Сити?

— Дня два, не больше.

— Жаль, Ричардс. Не так уж часто представляется случай поболтать с кем-нибудь из родных мест. Вам надо задержаться. У нас тут есть кое-что интересное. Может быть, я даже смог бы ввести вас в долю. До того как перебраться сюда, мы крутили одно дельце на Гаити. Знаете Гаити? Там слишком много черномазых, что было не очень по душе крупным игрокам, которых мы привозили из Канзас-Сити и Сент-Луиса. А здесь — страна белого человека. Здесь черномазые знают свое место. — Он погасил сигарету в пепельнице, украшенной маленьким бюстом диктатора. — El Benefactor [1], — сказал Кардильо. — Он сам наполовину черномазый. Вам он может не понравиться — он мало кому нравится, — но зато у него вся страна ходит по струнке. Следует признать, особенно теперь, когда больше нет Кубы, что этот человек — единственный заслон, который стоит между нами и коммунизмом к югу от Рио-Гранде.

В зал вошли двое приезжих со стандартными лицами игроков.

— Где тут играют, ребята? — на ходу крикнул один из них, и Кардильо, подобно пастуху, загоняющему овец, направил их к дальней двери.

— Послушайте, Ричардс, мне стало известно, что вы хотите встретиться с Морганом,— сказал он, когда игроки скрылись за дверью.— Это устроить можно, иначе мы не предложили бы вам сюда приехать, но предварительно нам надо потолковать. Вы думаете забрать его от нас совсем?

— Только на неделю или что-нибудь в этом роде. А потом предполагали вернуть его обратно. Сейчас мы еще не можем определенно ударить по рукам.

— Ага. Ну, если все состоится, мы бы хотели, чтоб вы забрали его и чтоб потом он как-нибудь исчез.

— Я думал, он вам изредка бывает нужен.

— Был нужен, но то время прошло. Вы, вероятно, слышали — мы на него поднажали и заставили провернуть одно дельце в Гватемале, но с тех пор он больше не оправдывает своего содержания. Пора послать ему прощальный поцелуй. Он славный парень и не может не вызывать симпатии. Но его держат здесь вот уже три года, и от одиночества он почти рехнулся. Готов первому встречному все выложить. В один прекрасный день он придет сюда, в бар, где мы с вами сидим, и зафонтанирует при любом, кто покажется ему посимпатичнее. Его ведь считают мертвым, Ричардс. Добрую половину времени мы тратим на то, чтобы держать его подальше от греха, но рано или поздно он вырвется на волю, и мы попадем в неприятное положение.

— Поэтому вы хотите от него избавиться?

— И желательно с вашей помощью, приятель. Я лично готов вам помогать всем, что в моих силах, но я был бы очень признателен, если бы взамен вы сделали мне это маленькое одолжение. Знаете, этот гип даже написал какой-то девчонке в Штаты, что он жив и просит ее приехать к нему сюда! Пришлось устроить ей автомобильную катастрофу. Такое беспокойство никому не нужно.

— А вы сами не можете им заняться? — спросил Марк.

— Это нам испортит весь фасад. Тут один генерал военно-воздушных сил — местная шишка — взял его под свое крылышко. И если Морган исчезнет, они будут знать, чья это работа. Нам здесь не нужно никакого шума.

— Когда с ним можно поговорить?

— Да хоть сейчас. Только вот что: мы сделаем все, чтобы вам помочь, но если он не захочет браться за это дело, не принуждайте его. Вам надо его чем-то соблазнить, это ваш единственный шанс.

— Он любит деньги?

— Не так, как большинство из нас. Ему нечего с ними делать. Он ведь вроде бы в заключении.

[1] Благодетель *(исп.)*.

— Но он действительно пилот такого высокого класса, как о нем говорят?

— На легком самолете ему нет равных. Он может сесть и взлететь в любом месте. Кроме того, он ничего не боится. Знаете, он должен был родиться где-нибудь в Энне, там его научили бы держать язык за зубами.

Морган жил на побережье, в мрачном цементном кубе, окруженном колючей проволокой; у ворот стоял часовой — низкорослый сонный солдат.

— Добрый вечер, сеньор Лунт, — сказал Кардильо. Он угостил солдата сигаретой, тот пропустил их в ворота и позвонил. Дверь тут же открылась, и перед ними под фонарем предстал человек в форме курсанта летной школы — выражение лица у него было удивленное и приветливое.

— Знакомьтесь: Гарри Морган,— сказал Кардильо.— Гарри, это Марк Ричардс, мой очень хороший друг. Можно войти, Гарри? Я привел Марка, потому что у него есть предложение, которое, я лично считаю, тебе покажется очень интересным. Я не в курсе всех деталей, но мне кажется, такая возможность представляется раз в жизни. Не буду больше ничего говорить, хочу только заверить, что Марк—человек надежный. Понятно, Гарри? Ну, ладно, я тут вас оставлю и помчусь обратно в «Манагуа», где меня ждет покер. Марк, позвони мне, когда закончишь, я за тобой заеду.

Морган пододвинул маленький жесткий стул, и Марк сел, чувствуя себя не очень ловко.

— Хотите чего-нибудь выпить, мистер Ричардс? — спросил Морган. — Жаль, что мистер Кардильо не смог остаться. Могу предложить ром с кока-колой. Ром в этих краях довольно хороший. Есть у меня и бурбон, если хотите, но я могу себе позволить не пить виски в такую жару. Кондиционер уже месяц не работает: видно, ждут, когда доставят запасные части. Сюда все приходится привозить — целая проблема. Поскольку мы сейчас ведем разговор о напитках, то, наверное, мне следует предостеречь вас: постарайтесь обходиться безо льда. Здешняя вода, если не бросить в нее стерилизующие таблетки, оставляет желать лучшего. — Он сонно улыбался. — А большинство людей забывает это сделать.

Марку говорили, что Моргану тридцать лет, но он выглядел лет на двадцать, и что-то в его мягком, гипнотизирующем голосе напоминало Марку дальнего сицилийского родственника, который был смотрителем маяка и жил на скале в Тирренском море, по году не видя никого.

— Может быть, тогда лучше ром с кока-колой, Гарри, если нельзя класть лед.

Морган направился к холодильнику, а Марк тем временем оглядел комнату. Три деревянных некрашеных стула; небольшой грубо сделанный стол; пол, выложенный керамической плиткой; гонконгская литография в пластмассовой рамке, изображавшая дом с соломенной крышей; стопка новых дешевых тарелок в крохотной кухоньке и несколько высоких стаканов толстого стекла на серванте.

— У меня где-то был лимон,— донесся голос Моргана,— но, наверно, его выбросили. С лимоном получается лучше. Нам привозят их только зимой, раз в месяц.

Морган вернулся с напитками. Он шел как слепой, склонив голову набок; взгляд был спокойный, но отсутствующий. Он поставил стаканы на стол и смахнул разбросанные по нему морские ракушки.

— Полировал раковины, когда вы пришли,— объяснил он.— Некуда девать время. Собираю ракушки — тем и держусь.— Марк вспомнил, что смотритель маяка плел отличные кружева.— На этих пляжах не слишком много разновидностей, так что я подбираю их по оттенкам. У меня хорошая коллекция окаменелого дерева, я вам ее покажу. Несколько тысяч лет назад здесь был лес, затем уровень океана изменился, и все оказалось под водой. Самое главное — чем-то занять голову.

— Вы теперь не часто выезжаете отсюда, Гарри, правда?

— Меня можно назвать орлом с подрезанными крыльями,— сказал Морган, скромно и печально улыбнувшись. — Ну, может, и не орел. Вы, наверно, уже знаете, почему я сижу здесь. Вы — друг мистера Кардильо, поэтому я буду говорить откровенно. Нельзя прямо сказать, что я узник, но я никуда не могу выйти один — только в сопровождении мистера Кардильо или генерала Ромеро, а они занятые люди. Генерал Ромеро интересуется древесными окаменелостями, но не очень хорошо говорит

по-английски. В моем положении человек должен уметь использовать каждую возможность, и, по-моему, мне это удается. На прошлой неделе мистер Кардильо водил меня в кино, но здесь показывают только очень старые картины. Вы видели «Молодой человек с рожком» с Кэрком Дагласом и Лорен Бокалл? Я видел эту картину три раза — дома, в Штатах, и здесь. Во всяком случае, это тоже помогает убивать время.

— А вы что-нибудь читаете? В табачном киоске в гостинице «Манагуа» есть «Плейбой» и «Эсквайр».

— Честно говоря, я избегаю смотреть журналы такого рода, потому что при моем образе жизни лучше поменьше возбуждаться.

— Я думаю, Кардильо мог бы вам помочь. Здесь как будто нет недостатка в девчонках.

Лицо Моргана вдруг приобрело строгое выражение, а взгляд стал осуждающим.

— Я не хотел бы вступать в интимные отношения с девушкой, пока я с ней хотя бы не помолвлен, мистер Ричардс. Я не безнравственный человек, иначе, думается, я не мог бы стать хорошим пилотом. У меня дома была девушка, которая мне нравилась, но она погибла в автомобильной катастрофе. Мы были очень счастливы, и я получаю удовлетворение от того, что остаюсь верным ее памяти.

— И за вами здесь совсем никто не ухаживает, Гарри? Никто не стирает и не готовит?

— Ну, что вы! В этом отношении мне не на что жаловаться. Каждый день сюда приходит женщина по имени Хосефа, все убирает и моет. Она бы и готовила тоже, если бы я ей разрешил, но мне не очень нравится местная кухня. А я весь остаток жизни готов был бы есть куриную лапшу и бисквит с клубникой. Конечно, может, я так говорю только потому, что это мне недоступно. Если бы я попросил Хосефу купить мне на рынке картошки, то она наверняка купила бы *сладкую* картошку. Проблема с продуктами здесь неразрешима, так что я практически живу на одних яйцах. Все зависит от того, к чему вы привыкли с детства. Я сейчас кое-что вам покажу.

Морган открыл ящик стола, вытащил папку с газетными вырезками и протянул одну из них Марку. Это была его собственная фотография в возрасте пятнадцати лет. Он был в такой же форме, как и сейчас, и произносил речь по случаю своего поступления на подготовительный курс летной школы в Бетеле, штат Вермонт, в 1950 году.

— К концу следующего года я уже летал самостоятельно,— сказал Морган.

Марк заметил, что на фотографии Морган был в очках.

— У вас по-прежнему неблагополучно со зрением?

— Нет. Все в порядке.

— Но вы носите контактные линзы, правда?

Морган кивнул.

— Конечно ношу, именно это меня и выбило из седла. Можно сказать, бросило сюда, где я сижу...— Он поморщился, и тень обреченности пробежала по его бесстрастно-веселому мальчишескому лицу.— Я был совершенно помешан на полетах. Так или иначе, а я должен был летать, но у всех компаний очень строгие правила насчет зрения. У меня же было крошечное отклонение, легко исправимое при помощи линз, но авиакомпании и слушать не хотели. Просто нелепо. Меня сочли годным для полетов на воздушных такси в Канаде — взлетаешь с воды и садишься на воду, причем надо уметь различить с воздуха тысячи озер. Никаких навигационных приборов, а от теории в подобных условиях мало проку.

С берега донесся лай: должно быть, собаки подрались из-за добычи; потом все стихло и снова наступила зловещая тишина. «Как он может это выносить? — думал Марк.— Я бы не продержался и недели».

— Каким образом вы лишились прав на полеты, Гарри?

— Возил на самолете порошок с Кубы, мистер Ричардс. Мне надо было что-то делать. В Канаде в октябре все замерзает, так что до мая приходится сидеть на земле. А на Кубе все было отлично, пока не пришли красные. Мы пользовались аэропортом Ранчо-Бойерос, где садятся обычные рейсовые самолеты, и летали оттуда во Флориду ниже радарного уровня. Все шло о'кей, надо было только держаться подальше от Ки-Уэст.

— Вы когда-нибудь слышали о человеке по фамилии Спина? Он занимался этим бизнесом.

— Нет, я ведь имел дело с мелкой сошкой. Я совершил около тридцати рейсов, а потом кто-то донес в ФБН. Люди, на которых я работал, должно быть, выложили кучу денег, потому что меня приговорили условно, но лишили права летать за незаконное пересечение границы.

— Значит, в США вы человек конченый.

— Я везде конченый — нигде на законных основаниях работы мне не дадут. После этого я нанялся в Мексике к некоему мистеру Уильямсону. Он вывозил из джунглей древние скульптуры и продавал их музеям и частным коллекционерам. Индейцы прорубили своими мачете летную полосу возле какого-то храма, который нашел мистер Уильямсон, а затем выжгли пни. И я прилетал туда за грузом. Весь фокус состоял в том, чтобы коснуться колесами самого начала полосы, потому что она была длиной всего ярдов тридцать-сорок, и если чуть проскочишь, то влетишь в кусты на противоположном конце. Потом я сидел и думал, как взлететь с двумя тоннами каменных идолов на борту и при этом не срезать верхушки деревьев. Да, мистер Ричардс, вот это были полеты. Я вкладывал в них все свое умение.— Он улыбнулся детской восторженной улыбкой.— Вот это были дни! Эта игра была мне по душе. Я бы и сейчас был там, если бы мексиканцы не поймали мистера Уильямсона. Он получил десять лет.

— А потом вы взялись за дело Гальдоса?

— У меня не было выбора. Приходилось соглашаться на все, что предлагали, а мистер Росси очень хорошо ко мне относился. Я должен сразу сказать, что это дело мне представили в ложном свете. Мне сказали, что Гальдос замешан в крупном воровстве и что по каким-то причинам его отказываются выдать. Откуда я мог знать, что они собираются его убить?

— Конечно, откуда вам было знать, Гарри? Сколько они вам за это заплатили?

— Не помню.

— Не шутите!

— Нет, правда, мистер Ричардс. Довольно много по моим понятиям, но не помню, сколько именно. Потом я летал в Гватемалу, и сколько я получил за это, тоже не помню. Мне не нужно много денег. Я считаю, что самое главное в жизни — найти способ для самовыражения. Наверно, все мы устроены одинаково. Сделать то, за что берешься, как можно лучше — вот что имеет для меня значение. Деньги — вещь второстепенная.

— За полет, о котором пойдет речь, предлагается сто тысяч,— с усмешкой произнес Марк.— Но, судя по вашему настроению, мне, наверно, и не следовало называть сумму — этим вас не соблазнишь.

— Мистер Ричардс, ну что я буду делать со ста тысячами? Я плачу Хосефе пятнадцать долларов в неделю. Еще двадцать, наверное, уходит на еду. Жилье в этой дыре бесплатное. Мистер Кардильо сказал, что вы, возможно, захотите, чтобы я для вас разок слетал, но даже если вы заплатите мне миллион, я по-прежнему останусь бедняком, потому что ничего не смогу сделать с этими деньгами. Какое-то чувство подсказывает мне, что я проведу здесь весь остаток жизни.

— А если удастся устроить так, чтобы вы уехали из Доминиканской Республики?

— Тогда другое дело.

— Это вполне реально. Невозможного на свете не существует; мы могли бы поставить это одним из условий. Люди, на которых я работаю, имеют огромное влияние. Вы оказываете им услугу, и они, со своей стороны, охотно ответят вам тем же. Что, если они выдадут вам новые летные права на фамилию Лунт? Тогда вы могли бы вернуться в Канаду.

— А мое лицо? — воскликнул Морган.— Сколько людей видело его в газетах! Конечно, это может показаться вам странным, но в каком-то смысле Канада очень маленькая страна.

— Вы когда-нибудь слышали о пластических операциях, Гарри? Вы ляжете в клинику на неделю и выйдете оттуда с таким лицом, что даже родная мать не узнает.

Если, по-вашему, Канада слишком близко, то вы могли бы летать в малозаселенных районах Австралии. Или мои друзья устроят вас на регулярную линию грузоперевозок в Южной Америке. Что вы на это скажете?

— Регулярная авиалиния! Вот это да! Вы действительно думаете, что это возможно?

— Вы бы согласились, Гарри? Работать, скажем, в «Аэронавес до Бразил»?

— Еще бы не согласился! Это мечта моей жизни!

Такой восторг вызвал у Марка невольную улыбку. Он хорошо умел будить надежды, это было частью его задачи. При подготовке человека к встрече со своей судьбой практические соображения всегда сочетались с некоторой долей сострадания, хотя ни один член Общества никогда бы в этом не признался. Согласно традиции, приговоренный не должен был догадываться, что дни его сочтены. Он умирал внезапно и счастливо — как, например, Массерия, умерщвленный по приказу Спины на банкете в ресторане «Скарпато» на Кони-Айленде, когда его желудок был согрет едой и вином, а сам он был окружен улыбающимися друзьями. У Марка, которому редко кто нравился из тех, с кем ему приходилось сталкиваться, Морган вызывал чувство симпатии, а его редкая выдержка — настоящее восхищение. Парень не распускал нюни и мужественно переносил свои несчастья. Марк не мог предложить ему ничего, кроме радужных обещаний, но на обещания он не скупился.

— Вы считаете, что я рано или поздно смогу вернуться в Штаты, мистер Ричардс?

— Конечно, почему бы и нет?

— Года через два-три?

— Давайте будем считать — максимум через пять. После пластической операции и с новым именем. Уилбер Дж. Лунт из Рио-де-Жанейро, Бразилия. Как это звучит?

— Все мои друзья считают, что я умер. Как вы думаете, можно будет дать им знать? Я понимаю, тут необходима осторожность...

— Со временем, может быть. Сейчас это слишком сложно. Рано или поздно нам, вероятно, удастся это сделать. Я должен как следует подумать.

— Вот если бы вернуться в Канаду к началу летних полетов! В Канаде летом чудесно. Под тобой на тысячу миль сосновые леса, а в них никого — только медведи и лоси. И такое чувство, будто все это принадлежит тебе. Я ведь могу рассчитывать на то, что буду летать в Канаде в следующем году, мистер Ричардс?

— Безусловно,— ответил Марк.— В июне будущего года вы будете разглядывать с самолета свои тысячи озер, которые все похожи одно на другое.

— Мистер Ричардс, а не могли бы вы сказать, в чем оно заключается, то дело, которое вы хотите мне поручить?

Марк покачал головой.

— Не могу, Гарри, потому что подробностей я и сам не знаю. Я просто хотел встретиться с вами, чтобы узнать, согласны ли вы в принципе. Пока могу вам только сказать, что это будет нечто схожее с вашим полетом в Гватемалу. Если, конечно, полет состоится, так как еще ничего не решено. Это чисто предварительный разговор с целью выяснить, интересует ли вас подобное предложение.

— Конечно интересует,— сказал Морган.— Я готов на все, лишь бы выбраться отсюда.— На лице его появилась виноватая улыбка, в которой чувствовалось беспокойство.— Пожалуйста, не думайте, мистер Ричардс, что я выведываю ваши планы. Я только хотел спросить — если вы примете решение, будет ли это связано с полетом на большое расстояние: если да, то надо заранее подумать о дополнительных баках с горючим. Поймите, меня интересует лишь техническая сторона. Все остальное — не мое дело. Вам надо будет только сообщить мне протяженность полета, а обо всем остальном я позабочусь сам.

14

Прошло полгода. Брэдли, зная, что Марк подобрал людей, тоже не терял времени даром. Вторая поездка в Техас с целью сбора средств оказалась гораздо успешнее первой, и вскоре он смог перевести в один из банков Трухильо-Сити четверть миллиона долларов, которыми Марк был уполномочен распоряжаться. «Нужен самолет с даль-

ностью полета до 1 500 миль,—писал Брэдли Марку.—Причем такой, чтобы в нем было место для дополнительных баков с горючим». Марк договорился о покупке двухмоторного «бичкрофта», и вскоре Морган, вне себя от радости, снова сидел за штурвалом, поражая граждан Доминиканской Республики отчаянными акробатическими трюками в небе.

Вернувшись в Солсбери, Марк дал объявление о продаже своего дома на Чемплейн авеню и переехал в гостиницу в центре города. Он смотрел на будущее с умеренным оптимизмом. Холодно-вежливые записки, которыми Тереза уведомляла его о получении денег на содержание детей, превратились в короткие письма, к которым Мартин и Люси, как послушные дети, добавляли кое-что от себя. Марк приводил в порядок свои дела в Солсбери и намеревался, как только исчезнет угроза высылки, переехать в Калифорнию, где у него были связи среди итальянцев, занимавшихся виноградарством. Он надеялся, что сопротивление Терезы в конечном счете будет сломлено и она вернется к нему, когда он переедет на новое место, где их обоих никто не знает.

Тем временем Виктор ждал суда в Льюисбергской федеральной тюрьме, приобретшей известность благодаря членам мафии, отбывавшим там наказание, ел превосходное мясо и набирал вес. Поскольку было ясно, что у него могучие связи, и заключенные и тюремный персонал относились к нему с почтением, а его оправдание считалось делом решенным, даже если состоится суд. У него была наследственная любовь к домашним животным, и он держал в камере клетку с белыми крысами и мину, говорившую с сильным бруклинским акцентом. В свободное время, которого было более чем достаточно, он писал Марку и Спине почтительные и изящно сформулированные письма, подробно рассказывая о тюремной жизни.

Спина по-прежнему сидел на острове Антигуа, ожидая — правда, уже с меньшей уверенностью — восстановления своей власти на Кубе; сюда к нему и прилетел Брэдли. Они отправились на пляж, где никто не мог им помешать.

— Вы — человек действия,— заметил Брэдли.— Как вы можете мириться с такой жизнью?

— У меня нет выбора,— ответил Спина.— Мне не повезло.

— Вы все еще считаете, что рано или поздно вернетесь?

— Нет, пока в Белом доме сидит этот человек.

— Вот о чем я и хотел с вами поговорить,— сказал Брэдли.— Сейчас разрабатывается одна операция. Вы смогли бы забыть о том, что было, и зажить настоящей жизнью.

— Выкладывайте.

Брэдли развернул перед ним план, который должен был изменить судьбу Америки и возвестить победное наступление золотого века справедливости и просвещения.

— Что заставило Ричардса принять в этом участие? — спросил Спина.

— Я оказал ему помощь в деле Кобболда, а также сделал кое-что для Виктора Ди Стефано. Он очень привязан к этому парню. Возможно, таким образом он хотел выразить свою благодарность.

Уголки губ Спины раздвинулись в улыбке, обнажив фарфоровые зубы.

— Знаете, Брэдли, а вы мне нравитесь. Всегда нравились. Хорошо бы и у меня все так получалось. Чем же вы расплатитесь со мной?

— Для начала — добьюсь отмены решения о вашей высылке.

— Говорите скорее, что я должен для вас сделать?

— Провести «ripulitura»,— сказал Брэдли.

— Что? Господи, неужто все еще существует «ripulitura»? Послушайте, давайте говорить по-английски.

— Я имел в виду неизбежную последующую чистку. Я всегда считал, что вы самый крупный специалист в этой области, особенно после того, как мистер Массерия расстался с этим миром.

— Что я могу сделать, сидя в этой дыре?

Брэдли внезапно остановился. Они стояли друг против друга: Спина — подвижный улыбающийся гном с задубленной ветром кожей, отчего лицо его напоминало

цветом плавуны, выброшенные на берег морем; Брэдли — весь наэлектризованный, словно по жилам его пропустили ток.

— Я посвятил несколько лет изучению вашей биографии,— сказал Брэдли.— Возможно, все, что я обнаружил,— только верхушка айсберга, но я считаю, что узнал я многое.

— Что же вы узнали? — спросил Спина.

— Я узнал, как можно манипулировать людьми,— ответил Брэдли.— Вы были королем в этом отношении. Ваша власть уступала лишь власти президента Соединенных Штатов.

Воспоминание о прошлом согнало улыбку с лица Спины.

— Да, у меня было много друзей,— сказал он.

— Почему вы говорите «было»? Они у вас по-прежнему есть в каждом городе Соединенных Штатов, и вы это знаете. Тысячи членов вашей знаменитой организации были бы счастливы оказать вам услугу. И это вы тоже знаете, правда? Поманите пальцем — они все прибегут. И какую бы ни пришлось проводить чистку, они будут рады заняться ею ради вас.

— Возможно, возможно. Я помогал некоторым из них время от времени, и сейчас есть еще два-три человека, готовых оказать мне услугу.

Брэдли почувствовал себя на пороге успеха.

— Я не говорю, что вам непременно захочется обосноваться в Штатах,— сказал он,— но приятно ведь сознавать, что ты можешь приехать и уехать, когда вздумается.

— Конечно, было бы неплохо навестить некоторых знакомых,— сказал Спина.— Признаться, я скучаю по старым друзьям.

Прекрасным осенним утром Дон К., нагруженный сладостями и игрушками, направлялся в один из палермских приютов для беспризорных детей. Внезапно он почувствовал острую боль в груди и сильное головокружение. Он остановил машину и, выбравшись из нее, присел на обочине — перед глазами у него на фоне темнеющего неба дразняще висели багровые кисти винограда. Когда шофер нагнулся над ним и приложил ухо к его губам, Дон К. нашел в себе силы прошептать: — Как прекрасна жизнь! — Это были последние слова состарившегося человека, который целое десятилетие был тайным правителем Сицилии. Таких похорон не устраивали никому со времен Гарибальди — для поддержания порядка пришлось даже вызвать отряд моторизованной полиции.

О смерти Дона К. Марку сообщил Дон Винченте.

— Все меняется. Вот почему я велел тебе приехать. Кисть на похоронах взял Дон Джузеппе.

— Простите, Дон Винченте, но какая разница?

— А такая: все считали, что будет избран Рокко Джентиле, но этого не произошло. Если бы ты там показался, Джентиле тебя бы убрал, а Джузеппе — мой старый друг. Мы с ним росли вместе. Если ты все еще хочешь вернуться домой, я могу это устроить. Ты, наверное, уже понял, Марко, что в Америке ты не будешь счастлив, а Куба сейчас исключается. Не лучше ли тебе отправиться обратно с Терезой и детьми, осесть и заняться разведением свиней?

— Вы думаете, Тереза согласится?

— Конечно согласится; я уже с ней разговаривал. В Бостоне ей не очень-то сладко, да и голоса крови не заглушить. Если хочешь, я поговорю с Джузеппе, а он поговорит с людьми Джентиле и уладит это дело. Придется тебе потратить немного денег на danaro di sangue [1]. У семьи Джентиле есть несколько внуков. Может, Джузеппе сумеет сосватать Лючию за кого-нибудь из них.

— Мои односельчане от меня отвернулись: ведь я не взял кисть, когда убили Паоло.

— Раздай им befana [2] для ребятишек. Купи всем девочкам говорящих кукол, а мальчикам адмиральскую форму. Привези несколько корзин со съестным—пару буты-

[1] Расплату за кровь *(итал.)*.
[2] Крещенский подарок *(итал.)*.

лок «Асти спуманте», немного ветчины, моцареллу и прочее. Не мне тебя учить. Сам прекрасно знаешь, как такие вещи делаются. Поверь мне, очень скоро все забудут.

— Сколько времени все это займет, как по-вашему?

— Надо думать, месяца три. Если я попрошу, Джузеппе это сделает, но я не могу сказать ему, чтобы он все сделал за два дня. А какое это имеет значение, если ФБН не торопится тебя высылать? Проведи операцию с Брэдли и можешь отправляться.

— Недели через две она уже будет завершена. Мы можем получить Леона, предупредив за сутки, а Кардильо вышлет Моргана, как только мы дадим ему зеленый свет. Самая большая новость заключается в том, что Спина согласился принять участие в нашей операции.

— Он вам необходим. Похоже, что в этом деле будет занято много народу, и вам пригодится его опыт.

— Сейчас мы ждем только известий от Брэдли.

— Где, ты говоришь, намечается встреча?

— На мексиканском побережье в районе Матамороса. Возле границы есть взлетная полоса, которую мы можем использовать.

— Возле какой границы?

— С Соединенными Штатами.

— Возле границы с Соединенными Штатами, говоришь? А у тебя не возникает таких же вопросов, как у меня? Тебя ничего не поражает?

— Меня поражает все, что с этим планом связано,—сказал Марк.

— Говорил тебе Брэдли о том, что готовится?

— Ничего не говорил.

— Значит, ты не знаешь, кого будут убирать?

— Он считает, что незачем это знать до последней минуты. Я—всего лишь мастер на сборочном конвейере операции.

— А не идет ли речь о Кубе? Не идет ли речь о том, чтобы устроить праздник бородачу?

— География совсем другая,—сказал Марк.—Зачем нам встречаться в Матамороса, если мы отправляемся на Кубу? Взгляните на карту.

— Угу, в самом деле, достаточно взглянуть на карту.

— Какое это имеет значение? Как только я увижу Сальву, я все узнаю,—сказал Марк.—Он должен будет заняться чисткой, чтобы Брэдли и его друзья вышли из этого дела свежими, как розы. Не может же он работать втемную.

— Я очень много думал о Брэдли,—сказал Дон Винченте.—И у меня такое чувство, что он и его заведение, занимаясь своим делом, многие годы втихомолку следили за нами. Я считаю, что он следил за тобой еще в Сицилии и с тех пор непрерывно следит за тобой и за мной. Он хотел узнать все, что можно, о нашей жизни и наших методах.

— Да, он времени не теряет,—сказал Марк.—Я слышал, что после того, как исчез этот сумасшедший бродяга, с Виктора вроде собираются снять обвинение в убийстве.

Дон Винченте по-волчьи оскалил зубы.

— Он времени не теряет, потому что мы научили его всему, чему наши отцы и деды научили нас. Почти всему. Тридцать лет назад людей типа Брэдли не существовало. Знаешь, что я скажу тебе, Марко? Они видели, как наши люди правили Сицилией за спиной короля, или дуче, или кто там был, и решили, что сумеют осуществить это здесь.

В этих словах Дона Винченте Марк услышал предостережение.

— Возможно, они в последний раз прибегают к нашей помощи,—продолжал старик.—Наверное, считают, что мы их уже всему научили. Держу пари, Брэдли втянул нас в эту операцию, чтобы обеспечить себе безопасность: он понимает, что на нас можно положиться. После этого он будет знать, как организуются подобные вещи. И когда еще кого-нибудь захочет убрать, сумеет это сделать уже сам.

15

Они встретились в гостинице «Гамильтон-Хаус», поднялись в снятый Марком номер и сразу же бросились друг другу в объятия. Как всегда, их близость была неистовой и торопливой и приносила такое же удовлетворение, какое приносит в жару неперебродившее молодое вино.

Вернулись все родные запахи прошлого, все жгучие ощущения, которые время и сумятица повседневной жизни постепенно притупляли. Вернулось чувство чего-то нового и неизведанного.

— Как мы будем жить дальше?—спросила Тереза.

— Заберем детей и уедем куда-нибудь.

— Куда?

— Можно в Калифорнию.

— Разве тебя не высылают?

— Теперь нет.— Он старался придумать какое-нибудь объяснение, которое бы не касалось прошлого, но не мог. —Это уже решенный вопрос,— сказал он наконец.

— Почему в Калифорнию?

— Не обязательно в Калифорнию. Можно поехать в Финикс, или в Канзас-Сити, или в Чикаго, куда хочешь.

— Туда, где у тебя есть связи?

— Друзья или друзья друзей,—сказал Марк.—У Дона Винченте они есть в большинстве крупных городов.

— И нам придется ими воспользоваться?—спросила Тереза.—Не можем мы обойтись без них?

В течение стольких прожитых вместе лет он не считал возможным во что-либо ее посвящать, и теперь объяснения давались ему с трудом.

— Когда переезжаешь на новое место, нужна помощь,— сказал он.

За этой фразой скрывался страх сицилийского крестьянина, который не покинет его до гробовой доски,—страх перед изоляцией в чужой стране. Такой же не подвластный разуму, как боязнь привидений, по-прежнему заставляющая крестьян Кампамаро, Агригенто и Кальтаниссетты с наступлением темноты расходиться по домам в свои похожие на крепости горные деревни чтобы не встретиться с призраком одного из грабителей, исчезнувших с лица земли полвека назад. В Сицилии этот страх передавался по наследству от отца к сыну, и каждый заводил в зависимости от возможностей разнообразные связи и вступал в союзы, чтобы защититься от враждебного мира.

— Если не хочешь ни в Калифорнию, ни на Средний Запад,— сказал Марк,— мы могли бы уехать отсюда и жить с теми, кого мы знаем.

— Домой?—спросила она.

Он почувствовал волнение в ее голосе.

— Мы могли бы уехать месяца через три, если захотим. Таким образом, все вопросы решатся сами собой. Одно дело, когда тебя высылают, а другое—когда ты возвращаешься по собственному желанию.

— Но ты сказал, что расстался с мыслью вернуться обратно, что потерял всех друзей.

— Так было тогда. Мне сильно не повезло, и я пал духом. У меня были неприятности, о которых я тебе не говорил, но теперь все уладится.—Он обнял ее.—В Сицилии у нас около тысячи родственников. И мы поедем туда и покажем им, что мы собой представляем.

— Я хочу вернуться в Палермо и жить в доме, где живет еще пятнадцать или двадцать семей, и чтоб дети играли в парке делла Фаворита, а мы, как прежде, ходили бы по воскресеньям в рыбный ресторан Монделло.

— Можно было бы отдать детей в местную школу,— сказал Марк. Он всегда считал, что дети должны жить дома. Именно в этом заключалась ошибка Дона Винченте: он отправил своих старших сыновей Марио и Клаудио, в закрытую школу, и, когда его влияние на них ослабло, они не сумели противостоять разлагающим влияниям.

— А можем мы снова взять фамилию Риччоне? — спросила Тереза.—Я больше не хочу быть Ричардс. Эта фамилия не принесла нам ничего, кроме несчастий. Я хочу снова быть Риччоне.

— Конечно можем, и Мартин будет Амадео, а Люси—Лючией. Если решим уехать.

— Я уже решила, — сказала Тереза. Марк вдруг заметил, что она очень изменилась. С ее лица сошло унылое выражение скучающей интеллектуалки — оно снова стало искренним и ясным, точно портрет, которому вернули первозданную свежесть, сняв ретушь, нанесенную неумелой рукой.

— Как тебе жилось в Бостоне? Скажи мне правду.

— Ужасно. Я там не жила, а существовала. Единственной радостью были встречи с детьми по выходным.

— Тебе не понравилась работа в больнице?

— Я не смогла устроиться.

— Но ты ведь собиралась пройти специальные курсы!

— Ничего из этого не получилось. Дальше заполнения личной карточки дело не пошло. Мне кажется, им не очень понравилось, где я родилась, и ко всему прочему у меня не было нужных данных. В Бостоне я жила в квартирке с двумя официантками из «Траттория Фьорентина» на Ганновер-стрит. В этом кафе я и работала.

— Официанткой! О господи! И, однако же, ты возвращала мне деньги, которые я тебе посылал.

— Только в первый раз, а потом — нет,— сказала Тереза.— Во всяком случае время, прожитое в нищете, пошло мне на пользу. Мне надо было немного больше узнать, что такое жизнь. Эти официантки — сестры из Катании — очень хорошие девушки. У них дома остались еще три сестры, и они копили сестрам и себе на приданое. Вот так-то. Вот чем надо было мне заниматься в Солсбери, вместо того чтобы вести этот идиотский образ жизни.

— Никто не узнал, кто ты и что делаешь в Бостоне?

— Все узнали. Один репортер выследил меня, и моя фотография была в газетах.

— Таких надо пристреливать.

— Как потом оказалось, это не имело никакого значения. Девочки от души повеселились, а на хозяина, мистера Аньелли, это произвело такое впечатление, что он предложил мне более выгодную работу. Точно я какая кинозвезда.

— Газеты писали такие мерзости, — заметил Марк.

— В «Глобе» еще ничего, — сказала она. — Сравнительно, конечно. Не знаю, что напечатали в «Экземинере», потому что, когда я начала читать, мне стало нехорошо.

— Ты, наверно, слышала, что Макклейрен обвинил меня в убийстве этой Линды Уоттс.

Тереза сжалась.

— Да, слышала.

— Писали, что я швырнул ее в жидкий цемент, а потом бросил в реку.

— Я ни говорить, ни даже думать об этом не хотела, — сказала Тереза. — Я знала, что это — очередная выдумка Макклейрена.

— А меня это просто взорвало.

— Марк, я никогда не задавала тебе лишних вопросов и не собираюсь сейчас начинать. Только скажи мне, чтобы я была спокойна: что на самом деле с ней произошло?

— Она сошлась с одним человеком, который был руководителем какой-то религиозной секты. Когда разразился этот скандал в прессе, он стал миссионером, они поженились и вместе уехали. Теперь они живут среди эскимосов не то на Аляске, не то еще где-то.

— Ты клянешься?

— Всем, чем хочешь.

— Я не хочу, чтобы ты клялся, потому что я тебе верю. Она очень красивая девушка, правда? Вряд ли она вела такую жизнь, как писал Макклейрен.

— Никакой такой жизни она не вела. Люди типа Макклейрена готовы кого угодно поливать грязью. У них есть писака из одного порнографического журнала, который стряпает эти материалы по заказу. Она сделала все, что могла, чтобы облегчить мое положение.— Не найдя в английском языке нужных слов для выражения своей благодарности, Марк перешел на итальянский.— Era una brava figliuola [1], — сказал он.

[1] Она была славная девушка (*итал.*).

— Ты был влюблен в нее? — спросила Тереза неожиданно угасшим и безразличным голосом. — Мне кажется, любой мужчина должен был бы в нее влюбиться.

Это искренне удивило его, и она сразу успокоилась.

— Она ведь красивая, да? И ты сказал, что она хорошая.

— Но она проститутка, — возразил Марк. — Может, не по своей воле, но так оно было. Только сумасшедший может влюбиться в проститутку.

— Почему?

Теперь он столкнулся не только с языковыми трудностями, но и с другим образом мышления. Его жизнь, как и жизнь Терезы, была основана на догмате, установленном раз и навсегда. Он верил, потому что верил, и чем более древними, атавистичными и иррациональными были его убеждения, тем крепче они в нем держались. Тело проститутки, как и тело любой женщины, которого касался другой мужчина, считалось осквернённым, и любить такую женщину было преступлением против себя самого.

— Почему? — снова спросила Тереза.

— L'onore [1],— сказал он. Это был ответ, исключавший дальнейший спор.

Она кивнула в знак того, что принимает этот ответ, даже если и не согласна.

— Viva l'onore [2]. Когда же мы поедем? Мне ведь надо за несколько дней предупредить, что я ухожу.

Марк почувствовал облегчение: она не может уехать сразу. Он боялся, что она захочет вместе с ним возвратиться в Солсбери.

— У меня тоже еще есть кое-какие дела, — сказал он. — Неплохо, если ты побудешь в Бостоне, пока мы не соберемся. Мы можем вообще не заезжать в Солсбери. Возьмем детей из школы и поедем во Флориду или куда-нибудь еще и поживем там до отъезда. Пожалуй, ты могла бы уйти с работы дней через десять. К тому времени у меня уже все будет готово, мы прямо на машине заедем в школу, заберем детей и двинемся дальше.

— Представляешь их лица? Они только о тебе и говорят.

— До школы ничего не дошло? — спросил он.

— Нет, слава богу. Может, они что-то и слыхали, но никто им ничего не говорил.

— Я надеюсь, ты не лишишься сна, если еще раз не увидишь Солсбери?

— Нет,— ответила она.— Этого можно не бояться. А куда звонить тебе в случае чего?

Она увидела, как на какую-то долю секунды, под влиянием промелькнувшей мысли, вдруг изменилось его лицо, и ее снова охватили сомнения.

— Я только сегодня утром узнал, что мне придется на несколько дней уехать. Со мной нельзя будет связаться, но я сам постараюсь тебе позвонить.

— Пожалуйста, скажи мне, куда ты едешь, — попросила Тереза.

— Не могу, потому что сам еще не знаю.

— Значит, ты уезжаешь, но сам не знаешь куда? А я надеялась, что те времена прошли и забыты.

— Я оказываю услугу приятелю,— сказал Марк.— Объяснить тебе я ничего не могу.— Его умоляющий взгляд просил ее не задавать больше вопросов.— Через неделю я смогу все тебе рассказать,— пообещал он.— Я снова буду принадлежать себе.

Она отвернулась, чтобы он не видел ее слез.

— Ты обманываешь себя, но меня ты не обманешь, — сказала она. — Теперь я понимаю, что другим ты не будешь никогда.

16

Спина встретил Марка в аэропорту Матамароса, и они поехали через пустыню на юг под косым дождем, хлеставшим из нависших над землею туч.

— В Мемфисе мне удалось собрать Люпо, Ди Анжелиса и Чанфарани,— сказал Марк. — Мы долго спорили, но в конце концов договорились. Если они готовы сотрудничать, то, наверное, не откажутся и другие.

[1] Понятие чести *(итал.)*.
[2] Да здравствует честь *(итал.)*.

— Молодой Люпо...— проговорил Спина.— Я тысячу лет его не видел. Он женат на моей племяннице. Конечно, он будет сотрудничать, обязан: я в свое время ему здорово помог.

— Подставное лицо найдено, — сказал Марк. — И на всякий случай есть еще двое про запас.

— Сумасшедший?

— Нет, но немного чокнутый: участвует в различных движениях, пишет идиотские письма политическим деятелям и балуется оружием. Он выполнял для Брэдли всякие мелкие поручения.

— Он оставит дневник? — спросил Спина.

— Нет. По-моему, тут надо придумать что-нибудь новое. То, как поступил Кардильо в Гватемале, годится лишь для маленькой страны, а этого типа убирать сразу не надо. Пусть люди посмотрят на его фотографии в газетах и убедятся, что он псих. Тогда все сразу станет менее таинственным.

— Ты совершенно прав.

В желтой жидкой грязи на боку лежал автобус, и Спина сбавил скорость, чтобы не обрызгать застрявших пассажиров.

— Это дело грандиозное,— продолжал он, осторожно объезжая автобус.— Необходимо продумать все до мельчайших деталей. Наши друзья должны быть вне подозрений. В такой операции мы обязаны предусмотреть буквально каждый ход. Я не играю в шахматы, но мне говорили, что хороший игрок заранее видит всю партию.

— Здесь, в Мексике, несколько человек будут знать больше, чем положено,— сказал Марк.

— Угу, и это даже хуже, чем ты думаешь. Оказывается, твой друг из тюремного ведомства поделился своим доходом с приятелем, а тот разнюхал, что́ происходит. Это прибавит нам работы. Придется позаботиться также по крайней мере о парочке пациентов из тюремной психушки. А ты подумал, как Леон попадет сюда из Мехико-Сити? Его ведь кто-то должен доставить, а это создаст дополнительные сложности. И как быть с парнем, которого Кардильо посылает сопровождать Моргана?

— Если и его убрать, этому конца-края не будет, и к тому же Кардильо станет возражать. Парень — член Общества.

— Чтобы сделать все как следует, надо заткнуть даже щелочки. Мне здесь работы хватит надолго.

— Да, по-видимому, и друзьям в Штатах придется поработать не одну неделю.

— И тебе,— сказал Спина.— Не забудь, и тебе тоже.

— Это не входит в договор, — ответил Марк. — Меня освободили от чистки.

— Я сейчас предпочел бы быть на твоем месте: там, куда ты летишь, все на нашей стороне. Даже полицейские. Брэдли говорит, полицейские буквально стоят навытяжку, и я охотно этому верю. Тебе там окажут любую помощь. Но ты говоришь, что должен только все организовать и дать указания по проведению операции?

— И проследить, чтобы все шло в соответствии с планом. Таковы взятые мною обязательства.

— Почему это ты у них на положении великого консультанта? — сказал Спина. — Что хочешь, то и вытворяешь. Должно быть, из-за твоей аристократической внешности, а?

Сквозь полосу дождя проглянула саманная постройка, а за ней взлетно-посадочная полоса. Еще год назад она служила для посадки самолетов «ДС-3», принадлежавших мелкой местной авиакомпании, но после катастрофы последнего «ДС-3» здесь воцарилась тишина. В пристройке для пассажиров и багажа еще развевались на ветру обрывки реклам кока-колы и богемского пива. Несколько неприметных мексиканцев сидели на корточках под карнизом, закутавшись в одеяла и пончо; их лица выражали полное безразличие. В стороне, среди кактусов, стоял «бичкрофт» Моргана, с первого взгляда почти неразличимый среди обломков, которые обычно валяются на таких аэродромах.

— Как вы думаете, взлетит он при такой погоде? — спросил Марк.

— Конечно. Видимость достаточная, а остальное не имеет значения.

— Будем надеяться,— сказал Марк. — А что Морган знает об этом деле?

— Он знает только, куда летит. И никаких вопросов не задает. Он не будет выходить из самолета.

— Он так и остался четырнадцатилетним мальчишкой. Как по-вашему, думает он о том, что с ним может случиться? Кардильо говорил вам, что не хочет брать его назад?

— Да, говорил. Я еще должен подумать, как с ним поступить, когда ты исчезнешь.— И Спина хрипло рассмеялся. Точь-в-точь говорящий попугай, подумал Марк.

Морган сидел в пустом помещении за бывшей билетной кассой. Слегка улыбаясь, он поднял от комикса сосредоточенное лицо, но, увидев Марка, вскочил и протянул ему руку.

— Привет, Гарри,— сказал Марк. — Рад снова вас видеть.

— Мне надо кое-что взять в машине,— сказал Спина. — Я сейчас вернусь.

— Ну вот, Гарри, мы и отправляемся на небольшую прогулку,— сказал Марк.

— Это для меня огромное удовольствие, мистер Ричардс.— Гарри стоял по стойке «смирно», подтянутый и полный нетерпения, в новой куртке на молнии с тремя матерчатыми скаутскими нашивками, говорившими о его высоком летном мастерстве.

— Не знаю, как мне и благодарить вас за то, что вы для меня сделали,— сказал он.— Просто не верится, что я наконец буду свободным человеком.

— Не стоит благодарности,— ответил Марк. — Мне удалось помочь вам, а вы кое-что делаете для меня.

— Скорее бы уж взлететь,— сказал Морган. — Я даже как-то немного волнуюсь. Когда мы вылетаем?

— Как только подойдут другие пассажиры.

— Я никого из них случайно не знаю?

— Представьте себе, знаете. Помните Боначеа Леона, с которым вы летали в Гватемалу?

Молодое жизнерадостное лицо Моргана словно вдруг постарело.

— Слишком хорошо помню.

— Он вам не нравится?

— Мне кажется, что это не тот человек, который может нравиться, мистер Ричардс. Я могу терпеть его, если это необходимо, но при виде его у меня мурашки бегают по коже. Он напоминает мне одного героя из фильма ужасов. Никому не охота находиться в обществе ненормального человека.

— Придется вам, Гарри, на какое-то время примириться с его присутствием. Сколько будет продолжаться полет?

— Пять часов, мистер Ричардс. Плюс-минус полчаса. Сейчас дует попутный юго-западный ветер силой в три балла, потом он стихнет, и мы немного потеряем скорость. Но у нас стоят дополнительные баки с горючим, так что в этом смысле никаких осложнений не будет... — Он говорил быстро, со словоохотливостью одинокого человека.— Здесь надо ожидать небольшой турбулентности, но мы будем лететь ниже этих слоев. Нам все равно придется лететь как можно ниже, чтобы нас не запеленговали. Хотелось бы по возможности обеспечить вам приятный ровный полет. У нас отличная машина: она справляется с турбулентностью лучше, чем «ДС-7». Мы можем не думать о погодных условиях. Сентябрь здесь скверный месяц, но как только минует октябрь можно не волноваться. Ноябрь — месяц неплохой, когда нет дождя, а декабрь просто прелесть. Жаль, что вы не назначили полет на декабрь. Я иногда летал по этой трассе с грузом из джунглей, о котором я вам рассказывал, и всегда любовался ландшафтом. Как здорово снова сесть за штурвал. Сегодня мы вряд ли много увидим, но полет должен быть приятным и ровным...

Снаружи по мокрому гравию зашуршали шины, и минуту спустя Спина, появившийся в дверях, махнул Марку рукой.

— Извините, Гарри, я на минутку,— сказал Марк. Он прошел вслед за Спиной в зал ожидания и увидел двух людей, стоявших к нему спиной. Один, маленький и худощавый, в армейских брюках и клетчатой рубашке, был Боначеа Леон. Другой, коротконогий, в зеленой, плотно облегающей куртке военного покроя, был постарше и покруп-

нес. Оба стояли, склонившись над каким-то бумажным свертком, перевязанным веревочкой, которую второй неторопливо распутывал тонкими пальцами. Рядом со свертком на скамейке лежала винтовка в коричневом чехле.

— Это еще кто такой? — спросил Марк.

— Его интимный друг, представь себе,— ответил Спина. — Я сейчас разговаривал с одним из тюремных надзирателей. Он отказывается куда-либо ехать без него.

— Я что-то не совсем понимаю.

— Куда бы он ни направлялся, этот тип должен обязательно ехать вместе с ним. Они, понимаешь, вроде как влюбленные,— сказал Спина с отвращением.

— И этот тоже тронутый?

— Конечно. Он идет в качестве нагрузки, без дополнительной оплаты.

— Что будем делать? — спросил Марк.

— А как ты договаривался со своим другом в Мехико-Сити?

— Что он пришлет Леона, а я позабочусь о том, чтобы он вернулся назад. Насчет второго психа ни слова не было сказано.

— Итак, у нас на руках трое тюремщиков и водитель, которые сейчас уедут и будут рассказывать своим приятелям и соседям, что́ они сегодня здесь видели, да к тому же еще один псих — и всех их надо убирать, но когда и где? Разве у Леона нет жены и ребенка, к которым он очень привязан?

— Их пришлось оставить на Кубе,— сказал Марк.

— Угу, я что-то припоминаю. По-видимому, у него любвеобильное сердце. Он наотрез отказывается ехать без этого типа, так что, похоже, придется нам брать на себя двойной риск. А если эти психи решат, что им не хочется возвращаться в Мексику?

— Этого не случится. Во-первых, они окажутся одни в чужой стране, а во-вторых, они знают, что их будут разыскивать. В Мексике же им живется неплохо, там их не обижают.

— Придется рискнуть. А когда они вернутся, надо будет решить, что с ними делать дальше,— сказал Спина.

— Сейчас все равно поздно что-либо предпринимать.

— Послушай,— сказал Спина,— эти ребята, охранники, хотят уезжать, а мне на всякий случай нужны их фотографии. Задержи-ка их на минутку, я сделаю парочку снимков.

Охранники, дрожа от холода в легкой форме цвета хаки, стояли в дверях вместе с водителем фургона лицом к серой дождевой завесе. Один из них, с огромными, как у Панчо Вильи, усами, звенел наручниками, которыми были прикованы друг к другу Боначе́а Леон и его приятель Марк отцепил фляжку, висевшую у него на поясе, и пустил ее по кругу. Охранники заулыбались, показывая ровные зубы. Тем временем Спина, прикладывая к глазу фотоаппарат, незаметно ходил вокруг.

— Так мы поехали? — спросил охранник, говоривший по-английски. Остальные приподняли шляпы и снова улыбнулись. — Ваш покорный слуга,— добавил он и вышел вместе с остальными под дождь, а водитель побежал запускать мотор.

Спина убрал аппарат.

— Я завтра переправлю пленку Паскуале,— сказал он. — Надеюсь, все получится как надо — правда, свет был слабоват.

Они вернулись к Леону и его другу; тот уже развязал веревочку и развернул сверток, в котором оказались два огромных мексиканских сандвича с помидорами, мелко нарезанным перцем и мясом. Он деликатно двумя пальцами взял один из них и передал Леону, который откусил кусок и начал быстро жевать.

Внезапно Леон почувствовал, что за ним наблюдают. Он хитро улыбнулся, разломил сандвич пополам и протянул половину Марку. Было заметно, что он рад встрече. Тоненькие волосики возле углов рта были у него вымазаны помидорным соком.

— Хотите кусочек тако? — спросил он.

Марк покачал головой.

— Мой друг Эрнесто,— представил Леон. — Мой самый лучший друг.

Приятель поклонился.

— Encantado [1],— сказал он.

[1] Очень приятно *(исп.)*.

— Я должен сфотографировать и этого,— сказал Спина.— Давай подойдем к дверям, там посветлее.

Марк кивнул головой в сторону двери, и все четверо направились к ней. Спина сделал снимки, и тут, как будто кто-то повернул невидимый выключатель, дождь мгновенно прекратился и появилось подернутое дымкой солнце. Краешком глаза Марк увидел, как Морган, в накинутой на голову куртке, перескакивая через лужи, бежит к самолету.

— Кажется, можно вылетать,— сказал Марк.

— Да, наверное, пора. — В голосе Спины появились какие-то тягучие просительные нотки: — Послушай, может, ты все-таки вернешься и поможешь мне? За эти несколько дней никто в Солсбери по тебе не соскучится.

— Не могу, к сожалению. Я должен заняться семейными делами,— ответил Марк. — Хочу сразу же вылететь в Делано. Там живет наш друг, у которого есть виноградник. Если мы еще задержимся, то не успеем к уборке винограда. Ребятам сбор винограда доставит огромное удовольствие.

— Сбор винограда,— сказал Спина,— как я это когда-то любил. В последний раз я был на сборе винограда лет сорок назад.— Он не стал настаивать.— Ну, ладно, может, мы увидимся и раньше, чем ты предполагаешь. Калифорния мне нравится. Сколько ты собираешься там пробыть? Если эта штука пройдет гладко, я могу неожиданно нагрянуть к тебе с визитом. Запиши-ка мне свой адрес, мало ли что бывает.

Морган уже добежал до «бичкрофта» и уселся в пилотское кресло. Он был счастлив и принялся насвистывать свою любимую песенку «Дьявол в небе».

17

Лежа в кустах, Боначеа Леон четыре раза выстрелил в человека, сидевшего в приближавшейся машине, подождал секунду, как бы осмысливая происшедшее, затем вскочил и помчался вверх по обложенной дерном насыпи, перемахнув на ходу через забор. Марк попытался было отнять у него винтовку, но Боначеа не выпустил ее из рук и, увернувшись, со злой обезьяньей гримасой побежал между рядами машин к железнодорожной башне, где стоял их «форд». Эрнесто, швырнув чехол в кусты, побежал за ним, а Марк бросился вдогонку за Эрнесто.

На стоянке находились сотни машин, плотно прижатых друг к другу, и Леон пробирался между ними, словно обезьяна, проворно перескакивая через капоты и багажники. Кругом не было ни души, лишь вдалеке на путепроводе маячили какие-то люди. Стояла необыкновенная тишина — кортеж привлек к себе внимание жителей города, и они сейчас заполняли улицы по всему пути следования. Через просветы между рядами машин был виден «форд» цвета высохшей грязи с наклейкой на ветровом стекле: «Голдуотера — в президенты». Филипс, человек Брэдли, ожидал их, стоя на бампере; он увидел Леона, бегущего к нему с винтовкой, и на его лице отразился ужас. Марк бросился на Леона, вырвал винтовку, огляделся, ища, куда бы ее швырнуть, и, ничего не придумав, бросил через окно за спинку заднего сиденья. Он совсем потерял голову. Эрнесто застрял где-то в лабиринте машин, а Филипс начал размахивать руками и кричать.

Со стороны Элм-стрит донесся вой полицейских сирен, и среди машин, рядом с тем местом возле забора, где они стояли, поджидая приближения кортежа, замелькали головы бегущих людей. Эрнесто наконец добежал и, тяжело дыша, повалился на заднее сиденье рядом с Леоном. Филипс завел мотор, резко нажал на сцепление, повернул влево так, что завизжали покрышки, и с ревом помчался вдоль линии машин. Дорога была перегорожена грузовиком, но, увидев приближающийся «форд», водитель подал в сторону, пропуская их.

Марк потянул Филипса за руку.

— Потише, приятель. Спокойнее. Чем медленнее мы поедем, тем лучше это будет выглядеть.

Полицейские машины и пешие полицейские хлынули в район железнодорожных складов со стороны Хьюстон-стрит, и через минуту «форд» остановил офицер на мотоцикле. Филипс показал ему специальный пропуск, и офицер, включив сирену, поехал впереди и вывел их на Хьюстон-стрит к самому путепроводу, возле которого помахал им рукой и помчался обратно. На дороге, ведущей из города, машин было мало, и Филипс, прибавив скорость, стал в крайний левый ряд, свернул на бульвар Зэм, затем на шоссе Торнтон и выбрался за город. Эрнесто немного отдышался, и щеки его снова порозовели. Бросив восхищенный взгляд на задремавшего Леона, он произнес:

— Era una maravilla. Он был великолепен.

До аэропорта Райт-Филд в округе Ван-Зенди они ехали час, почти все время со скоростью около восьмидесяти миль. Леон продолжал спать, а Эрнесто напевал какую-то испанскую песенку, затем внезапно высунулся из окна. и его вырвало. Марк думал о безоблачном, счастливом будущем, которое его ожидало. В воротах аэропорта Филипс показал пропуск, и они въехали на бетонированную площадку перед ангарами. «Бичкрофт» стоял в двухстах ярдах, но Моргана не было видно. Этот всегда оживленный аэропорт сейчас был странно пустынным. Из-за груды мешков с удобрениями вышел человек в форме охранника и направился к ним, играя цепочкой свистка.

— Не видели пилота с этого самолета? — крикнул Марк.

— Он пошел вон туда, в контору. Сейчас вернется. Какие последние новости из Далласа?

— Мы из Остина. Только что приехали.

— Слышали? Президента застрелили.

— Слышали.

— И жену тоже. И, кажется, еще пару человек, которые были с ним в машине. Какой-то сумасшедший с пулеметом. Я считаю, что поделом ему. Мы здесь не слишком-то опечалены.

— Поехали в контору,— сказал Марк Филипсу.— Что этот сукин сын затеял?

Они подъехали к служебному входу, и Марк вбежал в контору. В первой комнате, шатаясь и держась друг за друга, стояли три человека с бутылками пива в руках. Из бара доносился бессмысленный смех, крики «ура» и нестройное пение. Войдя, Марк увидел какого-то человека, отплясывавшего мексиканский танец вокруг брошенной на пол шляпы. Другой, обхватив его за плечи, всовывал ему в руку стакан. Человек с крупным мясистым лицом техасца обнимал бармена. Еще один держал плакат, на котором была изображена голова президента анфас и в профиль, а внизу написано:

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПО ОБВИНЕНИЮ В ИЗМЕНЕ СОЕДИНЕННЫМ ШТАТАМ.

Марк выбежал под пьяный смех, похожий на зловещие крики тропических птиц, и бросился сначала в одну комнату, затем в другую. Наконец, в дверях мужского туалета он увидел качающегося Моргана, схватил его за плечи и заглянул в лицо. Под мальчишескими глазами были красноватые пятна, а по лицу расползлась бессмысленная улыбка.

— Где тебя черт носит? — сказал Марк.— Кто тебе разрешил оставить самолет?

Колени Моргана подогнулись, лицо его оказалось на уровне груди Марка.

— Я все время был там, как вы велели. Я спал. Потом подошли какие-то ребята и позвали с ними выпить на радостях.

— И ты пошел. Сколько ты выпил?

— Наверно, две рюмки виски со льдом. Чтобы отметить вместе с ребятами. Один парень сказал, что покараулит «бич».

— Ты нализался, как свинья,— сказал Марк.— Наверно, тебе чего-нибудь подсыпали. Пошли отсюда.— Он схватил Моргана под руку, чтобы помочь ему удержаться на ногах, и вывел из здания.— О чем ты с этими парнями разговаривал? Ты рассказал им что-нибудь о себе или о нас?

— Ничего я не рассказывал. Возможно, я и сказал, что мы летим в Хьюстон, но больше ничего. Не помню. Если кто-нибудь спросил, может, я и ответил.

— Значит, сказал, да? Ты записал в журнале аэропорта, что летишь в Литл-Рок, а говоришь им, что в Хьюстон! Сначала ты оставляешь самолет, затем делаешь вторую глупость. Ты что, думаешь, они такие же идиоты, как ты? Ведь кто-то непременно нач-

нет интересоваться, что здесь происходило. Они сейчас позвонят в Хьюстон, и нам там подготовят торжественную встречу.

— Да эти ребята и не слушали, что им говорят. Президента подстрелили, и они веселились. Они были счастливы, как будто это самое радостное событие в их жизни. Меня из вежливости спрашивают, куда мы летим, а я из вежливости отвечаю. Когда с кем-нибудь пьешь, всегда так бывает.

— Идиот! — сказал Марк.— Федеральная полиция уже ждет нас в Хьюстоне. Они объявят всеобщий розыск.

Один шанс из четырех, подумал Марк, что именно так и будет. Он остановился и повернул Моргана лицом к себе.

— Слушай, у тебя хватит горючего, чтобы лететь сразу в Матаморос, не садясь в Хьюстоне?

Морган думал; лицо его напряглось.

— Да-а,— сказал он через минуту.— Хватит, если полетим прямо через Мексиканский залив, а не вдоль побережья.

«Другого выхода нет»,— думал Марк. Он собирался расстаться с Морганом и остальными в Хьюстоне и лететь первым самолетом в Нью-Йорк, но теперь этот план неосуществим. Теперь он вернется вместе с ними на маленький аэродром возле Матамороса. Задержится еще на пять-шесть часов, ну и что? «Как бы там ни было,— убеждал он себя,— завтра я все равно буду в Бостоне».

Под ними, как прожилки на крыле бабочки, расстилалась дельта реки Бразос. Марк сидел на переднем пассажирском месте, немного правее уже протрезвевшего Моргана. Леон снова заснул, на лице его было выражение безмятежной усталости, иногда сменявшееся судорожной улыбкой. Эрнесто бормотал себе под нос какие-то мексиканские стихи и крестился всякий раз, как самолет попадал в воздушную яму. Они пролетели Хьюстон, впереди темнел Мексиканский залив. Солнце уже готовилось исчезнуть за горизонтом где-то в районе Корпус-Кристи, над которым, словно голубой дым, висела раскаленная мгла. Все шло как будто нормально. Пролетая над Хьюстоном, Морган сделал жест в сторону приборов и поднял вверх большой палец, чтобы заверить Марка, что горючего вполне достаточно.

Операция была выполнена — последняя операция такого рода для Марка. Внезапно он почувствовал себя опустошенным, как поэт, у которого пропало вдохновение. Иссякло какое-то таинственное вещество, вырабатываемое его организмом и до сих пор защищавшее его от страха. Исчезла холодная веселость, которую он испытывал при уничтожении марокканцев и позже, когда он лично возглавлял ликвидацию шайки Мессины, и еще совсем недавно, когда он был свидетелем смерти Кобболда. В Далласе он был спокоен, но угрюм, точно человек, потерявший свое призвание. Это был первый признак внутреннего протеста. В нем что-то сломалось; он больше не был самим собой.

Спина, который ждет их на маленьком аэродроме, будет удивлен и рад, увидев его снова. Наверное, он возобновит свои уговоры, но Марк тактично откажется.

Он испытывал новое ощущение свободы, но вместе с ней пришло и чувство какой-то опустошенности и подавленности. В течение двадцати лет он подчинялся такой жесточайшей дисциплине, какой не существует ни в одной армии мира. Он был солдатом ударных войск, беспрекословно выполнявшим приказы своих командиров, слепо преданным делу. Теперь он оказался один, потому что отрубил себя от них. Перебирая прошлое, Марк понял, что поворотный момент наступил, когда он узнал, что в благодарность за услугу Дон К. отдал его в распоряжение Брэдли, поставив всю его семью под угрозу вендетты, в конечном счете приведшей к смерти Паоло. Божество померкло. Потеряв веру в него, а вместе с ней в неясно очерченные правила кодекса чести, выполнению которых он отдавал все свои силы, он одновременно лишился и веры в себя.

Спина тоже чувствовал разочарование. Оба они — Марк понимал это — были низведены до положения наемников. То, что делалось, не имело ничего общего с кодексом, на верность которому они присягали. Это была сделка, контракт, причем один из самых невыгодных. Роль Спины заключалась в том, чтобы заставить замолчать многие голоса: в найме специалистов-ликвидаторов, в подкупе полицейских, политических деятелей и судей, в подготовке грандиозного обмана всей нации. Пусть он справляется с этим

один. Что-то в этой приближавшейся ripulitura напомнило Марку статью в «Ридерс дайджест» о фараоне, которого похоронили вместе с его сокровищами; после этого все, кто строил в гробнице тайник, были задушены палачом, а потом задушили и самого палача.

Его голова склонилась на грудь. Через несколько секунд он задремал, и ему приснилось, что он разговаривает с Терезой по телефону. «Я уже в пути. Arrivo subito» [1].

Ее голос был далеко-далеко — какой-то безжизненный и убитый горем: «Tu non arrivi mai. Addio» [2].

Марк все еще держал в руке трубку, что-то возражая, хотя на том конце провода уже наступило молчание. Он вздрогнул и проснулся. Плохо закрепленные предметы в кабине громко дребезжали; Морган обернулся и взглядом показал на привязные ремни.

Пристегивая ремни, Марк в иллюминаторе увидел облака; их верхушки, освещенные заходящим солнцем, поднимались высоко в небо. «Бичкрофт» на полной скорости набирал высоту, оставляя позади себя шлейф выхлопных газов. Блестящие облака, гладкие и розовые, как тела молодых девушек, проносились под ними, но вдруг небо исчезло, и они стремительно полетели вниз. Привязные ремни Эрнесто лопнули, он вылетел из кресла, ударился головой о потолок и с открытым ртом упал на пол. Леон извергал потоки рвоты, а Морган, спокойный и собранный перед лицом возникшего чрезвычайного положения, мастерски овладел машиной и, найдя в облаках разрыв, выбрался в спокойные воздушные слои. Внизу под ними, словно мягко поблескивающая гранитная мостовая, расстилалось море, а на востоке в сгущающейся синеве ночи маячила бледная полоска мексиканского побережья.

— Вот в чем красота полета,— сказал торжествующе Морган, но никто не слышал его слов.

Самолет плавно скользил, приближаясь к Матаморосу; уже были видны приветливо мерцающие береговые огни. Марк отстегнул ремни, чтобы помочь Эрнесто подняться, но в это время в хвосте самолета взорвалось устройство размером не больше обыкновенных наручных часов. Оно должно было сработать через сорок пять минут после заправки в Хьюстоне. Стоило увеличить это время еще на десять минут, и понапрасну пропали бы громадный опыт и изобретательность. Звук взрыва показался Марку щелчком, словно кто-то разломил сухой бисквит. Когда самолет начал падать, он схватился за подлокотники кресла, думая, что они снова попали в воздушную яму.

Серое море взметнулось и поглотило их.

[1] Скоро приеду *(итал.)*.
[2] Ты никогда не приедешь. Прощай *(итал.)*.

■

ЯКУШКИНА ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА.

Советский переводчик с английского языка. Переводила произведения Ирвина Шоу, Дж. О'Хары, У. Хэмфри, Ст. Тёркела («ИЛ» № 8, 9, 1969), С. Хилл («ИЛ» № 1, 1976).

Критика

АЛЛА ЛЮБАРСКАЯ

ЦИТАДЕЛЬ НАДЕЖДЫ

Томик стихов с ленинской книжной полки

В каталоге личной библиотеки В. И. Ленина в Кремле значится ряд книг, написанных свидетелями рождения Советской республики, ее первых шагов. Зарубежные авторы внесли свой вклад в летопись революции.

По-разному создавались эти книги, неповторимым образом сложилась их судьба, непохожи друг на друга люди, которые их писали. У каждого — свой взгляд, свой, диктующий оценку явлений, опыт. Но есть и общее: произведения, на заглавном листе которых стоят имена Джона Рида, Альберта Риса Вильямса, Артура Рэнсома, Генри Брейлсфорда, Джона Кларка, написаны людьми прямыми и честными. У них зоркий взгляд, и им не занимать мужества.

Мы публикуем очерк Аллы Михайловны Любарской о талантливом шотландском поэте Джоне С. Кларке.

«Товарищу Н. Ленину с приветом от Джона Кларка» — такую дарственную надпись на английском языке мы увидели на форзаце книги, хранящейся на ленинской книжной полке. Сборник Джона С. Кларка «Сатиры, лирика и стихи»[1] вышел в 1919 году в Глазго, а год спустя после издания был преподнесен В. И. Ленину на II конгрессе III Интернационала.

Мы напрасно искали имя Джона Кларка в английских справочниках и историко-литературных изданиях. Ни в них, ни в солидных английских «Who is Who» ни слова не сказано об этом поэте. Между тем стихи Кларка хорошо знали многочисленные почитатели его поэзии. Ею увлекались не только в Шотландии, где докеры

[1] Clarke John S. Satires, Liryes and Poems. Glasgow, The Socialist Labour Press, 1919.

ЛЮБАРСКАЯ АЛЛА МИХАЙЛОВНА

Советский литературовед, кандидат филологических наук. Автор книги «Вилфрид Скоуэн Блант. Жизнь. Творчество. Борьба» (1969), многих статей и очерков, публиковавшихся в периодических изданиях, в том числе в «Иностранной литературе».

Клайда [1] считали Кларка своим «поэтом — лауреатом», но и во Франции, Америке, России, Индии.

«Стихи, говорящие о глубокой решимости призвать к возмездию. Они дышат ненавистью и презрением к классу угнетателей, зовут рабочего человека распрямиться, выразить во весь голос свой протест против узаконенного рабства»,— так охарактеризованы поэтические творения Кларка в темпераментно написанном предисловии к сборнику.

«Была ли возможность у Кларка познакомиться с социальной действительностью достаточно широко, чтобы судить о ней справедливо?» — спрашивается в предисловии.

От Тейнсайда в Северной Шотландии до Мадагаскара Кларк беседовал с людьми, принадлежащими к самым различным слоям общества, а также с теми, кого общество отвергло. И в своих стихах Кларк выражал страдания и чаяния простых тружеников. В предисловии говорится: «Каждый наделенный зрением и слухом не усомнится в справедливости приговора, который Дж. С. Кларк выносит господствующему общественному строю. Приговор этот — смерть!»

Четко и бескомпромиссно определяет Кларк свою позицию в стихотворении о красном флаге: «Пусть все, кто живут и страждут, жизнью биты не однажды, утолят надежды жажду красным флагом поутру! Стал он и моей судьбою, не отдам его без бою» [2]...

В поисках следов революционной деятельности Кларка мы обнаружили несколько английских изданий, которые вышли в серии «Школы пролетариата». На их светло-зеленой обложке значится: «Книга о бунтарях» [3]. Эти недорогие, по шесть пенсов, выпуски адресованы молодым рабочим. Издателем брошюр был Джон С. Кларк, ему же зачастую принадлежали стихи, включенные в них.

Из объявления, помещенного в одной из брошюр, явствует, что в Шотландии действительно существовали «Школы пролетариата». Занятия в одной из них проводились каждое воскресенье с сентября 1918 по апрель 1919 года в доме № 550 на Аргайлл-стрит в Глазго. Проводили занятия шотландские деятели революционного рабочего движения, в том числе Джон С. Кларк.

Познакомимся поближе с томиком стихов поэта, хранящимся на ленинской полке.

На странице 60-й — «Баллада о большевиках». С презрением отзывается в ней поэт о людях, чья «деликатная» натура заставляет их содрогаться при мысли о революции. Они, пишет Кларк, с удовольствием слушают раскаты далекого грома, но надеются, что гроза обойдет стороной. Восторженно приветствует поэт социалистическую революцию в России:

...Ткач с Невы, крестьянин с Волги —
Был их путь к победе долгим.
Гнет стряхнули, цепи рабства в пыль
легли...
Свергли злобного тирана и залечивают
раны.
Клич свободы к звездам рвется от земли...

Когда была написана «Баллада о большевиках», на которую автор обращал особое внимание В. И. Ленина?

Здесь на помощь приходят брошюры из серии «Школы пролетариата». В одной из них, вышедшей в ноябре 1918 года под № 19, опубликовано это поэтическое произведение Кларка. На обложке брошюры — портрет В. И. Ленина работы художника В. М. Грегора.

Стихотворения, посвященные Карлу Марксу, Карлу Либкнехту и Розе Люксембург, Юджину Дебсу, Джиму Конноли, чей дух «навсегда остался несломленным», перемежаются в сборнике с лирическими стихами о прекрасной родине их автора, Нортумберленде, со злой сатирой на тех, кто присваивает себе плоды чужого труда. В небольшой сатирической зарисовке использован строй детского стишка «Дом, который построил Джек...»:

Вот перед нами бедняга Джек
Работает мастерком.
Ложится кирпич под его рукой —
И вот уж построен дом.
Построен дом, но в тот дом
Для Джека закрыт вход...
Джек в трущобе приют найдет,
С него и плату побольше сдерет
Лорд, что в прекрасном доме живет,
Который построил Джек!

Известно, какое значение придавал В. И. Ленин воспитанию молодежи в духе верности революционным традициям во всем мире. В его личной библиотеке значится небольшая — всего 32 страницы — брошюра «Коммунистический Интернационал молодежи. Отчет о Первом конгрессе Интернационала, состоявшемся в Берлине 20—29 ноября 1919 года»[1]. Публикация была осуществлена Исполнительным Комитетом Коммунистического Интернационала молодежи, представлявшим в данном случае движение «Школ пролетариата», то самое, чьим органом были в Шотландии издаваемые Дж. Кларком брошюры.

Джон Кларк ненавидел войну. Он называл ее организованным убийством. Он требовал от своего правительства ответа за бессмысленную гибель молодых англичан, скорбел о них в «Балладе о Бат-стрит».

Отношение к империалистическим войнам выражено и в подборе иллюстраций к сборнику. Так, на одной из них обезьяна,

[1] Река в Шотландии.

[2] Здесь и далее переводы стихов Дж. С. Кларка, впервые публикуемые на русском языке, принадлежат автору очерка.

[3] Clarke John S. The Young Workers Book of Rebels. Proletarian Schools Series. Glasgow, 1918.

[1] Библиотека В. И. Ленина в Кремле. Каталог. М., 1961, стр. 684, № 8433.

АЛЛА ЛЮБАРСКАЯ

ЦИТАДЕЛЬ НАДЕЖДЫ

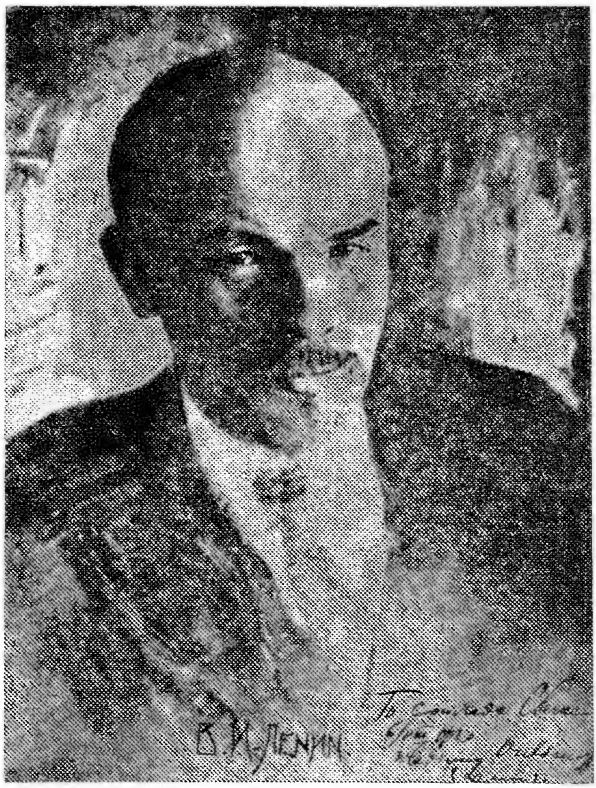
глядящая с дерева на людей, убивающих друг друга, восклицает: «Слава богу, эволюция обошла меня!»

В то же время поэт верит в справедливость освободительных войн, в справедливость борьбы русского народа. Он ликует вместе с ним, празднуя его освобождение.

Автор сборника «Сатиры, лирика и стихи» ищет в национальном прошлом Великобритании героические страницы, рас-

о «терроре» в Советской России. Еще в сборнике «Сатиры, лирика и стихи» Джон Кларк поделился с читателем соображениями по поводу возводимых врагами Советской России обвинений:

Вы, кто пишет о «терроре»,
Оглянитесь — крови море.
Пытки, тюрьмы, слезы, горе —
Вот против чего ведет
Справедливый бой народ!



сказывающие о революционерах — борцах за счастливое будущее народа. Он пишет о Джоне Болле, о Джеймсе Конноли, славном борце за свободу ирландцев.

Встречался ли поэт с В. И. Лениным?

Ответить на этот вопрос помогла счастливая находка — еще одна книга Джона Кларка.

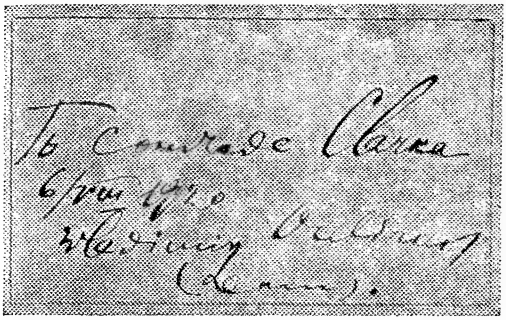
Уже само название книги сразу вводит в атмосферу острой полемики — «Зарисовки, сделанные в России во время «красного террора»[1]. Взятые Кларком в кавычки слова — его ответ на заполнившие буржуазные газеты сенсационные материалы

У книги Кларка подзаголовок — «Воспоминания о тайном путешествии в Россию, предпринятом, чтобы присутствовать на II конгрессе III Интернационала». Он проливает свет на то, как попал в Россию подаренный В. И. Ленину поэтический том, о котором шла речь выше. Его, судя по всему, привез сам автор.

С обратной стороны фронтисписа книги Кларка «Зарисовки» на нас смотрит знакомый портрет В. И. Ленина, в углу четкая и разборчивая надпись по-английски, сделанная ленинской рукой: «Товарищу Кларку. Владимир Ульянов (Ленин)». Надпись датирована 6 августа 1920 года. Именно тогда, очевидно, передал свою фотографию Кларку Владимир Ильич. И скорее всего тогда же преподнес поэт Ленину сборник стихов. «Я много раз разговаривал с В. И. Лениным во дворце,— читаем мы в книге Дж. Кларка,— а однажды посетил

[1] Clarke John S. Pen Pictures of Russia under the «Red Terror». Reminiscences of a Surreptitious Journey to Russia to Attend the 2nd Congress of the 3rd International. Glasgow, National Workers' Committee, 1921.

его кабинет». Находим мы в «Зарисовках» и такую запись: «Я стоял у лестницы, когда неожиданно услышал быстрые шаги и чей-то раскатистый голос произнес: «Вам знакомо это место?» Я обернулся и оказался лицом к лицу с Вл. И. Ульяновым. Вместе мы миновали небольшую церковь, завернули за угол... Ленин - я употребляю имя, под которым он гораздо более известен,— говорил о войне с Польшей, об



«Товарищу Кларку. 6.VIII. 1920. Владимир Ульянов (Ленин)». Дарственная надпись Владимира Ильича на фотопортрете, подаренном шотландскому поэту.

угрозе военных действий Великобритании». Кларк точно датирует первую встречу с В. И. Лениным. Это, как сказано в его книге, «годовщина первого дня мировой войны» — то есть 4 августа. Мы имеем возможность восстановить, что стоит за скупыми строками этой записи «Зарисовок». 4 августа 1920 года английское правительство направило Советскому правительству ноту, полную угроз. Ее, очевидно, и имел в виду В. И Ленин в разговоре с Джоном Кларком.

Кларк рисует В. И. Ленина как человека, чуждого какой бы то ни было напыщенности, показного превосходства. Кларку довелось трижды слушать выступления Владимира Ильича на немецком и французском языках. «Он,— писал в своих «Зарисовках» Дж. С. Кларк,— не ораторствует, а говорит донося до слушателей каждое слово, скупо жестикулируя, лицо оживлено. Свою иронию он подчеркивает легким смехом».

«Я совершенно уверен,— свидетельствовал Кларк,— что среди всех людей, собравшихся здесь из разных стран мира, не было ни одного мужчины, ни одной женщины, которые бы не испытывали любви к Ленину. Несмотря на свою огромную занятость в это трудное для него время, он всегда находил ободряющее слово, добрую улыбку, готов был терпеливо выслушать каждого».

6 августа 1920 года В. И. Ленин выступает на 16-м заседании II конгресса Коминтерна. Владимир Ильич дает самую высокую оценку шотландским товарищам, Галлахеру, его друзьям, которые умеют вызывать у народных масс боевое, революционное настроение. Эта оценка в полной мере относилась и к присутствовавшему на заседании конгресса Дж. Кларку. Его стихи, вся его гражданская позиция убеждают, что «поэт — лауреат докеров Клайда» внес свою скромную лепту в консолидацию сил первых друзей Советской России.

Многое связывает вышедшие в 1919 году в Глазго «Сатиры, лирику, стихи» с «Зарисовками». Еще в «Балладе о большевиках» сформулировано отношение автора к заговору против молодой республики. Он обрушивается на позорный сговор белогвардейцев и иностранных интервентов. «Поганой ордой», «преступниками, которые сами накликали беду на свою голову», называет их Кларк. Действия республики Советов против врагов, покусившихся на ее существование, Кларк рассматривает как необходимую и естественную защиту завоеваний революции. Не только о гнете царизма, обрекшего на страдания миллионы тружеников, ведет в своих книгах речь Кларк. В отповеди тем, кто раздувал слухи о «кровожадных большевиках», Кларк выражает глубокое возмущение акциями интервентов. Словно «волки, шакалы и гиены», набросились они на Советскую Россию. Ненавистью к ним, «мешающим стране большевиков восстановить силы», проникнуты заключительные строфы баллады. Поэт «бьется об заклад, что для интервентов вскоре наступит возмездие».

«Баллада о большевиках» — не единственное произведение Кларка, которое можно рассматривать как манифест охватившего в те годы всю рабочую Англию движения «Руки прочь от России!». Стихотворение «Выполняя приказ», которое автор снабдил подзаголовком «Монолог в майский день в Мурманске», передает горькие раздумья английского солдата, оторванного от дома, где остались жена и дети. Здесь, у Северного Ледовитого океана, его заставляют стрелять в большевиков, защищать «высшую справедливость». Какова же эта «высшая справедливость»? Вот факты, характеризующие ее: 52 тысячи брошено интервентами в тюрьмы Севера и 8 тысяч расстреляно по приговорам военно-полевых судов. Возможно, знал Кларк и о том, что на острове Мудьюгском, близ Архангельска, получившем зловещее название «острова смерти», интервенты подвергали пыткам мирное население. Что из-за недостатка мест в тюрьмах Мурманска, куда недобрая судьба забросила героя его стихотворения, в плавучие тюрьмы были превращены корабли Мурманской флотилии.

Обратимся к английским журналам и газетам того времени. Перелистаем те из них, которые не просто могли находиться

АЛЛА ЛЮБАРСКАЯ
ЦИТАДЕЛЬ НАДЕЖДЫ

в поле его зрения, а те, где, как мы установили, Кларк сотрудничал. Это «Уоркерс дредноут» («Дредноут рабочих», в 1920—1921 годах орган Компартии Великобритании), это еженедельник «Кол» («Призыв») и «Коммунист»[1]. Здесь читаем сообщения о высадке английского военного десанта в Мурманске. О захвате интервентами Архангельска. О действиях интервентов, которые, как особо отмечалось в рабочих изданиях, прикрывались разглагольствованиями о «спасении России от анархии и террора». «Британский рабочий класс,— заявлял орган социалистической партии журнал «Кол»,— не позволит, чтобы его использовали для разгрома рабочей республики».

Логика замысла и построения поэтического сборника Кларка закономерно привела к рождению его «русской» книги, утверждающей социалистический строй. Это был именно тот путь, каким шел британский пролетариат и один из его передовых отрядов — «Красный Клайд» — к защите Советской республики.

В 1936 году в Лондоне вышла книга «Восстание на Клайде»[2]. Ее автор — Уильям Галлахер, активный деятель, а впоследствии председатель Исполкома Компартии Великобритании. Примечательно: именно Галлахеру посвятил свою «русскую» книгу Джон Кларк.

В «Восстании на Клайде» Галлахер рассказал о том, как труженики этого славного своими традициями района приветствовали революцию в России. Столь же стойко выступили они в ее защиту, влившись в армию трудящихся Англии — участников движения «Руки прочь от России!».

Начиная с марта 1918 года, когда первый отряд английских солдат высадился с крейсера «Глори» на мурманский берег, английское правительство столкнулось с небывалым по своему размаху массовым рабочим движением. В январе 1919 года огромный промышленный район Клайда потряс ряд мощных забастовок. Достаточно сказать, что в одной из них, состоявшейся в Глазго 28 января 1919 года, участвовало около 100 000 человек. И в книге, принесенной в дар Ленину, и в той, центральную главу которой Кларк назвал «Цитаделью надежды», он выражал настроения докеров Клайда, обувщиков Нориджа, тружеников Лондона, Белфаста, Эдинбурга, горняков Йоркшира и южного Уэльса.

Сатиры и стихи Кларка, говорится в предисловии к томику с ленинской полки, «размножались и расклеивались в доках». «Балладу о большевиках» читали докеры и шахтеры, механики и электрики, кораблестроители Клайда. Те, кто среди других представителей рабочего класса Англии 8 января 1919 года на массовом митинге в Лондоне потребовали немедленного прекращения интервенции под угрозой массовой стачки.

В доках Клайда, возможно где-то рядом со стихами Кларка, с его «Балладой о большевиках», зимой 1919 года была расклеена листовка. Она называлась «Британскому рабочему от британского рабочего». «Сейчас много говорят о России,— было написано в ней.— Газеты кричат о большевистской анархии, о красном терроре. Но вдумайся, друг. Россия — первая страна в мире, где рабочие стали сами решать свои дела. Британский народ не хочет воевать с Россией. Только богачи, капиталисты жаждут уничтожить свободу в этой стране, боясь, как бы мы не захотели, как и русские рабочие, стать хозяевами собственной судьбы. Друг! Если мы позволим нашим правителям-богачам посылать войска в Россию, наши сыновья и братья будут гибнуть за то, чтобы русские рабочие лишились свободы, а богачи богатели. Помни — британские капиталисты ненавидят Россию потому, что они ненавидят свободу; а свободу капиталисты ненавидят потому, что она мешает им богатеть».

Если мы попытались бы передать самую сокровенную суть содержания обеих книг Джона Кларка, то вряд ли нам удалось бы это лучше, чем сделали авторы этой листовки. И закономерно, что «Зарисовки, сделанные в России во время «красного террора», демонстрирующие созидательный дух Советской республики, были также изданы рабочей организацией — Национальным рабочим комитетом Глазго.

Воспоминания Уильяма Галлахера, одного из видных деятелей международного рабочего движения Джона Маклина, Гарри Поллита, Эндрю Ротштейна дают возможность проследить, как отдельные события тех бурных дней Кларк трансформировал в стихи, в страницы его художественного отчета о поездке в Россию. Мы читаем об энергичной пропаганде против первой мировой войны, которую мужественно вели члены Клайдского рабочего комитета,— и перед глазами встают антимилитаристские иллюстрации из сборника Кларка, его «Баллада о Бат-стрит». Сопереживаем с «Красным Клайдом» радость и гордость за победу революции в России — и повторяем строки «Баллады о большевиках». Понятным и близким делается неоднократное обращение к красному флагу, когда узнаешь о связанных с символом революции событиях, разыгрывавшихся на глазах поэта.

Эти события так сопряжены во времени со стихами Кларка о красном флаге, настолько (возможно, именно в силу данного обстоятельства) созвучны их взволнованному настрою, что на них нельзя не остановиться. Прежде всего это — ноябрь 1918 года. Именно тот месяц, когда впервые в шестипенсовой брошюре из серии «Книги о бунтарях для молодых рабочих» увидело свет стихотворение Кларка «Флаг»:

---

[1] По данным, сообщенным автору очерка Э. Ротштейном, Кларк был также связан с выходившим в Глазго изданием «Уоркер».

[2] Gallacher William. The Revolt on Clyde. Lnd., 1936.

Вот он вьется славный, гордый,
Цвета алого зари —
Шляпы прочь! Страшитесь, лорды,
Финансисты и цари!

Итак, ноябрь 1918 года... Только что выпущен из тюрьмы Джон Маклин. На ведущей к вокзалу Бьюкенен-стрит в Глазго огромные толпы народа. Когда поезд подходит к платформе и из вагона выходит Маклин, ему вручают большой красный флаг. Лошади из экипажа, ждущего Маклина, выпряжены, и коляску увлекает вперед людская сила. Маклин стоит, выпрямившись, с красным флагом в руке. По всему пути его следования сквозь гул приветствий слышны отчетливые возгласы: «Долой империалистов!», «Да здравствует Советская Россия!»

Думается, что поэта вдохновило также и зрелище этой яркой и величественной демонстрации верности красному флагу, присягу которому еще раз дал поэт в своем поэтическом введении к сборнику.

В те, уже далекие теперь дни многие труженики Англии связывали судьбы рабочего движения, свои надежды с Советской страной. Именно поэтому назвал ее цитаделью надежды Джон Кларк — глашатай их требований, выразитель их чаяний. На страницах его «Зарисовок» — рассказ о новом мире, где, как убедился их автор, явью стало то, чего стремились добиться его друзья — докеры Клайда.

В выступлении на II конгрессе III Интернационала В. И. Ленин подчеркнул необходимость воспитывать революционную сознательность у миллионов «рабочих, которых еще одурачивают капиталисты и их лакеи из рабочей среды»[1]. Осуществлению этой задачи своим талантом помогал и Джон Кларк, непосредственно слышавший эти ленинские слова, рассказавший о ленинском выступлении в своей книге.

Будет справедливо, если обе книги Кларка — том с ленинской полки «Сатиры, лирика и стихи» и русские «Зарисовки» — займут свое место в истории демократической литературы Англии. Они бесспорно принадлежат к тому ее направлению, которое оставило глубокий след в общественно-политическом развитии Великобритании, способствовало консолидации демократических сил, единению английских тружеников с трудящимися первого в мире социалистического государства.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 41, стр. 275.

Критика

Сопоставляя точки зрения

ИМЕ ИКИДДЕ

БУНТАРИ И ПРОРИЦАТЕЛИ

Революционные тенденции в современной африканской прозе

Африканская литература, сохраняя верность укоренившейся традиции, черпает вдохновение в общественно-политической жизни континента. Начав с разоблачения колониальной системы, пройдя через радости и разочарования плодами независимости, в последние годы африканская литература в лице своих прогрессивных писателей озаботилась многими социальными проблемами сегодняшнего дня. Поистине революционные образцы этого направления в прозе — романы «Две тысячи сезонов» Айи Квеи Армы (Гана), «Время безвременья» Воле Шойинки (Нигерия) и «Кровавые лепестки» Нгуги Ва Тхионго (Кения). Несмотря на различие творческих устремлений авторов и степени их политической зрелости, все три романа проникнуты верой в то, что лишь организованные боевые действия масс могут изменить судьбы современной Африки.

В романе «Две тысячи сезонов»[1] Арма воссоздает историю безжалостного закабаления Африки, длившегося тысячу лет. Его начали арабские завоеватели («хищники») и продолжили европейские колонизаторы («разрушители»), причем и те, и другие нанесли континенту непоправимый урон. Европейцы нашли союзников среди местной знати, превратив ее в свою агентуру. Арма гневно и страстно клеймит преступную роль врагов Африки. Роман необычен тем, что сочетает в себе острозанимательный сюжет, авторские отступления в форме эссе, диалектически поданный исторический комментарий и суровый нравственный приговор. Цель автора в этом романе — ответить на ключевой вопрос: где корни африканской трагедии? Тут уместно вспомнить народную поговорку, которую приводит Чинуа Ачебе в одном из своих эссе: тот, кто не знает, где на него обрушился ливень, не знает и где бы ему обсохнуть.

Вглядываясь в глубь веков, Арма приходит к выводу, что «ливень» обрушился на нас с приходом «хищников» и «разрушителей», с нарождением местных предателей и последующим отходом от «пути». Тысячу лет, по мысли Армы, «наши народы скатывались в белую губительную бездну». Видя спасение лишь в возврате на «путь» автор считает необходимым безжалостно уничтожить причины, приведшие к отходу от него и порабощению. Арма наносит удар по избранным им мишеням, исходя из уверенности в том, что африканская ситуация нуждается в кардинальной перемене.

Если в романе «Прекрасные еще не родились» Арма выступал в качестве мрачного прорицателя-иконоборца, то в этой книге он отводит себе роль охранителя прошлого, реставратора истинного образа африканца. Предпринимая исторический

[1] Имеется в виду одно тысячелетие так как в африканском году два сезона *(Здесь и далее прим. перев.)*

ИМЕ ИКИДДЕ — IME IKIDDEH (род. в 1938 г.).
Нигерийский критик, профессор кафедры африканской литературы в университете города Ифе (Нигерия).
Автор пьес, сборников стихов, эссе о современной африканской литературе, работ, посвященных фольклорному наследию.
Публикуемая статья получена редакцией в рукописи.

экскурс, Арма создает легенду о «пути», представляя нам прошлое в виде некоей гармонии, но эта идиллия рушится под натиском чужеземцев. Действие достигает апогея в сцене схватки на море между группой африканских юношей, увозимых в рабство, и белыми поработителями. В этом эпизоде сконцентрирован революционный смысл романа. Работорговцы терпят поражение, в руки восставших переходит форт — символ чужеземной власти. Над предателем Коранче вершат скорый и правый суд, он признается в своих тяжких преступлениях. Руководитель повстанцев Исануси выступает в роли традиционного ясновидца, наставника и вдохновенного гриота [1]. Автор наделяет его чертами современного народного вожака. Исануси потому сопутствует удача, что он черпает мудрость в старых порядках и обычаях. Точно так же победа юношей и солидарность жителей Аноа объясняется верностью испытанному временем духу коллективизма — неотъемлемой составной части «пути». Индивидуализму, противоречащему общим интересам, нет места в Аноа. Вот как говорится об этом в романе: «В теле все органы работают слаженно, отнять их от тела нельзя. Нам это давно известно». И еще: «Красота — в единении. Отрезанный ломоть сам по себе не может быть прекрасен. Связанное с раздором не бывает прекрасно. Истинная красота в созидательном общении, все уродство — от губительных намерений и происков разрушителей».

Роман утверждает силу единения людей, вставших на общий «путь». Уничтожить силы разрушения можно лишь совместными устремлениями. Разрушительные действия препятствуют достижению счастья, их необходимо устранить, тогда жизнь сможет возродиться: «Тот, кто любит жизнь, несомненно, поймет, что между созиданием жизни и устранением разрушителей не только нет противоречия, но, напротив, неразрывная связь; все прекрасное, всякое созидание само по себе неизбежно приближает гибель разрушителей».

Арма разделяет взгляды многих политических мыслителей, включая Франца Фанона, на борьбу с колонизаторами. Колониализм, заявляют они, насаждается насилием — следовательно, бороться с ним тоже надлежит насильственными методами. Суровость этих методов в каждом отдельном случае должна зависеть от местных условий. На протяжении всей истории колониализма эта философия являлась для борцов за свободу руководством к действию. «Деколонизация,— со страстью пишет Фанон,— есть столкновение двух начал, противостоящих друг другу по самой своей сути... Первый их контакт ознаменовался насилием, а совместное существование, то есть эксплуатация туземцев, держалось при помощи штыков и пушек... Деколонизация ассоциируется у нас со свистом пуль и ножами, обагренными кровью. Ибо, если суждено последнему стать первым, это случится лишь вследствие схватки не на жизнь, а на смерть двух противостоящих сил. Это... может осуществиться, если мы, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, используем любые средства, включая, конечно, и насилие. Туземец, решивший реализовать эту программу и стать ее исполнителем, готов без всяких колебаний прибегнуть к насилию. Ему изначально ясно, что тесный мирок, полный запретов, можно разбить лишь безоговорочным насилием».

Хотя акцент здесь делается на иностранных колонизаторах, Фанон считает, что национальная буржуазия не менее опасный фактор порабощения и она заслуживает той же участи, что и ее чужеземные хозяева.

Для Армы колониализм не только политическая машина, но некий дьявольский промысел, посягающий на самые истоки жизни. Национальная буржуазия представляется ему частью широкой категории отступников, изменивших «пути». Судя по роману Армы «Прекрасные еще не родились», он не склонен идеализировать своих героев. И в «Двух тысячах сезонов» он бичует всех, кто сошел с «пути», преследуя корыстные цели. Таков король Коранче, торгующий подданными оптом и в розницу. Другого предателя, Камазу, опьяняет власть над людьми, доставшаяся ему в наследство от разгромленных европейских работорговцев (тут явно выведен один современный африканский лидер, тезка этого персонажа). Кроме этих двоих перед нами предстает целая галерея изменников, придворных льстецов, платных агентов.

Роман «Две тысячи сезонов» написан в манере, новой не только для африканской, но и для всей мировой прозы. В ткань романа умело вплетены элементы традиционной хроники, величальной песни и плача. Это позволяет Арме легко переходить от гневного, обличительного тона к стенаниям, передающим боль и горечь, а от них к молитвам и пророчествам. Повторы, инверсия, столь присущие фольклорной литературе, придают прозе Армы поэтический ритм. Роману свойственна и поэтическая образность. В прологе родниковый ключ образно противопоставлен пустыне: «Ручей, текущий к пустыне, ты обречен на гибель. Пустыня, все отнимая, ничего не дает взамен. Пустыня поглотит твои щедрые воды и заплатит тебе разрушением. Ручеек, не спеши в пустыню, там тебя ожидает смерть».

Подобно ручейку, черная раса на протяжении всей истории отдавала свою животворную энергию «хищникам» и «разрушителям», не прося ничего взамен. Писатель с грустью отмечает, что этим трагическим отношениям всегда не хватало взаимности. Он предупреждает: «Горе расе, слишком щедро жертвующей собой. Этот путь при-

[1] Хранители исторических преданий народа, певцы, музыканты.

ИМЕ ИКИДДЕ
БУНТАРИ И ПРОРИЦАТЕЛИ

ведет ее не к возрождению, а к скорой гибели. Горе расе, горе ручью! Горе источникам, горе пророкам, горе глашатаям и тем, кто им внемлет! Горе плавным водам, горе народу, торопящему собственную смерть».

Изложив вкратце основную тему романа, автор переходит к легенде об Аноа, повествует о вторжении чужеземцев, о местных деспотах, о начале организованной борьбы за свободу, о судьбе Исануси.

Судя по другим его произведениям, Арма умеет превосходно разрабатывать характеры героев. Однако в «Двух тысячах сезонов» он не ставит перед собой этой задачи, делая исключение лишь для образа Исануси, революционного вожака, проницательного, уверенного в своей правоте человека. Только он способен заглянуть в будущее, способен оценить происходящее как бы со стороны. В отличие от главных героев романов «Прекрасные еще не родились» и «Осколки» [1], Исануси не терпит разочарования. И когда он погибает от руки предателя, дело освобождения Аноа продолжают его преданные и закаленные в боях ученики. Среди них особое место принадлежит юной Абене.

Связь с насущными проблемами сегодняшней Африки, показ исторической обусловленности теперешней ситуации, суровый, лишенный сентиментальности призыв к действию — все эти черты делают роман «Две тысячи сезонов» подлинно революционным произведением Освобождение путем революции — таков его лейтмотив: «Ибо не тот освободитель, кто умеет лишь громко призывать закованных и угнетенных подняться против своих поработителей. Освободитель — тот, кто... сам наносит удар...»

И все же полной удачей это незаурядное произведение нельзя назвать по двум причинам. Во-первых, концепция «пути», которой придается символическое значение в романе, не находит нигде четкого определения. О ней говорится лишь косвенно, она характеризуется как бы от противного. Во-вторых, Арме не удается показать, что конфликт разрушительных и прогрессивных сил в романе является, по сути своей, конфликтом идеологическим. Арма, как известно, публично упрекал своих коллег в отсутствии «научного» подхода к социализму, но тут приходится констатировать, что сам он чересчур увлекся «объективной беспристрастностью», упрощая идеи Маркса и Энгельса. А ведь именно классический марксистский анализ взаимосвязи экономической структуры, надстройки и общественного сознания помог бы пролить свет на диалектику событий в Аноа.

Освободительная борьба и окончательная победа юношей Аноа, а также философия, призванная вернуть народные массы на «путь», наполнились бы социальным смыслом, если бы автор вскрыл основы описываемого им конфликта.

Уже при чтении первых страниц романа Шойинки «Время безвременья» [1] становится очевидным, что автор осознает всю важность взаимосвязи между экономическим базисом и надстройкой. При широте охвата событий и множества сложных проблем, занимающих писателя, основная тема романа — разоблачение преступной деятельности международного монополистического капитала. Правящий картель «о четырех длинных руках», смертоносный «союз кошелька и револьвера» объединяет интересы чужеземных финансовых воротил и местной военной олигархии. Вот что говорит об этом один из центральных персонажей романа Дантист:

«Нельзя пройти мимо наших заклятых врагов, их не перевоспитаешь. Они травят нас с тех самых пор, как захватили власть. Наша толстопузая буржуазия заискивает перед ними, публично лижет им башмаки. За долгие годы скитаний я вдосталь наглядался на то, как спрут этот разрастается и прибирает к рукам весь континент. Надменные, невежественные орды будут цепляться за власть, пока не упадут, как сгнившие плоды! Заговору одурманенных властью эксплуататоров стало тесно в национальных границах. За нашей спиной они сторговываются с чужеземцами! Произносят ни к чему не обязывающие речи в пользу революционных движений, чтобы заглушить стоны жертв внутренних репрессий. Торгуются, как на базаре, заключают сделки под прилавком, из-под полы. Скажи мне, друг, что же они продают, каков товар? Это мы!»

Действие романа происходит в некоей неназванной стране. Реакционный террор доходит здесь до крайних форм, вплоть до массового расстрела рабочих в Кросс-ривер, на севере страны, где возникли и окрепли рабочие товарищества, придя на смену старым племенным общинам. Картель относится к этим объединениям трудящихся с опаской и подозрением, видя в них угрозу своей эксплуататорской власти. Правители страны провоцируют на севере погром, раздувая межплеменной антагонизм, и вводят военное положение на юге, чтобы подавить оппозицию и заставить замолчать недовольных. Автора занимает также тема массовых организованных выступлений против длиннорукого картеля. Одним из очагов сопротивления становится «Обитель надежды», лагерь для беженцев, где укрылись представители разных племен. Лагерь — это некий храм всех религий. Его обитатели, претерпевшие столько страданий, по-братски заботятся друг о друге. Но цель их не сводится лишь к тому, чтобы выжить. Они мечтают о полном освобождении страны из тисков картеля и его приспешников. И тут на первый план выходит группа Айеро, с которой Шойинка связывает надежды на достижение подлинной свободы, не наделяя ее, однако, достаточным философским багажом и стратегическим опытом,

[1] Опубликован в «ИЛ» № 3, 4, 1976. Статью Е. Гальпериной о творчестве Армы см. в «ИЛ» № 12, 1975.

[1] Рецензию на этот роман под названием «Время беззакония» Е. Гальпериной см. в «ИЛ» № 4, 1975.

что мешает ей четко осознать стоящие перед ней задачи и наметить действенный план их осуществления.

Группа Айеро, эта квазирелигиозная община, не погибла, хотя и понесла большие потери. Зато не осталось и следа от рабочих товариществ, появившихся в свое время в результате организаторской работы и вдохновенной проповеди руководителей группы Офейи и Ирийисе. Уцелевшие члены общины, укрывшись в лесу, создают партизанский отряд. Во главе отряда — вождь и жрец Па Ахиме. Его помощница Ирийисе еще в первые дни смуты была захвачена в плен. Офейи, соратник Ирийисе и доморощенный теоретик общины, отправляется на выручку пленницы.

Пожалуй, самый яркий персонаж в группе Айеро — Дантист. Это кличка молодого, прошедшего специальную подготовку партизанского вожака. Становление его происходит на наших глазах. Автор как будто поровну делит свои симпатии между ним — бескомпромиссным террористом — и правдоискателем Офейи, бывшим служащим монопольной корпорации по производству какао.

Офейи страстно верит в дух коллективизма, ратует за народное просвещение, за создание в стране рабочих товариществ по образцу Айеро. Но многое препятствует осуществлению его идей. Во-первых, страну захлестнула волна репрессий. Во-вторых, Офейи страдает без помощи и неоценимой поддержки захваченной врагами Ирийисе. Наконец, сам Офейи, отказавшись от предложенного ему поста главнокомандующего отрядом, не в состоянии полностью контролировать и направлять его деятельность.

Призывы Офейи к просвещению и организации масс не находят должного отклика еще и потому, что Айеро, несмотря на многообещающее начало, дав достойный образец человеческой сплоченности и сотрудничества, не смогла подняться в своем общественном значении выше квазирелигиозной общины. С самого своего возникновения Айеро должна была бы опираться на передовое мировоззрение, чтобы действенно противостоять натиску финансовой власти картеля.

Но такого направляющего и цементирующего мировоззрения у сторонников общины нет, и потому в замкнутом мирке Айеро имеют хождение весьма сомнительные экстремистские взгляды Дантиста, который предлагает попросту уничтожить силы, сдерживающие развитие общества, вырвать их, как гнилой зуб, чтобы не допустить заражения. Дантист — сторонник бескомпромиссного террора, профессиональный убийца. По его собственным словам, «единственная радость — в том, чтобы убивать, наметить самых важных шишек и перебить их. Все очень просто — чтобы обезвредить змею, надо ее обезглавить». Попробуйте заговорить с ним о народном образовании, о программе мирного урегулирования конфликтов — Дантист лишь пожмет плечами и не станет слушать. Естественно, такая позиция вызывает тревогу у Офейи.

Критик Феми Ософисан сравнивает Дантиста с Абеной, персонажем романа Монго Бети «Помни Рубена». «Это люди, признающие насилие и только насилие,— пишет Ософисан,— обученные лишь военному искусству, не имеющие ни малейшего представления о программе революционной борьбы, верящие лишь в политические убийства». И далее Ософисан заключает, что «автор явно отдает предпочтение таким, как Дантист. Судя по всему, наши писатели перешли от разочарованию к цинизму». Однако роман не дает достаточных оснований для такого вывода.

Следуя за ходом событий, внимательный читатель заметит, что, несмотря на очевидные симпатии к Дантисту, не ему, а Офейи отдает предпочтение Шойинка. Уместно напомнить, что «Время безвременья» и два других недавних произведения Шойинки «Безумцы и специалисты» и «Человек умер» объединены общей тематикой, в них заметно родство творческое и психологическое. События недавнего прошлого не могли не убедить Шойинку в тщетности интеллектуальных грез о социальных изменениях, не подкрепленных действием. В одном из романов Шойинки молодых «интерпретаторов» [1] постиг крах именно вследствие пассивности и приверженности бесплодному прожектерству. Не зря Дантист бросает Офейи упрек: «Не вы ли, националисты, породили на свет чудовище, поверив, что можно уговорить безумцев? И за это теперь мы платим человеческими жизнями. Вы помалкивали, наблюдая, как чудовище растет не по дням, а по часам, видя в нем лишь научный феномен, предмет изучения. Нет уж, если набрал в рот отравы, так поскорей выплюнь, а не катай на языке».

Шойинка убежден и призывает нас с этим согласиться — что насилие, навязанное картелем, можно обуздать лишь аналогичными, сходными методами, сторонником которых является Дантист. Но надежду на полное освобождение общества Шойинка связывает не с действиями Дантиста, понимая их ограниченность, а с всеобъемлющей разумной программой, способной нацелить и объединить и террориста, и «поэта-мыслителя» Офейи, и специалистку по рекламе Ирийисе, и монахиню Таилы, и врача д-ра Чалила, и Па Ахиме, религиозного патриарха Айеро. Не случайно в группу входят люди разных национальностей. И автор, конечно, с умыслом сводит вместе врачевателей тела и души. Ибо освобождение от гнета насилия — своего рода исцеление; «...а исцеление (по словам Офейи) принимает множество форм. Известен способ лечения огнем. И ветер, срывая с места и унося прочь всякую нечисть, исцеляет. И внезапная вспышка яркого света, хоть и

[1] Речь идет о романе Шойинки «Интерпретаторы». Опубликован в «ИЛ» № 10, 1970.

ослепляет, лечит, ибо обнажает сокрытую от взгляда истину. Я тоже ищу красоту, но такую, чтобы прошла все испытания и невзгоды. Лишь такая красота вечна».

Это признание Офейи весьма важно. В нем четко отразилась слабость позиции Шойинки-художника: она сводится лишь к поиску красоты, которая могла бы уцелеть во всех испытаниях и невзгодах. Стремиться к завершенной, испытанной, проверенной красоте — значит отрицать ту роль, которую может играть для истинного художника и мыслителя материал потенциально прекрасный, еще не отделанный, незаконченный, незавершенный. В нем красоты не меньше, и искать ее можно в совместных человеческих действиях, которые как бы сливаются в единую реку в кульминационной точке романа. Когда Офейи, разыскивая Ирийисе, попадает в сети, расставленные злобным Карауном, на выручку обоим героям приходит Дантист, отнюдь не являющийся воплощением той идеальной красоты, которую проповедует Офейи. Как и в «Двух тысячах сезонов», финальная сцена «Времени безвременья» символически передает веру в конечный успех коллективных действий. Итак, в мировоззрении Шойинки произошел сдвиг по сравнению с его ранними произведениями, в которых Нгуги не без оснований усматривал «веру автора в отвагу героя-одиночки и неверие в активную борьбу масс».

Идеалист Офейи в конце концов находит свой идеал в простом общинном укладе Айеро, но ему недостает воображения, чтобы превратить единичный эксперимент в революционный принцип, представляющий общий и непреходящий интерес. Расплывчатость же и половинчатость позиции Офейи в романе «Время безвременья» — результат отсутствия четкого мировоззрения автора И Шойинка, несмотря на все свои революционные тенденции, почти полностью подходит под определение «радикальный народник», предложенное Раймондом Вильямсом.

«Кровавые лепестки» Нгуги Ва Тхионго отличаются от рассмотренных выше произведений откровенной политической направленностью и недвусмысленной идейной позицией Это по сути дела идеологический трактат, облеченный в форму романа, в котором Нгуги предлагает свою программу социальных перемен путем продуманных революционных действий.

Четыре года Нгуги упорно работал над этим романом. В центре его — образ Ванджи, официантки из бара. Этот образ приковал внимание Нгуги отнюдь не потому, что красотка за стойкой радует взор завсегдатая. Писатель увидел в ней угнетенного человека, жертву эксплуатации, женщину, вынужденную вести отчаянную борьбу за существование, отстаивая свое достоинство против похотливых, дурно пахнущих мужчин, покупающих ее труд и тело. Ванджа полна неповторимой непосредственности и человеческой теплоты, но ей приходится постоянно обуздывать себя в неестественных для нее обстоятельствах. Нгуги увидел в ней символ свободолюбия всех угнетенных. Роман звучит как гимн Ванджи и тем, кто, подобно ей, сохраняет человеческое достоинство и в горе и в радостях. Но это и острая политическая притча; мысль автора покоится на марксистских принципах, здесь и лозунги трудящихся, и суровое осуждение эксплуататоров. Нгуги не мог уподобиться буржуазным художникам и не высказаться по самым серьезным политическим вопросам, которые волнуют писателя, беззаветно преданного делу переустройства общества.

Как говорит Маркс, именно экономическая система формирует общественное сознание человека точно так же, как его дальнейшее развитие неизбежно ведет к пониманию конфликта в области экономических отношений, знаменующего приближение «эпохи социальной революции», когда происходит смена экономической основы и трансформация всей надстройки. Ильморогское общество в «Кровавых лепестках» является замечательным подтверждением марксистской диалектики, ибо в нем предельно обнажен конфликт производственных отношений, который все нарастает, возвещая приближение революции и социальных перемен.

Образностью и содержанием «Кровавые лепестки» схожи с более ранними произведениями Нгуги, особенно с романом «Пшеничное зерно» [1]. В обеих вещах, несмотря на аллегоричность изложения, явно проглядывает почти документальная историчность. Как и «Пшеничное зерно», «Кровавые лепестки» повествуют о героической борьбе угнетенных. Новый роман, однако, отличается более четко сформулированной идейной позицией автора. В романе нет главного героя. Автор показывает судьбы сразу нескольких персонажей, принимающих участие в описываемых событиях, исследует их сознание и внутренний мир. Построение сюжета тоже весьма типично для Нгуги: острые, аналитические рассуждения персонажей сменяют одно другое, воспоминания о двенадцати роковых годах, прожитых в Ильмороге, перемежаются более давними воспоминаниями. Но если в «Пшеничном зерне» автор стремился напомнить о невыразимых народных страданиях в разгар колониальной войны и подводил к выводу, что те, кто заплатил столь дорогую цену, заслуживают лучшей участи в независимой Кении, то основная тема «Кровавых лепестков» — вопиющая несправедливость, которая царит в стране сегодня. Роман разоблачает и осуждает систему, удерживающую кенийских рабочих в рабстве при помощи лицемерия церковников, неоколониальных методов, служащих иностранным интересам. На крови трудящихся масс вырастают финансовые империи, которыми управляют люди типа Кимерии, Чуи и Мзиго.

[1] Опубликован на русском языке. М., «Прогресс», 1969

«Кровавые лепестки», бичуя капитализм и призывая косвенно к его уничтожению, поднимаются, однако, выше деклараций. Буквально на каждой странице сказывается признанное мастерство Нгуги, мощь его художественного воображения, несравненное искусство композиции. Центральные персонажи наделены сложными, полнокровными характерами. Их стремления к счастью и внутренней гармонии переплетены с заботой о благе коллектива, сплоченного единой судьбой и общей борьбой против внешних врагов. В романе подробно прослежены все этапы развития общины, взаимоотношений героев, их борьбы.

Ильморог предстает перед читателем как крошечная сельская община, где даже ослик, запряженный в тележку, вызывает сенсацию. Ритм жизни здесь определен стародавними верованиями и обычаями, вековыми связями. Но вот деревушка превращается в деловой центр, кишащий бизнесменами, проститутками, пьяницами. Могущественные концерны, в которых доминирует иностранный капитал, сгоняет крестьян с земель. Перемены в Ильмороге начались с появления в деревне Абдуллы, инвалида войны, потерявшего в сражениях ногу. Абдулла открывает лавчонку и пивную, куда идет работать Ванджа. Затем возникает школа, где учительствуют Мунира и Карега. Казалось бы, пришла пора долгожданной модернизации. Символическое значение приобретает тот факт, что провозвестником промышленного и торгового бума в Ильмороге становится несчастный случай, связанный с техническим прогрессом,—крушение самолета. Под обломками его гибнет легендарный ослик Абдуллы.

Вскоре неподалеку от деревни прокладывают трансафриканскую шоссейную дорогу, и старому Ильморогу приходит конец. Нет, автор вовсе не выступает против прогрессивных перемен; Нгуги никогда не был свойствен романтический примитивизм. Но прогресс для него — одно, а торжество монополистических интересов, несущее разрушение и хаос, насильственное искоренение традиций, обесчеловечивание людей,— совсем другое. Как непохож новый Ильморог на прежний! «В новом Ильмороге мерцают неоновые вывески; здесь бары, гостиницы, лавки; вечные распродажи; спиртное фабричного разлива и кражи, забастовки и локауты, убийства и грабежи; хищные проститутки в замызганных ночных клубах; полицейские облавы, тюремные камеры. В чем причина перемен? Куда девался старый Ильморог?..»

Горькая ирония судьбы — ведь и Абдулла, и Ванджа, и Мунира, и Карега бежали в Ильморог, спасаясь от городской суеты. Каждого привел сюда скорбный опыт разочарований, поражений, неудач, страха, неуверенности. В старом Ильмороге они хотели начать все заново, проникшись желанием работать, служить ближним. «Почему я обречена вечно оставаться в плену у прошлого? — восклицает Ванджа.— Почему мне вечно приходится расплачиваться за прежнее?»

После сурового испытания во время великого похода в Найроби их дружба еще больше крепнет. Участники похода получают важный урок, у них открываются глаза на положение народных масс во всей стране. Так, еще до нашествия в Ильморог капиталистов жители деревни поняли, что их ожидает. В описании этого похода, почти пасторальном и романтическом, Абдулла со своим осликом предстает как бы эпическим героем. Стихийное чувство взаимопомощи, объединяющее участников похода, помогает им уцелеть во враждебном городе. Их осеняет общинный дух старого Ильморога, которому суждено стать важным фактором в борьбе рабочих против новых хозяев.

Но несмотря на упрочение духа коллективизма — Нгуги уловил это с присущим ему реализмом,— основные действующие лица не утрачивают индивидуальности. Их убеждения, надежды, страхи и побудительные мотивы неодинаковы, хотя каждый верит в конечное освобождение от проклятия царящего ныне хаоса. Все это продиктовано и событиями прошлого, по сей день преследующими людей. Нгуги показывает своих героев через их поступки в настоящем и сквозь призму воспоминаний. Двойная перспектива позволяет лучше понять вклад каждого в совместную борьбу. Но только юный Карега организует жизнеспособное и действенное рабочее движение, с которым связываются надежды на лучшее будущее.

Отрицая «статичную логику Ванджи, которая полагает, что в этом мире можно очиститься, лишь вымазав других... можно исцелиться от проказы, лишь заразив ближних... можно быть праведным и нравственным только за счет других», Карега не без идеализма выступает за «более гуманный мир, в котором культура и наука, унаследованные от прошлых поколений, оплодотворенные человеческим гением, будут принадлежать не горстке сытых, а всем, мир, в котором расцветут цветы в своем многоцветье и дадут плоды и семена. И семена, брошенные в землю, прорастут под солнцем и дождем».

Уместно вспомнить последние слова Кареги при прощании с Ванджей. Несмотря на их утопичность и выспренность, мы приведем их здесь полностью, ибо в них заключена революционная идея романа: «Разве ты не видишь: рабочие, бедные крестьяне, простой люд, массы разбужены, и их невозможно теперь обмануть болтовней о племенной верности, региональных ассамблеях, славном прошлом... и прочей чепухой. Ведь мы голодаем, сидим без работы или вкалываем за жалкие гроши. Мы не позволим больше иностранным компаниям, страховым агентствам и местным богатеям, нахватавшим земли и домов, их лакеям в парламенте, университетах, школах, церквах, армии и полиции, охраняющей их ин-

тересы,— не позволим хозяевам краденого помыкать нами. Нет... с нас хватит, Ванджа... мы не позволим им больше жать, где не сеяли, наживаться на чужом поте. Так и передай: на каждых десять Кимерий приходится миллион Карег. Они могут убить адвоката, даже десять адвокатов. Но бедные и обездоленные миллионы рабочих и крестьян могут сами за себя постоять. Они создадут организации, вооружат народ и покончат с угнетением...»

Из трех рассмотренных писателей Нгуги проявляет бóльшую идейную зрелость, и это позволяет поставить его роман выше двух других книг. Ибо чем прогрессивнее политические убеждения писателя, чем острее его социальное ви́дение, тем легче ему запечатлеть действительность во всей ее человеческой глубине.

Перевод с английского В. РАМЗЕСА

■

В. ИОРДАНСКИЙ

УЧАЩЕННЫЙ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

В творчестве каждого крупного африканского писателя живо ощущение истории. История встает на страницах повестей и романов картинами военных переворотов и рабочих забастовок, сценами краха древнего, живущего по заветам прапрадедов общества и описаниями становления новых отношений между людьми. История — в раздумьях писателя над прошлым и в его пророческом стремлении предугадать будущее.

Казалось бы, сопоставление произведений столь глубоко различных творческих индивидуальностей, как ганец Айи Квеи Арма, нигериец Воле Шойинка и кениец Нгуги Ва Тхионго, надуманно. У каждого из них — особый творческий почерк, своя жизненная позиция. Мало общего и в том, как они оценивают пути будущего возрождения Африки. Однако нигерийский критик Име Икидде находит у трех романистов то, что их действительно сближает. Это общее — озабоченность вопросами социальной справедливости, возможностью создания в современной Африке нового, свободного от пороков прошлого общества.

Годы независимости поставили перед интеллигенцией континента нелегкие проблемы. Груз прошлого — архаических общественных отношений, сковывающих прогресс традиций,— оказался тяжелее, чем она некогда ожидала. Прочнее, чем думалось, оказались и позиции империализма.

Журнал «Анвиронман африкэн» со страстным негодованием писал в 1974 году: «Когда сохраняется привычка забирать африканские руды и энергетическое сырье и перевозить их в другие места, не думая о будущем экономики африканских стран, когда от 20 до 40 процентов населения крупных городов континента живут в трущобах, когда отступают леса, когда разрушаются и истощаются почвы, когда наступает пустыня, когда рыболовство становится грабежом, которому предаются иностранные корабли в тысячах километров от своих берегов, когда охота не только приводит к истреблению целых видов, но безрассудно вызывает исчезновение необходимых для земледельцев и скотоводов дополнительных ресурсов, когда большинство африканцев страдает от недоедания и болезней или же, как в Сахеле, от голода, когда все эти факты имеют место, то разве не создается впечатление многообразной агрессии, совершаемой одновременно и против людей и против природы?»

Целой группе стран континента удалось воздвигнуть барьер перед этим натиском империалистических сил. Массы добились там проведения политики социалистической ориентации. Но рядом существуют страны, где империализм продолжает диктовать свою волю. В одних случаях его господство оборачивается военными диктатурами, в других — появлением кровавых тиранов вроде Иди Амина в Уганде или Бокассы в Центрально-Африканской республике. И повсеместно он несет с собой углубление социальных контрастов, подавление духовной жизни народа, его политическое и культурное угнетение.

Естественно, что передовая интеллигенция Африки спрашивает себя, почему же после завоевания политической независимости стал возможен и такой трагический поворот национальной истории? Эта проблема заняла одно из центральных мест в художественной литературе стран Африканского континента.

Высокая гражданственность отличает творчество Нгуги Ва Тхионго, Воле Шойин-

---

ИОРДАНСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (род. в 1929 г.).
Советский историк-африканист, доктор исторических наук. Автор книг: «Стратегия борьбы за независимость» (1968), «Огненные иероглифы» (1968), «Тупики и перспективы Тропической Африки» (1970), «Африканскими дорогами» (1976) и ряда работ по новейшей истории и социальному развитию стран Тропической Африки.

ки и Айи Армы. Они знают, что к их слову с глубоким доверием прислушиваются миллионы людей; что для африканского читателя литератор — это учитель, проповедник, воспитатель. Если в древности сказители — хранители народных преданий были одновременно и стражами этики и порядков, унаследованных от праотцев, то сейчас в стремительно меняющемся обществе писатель своим творчеством позволяет осмыслить значение происходящих событий, заглянуть в будущее.

Произведения лучших писателей в Африке зачастую несут мощный заряд освободительных, антиколониалистских и антиимпериалистических идей. Вот почему появление нового романа или повести обычно становится событием не только литературной, но и политической жизни континента. Гражданственность позиции требует от африканских писателей личного мужества и стойкости: мы знаем случаи, когда они подвергаются преследованиям за свои убеждения.

Одиннадцать месяцев провел в тюрьме Нгуги Ва Тхионго после выхода в свет его романа «Кровавые лепестки», его и сегодня не допускают к преподаванию в университете Найроби, где он работал до ареста. Был в лапах полиции и Воле Шойинка. Судьбой многих других писателей стало изгнание.

В последние годы в фокусе внимания прогрессивной африканской литературы оказались те социальные силы, которые удерживают власть в странах, находящихся в орбите неоколониализма. Продажное чиновничество, демагоги-политиканы, рвущаяся к богатству и политическому господству буржуазия несут прямую ответственность за испытания, которые выпали на долю многих африканских народов. Лучшие писатели континента безжалостно разоблачают их паразитарный, хищнический характер. Их уродливый образ встает перед читателем романов сенегальца Сембена Усмана, камерунца Монго Бети, нигерийца Чинуа Ачебе. Их нравы и замашки с сарказмом и иронией описывают Воле Шойинка и Нгуги Ва Тхионго. В романе «Две тысячи сезонов» Арма создает беспощадную сатиру на их предшественников, связанных с чужеземными захватчиками вождей и работорговцев.

Глухая ненависть окружает клики, связавшие себя с империалистическими силами. Уже не раз в различных районах Африки вспыхивали движения с требованием «второй независимости», иначе говоря — освобождения от неоколониалистского гнета. И все же в африканском общественном мнении нет единства взглядов на пути завоевания «второй независимости». И эта схватка идей затрагивает также литературу.

Нигерийский критик видит в трех выбранных им романах Нгуги Ва Тхионго, Айи Квеи Армы и Воле Шойинки проявление одной революционной тенденции. Но такой подход упрощает реальную картину. В каждом из анализируемых им произведений нашла, на наш взгляд, выражение особая «философия истории». Осуждая одни и те же явления окружающей их действительности, три автора по-разному представляют себе будущее направление развития африканского общества и его движущие силы. Существующие между ними различия взглядов глубоки и принципиальны. К тому же их творчество воплощает отдельные направления африканской общественной мысли, настроения разных общественных слоев. Читая три романа, о которых пишет Име Икидде, слышишь споры, которые идут сегодня среди прогрессивной африканской интеллигенции.

Роман «Две тысячи сезонов» написан в своеобразной манере. Арма использует художественные средства, заимствованные из африканского фольклора, из народного мифотворчества, и ведет повествование в духе древних преданий. Саму историю континента писатель прочитывает не строгим взглядом ученого, а с поэтической свободой художника. Мифологизируя прошлое, он подчиняет реальное движение истории собственной, весьма субъективной концепции.

Арма отказывается от рассказа о конкретных судьбах какого-либо одного народа или группы народов континента, а стремится создать некий художественный синтез всей истории Тропической Африки. Он повествует о том, как ради спасения своего жизненного уклада от разрушительного влияния чужеземцев некий легендарный народ покидает родные места и движется от края пустыни, где жил всегда, к морскому побережью. Но там его подстерегают новые опасности, в борьбе с которыми лишь небольшой группе избранных удается сохранить верность прежним идеалам. В трагических схватках с врагами они отстаивают свой путь, путь, на который, по мнению писателя, должны встать в будущем все африканские народы.

Автор рисует эту эпопею широкими мазками. В романе, в сущности, нет индивидуальных характеров. Подобно тому, как в мифе выступают герои, образ которых предельно обобщен народным воображением, в повествовании, которое ведет Арма, отдельные лица скрыты за положительными или отрицательными масками; каждый персонаж наделен лишь типическими чертами. Подчеркивая свой замысел создания именно синтеза африканской истории, писатель лишает имена героев этнической определенности. Нередко он заимствует их из названий рек, озер, племенных групп всей Тропической Африки. В соответствии с этой логикой не имеет географической конкретности в романе и пейзаж.

Может быть, отказ от реальной истории вызван стремлением Армы раскрыть глубинную историческую правду, скрытую за «случайными» событиями прошлого? Такое предположение объясняло бы избранный

В. ИОРДАНСКИЙ

УЧАЩЕННЫЙ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

им художественный прием. Но история не терпит субъективизма, и многое в романе выглядит надуманным.

Какова же историческая концепция Айи Квеи Армы? Ее основным элементом служит представление о древнем «пути» — некоем идеальном жизненном укладе африканских народов. Нигерийский критик «Двух тысяч сезонов» справедливо отмечает, что это понятие нигде в книге ясно не определено, а его суть раскрывается лишь косвенным образом. И все же главная мысль писателя достаточно явственно прослеживается

«Наш путь. Путь,— это не случайная тропа,— пишет Арма.— Наш путь начинается с ясного понимания. Это путь, направленный на сохранение знания о том, кто мы, знания лучшего способа, который мы нашли для того, чтобы каждого соединить с каждым, каждого со всеми, нас — с другими народами, всех — с нашим окружением. Если наше индивидуальное существование имеет достойную цель, то эта цель должна быть стремлением, неотделимым от пути...

Наш путь — взаимность. Путь — это целостность. Наш путь не знает угнетения. Наш путь гостеприимен к чужестранцам. Путь отбрасывает разрушителей. Наш путь производит, прежде чем потребляет. Наш путь созидает. Путь уничтожает только уничтожение»

Это, можно считать,- кредо писателя, его представление о том идеальном мире, в котором некогда жили африканские народы. Он вновь и вновь возвращается в романе к мыслям о «пути», уточняя и дополняя эту несущую идеологическую конструкцию произведения. Подчеркивая изначальное равенство всех людей в африканской древности, он пишет, в частности, что «путь — это не власть мужчин. Путь никогда не был и властью женщин над мужчинами». Этот нравственный идеал несовместим и со слепым культом технического прогресса, не учитывающего общественные интересы, интересы человека. Арма подчеркивает: «Путь состоит в созидании, знающем свою цель, мудро избегающем ловушек и разрушителей».

Надо сказать что эти идеи Армы примыкают к довольно влиятельному на континенте направлению общественной мысли. Его сторонники идеализируют африканскую архаику и в особенности древние общинные порядки якобы некогда позволившие создать на континенте царство справедливости и социальной гармонии. Выдающийся африканский мыслитель Дж. Ньерере еще в начале 60-х годов писал, что в африканском традиционном обществе «бедные и богатые как те, так и другие, были обеспечены. Конечно стихийные бедствия вызывали голод. Но голод касался всех, бедных и богатых. Никто не был лишен пищи или человеческого достоинства из-за того, что ему недоставало личного богатства. Каждый мог рассчитывать на богатство общины, к которой принадлежал».

Многие видные политические и общественные деятели, ученые и писатели Африки придерживаются либо придерживались сходных взглядов, но уже давно среди африканской интеллигенции бытуют и другие, более критические оценки древнеафриканского общества. Арма вмешался в идущий спор, заняв сторону тех, кто видит в далеком прошлом некий призрачный «золотой век» континента. При этом писателя не остановило сомнение, что такой шаг неизбежно приведет к ложной оценке последующих веков африканской истории, которые начнут представляться лишь временем все более и более глубокого упадка. Впрочем, писатель, видимо, убежден, что такое «падение» и составляет истинное содержание истории народов Африки. Это мрачный, пессимистический и не подкрепляемый конкретными историческими данными взгляд. Конечно, в прошлом африканских народов немало трагических глав, немало целых эпох, когда движение по пути прогресса в силу разных причин замедлялось. Работорговля, колониальное порабощение нанесли Африке ущерб, последствия которого еще далеко не изжиты. Тем не менее движение всегда поступательно, а с завоеванием африканскими народами политической независимости оно резко ускорилось. В изложении писателя история предстает как беспрерывная цепь насилия, коварства, предательства и лжи. Действительно, неизмеримы жертвы, принесенные африканскими народами. Но на месте разрушенных вырастали новые города. Великие поэты слагали песни, которые и сегодня памятны народам континента. Где в романе эта творческая, созидательная сторона африканской истории?

Какие же обстоятельства вызвали «падение» африканских народов, их отход от пресловутого идеального «пути»? Вернее, как представляет себе эти обстоятельства сам автор?

Арма пишет: «Мы покинули край пустыни, думая, что уходим от причин нашего разложения. Самые глубинные причины были двоякого рода: среди нас возникло различие между производителями и паразитами. Главными среди паразитов были вызывающие уроды, люди, которые только по одной причине — из потребности скрыть полнейшую атрофию духа — хотели возвыситься над другими, даже если такое возвышение было сталкиванием вниз нас всех». Что касается второй причины, то ею была деятельность «белых хищников», как автор на протяжении всего романа называет белых, появившихся в Тропической Африке.

«Белые хищники» — арабы, хотя Арма и не произносит этого слова. Его шаржированное описание их роли на континенте не имеет ничего общего с исторической правдой. Оно далеко и от правды художественной. Перед читателем проходит галерея насильников, злодеев, лжецов, коварных предателей. «Белые хищники» изображены в романе зловещими искусителями, которые развращают своих гостеприимных, но слишком доверчивых хозяев подобно тому, как библейский змей совратил Еву. Обманом, лестью и посулами они побуж-

дают отдельных «честолюбцев» отказаться от «пути», изменить верованиям предков и принять ислам. А вместе с новой религией — и новые порядки.

Когда народ, эпопея которого рассказывается в романе, приближается к морю, возникает еще одно препятствие. Это «белые разрушители», как называет писатель европейцев. Пророк и народный вожак Исануси говорит о них: «Конец ныне близок. Белые люди желают разрушить наши горы, оставив нам отбросы бесплодного песка. Белые люди желают истребить наших животных, оставив нам превращающиеся в белые скелеты гниющие трупы. Белые люди хотят, чтобы мы превратили в рабочие орудия человеческие существа, наших сестер и наших сыновей. Белые люди хотят, чтобы мы превратили в рабов наших дочерей и наших братьев. Белые люди хотят, чтобы из нашей памяти изгладились воспоминания о нашем пути, о Пути, а вместо этого чтобы мы следовали их дорогой, дорогой разрушения, дорогой глупого, ребяческого бога».

В этой страстной филиппике выражена бескомпромиссная позиция писателя. Он безоговорочно осуждает колониализм. «Белые разрушители» наносят жестокие удары по древнему укладу африканских народов, они насаждают ложные ценности, которые несовместимы с традиционными этическими идеалами африканцев. Религия, которую распространяют «белые разрушители»,— это вера в «глупого, ребяческого бога».

Читателя Армы не может не увлечь его антиколониалистский пафос. Вместе с тем вся логика романа «Две тысячи сезонов» такова, что неизбежно возникает вопрос: не происходит ли на его страницах подмена антиколониализма осуждением вообще всех исторических связей африканских народов с культурами, находящимися за пределами собственно африканской цивилизации? Ведь и среди «белых хищников» — арабов и среди «белых разрушителей» — европейцев были не одни завоеватели, грабители, угнетатели. Об этом нет ни слова в романе. Да и в контактах с культурами арабского мира и Европы нельзя видеть лишь угрозу некой «африканской самобытности»; они способствовали обогащению и обновлению культур африканских народов. Не случайно колониализм стремился искусственно изолировать Африку от внешнего мира, а одним из важнейших достижений африканских народов в борьбе против колониального порабощения и стало завоевание возможности разрушить эту изоляцию, всемерно развивать отношения с другими народами.

Послание, с которым Арма обращается к читателю, неоднозначно. Оно содержит и «философию истории» автора, и прозрачную аллегорию современных порядков на континенте. Так, когда писатель высмеивает и разоблачает вождей давних лет, этих «отталкивающих уродов», он не скрывает, что направляет сатирические стрелы и против многих современных правителей. Когда писатель создает образ Исануси, он ясно дает понять, что этот человек — идеал освободителя и вождя, в котором нуждается современная Африка. Наконец, само описание «пути» — это изложение той цели, к которой сегодня следует стремиться народам континента.

«Это призыв воссоздать путь,— говорит один из героев романа.— Там, где даже основание... разрушено, где восстановление невозможно, нужно создать «путь».

Откликнется ли кто-нибудь на этот призыв? Ведь историческая правда, раскрыть которую стремится Арма, остается в значительной мере за пределами его творения. Он создал миф, и этот миф фантастичен, иллюзорен. Поэтому трудно согласиться с утверждением нигерийского критика романа, что произведение Айи Квеи Армы содержит «революционное видение» африканской действительности. «Путь», в котором находит общественный идеал ганский писатель, в сущности, никуда не ведет.

Если «утопия» Айи Квеи Армы — в далеком прошлом, то «утопия» нигерийского писателя Воле Шойинки — в современности.

В романе «Время беззакония» нигерийский писатель рассказывает о глухой, всеми забытой деревушке Айеро, где население сплочено столь тесно, что сообща платило налог, которым облагалось, и всем имуществом «вплоть до рваной нитки на одежде каждого гражданина» владело совместно. В глазах посторонних деревня была примером «примитивной и смущающе сентиментальной, ненаучной общины». Старейшины посылали молодежь работать в новых, возникающих в стране отраслях промышленности, набираться ума-разума в чужих краях, в надежде, что приобретенные юношами и девушками деревни трудовые навыки помогут укрепить ее благосостояние. Как подчеркивает Шойинка, «все они возвращались. Неоновые города не могли их заманить. Пуповина, как бы сильно ее ни растягивали, не рвалась».

Этот мирок служит одним из полюсов силового поля борьбы, конфликтов, столкновений, которое охватывает некую африканскую страну. Второй полюс — с отрицательным зарядом — картель, безграничная власть которого над страной символизирует, по справедливому замечанию Име Икидде, «союз кошелька и оружия», убийственное сочетание иностранных финансовых интересов и местной военной верхушки. Но не только. В глазах писателя картель служит олицетворением антинародного блока местной буржуазии и феодальных кругов, хищнически, жестоко, цинично вершащего делами молодого государства.

Безгранично презрение этой клики к народу. Один из четырех членов картеля, вождь Батоки, говорит в романе: «Я знаю мой народ — они трусы! Я повторяю вам, они трусы. Когда вы убьете одного-двух, а несколько десятков бросите за решетку,

---

В. ИОРДАНСКИЙ
УЧАЩЕННЫЙ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

остальные будут хорошо себя вести и выстроятся в шеренгу... Убейте десяток-другой и бросьте за решетку несколько сотен. Если и это их не сломит, убейте несколько тысяч и не берите пленных. И пусть они об этом знают. Если и это провалится, я даю вам право звать меня болваном».

Шойинка видит во власти картеля, в господстве стоящих за его спиной кругов источник морального распада, силу, которая ведет к экономическому и культурному порабощению народа. Он понимает, что необходимо избавиться от паразитарной, запятнавшей себя неисчислимыми преступлениями клики. Проблема в том, как добиться этого избавления.

Может быть, путь к свободе лежит в возврате к тем патриархально-общинным порядкам, которые чудом сохранились в Айеро? Шойинка не торопится с отрицательным ответом. Главный герой его романа — поэт Офейи — побуждает старейшин деревни пойти на смелый шаг: используя разбросанные по стране группы выходцев из деревни, выбить почву из-под ног картеля, пробудить самосознание народа, перестроить в конечном итоге общество в духе социальной справедливости. Утопическая задача! В этом вряд ли сомневается и сам писатель, но ему важно убедить в обоснованности собственных сомнений и своего читателя. Роман «Время беззакония» становится лабораторией этого социального эксперимента.

Какое-то время замыслы Офейи осуществляются успешно: возникают крестьянские объединения, действующие на принципах Айеро, идеи Айеро широко распространяются в городах на промышленных предприятиях. Но так продолжается недолго, лишь до поры, когда картель почувствовал угрозу, исходящую от Айеро. С этой минуты он действует быстро и с характерной для него свирепой жестокостью. На севере страны, где новые идеи вызвали особенно сильный отклик, картель организует волну кровавых погромов, на юге положение контролирует армия.

Име Икидде в своей статье почти не уделяет внимания мыслям Шойинки о природе спровоцированного и организованного картелем реакционного насилия. А они важны для верного понимания и оценки творческой позиции нигерийского писателя.

В романе есть короткая сцена, в которой изображен суд над крестьянином-северянином. Неграмотный, темный человек, он становится игрушкой в руках своих обвинителей. Его легко убеждают, что уроженцы Айеро, в добрые намерения которых он поверил, якобы хотели воспользоваться его доверчивостью и лишить земли. Судьи старательно возбуждают в нем слепую ненависть к людям иной крови, иного этнического происхождения, иных верований. И здесь же на суде Заки Амури, член картеля, властвующий на севере страны, решает участь выходцев из Айеро. «Они должны быть уничтожены все до последнего»,— говорит он.

Шойинка поднимает одну из самых мучительных проблем современной Африки — проблему этнических разногласий и конфликтов, обагривших кровью многие области континента. Ее искусственно раздувает правящая верхушка. Реальная проблема — это забитость, духовная неразвитость и невежество определенных групп населения, которые слепо поддаются на провокации, организованные властями. Но писатель не закрывает глаза и на значение, приобретаемое в созданной властями атмосфере этнической враждебности давними предрассудками и предубеждениями, веками взаимного недоверия.

Роман подтверждает, что этнические противоречия могут быть преодолены и изжиты. Знаменательно, что особое значение в этом плане писатель придает африканскому рабочему классу. На строительстве плотины в Шаге рабочие-северяне первые предупреждают своих товарищей-южан о готовящемся погроме. Офейи с полным основанием может утверждать: «Новые проекты, вроде плотины в Шаге, значат, что мы можем начать с недавно возникших рабочих коллективов. Новые связи, новое рабочее, классовое родство в противовес племенному».

Писатель верит в духовное здоровье народа, в его способность встать выше этнических разногласий. Сепаратизм ему больше не кажется выходом из тупиков племенной розни. Настойчиво спрашивает у Офейи его друг, индийский врач: «Как вы думаете, сохранит ли страна целостность?» И сам отвечает, что северяне нуждаются в сотрудничестве с другими этническими группами страны. И Офейи соглашается с мыслями своего друга.

Вряд ли писатель легко пришел к этому заключению. Некоторые страницы романа принадлежат к наиболее трагическим в современной африканской литературе. Описывая этнические погромы, их бессмысленную, свирепую жестокость, Шойинка постоянно спрашивает себя: как люди могут до такой степени утрачивать человеческий облик? Но писатель понимает и то, как нищета, постоянное унижение, страх способны превратить личность в орудие провокаторов.

Восставая против жестокости, Шойинка тем не менее отчетливо сознает необходимость насилия. Насилия как средства борьбы за народные идеалы против всевластия прогнившей верхушки. Име Икидде верно отмечает, что эта тема занимает одно из важнейших мест в рассуждениях автора. В романе, в сущности, не прекращается спор между его главным героем Офейи и другом поэта-мыслителя террористом Демакином, по кличке Дантист. Писатель сталкивает между собой не только два разных человеческих типа — человека рефлексий и человека действия, но две различные концепции насилия. Если Офейи выступает сторонником организации народных масс, их воспитания и подготовки к предстоящей борьбе, то Дантист убежден, что решение заключается в физическом устранении членов картеля.

Спор между Офейи и Дантистом не доведен, однако, автором романа до логического конца. Читателю остается неясным, какие же, по мнению Шойинки, общественные силы способны противостоять и противодействовать зловещему могуществу картеля. Име Икидде пишет в этой связи об отсутствии у автора четкой идейной позиции. Дело не только в этом. Ведь не случайно, пытаясь выявить до конца враждебные картелю общественные силы, автор рисует утопический мир Айеро, мир патриархальной общины. Именно он воплощает в глазах писателя те этические ценности, антагонистом которых выступает бесчеловечная мораль картеля. Но Айеро терпит поражение в своем социально-политическом «эксперименте». И тогда автор переносит проблему из плоскости политической борьбы в этическую.

Убеждение в том, что духовные ценности Айеро могут исцелить общество, переживающее глубокий внутренний кризис, питает сдержанный оптимизм романа. Его заключительные сцены посвящены рассказу о спасении из тюрьмы подруги Офейи — красавицы Ирийисе. Этот эпизод наполнен глубоким символическим смыслом: автор видит в Ирийисе воплощение созидательного женственного начала, воплощение не только физической, но и духовной красоты, которую он обнаружил в патриархальном мире Айеро. Ее торжество должно «исцелить» пораженное болезнью общество. Когда Ирийисе выносят за тюремные стены, она без сознания, ее тело в ранах, нанесенных палачами картеля. Так и в жизни попраны картелем высокие этические ценности. Но подобно тому, как в романе друзьям Офейи удается вырвать Ирийисе из заключения, так и в жизни людям удастся, убежден автор, сохранить свой идеал красоты и человечности.

Африканскому читателю, однако, трудно разделить до конца оптимизм Воле Шойинки. Ведь картель — это часть повседневной действительности, с которой он сталкивается, а Айеро — утопия, существующая лишь на страницах романа. Он знает реальное могущество клик, олицетворяемых картелем, и понимает зыбкую призрачность утопии, созданной писателем. Вот почему в глазах этого читателя достоинство романа — в страстном, беспощадном разоблачении паразитарной прослойки, которая угнетает народ, а слабость — в отсутствии на его страницах изображения тех, кто может реализовать в жизни «критический заряд» идей Шойинки.

Роман «Время беззакония» — зеркало противоречий, еще не разрешенных самим автором: подобно Айи Квеи Арме, нигерийский писатель стал пленником собственных иллюзий. Они-то и помешали ему разглядеть в африканском обществе силы, которые уже бросили вызов всевластию картелей.

Трудно согласиться с утверждением Име Икидде, что роман кенийского писателя Нгуги Ва Тхионго — идеологический трактат в художественной форме, представляющий «программу социальных перемен путем продуманных революционных действий». Новое произведение этого автора создает многоцветную, верную жизненной правде картину современной Кении со многими ее противоречиями и проблемами. Герои романа полнокровны, сложны, противоречивы и в своих поступках подчинены присущей их характерам внутренней логике. Это отнюдь не плоские иллюстрации политических убеждений писателя.

В то же время совсем не случайно выход в свет «Кровавых лепестков» Нгуги Ва Тхионго вызвал гневную реакцию властей. Его роман — поразительный по звучанию обвинительный акт. В современных литературах Африки мало произведений, в которых бы с такой же ясностью и убедительностью была раскрыта называемая марксистами природа неоколониализма. Раскрыты в судьбах отдельных людей, в судьбах народа.

Роман «Кровавые лепестки» резко отличен от «Двух тысяч сезонов» Армы и «Времени беззакония» Шойинки. Дело не только в том, что Нгуги Ва Тхионго иначе, чем эти два писателя, осмысляет современную историю Африки и представляет себе пути обновления Африканского континента. Им был избран другой художественный подход.

Если Арма создает некий «синтез» африканской истории, если Шойинка описывает ситуацию, которую можно назвать экстремальной по ее исключительному драматизму, Нгуги Ва Тхионго пишет о буднях родной Кении и рассказывает о событиях, которые характерны и поучительны именно своей заурядностью. В романе Армы образы очерчены, как правило, бегло, в одних случаях шаржированы, в других даны в искусственном, романтизированном свете. Воле Шойинка создает несопоставимо более полнокровные и жизненные характеры, но в его романе слишком ощутима их «заданность», их подчиненность идейному замыслу, их функциональность. Напротив, Нгуги Ва Тхионго в подлинно реалистической манере рассказывает о людях, которым посвящает свое произведение.

Кенийский писатель не замыкает свое видение мира в тесную клетку надуманных схем. Его мысли рождены годами внимательного наблюдения за действительностью независимой Кении. Он не пытается идеализировать прошлое. Писатель прекрасно видит, как тяжела человеческая судьба в глухих африканских углах, где это прошлое еще живо. Но он сознает и уродливость, бесчеловечность того «прогресса», который несет капитализм.

Всматриваясь в окружающее, писатель обнаруживает, что люди, толкающие страну к капитализму,— это те, кто всегда был враждебен народу либо изменил ему. Среди них — бывшие агенты английского ре-

---

В. ИОРДАНСКИЙ
УЧАЩЕННЫЙ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

прессивного аппарата вроде Кимерии, политические демагоги, думающие лишь о власти и обогащении хищники, паразитирующие на народных страданиях. Пытаясь заручиться поддержкой в народе, они играют на его национальных чувствах, говорят о национальной самобытности, но их национализм фальшив и антинароден. Выразитель их мыслей, их «идеолог», депутат Ндери Ва Риера убежден, что «Африка добьется уважения только тогда, когда у нее будут свои собственные рокфеллеры, хьюзы, форды, крупны, собственные мицубиси».

Как случилось, что Кения вступила на трагический путь капиталистического «прогресса», спрашивает Нгуги Ва Тхионго. Ему отвечает адвокат, человек светлого ума и большого душевного благородства: «Я оглядываюсь назад, на неиспользованные возможности на упущенные возможности — на час, день, эпоху, когда на перекрестке мы ошиблись поворотом... Мы могли тогда предпринять все, ведь народ шел за нами. Но мы, лидеры, избрали флирт с богом, слепым, глухим чудовищем, которое сотни лет преследовало нас. Мы рассуждали: беда — в цвете кожи народа, служившего этому богу. При нашей собственной заботе и опеке мы усмирим бога-чудовище и заставим его поступать по нашей воле. Мы забыли, что он всегда был слеп и глух к человеческим бедам. И вот мы сами вскармливаем чудовище, оно растет, ждет бо́льшего, и теперь мы его рабы».

Бог-чудовище — это дух наживы и приобретательства, овладевший частью кенийского общества.

Когда Нгуги Ва Тхионго разоблачает истинный характер правящей верхушки, его моральная позиция во многом совпадает с позицией Воле Шойинки. Как и нигерийский писатель он много размышляет над природой неоколониалистского порабощения. Но там, где Шойинка создает собирательный, сатирически гиперболизированный образ картеля, Нгуги Ва Тхионго рисует галерею людей заурядных, ничтожных, почти безликих. В своей жестокости, правда, они не уступают картелю, и тайные убийства своих политических противников — их излюбленный метод. Впрочем, не единственный.

Нгуги Ва Тхионго едва ли не первым из современных африканских писателей показал, что один из важнейших элементов неоколониалистской политики - манипулирование архаичным племенным самосознанием. Мысль о подобной стратегии возникает у Ндери Ва Риеры; он «где-то читал, что некоторые выдающиеся лидеры некоторых западноафриканских стран принадлежали к тайным обществам что они использовали колдовство и другие остатки доколониальных культов и движений, чтобы удерживать своих последователей в страхе и подчинении». Ндери Ва Риера вспоминает, как однажды получил приглашение вступить в масонское общество. Почему бы не создать его африканский аналог, задумывается он, чтобы «удерживать под контролем население Центральной провинции, где крестьяне и рабочие кажутся очень непокладистыми, а это опасно, потому что этот народ имеет за плечами историю антиколониального сопротивления и обладает духом борьбы, которым могут злоупотребить враги прогресса и Экономического Процветания».

Замысел депутата начинает претворяться в жизнь, получает одобрение властей предержащих. Ндери Ва Риера создает общество, объединяющее кикуйю — основную этническую группу Центральной провинции. А вслед за ним и другие племена образуют союзы, члены которых приносят клятву, что и под угрозой смерти сохранят верность своим соплеменникам. Предполагается, что такие объединения сформируют Национальный фронт, в котором союз кикуйю — «Культурная организация Камвене» (КОК) займет ключевое положение. Уничтожение нелояльных элементов под предлогом, что они предают племя, его культуру и его богатство другим племенам, будет долгом каждого участника этих союзов.

В романе «Кровавые лепестки» много горечи, много душевной боли. И все же это подлинно оптимистическое произведение.

Действие романа развертывается как бы в двух плоскостях — в тесных пределах Ильморога и в масштабе всей Кении. Столь же двояки и временные параметры произведения. Время то сужается до немногих лет и даже суток, то раздвигается от современности до эпохи колониального захвата Кении. Судьбы своих героев писатель видит на фоне истории всей страны, историю страны осмысляет через судьбы своих героев. В отличие от Воле Шойинки кенийский писатель обнаруживает в родном обществе реальные силы, которые дают ему чувство уверенности в будущем. Свои надежды он связывает с людьми вроде молодого учителя Кареги. Романисту дорог их энтузиазм их самоотверженная готовность служить народу, их искренний патриотизм. Карега становится профсоюзным вожаком, за ним идет весь трудовой люд Ильморога. И устами Кареги Нгуги Ва Тхионго обращается к своему читателю с призывом, убежденный, что этот призыв будет услышан:

«Мы должны бороться за мир... в котором богатство нашей земли будет принадлежать всем нам где не будет паразитов, диктующих, как нам жить, где все будут тружениками ради счастья и благополучия друг друга».

Три романа, три писателя, три индивидуальности... В творчестве Айи Квеи Армы, Воле Шойинки, Нгуги Ва Тхионго отчетливо прослеживаются искания африканской интеллигенции, слышны ее вопросы, живут ее идеи. Но именно в романе «Кровавые лепестки» -- здесь наши взгляды совпадают с точкой зрения Име Икидде — получило наиболее полное выражение революционное направление африканской общественной мысли Это произведение -- талантливое свидетельство его зрелости, его силы.

Заметки писателя

ЯН КЕРЬЮ

«ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РОДНЫМ ХОЛМАМ»

Карибский [1] писатель ныне — тот, кто мечется между безвестностью и никчемностью. Между изгнанием на чужбине и бездомностью дома, между народом и колонизаторами и креольской верхушкой. Отъезд за пределы родины бывает добровольным или навязан обстоятельствами. Он бывает утешением или наказанием, он бывает на время или навсегда. Но алчность колонизаторов делает народы завоеванных стран изгнанниками на их же собственной родине. Так Просперо поступил с Калибаном [2]. И писатель Карибских стран, уезжая за границу, по существу преодолевает изгнанничество.

Этого не понять никому, кто не уяснил себе основ карибской жизни. Тут каждому с рождения приходится преодолевать барьер чуждой культуры, что объясняется ее мозаичностью (это осколки культуры американских индейцев, европейцев, африканцев, азиатов). Давление европейской культуры самое сильное, писатель европейской ориентации мечется между солнцем и тенью, между эмиграцией и чувством бесприютности у себя дома. Дома он, по словам К. Л. Р. Джеймса[3], «человек XX века среди экономики XVII-го, а в эмиграции — клоун в цирке цивилизации».

Порой он объявляет себя кочевником, но тем самым лишь закрывает глаза на правду. Вся ирония в том, что кочевником в пространствах своего духа он сможет стать только тогда, когда родина его будет экономически, политически и духовно освобождена от узурпаторов, захвативших ее еще во времена Колумба.

Куба — исключение, подтверждающее правило. Куба принадлежит кубинцам. Куба — главная надежда карибского архипелага. Там нет больше дореволюционных экономических отношений между эмигрировавшими владельцами, местными марионетками и народным большинством, и для нас Куба — ориентир, живой пример того, как менее чем за двадцать лет многие вековые проблемы экономики и культуры, расовых и классовых различий могут быть успешно разрешены.

Но чтобы понять наше сегодняшнее наследие, необходимо вернуться к истокам, к началу эры Колумба. Уже первые отчеты европейских колонизаторов об апокалипсическом нашествии на земли американских индейцев характеризуются романтическим бегством от истины и нарочитыми умолчаниями. Достаточно ли мы прониклись в тот образ, который о нас создали? Ведь только вдумавшись в него, мы поймем, что такое наша бездомность дома и наше изгнание. Испанцы собирались увидеть в новых землях чудищ с песьими головами, фантастиче-

[1] В этом эссе термин «карибский» обозначает острова архипелага, страны Карибского побережья, Гвианы и Суринам.

[2] Герои романтической драмы Шекспира «Буря».

[3] К. Л. Р. Джеймс (род. в 1901) — тринидадский социолог, историк, занимающий антиимпериалистическую позицию.

ЯН КЕРЬЮ — JAN CAREW (род. в 1925 г.).

Гайанский прозаик, эссеист. В настоящее время живет в США, профессор Университета в штате Иллинойс. В «Иностранной литературе» напечатан его роман «Прикосновение Мидаса» (№ 2, 3, 1963).

Статья «Все возвращается к родным холмам» получена редакцией в рукописи.

ских грифонов, страшных людоедов. Но их не оказалось. И вот тогда их выдумали. За людоедов выдали карибов, которые особенно упорно и мужественно сопротивлялись захватчикам. Эти выдумки о карибах привели к своеобразной литературной и лексической аберрации, выдержавшей пять веков: от КАРИБЫ произвели слово КАННИБАЛ, а Шекспир, как известно, на этом основании подарил нам Калибана.

В карибских странах школьников учат, что карибы ели человеческое мясо. Историк с Барбадоса Ричард Моор блестяще опроверг эту ложь в книжке «Карибы, Каннибалы и человеческие отношения» (1972). Людоед Кариб (и любой цветной из стран третьего мира) — плод расистской фантазии. Когда ребенок из карибских стран читает о своих предках — каннибалах, это уродует его психику. «Неужели не ясно, что удар, парализующий индейца,— писал Хосе Марти,— калечит и нас?» Но наши дети не читают Марти, их все еще учат идеализировать колонизаторов а значит, презирать себя.

В историю уничтожения и порабощения индейских племен вписаны важные страницы, связанные с Альберико Веспуччи, чьим именем был назван новый континент.

Альберико Веспуччи — и я нарочно употребляю его подлинное, христианское имя — «флорентийский дилетант и мошенник», был связан с Колумбом дружескими отношениями вплоть до смерти последнего в 1506 году. Достигнув американского материка, Веспуччи написал по возвращении, что Колумб открыл Новый свет — а ведь люди жили там уже тысячелетиями.

Он изложил свои впечатления в письмах в Париж к герцогу Медичи. Письма эти своим живым, увлекательным стилем весьма отличаются от скупых, бесстрастных записей в дневниках Колумба. Они вызвали большой интерес читателя. Остановимся же на связи имени этого человека с названием нового материка.

В Никарагуа есть горная гряда под названием Сьерра Америке и индейцы, именовавшиеся лос америкес. Гряда простирается между Хуигальпа и Либертад в провинции Чонталес и отделяет озеро Никарагуа от Москитового берега. В доколумбовы времена эти индейцы общались с населением области вокруг мыса Грасиас а Диос и всего Москитового берега. В 1502 году Колумб посетил побережье у Карриаи и Карамбару. В 1497 году Веспуччи причалил к мысу Грасиас а Диос, а в 1505 году проплыл вдоль Москитового берега. Оба они за это время, конечно, не раз слышали от индейцев слово «америке».

С незапамятных времен индейцы добывали в Сьерре Америк золото, которое они называли солнечным пóтом и ценили как лучший ковкий металл для ювелирного искусства и скульптуры. Цены золоту они не знали и считали что только искусство придает ему магическую силу. Для испанских захватчиков золото означало иное: власть на земле, искупление грехов и рай на небесах. Слова «золото» и «америке» стали для них синонимами. «Я приехал за золотом, а не землю пахать»,— откровенно признавался Кортес, завоеватель Мексики.

После своей последней поездки на Москитовый берег Веспуччи, по моим данным, переменил свое христианское имя АЛЬБЕРИКО на АМЕРИГО. В архивах Толедо есть письмо Веспуччи кардиналу от 9 декабря 1508 года, подписанное «Амерриго» с двумя «рр», как в названии индейцев америкес. Сохранились еще по крайней мере два документа с той же подписью, в том же написании.

«Кража» имен у покоренных народов была распространенным приемом колонизаторов. Название «Америка», соотнесенное со случайным именем европейца, лишалось первоначального смысла, а меж тем смысл этот был вполне определенный.

Мексиканский ученый д-р А. Ле Плонжон в письме к французскому профессору Марку от 10 декабря 1881 года писал: «Название Америка, или Амеррика, на языке майя означает страну постоянного сильного ветра, или Страну Ветра. Иногда же суффикс «ик» или «ика» может обозначать не только ветер, не только дуновение, но дыхание, дух и самое жизнь».

И мы должны вернуть, отстоять имя нашей Америки, восстановив его истинный смысл — страны ветра, жизни, движения.

А на скалистых склонах Сьерры Амеррик ветер стучит гигантскими кулаками в ворота времени и требует признания.

Роман Мигеля Анхеля Астуриаса «Сильный ветер» (1950) воскрешает этот символ ветра в местностях Гватемалы неподалеку от Сьерры Амеррике. В этом романе Ураган, Сердце Неба — бог майя и карибов — обрушивает мстительную ярость на банановые плантации, принадлежащие заморскому концерну, весьма похожему на компанию «Юнайтед фрут». Есть ураганы и в романах ямайского писателя Дж. Хирна и писателя из Гайаны Эдгара Миттельхольцера. Но там они лишены древнего мифологического смысла. В романе же «Сильный ветер» Астуриас соединяет воедино миф, магию, человека, творческий труд и поэзию.

Испанцы, пересекшие Атлантику, внушали туземному населению, что они сошли с неба. Лас Касас замечал, что в посланцах небес такая жажда золота достойна удивления. Авторитет христианских небес в глазах индейцев пошатнулся. Потом испанцы обратили внимание на прекрасный остров Кубу. Один из тамошних главных касиков, прослышав об угрозе, утопил все золото — свое и своих подданных,— тем самым думая спастись. Но испанцы, наоборот, сожгли его заживо на медленном огне. А монах тем временем уговаривал его принять христианство. Касик кричал, что не хочет в рай к таким жестоким людям и предпочитает ад, если только их там не будет.

И вот нам пора вернуться к истокам, ибо индейская пословица гласит, что тот, кто забывает прошлое, обречен снова и снова переживать его. Если б мы пренебрегли глубоким изучением и пересмотром нашей истории, то разрыв между нашей насильственной утратой памяти и полным сознани-

ем того, что было, есть и должно быть, может завести нас в лабиринт метафизики. А ведь нам нужно не только исследовать мир, но изменить его. Только изменив наш мир, мы почувствуем себя его хозяевами, и только унаследовав его, мы покончим с внутренним и внешним изгнанием.

Когда корабль «Санта Мария» в первый день рождества 1492 года разбился у берегов острова Бохио [1], переименованного испанцами в Эспаньолу, правитель острова Гуаканагари отнесся к испанцам с великодушием, отдал им на берегу два дома и обещал, если будет нужно, дать еще. Именно этого правителя испанцы преследовали с особой злобой, изгнали его из его царства; он вскоре умер от горя. Началась работорговля, несколько сотен индейцев увезли в Испанию. После того как три миллиона жителей Эспаньолы были уничтожены или проданы в рабство, та же судьба постигла Пуэрто-Рико и Ямайку. Точные цифры геноцида неизвестны. Молчание и пустота, следы чудовищного преступления свидетельствуют о нем красноречивей всех цифр. Можно спросить, где же сейчас народы карибских стран? Почему не выступят вперед, не скажут обо всем этом сами? Я был в зонах глухого молчания. В обширных областях Гвианского нагорья, к западу от Пакараимы и к югу от Акараи и поныне уничтожаются индейские племена, а земли их захвачены. Острова молчания на широких просторах производят впечатление более страшное, чем крики умирающих. В глубокой тишине «Пополь Ву» народа майя — киче — кажется уже не мифом о сотворении мира, но пророчеством, ибо начиналось оно так:

«Это рассказ о том, как все было в ожиданье, в покое, окутано молчанием, все было недвижно, тихо и пусто в небесах».

Вступая в этот мир, ощущаешь живую боль, живые страдания индейцев, ушедших в небытие, и начинаешь понимать, что истинно мертвы сеятели смерти, а не их жертвы. И вдруг ощущаешь, постигаешь неписаную историю этих людей, всю их боль, их отчаяние. Так ощущают боль в ампутированной руке. И вдруг становишься наследником бесстрашия и человечности жертв. И страдание — уже не страдание, смерть — уже не смерть. И, может быть, именно в эту минуту видишь начало конца собственного изгнания.

Но прежде чем лечить, надо поставить диагноз. История нашего изгнания мрачна — геноцид, рабство, принудительный труд, расизм, колониализм и в последнее время неоколониализм. Где бы мы в этом полушарии ни хотели пустить корни, они попадают в могилы невинных жертв. Ибо отослав индейца в страну забвенья, колонизатор создал новые колонии мертвецов — рабов из Африки, батраков из Индии, Китая, с Явы и снова из Африки. Бесконечный людской поток вливается в капиталистическое царство наживы — безработные, голодные, больные, независимо от расы, цвета кожи, они составляют лишь числа, числа, числа в статистических таблицах, сырой материал для выкладок жрецов науки. Рассуждать об этом сегодня, прибегая к примитивным клише о черной, желтой и белой власти,— значит тешить себя полуправдами. Настоящий же ответ надо искать в глубинах собственного сердца и собственного изуродованного общества. Остановимся кратко на главных чертах этого уродства.

После столетий в джунглях первая задача людей «маргинального» слоя — выжить. Для среднего класса, особенно тех его слоев, которые сами только недавно избавились от непрочности и зыбкости пограничного состояния, этот мир воспринимается как угроза, как почва, на которой вырастает символ террора. Средний класс, напуганный этим призраком, спешит укрыться за валом мещанства. Регулярная работа, мотоцикл, белый воротничок, галстук — символы избавления от маргинальности. Правда, теперь символы эти подорожали, полагается еще и машина. Когда Черная Власть обещала им «спокойствие», когда не было речи о социализме, средний класс охотно пользовался этим экзотическим украшением; но скоро он снова вернулся к старым, испытанным символам неоколониализма.

Колонизаторы уничтожили туземное население многих областей Америки, они словно перерезали сеть притоков, вливающихся в общую память человечества. И очень обеднили общий резервуар нашей памяти. Колонизаторы вообразили, будто они — носители европейских культурных ценностей. Но они утратили их, пересекая океан, и не могли восполнить потерю. Из всех, кто прибыл в Америку за первые триста лет эры Колумба, только африканцы поняли необходимость слияния собственной культуры с культурой индейцев, хозяев континента.

Африканцы появляются в Америке с начала XVI века, еще в доколумбовы времена. Но после Колумба появления африканцев отмечены мятежами и восстаниями в Эспаньоле, Пуэрто-Рико, на Кубе и Ямайке, в Мексике. Африканцы и индейцы объединили свои силы против общего врага. Эррера сообщает, что африканцы племени уолоф из Сан-Хуана прошли по стране, повсюду подстрекая индейцев к мятежу. Факт афро-индейского культурного сближения, столь противостоявший поведению белых поселенцев, не привлек внимания ни наших историков, ни колонизаторов. А между тем, говоря о культурных корнях, об отчуждении и самосознании в Америке, нельзя пройти мимо этого факта.

В наши дни, когда независимость, то есть национальный гимн, флаг, цвет на карте не дают забывать о национальном самосознании, для карибского писателя настает суровое время выбора. Уже виден конец его маргинального положения. Будучи почетным членом маргинального слоя, он сознательно или бессознательно воплощает возрастающий хаос, который толкает его пусть не в революцию, но в революционные ситуации.

[1] Ныне Гаити.

ЯН КЕРЬЮ
«ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РОДНЫМ ХОЛМАМ»

Маргинальный слой расширился: в него влились безработные выпускники колледжей и университетов, священники и пророки на час, плуты и пробивные выскочки, политические вышибалы, головорезы и трансатлантические гуру. Их язык, музыка, идолы, которых они создают каждый сезон и столь же быстро меняют,— лишь фантазерские формы протеста. Они даже не всегда знают, чего хотят. Зато очень хорошо знают, чего не хотят. Они — против хвастливого, напыщенного, бесчестного, жестокого, бездарного режима, под властью которого им приходится жить.

В прошлом десятилетии люди маргинальных слоев не раз выходили на улицу. Наиболее драматические уличные сцены разыгрались в 1969 году на Тринидаде. Самые наивные кричали: «Революция началась!».

Как ни быстротечны были такие выступления, они не прошли вовсе бесследно. Они привлекли внимание кое-кого из интеллигенции и рабочих. Потом одни ушли в подполье, другие изменили лозунги, придав им академическую форму. Иные вынесли всю тяжесть репрессий, их политические убеждения окрепли. Среда интеллигентов пестра. Одни чувствуют порой, что их обличения белого империализма звучат чересчур эмоционально, и спешат объявить, что Маркс им ни к чему, не лучше ли Фанон? Другие, хитрецы, просто переходят на контрреволюционные роли, но в почете сейчас особый тип интеллигента, прекрасного актера и мима. Он так ловко имитирует колонизатора, так что тот сам бы не отличил свой голос от голоса прислужника и подпевалы.

Сознание интеллигента колоний проходит три стадии: сначала он — имитатор, и ему нужно показать хозяину, что он, слуга, хорошо выучил его заповеди и ждет, чтоб его принимали как почтенного белого человека. Он со страхом ловит малейшее неодобрение во взгляде хозяина. Он боится, как бы случайно не проговориться во сне. Потом, во второй стадии, наш интеллигент, поняв, что интонации дяди Тома уже не в моде, смелеет и встает в позу протеста. Изучив лучше самого колонизатора его язык, он использует его теперь как палку, которой бьет хозяина. Но пока он больше старается наделать шума, чем причинить настоящую боль. Это по сути просьба о признании, крик креольской души, молящей признать в нем почетного белого, а уж тогда за это он готов как угодно предавать своих. И, наконец, в третьей стадии он недвусмысленно присоединяется к борьбе за освобождение, переходит на сторону страждущих, а не эксплуататоров, неимущих, а не процветающих. Сделав этот выбор, писатель уже близок к концу своего изгнания, он на пути к Надежде, Свободе, он на пути к Новому дню.

Карибский писатель рожден солнцем. «Сегодня солнце в моей крови»,— писал Сеймур, поэт Гайаны старшего поколения. Он невольно вступал здесь в область африканского мифа, обращенного к богу неба Ньянкопоне, бросившему частичку солнечного огня в кровь ребенка, чтобы даровать ему жизнь. Первые европейцы принесли с собою средневековое представление о тропических странах как о странах огня, а когда оно не оправдалось, выдумали миф, что только темнокожие могут выполнять тяжелый труд на солнце. Труд белых кубинцев, людей тропических зон Австралии и карибских крестьян опровергает этот миф, но все же он живуч. И креольские родители с самого раннего детства внушают детям, что они, креолы, не созданы для тяжкого труда на солнце. К нему способны только негры и желтокожие. Надо бежать от солнца — эта мысль изначально заложена в сознании креолов.

Заглавие романа тринидадского писателя Сэма Селвона «К более жгучему солнцу» (1954) имеет глубинный смысл — писатель стремится вернуться к своим крестьянским корням. Уходя от солнца, в далекие зимние страны, человек теряет ощущение корней, утрачивает душевное равновесие. И редко кто восстанавливает его.

Само слово «креол» значит — «родившийся в доме». Нечто среднее, промежуточное между черным рабом на плантации и белой семьей хозяина. И креол всегда стремился обрубить свои связи с черными и приблизиться к белому обществу.

Карибский художник, если хочет покончить с изгнанием, должен внять требованию истории и обернуться назад. И продвигаясь по залитому кровью полушарию, сквозь поколения, ему придется проникнуть в непостижимые области молчания, где погребено прошлое американских индейцев, ему придется разворошить все человеческое горе. Сострадание к обездоленным должно стать безграничным.

Американские индейцы до и после эры Колумба по-разному воспринимают время. Для индейца и для африканца время — это пульс, биение сердца. В их космологии прошлое уходило к истории рас: оно было связью между живыми и предками. Настоящее ткало ткань дня, будущее вставало неотвратимо. Так ощущали время люди маиса [1], черные и коричневые. Переход от такого времени к точному времени европейского календаря был мучителен. Вводя систему принудительного труда для тех, кто не мог откупиться золотом, испанцы ввели новую систему времени. Труд раба на плантациях давал золото владельцу. Труд и часы плантатора стали новыми тотемами, возвестили новую эру. Чтобы превратить людей маиса в рабов капитализма, живущих по закону «время — деньги», колонизаторам пришлось пойти на немыслимые жестокости геноцида. Потом они постарались отмыть следы своих преступлений так же хитро, как власти в романе колумбийского писателя Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества» (1967) отмыли кровавые следы с камней, на которых были расстреляны рабочие.

Чтобы понять диалектические взаимоотношения понятия времени, каким оно было до Колумба и каким стало после него, карибские писатели углубляются в тайны

[1] Автор имеет в виду коренных жителей.

прошлых столетий. И для этих экскурсов в прошлое им служит символ Реки.

В моем романе «Черный Мидас» дед и бабка молодого Смарта, по его словам, «ощущали время, как поток, как реку в крови». В раннем стихотворении Уилсона Харриса описывается путешествие одного из его мифологических героев:

По рекам его Ночи,
Где он утонул, чтобы смирить страх.

Потом он еще вернулся к такому орфическому путешествию в романе «Замок Павлина» (1960).

В романе Алехо Карпентьера «Потерянные следы» (1953) герой путешествует по девственным джунглям к верховьям одной из великих рек Южной Америки и в своем мифологическом пути проходит через тысячелетия. Карпентьер далеко ушел от родного острова в поисках среды для своего героя. Ему понадобился целый континент.

Эдуар Глиссан в романе «Трещина» (1958) избрал реку Мартиники как символ поисков корней и истинного самосознания. Эта река ведет сначала к истокам, к тайному ключу, а потом спускается к морю.

В поисках осознания своего «я» карибские писатели идут либо вглубь, к некоему неоткрытому глубинному «острову» (как в «Потерянных следах» Карпентьера, в «Трещине» Глиссана, в «Новом дне» Виктора Рида, «Людях маиса» Астуриаса, «Замке Павлина» Харриса, «Черном Мидасе» Керью), либо вовне, в страны колонизаторов (как в романах «Эмигранты» и «Туземцы моего «я» Лемминга, «Переезд через океан» и «Место встречи» Остина Кларка).

Я выбрал эти романы из многих, представляющих уже сейчас внушительную серию. Можно было бы назвать и другие.

Роман Эндрью Солки «Возвращайся домой, Малькольм Хартлэнд» (1976) — книга о карибском изгнаннике, собирающемся на родину. Герой бежит от десятилетий, прожитых в холодном равнодушии чужбины, и возвращается в мир Сонной Пустоты.

Герой романа Карпентьера «Потерянные следы» — музыковед и композитор. В поисках своего «я» он сначала едет в Европу, но не находит той иллюзорной Европы, любовь к которой привил ему отец. Разочарование усиливается, как только он понимает, что, покинув Старую страну, его предки утратили и корни. Но в Америке он, белый поселенец, должен искать и те духовные ценности, которым мешают расистские фантазии, мифы и воинствующий национализм колонизаторов Кроме того, он — художник, окруженный дилетантами и поклонниками Искусства с большой буквы. Случайная встреча с работником музея вдруг изменяет его жизнь. Он уезжает из Нью-Йорка за древнейшими музыкальными инструментами, созданными на земле Америки. Путь его — по горным тропам в поднебесье. Потом — спуск в тропическую долину. Здесь-то и находит он свой идеал. Бродя в верховьях великой реки, он как бы в краткие дни проходит сквозь тысячелетия. И в поездке обретает себя, свое новое американо-индейское «я», скрытое в сырых, первозданных джунглях, обретает корни индейской души, самое священное, сокровенное в сознании людей маиса. Ему кажется, что он возродился. Но это лишь романтическая иллюзия. Он возвращается в мир XX века. Дух его обновлен, с глаз спала пелена. Но когда он хочет окончательно вернуться в обретенный им Рай, оказывается, что следы потеряны. И все же, путешествуя в доисторическое время и обратно, он обрел огромные творческие силы, и более того — теперь он знает, что надо не только пройти прошлые века, но идти дальше, в будущее.

В романе Глиссана «Трещина» поиски «я» ведутся по течению реки вверх, к истокам; ключ, с которого она берет начало, скрыт в старом каменном колониальном доме. Река ведет нас в глубь страны. Глиссан предпосылает путешествию слова:

Какая это страна? — спросил он.
И ответ был:
Сначала взвесь каждое слово,
Познай все страданья.

Трещина — здесь поистине река жизни, текущая сразу в реальном и воображаемом мире. Пока река течет к морю, чувствуешь, как смотрят на нее люди, как просыпается земля; народ, земля, река, небо сливаются в чудесное единство. Созревает сознание народа. И автор, проникая в самую суть проблем бездомности и изгнания, спрашивает: «Можем ли мы дать имя этой частичке земли, пока на ней еще не живут мужчина и женщина?» Трещина вспышкой молнии освещает окружающий психологический пейзаж. Его символы, как образы растений и животных, мелькают и исчезают в сырых джунглях. В кажущийся хаос Река вносит ясность, она течет сквозь закономерную повторяемость сезонов. Она напоминает реку Перу — Золотую змею из одноименного романа Алегрии (1935), которая течет по земле индейской общины и становится вечным символом борьбы народа за освобождение. Река — прекрасный символ оплодотворяющих связей человека с жизнью и живыми существами. В романах Харриса пейзажи глубинных областей Гайаны пронизаны тайной сетью рек жизни, смерти, вечности. Река может стать символом изгнания, если она течет вовне, но она же — и символ возвращения.

«Все возвращается к родным холмам»,— еще в конце 40-х годов писал ямайский писатель Роджер Мэйс. Холмы, реальные и символические, были тем оазисом, к которому художник приходил набраться сил, залечить раны, нанесенные мещанами у него дома и расистами за границей. С холмов же уходят и к морю. Роль моря в карибском мире очень велика. В карибской литературе возникает иногда мечта пересечь океан, но нет желания завоевывать его. Карибы и европейцы — первооткрыватели, создатели саг. Их воображение устремлялось к новым горизонтам к бурным водам.

ЯН КЕРЬЮ
«ВСЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ К РОДНЫМ ХОЛМАМ»

Но для нового карибца море стало коварным, а часто и опасным рвом между островами и континентом. Море, очень подробно описанное Лемминго́м в романе «Туземцы моего «я» (1972), воспринимается будто издали. Это место, не только разделяющее континенты и острова, но висящее между ними. Это недвижное море, описанное в мифе «Пополь Ву», а не реальная бурная стихия.

В более раннем романе Лемминга «Эмигранты» герои пересекают Атлантику, едва заметив существование океана, воспринимая его только как небольшую интерлюдию между их жизнью дома и карибской общиной за границей.

В романе Остина Кларка «Переезд через океан» (1965) самый переезд стирается из памяти эмигрантов. В другом его романе, «Место встречи» (1967), переезд совершается самолетом и проходит приятнее. Может быть, все мы подспудно носим в памяти переезды в трюмах рабовладельческих кораблей. В романе Эндрью Солки, прозаика с Ямайки, «Возвращайся домой, Малькольм Хартлэнд» некий карибский Янус, заблудившийся меж двух миров, готов покинуть один из них и вернуться домой, вопреки тупости мещанства, которое ему надо еще завоевать, коварству, готовому наброситься на него из засады, и несмотря на глубокое сознание, что часть его умерла за границей, среди пустоты изгнания, насмешек расистов, реальной и воображаемой дискриминации. Малькольм Хартлэнд знает также, что на родину, куда он хочет вернуться, во многом возводят поклеп. Он умирает, так и не решившись вернуться. Это смерть реальная и символическая. Но есть на родине и такие Хартлэнды, которые дважды пересекли океан — однажды к Мекке колонизаторов и обратно к тайным глубинам, где скрыты истоки Реки Жизни.

«Каждый народ имеет право пить воды Реки Жизни, притом из своей собственной чаши. Но наши чаши разбиты» — так говорится в карибском поэтическом гимне. Писатель, художник, музыкант вовлечены в творческий процесс воссоздания разбитых чаш. Но, как выразился один советский писатель, искусство и литература подобны молнии, а молния не бывает робкой. Поэтому, создавая новые чаши, мы должны плечом к плечу с обездоленными миллионами сопротивляться тем, кто отрицает наше право пить воды Реки Жизни, ибо мы были у истока этой Реки, когда началось изгнание карибского писателя, и будем там, когда оно окончится.

Перевод Е. ГАЛЬПЕРИНОЙ

◆

Культура и современность

Заметки на полях

НОВЫЕ ВАРВАРЫ ИЛИ САМОТВОРЯЩАЯ ЛИЧНОСТЬ?

Статья Роберта Синая, видного американского социолога, автора трех книг по футурологии, привлекает внимание по целому ряду причин. Прежде всего в ней четко выражена крайне критическая позиция по отношению к тем явлениям современности, которые находятся в поле зрения автора. Не менее четко Роберт Синай декларирует свои взгляды на дальнейшее развитие западной цивилизации. И тот факт, что эта статья появилась на страницах журнала «Энкаунтер», идеологическая ориентация которого вполне определенна,— не случаен. Здесь не место перечислять «акции» журнала, направленные на ревизию марксизма и дискредитацию движения прогрессивных левых сил. Достаточно вспомнить статью известного своей книгой «Гибель английской демократии» Стивена Хейзлера, в которой он обвинил марксизм в метафизике, социал-демократов — в «классово-трайбалистской косности» и призвал к созданию фронта «независимых левых». Или вспомнить анкету «Левые и правые. Кто они? Кто из них прав?». Помещенные в журнале ответы на нее носили явно тенденциозный характер в оценке опыта и перспектив социалистического построения общества. И потому появление статьи Роберта Синая, представляющего либеральное крыло американской интеллигенции, на первый взгляд может показаться несколько неожиданным, однако по прочтении ее становится очевидной закономерность ее публикации на страницах именно этого журнала.

Конечно, выступление Синая, в сущности,— капля в море футурологической литературы, в которую вносят свою лепту ученые самых разных областей: экономисты и социологи, философы и антропологи, психологи и политологи, а в последнее время целые научно-исследовательские коллективы. К примеру, в канун двухсотлетия США Гудзоновский институт выпустил книгу «Следующие 200 лет. Сценарий для Америки и всего мира», целью которой, как сказано в предисловии, было «предоставить правдоподобный сценарий «мирового роста», ведущего не к катастрофе, а к расцвету и изобилию». И все же именно в этой «капле», в статье Синая «Наши страдания и их причины», нашла отражение одна из доминирующих тенденций футурологических исследований последнего времени — смыкание в с е х форм буржуазного мировоззрения, от крайне радикального до воинствующе реакционного, что объясняется возрастающим страхом перед объективными кризисными явлениями капиталистического общества и как следствие этого — возрастающим стремлением найти альтернативу подлинно прогрессивной науке о развитии будущего. Достаточно сопоставить выступление Синая хотя бы с некоторыми социо-культурными утопиями и антиутопиями, являющими собой определенные вехи в поисках «иных миров».

Итак, статья «Наши страдания и их причины». По мнению ее автора, политическая, экономическая, эстетическая реальность «современной индустриальной системы как в ее капиталистическом, так и в социалистическом варианте» в основе своей патогенна, она порождает «больное общество» и «больную личность».

> «Вызванные к жизни наукой, техникой, политикой, неконтролируемые и некоординируемые силы наносят вред некогда здоровому, сбалансированному организму человечества.
>
> ...Переизбыток товаров, производимых нашим современным индустриальным обществом, гедонизм и жажда развлечений — как следствие этого переизбытка — стимулируют апокалипсические настроения и иррациональные поступки представителей всех слоев общества.
>
> ...Сама логика поступательного развития цивилизации ведет к высвобождению все более разрушительных сил».

Поскольку единственным стимулом, пишет Роберт Синай, на протяжении нескольких веков служило накопление, потребление, изобилие, само понятие «прогресс» стало синонимом вечной жажды наживы. И в подтверждение своей мысли цитирует Уолтера Липпмана:

> «Они вечно голодны, хотя не перестают жевать, вечно у них пересыхает в горле, хотя они все время пьют, вечно требуют проявлений любви, но сами ни на что не способны, вечно ищут, но не обрящут».

По словам Синая, выхолощенными, лишенными истинного содержания оказыва-

ются и такие понятия социальной и политической характеристики современности, как «класс», «партия», «нация».

«Наши обычные представления о классе, партии, нации рушатся; вместо четкой системы партий, представляющих интересы определенного класса,— множество группировок, самых неожиданных ориентаций, множество спонтанно возникающих союзов, причем каждый преследует свои узкокорыстные цели, не думая об общем благе. Теперь все чаще рассуждают об интересах какого-нибудь племени, этнической группы, региона, нежели о задачах единого государства или класса.

...И буржуазия, и пролетариат, как организованные классовые образования, тоже доживают свои последние дни».

Выводы у Синая, как видно из приведенных цитат, носят глобальный характер, но подтверждения своим посылкам он находит лишь в «капиталистическом варианте». Общество представляется ему фрагментарным, раздробленным, состоящим из «слабых, тупоголовых, несамостоятельных человеко-единиц», и напоминает оно скорее орду, нежели четкую структуру.

Если отвлечься от чрезмерной, желчной пристрастности Синая к своим современникам, можно заметить, что обличительный пафос статьи в целом весьма симптоматичен, —подобное критическое умонастроение свойственно многим буржуазным философам и социологам последнего времени. Пятнадцать лет тому назад такие сигналы бедствия носили единичный характер, а теперь они становятся непременным спутником общественных дискуссий.

В свое время известный английский историк Арнольд Тойнби выдвинул теорию «надлома цивилизации». Согласно этой теории даже в периоды благополучия и расцвета внутри самой структуры общества стремительно развивается необратимый процесс надлома и разрушения. Предваряя статью Синая редакционным вступлением, «Энкаунтер» напоминает читателю, что «хотя Шпенглера и Тойнби уже нет в живых, их эстафету приняли новые пророки судного дня».

В 1974 году французский журнал «2000 год» провел анкету — «Современные утопии. Глобальные проекты — кому это нужно?». Один из ее участников, социолог Пьер Шеффер, дал красноречивый ответ:

«Вопрос в том, как нам выжить, а не в том, как обрести счастье... Я не пессимист, но наше общество на грани самоубийства».

Разумеется, природа подобного неверия в каждую эпоху сообразуется с конкретными историческими обстоятельствами. Если мироощущение Арнольда Тойнби определили трагедии двух мировых войн и страх перед атомной войной, то социальный пессимизм конца семидесятых усугублен разочарованием, наступившим после бурного предыдущего десятилетия. Восстания в американских гетто, студенческие волнения, драматические события в Ольстере не принесли ожидаемых позитивных перемен. Этим настроениям во многом способствовали также антитехнологический протест и социальный критицизм «новых левых». Идеологи «новых левых» часто верно констатировали те или иные последствия научно-технической революции, но не давали в своих трудах целостной картины действительности, не выявляли подлинных причин кризисного состояния капиталистического общества. Достаточно вспомнить, какой широкий резонанс приобрела «критическая теория общества», выдвинутая основателями франкфуртской школы Теодором Адорно, Эрихом Фроммом и Гербертом Маркузе. Идеи Маркузе о «тотальном отрицании», «великом отказе», «конце утопии» получают развитие во множестве книг, статей, выступлений западных ученых. Это позволяет обнаружить весьма важную закономерность: такого рода «критика общества» постепенно становится узаконенной формой свободы слова в ее «капиталистическом варианте» (если использовать терминологию Синая), официально признаниой альтернативой подлинно прогрессивной критике общества — прежде всего марксистской. Причем сегодня эта альтернатива превратилась в ту удобную платформу, на которой объединились и некогда ярые «левые» и крайние правые, и консерваторы и либералы.

Пятнадцать лет тому назад миф об органическом и бесконфликтном развитии общества и о духовном единении всех социальных слоев послужил американскому социологу Даниелу Беллу поводом для афоризма: «Конец идеологии!». Теперь тот же Белл предложил другой афоризм: «Нам нужны новые идеологии!» Как отмечает советский философ Юрий Давыдов,

«левый радикализм выступает ныне официально признанным идейным центром всех устремлений буржуазного сознания, оппозиционных господствующей консервативной идеологии. Это означает, что «сознание кризиса», довольно долгое время находившееся как бы в подполье культуры капиталистического Запада и не пользовавшееся сколько-нибудь широким и устойчивым признанием, теперь вышло на поверхность и даже добилось «узаконения» со стороны властей... что не означает отказа от попыток как-то «ужиться» с набирающим силу «сознанием кризиса» — нейтрализовать его или даже использовать в интересах стабилизации существующих общественных отношений».

Но вернемся к статье Роберта Синая. Рассказав о «страданиях больной цивилизации», автор приступает к анализу их причин. Главная причина, по его мнению, такова:

«Демократия несовместима с такими понятиями, как подлинная образованность, независимость и смелость ума, незаурядность личности. Добившись политического равенства для всех, мы тем самым подточим социальную и духовную базу величия индивида.

...Демократия привела нас к единообразию, она является всего лишь суррогатом «равенства».

...Почти вся культура масс бесплодна, хотя агрессивна и вульгарна, но «это то, что нужно народу».

Главный виновник всех бед, убежден Синай,— принцип уравниловки, согласно которому простонародье (в других пассажах он называет своих современников «новыми варварами», «ордой», толпой») будто бы овладело технической базой и политической властью. Жертвой этого процесса «омассовления» стал «больной, дезориентированный, охваченный страхом, потерявший свое лицо человек». И спасения от «новых варваров» нет и быть не может.

«Если не произойдет чуда — революции в духовной, экономической и социальной сферах — а это практически нереально... то в ближайшие пятьдесят — сто лет мир исчерпает свои природные ресурсы, мир окажется не способен прокормить чудовищно разросшееся население; мы окажемся перед катастрофой, размеры которой мы не можем себе даже представить».

...Синай утверждает, что история подчинена трагической диалектике, и потому сама идея прогресса абсурдна. Мизантропический взгляд на будущее в сочетании с ностальгией по прошлому, когда за все в ответе было «благородное меньшинство», мешают ему признать неоспоримый факт поступательного хода развития истории.

Будем справедливы — далеко не все футурологи разделяют эсхатологический взгляд на пути развития цивилизации. Хотя американский социолог Олвин Тоффлер в своей книге «Столкновение с будущим» (1970) [1] нарисовал еще более мрачную картину, нежели это сделал автор статьи «Наши страдания и их причины», в ней явственно звучит вера в историческую закономерность научно-технического прогресса, в его потенциальную благотворность. И в этом ее принципиальное отличие.

В книге показано, что буржуа не способен справиться со стремительно надвигающимся на него будущим. Тоффлер констатировал необратимые симптомы гибели старого мира: в бешеных ритмах современной жизни человек перестает дорожить идеалами, все меняется, ускользает, не успев зафиксироваться в реальности и сознании. Утрачено понятие отчего дома — каждая пятая американская семья, к примеру, ежегодно меняет место жительства. Супругу, возлюбленную, друзей заменяют «знакомые одноразового пользования»; книгу, над которой прежде подолгу размышляли,— комикс или иллюстрированный журнал; пробежав глазами в метро, его можно безболезненно бросить в урну. Наука подбирается к секретам управления развитием физического и психологического облика человека, готовится поставить массовое оглупление людей на «научную основу». Тоффлер понимает, что из-под контроля вышли не наука и техника, а само общество.

Известно, какую широкую популярность приобрела деятельность членов Римского клуба, международного неправительственного объединения ученых, бизнесменов, общественных деятелей (в 1977 году в Москве состоялась встреча советской общественности с представителями Римского клуба). Эта организация выпускает циклы докладов, так называемые «Предупреждения человечеству». Показательно, что первые доклады были посвящены вопросам экологии, последние же — сфере социальных ценностей и воздействию их на массовое сознание. Изменилась и эмоциональная окраска «Предупреждений»: первые были пронизаны ощущением безысходности, а в последних появились сдержанно-оптимистические ноты. Пятый цикл, к примеру, называется «Цели для человечества». В самых свежих докладах Римского клуба представлена и марксистская точка зрения.

И книге Тоффлера, и докладам Римского клуба, и множеству других работ, авторы которых ищут выход из кризиса, свойственны морализаторство, утопизм, нежелание оценить мир с классовых позиций. Но они — пусть абстрактно, без учета политической реальности — в своих утопиях исходят из жизнеутверждающей природы человека. Совсем иной, схоластической, преднамеренно уводящей от неразрешимых противоречий капиталистического общества, предстает футурологическая концепция профессора антропологии Калифорнийского университета Чарльза Эразмуса. В книге «В поисках общего блага» (1977) под бесчисленными терминологическими изысками («самотворящая личность», «синкретическое общество», «генетическая экология») он пытается скрыть отсутствие аргументированного анализа. Он считает, что современная цивилизация может быть спасена с помощью «культурной синтропии» (то есть, попросту говоря, путем распространения культуры), которая должна привести к созданию синкретического, универсального общества. Его созидателем станет «самотворящая личность», получающая максимум наслаждения и от своих и от чужих достижений, отвечающая идеалу «отца прогресса» Адама-Смита — идеалу стяжателя — и мечте «антипрогрессиста» Жан-Жака Руссо, который призывал к отказу от погони за материальным благополучием, к внутренней свободе. Залог успеха подобной кривой развития личности, полагает Эразмус, с одной стороны, в том, что человек по природе своей играющая тварь, а с другой — в его неискоренимом альтруизме:

«Наиболее важные последствия естественного отбора для человека — пластичность поведения и генетически обусловленные способности».

Присущий именно человеку взаимоальтруизм не передается, как считает Эразмус, из поколения в поколение, но воспитывается, являясь «компонентом моральной, а не генетической экологии». Термин «homo ludens» — человек играющий (лат.) — ввел известный голландский историк средневековья Хойзинга, полагавший, что прогресс, культура в ее самом широком понимании возможны благодаря игровой природе лю-

[1] См. в «ИЛ» № 3, 1972 отрывки из книги О. Тоффлера, статью Э. Араб-Оглы «Гордиев узел и дамоклов меч».

дей. К примеру, средневековье представлялось ему золотым веком, когда все играли во все: в шарлатанство и рыцарство, набожность и ученость. Эразмус пишет, что наше время—время скучной, серьезной жизни, загнавшее игру в глубокое подземелье, извергающее порой зловещие игры — «мятежи и бунты». Принцип игры, а отнюдь не стремление к наживе или власти заложен, по его мнению, и в коллективном труде, фундаменте любого общества, и в стремлении сохранить род человеческий — «работа для блага будущих поколений — одна из самых захватывающих игр».

При построении столь привлекательной на первый взгляд модели «самотворящей личности» Эразмус не учитывает ни нравственного, ни духовного, ни социального факторов, не дает никаких точных мер личного вклада каждого в общее благо. Прокламируя «свободное космополитическое общество» как единственно возможное поле для игры, он то и дело руководствуется взаимоисключающими критериями.

«Я не адвокат капитализма, хотя не могу не признать, что содержание этой книги толкает меня вправо. Но я прошу читателя, закрывшего книгу, спросить себя, какое еще общество так близко подошло к Утопии, как то, в котором нам посчастливилось жить. И если пудинг хорош на вкус, почему бы не познакомиться с его рецептом?»

Таким образом, идеологическая позиция Чарльза Эразмуса недвусмысленна.

Особое место в футурологических исканиях занимают работы Эриха Фромма, выдвигающего программу «гуманистического социализма». Для этого философа и психоаналитика характерен не столько социально-экономический подход к явлениям, сколько попытка осмыслить происходящее в плане этико-эстетических категорий, хотя опирается он в своих заключениях на новейшие данные естественных наук. Так в последней работе «Иметь или быть?» (1976) он утверждает идеал, основанный на религиозно-эсхатологической традиции, уходящей своими корнями в средневековье, которое, по его убеждению, обладало гармонией и красотой, утраченными впоследствии. Идеал этот включает в себя также элементы постренессансного научного мышления и политическую активность, присущую современному уму. Он констатирует, что гигантский социальный эксперимент, поставленный в западном «обществе изобилия», дал отрицательный ответ на извечный вопрос: может ли погоня за наживой и удовольствием стать содержанием человеческой жизни? На смену Граду Божьему, в котором, как писал блаженный Августин, должна была победить «духовная общность людей, основанная на любви к богу, доведенной до презрения к себе», пришел Град Прогресса материалистов нового времени. Эрих Фромм выдвигает утопию Града Бытия:

«Утопия... нового, объединенного человечества, живущего в братстве и мире, свободного от экономической детерминации, от войн и классовой борьбы, может быть достигнута, если мы приложим к ее осуществлению те же умственные силы, энергию и энтузиазм, какие мы затратили на реализацию наших технических утопий.

...В настоящее время цель заключается не в овладении природой, а в овладении иррациональными техническими и социальными силами, которые угрожают смертью западному обществу, если не всему человечеству».

Идеи глобальных преобразований, создания планетарного общества, в котором (заметим в скобках) обычно сохраняются основные признаки капиталистической системы, являются чрезвычайно характерными приметами современных футурологических теорий, развивающихся в русле неоконсерватизма. Из работы Фромма становится ясно, как близки теперь к идеям неоконсерватизма некогда левые радикалы, многие из которых пытаются «примирить» Маркса с Фрейдом, объяснить болезни общества с помощью пансексуальной концепции последнего. Фромм, в частности, мотивирует классовую борьбу, стремление к политическому лидерству биологическим инстинктом к обладанию. Ближайшая проблема, встающая, по мысли Фромма, перед созидателями «нового общества»,— формирование «здоровой экономики для здоровых людей», то есть такой, которая отвечала бы требованиям не потребителя, а гармоничной личности. Добиться этого можно с помощью революций — женской, детской, сексуальной и прочих других (только не социальной!), поскольку они сами по себе суть проявления «антивласти», «антиобладания».

Фромм пишет о том, что идеалы «нового общества» возвышаются над идеологическими перегородками и не требуют ни от консерваторов, ни от либералов, ни от радикалов отказа от их политических, нравственных и религиозных убеждений. Вместо партийных и классовых размежеваний деление на два лагеря — тех, кто сознает свою ответственность, и тех, кому «все равно». Мировоззренческая платформа станет единой, ибо она подготовлена «долгим развитием светских религий от Будды до Маркса».

Это положение Эриха Фромма говорит еще об одной тенденции современной буржуазной мысли — попытке создать некую метафилософию.

Один из редакторов журнала «Энкаунтер» Мелвин Ласки в своей книге «Утопия и революция» (1977) задает вопрос: как вести себя критически настроенному интеллигенту? Роберт Синай своей статьей, по существу, задает тот же вопрос. И Мелвину Ласки, и Роберту Синаю можно ответить словами великого английского поэта Вильяма Блейка: «Пророки в современном понятии этого слова никогда не существовали. Каждый честный человек — пророк, он высказывает свое мнение об общественных и частных делах». И добавим, что «мнения об общественных и частных делах», подобные тем, которое мы упоминали, вряд ли приблизят новое общество.

А. НИКОЛАЕВСКАЯ

Публицистика

ПОД ИМЕНЕМ ДОКТОРА ИОРДАНОВА

Случается, история создания книги оказывается интересней, чем сама книга. Бывает и наоборот: обстоятельства создания вполне обычны и о них нечего рассказать — а книга читается взахлеб. В вышедшей в ФРГ и готовящейся к печати у нас книге Фридриха Хитцера «Ленин в Мюнхене» [1] крайне интересны и работа автора, и ее история.

Начать хотя бы с того, что еще лет 10—15 назад ее появление вообще было немыслимым. Когда в 1968 году я хотел познакомиться с ленинскими местами в Мюнхене и обратился за помощью в их розыске к одному из видных деятелей западногерманской социал-демократии (коренному мюнхенцу), он согласился это сделать при одном условии: что я нигде и никогда не назову его имени. (Моего тогдашнего спутника уже нет в живых, но я держу свое слово.) Действительно, в эпоху «холодной войны» посещение дома, где жил и творил Ленин, приравнивалось в ФРГ к государственному преступлению. Городской совет Мюнхена тогда категорически отказывался поддержать инициативу группы жителей города, задумавших установить мемориальную доску на доме по Кайзерштрассе, в котором в 1900 году поселился Владимир Ильич. Кстати, когда доска все же была установлена, ее взорвала группа неонацистских бандитов...

Сейчас политический климат на берегах Рейна и Изара претерпел изменения. Когда Баварское общество по развитию отношений между ФРГ и СССР (оно образовано несколько лет тому назад) решило издать книгу, посвященную «мюнхенскому периоду» в жизни В. И. Ленина (1900—1902), оно сумело заручиться поддержкой — в том числе и представителей городских властей, которые открыли автору книги путь в архивы.

Работая в 1971—1977 годах в ФРГ, я часто бывал в Мюнхене и стал свидетелем всех этапов работы над книгой. Порой ее автор Фридрих Хитцер — известный публицист и критик, издатель литературного журнала «Кюрбискерн» — приходил в отчаяние. Лабиринты архивов были невероятно запутаны. С 1900 года они совершали головокружительные перемещения. Миновали две мировых войны, менялись правительства и городские власти. Но Хитцер был неутомим; его коллеги по обществу оказывали ему содействие. Помощь пришла и из Москвы: из Центрального партийного архива Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, из советского Общества «СССР—ФРГ». Разумеется, Хитцер использовал и те публикации, которые появились раньше в ГДР и СССР. Тем важнее было двинуться дальше по пути исследования мюнхенского периода.

Сейчас, глядя на 500-страничную книгу, я с трудом верю своим глазам: материала хватило бы, кажется, и на два тома — так содержательна история Мюнхена начала века, так глубоки связи русского и немецкого рабочего движения. И самое главное: так огромно значение «мюнхенского периода» в творчестве и революционной деятельности великого мыслителя и борца!

Книга Хитцера важна и потому, что содержит уникальные документы, редчайшие находки, и потому, во-вторых, что рельефно рисует общую картину Мюнхена тех лет.

Начну с находок. Историки много лет бились над тем, чтобы найти документальное подтверждение пребывания в Мюнхене Ленина, проживавшего там

[1] В русском переводе (Госполитиздат) озаглавлена «Под именем доктора Иорданова».

под именем д-ра Иордана Иорданова. Несколько лет тому назад запись, казалось, нашли. Однако при более тщательном исследовании оказалось, что в ней указан Димитр, а не Иордан Иорданов. Это заставило Хитцера продолжить поиски, и они увенчались успехом. На этот раз сомнений не было: запись была сделана на доктора Иордана Иорданова 29 августа 1901 года за № 483226.

Удалось сделать еще одну, не менее ценную находку: автограф Ленина мюнхенского периода. Всем известно, как тщательно работал Ленин над книгами. В ленинских архивах в Москве сохранились подлинники конспектов, сделанных в то время. Архив ИМЭЛ прислал Хитцеру копии конспектов книг, прочитанных Лениным в мюнхенской библиотеке.

Регистрационные книги за 1900—1901 годы оказались не в полном комплекте. Но однажды Хитцеру позвонил директор библиотеки:

— Срочно приезжайте, у меня есть кое-что интересное для вас...

Хитцер помчался в библиотеку, и директор показал ему пожелтевший гроссбух:

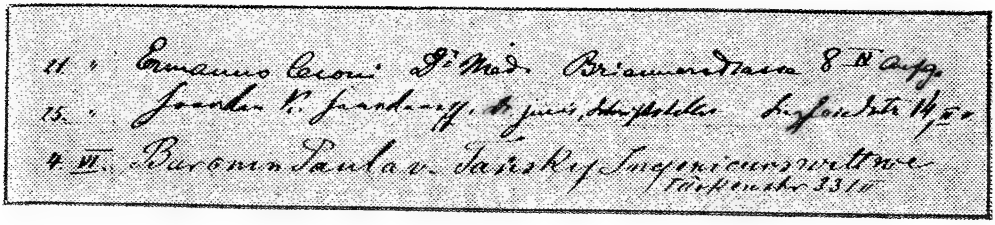
— Глядите, вот запись читателя д-ра Иордана Иорданова, датированная 25 мая 1901 года...

Это была рука Ленина.

Не менее важны собранные Хитцером богатые материалы, показывающие глубокие корни интернациональной солидарности рабочих России и Германии. Как известно, пламя «Искры» зажигалось в Мюнхене. Сюда направился Ленин осенью 1900 года. Однако сначала он заехал в Нюрнберг. Почему? Хроника жизни и деятельности В. И. Ленина регистрирует: «Ленин, находясь в Нюрнберге, проездом в Мюнхен, ведет переговоры с германским социал-демократом А. Брауном об организационно-технической помощи изданию «Искры». Кто такой Браун?

В книге о Брауне рассказывается очень подробно. Адольф Браун к тому времени был видным деятелем СДПГ в Нюрнберге. Но, как выясняется, у Брау-

**Кайзерштрассе 53/0 (сейчас — 46).
В этом доме В. И. Ленин жил по приезде в Мюнхен
с сентября 1900 до 15 апреля 1901 года.**



Собственноручная запись В. И. Ленина в регистрационной книге Мюнхенской Государственной придворной библиотеки.

на были особые качества: в годы нелегальной работы немецкой социал-демократии он был тесно связан с так называемой «Красной полевой почтой». Именно так назвали немецкие рабочие свою организацию, которая была создана для доставки в Германию нелегальных социал-демократических газет, издававшихся в Швейцарии. Ею руководили опытные революционеры, воспитанные Марксом и Энгельсом. Среди них был, например, Йозеф Белли — правая рука славного «красного почтмейстера» Моттелера, а Адольф Браун был одним из доверенных лиц Белли. Как явствует из одного полицейского донесения, Браун участвовал в нелегальной доставке газеты «Социал-демократ» из Базеля в Германию.

Вот почему Ленин решил заехать в Нюрнберг! Создавая знаменитую сеть агентов «Искры», Ленин изучал и использовал опыт немецких революционеров. Так сама жизнь писала историю тесных связей рабочего класса России и Германии, их интернациональной солидарности во имя великой цели, которую Россия достигла в Октябре 1917 года.

Важнейшие страницы истории международной пролетарской солидарности были написаны в году 1919-м — году рождения еще двух Советских республик. Воодушевленные примером Октября, трудящиеся Баварии и Венгрии создали свои государства, которые просуществовали недолго, но навсегда вошли в летопись революционной борьбы. Известно, с каким вниманием отнесся Ленин к созданию Баварской Советской республики. Получив известие об этом событии, он 15 апреля 1919 года сразу поделился им со слушателями его очередной речи. Затем посылал ряд телеграмм, просил информировать его о положении в Баварии, о программе баварского Советского правительства 27 апреля Ленин направил в Мюнхен свое известное «Приветствие Баварской Советской республике».

Мюнхенские архивы сохранили ряд волнующих документов об этом. Так, в одном из них говорится: «Исполнительный совет новой, подлинно пролетарской Советской республики приветствует русский и венгерский рабочий класс и их Советские республики».

В документах Баварской Советской республики обнаружено подтверждение того, что приветствие В. И. Ленина было принято в Мюнхене в 6 часов 07 минут утра 29 апреля 1919 года. В ряде телеграмм, пришедших в Баварию из Москвы через революционный Будапешт, содержались сводки РОСТА о положении на фронтах гражданской войны О том, что значило имя Ленина для защитников Советской республики, говорит и другой документ — приказ командования Баварской Красной Армии, в котором на 27—28 апреля 1919 года паролем для частей Красной Армии было установлено слово «Ленин». Приказ подписан командующим войсками республики Рудольфом Эгельхофером, который через несколько дней был зверски убит контрреволюционерами...

Таких находок было сделано немало. Советский читатель скоро познакомится с ними в русском переводе книги Хитцера. Но, пожалуй, не менее важна в ней широкая социально-политическая картина того времени, разворачивающаяся перед читателем. Автор интересно рассказал о Мюнхене тех лет, о его социальных конфликтах. Кстати, их блестяще вскрыл Ленин, конспектируя в библиотеке книги о положении в баварской деревне. Когда уже в 1919 году один из немецких посетителей Ленина в беседе упомянул городок Розенгейм, Ленин сразу вспомнил:

— Розенгейм? Это у железной дороги на Куфштейн?

...Оформлявшая книгу художница Сильвели Хитцер нашла интересное графическое решение: все документы напечатаны не на обычном, а на цветном фоне. Поэтому читатель сразу может различить документы и комментарии к ним. Обильные фото и рисунки начала века превращают книгу в подлинный «путеводитель по эпохе».

ЛЕВ БЕЗЫМЕНСКИЙ

◆

Н. ФЕДОРЕНКО

СЕСАР РЕНХИФО — ХУДОЖНИК СОЦИАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

Сесар Ренхифо... Это имя известно каждому в Каракасе, всем венесуэльцам, которые интересуются живописью, литературой, театром. В истории Венесуэлы едва ли найдется много примеров столь богатой одаренности и многогранной художественной деятельности, какие отличают творческую личность Сесара Ренхифо. В нем словно бы воплотилась не одна, а несколько жизней, каждая имеет самостоятельное направление и смысл, в то же время обогащая и дополняя другие. Сесар Ренхифо проявил себя как выдающийся художник, драматург, поэт, искусствовед. И вместе с тем он предстает перед нами как личность цельная, удивительно постоянная в своей устремленности к социальной справедливости и нравственной высоте. Ренхифо принадлежит к числу людей, глубоко осознающих свой долг перед обществом и нацией родной страны, им посвящает он свое творческое дарование, вдохновенный свой труд художника.

Переступив порог небольшой виллы Сесаро Ренхифо в Каракасе, мы оказались в мире звуков: из глубины дома доносилась величественная музыка Бетховена. Наш приход для мастера был неожиданным. Мы не договаривались заранее о своем визите. Так издавна заведено у Сесара Ренхифо, дом его для друзей всегда открыт. Открытым он оказался и для нас благодаря моему доброму знакомому доктору Эдуардо Гальегосу Мансере — близкому другу художника, духовному его брату...

По жилью, как правило, можно судить о хозяине. «Когда жилище отвечает своему назначению и нашим желаниям,— писал в XIV веке Кэнко-хоси в «Записках от скуки»,— в нем есть своя прелесть, хотя оно и считается временным пристанищем. Там, где тихо живет себе человек с хорошим вкусом, даже проникающие в дом лунные лучи кажутся гораздо милее.

Пусть даже это не модно и не блестяще,— говорится далее,— но когда старинные аллеи у дома, когда трава в садике как бы не посеянная нарочно, создают настроение; когда со вкусом сделаны веранда и редкая изгородь возле дома; когда даже домашняя утварь, навевая мысли о старине, остается незаметной,— все это кажется изящным.

А когда в домах, отделанных с большим прилежанием множеством умельцев, все, начиная с выстроенной в ряд невыразимо прекрасной китайской и японской утвари и кончая травой и деревьями в садике, создано нарочито, это и взор утомляет, и не доставляет никакого наслаждения. При взгляде на такое жилище думается: «Тут можно прожить долго, но ведь все это может и дымом стать мимолетным!» [1]

— Здесь никогда не умолкает музыка. Симфоническая, главным образом,— с легкой иронией заметил Эдуардо, когда навстречу нам вышел из своей студии хозяин.

Бетховен звучал бесподобно, в стереофонической полноте, во всем совершенстве исполнения.

— Музыка Сесару Ренхифо нужна, как растению живительная влага,— продолжал в том же ключе Гальегос Мансера, представляя гостей художнику.

[1] Кэнко-хоси. Записки от скуки. М., «Наука», 1970, стр. 49.

Перед нами стоял человек небольшого роста, юношеского телосложения. Длинные черные волосы. Большие очки с сильными, будто многослойными линзами. Вытирая испачканные краской руки, Сесар Ренхифо сдержанно поглядывал на иноземных своих пришельцев, словно раздумывая над предметом возможного разговора. Лица его не покидало выражение творческой увлеченности, он словно пребывал в состоянии отрешенности, поиска... В этот момент, когда он собирался перейти в иную сферу, передо мной как бы возникло незавершенное полотно, на котором только что была сосредоточена мысль живописца. Возникло зримо, ибо человеку привычно визуальные наблюдения строить под доступным ему углом видения и воображения.

— Нельзя ли нам, дорогой Сесар, познакомиться с работой, которой вы сейчас заняты?— обратился к художнику Эдуардо Мансера со свойственной ему непринужденностью.

— Прошу вас, окажите честь...— произнес Сесар Ренхифо. И лицо, и сама поза его позволяли безошибочно угадать доброту, мягкость...

Дом живописца, построенный с большим вкусом, просто и изысканно, наполнен его картинами. Все стены увешаны работами разных лет, по ним можно проследить долгий путь, пройденный художником, его искания, его тревоги и свершения, неудачи и радости. И продолжающая звучать музыка теперь воспринимается мною уже не как простой аккомпанемент и не отдельно от всего остального, но в неотрывном сочетании с богатством колорита, игрой света и тени его полотен, в гармоническом соединении со всей атмосферой, словно открывающей самую душу этого очага, где творятся эстетические ценности. Это музыка для влюбленного... И я все более проникаюсь чувством близости к личности самого творца, к миру его особой духовной настроенности. И в созданных им полотнах ощущаю внутреннюю, органическую музыку, воплощенную в красочной гамме, в композиции, в динамике сюжета.

Здесь живет искусство видеть и слышать. Слушать и услышать — звуки, мелодии, окружающий мир. Искусство улавливать и постигать музыку слова, речи, а не только способность зрительно воспринимать окружающее. Во всем есть музыка. Мир, по слову Гюго, исторгает гимн... В музыке живописного полотна, смею сказать, есть свой ритм. Музыка словно бы подсказывает кисти живописца определенные закономерности. Они слышатся в движении воды, в ударах волн о скалистые берега, в слиянии морской глади с туманной дымкой неба...

Давно замечено: когда спрашиваешь художника о любимом его произведении, он указывает именно то, над которым трудится или которое только что закончил. Видно, оттого, что живет этим. Все еще находится среди своих героев, живет их радостью, их болью, гневно ополчается против зла, против унижения достоинства человека.

Из окна студии открывается вид на раскинувшуюся внизу панораму столицы Венесуэлы — многоликого чудища из железа и бетона. Словно на ладони — роскошь и нищета под небом тропического Каракаса. Джунгли небоскребов, громоздящихся в котловине между окрестных гор. Растут этажи, гигантские журавли кранов тянут город ввысь, словно стремясь преодолеть земное притяжение. Ультрасовременные башни и огромные комплексы, оснащенные новейшим оборудованием, устройствами электроники, автоматики, механики. Сверхмодерновые отели, комфортабельные особняки, утопающие в тропической зелени. Каракас — средоточие кричащей роскоши и беспросветной нужды, надежд и разочарований.

В непосредственной близости от фешенебельного Каракаса, который венесуэльцы нередко называют городом XXI века,— столичные трущобы — ранчос. Люди живут здесь поистине за чертой бедности. Квадраты и кубики хибар из кирпичей и ржавого железа, картона и строительных отбросов — словно колония птичьих гнезд, прилепившихся к склонам горы. И это еще одна примета сверхсовременного Каракаса, открытая взгляду в дне нынешнем. Здесь влачат существование изгои — самая обездоленная часть населения. Именно те, кто создает своим трудом Каракас небоскребов, бетонных и асфальтированных автострад, авенид, эстакад — этих окаменевших страниц истории. Все те, на чью долю достается самая черная, самая тяжкая служба города: санитарно-очистительная служба, обеспечивающая комфорт, власть и деньги имущим.

Таков Каракас в его нищете и блеске, имущественном его неравенстве, неравенстве социальном, классовом.

И здесь несколько строк отступления. Эдуардо Гальегос Мансера познакомил нас с Хосе Антонио Ранхелем — одним из тех венесуэльцев, кто познал горькую участь обитателей нищенских районов Каракаса. Этот приветливый молодой человек был водителем его служебной машины, но их отношения не ограничивались рамками службы. Общительный, располагающий к дружескому разговору, Хосе Антонио охотно познакомил нас с этапами не очень еще длинной, но многотрудной своей жизни, с тяжкими испытаниями, встреченными им на его горьковском «дне»... Многое довелось ему изведать на этом собственном дне, чтобы

Н. ФЕДОРЕНКО
СЕСАР РЕНХИФО —
ХУДОЖНИК СОЦИАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

оценить по контрасту добра и зла истинный смысл уважения и любви к человеку. В рассказе этом за частностями его биографии вставали факты жизни, факты немалого общественного значения. Хосе Антонио Ранхель испытывает особую признательность к тем, кто помог ему увидеть свет впереди, приблизив его к осознанию законов общественной жизни, к высоким коммунистическим идеалам [1].

Всматриваясь в полотна Сесара Ренхифо: «Больной сын», «Рваные башмаки», «Ужин во время исхода», «Радость материнства»,— нельзя было не ощутить мира боли и тревог художника, трагического звучания его раздумий об участи человека, о доле его сограждан, оказавшихся жертвами жестокой реальности. Каждый созданный живописцем образ несет глубокую мысль, настроение, художественную идею. В высшей степени симптоматично, что на его полотнах нет небоскребов и фешенебельных особняков Каракаса. Внимание художника всецело сосредоточено на жизни и участи обитателей скромных хижин-ранчос. Именно они населяют полотна Сесара Ренхифо. Именно с ними неразлучен творец.

Многоплановое, ассоциативное творчество Сесара Ренхифо, рождающее чувства беспокойства и нарастающей тревоги, неотделимо от сложности социальных обстоятельств, в которых находится художник и которые стали предметом его художнического внимания.

— Пишу постоянно, каждый день. По многу часов. Верю скорее в труд, чем во вдохновение. В процессе работы воспламеняется воображение,— не спеша, как бы размышляя, говорил о себе Сесар Ренхифо, показывая новые свои работы, собранные в студии.

Каждодневный его труд — это неустанные поиски средств передачи художественной мысли, поиски путей к совершенствованию мира и собственной личности, к истине и ее выражению, через трудности и потери, к истине, которая сделает человека счастливым. Путем утверждения добра и света, сострадания и гуманизма во имя высшей социальной справедливости.

Палитре Сесара Ренхифо подвластны философские и психологические раздумья, лирическая трепетность и острота социальной обличительности. Художник верит в силу искусства, способного раскрывать неисчерпаемый духовный мир современника и многосложные процессы общественного развития.

Сесару Ренхифо ведомы муки творчества, он не сомневается, что вне труда постоянного, сосредоточенного, вдохновенного нет успеха в искусстве. Истинная живопись — и вдохновение, и тяжкий труд. Художник никогда не знает, в какой именно миг его осенит вдохновение, когда снизойдет к нему муза. Он постоянно в ожидании чего-то, живет предощущением чуда. Об этом — меткие строки в стихотворении Николая Доризо «Накануне»: «Я все время живу/Накануне чего-то/Накануне строки/Накануне полета/Накануне любви/Накануне удачи/Вот проснусь я/И утром все будет иначе...»[1]

Всем людям знакомо чувство предвосхищения будущего, не покидающего ожидания перемен. Перебивки повседневного их существования чем-то необычным, ярким, чем-то захватывающим. Но только ли счастье вперсди ждет человека? А горя не случается? И все же не устает человек ждать, надеяться. Жить мечтой. И нередко всю свою жизнь. Иногда надежды сбываются. К одним удача и счастье приходят раньше, к другим — позже. Но приходят. Далеко не всегда мечты сбываются полностью, не всегда сбываются все. Часто человек уходит из жизни вместе со своими надеждами, не познав сладости их осуществления до конца своих дней.

Кто же из людей более счастлив? Кто считает себя счастливчиком? Не тот ли, которого предают земле вместе с несбывшимися мечтами, но который до конца был предан своей мечте?

Неторопливая беседа касается самых разных тем; для живописца разговор об искусстве оказывается, конечно, и обсуждением проблем жизни, смысла существования художника, человека вообще.

— Пишу одновременно несколько полотен... или работаю над пьесой, если устаю у мольберта,— продолжал свой рассказ Сесар Ренхифо, знакомя нас с последними своими работами, с недавно сделанными набросками и этюдами. В них — отражение поисков совершенства. Они — плод духовного усилия и глубокого чувства прекрасного, стремления осмыслить внутреннюю сущность увиденного, ощутить природу и характер натуры, постигнуть человеческие радости и благородство, слабости и страдания. Во всем — свидетельства того, что человек этот работает и мечтает. Все согрето жаром души и сердца. Неподалеку от мольберта, на деревянной подставке возвышается скульптурный портрет Будды из бронзы.

— Обратите внимание на работу ваятеля, создавшего удивительный образ гармонии и одухотворенности. Не может не восхищать утонченная выразительность и совершенство линий,— не без внутреннего волнения сказал Сесар Ренхифо и, подойдя к скульптуре, нежно прикоснулся к ней рукой.— Здесь каждая клетка образного строя оказывается на виду. Мне доставляет большую эстетическую радость видеть и любоваться этой скульптурой — легкой, едва уловимой улыбкой, опущенными веками, умиротворенностью... Чувство покоя и благости поселяет в тебе художник. Глядя на это изваяние, чувствуешь, будто прикасаешься к вечности. Это словно бы древнее обещание, эстетический за-

[1] См. нашу публикацию на стр. 107.

вет; здесь, кажется, видишь самые истоки вдохновения художника. Его привлекала скорее красота духовная, нежели телесная.

В подрамнике — незаконченная картина. Жемчужно-серый день тает в коричневатой гамме пейзажа, оставляя чувство неповторимости увиденного, того, что обычно существует рядом с нами, окружает нас, но не привлекает нашего внимания. И мы по-прежнему оставались бы безразличными и проходили мимо, как это было ранее, если бы на всем этом не остановился проницательный взгляд художника, если бы не запечатлела его волшебная кисть.

Жизнь человеческого духа,.. Не отдав сердца, ничего не обретешь. Лишь вдохновенный труд в искусстве вознаграждается щедрыми плодами.

Каждый творец уникален. Его нельзя механически уподобить другому. Вникая в его мир, нужно исходить из присущего ему неповторимого видения. Но прежде всего искусство — это призвание, одаренность, талант. Талант понимают по-разному. Для одних — это дар природы, щедрость неба. Для других — неостановимое стремление к деятельности, способность нести тяжелую ношу, чувство постоянной неудовлетворенности... И все же талант в искусстве подобен зерну, без которого не вырастет никакой колос. Это плод незримого творческого союза мыслей, идей, образного восприятия мира, в котором мы живем.

Как известно, всего труднее проникнуть в тайну природы художественного созидания, отыскать ключ к секрету механизма творчества. Жизненные явления раскрываются творцом искусства в их сложной многозначности, которая в чем-то богаче законов разума, немалая доля принадлежит здесь интуиции, нельзя забывать и о том, что наше знание истины, увы, остается относительным — нет предела возможности обогатить, уточнить его.

Прекрасное в искусстве есть именно то, что обнаруживает тайну воплощения жизни в совершенной форме, правдивого и образного ее выражения. В своей живописи Сесар Ренхифо не стремится к внешним эффектам, не увлекается поисками изощренных форм, которые у иных художников подчас становятся самоцелью. Избрав для себя определенные основы образного видения, он создает произведения социального звучания, несущие серьезный моральный урок.

Анализируя картины Сесара Ренхифо разных лет, мы видим, как углублялась содержательность и эмоциональная насыщенность произведений живописца. Сквозным мотивом проходят в его творчестве драматические темы пережитого. Содержание его картин всегда философично, всегда отмечено мыслью о судьбах человека, тревогой за него, за устройство жизни в современном венесуэльском обществе. Мотивы печали, грусти, скорби нередко звучат в этих полотнах. Назову хотя бы такие работы, как «Процессия», «Рекрутский набор», «Нефть», «Бродячие музыканты», «Обезумевшая от огня», «Человек, оплакивающий человека». С удивительной психологической достоверностью выписаны эти образы, исполненные подлинной жизненной убедительности.

Тайна проникновения в глубины жизни, в характеры людей, в природу вещей ранее всего ведома художнику определенной эстетической ориентации, научного миропонимания. Эстетика, как наука о прекрасном в природе и обществе в его конкретно-чувственных формах, его восприятии и роли в человеческой жизни, как постижения, говоря словами Маркса, «законов красоты» в действительности, занимает умы и тревожит чувства людей более двух тысяч лет.

Еще Сократ и Платон в пятом-четвертом веках до нашей эры стремились сформулировать философские понятия красоты, представления о прекрасном, сущности искусства. Известны разногласия исследователей в вопросе о прекрасном. Мы знаем теоретиков, полагающих, что прекрасное — это объективность, заключающая в себе «эстетические свойства действительности». С другой стороны, существует точка зрения, что прекрасное есть гносеологический источник эстетических свойств, которые возникают лишь в сознании людей, воспринимающих объективный мир по «ассоциации идей», то есть что в природе кажется красивым лишь то, что возникает благодаря ассоциации с прекрасным общественным и нравственным явлением. Оставляя в стороне методологический аспект многосложной этой проблемы, мы ограничимся словами В. И. Ленина, отмечавшего, что «наши ощущения, наше сознание есть лишь образ внешнего мира, и понятно само собою, что отображение не может существовать без отображаемого, но отображаемое существует независимо от отображающего».

Сесар Ренхифо обладает даром живописца, которому дано в зарисовке или картине выразить нечто большее, чем конкретный образ или пейзаж, единичное явление. За частным фактом он способен увидеть и передать нечто общее, характерное, синтезирующее. В его картинах, к примеру, частая метафора — фигура собаки. Собака как бы символизирует вольность, свободу, независимость в условиях страшного города. Почти всегда собаки изображены без ошейников и цепей. И конечно, без своей конуры. Ничем не связанные существа, свободные от всяких оков и ус-

---

Н. ФЕДОРЕНКО
СЕСАР РЕНХИФО — ХУДОЖНИК СОЦИАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

ловностей. Но собаки Ренхифо, как правило, голодны, худы, поджары. Они — верные спутники бедняка в его отчуждении, во всех его лишениях и невзгодах. Они человека никогда не покидают, не оставляют его в мучительном одиночестве, физической и духовной угнетенности. Всегда они вместе с ним. Образ этот мы видим в картине «Эрозия», где изображены обездоленные труженики, покидающие истощенную землю, которую они обрабатывали, чтобы прокормиться, и которая теперь превратилась в пустыню. Земля эта больше не плодоносит. Она мертва. Этот же символ, олицетворяющий преданность человеку,— в картине «Лагерь пеонов», на которой запечатлены бездомные батраки, корчащиеся от ночного холода в поле под открытым небом. Даже в картине «Танец в день св. Хуана» среди пляшущих людей мы вновь видим этот образ, который, однако, дается в миниатюре в связи с «нетипичностью» обстановки. В картине «То, что оставила нам нефть» изображены лишь три осиротевшие собаки, которые бродят в отчаянии у брошенных людьми хибар, среди разбитых бочек и жестяных банок. Мотив этот повторяется и в картине «Собаки, колючая проволока и бочки», где видны только фигуры трех собак, устремивших взгляд за колючую проволоку, которую в гневе порвали возмущенные рабочие.

Чрезвычайную силу образ протеста получил в одном из глубоко впечатляющих полотен «Порванное заграждение». На переднем плане — разорванная колючая проволока и сломанный столб, а на горизонте — удаляющиеся фигуры крестьян с жалкими котомками и мотыгами на плечах. В этом произведении поистине ощутим глубинный, трепетный смысл искусства. Через поступок, действие, движение передана исполненная трагизма мысль живописца об участи человека, столкнувшегося с жестокостью социальной стихии. Быть добрым к добру и злым — ко злу. Быть терпеливым, но только до предела... Сесар Ренхифо прежде всего психолог и гуманист.

Сюжеты и лица, изображенные в картинах Сесара Ренхифо,— не вымышленные, не надуманные, это — реальные типы, живые характеры. И потому правомерно говорить о том, что именно в них и запечатлены черты времени, собирательный портрет жизни венесуэльского народа.

Творчество Сесара Ренхифо с полным основанием называют социальным искусством, всецело отданным народу. Искусством, которое воплощает в себе особенности культуры не только одной страны. В нем краски и образы всего латиноамериканского континента. Его полотна и рисунки, портреты и фрески пробуждают глубокие чувства сострадания и солидарности с человеком, отвергающим социальную несправедливость и гнет, восстающим во имя освобождения и независимости личности и народа. Подлинное искусство призвано неустрашимо служить раскрепощению страны и народа. Об этом именно говорит художественное творчество Сесара Ренхифо, к которому люди неизменно обращаются как к источнику правды и вдохновения.

■

Сесар Ренхифо родился в Каракасе в мае 1915 года. В течение пяти лет он учился в Школе изобразительных и прикладных искусств родного города. Технику живописи и методику преподавания рисунка и прикладного искусства изучал в Чили, затем овладевал приемами фресковой живописи в Мексике.

Первая персональная выставка Сесара Ренхифо состоялась в 1939—1941 годах в «Клубе Каракаса». Затем, в 1947 году, последовала выставка в Нью-Йорке, в 1949 году — в Музее изящных искусств Каракаса и других местах.

Сесар Ренхифо является, кажется, единственным в Венесуэле художником, плодотворно работающим в жанре мозаики. Одна из наиболее значительных его мозаик — созданное в 1955 году панно «Миф об Амаливаке», украшающее крытую площадь Диего Ибарра столичного «Центра Симона Боливара». В этом панно, выполненном в традициях итало-византийской школы, художник отобразил народное предание о мифическом существе, боге воды Амаливаке, чье имя связывают с рождением реки Ориноко. Монументален триптих «Отцы нации», выполненный им в 1973 году для «Галереи героев борьбы за освобождение». Три масштабные фрески с их неожиданными ракурсами — параллельными и перекрещивающимися планами, с их динамизмом и экспрессией воссоздают ключевые моменты истории борьбы за независимость Венесуэлы: сопротивление индейских племен конкистадорам, восстание черных рабов, битву при Карабобо, закончившуюся поражением испанцев.

Искусство Сесара Ренхифо получило признание и в Венесуэле, и за рубежом, отмечено премиями «Антониа Эстебан Фриас», «Артуро Мичелена» и другими.

Рассматривая творчество Сесара Ренхифо в работе «Ретроспектива живописи Сесара Ренхифо» (Каракас, 1974), известный венесуэльский искусствовед Ратто-Сиарло выделяет четыре этапа творческого пути живописца. Начало его он относит к 1933 году, когда будущий художник поступил в Академию изящных искусств в Каракасе, где преподавали многие знаменитые мастера Венесуэлы, в частности Рафаэль Монастерио (1884—1961). Несмотря на суровые условия диктаторского режима, юный художник вместе с группой талантливой молодежи стремился внести свою лепту в борьбу за освобождение Венесуэлы. Ему навсегда запомнились слова Маркоса Кастильо, одного из его любимых учителей: «Никогда не теряйте своего

умения глазом художника проникать в глубь венесуэльской действительности, ее людей и природы». Девиз этот остается для художника святым и поныне. Он гневно обличал привилегированные касты, пришедшие к власти после падения диктатуры Гомеса и обманувшие чаяния народа. Характерными для этого периода являются полотна «Хоропо», где ярко запечатлен дух народного фольклора, «Эль Мобиль» — страстное обличение нищеты и эксплуатации.

Каракасская школа изобразительных искусств открыла перед Сесаром Ренхифо широкие возможности. В ту пору в художественном мире Венесуэлы началось увлечение импрессионизмом, экспрессионизмом, фовизмом, кубизмом и другими современными направлениями. Молодому художнику предстояло осмыслить главное в этих течениях, чтобы, вобрав и творчески освоив плодотворные их моменты, вновь и вновь обращаться к сокровищнице народного искусства. Его все более привлекает четкость и колористическая сочность рисунка. Он остается в стороне от широко распространившихся веяний постимпрессионизма. Творческую его манеру можно, пожалуй, охарактеризовать как латиноамериканский социальный реализм, содержащий элементы экспрессионизма.

Уже в молодости Сесар Ренхифо проникся глубоким интересом к мексиканской школе фресковой живописи, богатой яркими революционными традициями и получившей широкое распространение на всем латиноамериканском континенте. Внимание художника особенно привлекло творчество таких национальных гениев, как Ривера, Сикейрос и Ороско.

Увлечение монументальной живописью, отмечает Ратто-Сиарло, знаменует собой второй период в творчестве Сесара Ренхифо, совпадающий по времени с расцветом национального самосознания латиноамериканцев, характеризовавшимся значительным вниманием к народным истокам творчества, индейским корням современной культуры. В творчестве Сесара Ренхифо это нашло свое конкретное выражение в создании образов людей, переносящих страдания и муки, но оказывающих мужественное сопротивление угнетателям. Боль трудно воспроизвести. Но разве это основание, чтобы отрицать существование боли? Черты эти делают героев еще благороднее и возвышеннее. Такое искусство вдохновляет людей, питает их дух и волю. В работах живописца этого времени преобладают скорбные и суровые пейзажи, одинокие фигуры, застывшие в душевной печали. В отличие от Сикейроса, изображавшего насилие и его вершителей, Сесар Ренхифо создает образы жертв существующей в мире жестокости и социальной несправедливости. Его произведения проникнуты тревожными раздумьями о страдающих, обездоленных людях, об угнетенном народе. В созданных им образах синтезированы реальные представления художника о человеческих судьбах, трагическом уделе родной его земли. Композиция у Сесара Ренхифо часто очень проста и лаконична. И это усиливает выразительность сюжета, составляющих его частей и фигур. Один или несколько персонажей («Бродячие музыканты», «Процессия», «Нефть») образуют свободную и пластичную группу, как бы сошедшую с барельефа. Перед живописцем, казалось бы, самые простые, будничные моменты и явления, но чувство изумления наполняет вас при взгляде на созданное им полотно: обыденность он поистине превращает в художественную драгоценность. Даже второстепенные планы картины — изображение собаки, например,— в художественной законченности своей позволяют говорить о высотах образного совершенства. Явления окружающей реальности переплетаются для него в гармонию цветовых гамм и светотеней, создающих стилевое своеобразие и неповторимую тональность колорита. В картинах художника всегда много света, цветовые отношения неизменно выразительны, интересны, звучны. Ренхифо не страшится ни резких контрастов, которые он весьма пластично приводит к общей гармонии, ни повышенной заостренности образа и характера, что придает композиции подлинную экспрессию. Он часто обращается к приему светотеневого контраста. Свет и тень не просто лепят формы, делая их рельефными, выявляя объемность тел и предметов, но сосредоточивают внимание на основном, самом существенном, создавая эффект взаимовлияния освещенных фигур и предметов. Светопись Сесара Ренхифо... Мало у кого встретишь такие тонкие переходы красок. Это подлинная светопись художественного реализма.

Нужно ли доказывать, что положение живописца социального обличения и протеста, выражающего в своих произведениях мысли и настроения народа, требовало смелости и гражданского мужества. За участие в политической деятельности и борьбе художник был брошен в тюрьму в недоброй славы местечке Ховито, затерявшемся в самой гуще венесуэльской сельвы. Одиночная камера, однако, еще более укрепила Сесара Ренхифо в его убеждениях, в сложившемся у него миропонимании. Гневным осуждением режима и притеснений властей явилось созданное им в 1948 году полотно «Рекрутский набор», одно из наиболее внушительных по силе выразительности и социальному звучанию.

Продолжавшиеся политические преследования не только не изменили

Н. ФЕДОРЕНКО
СЕСАР РЕНХИФО —
ХУДОЖНИК СОЦИАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

взгляды Сесара Ренхифо, но, напротив, привели лишь к решимости выразить теперь уже в монументальной живописи то, что силы реакции не дали ему возможности сделать с трибуны народных митингов, собраний, на страницах печати. Художник создает упомянутое выше первое свое мозаичное панно «Миф об Амаливаке», в котором средствами выразительной символики воспроизводится эпос венесуэльского бытия — с самого его зарождения. «Миф об Амаливаке» художественная критика относит к числу главных свершений третьего этапа творческой биографии живописца.

Что же это, тоска по минувшему? Нет, это не ностальгия по ушедшему, не идеализация отживших, старых обычаев и нравов. Здесь другое: стремление сохранить в памяти исчезающие, но существенные для современности черты жизни, уходящие человеческие образы и характеры, неповторимые явления, которые способны обогатить духовный мир современника, сыграть положительную роль в художественно-эстетическом его воспитании. Такие эмоционально сложные явления требуют, разумеется, не обычного созерцания, но работы мысли, интеллекта.

Не о том ли, кстати, говорится в статье Белинского о гоголевских «Вечерах на хуторе близ Диканьки»: «Здесь поэт как бы сам любуется созданными им оригиналами. Однако ж эти оригиналы не его выдумка... Всякое лицо говорит и действует у него в сфере своего быта, своего характера и того обстоятельства, под влиянием которого оно находится... Поэт математически верен действительности».

Несмотря на сковывающие творчество условия, Сесар Ренхифо не впал в мрачное самосозерцание, но сумел доказать, что человек не одинок и что люди могут выстоять, если они едины, если они вместе. Средствами образного выражения ему удалось индивидуальное претворить в общечеловеческое. Он убежден, что искусство должно вызывать не только сострадание. Оно может и должно вдохновлять, окрылять человека в его лучших устремлениях. Живописец верит в могущество искусства. Отсюда и неистовая его жажда к творческому труду.

В картинах Сесара Ренхифо нашли столь же яркое, сколь и глубокое выражение верность живописца своей родине, мужественному и многострадальному венесуэльскому народу, несущему через все превратности исторических судеб надежду и веру в свободу, в неповторимость человеческих ценностей. В созданных живописцем произведениях отчетливо прочитываются идеи гуманизма, сознание нравственной ответственности за судьбы людей, за их будущее. Это отношение Сесара Ренхифо к социальной действительности и творческому предназначению художника учит тому, что борьба и связанные с ней испытания никогда не оказываются напрасными. И хотя те или иные прогрессивные силы не достигают в какой-то час успеха, народ не прекращает сражения, не останавливают его и жертвы, ибо они приносятся во имя священного дела национального и социального раскрепощения.

Пафос художественного творчества Сесара Ренхифо всецело обращен к человеку, искусство его предназначено для народа. И потому самое заветное для него — признание не столько в сферах профессионалов, сколько в самом народе, среди простых людей, ибо для них он пишет правду, правду о них, о нынешнем мире и о мире завтрашнем.

Для художника знание реальной жизни в значительной степени связано с глубинным постижением своих героев, их характеров, поступков, стремлений, поскольку правду жизни, все многообразие реального мира — внутреннего и внешнего — он выражает через их образы. И мы видим, что в таких картинах, как «Виртуоз», где изображен вдохновенно играющий бедный скрипач на фоне жалких хижин-ранчос; как «Розы моему городу» — с лирическим героем, бросающим с горы цветок на дома у подножья; как «Ночная фигура», где скромная женщина со свечой бережно несет огонь в поселок бедняков; как «Поэт»,— во всех этих и многих других картинах созданы образы, одухотворенные мягкой человечностью, лиризмом. Образы простых и часто бедных людей, воплощающих спокойное достоинство, стойкость перед невзгодами, мудрость, силу духа. В них раскрываются и черты самого художника, наделенного тонким психологизмом, проникновенным, неизбывным чувством справедливости.

Правда жизни... Правда характеров и образов. Правда художественного постижения действительности. Не в этом ли великая тайна и сила искусства? Мы, разумеется, знаем, что составные элементы единства находятся не в однозначных, как простые слагаемые, но в весьма сложных и нередко противоречивых взаимосвязях, обусловленных своеобразием идейно-эстетического подхода писателя к действительности. Разве не известно, что извечные нравственные категории добра и зла воспринимаются и толкуются художниками современного мира отнюдь не всегда одинаково? А сфера непрекращающейся идеологической борьбы, столкновений философских и эстетических понятий?.. Свою роль играет и фактор борьбы сознания и подсознания, интуиция, ощущение. «Художник,— отмечал М. Горький,— это человек, который умеет разработать свои личные — субъективные — впечатления, найти в них общезначимое — объективное — и который умеет дать своим представлениям свои формы».

Мотивы творчества Сесара Ренхифо — это не нечто частное, лишь индивидуальное. Это — проблемы общественные, социальные.

Произведения Сесара Ренхифо с большой силой выражают нерасторжимость связи художественного творчества с действительностью, с жизнью своего современника, венесуэльского народа, неразрывную связь его чувств и переживаний с окружающей действительностью.

Нынешний, четвертый, этап творчества Сесара Ренхифо восходит, как принято считать, к началу шестидесятых годов, когда художник как бы подводит итог всему достигнутому ранее, чтобы яснее видеть перспективу. Характерно, что и этот период, помимо прочего, обозначился своего рода ретроспективностью — вниманием художника к историческому прошлому своей земли. Его вновь, как еще в начальном периоде, привлекает идея художественного обращения к истокам, к корням венесуэльского бытия. Каково прошлое страны и народа, к которому принадлежит живописец; как свершалось движение истории, к чему пришли венесуэльцы, каким представляется их будущее? Сесар Ренхифо стремится дать свой ответ на постоянно возникавшие у него вопросы, найти собственное истолкование их доступными ему образными средствами. Так возник упоминавшийся нами ранее монументальный триптих «Отцы нации», в котором художнику удалось ярко воплотить творческий свой замысел, создав величественные образы провозвестников грядущего, мужественных освободителей Венесуэлы.

И если теперь вспомнить в этой связи драматургическое творчество Сесара Ренхифо, перу которого, следует напомнить, принадлежат семьдесят четыре пьесы, в том числе такие, как «То, что оставила буря», «Праздник умирающих», «Непригодное счастье», «Звезды на сумрачном небосклоне», «Угол страха», «Люди горьких песен», «Башни и ветер», «Этот колос, проросший в Карабобо»,— во всем этом найдешь ответ художника на вопрос о том, что есть его родина, какие жертвы и страдания достались на долю неустрашимых борцов за ее свободу и сколько еще предстоит людям испытаний на тернистом пути завершения однажды начатых битв.

Произведения Сесара Ренхифо несут в себе высокую патриотическую энергию и обладают большой эмоциональной выразительностью. Живописец обращается не просто к интеллекту, разуму человека, но и к его чувствам, воображению. И в сегодняшнем творчестве Ренхифо, как в лучшие годы подъема, отнюдь не ощущается спада напряжения мысли, не притупляются чувства, не выцветают краски, как это порой случается с признанными мастерами, которые, казалось бы, совсем недавно еще высекали искры, «зажигали звезды в небе искусства».

Сесар Ренхифо не утрачивает своей творческой дерзости, мастерство его успешно и плодотворно развивается — сами отношения с действительностью, с условиями современности, сама эскалация ее социальных требований поддерживают его тонус, чувство формы.

Волшебный дар художника — умение видеть, способность удивляться. Именно в таланте видеть, ощущать, удивляться берет свое начало творчество. Восприятие, мыслительный процесс, стремление к постижению внутренних связей окружающих вещей и мира интуиция, воображение. Умение удивляться простым вещам, осмыслять их во взаимосвязи с явлениями всеобщими и есть качества истинного художника. «Я хочу,— писал в одной из своих книг известный вьетнамский писатель Нгуен Туан,— чтобы изо дня в день опьяняла меня новизна. Хочу, чтобы каждый день дарил мне удивление, из которого рождается вдохновение и тяга к работе. Если человек отучается удивляться, ему остается одно — вернуться к первоисточнику своему — стать глиной и прахом».

Открытие чудес творцом художественных ценностей — явление вечное и современное. Не подвластность предубеждениям, косным, застывшим представлениям и порочным традициям, а свежесть взгляда, новизна, творческая трепетность — такова мера требований к себе венесуэльского живописца, который изображает не абстрактные схемы, но человека истории и современности.

■

— Что же такое счастье? — сидя за столиком, спросили мы Сесара Ренхифо, который захотел сам приготовить гостям колумбийский черный кофе и угостить нас из редкостных керамических чашек, прося извинить за то, что он не успел осведомиться о наших вкусах... Не в этом ли обаяние доверительной простоты, обаяние непосредственности? Мысль моя — о том, что самой природой вещей человеку положено чувствовать себя непринужденно, естественно, как «ветви растения».

— Счастье — это жизнь и труд на родной земле, это помощь своему народу всем, на что способен в его движении в будущее, в нарастающем движении к заветному,— неспешно, тщательно подбирая нужные слова для точного выражения мысли, скромно произнес Сесар Ренхифо, к которому, кажется, давно пришла мудрость вместе с афористической завершенностью и выверенным лаконизмом. Для этого необходимо

Н. ФЕДОРЕНКО
СЕСАР РЕНХИФО —
ХУДОЖНИК СОЦИАЛЬНОГО РЕАЛИЗМА

сочетание ощущений художника, опыта психолога и проницательности поэта. И человек этот, подумалось мне, имеет право не только на скромность...

Разве не случается, что с годами, когда люди обогащаются опытом и мудростью, возрастает чувство осмотрительности, приходит особая осторожность в обращении с пером, все чаще лист бумаги художник оставляет чистым... Душевная усталость — спутник лет, оказавшихся позади,— разве не способна она убить или приглушить дар удивления художника и в конечном итоге его способность к творчеству?

Сесар Ренхифо, который никогда не держался в ироническом отдалении от жизни, написал за свою очень непростую и нелегкую жизнь буквально неисчислимое множество картин. Его творчество не знает пределов ни во времени, ни в земном пространстве, которое для него неизменно окружено образами венесуэльской действительности и обездоленных собратьев. И в этом мы видим художественное свидетельство живописца, запечатлевшего десятилетия истории Венесуэлы, итог логической последовательности явлений и фактов.

И потому Сесар Ренхифо верит в то, что именуется вдохновением, и еще более—в неостановимый, ежечасный труд. Он знает, что ждать невозможно, опасно, а потому работает. Непрестанно, каждый день, независимо от того, сумрачный он или ярко-солнечный. Художник знает, что минуты творчества не воротятся. Ни одна из них не повторится. И рисуя событие, пейзаж, образ — по-прежнему вкладывает всего себя, ища новые, свежие оттенки, сочетания, привлекая свежие наблюдения. Любой рисунок выполнен Сесаром Ренхифо с искренностью и теплотой, столь характерными для его работ. Свежесть, непосредственность, богатство воображения по-прежнему отличают его произведения.

Нередко романтический эмоциональный строй его полотен приобретает особый оттенок, связанный с широтой и многогранностью образов, со сложными характерами, с венесуэльской действительностью. Вообще у Сесара Ренхифо порой многоярусная структура и определенная среда сюжетности полотна, образность художественной ткани.

Высокое мастерство, художественное совершенство, эстетическая законченность вознаграждают творца — скульптора, драматурга, художника радостью ни с чем не сопоставимой... Отсюда — и благодарность зрителей, их взволнованная реакция на исполненные проникновенности, теплоты, лиризма творения души живописца.

■

Чужие мысли читать трудно, порой невозможно.

— Приходилось ли вам бывать в Советском Союзе? — решил я под конец задать неизбежный вопрос.

— Был в Москве в 1960 году... Провел месяц — чудесное это было время в моей жизни. Достаточно обратиться на мгновение мыслью к тем дням, как испытываешь какую-то благость очищения души от всякой нечисти...

Нет, немногословен был Сесар Ренхифо. Но и сказанного достаточно, чтобы понять стремление художника помимо объективно существующей действительности проникнуть в реальность дня грядущего, в нечто сокровенное...

...Наступил час расставания. Мы покидали виллу живописца, по-мужски прощались с хозяином, но уже ощущали себя другими людьми. Совсем не такими, какими были до нашей встречи всего несколько часов назад... Будто смотреть мы стали и на себя и на все окружающее другими глазами, чем прежде.

Что же случилось? Изменилось ли что вокруг, спрашивал я себя. Изменились, видимо, мы сами. Изменились под воздействием увиденного и пережитого, под влиянием искусства и его удивительного творца, обогативших нас духовно, сделавших ближе друг другу, лучше, благодарнее. Похоже, что в мире творчества, как и в самой природе, рождаются личности, которым словно бы самой судьбой предназначено потрясать человеческое воображение.

...На пороге дома, словно портрет во весь рост, стоял Сесар Ренхифо, провожая нас задумчивым взглядом. Прекрасно было грустное его лицо. Из глубины помещения доносились звуки знакомой симфонии... А рядом с каменной лестницей, в небольшом водоеме застыли в неподвижности темно-зеленые листья, увенчанные белоснежными цветами лотоса и нежной лилии.

Шло время, на дорогах моих поездок менялись города, людские лица. Но в мыслях своих я часто возвращаюсь в милый сердцу дом Сесара Ренхифо, венесуэльского художника и поэта, который, кажется, никогда не писал и не пишет ничего, кроме родного края, где родился и обрел зрелость. И вместе с тем он пишет о всех людях, о всех обездоленных, униженных, достойных сострадания и милосердия, человеческого участия к печальной и горькой их судьбе.

◆

С. КОНДРАШОВ

БЛИКИ НЬЮ-ЙОРКА

Вместо воспоминаний

Душ ненависти

Пришел в контору корпорации, которой принадлежал Шваб-хауз, к некоему мистеру Креймеру за разрешением установить телекс в квартире. Телекс — удобная штука, прямо на дому надежная связь с редакцией: набрал московский номер, там откликнулись, запустил пунширированную ленту — и дело сделано, твой материал уже там, на Пушкинской площади. Агенты корпорации Ар-Си-Эй предлагали и даже уговаривали за весьма умеренную плату установить телекс, но в Шваб-хаузе не соглашались на такой элемент оффиса в жилом доме. Отослали меня к мистеру Креймеру.

Но его не оказалось на месте, о чем сообщила мне секретарша, пожилая дама в очках на остреньком носу. Я стоял перед ее столом, выясняя, когда вернется мистер Креймер. Секретарша на удивление быстро схватила мою неподатливую для американцев фамилию. Вдруг спросила:

— Долго вы здесь живете, мистер Кондрашов?

Я ответил, что уже несколько лет.

— Что вы думаете о нашей стране?

Типичный и вполне понятный вопрос. Но он ставит меня в затруднение. Что я думаю? Все это время пытаюсь ответить и самому себе, и читателю и все еще не ответил толком. А тут ждут ответа в двух словах, да еще и с восторгами, в чем не раз мне приходилось убеждаться; ведь вопрос этот американец привык задавать свежему иммигранту, перебравшемуся в Америку как в землю обетованную. Поэтому я рассмеялся, услышав этот вопрос. Секретарша смотрела на меня с холодным ожиданием, которое я не сразу заметил.

— Что я думаю? Большая страна, интересная, богатая и, конечно, со своими проблемами.

— Какие же это проблемы? — спросила, как отпарировала, остроносенькая секретарша.

Только тут ее холодность дошла до меня.

— А вы что, считаете, что проблем у вас нет? — невольно поддаваясь ее неприязненному тону, спросил я.

— У нас нет никаких проблем,— убежденно сказала она.— Вы лучше расскажите, как обстоят дела в Польше, которую захватила Россия?

Это была уже не просто холодность, а откровенная враждебность, неожиданная атака в неожиданном месте, предпринятая неожиданным человеком. Ведь я пришел к мистеру Креймеру как квартиросъемщик из Шваб-хауза, как клиент, платящий стопроцентные доллары и потому — по всем американским обычаям — имеющий полное

Окончание. Начало см. в № 1.

право на обходительность и любезное внимание. (Недаром ведь клиентов, покупателей, посетителей в порядке деловой лести именуют в Америке патронами.) А обязанность этой секретарши состояла не в нелепых политических нападках на страну клиента, а в том, чтобы любезно и обходительно сообщить ему, когда сможет принять его мистер Креймер. Не больше и не меньше. В личных разговорах и контактах с советскими людьми американцы, что бы они о нас ни думали, очень редко позволяют себе неприкрытую враждебность. Значит, что-то было в этой комнате, в отношениях секретарши с мистером Креймером, в их разговорах о советских семьях, живущих в Шваб-хаузе, если ее ненависть брызнула сразу, не таясь и так сильно. А ненависть требует взаимности.

— О Польше вы лучше спросите поляков.

— А я вас не случайно спрашиваю,— продолжала она в том же неприязненно-напористом тоне.— У меня там родственники. Они пишут, что там свободы нет.

— В каком это смысле там нет свободы?

Теперь мне было уже трудно уйти. Я стоял возле ее стола, но сесть она, опять же в нарушение правил, не приглашала. На кончике сигареты у меня накапливался пепел, и я разыскивал глазами пепельницу, осторожно запрокидывая сигарету, чтобы пепел не свалился на ковер. Она все это превосходно видела, но, вздергивая очки на остреньком носике, не хотела помочь и пепельницу не предлагала, что опять-таки обязана была сделать любая тренированная секретарша (а нетренированных секретарш в Америке не приходилось встречать). Мы встретились впервые, но, очевидно, она так сильно ненавидела меня, что всякое мое неудобство, даже самое мелкое, доставляло ей злорадное удовольствие. В общем, мы уже были в состоянии «холодной войны», и ей хотелось поддать жару.

— У них нет свободных выборов. Они не могут выбирать, кого хотят.

Все развивалось по законам полемики, которую принято называть трамвайной.

— А у вас есть свобода выбора? Вы газеты свои читаете? Читали, что пишут они о недавних выборах?

То были очередные, не президентские, а промежуточные выборы конгрессменов и сенаторов, губернаторов и других местных властей, и нью-йоркские газеты много писали о схватках денежных мешков, о влиянии «жирных котов», финансировавших политиков, и т. д.

Но даже ссылка на американские газеты никак не подействовала на секретаршу.

— Да, у нас есть свобода. Мы можем выбирать кого угодно. У нас у всех равные возможности. И...

Тут она поглядела особенным взглядом, в котором я прочел, что сейчас она сделает самый удачный ход, приведет самый неотразимый аргумент, после чего мне просто придется поднять руки вверх, сдаваясь.

— ...И мой сын может стать президентом!

Услышав этот залп из орудий главного калибра, я понял, что продолжать спор бессмысленно. Дурак! Сам дурак! И победит тот, кто последним крикнет это слово охрипшему оппоненту. Но найдя-таки пепельницу на другом столе и освободив от пепла кончик сигареты, я снова не удержался:

— Вы в самом деле уверены, что сын ваш может стать президентом?! Вы разве не заметили, что все ваши последние президенты — из миллионеров? Разве не знаете, сколько денег нужно, чтобы баллотироваться в губернаторы или сенаторы?

Стол, за которым она все еще сидела и через который мы пикировались, уже мешал мне, как человеку в гневе мешает застегнутый воротник рубашки. Я обошел стол и теперь стоял сбоку, в двух шагах от нее, но она продолжала сидеть и по-прежнему не предлагала мне стула, чтобы унизить и взбесить меня. Случай был смешной, но я ловил себя на том, что теряю хладнокровие. Разумеется, никакие мои слова не могли рассеять ее ненависти, а факты из американских газет автоматически становились в ее глазах коммунистической пропагандой, какими-то дьявольскими оборотнями, как только на них ссылался советский русский.

— Да, мой сын может стать президентом! — с тем же запалом торжества и отчаяния подтвердила она.

— Я рад, что вы так уверены в своем сыне...

Она встала. Вышла из-за своего стола. Направилась к столу, стоящему у окна в глубине комнаты. Понесла туда какие-то бумаги. В комнате мы были вдвоем, и она могла повременить с этими бумагами. Но ненависть душила и толкала ее. Она уже не могла сидеть. Она нуждалась в движении. Я повернулся ей вслед, и она тоже мгновенно повернулась и бросилась в решительную атаку.

— Да, у нас свобода,— заговорила она так быстро, как будто я мог воспользоваться отсутствием мистера Креймера и своим физическим превосходством мужчины и лишить ее этой свободы, не дать ей высказаться до конца.— Да, у нас свобода! Кто я? Бедная секретарша. А у меня есть автомашина. У меня всегда была машина! У меня два телевизора. Два телевизора! У меня легкая жизнь. Посмотрите вокруг. У всех здесь легкая жизнь. Моя дочь может добиться чего захочет. Она уже добилась всего, чего хотела. И мой сын...

Сына она опять приберегла напоследок.

— И мой сын может стать президентом Соединенных Штатов Америки.

Только иронией можно было победить ее, но в горячке полемики оружие иронии нелегко дается мне даже на русском, тем более на английском языке. Я мог бы, видимо, сказать ей, что у моего сына никак не меньше шансов стать Председателем Президиума Верховного Совета СССР. Но этот аргумент не сразу пришел мне в голову. Возбужденные, тяжело дыша, мы стояли друг против друга.

К черту! Хватит!

— Вот что. Вы говорите, что мистер Креймер будет в полтретьего. Передайте ему, что я приду к полтретьему. Надеюсь, что он примет меня...

Когда в полтретьего я вернулся, мистер Креймер, конечно, принял меня, но так и не разрешил установить телекс в квартире. А его секретарша уже была обыкновенной, любезно-эффективной американской секретаршей.

Ночью

Из освещенной комнаты Гудзона не видно, лишь широкий, непроницаемо черный провал между фонарями на нашем берегу и цепочками огней на другом берегу, в штате Нью-Джерси. Ночью и свет фонарей одинок. К тому же ночь январская. Без четверти два. Только что вернулся с телеграфа. Днем шел дождь, а сейчас в щель приподнятой металлической рамы окна врывается холодный ветер. В нем — предвестье снега. Машин на автостраде вдоль Гудзона — Вестсайдском хайвее — поночному мало, и все же все время гул — рождается вдалеке, еле слышный, нарастает, приближается, уже не шорох, а скрежет шин, все напряженнее, громче, ближе, уже как по сердцу — пронесло! Раскачивая впереди свет фар, поблескивая своим металлическим телом, автомобиль проходит по хайвею мимо наших окон в колючем свете фонарей, шум отдаляется, все тише, глохнет. А вдалеке уже родился и нарастает шум и гул другой, еще невидимой машины. Так день за днем, ночь за ночью и уже год за годом...

К шуму не могу привыкнуть, сплю, заткнув уши ватой, а ночные автомобильные прогулки люблю. Это ночные прогулки после ночной работы. Написанный материал жжет пальцы — его надо немедленно отправить в редакцию. Телефонная связь с Москвой работает исправно. Но не всегда полагаясь на оперативность телефона, отстукав клером (то есть русский текст латинскими буквами) очередную корреспонденцию, спускаешься на лифте в подземный гараж, где дремлет негр-дежурный, берешь лагунно-зеленый «шевроле» и, вынырнув на 74-ю, обогнув Шваб-хауз, через арку маленького виадука въезжаешь на хайвей, направление — юг. В Даунтауне, на Брод-стрит, круглые сутки работает радиотелеграф одного из отделений радиокорпорации Ар-Си-Эй.

Теперь фонари проносятся мимо. Хайвей шуршит под колесами, и это успокаивает. Старый хайвей, его сейчас подновили. За свой век он пластался под шинами несчетных миллионов машин. Поизносился. Полотно его выщербленное и неровное, звук резонирует в бетонных барьерах, стоящих по обе стороны. Старый шестирядный хайвей. Под ним на уровне земли, плутая между его опор, тоже идет шоссе, но медленное, со светофорами, вдоль старых портовых складов и пирсов, которые один за другим тянутся в Гудзон двухсотметровыми зубьями какой-то циклопической гребенки. А сам хайвей вознесен на уровень портовых крыш; когда у пирсов стоят океанские лайнеры, над ними, маня к другой жизни, празднично светятся огни иллюминации.

Гудзон свежо дышит в приоткрытое окно машины, слева темными контурами спящих домов и сотами огней в светящихся небоскребах струится ночной Манхэттен.

Заторов и пробок никаких, жмешь на газ и в считанные минуты, многократно осененный зелеными щитами дорожных знаков, проскакиваешь весь путь на юг и в самом конце, где автострада ныряет в тоннель, чтобы вынырнуть из него уже другой, с другим именем автострадой вдоль Ист-ривер, съезжаешь с хайвея возле Бэттери-парка. Среди темно мерцающей воды, за деревьями сквера и старым зданием портовой пожарной службы, у которого причалены красные катера с короткоствольными пушками-брандспойтами, прячется в ночной гавани статуя Свободы. Но ее не видно.

Теперь остановки у светофоров, и вместе с ними — тревога. Пережидаешь красный свет, вокруг ни единой души, даже полицейской. Скудный свет фонарей и темень египетская. Брошенные на ночь машины горбятся у обочины. Массивный, с колоннами портик здания таможни. Скрывающиеся в ночном небе таинственно-темные этажи банков и корпораций. Это и есть Даунтаун, деловой и финансовый центр. Днем кишмя кишит людьми и машинами, черт ногу сломит, му́ка отправиться туда на машине, негде припарковаться. Лучше и легче, если попадешь туда в субботу — воскресенье, место для машины находится.

А сейчас все спит. Спит Уолл-стрит. Спит Брод-стрит. Спит биржа на их углу. Спит старая закопченная церковь Троицы, спит старый Федерал-холл, где Джордж Вашингтон приносил свою присягу как первый президент США, и вместе с ними вечным сном спит город, который здесь в середине XVII века начинался сотней

домов Нового Амстердама, никак не предполагая, что́ из этого в конце концов выйдет. Темны и безлюдны истоки Бродвея, здесь он еще делится на Ист-Бродвей и Вест-Бродвей. Всех сморил сон. Тут в подвалах и сейфах таятся несметные сокровища, но никакой ночной дозор не обходит пустые улицы. Неужели спит и стража за дверьми, полагаясь на стальную толщу сейфов, которые не сокрушить даже торпедой, на изощренную электронную сигнализацию?

Но драгоценный ночной филиал Ар-Си-Эй в доме 66 по Брод-стрит не спит. Светится большое окно на первом этаже, где принимают телеграммы. Сама комната пуста, но сзади, в служебном зале, сидит за телетайпами ночная смена.

Телетайпист выходит с усталыми глазами, деловито-озабоченный, готовый помочь. Как будто именно для тебя он бодрствовал там, где все спят. Свои две-три странички с красным фирменным бланком Ар-Си-Эй ты вручаешь ему, как судьбу. Он мельком бросает взгляд: пресса. Москва. «Известия». Единственные понятные ему слова.

— Срочный материал,— говоришь ты телетайписту и в интонацию своих слов вкладываешь просьбу и требовательность, на которую имеет право давний клиент Ар-Си-Эй.

— Не беспокойтесь. Сразу же отдаю на машину,— отвечает он и для пущей убедительности смотрит на круглые большие циферблаты, висящие на стене комнаты. Циферблатов много. На всех одни и те же минуты, но разные часы. Это время в разных городах мира: Монреаль, Лондон, Париж, Москва, Токио... Радиотелеграф живет мировой жизнью. В Москве полдесятого утра.

Снова ты на сиденье «шевроле», снова темень Даунтауна, фонари, светофоры, безлюдье. Снова тугая резина шин мягко подпрыгивает и шуршит по бетону хайвея. Теперь Манхэттен струится справа, и, поглядывая на его тянущийся вдоль дороги силуэт, ты уже не так спешишь. Дело твое на сегодня сделано. Слова и строчки, которых не было в помине еще и два часа назад, которые ты в спешке слепил за своим столом, оторвались от тебя и мгновенно, быстрее, чем ты на Риверсайд-драйв, переместятся из темного нью-йоркского Даунтауна на московскую улицу Горького. И поставив машину, поднявшись домой, перед сном, в тишине глубокой ночи, разрезаемой проносящимися машинами, ты снова — уже по-другому — просмотришь копию отправленного. Завтра тебя потянет в оффис ТАСС, скрывая волнение от товарищей, ты будешь ждать, когда на телетайп поступит обзор московских газет. И будешь сам звонить в редакцию и как бы между делом спрашивать: напечатали или отправили в корзинку. И как напечатали? В каком виде? Через два-три дня будешь нервно перебирать почту, разыскивая нужный номер газеты. Волнения длятся дольше, чем жизнь твоей заметки. И не избавиться от них: это твой труд, смысл и оправдание твоего существования здесь...

И ты еще не знаешь, что запомнится как раз то, о чем не отправлено ни строчки: ночные поездки на телеграф, шуршание шин на хайвее, порывы ветра с Гудзона и неизъяснимое ощущение города, с которым ты остался один на один...

Однажды приехал на телеграф, как всегда, во втором часу ночи. Чуть в стороне от освещенного входа стояло несколько мужчин. Когда прошел мимо и плечом толкнул дверь-вертушку, один из них зло и довольно громко сказал: «Эй, скеб!»

Скеб — это штрейкбрехер. Бастовали рабочие Ар-Си-Эй. Без умысла я пересек линию пикетов, нарушив закон солидарности с бастующими. Да и линии никакой не было, ни линии, ни плакатов на груди: «Бастуем!» Была ночь. Пикетчики отдыхали. И только когда в спину, как камень, бросили злое словцо, я осознал свой промах. Но отступать было поздно.

Внутри помещения на этот раз дежурил полицейский. Когда я нажал кнопку вызова, телетайпист не сразу показался из закрытой двери служебной комнаты. На лице его был испуг. Взяв мои листы, он сразу же скрылся за дверью, и я услышал, как он кому-то сказал там: «Туда я выходить не буду». Туда — это в комнату с часами, где принимают телеграммы. Там через окно его могли увидеть бастующие, запомнить и как-нибудь под горячую руку наломать ему шею.

Меня не тронули, но, идя назад, к машине, я чувствовал косые взгляды пикетчиков, не без опаски пробирался через ночной Даунтаун и успокоился лишь на хайвее.

Ночные поездки не разлюбил, но после той ночи, пока длилась забастовка, перестал ездить в Даунтаун и временно перешел к услугам другой корпорации — Ай-Ти-Ти.

Скрипач

На 57-й стрит под широким козырьком главного подъезда концертного зала Карнеги-Холл худой, черноволосый парень играет на скрипке. На нем джинсы, свободный пуловер, желтые, рабочего типа башмаки. Глаза парня полузакрыты. У ног лежит на тротуаре раскрытый футляр от скрипки. В футляре на потертом синем бархате сбивки кусок картона. Слова на картоне разъясняют смысл уличной сценки: «Скрипач нуждается в деньгах для учебы». В футляре долларовые бумажки

и мелочь. Их больше, чем обычно тут подают. Значит, вызвал сочувствие этот бедствующий молодой скрипач, пришедший подработать у парадного подъезда зала, на сцену которого выходили все великие скрипки нашего долгого века.

57-я — одна из главных манхэттенских улиц, известна частными художественными галереями. Боковой своей стороной Карнеги-Холл выходит на Седьмую авеню. Шестой час вечера — рабочий день только что кончился, и на автобусной остановке напротив входа в Карнеги-Холл людно. Ожидающие автобуса поглядывают на парня со скрипкой. Много прохожих, они замедляют шаги, останавливаются.

Скрипач хорошо выбрал место и час. Он в центре уличного людского водоворота, но играет, полузакрыв глаза, как будто никого не видя. Может быть, ему нелегко перенести этот концерт для толпы, занятой своими делами, этот раскрытый футляр вместо протянутой руки? А может быть, оттого он закрыл глаза, что даже здесь, среди случайной толпы, самозабвенно отдается музыке? А город не щадит его, не хочет отодвинуть свой шум, расчистить место для тишины и гармонии. И кажется, что душа скрипача вместе с красивыми печальными звуками рвется куда-то из-под козырька Карнеги-Холл, что скрипка его стонет, не будучи в силах одолеть безобразную и безжалостную какофонию города. Но происходит чудо. Звуки не побеждают — и не пропадают. Они отвоевывают себе то место, которое, наверное, и принадлежит искусству в широком, хаотичном, агрессивном мире жизни. Случайные слушатели скрипача молчат, и их молчание благосклонно, как символический барьер оно отделяет играющего от громкого городского прибоя. Их тоже будоражат звуки скрипки, их души тоже уносятся куда-то, оставив шумной улице лишь бренные, негодные к полету тела...

Но полеты душ недолго длятся. Очнувшись, стряхнув гипноз музыки, люди снова во власти земного притяжения, своих дел и забот, садятся в автобусы, мягко и сильно отчаливающие от тротуара, продолжают свой пеший ход...

Очнулся и я и пошел знакомой дорогой к площади Коламбус-Сёркл и дальше по Бродвею на Риверсайд-драйв. Шел и пробовал представить нашего, тоже бедствующего студента, играющего на скрипке, например, у здания консерватории на улице Герцена или рядом с метро у зала Чайковского. Представил его раскрытый футляр на московском асфальте. Представил удивление прохожих, поведение милиции. Представить все это было нетрудно...

Каждый человек — атом в общественной структуре. Каждая частичка жизни, каждая уличная сценка так или иначе отражает весь общественный, государственный, национальный организм. Вот пример — а их великое множество,— когда мелкий случай прямо подводит к огромным вопросам о разнице экономического устройства и общественной нравственности, о соревновании двух систем. У нас такое сверхъестественно, а здесь это первые, именно естественные опыты, первые выходы формирующейся личности в бурный океан частной инициативы. Нормой этого молодого скрипача, может быть, и не назовешь, но в принцип он бесспорно укладывается. Хотя бы в тот принцип, что не зазорно подработать, не зазорно предложить свой продукт — игру на скрипке — на рынке труда, даже в таких обстоятельствах, когда по всем внешним признакам это выглядит просьбой о подаянии.

У нас в принципе отвергнут этот раскрытый футляр с четвертаками и долларовыми бумажками как унизительное и недостойное артиста попрошайничество. Но давайте не будем заблуждаться и упрощать этого американского уличного скрипача. Ведь сам-то он, бедный студент в джинсах и пуловере, пришедший на это знаменитое место, скорее всего не разделит нашу точку зрения, не отвергнет — опять же в принципе — этой возможности стоять со скрипкой и раскрытым футляром перед случайными слушателями. Не отвергнет, даже если предоставить ему вполне сносный минимум стипендии и место в общежитии. Почему не отвергнет? А потому, что выращен в недрах другого общества и в этом стоянии видит не только обременительные и даже унизительные минусы, но и перспективные плюсы. Для него в этом выходе в океан частной инициативы не только давление и диктат нужды, но и рожденная устройством общества потребность испробовать и реализовать себя, да побыстрее, не дожидаясь окончания курса, та активность, та самодеятельность, которую он скорее всего считает экономическим ядром свободы личности.

Просто пожалев или осудив и высмеяв студента-скрипача, мы проглядим главное: что под козырьком Карнеги-Холл среди толпы и шума нью-йоркского часа пик была его купель, происходил акт крещения человека, готовящегося к жизненному пути в капиталистическом обществе.

Вот что, очнувшись от гипноза музыки и снова предавшись размышлениям о политике, можно было услышать в звуках его скрипки.

Чудеса рекламы

Первый раз попав туда, я встретил в коридорах офицеров корпуса морской пехоты, расхаживавших по мягким, салатного цвета коврам в темно-синих мундирах — грудь колесом и многорядье орденских планок... Во второй раз долго разговаривал с одной женщиной, и она пересыпала свою речь военными словами: «стратегия», «потенциальные мишени» и так далее. Привлекательная дама средних лет, в темном

строгом платье, вместо орденских планок нитка жемчуга на шее, тонкие пальцы, нежный голос, а слова как у генерала на маневрах.

В каких сражениях участвует миссис Рина Бартос? В рекламных. Стратегия — это выбор рекламы для того или иного продукта. Потенциальные мишени — покупатели. В крупнейшем рекламном агентстве Америки миссис Бартос руководит Программой Творческого Поиска. А что же делала там морская пехота? Приходила заказывать рекламу. «Хочешь увидеть мир? Иди в морскую пехоту!» Эта старая агитка (здоровенный счастливый верзила на фоне благословенного моря и каких-то райских кущей), выставленная у всех вербовочных пунктов, видимо, примелькалась, нуждалась в обновлении: корпус морской пехоты объявлял новый набор.

Америка и реклама, реклама и Америка... Неподъемная тема. Рекламное дело — это искусство, уповающее на творческие озарения, и наука, которая, по Фрейду, пробуждает в человеке глубины подсознательного — лишь бы сбыть товар. Без рекламы производителю не выжить в мире яростной конкуренции, а для потребителя это нить Ариадны в лабиринтах частного предпринимательства. На рекламу бизнес выделяет каждый год десятки миллиардов долларов, пожалуй, лишь вдвое меньше, чем правительство на Пентагон, пожалуй, больше, чем на просвещение. Впрочем, не является ли реклама в Америке частью просвещения! Не меньше, чем автомобиль, реклама определяет облик американских городов и еще больше сам американский характер, в котором есть нечто прямо противоположное тютчевскому совету: «Молчи, скрывайся и таи и чувства и мечты свои...»

Как человек, живущий в Америке, я тоже потенциальная мишень рекламы. Она целится в меня со всех сторон. А я держу круговую оборону. Сказывается другое воспитание, другая среда, в которой не было потребительских лабиринтов и нужды в этой нити Ариадны. В назойливости и вездесущности этой рекламы мне видится вмешательство в мои внутренние дела, вкусы, пристрастия. Нет, нет и еще тысячу раз нет!

Но что значит личное упрямое «нет», если без рекламы не представить и не постигнуть американскую жизнь? Если реклама — закон этой жизни и едва ли не основной закон? Если реклама — это та видимость, которая не просто заменяет суть, но и сама становится сутью, когда коммерция или политика обращаются к миллионам людей, сбывая новый товар или какую-нибудь политическую платформу, какой-нибудь политический ход.

И вот прихожу на Лексингтон-авеню, в здание, где пять этажей арендует крупнейшее рекламное агентство Америки. Разговариваю с его вице-президентами, записываю цифры и факты, разглядываю на стене ковер работы Пикассо и разные картины, преимущественно абстрактные, и какие-то кустарные половички и т. д. и т. д. — все окружающее должно оттачивать глаз и вкус сотрудников.

Миссис Бартос, руководящая Программой Творческого Поиска, знакомит меня с азами своего искусства и для наглядности, для предметности ведет в одну из студий. Мы усаживаемся в мягкие, удобные кресла. Служитель в свежевыглаженном полотняном пиджачке с фирменными инициалами, вышитыми на кармане, гасит свет. На экране специального телевизора — коммершиал, рекламный мини-фильм. Он длится минуту, не больше. Всего лишь вставка в какую-нибудь телепередачу. Эти рекламные вставки часты, как моргание. Я видел их тысячи и из упрямства самоотключался почти всякий раз, когда их включали. Теперь в темном зальчике студии мне показывают это как произведение искусства. И рядом — творец.

Итак... Под музыку среди синего романтического вечера возникает в золотых блестках окон очаровательно старомодная, с деревянными балюстрадами и резными балконами, с островерхой крышей дорожная гостиница «Путнам Инн». Милая, добрая хозяюшка в сборчатой юбке и чепце несет наверх по деревянной, уютно поскрипывающей лестнице прелестный кофейничек, чашки и сахар. Дверь номера открывает симпатичный возбужденный молодой человек. За ним — красивая девушка с развевающимися волосами. Они только что прибыли и еще не распаковали чемоданы, у них свои планы, о которых нетрудно догадаться, но, очутившись наедине в этой теплой, уютной комнате респектабельной гостиницы, они начинают с кофе. И хозяюшка, виду не подающая, что догадывается об их намерениях, ставит на стол подносик, берет в руки прелестный серебряный кофейничек и наливает кофе в чашки.

Тут спокойствие изменяет сидящей рядом миссис Бартос. Она хватает меня за руку, торопливо говорит:

— Видите! Кофе дымится. Запомните, это важный момент.

Похоже, она заново переживает одну из удачных находок Программы Творческих Поисков.

На экране над чашками с кофе возникает аппетитный парок. Девушка подносит чашку ко рту. Крупным планом чашка, крупным планом блаженство на красивом лице девушки. Музыка еще громче. Все сплетается воедино в этой рекламной оде радости: романтика молодости, очарование мира, любовь и приключение. И имя всему — «Путнам Инн кофе». Новая марка

«Путнам Инн» лишь недавно поступил в продажу на Западном побережье США, но очень хорошо идет. Благодаря этой рекламе. Уже размножили и распространили

в недрах рекламного агентства служебную брошюрку с описанием образцовой истории, которая должна и других вдохновить на творческие поиски.

А история такова.

Корпорация «Обожженные солнцем», торгующая кофе,— клиент рекламного агентства, где работает миссис Бартос. Марка кофе, которую корпорация сбывала на Западном, тихоокеанском побережье, тоже называлась «Обожженные солнцем», но не пользовалась успехом у любящих солнце калифорнийцев. На этой марке кофейная корпорация терпела убытки, что перед рекламным агентством поставило стратегическую дилемму: либо улучшить рекламу, сохранив то же название кофе, либо внедрить новое название и новую рекламу. Решили внедрить новое название. Заметим, что вопрос о качестве самого продукта даже не возникал; почти все марки кофе одинаковы и продаются по одной цене. Их популярность и коммерческий успех определяются успехом или неудачей рекламы.

На первом (ненаучном, по характеристике Рины Бартос) конкурсе предложили название «Феймос Инн» — «Знаменитая гостиница». Пробный рекламный фильм создавал ковбойскую атмосферу: ранчо, лихие ребята в техасских шляпах и полусапожках с каблуками, быки, лошади. Похоже на знаменитую — и весьма удачную — рекламу сигарет «Мальборо». Оказалось: волюнтаристский подход и типичный случай отрыва от жизни. «Знаменитую гостиницу» постигла судьба «Обожженных солнцем». Во-первых, эта выдуманная гостиница сразу же напомнила покупателю о прекрасно ему известной, существующей в сотнях мест «Праздничной гостинице», которая никогда не отличалась хорошим кофе. Во-вторых, покупатель не признал авторитет ковбоев по части кофе.

Неудача заставила взяться за дело всерьез, по-научному. Сама руководительница Творческих Поисков выехала на Западное побережье и там, на месте, провела два тщательно подготовленных групповых интервью с потребителями — женщинами и мужчинами, молодыми и пожилыми, два долгих разговора, записанных на магнитофонную ленту, сто сорок страниц машинописного текста.

— Что такое кофе? — спрашивает меня миссис Бартос, поставившая дело на научную основу. Догадываясь, что ничего толкового я не скажу, сама отвечает: — Кофе — это не просто бодрящий горячий напиток. Это психология. Это эмоциональная привязанность и эмоциональный отклик. Кофе — это небольшое приятное самовознаграждение домохозяйки, присевшей с чашечкой у кухонного стола после утренней уборки квартиры. Кофе — знак дружбы и гостеприимства, а ведь на Западном побережье, где продают эту марку кофе, люди не так холодны и церемонны, как здесь, в Нью-Йорке, и запросто навещают друг друга, даже без предварительного телефонного звонка. Кофе — утешение в одиночестве, спутник старых людей или той же скучающей домохозяйки, у которой муж на работе, а дети в школе. Кофе — удовольствие на лоне природы, а там, на Западе, любят пикники, туристские походы, охоту...

Вот что такое кофе, его психология и философия. Но как, чем, где сцепить философию с практикой? Какие импульсы послать в мозг покупателя, на какие клавиши его подсознания надавить, чтобы именно такая, а не другая этикетка пробуждала в нем неодолимую тягу к кофе?

Руководствуясь изысканиями миссис Бартос, творческие сотрудники разработали четыре концептуальных коммершиала в соответствии с четырьмя направлениями Творческих Поисков. Было предложено четыре черновых названия: «Путнам Инн» — как влекущий образ старой, респектабельной и хорошо известной дорожной гостиницы; «Великолепный момент» — вокруг счастливого возбуждения людей, расположившихся на привал после долгого пути; «Золото Саттора» — по имени знаменитого золотодобытчика Саттора и как попытка связать в сознании покупателя золотые самородки с золотыми зернами кофе; и, наконец, название наугад, наобум, конкретно ни к чему не привязанное — так сказать, голая идея гостеприимства

В ходе опросов — с демонстрацией пробных рекламных фильмов — «Путнам Инн» получила больше половины голосов. «Великолепный момент» занял второе место. А «Золото Саттора» погорело: покупатель счел, что золотодобытчики в кофе смыслят не больше ковбоев, а золотые самородки не прошли как слишком лобовая пропаганда.

И вот он, достойный венец творческих поисков, желанный эмоциональный отклик, извлеченный из подсознания методом холодного расчета, новый условный рефлекс, привитый потребителю, как собаке по методу Павлова, на благо корпорации «Обожженные солнцем»: золотые отблески дорожной гостиницы в синем романтическом вечере, старомодная хозяюшка как образ гостеприимства без обмана, влюбленная пара и расширяющая радость бытия, ароматно дымящаяся чашка кофе.

Смешная и грустная быль из будней «потребительского общества»

«Фактически мы едим фантазию и потеряли связь с реальной вещью, которую мы едим... Мы пьем ярлыки. С бутылкой кока-колы мы пьем картинку красивого парня или девушки, которые пьют ее на рекламе мы пьем рекламный призыв к «паузе, которая освежает», мы пьем великую американскую привычку...».

Так писал американский философ и социолог Эрих Фромм. Писал много лет

назад, как многие до и после него. Но что недоумение философа, если миллионы готовы есть фантазию и пить великую американскую привычку?! Не более чем досада человека, отставшего от века.

Простой массовый человек — вот главная мишень рекламного агентства миссис Бартос, ибо он — главный потребитель. С ним здесь водят дружбу. Иногда прямо с улицы приглашают его в коридоры, устланные коврами, и в холлы, увешанные картинами. Проверяют его реакцию на тот или иной продукт, обкатывают сырые рекламные идеи. И даже платят за это человеку с улицы. Небольшую сумму.

...Миссис Бартос завела меня в специальную комнату. Толстый ковер, стол заседаний, кресла вдоль стола. Большая удобная комната — и зеркало слева от входа. Зеркало как зеркало, огромное, почти во всю стену. Потом моя проводница ключом открыла соседнюю дверь. То, что в конференц-зале было зеркалом во всю стену, из операторской было во всю стену окном в конференц-зал. Я опять увидел большой полированный стол и пустые кресла вокруг. Когда комната не пустует, из операторской смотрят туда. А там люди, приглашенные для интервью, не догадываются, что они под наблюдением. Мастера рекламы чувствуют здесь себя высшими существами, изучают людей с улицы, как подопытных собак или кроликов, записывают их слова, улавливают и разгадывают их мимику, взгляды, жесты.

Хотя комната была пуста, я испытал неловкость невольного соглядатая, прильнувшего к замочной скважине размером с целую стену.

— Нет, мы не говорим об этом зеркале, если они не спрашивают, — честно ответила на мой вопрос миссис Бартос. — Да, это можно назвать ложью посредством умолчания...

И она рассказала случай из собственной практики. Однажды она пригласила в эту комнату группу своих сотрудников на деловой ланч. Они ели и пили, говорили и смеялись, а тем временем их коллега водил по кабинетам и студиям группу гостей и, решив продемонстрировать любимый трюк, завел их в операторскую. И группа руководительницы Творческих Поисков оказалась, того не подозревая, в положении открытых для обозрения обитателей зверинца.

Больше миссис Бартос не устраивала деловых обедов в этой спецкомнате с волшебным зеркалом...

Триптих

Ненатурально красивая, стройная, в песочного цвета костюме и соломенной шляпе, отведя в сторону левую руку с сумочкой, манекенщица позирует на 57-й стрит у нового, стеклянно синеватого, красиво изогнутого снизу небоскреба. Фотограф с треногой, дама-режиссер в меховой шубке, хотя день теплый, весенний. Еще один человек из этой маленькой бригады, осветитель, на коленях раскрывает пластинку с серебристой фольгой. Ловя этой пластинкой солнечные лучи, направляет их на манекенщицу, — наверное, для того, чтобы не было теней и чтобы было больше сияния. Прохожие замедляют шаг, оглядываются. Фотограф долго не может приладиться и приспособиться. А она стоит как неживая, никого не видя, ничего не чувствуя.

Востроносенькая, востроскулая, с личиком, вздернутым, чтобы обозначить линию точеного, худого подбородка, движением индийской танцовщицы она как бы приклеила правую руку к широкой соломенной шляпе. И сама вся кажется приклеенной к этой 57-й стрит, к фону из огромной красной объемной цифры «9», стоящей на тротуаре у небоскреба. Даже ветер, задувая плащи, пиджаки и платья прохожих, обтекает, не касается ее. И даже солнышко есть у нее свое, добавочное, дополнительное — от этой пластинки с серебристой фольгой.

В кафе «Желтые пальцы» на углу 58-й стрит и Третьей авеню в обеденное время сидят неподалеку за столиком три красивые холеные молодые женщины. Блеск глаз, как бы натуральная, нечаянная, а не созданная косметикой сияющая свежесть лиц, блестящие, составленные из удивительно белых и крупных зубов улыбки, тоже как будто нечаянные, натуральные. Среди заполнивших кафе не так сияюще свежих и даже помятых жизнью людей эта троица как жемчужина в раскрытой раковине. Не по себе от холодноватого сияния. Заданное, искусственное, оно заявляет о превосходстве над естественным, над натурой. С ними точно такой же по характеристикам с еще более белыми и крупными зубами, здоровый и радостный молодой человек в кожаной куртке и белой атласной, плотно пригнанной к телу рубахе, полурасстегнутой на волосатой груди. Он часто наклоняется к одной из трех — рыжеватой, с крупными верхними веками, шепчет ей что-то, гладит ее по руке и коленке. Кто они? Бизнес на красоте и на сексе — один из типично нью-йоркских. Их профессия — выглядеть молодыми, красивыми и счастливыми. С годами эта профессия становится насилием над природой, и, ничем другим

не наполненные, они кончают опустошенными, страшно одинокими, приняв однажды на сон грядущий убийственную дозу наркотиков или снотворного...

В подземке поезд-экспресс раскачивается от быстрого хода на длинном перегоне между 72-й и 42-й. Раскачиваются в такт движению люди, сидя или стоя, ухватившись за металлические поручни, читают газеты, молчат. И вдруг в вагоне — а там можно переходить из одного вагона в другой — появляется новый человек. Хилый юноша лет восемнадцати как бы скользит по шаткому полу вагона легкой и неуверенной походкой, странно, бессильно откинув правую руку, смотрит вперед невидящими глазами и улыбается какой-то потусторонней, ушедшей в себя, адресованной лишь собственным грезам улыбкой.

Все теперь смотрят на юношу, вернее поглядывают тайком, так, чтобы он не перехватил их взглядов. Все сторонятся, уступая ему дорогу. Так же летит поезд, так же железной тряской трясет вагон, но в нем становится совсем тихо.

Юноша проходит мимо меня в заднюю часть вагона, и я плотнее прижимаюсь к двери, боясь, как бы он не задел меня рукой. Он останавливается, рука очень прямо, как на физзарядке, поднимается вверх и мягко охватывает поручень... Но живет в нем сила, сопротивляющаяся покою. Рука так же медленно и прямо опускается, юноша снова скользит по вагону, в другой конец, и пассажиры по-прежнему оцепенело следят за ним. На худом лице его, покрытом лишаями, тает беспомощная улыбка...

Так проходит пять невыносимых минут. Поезд с грохотом врывается на станцию. Раздвигаются автоматические двери. И пассажиры, даже те, кому не нужно, спешат покинуть вагон...

Ножи в витрине

Дневной сеанс закончился, и из большого пустого кинотеатра по потертым бордовым коврам я вышел на Бродвей после фильма «Показания Валаччи». Это был не наш районный Бродвей, а всем известный Бродвей 40-х стритов. От времен золотого голливудского века на этом шумном Бродвее осталось с десяток кинотеатров, и как раз напротив того, из которого я вышел, был еще один, такой же большой и такой же, наверное, полупустой днем. В нем шел фильм «Механик» с тем же актером, что и в «Показаниях Валаччи», и в той же роли — роли убийцы. На афише этот известный актер, Чарльз Бронсон, с лицом как сжатый, поднесенный к носу кулак, держал в руке жестяной чемоданчик мастерового. На чемоданчике была аккуратная наклейка со словами: «Его профессией было убивать. Он знал дюжину способов, как убивать, и все они срабатывали. Поэтому его прозвали «Механиком». Рядом висела еще одна афиша. Не смущаясь разноголосицей, она сообщала уже о сотне способов убивать — «и все они срабатывали».

Совершая нечто вроде киноэкскурсии по Бродвею, я смотрел тогда по два-три фильма в день. Но «Механика» перенес на завтра, потому что разных способов убивать нагляделся в «Показаниях Валаччи».

Валаччи — не выдуманное лицо. Это мафиозо, прославившийся в 1963 году, когда начал «петь», то есть давать в суде показания против других членов «Коза ностра» и самого ее главы, «крестного отца» дона Вита Дженовезе. К тому времени Дженовезе уже сидел в тюрьме, не без комфорта и не потеряв связи с внешним миром. И внешний мир узнал через газеты, что «крестный отец» назначил награду в сто тысяч долларов тому, кто убьет Валаччи. Валаччи боялся выйти на волю, чувствуя себя в большей безопасности в тюремной одиночке. В тюрьме на него было совершено несколько покушений, но он уцелел и умер своей смертью. О его жизни и на материале его показаний понаписали кучу книг. По одной и поставили картину «Показания Валаччи».

Там много всяких ужасов и жестокостей, но коронный момент — это кастрация одного мафиозо, который соблазнил любовницу «крестного отца». Отрезанное преподнесли неверной — в подарок.

От такого художества хотелось отдышаться...

После ужасов и темноты кинозала я стоял среди ноябрьского, но теплого и солнечного Бродвея и от нечего делать рассеянно поглядывал на витрину маленького сувенирного магазина, из тех, которых там множество. За стеклом лежали ножи. Витрина как витрина. Ножи как ножи. Первый раз эти витрины в новинку. В тысячный скользишь по ним взглядом, но ничего не видишь, примелькались. Вдруг что-то заставило вглядеться... Ножи пробежали в мозгу — в сценах убийств, о которых поведал Валаччи. Того несчастного, так жутко оравшего, когда он догадался, что с ним хотят сделать, кастрировали огромным страшным ножом. И тут за стеклом лежали не безобидные карманные ножи. Длинные, узкие, блестящие, из хромированной качественной стали, с остриями, к которым боязно прикасаться, это были ножи для поножовщины.

Они были сделаны так, чтобы без большого усилия пройти ткань пальто, костюма, платья и вонзиться в человеческое тело.

Красивые, добротные, из хорошей кожи чехлы лежали рядом с обнаженными поблескивающими ножами. И сам товар, и зеркало витрины были идеально чистыми.

Стало не по себе. Какая близость — «Показания Валаччи», «Механик» с его чемоданчиком убийцы, таким же профессиональным, как у доктора, чемоданчиком — и эти ножи на витрине. Зачем их продают? Почему их покупают? Какая часть неисчерпаемой человеческой натуры тянется к ним? Тысячи развернутых ответов даны наукой и литературой, а мы продолжаем задавать эти наивные вопросы, потому что среди ответов нет ни одного, который успокоил бы нашу совесть...

А день был солнечный и теплый. Обеденный час. По Бродвею фланировала разная публика. Не в деталях улицы, не в витринах и рекламных щитах, не в вульгарных киноафишах, а в общей панораме, освещенной драгоценным осенним солнышком, была разлита благость, как на лице какого-нибудь «крестного отца», который в утро субботнего отдыха тетешкает, покачивая на коленке, любимого внука. Не слышалось даже надрывных полицейских сирен.

Но не исчезали эти ножи для поножовщины, и в середине витрины были те, что подлиннее и поуже, а в уголке — помассивнее, пошире, годящиеся и на быка. Пожилая женщина сидела возле входа, возвышаясь у кассового аппарата так, чтобы видеть покупателей, которые на Бродвее не всегда чисты на руку. Для лучшего обзора в противоположном углу висело слегка наклоненное круглое зеркало, вбиравшее в себя и передававшее кассирше ту часть магазина, которую она не могла видеть со своего возвышения. Пожилой мужчина с сигарой во рту, наверное владелец, из глубины магазина подошел к двери, встал рядом и холодно посмотрел на меня. Опытный бродвейский человек, он не чувствовал во мне покупателя, и ему не нравилось мое пристальное разглядывание витрины. А может быть, он почуял, какими глупыми, оскорбительными для его бизнеса вопросами я задавался?

Как в самом деле коротка цепочка: фильм — эта лавчонка — эти стилеты — этот тертый калач с брюшком и сигарой, готовый продать их. Нет лишь человека, который купит один из ножей, и другого человека, в которого этот первый человек мысленно уже втыкает страшное стальное жало. Проследить бы судьбу одного из этих ножей с момента, когда хозяин вытащит его из-под прилавка (ведь на витрине лишь образцы) и даст его оглядеть, повертеть и кончиком пальца пощупать покупателю, потом уложит в картонную коробочку, обернет пестрой красивой бумагой, перевяжет ленточкой. С коробочкой, в которой спрятался нож, покупатель подойдет к пожилой кассирше, та примет его доллары, щелкнет кассой, сдавая сдачу.

И — нож на улице! Еще упрятан в коробочке, но владельца, скорее всего молодого, разбирает нетерпение, и, зайдя в какой-нибудь подъезд или в кабинке общественной уборной — ведь нельзя обнажать нож на людях, при свете солнечного мирного дня, — он распаковал и выбросил коробочку. Нож — в кармане, за поясом, под курткой. Уже потайной. Пошел гулять...

Не надо выпускать этот нож, которым нельзя резать и строгать, который можно лишь вонзать. Опасно выпускать! Но я не дал этого совета хозяину. Попыхивая сигарой, он продолжал глядеть на меня холодным взглядом бродвейского старожила, как бы поторапливая, как бы прогоняя от своей витрины непонятного человека.

Но я не уходил. Теперь всматривался в эту витрину профессионально, как корреспондент, знающий, что читатель ценит факты и цифры. Принялся пересчитывать ножи и за витринным стеклом насчитал сорок девять их видов. О могучая американская индустрия! Считая эти страшные ножи, я вспомнил, как давным-давно разглядывал с товарищем, ненадолго приехавшим в Америку, другую нью-йоркскую витрину, в которой было разложено множество безобидных ножичков и ножей для разрезания сыра. Тогда мы горячо поспорили и, как водится, быстро перескочили от тех ножичков к теме «догнать и перегнать». Один из нас доказывал, что мы должны их догнать и перегнать и по обилию ножей для сыра, а другой считал, что вряд ли стоит браться за эту задачу и что во всяком случае решить ее, как и многие другие ей подобные задачки, не так легко, как кажется...

Оторвавши взгляд от гипнотических ножей, я еще раз оглядел всю витрину. Там были красочные большие открытки с видами Нью-Йорка, многоцветные плакаты красоток в чем мать родила, никелированные бляхи шерифов и «специальной полиции», стальные изящные наручники, револьверные кобуры без револьверов. А под потолком витрины, венчая весь этот набор, превращая магазинную витрину в некое творение поп-арта, висело изображение Христа в терновом венце. Это было как бы фотографическое изображение Христа, но не плоское, а объемное, светящееся. Христос аляповато переливался щеками, лбом, рыжеватой бородкой, и тернии его венца походили на колючую проволоку...

Без дома...

Позвонили из консульства: «Если хотите, приезжайте. Они уже здесь». Я взял портативный магнитофон и поехал на окраинную зеленую вашингтонскую улицу Дикейтор, где в белом двухэтажном домике-коттедже размещается Советское кон-

сульство. Был обеденный перерыв, сотрудники почти все разъехались, чо эти семеро, шесть мужчин и одна женщина, сидели в тесной приемной. Мне бросилось в глаза: семеро выглядели как советские граждане в приемной советского учреждения. Как будто пришли по какому-то делу и уйдут, решив или не решив его. Но дело у них очень непростое, а граждане они бывшие. Евреи, они лишились советского гражданства, выехав, каждый в свое время, в Израиль. Из Израиля перекочевали в Америку А теперь приехали из Нью-Йорка в Вашингтон, в Советское консульство — проситься назад, в Советский Союз. У этих семерых — и у многих других — лежат здесь заявления на имя советского посла с просьбой вернуть им советское гражданство.

Мы проговорили час — меру длины магнитофонной ленты. Вот запись разговора:

— У меня первый вопрос общего порядка: кто когда приехал в Америку? Желающие пусть называют свою фамилию, нежелающие могут не называть. Ну вот давайте с вас начнем, если не возражаете.

Среднего роста, плотный, пожилой человек рабочего вида:

— Я приехал месяц назад. Ну что вам сказать...

— Месяц назад из Союза или из Израиля?

— Из Израиля.

— Ваша фамилия?

— Лучше не называть. У меня здесь свои соображения. Что я вам скажу? Все мои мысли, моей семьи мысли — у меня пять человек семья—только вернуться домой. Мы сделали большую глупость, даже словами ее никак не передашь, что очутились здесь, не послушались, не поверили нашей пропаганде, думали, что нас обманывают, а на самом деле Запад нас обманул, Израиль нас обманул, крепко обманул нас. Мы ненужными людьми стали здесь в полном смысле этого слова Никому мы не нужны На старости лет такую сделали ошибку непоправимую. Теперь просим Советское правительство, чтобы оно простило нас, если возможно, чтоб возвратили нас на Родину. Как можно скорее. Мы мучаемся. В полном смысле этого слова.

— Когда вы говорите «мучаетесь», что вы прежде всего имеете в виду?

— Во всех отношениях. В Израиле было плохо мне, не принимали на работу...

— Вы по специальности кто?

— Электрогазосварщик. Но говорят, что я уже постарел. Уже не нужен. В Союзе я все время работал. В этом все мое мучение, что я сам себе не могу заработать на кусок хлеба

— Вы говорите: семья пять человек.

— Детей у меня трое, еще молодые. Дочке девятнадцать лет.

— Она работает?

— Нет, мы же только приехали. В Израиле она поработала. Увидали, что дело плохо там, нужно скорее уехать, где Советское консульство есть, попытаться вернуться на Родину.

— А в Израиль когда выехали?

— В 1973 году...

— А вы? Расскажите вкратце о себе.

Я пошел по часовой стрелке, от двери тесной комнаты. Второй был моложе, черный, загорелый, здоровый, в красной спортивной рубахе.

— Мы уехали тоже в 73-м году. Нет, не в Израиль Прямо сюда. Работаю здесь, попал в юнион (профсоюз) строителей. Материально вроде бы не нуждаюсь. У меня тоже трое детей. Девочка родилась здесь. Я из Баку...

— А вы собираетесь возвращаться или просто приехали сюда с остальными детьми?

— Еще как! О чем вы говорите?! Для меня все это, знаете, как-то дико, для моих детей. Не наша среда. Я родился в Советском Союзе, сорок два года прожил. Можно человеку вывернуться наизнанку? В полном смысле слова — наизнанку.

— Не самое главное деньги,— поясняет первый, пожилой.

— Разве одним желудком человек жив? — подхватывает второй. — Мы жили там и работали, ни в чем не нуждались. Духовно мы были богаты Разве дело в деньгах? Я уже год состою в юнионе. Я все имею здесь. Дело не в этом, понимаете. Я хочу к себе на Родину, чтобы мои дети учились, были людьми...

Он говорит тихо и спокойно, как будто желая усилить впечатление обдуманности своих слов. Вздыхает.

— Как вам все это объяснить? Тут очень тяжело. Надо быть в нашей шкуре, чтобы нас понять.

— Вот вы говорите: дети растут эгоистами. Но ведь и у нас жалобы бывают, что дети растут эгоистами...

Он повышает голос, почти возмущен:

— О чем вы говорите? Какие жалобы? Здесь детей учат не тому, чему следует. Да возьмите эти кинофильмы, эти журналы. Ему шестнадцать лет, моему мальчику. Как я его могу удержать? Я же работаю. Он все это смотрит. У нас на Кавказе так принято: отец сказал — значит, все. Это закон в доме Никогда у меня не было, чтобы мой сын меня ослушался. Сейчас тоже нету. Но чувствую что-то другое. Да не только

это, вся наша жизнь. Мы ничего не видим: работа — дом — работа — дом. С утра до вечера... Вкалываешь, вкалываешь, вкалываешь... Ничего не видишь. Ничего абсолютно!

— А как отношения с людьми, с соседями, друзьями, приятелями?

— Какие отношения? Какие друзья?! Сосед соседа не знает, а годами рядом живут.

— С телевизором общаются?

— Да-да. Со мной работает на строительстве человек. Спрашиваю: ты в Манхэттене когда-нибудь был? Он живет в Бруклине. Он: что мне там делать?

Напомню, Манхэттен и Бруклин — это районы одного и того же гигантского Нью-Йорка. Не побывать в Манхэттене с его небоскребами, музеями, театрами, магазинами — это все равно что не побывать в том Нью-Йорке, который всему миру известен как Нью-Йорк.

— Однажды мы собрались всей семьей на пикник, покушать. Один у меня спрашивает (я булку с колбасой кушал): «А ты это в России видел?» Я, знаете, чуть в багажник его не засунул. Полиция приехала, чуть меня не задержали.

— А у членов профсоюза, юниона, как вы говорите, какой уровень знаний о Советском Союзе?

— Нет у них никакого знания о Советском Союзе. У них понятие такое, что в Советском Союзе все голодают... Понятие такое, что хлеба нет, ничего нет, ну абсолютно ничего нет там. Дикое поле...

— Вот вы говорите, что у них о Советском Союзе нет практически никаких знаний. Считают, что все там голодают, куска хлеба с колбасой не видят. А когда вы в Баку жили, какое было у вас представление об Америке? Ведь от этого представления, наверное, и зависело во многом ваше решение уехать.

— Очень правильно поставлен вопрос...

— Надо видеть и понять, что такое капитализм, — вставляет третий, сидящий ближе всех ко мне мужчина. Ему не терпится сказать свое слово.— Я перебью,— продолжает он.— Если бы нас пустили на Родину, лучше пропаганды не будет. Допустим, мы бы приехали в Баку или Ташкент, любой другой город и ко мне пришли бы сто человек, которых я знаю. И каждый у меня бы спросил: почему ты вернулся? И я бы сказал им всю правду, это была бы настоящая правда. И если бы напечатали в газетах, то поверили бы мне больше...

— Природа человеческая такая, что человек лишь на собственном опыте познает любую вещь. Даже вами сказанные слова — они, конечно, многих могут убедить, но до многих и не дойдут...

— Дойдут! Дойдут! Если один человек говорит — один разговор. А если нас группа, сто человек, двести человек? Он мне если не поверит, то второму, третьему, четвертому, десятому поверит...

— Какие же все-таки у вас были представления об Америке, когда вы жили в Баку? — интересуюсь я у строителя.

— Сейчас я вам скажу. Началось все это... С Грузии начали ехать, все такое. Вот я здесь сам встречал людей, которые мне говорят: я приехал, мучаюсь тут, а он там в ресторане пьет, гуляет, пускай он тоже приедет, я ему пошлю вызов. Есть такие?

— Есть. Есть,— отвечает третий, рассказ которого снова перебили.

— Друг друга тянули,— добавляет единственная среди семи женщина.

— Обманывают людей. Мол, я попал, ну и он пускай попадет,— глуховатый голос из угла.

— Один мучается — пускай другой помучается,—поясняет женщина.

Третий называет себя: Садовский Петр Маркович. У него грузное, небритое, измученное лицо.

— Я, допустим, выехал с женой и с двумя детьми. Из Киева. В декабре 73-го года. Я очень не хотел ехать, даже написал заявление в ОВИР. Меня очень хорошо в ОВИРе знают, потому что я каждый год ездил в Польшу, к сестре. У меня на сегодняшний день две сестры и брат — участник Великой Отечественной войны. Нас было пятеро, значит. Мать померла, и мы были в детдоме. Отец мой погиб на фронте во время Великой Отечественной войны...

— Сколько вам лет?

— Мне сорок шесть. Постарел за это время. У нас сейчас страшный ужас. Такое творится, что невозможно выдержать. Сын мой — девятнадцать лет. В голубой рубашке вон сидит,— указывает он на кудрявого парня с круглым лицом в бакенбардах...

— Мне начальник в ОВИРе сказал: Садовский, оставайся, что ты делаешь. А они снизу меня встретили: попробуй только!

— Кто они?

— Которые сейчас в Израиле.

— Сионисты,— разъяснила женщина.

— Так и получилось. Я в Израиле два с половиной месяца пробыл. Раньше хотел уехать, но невозможно было — сына забирали в армию. Я говорю: я вам не дам сына, вы же пишете, что три года не берете, чего же вы сразу берете. Короче говоря, жене надевали наручники. В общем, всей семьей не мог вырваться из Израиля. Уехал с сыном вдвоем, жена и дочка остались. Визу мне не давали, забрали у меня залог, нищим

я вырвался, оставил все деньги в залог в западногерманском посольстве. Разрешили мне ехать в Западную Германию. Оттуда сразу, значит, поехал в Вену, нелегально пробрался, без визы. Устроился там на работу. Я электросварщик и слесарь шестого разряда. Не пробыл там и месяца, вызывает меня главная полиция. Что такое? Они узнали, значит, что я приехал без визы. Наверное, кто-то продал меня, что я в Советское посольство в Вене подал документы на возвращение. Сионистов там на каждом углу, страшное дело что творится. Вызвали меня: если вы за 24 часа не уберетесь, мы вас отправим в Израиль. Что делать? Один в поле не воин. Взял сына и поехал, значит, в Мюнхен... Поработал там, значит, и приехал в Америку. Да, я еще забыл сказать про жену. Я посылал десять писем, заверенных нотариусом, для того чтобы жену с дочкой выпустили с Израиля. Ни в какую. Ни привета, ни ответа. Ехал один человек, я познакомился с ним: передайте письмо моей жене, вот вам адрес. И еле-еле я вырвал, значит, жену с Израиля. Я посмотрел жизнь в Израиле. Это ж! Говорят, что это обетованный край. Так там же невозможно жить. Местные люди, которые там живут много лет, говорят: кто вас сюда просил, кому вы здесь нужны. Самые лучшие места, самые лучшие работы они позанимали, а если, допустим, и идешь на какую-то работу, то две-три недели поработаешь, а потом тебе говорят, что работы нет. Нет работы. Я правильно говорю?

— Правильно.

— Правильно...

— В Америке сколько вы уже?

— Шесть месяцев. Что я хочу сказать об Америке? Я считаю так, как вот этот человек сказал, что человек не может вывернуть себя наизнанку. Никак. Вот, допустим, я. Выходец из детдома. Вырос неплохим человеком. У меня хорошая специальность. В Союзе я всегда был на Доске почета, получал грамоты, денежные премии. Я не говорю, что я, допустим, был там богатым. Но я был морально удовлетворен. Я жил! За эти полтора года, что я выехал из Советского Союза, у меня не было ни разу улыбки на лице. Я всегда смеялся, радовался, я ходил на пляж, я ходил в кино, я ходил в театр. Я видел жизнь, я видел улыбки русских людей. Фактически это только пишется — нация. У нас ничего еврейского нет. Вот, допустим, я работал на советском производстве много лет, и начальник подходил, допустим, или механик (я ремонтником работал): Петр Маркович, пожалуйста, сделай этот станок. Как-то культурно обращался с тобой и вежливо. Этот станок ты должен сделать, допустим, за час, а ты его делаешь за полчаса или за двадцать минут. А здесь на работе ты отдаешь десять потов с себя, а он тебе крутится с сигаретой в руках, хозяин. У него миллионы лежат в банке, он тебе платит мизерную сумму. Ты чувствуешь, что ты достоин больше, что ты специалист, а он, ввиду того что ты раб черный, платит тебе сколько хочет. А не хочешь — уходи, будешь с голоду умирать. А теперь, во-вторых, как же учат наших детей. Мы привыкли к советскому учению, к советской культуре. Я, бывало, заходил к дочке в школу, она была действительно у меня на первом месте, пятерочница. Так мне было приятно: директор школы выйдет, выйдет учительница, выйдет старшая группы. Собрания были, совещания. Извещали, как мой ребенок учится, что надо сделать, чтобы еще лучше. А здесь же все наоборот. Здесь в школе что с ней делают — молитвы только преподают, чтобы молиться...

— А в какую школу она у вас ходит?

— В школу обыкновенную. Только тоже еврейскую. Молится все время. Они же не учат, они калечат детей. Мне, например, было в свое время трудно. Отец погиб на фронте, мне надо было в тринадцать лет зарабатывать кусок хлеба, потому что не было что кушать. Сейчас, сам отец двоих детей, я хочу, чтобы мои дети были людьми. Ну и вот так получилось, что я сбился с толку, выехал сюда, а тут никакого толку нет абсолютно. Сионист на сионисте.

— А где вы работаете?

— Я работаю на производстве, где нержавейки выпускаются для военного оборудования. В Куинсе (район Нью-Йорка). Хозяин, шмырик такой, ходит с перекошенным лицом: «Я тебя взял на работу, чтобы ты работал». Я: «Я же работаю, сколько я могу, столько и работаю, что, я должен больше себя отдавать, что ли?» А он говорит: «А я тебе платить не буду». А я прихожу домой мертвый, падаю на кровать. Мертвый! Мне ничего не хочется. Но это еще не все. Я ж говорю, что жизни вообще тут нет. Погоня только за долларом, за долларом. Чтоб миллионы. На старости лет они все сидят на Брайтон-бич возле моря, с искривленными мордами, морщинистыми, а деньги лежат в банке. Разве это жизнь? Мы ж не привыкли так. Были у меня трудные материальные положения. Зоя, говорю, пойдем в кино сегодня. А она: до зарплаты трудновато будет. А ничего. Веселые. Оделись и пошли в кино, в театр, провели время, пошли в парк. Тут нету жизни абсолютно. Тут погоня за долларом, чтобы положить денег побольше в банк. Что это за жизнь?!

— Это ж с ума можно сойти, если еще немножко прожить здесь,— вкрадчиво, рассудительно, чтобы не отбросили его слова, как слова молодого, вступает сын Садовского.

— Получокнутые, — продолжает Садовский-старший. — Получокнутые... А грязнотища какая. А поведение людей. Вот эти сексы всякие. Что с моего ребенка может

тут выйти, если ей сейчас тринадцать лет. Так неужели я, проживший 45 лет в Советском Союзе... Родился там, вырос в условиях, как вам выразиться, видел и хорошее, видел и плохое. Нельзя же сейчас переменить меня. Ребенок же выехал один несовершеннолетний, и второй выехал несовершеннолетний...

— А вас как зовут? — спрашиваю я сына.

— Михаил. Мне девятнадцать лет. Ну, что я здесь вижу? Я работаю здесь, металлолом собираю. Больше ничего не вижу. Прихожу домой. Работаю шесть дней в неделю: сто долларов. Это небольшие деньги при теперешнем вздорожании всего. Ухожу в шесть утра на работу — прихожу в семь вечера домой. Учиться я здесь не могу. В Союзе я кончил музыкальную школу, обычную школу окончил, у меня там друзья все. Мне даже стыдно им писать. Я слышал от других товарищей, что мои друзья пошли в Советскую Армию, уже пришли.

— Он нам все время говорит: «Что вы с меня сделали? Что вы с меня сделали? Я же не хотел ехать», — это Садовский-старший.

— А вы с какими мыслями в Америку ехали?

— Мне было семнадцать с половиной лет. Ехали мои родители, я не мог остаться один. А фактически почему я должен страдать, если они ошиблись. Я ж таки молодой парень.

— Девочка еще, сестричка его, тринадцати лет, — устало добавляет Садовский-старший.

— Насколько я понимаю, среди нью-йоркских евреев есть элемент религиозного фанатизма. Как он на вас отражается? В их отношении к вам?

— Отношение очень плохое, — снова берет слово Садовский-старший. — Каждый раз они приходят: «Почему ты не ходишь в синагогу. Вот если бы ты ходил, мы дали бы тебе хорошую работу. Мы бы тебе то, мы бы тебе се. Вот иди в синагогу».

— А живете где сейчас?

— В Бруклине. Я плачу 225 долларов за квартиру, кроме света и газа. Две спальни и гостиная. В квартире ничего нету. Абсолютно ничего.

— Дело не в этом, — уточняет его сын. — Как вот сказал товарищ: если бы миллионы были, кому они нужны.

— Да разве я? Мы зарабатываем на жизнь, но жизни нету. Это не наша жизнь. Мы ошиблись...

— Моя фамилия Конный Макс Михайлович,— представился после Садовских молодой, миловидный и сдержанный человек, шатен, в очках с металлической оправой.— Я жил в городе Одессе. В 1973 году выехал в Израиль. Не успел я еще туда приехать, как в Вене уже понял, куда я попал. Там уже начали агитировать нас эти работники израильской службы, показывали нам картинки, кино, какой Израиль на цветном фоне. Некоторые, конечно, поддавались — до приезда в Израиль, потому что, когда человек приезжает в Израиль, он уже видит, что там творится. Я не поддался. Я видел уже, что все пропало, потеряно. Со второго дня в Израиле я заказал паспорт, но мне делали разные препятствия, долги записали большие. Я работал дни и ночи, чтобы рассчитаться, и все-таки вырвался оттуда...

— А по специальности вы кто?

— Слесарь-сантехник.

— Возраст?

— Мне 31 год. Вырвался я из Израиля, хотел попасть в Вену но они туда визу не давали. Так что я попал в Италию. Была там организация, переправляющая людей в Америку. Мне казалось, что из Америки можно быстрее попасть в Советский Союз. Когда приехал, три месяца не работал, жил в гостинице. Приходили каждый день к нам, говорили нам: «Идите в синагогу, и молитесь, и одевайте шапочки». Я говорю: «Мне не синагога нужна, а работа, я молодой человек, дайте мне работу». Всю жизнь жил в Советском Союзе, никогда не молился, и вдруг меня хотят за один день перевернуть. Они мне говорят: «Тут вам не Советский Союз, тут вас, как говорится, за ручку вести не будут». Я говорю: «Меня и в Советском Союзе за ручку никто не водил, я знаю, что в Советском Союзе работы хватает, любому человеку, тем более если этот человек молодой». Здесь я бы куда угодно готов поехать, хоть на Аляску. Никакого отклика. Они мне пособие давали — сорок пять долларов за две недели. Это не жить и даже не существовать. Через три месяца мне нашли они работу с большим трудом, на два доллара в час. Ну что это — два доллара в час? За одну квартиру надо платить 120—130 долларов. Можно обратно сказать: и не жизнь, и не существование. Но меня не деньги интересуют. Если бы меня пустили на Родину, я бы вот так как есть встал бы и уехал. Потому что мы не привыкли к этой жизни, к этому капиталистическому строю...

— Что же все-таки вас здесь отвращает?

Почти каждому я задаю этот вопрос.

— Меня отвращает здесь все. Поведение людей. Нет дружбы, товарищества нет, каждый за себя. У них здесь такое: пять-шесть часов вечера, они уже закрываются на пять замков, включают телевизор — и вот это их жизнь. Не знают они здесь ни театра, ни кино, ни футбола. Как в Советском Союзе мы жили? Гуляли. Жили своей нормальной жизнью. А здесь этого ничего нет.

— Райо'ч, в котором вы живете, какой он преимущественно? Кто там живет?

— Там иммигранты, из Советского Союза. Почему они там живут? Потому что в своем кругу — иначе можно с ума сойти.

— Вот он затронул проблему, что нет товарищества, — вмешивается Миша. — Вот такой пример. В России у меня были товарищи. Бывало, что у них не было денег. Идем мы на хороший фильм. Разве я думал о пятидесяти копейках или там о рубле? Нет. Тут же, как Макс сказал, каждый за себя. Будете лежать на земле — никто вас не поднимет, никому вы не нужны.

— Десять центов просят за сигарету, — приводит пример Садовский-старший. — Закурить — десять центов.

— Не может быть!

— Говорят: «Этот раз я тебе даю, а в следующий раз ты уже не проси», — разъясняет Макс. — Вот так...

— Простите, а вы себя назовете?

— Моя фамилия Ройзман. Мне кажется, что все это — что нету дружбы, товарищества, сердечности нету,— что все это зависит от этой системы. Это, значит, такая система: сегодня я работаю, а завтра, значит, меня могут выбросить, и мне всегда надо, чтобы, значит, я имел на черный день пару долларов. Ибо если я не буду иметь, мне друг не даст. Он, значит, себя чувствует в этом же самом положении. А дома я уверен был. Я работал токарем. Уверен был, что меня никогда не выгонят. Во-первых, не за что.

— Я могу сказать, как я выехал, — продолжает Ройзман. — Я женился. Ну, жена моя где-то все время доставала мне письма. И она мне говорит: «На, читай вот эти письма». Я ей все время доказывал, что ни в коем случае не надо ехать. Мы будем тосковать. Она: «Нет!» Заработки, значит, ее не устраивают. Я устроился так. Пошел на завод — дали мне первый разряд. Затем, значит, мне с каждым годом все время повышали разряд, и я дошел до четвертого и уже стал зарабатывать 119 рублей чистыми деньгами. А жена: «Мне этого мало. Я медсестра, я зарабатываю семьдесят рублей. Там-то люди все же зарабатывают». Ну и так получилось, что я бросил там дома старого своего отца, мать, двух сестер, всех бросил и поехал лишь только ради жены...

— А где жили в Союзе?

— Я жил в городе Черновицы. И мысли были у меня внутри, что я все равно докажу ей, что на Западе плохо. Доехали мы до Вены, ну и сразу я понял, что мы, значит, спойманы, что это, значит, капкан...

— А в Америку когда попали?

— 9 октября 1974 года.

— А здесь как устроились?

— А здесь я работаю токарем. Но этот заработок я бы не сравнил с заработком, что я имел. Я, значит, получаю чистыми 93 доллара в неделю. Я говорю: «Пора же мне повысить, я уже шестой месяц». А они: «Ты языка не знаешь». Находят сотни причин, лишь бы не повысить. Вычеты очень большие. 29 долларов высчитывают. Заработок не позволяет хорошую комнату снять.

— А жена как?

— А жена не захотела выехать из Израиля, я с ней разошелся. Меня там без развода не хотели выпустить. Я, значит, с ней договорился так: если ты на суде не скажешь, что я хочу вернуться домой, я тебе все оставлю, поеду ни с чем. И задают нам на суде вопрос: «За что, мол, вы расходитесь?» Я говорю на это так: «Мы не находим общий язык». Спрашивают жену мою. Жена говорит: «Вся причина, что он хочет вернуться домой». И они, значит, все сионисты эти, специально этот суд затянули на целый год...

Теперь неопрошенной остается лишь грузная женщина, сидящая на стуле посреди комнаты.

— Извините, вас я не спрашивал, хотя женщину надо было первой спросить.

— Ничего, я не обидчивая.

— А вы что можете сказать?

— Я могу сказать. Я Кутерман Соня Ароновна. В Советском Союзе я работала парикмахером. Работала на одном месте 23 года. В Советском Союзе у меня дети...

У нее начинает дрожать голос, дрожат губы, она вот-вот заплачет.

— Дочь. Два сына. Четыре внука... Зять и две невестки. Я работала на хорошей работе. Почет имела. Я была стахановкой.

— А где вы жили?

— В городе Киеве. Мне было очень хорошо там. Я имела свою квартиру. Имела чудесную мебель. Все имела. Тут я ничего не имею. Мне было очень хорошо там. Я не знаю, что со мной и моим мужем было. Не представляю, что у нас в голове было, что мы уехали из Советского Союза. Я там прожила 52 года и никогда и никуда не уезжала, кроме как на курорт я ездила. Вот. В Вене нашлись люди, которые сказали: не езжайте туда, в Израиль, там болото, там вы пропадете, тем более что вы старые люди. Мне сказали: в Америке вы можете попасть в Советский Союз. И я сразу сюда, в Америку. Только приехала, подала документы.

— Шел разговор, что из Америки легче попасть, — поясняет Садовский.

— Я здесь в четвертый раз в посольстве. Меня здесь уже знают. Даже я уже топилась. Меня люди спасали. Все знают... Вот. Со мной было очень плохо. Я хочу лично вернуться в Советский Союз к своим детям, потому что детей сюда я никогда в жизни не возьму, я лучше погибну здесь.

Она плачет.

— Утоплюсь, мне не страшно теперь, но детей я сюда не возьму. Я увидела, что здесь болото. Здесь какие-то странные люди, не такие, как мы. Здесь женщин нет парикмахеров. Кем же я здесь должна работать?

Она всхлипывает.

— Как-то я у одного еврея устроилась на работу. Ресторанчик такой, с трех комнат. Я начала поднимать эти чугуны, в которых они готовят, полы мыть. Мне это не страшно было, но я этого не видела. Я в Советском Союзе этого не делала. Понимаете? Я проработала два дня, мне стало очень плохо. Он платил по два доллара в час. Я работала четыре часа в день, потому что не имела сил больше. И он мне говорит: «Надо еще там пол помыть». Понимаете? И я ушла, я не работаю. Вот люди знают, я плачу день и ночь...

Она плачет.

— Я рву на себе волосы. Я уже тут поседела. Я больше здесь не могу... Я только надеждой и живу вернуться в Советский Союз...

Теперь они заговорили все сразу:

— Я согласен в любой уголок Советского Союза...

— Все только ждут...

— Если бы начали пускать.

— Если бы выехали отсюда человек двести-триста, так тут такое было бы завтра. Страшное дело...

— Очередь...

— По-честному мы вам говорим...

— Если бы мы приехали, мы бы действительно рассказали, что это за жизнь.

— И по телевизору. И кино бы сделали. Мы все скажем.

— Дочке у меня тринадцать лет. Ведь она плачет горькими слезами. Дома у нас такое творится, что страшно...

К этой магнитофонной записи, имеющей достоверность документа, можно сделать много пояснений, но я ограничусь одним-единственным. Каждый из этих людей прожил в Нью-Йорке, в Америке меньше, чем я, но жесткий ход американской жизни они познали лучше меня, потому что были не наблюдателями, а участниками ее. Вчерашние советские граждане, еще не переделавшись в американцев, они должны были по-американски жить — другой жизни нет в Америке. О том, как это выглядит, они и рассказали.

Мистерия-буфф

Июль. Солнце, раскалив бетон и асфальт, взяв в союзники смог, настоянный на ядовитых выхлопах машин, словно хочет выжить людей из города. Люди изнывают, но не сдаются. Хозяева и пленники города, они обороняются в одиночку и вместе всеми доступными средствами: кока-колой в высоких стаканах, набитых крошевом льда, модными майками-безрукавками на молодых телах, сумрачной прохладой баров, зеленью Сентрал-парка и чахлых скверов, морским бризом на пляжах Лонг-Айленда и Кони-Айленда, а больше всего кондиционерами воздуха — и в автомашинах, и в домах, где наглухо, намертво закрыты окна. Жара жарой, а надо жить — и надо работать. Как гигантский отбойный молоток город с утра до ночи сотрясается в своем собственном грохоте, вгрызаясь в толщу будней.

Четыре дня подряд водовороты людей у большого, круглого здания Медисон-сквер-гарден, задрапированного гигантскими красно-сине-белыми полотнищами, звездами и полосами национального флага.

Это новенький, четвертый по счету Медисон-сквер-гарден, выстроенный довольно далеко от площади Медисон-сквер, где размещался его предшественник. Предшественника, не такого уж старого, сразила коммерческая лихорадка обновления. Какая богатая история сухой известковой пылью осела среди его отданных на слом стен, какие пылкие эмоции! Какие рекорды американской страсти к экстравагантным зрелищам! Там велогонщики по шесть дней подряд сверкали спицами колес и любители буги-вуги целыми сутками танцевали на конкурсах до упаду, там натуральные, пропахшие пастбищами ковбои из Техаса и Аризоны усмиряли диких лошадей к восторгу анемичных горожан и элегически скользил балет на льду, там Элвис Пресли, еще не потолстевший идол с красивым овалом лица, ввергал в исступление молодых обожателей ритмами рок-н-ролла и грациозный Мухаммед Али, Величайший из Величайших, посылал в нокауты своих мощных и тоже чернокожих соперников. А на политических митингах, которым не было числа, арена и амфитеатр становились гигантским, обращенным к небу раструбом-рупором, и двадцать

тысяч человек выкрикивали разные з а и разные п р о т и в, и стены и потолок с беспристрастностью честного рефери воспроизводили и гимн борцов за гражданские права, и молитву за спасение мира от коммунизма (был я однажды свидетелем такого митинга).

А новый Медисон-сквер-гарден, смелых и эффектных линий цилиндр, историю больше топтал, чем делал, поднявшись на костях знаменитой Пенн-стейшн, тоже павшей жертвой лихорадки обновления. Впрочем, буду точен — Нью-Йорк умеет совмещать несовместимое. Колоннада Пенн-стейшн исчезла с лица дорогостоящей манхэттенской земли, но вокзал остался — под землей. Там, в подполе Медисон-сквер-гарден, по-прежнему прибывают и отбывают поезда ближнего и дальнего следования, работает подземка.

Стук поездов в тоннелях, уходящих под Гудзон и за Гудзон, суета людей на подземных перронах и в коридорах-переходах, магазины, киоски, бары, рестораны — бессонная подземная жизнь. А над землей за красно-сине-белыми полотнищами, обвисшими в июльскую жару, в модернистском зале нового Медисон-сквер-гарден, который начинает разворачивать свой свиток зрелищ и событий, проходит национальный конвент — съезд демократической партии, выбирающий кандидата в президенты.

Спешите видеть воочию и на телеэкранах! Демократический Осел бросает вызов Республиканскому Слону. Мистерия-буфф «Демократия в действии». Лишь раз в четыре года! Первый и единственный раз в Год и Месяц Двухсотлетия! Сенаторы и губернаторы, претенденты на Белый дом — и собственной персоной!— Следующий Президент Соединенных Штатов Америки. Под куполом известнейшие телевизионные конферансье Америки — Уолтер и Джон, Барбара и Гарри! Спешите! Спешите! Спешите!

Спешит и ваш покорный слуга, приехав из Вашингтона, заранее аккредитовавшись на съезде.

...Каждый участник и зритель помечен и классифицирован биркой на груди. Цвета и очертания бирок точно обозначают степень важности, доступа и допуска того или иного бирконосца. Security — нешуточное слово в нынешних мистериях-буфф. Security — это и безопасность, и охрана. Желтую пресс-бирку полицейский, стоящий у деревянного барьера в сотне метров от входа, просто озирает. Второй заслон — возле электронного рентгеновского ящика, через который, как в международных аэропортах, пропускают портфели и папки. Там бирку щупает взглядом некто в штатском. И наконец, у самого входа еще один человек высвечивает желтую бирку синим крохотным спецфонариком, и бирка отвечает ему на им только и понятном языке: свои, без подделки. На груди у человека с фонариком круглый знак с магическим словом — Security.

Зал конвента врывается в уши гулом тысяч голосов, в глаза — пестротой одежд и вольностью нравов. Ораторов слушать не привыкли, да и председателя не очень слушаются. Больше слоняются, чем сидят. На арене и в проходах выделяются странные люди с металлическими ранцами за спиной и прутами антенн над головами — это телевизионные репортеры. Воздушные шары на веревочках... Флажки и лозунги в руках... Шутовские колпаки и канотье на головах... На взгляд человека, привыкшего к другим собраниям, это не съезд, а ярмарка, куда съехались белые и черные мужчины и женщины всех пятидесяти штатов и федерального округа Колумбия.

Пять тысяч делегатов и заместителей делегатов. Четыре тысячи их жен, мужей, детей. Одна тысяча дипломатических наблюдателей: весь мир разгадывает загадки и мистерии Америки, рождающей своего Следующего Президента. Семь тысяч восемьсот (всех переплюнули!) — от телевидения, газет, журналов, пишущих, говорящих, показывающих, обеспечивающих технические электронные тылы. И несосчитанные сонмы политологов-социологов, прогнозистов-программистов, экспертов-консультантов, политических парикмахеров и сочинителей речей, мальчиков на побегушках и охранников-телохранителей, и — все шире разбегаются круги — друзей-приятелей, поклонников-покровителей, маркитантов-коммерсантов, певиц из кабаре и девиц из стриптиза, юмористов-каламбуристов, карманных воров и проституток... Всяк свое продает и покупает на этой всеамериканской толкучке. Богатейшая страна. Важное событие. Показаться... Пригодиться... Поживиться...

Сити-Холл заманил конвент в Нью-Йорк, не пожалев трех с половиной миллионов долларов из отощавшей городской казны на аренду и оснащение Медисон-сквер-гарден. В надежде, что воздастся сторицей. Воздается. Ульями гудят заполненные отели. Магазины, театры и рестораны к услугам приезжих. Богатые меценаты из городского Комитета граждан, тоже в надежде на сторицу, закатывают приемы аж на уличных мостовых и портовых пирсах. По неподтвержденным данным, даже нью-йоркские таксисты любезно заговаривают с гостями на заднем сиденье через свои перегородки из пуленепробиваемого стекла. Бизнесу — прибыли. Полицейским — сверхурочные часы. И зрелища! Зрелища! Зрелища!

Но странная смесь экзальтации и скуки царит в Медисон-сквер-гарден, в газетах, отдающих конвенту по многу страниц, даже на телеэкране, где борются за зрителя три телегиганта. Буффонады в избытке, а мистерии нет — развязка предрешена, пружина интриги вынута. Заранее всем известно, кого выкрикнут, выдвинут, выберут кандидатом в Президенты в тот главный вечер, когда, пряча зевоту и скуку под прицелом телевизионных камер, экзальтацию будут поднимать до экстаза. Противники сложили оружие, признав свое поражение, и говорят не о раздорах, а о единстве перед лицом решающей ноябрьской схватки с партией слона.

■

Победитель — в городе, но не на конвенте. По обычаю, он явится туда лишь в тот поздний вечер, когда выдвинут и выберут, пригласят и доставят и представят кричащим, свистящим, дующим в рожки, размахивающим плакатами и запускающим под потолок воздушные шары делегатам: «Следующий президент Соединенных Штатов!»

Время от времени Кандидат, окруженный телохранителями и репортерами, мелькает на улицах, проверяя и расширяя свою популярность, но больше затворником (не американское занятие, но что поделаешь?) ждет зова конвента и судьбы. С женой, детьми, матерью и прочими близкими людьми и помощниками Кандидат остановился на 21-м этаже отеля с патриотическим названием, в двух-трех километрах от Медисон-сквер-гарден. Еще четыре этажа заняты в отеле его свитой, нарастающей, как снежный ком, по мере продвижения Кандидата к Белому дому. Он еще частное лицо, но только не для секретной службы; всех претендентов стерегут после того трагического случая, когда в ходе избирательной кампании был убит брат Убитого Президента, вставший на дорогу к Белому дому. Кандидат руководит съездом при помощи телефона, через своих людей, знающих, как дергать за веревочку в Медисон-сквер-гарден. Три цветных телевизора, установленных в его номере и включенных на три главных канала, тоже держат его в курсе происходящих дел.

Пришлось затвориться, уважая обычай, но образ Кандидата не покидает американцев. Вот снова возник он, этот образ, еще в одном прямом телерепортаже из отеля. Смотрите, как прост, — в фермерских джинсах и рубашке навыпуск, с карандашом в руке. Задумался над листом бумаги. Что-то вписывает, что-то вычеркивает. Работает над речью, которую произнесет перед съездом, когда его выберут. Работает, не смущаясь телевизионщиков. Телеоко скользит вниз по фигуре Кандидата. Мать честная, босой! Босой перед телекамерой... Босой на всю Америку...

Еще полтора года назад Кандидат был губернатором одного южного штата, откуда никто и никогда не попадал в президенты. Довелось и вашему покорному слуге пройти однажды через его кабинет. Остались четыре строчки в путевом дневнике: «Мальчишески обильные и пушистые волосы, да и лицо мальчишеское, но в морщинках. Симпатичные манеры. Большой кабинет. Длинный письменный стол с мраморным покрытием (мрамор, конечно, местный)». Осталась магнитофонная запись беседы, пять страничек высказываний губернатора о глубокой трансформации американского Юга, о новом понимании между белыми и черными, о желании американского народа очиститься от грязи Скандала Века, ото лжи и сокрытия фактов в Белом доме и т. д. Знал бы — порасспросил бы получше, да кто тогда знал?! Хотя и поговаривали уже о его планах, о его порывах к Белому дому, кто их принимал всерьез? Прогнозисты частенько крепки лишь задним умом и лишь задним числом точно раскладывают свои пасьянсы.

Лишь пять месяцев назад упрямым чудаком, малоизвестным одиночкой стоял Кандидат в холодные мартовские рассветы у заводских ворот и дверей супермаркетов крохотного Гранитного штата на севере, протягивая руку спешащим прохожим, терпеливо разъясняя им факт своего существования и своих намерений, уговаривая отдать ему голос на первичных выборах, первых в стране. Прохожие, поеживаясь от холода, спешили мимо, и многие рук из карманов не вынимали. В газетах над чудаком смеялись. Но хорошо смеется тот, кто смеется победителем. Он доказал безошибочность своих Политических Инстинктов или, как у нас говорят, попал в струю. Он захватил Середину Поля, то есть массового избирателя, отвернувшегося от представителей вашингтонского истэблишмента и возлюбившего аутсайдера с Юга. Он поднимался по ступенькам побед на первичных выборах в разных штатах, обещая «вернуть правительство народу» и избавить страну от скверны Скандала Века. Да, голоса стоят денег. Но первоначальные деньги у него были. А тот, кто доказал умение получать голоса, всегда получит дополнительные деньги — ведь он становится перспективным объектом вложения капитала.

И вот те пробные месяцы позади. И всюду, как политический феномен года, размноженная в миллионах экземпляров широкая улыбка Кандидата, его крупные, длинные, не очень красивые, но очень здоровые американские зубы. Улыбка как фирменный знак и торговая марка. Свидетельство стопроцентного американизма. Улыбка

человека от земли, от фермерского трактора, из маленького городка, где все так ностальгически просто и открыто — земля, небо, люди.

Широкая улыбка уже лежит на столиках в приемных дантистов, приспособленная для рекламы. Ее уже штампуют в виде открывалок для бутылок. И ее же несут в Белый дом как победное знамя и главный пункт политической программы: кто не поверит человеку с такой улыбкой?! И вашингтонские ветераны из партии осла склоняются ниц перед самым американским из кумиров — кумиром успеха. Почтеннейший Неудачник, который в том же Гранитном штате понапрасну выстаивал холодными рассветами, теперь смиренно — и напрасно — ждет, не возьмут ли его кандидатом в вице-президенты. Заслуженный Либерал, потеряв надежды на собственную победу, тоже прыгнул в фургон Кандидата и на все лады расхваливает его как надежду партии и нации. И бывшее Южное Страшилище, пугавшее северных либералов, пока своими выстрелами некий псих не обрек его на паралич и не вывел из игры,— тоже «за». О жрецы минутного, поклонники успеха! Каждый тянется к новому живому символу влияния и силы. И Легендарный Уолтер, несравненная телезвезда, такой же неутомимый и обаятельный, с тем же детским неожиданным смехом, непонятно как сохранившимся все эти долгие годы, млеет от счастья, когда в его временную студию, вознесенную под потолок Медисон-сквер-гарден, доставляют Жену Кандидата, почетной гостьей сидящую в зале.

Самозабвенно, как соловьи, заливаются ораторы:

«...Я предлагаю вам сегодня человека с новым представлением о руководстве, чувствующего настроение и направление движения нашей страны... Лидера, обладающего видением всего потенциала нашей нации... Лидера, имеющего сердце и мужество, чтобы остаться верным этому видению... Лидера, испытывающего сострадание к отверженным и забытым...»

И пошло, и понесло-поехало. Риторический раж. Мгновенные сиюминутные истины, у которых жизнь короче, чем подолы у мини-юбок, и которые еще быстрее выходят из моды...

Бог сотворил Адама из глины. Американские избиратели, пасомые политиками и прессой, своего первого человека (на четыре года) творят из улыбки, телевизионных бликов и мыльных пузырей радужных слов в обманчиво-ослепительном блеске сегодняшнего дня. Ведают ли, кого творят? Ведают ли, что, слепо вознеся, через два-три года будут энергично ниспровергать? О мистическая изнанка прагматической, начиненной компьютерами американской демократии!

Спешите видеть? Если бы в первый раз! В промежутке от Убийства Полувека до Скандала Века я наблюдал несколько мистерий. С финалами, убедившими: нет, не знают они, кого творят. Первая разыгрывалась в Коровьем дворце очаровательного Сан-Франциско. Партия слона выдвинула своим кандидатом в президенты Слишком Консерватора, но он так испугал многих, что избиратель небывалым большинством оставил в Белом доме Большого Техасца от партии осла; однако не в этом состоял неожиданный финал, а в том, что победитель, забыв о своей программе, последовал агрессивной программе побежденного — бомбить Вьетнам до конца, который, конец, оказался его собственным. На другой мистерии, в курортном Майами-Бич, где, возвращаясь с ночных заседаний, я видел набегавшие на берег знаком вечности серые резиновые жгуты рассветных атлантических волн, партия осла избрала Слишком Либерала, поклявшегося резко сократить военный бюджет и в первый же день президентства прекратить бомбить Вьетнам (его все еще бомбили, хотя прошло восемь лет после поражения Слишком Консерватора), но избиратель опять же небывалым большинством предпочел в ноябре Трюкача Дикки, а неожиданный финал заключался в том, что не прошло и двух лет, как победитель с треском вылетел из Белого дома под давлением Уотергейтского Скандала Века.

Если во многая мудрости многая печаль, то в изрядном опыте мало утешений. Журналисты — профессиональные скептики. «Кандидат все еще остается загадкой для многих из тех, кто дирижирует рукоплесканиями в его честь»,— это голос из наших рядов, Умудренного Обозревателя. «Скука, скука, скука»,— тоже из наших рядов, Иностранного корреспондента. Но работа есть работа, и если ты не фельетонист, а собственный корреспондент, надо делать серьезную мину при описании события, которое выглядит таким большим и серьезным в сегодняшнем дне такой большой страны. С желтыми бирками ходим в Медисон-сквер-гарден, набираем тексты речей в пресс-центре, сидим сотнями на закрепленных местах в многорядной пресс-секции и даже мечтаем хотя бы на время заполучить другую бирку, для избранных, дающую право пройти на саму арену и свободно ходить там среди делегатов. Но к советским, как обычно, относятся с любезностью и настороженностью, и преобладает не любезность, а настороженность. Кроме того, какой им от нас прок?! Заветные бирки отдают своим, больше всего телевизионщикам.

Телевидение — вот типичный американский бог, который суеверно служит не вечности, а минуте, и не столько ярмарка этот конвент, сколько четырехдневное телевизионное шоу. Для того чтобы к телепосиделкам привлечь побольше миллио-

нов людей, конвент и заседает по вечерам (отнимая делегатов у театров и кабаре), в prime time — лучшее телевизионное время.

Телевизионщиков две с половиной тысячи. Их закрытые, размером с вагон трейлеры стоят за кулисами, в коридорах, на улице. Их временные офисы открыты через дорогу от Медисон-сквер-гарден, хотя не больше двадцати минут хода до их небоскребных штаб-квартир. И на каждом шагу знакомые шрифты и буквы их названий, их фирменные техники и охранники, их длинноногие секретарши. Делегаты — это актеры, умеющие складно говорить и хорошо держаться перед телекамерами. В любую минуту они готовы подать свои реплики телерепортерам, которые все время бороздят залы и прутиками антенн, походными передатчиками за спиной походят на аквалангистов или на марсиан из фантастических романов вчерашнего дня, опровергнутого сегодняшней космической былью. А подчиняются вчерашние марсиане своим телевизионным режиссерам, парящим под потолком, на седьмом небе Медисон-сквер-гарден, в специально смонтированных стеклянных студиях...

Телеэкран так активен, насыщен и пестр, что кажется изображением Америки в натуральную величину. Кажется, ничто не ускользнет от его всевидящего ока. Он всемогущ и неотразим — и все-таки не более чем ловкая подделка под натуру. Стоит выйти из зала конвента на улицу, на Седьмую авеню, где друг против друга расположены Медисон-сквер-гарден и отель «Статлер-Хилтон», и сразу же пропадает иллюзия полности изображения. Нет, жизнь не загнать ни в какой объектив, не вместить ни в какой экран. Жизнь всегда шире.

...Парной натуральный нью-йоркский воздух. Синий вечер, прорезанный оранжевым неоном. Люди среди синего вечера. Вот девушка с вывеской-стрелой на груди: «К автобусам делегатов конвента». Картонная стрела указывает туда, где через улицу стоит еще одна девушка с точно такой же стрелой. Возле второй девушки парень с мегафоном. «Сюда! Сюда!» — выкрикивает он. Он занят важным делом. Ему досадно, что его не слушают. «Сюда! Сюда!» — зазывает он. Зазывают люди-стрелки, события-стрелки. А их не слушают, идут мимо своей дорогой. У дверей «Статлер-Хилтон» торгуют значками с улыбкой Кандидата. Разные значки с одной и той же улыбкой. На улыбки других претендентов уже нет спроса. С мостовой на тротуар оттеснены какие-то демонстранты. В их руках лозунги: «Дайте нам наши права родителей!», «Где вы были бы, если бы ваша мама сделала аборт?» Новое общественное движение — противники абортов. За ними лениво присматривают полицейские. Они деловиты, живописны и грузны, как лошади-тяжеловесы. На их широких, черных, отвисших ремнях дубинки, кольты в открытых кобурах, наручники, передатчики уоки-токи, патронташи, связки ключей. Из задних карманов брюк торчат пухлые квитанционные книжки.

Расхристанный, разноперый, избалованный, но не насытившийся зрелищами нью-йоркский люд. Кого тут только нет! Экзотические негры с амулетами на шее и запястьях, черно-лоснящиеся в майках ядовитых цветов. Женщина-индианка, закутавшись в стеганое одеяло, приютилась на ночь у стены. Какие-то пропойцы с набухшими, воспаленными лицами и грязными всклокоченными волосами. Пробирается бочком, вскидывая трость, еврей-хасид с длинной черной бородой, в черном котелке и черном костюме. У входа в книжный магазин снова широкая улыбка Кандидата на обложках книг.

По темной Седьмой авеню иду в сторону 42-й стрит. Пусть конвент царит на телеэкране и в Медисон-сквер-гарден. А тут обычная жизнь, с другими мистериями и буффонадами. Очередь на порнофильм «Фантасекс». Молодые парни и девушки, приплясывая на углу, поют духовные гимны в стиле рока. Еще одна демонстрация, люди с плакатами: «Мы — христианские лесбиянки!», «Свободу гомосексуализму!», «Извращенцы, объединяйтесь!» У них вызывающе сконфуженные лица. Охраняя и эту свободу, медленно едут полицейские.

Знакомые места. На Бродвее меньше огней и экстравагантности, больше негров и усталости. На 42-й тем же ослепительным бисером лампочек горят козырьки кинотеатров, гигантские афиши порнофильмов, витрины с часами, магнитофонами и электронными калькуляторами, в грязных, опасных подъездах донорские пункты, где пропащие люди продают свою кровь, потому что им нечего больше предложить на рынке жизни. А за угол, на Восьмую авеню, и поворачивать боязно: владения воров, наркоманов, сутенеров, девиц возле массажных салонов — так теперь называются мини-дома терпимости...

А это что такое?

На углу 42-й и Восьмой авеню стоит, как и положено, проволочная мусорная корзинка размером с пивную бочку. Набита газетами, банками из-под пива и прохладительных напитков, бумажными стаканами и тарелками, упаковочными пакетами, остатками пищи... И, утопая задом в корзинке, задрав ноги, восседает на куче мусора какой-то забулдыга. Пьяному море по колено. Блаженная мокрогубая улыбка. Широко расставленными руками он готов обнять весь мир, и в правой руке залогом неиссякнувшего счастья поблескивает стеклянная фляжка. Никому нет до

него никакого дела. Кругом город, огни рекламы, шаркание ног, говор и крики людей, гудки авто, жаркий, душный летний вечер, на который сверху, с темных небес, смотрят впустую зажженные звезды.

Возвращение

Знакомым шумом шорох их м а ш и н меня приветствовал...

К месту переиначенная пушкинская строка неожиданно приходит в голову, когда рано утром, слыша пулями проносящиеся по хайвею автомашины, просыпаюсь в старой квартире на Риверсайд-драйв.

Резкое, чистое, прохладное утро. Солнце празднично освещает три дома-башни на другом берегу Гудзона. Радостно, свежо и сине блещет река. На середине буксир толкает зеленую баржу, перед носом баржи вздымается, блестит и сверкает расплывчатая водяная пыль. В сквёр под окнами солнце еще не пришло, среди редких раскидистых деревьев вершат свой утренний моцион бегуны и собачники. Машины пластаются у обочины, разноцветно отливая лаком. В спокойный ранний воскресный час и люди, и деревья, и река смотрятся как в демонстрационном зале.

Середина апреля. Утро обещает хороший день, из тех ясных, в меру ветреных, в меру теплых весенних воскресных дней, когда лениво просыпается город, не спеша завтракает и листает воскресные газеты. Улицы пустынны. К полудню приятно пройти в Сентрал-парк, закрытый по уик-эндам для автомашин, и всласть побродить по лужайкам и у озер.

Мой нью-йоркский коллега в Москве. Приехав из Вашингтона, вот уже неделю живу в знакомой квартире на восьмом этаже Шваб-хауза. Один. Просыпаюсь под шум машин на хайвее, и шум этот, с его равномерными приливами и отливами, сразу же перекидывает меня в годы, которые, кажется, еще здесь, хотя они уже далеко ушли. Гляжу на реку и на сквер под окнами, сижу за знакомым письменным столом — везде окружают воспоминания. Впрочем, окружают — это как осаждают. А они неназойливы. Они кружат, витают, как говорили в старину, легкие и грустные, эфемерные, как клочья облаков, как кольца табачного дыма. Это верно, что человеку нужно освободиться от пут привычного, отлепиться и оторваться на время от близких, куда-то скрыться и побыть одному перед миром — и тогда перед ним выплывет его собственная жизнь...

Когда жили здесь, наш свет в окошке, наш внешний мир был Гудзон. Даже ночью спросонья чувствовал его, а утро начиналось со взгляда на Гудзон. В ясные дни и река лежит ясная, резкая, суровая, как и положено большой реке. Другой берег виден отчетливо, как в бинокль; мы еще застали совсем пустым этот другой берег штата Нью-Джерси, при нас росли там этажи многоэтажных домов. В летние, жаркие и противные дни, когда воздух пропитан влагой и все живое истекает потом, другой берег затушеван белесым маревом и сама река теряет энергию и плотность, дряблая, немощная масса воды. Случаются туманы, идут дожди, гремят грозы, недолгой зимой — закраины льда у берега, а ранней весной по реке плывет ледяное крошево с верховьев. И бывают зимой и весной дни очищающие и освежающие, тугой и сильный ветер с запада, с континента, вспарывает на воде холодные белые барашки, кидается на оконные стекла, угрожающе сотрясает их.

А закаты над Гудзоном! После сутолоки улиц, где человек погружен в сумасшедший, умеющий навязывать себя город, где светофоры заменяют и солнце, и луну,— после этого увидеть первозданный, как в поле или море, широкий закат. Ничем не стесненное закатное небо бросает густо-лимонный и багровый отблеск на Гудзон, и река, как бы застывшая, остановившаяся, отражая закат, наливается стеклянным жаром, напряженно пламенеет и вот-вот мятежно вспыхнет языками огня. В этом вечернем объятии закат и Гудзон — братья. Но Гудзон — плененный брат. Придя на свидание, закат торопится. Напомнив изумленным людям, от какого прекрасного мира они отвернулись, великий живописец закат безжалостно стирает свой мгновенный шедевр...

Чудо заката мы приберегали для гостей, прилетавших из Москвы. Набегавшись и наездившись по Манхэттену, с кучей впечатлений, которыми надо было немедленно поделиться, они притихали, оказавшись лицом к лицу с торжественной природой, которая была рядом, за городским окном...

Как блики на весеннем Гудзоне, витают образы прошлого, смягченные и романтизированные. Память милосерднее сознания, жестко бомбардируемого сегодняшним днем. Она легко прощает, она готова забыть ожесточение, оставшееся в прежних, сделанных по горячим следам заметках. Оказывается, это два разных Нью-Йорка — место, где жил шесть с лишним лет, и город, куда время от времени возвращаешься на неделю. Раньше мучился: разве можно прикипеть сердцем к льдышке, заразиться приязнью там, где редко найдешь приязнь к твоей стране, где подозрительно и враждебно толкуют о ней на страницах газет агрессивно-невежественные снобы? Где сам ловишь порой косой, скользящий, настороженный взгляд:

«А это что за тип?» Эти горькие вопросы, в которых — лишь на одном примере, а их множество — отражена обоюдная цепная реакция неприятия и неприязни, рожденная «холодной войной», остались с тобой, никуда не делись. Но теперь они связаны больше с Вашингтоном, вторым местом работы в Америке. А на Нью-Йорк смотришь сквозь смягчающую призму сентиментальности. Он притягивает к себе хотя бы потому, что Вашингтон отталкивает. Оттуда, из вашингтонского предместья Чеви Чейс, из другого американского дома, называемого Айрин-хауз, с его подземным трехэтажным гаражом на электронном замке, с двумя бассейнами и теннисными кортами на крыше, с идиллически красивенькими особняками лежащего под окнами дачного поселка Сомерсет — и с особой комфортабельной властной скукой и тоской, приезжаешь время от времени в Нью-Йорк, чтобы окунуться в пеструю вавилонскую жизнь, чтобы пройтись по улицам, где люди не только в машинах, и увидеть Америку, пульсирующую в натуре, а не в оконце цветного телевизора, этого незаменимого помощника корреспондента и ловкого симулянта, который, сея отчуждение, выдает его за жизнь на ветру, на сквозняке «всемирной деревни».

Смешно признаться, ведь волновался перед этим, еще одним приездом в Нью-Йорк, не спалось перед знакомой дорогой, думал: уж на этот раз не уйдет, схвачу его, и постигну, и закреплю на бумаге. Увидел с высокого берега, подъезжая, манхэттенскую панораму, шпиль «Эмпайр стейт», чешую на крыше «Крайслер-билдинга», две серые башни-близнецы Всемирного торгового центра, увяз в очереди машин перед платным Линкольн-тоннелем, выскочил из его двухкилометровой кафельной норы под первые нью-йоркские светофоры, попрыгал шинами «олдсмобиля» на выбоинах и рытвинах горбатых мостовых, говорящих о прогрессирующей скудости муниципальной казны,— дома, знакомые силуэты авеню и стритов, игра со светофорами (побольше блоков проскочить до красного), толпа в шесть вечера, зажигающиеся огни, желто-канареечные такси, темп, реклама, содом и гоморра... Навалилась, как прежде, вся эта масса — и где уж там «схвачу и постигну», потерянность провинциала, приехавшего из столицы, ни следа уверенности, которую вынашивал в вашингтонской глуши...

Неделя встреч — с заместителем мэра (из негров, первый в истории города), пресс-секретарем мэра (из итальянцев), муниципальным экономистом-ирландцем и муниципальным статистиком-евреем (на 30-м этаже одного из муниципальных зданий), с холеным негритянским лидером и его энергичным белым помощником в новом здании штаб-квартиры известной негритянской организации, с менее холеным умным пуэрториканским лидером из Бронкса, с молодой дамой, занимающейся проблемой престарелых... И т. д. Старомодный с башенкой Сити-Холл среди окруживших его зданий-громад как физический символ неуправляемости Нью-Йорка... Площадь Полиции — есть ли еще такая?.. Вино и танцы, «геройские сандвичи» с жареным луком и наперченными колбасками на веселом фестивале в итальянском квартале Литтл Итали... Скелеты брошенных зданий в Южном Бронксе, пустыри с грудами битого кирпича, собаки у мусорных куч, отверженные люди... Новый корпус в Метрополитен-музее — специально для обширной древнеегипетской коллекции, которой тесно в старом здании... Очередь безработных в бюро занятости на Джером авеню... Три фунта хорошо упакованной информации о Всемирном торговом центре... И т. п.

Мозаика лиц и слов, еще один блокнот в торопливых записях...

— Главная проблема — деньги. Все стоит все дороже... Вторая проблема — миграция. Сейчас больше сорока процентов населения — это негры и пуэрториканцы. Уровень жизни у них растет, но не так быстро... Крупный бизнес бежит из города — в маленьких городках ему дешевле, лучше, безопаснее. А кто будет платить налоги? Налоговая база сужается. Меньше денег — хуже школы. Но Нью-Йорк все еще остается сильным магнитом...

— А проблема размера?! Самого размера?! Учащихся в разных школах... около двух миллионов... Стариков, которым за шестьдесят пять,— миллион. Физически немощных и душевнобольных — около миллиона. Шесть тысяч миль мостовых. Около пятисот кинотеатров. Городской бюджет, уступающий лишь федеральному...

— Проблема размера? Верно. Но главное — проблема налогов. Она забирает семьдесят процентов нашего времени. Мэр сейчас в Вашингтоне, выколачивает ассигнования... В следующем году ожидаем дефицит в восемьсот миллионов долларов.

— А вон и Сити-Холл. Там, знаете, с нас налоги берут. В этой стране, знаете, налоги — самая большая проблема...

— Взрыв китайского населения. Именно взрыв — и не только в Чайнатауне, а и в Куинсе, в Джамейке. А где учителей найти, говорящих по-китайски? А как китайцев отличить от японцев? Японцев тоже становится больше, но они по крайней мере приезжают на время... Едут отовсюду. В Бруклине, к примеру, насчитываем двадцать пять тысяч выходцев из Гаити, многие живут нелегально, без иммиграционных документов. А живут между тем своей общиной, даже черную магию практикуют. Быстро растет число греков. Индейцев тоже много, мы считаем их в одной группе с пакистанцами...

— Стариков будет все больше, и они будут все беднее. За это говорит статистика. Все больше будет черных стариков и испаноговорящих...

— Нью-Йорк называют плавильным котлом. Кого только тут не переплавляли в американцев — итальянцев, евреев, ирландцев. Теперь наша очередь — пуэрториканцев, других испаноговорящих жителей. В одном Бронксе нас четыреста тысяч, а всего в Нью-Йорке больше миллиона. В школах с испанским языком около трехсот тысяч детей. Живем хуже всех. По самоубийствам на первом месте. Вы спрашиваете, почему мы не так видны и слышны, как негры? Начать с того, что нас чуточку меньше, и потом — не в нашем характере бросать прямой вызов сложившимся порядкам. Увы, нам не хватает агрессивности, а Нью-Йорк любит силовые приемы, динамику давления посредством избирательных голосов.

Цитаты. Цифры. Факты и фактоиды (кто-то придумал удачное словцо). Журналист без фактов — как калека без костыля. Фактам закладывает душу. Себе самому не верит без фактов и фактоидов. Но как фактами передать дух? Как статистикой и цитатами удовлетворить ту мучительную потребность человека, про которую сказано поэтом: «Безличное — вочеловечить»? Вочеловечить, даже если это большой и чужой город...

Зыбким, клубящимся мостом, перекинутым в прошлое, витают воспоминания. В этом американском городе я неожиданно приобрел право старожила — право сравнивать и сопоставлять. Посторонний, я видел то, что уже кануло, что не увидят новые поколения американцев. Сколько раз, проезжая вот по этой, видной из окна Шваб-хауза автостраде вдоль Гудзона, слышал странные, хриплые, натужные рыки. Они доносились и сюда, на Риверсайд, днем, а иногда и ночью, как звуки из другого мира. Это громадные, самые большие в мире пассажирские суда, начиная от причалов на Гудзоне обратный путь в Европу, прочищали свои луженые глотки перед встречей с Атлантическим океаном. Еще в начале 60-х годов на гудзоновских пирсах собиралась уникальная, единственная в своем роде компания — сестры-близнецы «Куин Мэри» и «Куин Элизабет» водоизмещением больше восьмидесяти тысяч тонн каждая; элегантная, горделивая, совершавшая первые свои рейсы и собиравшаяся долго жить «Франс», щеголеватые, с изысканными, кружевными трубами два знатных итальянца — «Микеланджело» и «Рафаэль». Сердце сладко замирало при виде этих благородных странников моря, их палуб и мачт, поднимавшихся над длиннющими пакгаузами; в дни отплытия подкатывали такси и машины с пассажирами, носильщики и докеры принимали обширный багаж, и, провожая товарищей или сами отправляясь в отпуск, мы с восторгом детей погружались в бездонные корабельные недра, ходили по коридорам, каютам, салонам. Но помню, как поражало меня, что и эта ни с чем не сравнимая грандиозность пропадает в Нью-Йорке. Приход и этих судов, казалось, был незаметен, во всяком случае был не праздником, а буднями. Взнуздав моськами-буксирами, мировых рекордсменов тянули к причалам на реке — всего лишь на реке! Вот нью-йоркская мера вещей. Они были скроены и сшиты именно на этот город.

Они проходили под мостом, да, под мостом!.. Но какой это был мост, на наших глазах шагнувший из Бруклина в Статен-Айленд через пролив, соединяющий океан с гаванью и названный именем Джованни Верреццано, флорентийца на службе французского короля, открывшего нью-йоркскую гавань в апреле 1524 года. Мы часто ездили любоваться мостом, выбрав хорошее место на другом берегу пролива в парке у старого форта. Изящнейшая дуга длиной более километра оперлась на две опорные башни высотой с восьмидесятиэтажный небоскреб. Поистине триумфальная арка, удачно поставленная там, где начинался город и кончался океан. Торжество смелой инженерной мысли и технического исполнения. А Нью-Йорк построил этот самый длинный в мире подвесной чудо-мост без шума и рекламы, привыкнув к таким чудесам и не умея гордиться даже такой работой (один из парадоксов страны, где всяческая реклама так развита). На двух своих ярусах красавец пропускает в год два десятка миллионов автомашин. И это тоже нью-йоркская мера вещей.

А те гигантские лайнеры сгинули от реактивных «боингов». Судоходные компании, не выдержав убытков, перевели их на круизы или вовсе поставили на прикол — и сердце обливалось кровью при вестях о несчастной участи владык океанов. А Нью-Йорк будто и не заметил их исчезновения, как раньше не замечал их приходов, лишь безработные пакгаузы на гудзоновских пирсах приспособили под специальные полицейские стоянки для оштрафованных автомашин, оставленных в недозволенных местах и увезенных полицейскими пикапами. И это в характере Нью-Йорка, и это его нрав, его мера вещей, его забывчивость.

Нового человека Нью-Йорк сначала удивляет, а потом отучивает удивляться, снабжая своим аршином, который остается на всю жизнь, который прикладываешь тут и там: не ново, встречали, видели, знаем. Известный, выше среднего, уровень опытности и умудренности достигается тут как бы сам собой, без усилия, автоматически — просто живешь в Нью-Йорке, дышишь его атмосферой, ходишь по его улицам, постигаешь его диалектику. Многоопытность нью-йоркца, бывает, граничит с опустошенностью, срывается в беспредельный цинизм и бездонный порок. Потерявшись среди толпы, здесь ищут себя посредством разного рода эксгибиционизма, крикливой и безнравственной показушности. Индивидуализм, эта духовная основа

буржуазного общества, усиливается в Нью-Йорке тем, что традиционно это город иммигрантов и многих из них толкнула в Америку именно закваска индивидуалистов — локтями пробиться к лучшей жизни. К тому же индивидуализм — это и способ самосохранения в царстве отчуждения, возможность безболезненно наслаждаться материальными и культурными сокровищами города, отвернувшись от его язв и его обездоленных. И есть еще на богатой нью-йоркской палитре краски простоты и демократизма, происходящие от той же многоопытности, а нью-йоркская особая мера вещей, признавая силу, противостоит чванству: ведь нет ничего абсолютного в этом городе — ни истины, ни красоты, ни власти, все относительно в разноплеменном человеческом муравейнике, все суета сует и всяческая суета у подножия старых и новых небоскребов...

На Шваб-хауз, который когда-то был домом, я тоже смотрю теперь взглядом старожила. Стены коридоров выкрасили в другой цвет, в холле внизу поставили другие, дешевые, но в духе новой моды диваны и кресла, в сигаретном автомате, стоящем возле почтового помещения, вдвое выросли цены. Боковые двери теперь заперты даже днем, а у главных бдительнее дозор портье, строже проверяют незнакомцев. Новые времена — бум на крепкие замки, домашние сигнальные системы и внутреннее телевидение, охранников и телохранителей. А сколько лендлордов сменилось за это время у нашего Шваб-хауза, повышая квартплату и пытаясь удержать его на все более скользком склоне респектабельности! Другие портье, другие за полцены нанятые лифтеры с ломаным английским языком и латиноамериканскими лицами, уже не видно приветливого Эдди с седым бобриком волос, нет и ночного старика лифтера с широким обвисшим лицом и ортопедическими башмаками на усталых ногах, но Чарли-капитан, распорядитель лифтеров и портье, на своем месте у старомодного пульта внутреннего телефона, постарел, но так же плотноват, лысоват и энергичен. И бригада негров в гараже под домом почти не обновилась, только самый молодой из них выдвинулся, стал самым главным. Когда я ныряю на машине в их подземелье, они принимают меня так, как будто расстались лишь вчера, даже если прошло три года после последнего приезда,— без удивления и эмоций. Видать, не так уж велика их привязанность, хотя много бутылок водки и виски перетаскали им на рождественские праздники москвичи из Шваб-хауза. А скорее всего другое — они не замечают моего долгого отсутствия, потому что их время в отличие от моего текло не прерываясь, было все тем же нью-йоркским.

По теории относительности на экваторе время идет чуточку медленнее, чем на полюсах, и эта догадка Эйнштейна была, как известно, экспериментально подтверждена с помощью атомных часов и земного шара, моделированного в виде плоского диска. Но вряд ли нужны дар прозрения и атомные часы, чтобы утверждать, что в человеческом обществе есть очень разное время — индивидуальное, национальное, мировое. Эта истина не нуждается в доказательствах. У нас с американцами время идет по-разному не из-за разницы широт или часовых поясов, а потому что оно по-разному заполнено. Не следует забывать об этом. К примеру, через тридцать с лишним лет после окончания второй мировой войны мы апеллируем к духу нашего боевого союза, но в гуще американцев эти обращения не находят желаемого отклика не только потому, что нас разделили долгие годы «холодной войны», и не только потому, что та война не прошлась по самой Америке и оставила там в пятьдесят раз меньше жертв, но и потому, что американцы с тех пор пережили еще две войны — корейскую и вьетнамскую, и шесть раз сменили своих президентов, и изведали массу других, подлинных и дутых национальных событий и сенсаций. Кроме того — и это, может быть, самое главное, — всем устройством своей жизни, ее темпом, необычайно напряженной борьбой за существование и преуспевание американец предельно заострен именно на сегодняшний день, мгновенно стирая день вчерашний, забывая прошлое, не имея времени на воспоминания.

Возвращаясь в Нью-Йорк после долгих или коротких отлучек, обходя и объезжая знакомые места, лучше понимаю одно из коренных свойств Америки — быстрые превращения, разумеется, в рамках системы. Не только одежда людей, но и содержимое улиц меняется со скоростью ветреной моды, а политические лозунги облетают быстрее, чем листья на деревьях,— и пока какой-нибудь наш диссертант академически неторопливо пишет критическую работу о каком-нибудь «великом обществе», провозглашенном президентом Линдоном Джонсоном, американец успевает забыть и о Джонсоне с его «великим обществом», которое, впрочем, и тогда не принимал всерьез, и о Никсоне, который шел за Джонсоном, и о Форде, сменившем Никсона, а американские книги на эту тему уже давным-давно были написаны и изданы и с полок бестселлеров перекочевали в пыльные углы, где уже никого не интересуют. Там, где была на Бродвее угловая аптека, открылся тотализатор, один из многих, вдруг усыпавших город после какого-то изменения в местном законе, но и тотализатор не задержался, уступив место филиалу страховой компании. Был популярный бар «Маяк», где по вечерам толпились десятки людей и плотный пожилой негр в смокинге, фосфоресцируя в темноте белой манишкой, извлекал пронзительные звуки из электропианолы, — был и канул в Лету этот «Маяк», а появился взамен кафетерий с пластиковыми столами и яичницей, тоже синтетической на вкус, но, боюсь ошибиться, не канул ли

уже и кафетерий? Где веселые итальянцы торговали своей пиццей, которую любили дочь и сын, грек продает теперь обжигающе горячие греческие пироги. Один китаец закрыл, свой ресторан, но другой открыл, неподалеку. Полуподвальный ресторан «Священная корова» все еще цел, но, кажется, прогорает, а напротив процветает симпатичное молодежное кафе, по-парижски вынесенное на тротуар, но, впрочем, не становлюсь ли я неторопливым диссертантом? Процветает ли оно? Где был филиал брокерской фирмы «Фрэнсис Дюпон энд К°», теперь овощная лавка. Лишь похоронный дом с вечно закрытой, траурно-солидной дверью стоит на месте, вне мод и поветрий и, надо думать, со стабильным бизнесом в округе, где все растет и растет прослойка старых людей. Да кинотеатры «Эмбасси» и «Бикон» на своих местах — полупусты, но как и во что их переделаешь и преобразуешь? Да еще на старом месте филиал несокрушимого, хотя и потесненного конкурентами рокфеллеровского банка «Чейз Манхэттен». Но где та чистенькая седенькая старушка с аккордеоном, приходившая к его стенам, где старые грустные мотивы, заставлявшие думать о ходе времени? Что с ней? Появится ли она перед Днем благодарения или рождеством? А если нет, то кто ее заменит?..

Конкуренция — самая универсальная из отмычек к секретам американской жизни, в том числе и к секрету динамизма. Конкуренция — как образ жизни, ее стержень, кровь и плоть. Она заставляет шевелиться, торопит с выводами: терпя убытки, закрывай лавочку, не дожидаясь, пока совсем прогоришь; преуспевая, куй железо, пока горячо, расширяй дело, открывай новое. Время — деньги. Под лежачий камень вода не течет.

Время — перемены. На моих глазах менялся силуэт Манхэттена, росли его этажи, особенно в Мидтауне и Даунтауне. На авеню Америк теперь темно от новых сумрачных штаб-квартир телевизионных и издательских империй — на сорок-пятьдесят этажей... На Третьей авеню поднялись — на тридцать-сорок этажей — новые, светлые, дорогие жилые дома... Отбирая славу и туристов у «Эмпайр-стейт-билдинга», новым символом Нью-Йорка вознеслись две элегантно-грандиозные стодесятиэтажные башни Всемирного торгового центра, сооруженные у самого устья Гудзона: на их смотровых площадках дух захватывает от города и от океана, простирающегося у ног, и вдруг становится понятным парадоксальное замечание Сартра о необыкновенной близости Нью-Йорка к природе — внизу, в кишении улиц, с ним не согласишься, это наблюдение выдает человека не жившего, а лишь навещавшего город...

Перемены... Перемены... В середине 70-х годов муниципалитет очутился на грани банкротства — нечем было платить городским служащим, по счетам соцобеспечения и другим.... Не Гарлем, а населенный пуэрториканцами Южный Бронкс стал зоной наихудшего бедствия... Муниципальным боссом Манхэттена впервые избран негр... Бегство белых жителей, лишившее городскую казну сотен тысяч состоятельных налогоплательщиков, как будто замедлилось, с надеждой поговаривают о возможности обратной волны, хотя главные тенденции в составе жителей указывают в прежнем направлении: город темнеет, беднеет, стареет (Нью-Йорк — это вчерашний всемирный апофеоз урбанизма, превратившийся сегодня в символ изживания процесса, который породил такие немыслимо большие города)... Вместо англичан и итальянцев к опустевшим пирсам на Гудзоне теперь приходит летом «Михаил Лермонтов» из Ленинграда, и одно время долго гостил, работая на круизах, наш флагман «Максим Горький» (бывший «Гамбург»), свидетельство предприимчивости Морфлота и одновременно невнимания к фактам истории литературы — «Максим Горький», зарабатывающий валюту в городе Желтого дьявола, зафрахтованный компанией с Уолл-стрита.

Перемены... На авеню Америк у небоскреба телевизионной корпорации Си-Би-Эс, на очень бойком месте долго стоял истуканом весьма странный даже для привыкшего ко всему Нью-Йорка человек — огромный мужчина в одеянии средневекового монаха и воина, с посохом и в шлеме. Из-под шлема глядели угрюмые глаза. Смысл его вахты был ясен — зловещий вестник неминуемого Апокалипсиса. Город не внял этому чудаку. Он исчез, как и чаша, похожая на воробышка, районная старушка с аккордеоном. Но с середины 70-х годов время от времени более прозаическими — и более пугающими — вестниками конца нынешнего американского мира начали вытягиваться очереди автомобилистов за бензином. Энергетический кризис, как библейский Самсон, взялся за опоры американского образа жизни...

■

Все меняется — и все остается. Говорят, Париж всегда Париж. В таком случае Нью-Йорк всегда Нью-Йорк. Тянет снова побывать и поглядеть, полюбопытствовать. И вовремя уехать, не засиживаясь. Чтобы не успеть ожесточиться. Ведь чтобы отогреть этот город, ненадолго хватит теплого дыхания собственных воспоминаний.

Антирубрика

Ф. СКОТТ ФИЦДЖЕРАЛЬД

Как финансировали Финнегана

Перевод с английского МИХАИЛА ЗАГОТА

Я никогда не был знаком с Финнеганом лично, хотя свои опусы мы сбывали через одного и того же литературного агента, мистера Кэннона, и в его кабинете мне часто приходилось слышать, что Финнеган только что ушел или вот-вот должен прийти. Кроме того, у нас был общий издатель, но и от него Финнеган всегда уходил незадолго до моего появления. И агент, и издатель упоминали его имя с какой-то загадочной многозначительностью: «О-о, Финнеган», «О да, сегодня был Финнеган» — и мне становилось ясно, что визит знаменитого писателя не был бесплодным. Из оброненных фраз следовало, что, уходя, он кое-что забрал с собой, очевидно, рукопись очередного великого произведения, будущего бестселлера. Наверное, думал я, он забирал «кое-что» для окончательной правки, для последней переписки; по слухам, чтобы достичь легкости, блеска, изящества, отличавших все его работы, он переписывал их по десять раз. Со временем, однако, я понял, что большинство визитов Финнегана было связано с деньгами.

— Жаль, что вы уезжаете,— говорил обычно мистер Кэннон.— Завтра у меня будет Финнеган.— Он делал многозначительную паузу.— Видимо, мне предстоит с ним разговор.

Не знаю почему, но какие-то нотки в его голосе напоминали мне интонации одного очень нервного президента банка, с которым я беседовал, когда в окрестностях орудовал Дилинджер [1]. Мистер Кэннон смотрел куда-то в пространство и разговаривал будто сам с собой.

— Наверное, он принесет рукопись. Он ведь сейчас работает над романом. И над пьесой.— Говорил он так, словно речь шла о каких-то интересных, но давно ушедших в прошлое событиях эпохи Возрождения. Однако глаза его засветились надеждой, когда он добавил: — И кажется, над рассказом тоже.

— У него многогранный талант, правда? — спросил я.

— О да,— оживился мистер Кэннон.— Он умеет все, стоит только взяться. Что говорить — талантище!

— Что-то в последнее время его мало печатают.

— Это так, но сейчас он работает вовсю. В нескольких журналах лежат его рассказы, их пока придерживают.

— Почему?

— Ждут более подходящего момента — как-никак депрессия. Потом им приятно сознавать, что у них есть что-то Финнегана.

Да, имя его действительно сулило издателям крупные барыши. Он блестяще дебютировал, и, даже если его карьера не удержалась на заоблачных высотах, блистательный дебют повторялся по крайней мере раз в несколько лет. В американских литературных кругах от этого человека всегда ждали чего-то значительного, и действительно он творил со словами чудеса: они сверкали и искрились, а предложения, фразы и абзацы были сотканы в изящнейшие шедевры. Однажды, впрочем, я узнал, что у Финнегана есть враги,— это произошло

[1] Крупный чикагский гангстер начала 30-х годов.

после встречи с одним бедолагой из мира кино, который попытался сделать по книге Финнегана сценарий.

— Все прекрасно, пока ты это читаешь, — возмущался он,— но когда пробуешь записать это нормальным языком... легче провести неделю в сумасшедшем доме!

Из агентства мистера Кэннона я отправился к своему издателю на Пятой авеню, и там мне тоже не замедлили сообщить, что завтра они ждут Финнегана. Да, этот человек отбрасывал перед собой удивительно длинную тень — даже обед, во время которого я рассчитывал поговорить о своей собственной работе, был почти целиком посвящен Финнегану. И снова мне показалось, что мистер Джордж Джэггерс, пригласивший меня отобедать, обращается не ко мне, а к себе самому.

— Финнеган — великий писатель,— сказал он.

— Безусловно.

— И знаете, дела у него идут отлично.

Для меня это было настолько очевидным, что я даже удивился: неужели кто-то в этом сомневается?

— Нет, конечно,— поспешно ответил он.— Просто последнее время ему здорово не везло... Знаете...

— Слышал,— сочувственно кивнул я.— Этот прыжок в полупустой бассейн — он еще легко отделался.

— Что вы, бассейн не был полупустой. Он был полон. Полон до краев. Вы бы послушали, как об этом рассказывает сам Финнеган — живот можно надорвать от смеха. Он в тот день переутомился, пришел в бассейн поплавать и уже собирался нырнуть в воду,— ножом и вилкой мистер Джэггерс изобразил нырок,— как вдруг увидел молодых девушек, прыгавших с пятиметровой вышки. Ну, он решил тряхнуть стариной, забрался на вышку и сделал прекрасную ласточку — но у него что-то хрустнуло в плече, пока он летел вниз.— Мистер Джэггерс с тревогой посмотрел на меня.— Знаете, так бывает. У бейсболистов, например, вывих сустава — обычное дело.

Я не мог припомнить никаких ортопедических казусов, поэтому промолчал.

— И после этого,— словно в полусне продолжал он,— Финнегану пришлось писать на потолке.

— На потолке?

— Практически да. Он не бросил писать — потрясающая сила воли, можете мне поверить. Он заказал специальное устройство, которое свешивалось с потолка, и писал в воздухе, лежа на спине.

Я согласился с тем, что это чрезвычайно смелое изобретение.

— А на самом произведении это не отразилось? — поинтересовался я.— Чтобы читать эти рукописи, не нужно ложиться на спину?

— Поначалу они действительно были немного сумбурными,— признал он.— Но сейчас все идет отлично. Я получил от него несколько писем, в них он снова похож на прежнего Финнегана — жизнерадостен, полон планов на будущее...

Взгляд его устремился куда-то вдаль, и я перевел разговор на более близкую мне тему. Однако, когда мы вернулись в издательство, мелодия Финнегана зазвучала вновь — я пишу эти строчки с краской стыда на лице, потому что вынужден признаться в грехе, который совершаю редко.. Я прочел чужую телеграмму. Это произошло случайно — мистера Джэггерса перехватили в вестибюле, а я прошел в его кабинет, сел в кресло и прямо перед собой увидел раскрытую телеграмму:

«Шлите минимум пятьдесят хватит машинистку парикмахера карандаши жизнь невыносима изнываю мечтах добрых новостях Финнеган».

Я не мог поверить глазам — пятьдесят долларов? Как-то я слышал, что Финнегану за рассказ платят около трех тысяч! Я изумленно смотрел на телеграмму, и тут вошел Джордж Джэггерс. Прочитав текст, он в панике взглянул на меня.

— Просто не представляю, что можно сделать,— пробурчал он.

Я вздрогнул и огляделся — все на своих местах, я — в одном из процветающих нью-йоркских издательств. Да нет же, пришло мне в голову, я просто неправильно прочел телеграмму! Финнеган просит аванс в пятьдесят тысяч долларов! Такое требование выбьет из колеи любого издателя, даже если автор — знаменитость с мировым именем.

— Только на прошлой неделе,— безутешно произнес мистер Джэггерс,— я послал ему сто долларов. В нашем бюджете из-за него каждый год возникают дыры, и я уже боюсь говорить об этом моим партнерам. Я даю ему деньги из собственного кармана — приходится отказывать себе в новом костюме или паре туфель.

— Вы хотите сказать, что Финнеган — на мели?

— Да, на мели! — Он взглянул на меня и беззвучно засмеялся — должен сказать, этот смех мне совсем не понравился. С моим братом вот так однажды случился нервный... впрочем, к нашей истории это не имеет отношения. Минуту спустя Джордж Джэггерс взял себя в руки.— Пожалуйста, никому об этом не рассказывайте, ладно? По правде говоря, последние годы Финнегану при-

шлось очень несладко, судьба наносила ему удар за ударом, но сейчас он вот-вот выкарабкается, и мы до последнего цента получим все, что...— он замялся, не зная, как лучше закончить фразу, но «дали ему» так и не произнес. Теперь уже он был рад сменить тему.

Не подумайте, что, приехав на неделю в Нью-Йорк, я только и занимался делами Финнегана. Тем не менее слышать о них мне доводилось часто, и деться от этого было некуда — своих агента и издателя я навещал регулярно. Например, через два дня я звонил по телефону из агентства мистера Кэннона и случайно подключился к разговору, который тот вел с Джорджем Джэггерсом. Частично это было подслушиванием, но только частично, потому что я слышал лишь одного из собеседников — куда хуже было бы подслушивать разговор целиком.

«Но мне показалось, что он вполне здоров... несколько месяцев назад он действительно говорил что-то насчет сердца, но все как будто обошлось... да, и намекал, что неплохо бы ему сделать операцию... кажется, он даже сказал, что у него рак... Я хотел было ответить, что мне и самому не вредно лечь на операцию, вот только не знаю, где деньги взять... Нет, я этого не сказал. Он был в отличном настроении — разве я мог его огорчить? Сегодня он принялся за новый рассказ, прочитал мне несколько фраз прямо по телефону...

...Я дал ему двадцать пять — у него в кармане не было ни цента... О да, я уверен — сейчас все пойдет на лад. Чувствуется, что он настроен по-деловому».

Я, наконец, все понял. Эти двое вступили в молчаливый сговор: подбадривать друг друга, когда речь идет о Финнегане. Они вложили в этого человека, в его будущее такие деньги, что Финнеган стал их собственностью. Слышать какие-либо нелестные слова в его адрес даже друг от друга — это было выше их сил.

Я не скрыл от мистера Кэннона, что думаю по этому поводу:

— Ваш Финнеган — просто вымогатель. Таким манером он может доить вас до бесконечности. Если он иссяк, значит, иссяк — тут уж ничего не поделаешь. Ведь это полный абсурд — вы не можете лечь на операцию, а Финнеган знай себе ныряет в полупустые бассейны.

— Он был полон,— мягко уточнил мистер Кэннон,— полон до краев.

— Не знаю, полон или пуст, мне ясно одно: Финнеган сел вам на голову.

— Вот что,— сказал Кэннон.— Мне сейчас должны звонить из Голливуда, а вы пока полистайте это.— Он бросил мне на колени рукопись.— Полистайте, может быть, вы нас поймете. Он принес ее только вчера.

Это был рассказ. Я начал читать, полный негодования, но уже через пять минут с головой ушел в чтение, совершенно очарованный и покоренный. Боже мой, если бы я умел так писать! Кэннон уже поговорил с Голливудом, а я все читал, и когда наконец кончил, в глазах старого, видавшего виды писаки стояли слезы. Любой журнал в стране почел бы за счастье напечатать его при первой же возможности.

Впрочем, кто и когда сомневался в мастерстве Финнегана?

Через несколько месяцев я снова приехал в Нью-Йорк, и на сей раз в кабинетах моего агента и моего издателя царили мир и покой. Наконец-то я мог вволю обсуждать свои собственные литературные дерзания, чтобы не сказать потуги, ездить за город в гости к мистеру Кэннону и убивать летние вечера с Джорджем Джэггерсом в ресторанах под открытым небом, куда с высоты нью-йоркских небоскребов медленной молнией стекают огни рекламы. Финнеган уехал, и мне было все равно куда — хоть на Северный полюс. Как выяснилось, именно туда он и уехал, взяв с собой трех антропологов — выпускниц женского колледжа в Брин Мор. Судя по всему, Финнеган мог собрать там отличный материал. Экспедиция была рассчитана на несколько месяцев, и если мне она и рисовалась чем-то вроде увеселительной прогулки, то, наверное, лишь потому, что к Финнегану я относился с завистью и предубеждением.

— Мы все так рады,— сказал мне Кэннон.— Сам бог послал ему эту поездку. Он здесь задыхался, ему позарез был нужен... нужен...

— Лед и снег,— подсказал я.

— Да, да, лед и снег. Знаете, что он сказал нам напоследок? Совершенно в его духе. Все, что выйдет из-под его пера, будет девственно белым — будет сиять ослепительной белизной.

— Могу себе представить. Но скажите — кто финансирует поездку? В прошлый раз мне показалось, что Финнеган неплатежеспособен.

— О-о, Финнеган поступил как порядочный человек. Он мне кое-что должен, и, я полагаю, не только мне, а и Джорджу Джэггерсу.— Он, видите ли, полагал, старый лицемер. Да он знал это как никто другой.— Поэтому перед отъездом большую часть своей страховки Финнеган завещал нам. Знаете, вдруг он не вернется — иногда такие путешествия плохо кончаются.

— Да,— согласился я.— Тем более в обществе трех антропологов.

— Поэтому, если что-то и случится, мы с Джэггерсом в накладе не будем — все очень просто.

— Значит, поездку финансировала страховая компания?

Он поморщился.

— Н-нет. Видите ли, вся эта история с переводом страховки не очень пришлась им по душе. И мы с Джорджем решили: если уж у Финнегана родился такой конкретный план для написания конкретной книги, надо ему еще немного помочь.

— Я этого не понимаю,— сухо произнес я.

— Не понимаете? — В глазах Кэннона появились хорошо мне знакомые беспокойные искорки.— Что ж, признаюсь, мы долго колебались. Вообще-то это не дело, согласен. Раньше я иногда давал авторам небольшой аванс, но потом перестал. Нет — и точка. В последние два года я отступил от этого правила только раз — женщина была в безвыходном положении... Маргарет Трэхил, вы знаете ее? Кстати, у нее был роман с Финнеганом.

— Я и самого Финнегана не знаю, как вам известно.

— Да, верно. Надо будет вас познакомить, когда он вернется — если вернется. Он вам понравится — обаятельный человек.

Я снова уехал из Нью-Йорка — мне нужно было покорять свой Северный полюс,— а год продолжал мчаться сквозь лето, а потом и осень. Когда в воздухе запахло ноябрем, я подумал об экспедиции Финнегана с какой-то внутренней дрожью, хотя и не без зависти. Он сейчас, наверное, набивал свою суму добротным товаром, литературным или антропологическим — будет чем козырнуть по возвращении. Но не прошло и трех дней после моей очередной поездки в Нью-Йорк, как я прочитал в газетах, что у группы Финнегана кончились продукты, он и еще кто-то попали в пургу... и Арктика приняла в жертву очередную горстку смельчаков.

Мне было жаль его, но я не без удовольствия подумал о том, что интересы Кэннона и Джэггерса не пострадают. Финнеган не успел еще остыть — не знаю, уместно ли здесь это выражение,— и вопрос страховки они обходили молчанием, но я понял, что страховая компания решила не настаивать на «вызове ответчика в суд» (кажется, на их жаргоне это звучит так), как если бы Финнеган просто упал за борт в океан, и страховку выплатят Кэннону и Джэггерсу.

Когда я сидел в кабинете Джорджа Джэггерса, туда вошел сын Финнегана, приятный молодой человек, и, глядя на него, можно было понять, в чем заключалось обаяние Финнегана — застенчивая прямота в сочетании с подспудно бурлящим вулканом чувств, которому он никогда не давал волю в разговоре, но который выплескивался сверкающей лавой на страницы его произведений.

— Парень тоже не без способностей,— сказал Джордж после его ухода.— Он показывал свои стихи — просто здорово! До отца ему, конечно, далеко, но начало многообещающее.

— А можно что-нибудь почитать?

— Конечно — вот он что-то оставил.

Джордж взял со стола конверт, открыл его и прокашлялся. Потом прищурил глаза и чуть откинулся на спинку кресла.

— «Дорогой мистер Джэггерс,— начал он.— Мне не хотелось просить вас об этом лично...» — Джэггерс замолчал, глаза быстро забегали по строчкам.

— Сколько он просит? — полюбопытствовал я.

Он вздохнул.

— Я почему-то решил, что он принес свою новую работу,— произнес он голосом мученика.

— Это и есть его новая работа,— утешил я его.— Но, разумеется, до отца ему пока далеко.

Позже я корил себя за эти слова — в конце концов Финнеган оплатил свои долги сполна, а сейчас, когда пришли лучшие времена и книги перестали считаться ненужной роскошью, было так чудесно находиться на этом свете. Я знал многих писателей, которые, изрядно намыкавшись в годы депрессии, совершали теперь долго откладываемые путешествия, выкупали закладные и приносили в редакции куда более отточенные рукописи — последнее возможно, если у тебя на это есть время и ты уверен в завтрашнем дне. Я только что получил от мистера Кэннона тысячу долларов аванса — он предложил мне попытать счастья в Голливуде — и собирался улетать, бодрый и полный энергии, как в старые добрые времена, когда, как говорится, в каждой кастрюле было по курице. Зайдя к мистеру Кэннону попрощаться, я с радостью узнал, что и у него дела идут неплохо — он решил обзавестись моторной лодкой и хотел, чтобы я присутствовал при покупке.

Однако в последнюю минуту его что-то задержало, я стал нервничать и решил, что он обойдется без меня. Постучавшись в дверь его святилища и не получив ответа, я вошел без приглашения.

В кабинете я застал небольшой переполох. Мистер Кэннон говорил по нескольким телефонам сразу и одновременно диктовал что-то стенографистке насчет страховой компании. Одна секретарша в спешке надевала шляпу и пальто, собираясь, видимо, бежать по какому-то поручению, а другая выкладывала на стол деньги из кошелька и считала их.

— Минутку, сейчас кончим,— бросил мне Кэннон.— У нас беспорядка не бы-

вает, сами знаете, но сейчас пронесся небольшой ураган. Страховка? Нет, с ней все в порядке. Просто нам срочно нужны несколько сот наличными. Банки уже закрыты, и мы решили скинуться.

— У меня есть деньги, которые вы мне сегодня выплатили,— сказал я.— На дорогу мне столько не надо.— Я отсчитал две сотни.— Хватит?

— Вполне, вполне. Вы нас очень выручили. Мисс Карлсен все в порядке. Миссис Мейпс, никуда бежать не надо.

— Ну, я, пожалуй, пойду,— сказал я.

— Подождите еще несколько минут,— взмолился он.— Мы получили телеграмму, и надо срочно кое-что предпринять. Замечательные новости. Бывают же чудеса на свете.

Телеграмма была из Осло. Полный предчувствия, я начал читать: «Чудом спасен задержан властями срочно шлите деньги проезд четырех человек плюс двести привет того света Финнеган».

— В самом деле замечательно,— согласился я.— Теперь ему будет о чем рассказать.

— Да уж можно не сомневаться,— подтвердил Кэннон.— Мисс Карлсен, пошлите, пожалуйста, телеграммы родителям этих девушек и позвоните мистеру Джэггерсу.

Вскоре мы вышли на улицу, и мистер Кэннон, видимо потрясенный этим чудесным воскрешением, впал в глубокое раздумье. Я не стал прерывать ход его мыслей, потому что все равно не мог от всего сердца разделить его радость — я ведь не был знаком с Финнеганом лично. Мистер Кэннон хранил молчание, пока мы не подошли к дверям магазина, где продавались моторные лодки. Тут он остановился и посмотрел на вывеску у себя над головой, словно понятия не имел зачем мы здесь оказались.

— О, господи.— Он сделал шаг назад.— Сюда нам уже не надо. Я думал, мы идем чего-нибудь выпить.

Мы выпили. Мистер Кэннон все никак не мог очнуться, прийти в себя после свалившегося на него сюрприза. Когда подошло время расплачиваться, он так долго шарил по карманам, что я проявил настойчивость и заплатил за двоих.

Видимо, все это время он находился в шоке, потому что, несмотря на его исключительную аккуратность, двести долларов так ко мне и не вернулись. Тем не менее я склонен думать, что в один прекрасный день наверняка их получу, потому что в один прекрасный день гений Финнегана заявит о себе вновь и читатели кинутся взахлеб читать то, что он напишет,— в этом я убежден. Недавно я интереса ради решил выяснить подоплеку кое-каких историй о Финнегане, и оказалось, что большинство из них — чистое вранье, в частности история с полупустым бассейном. Этот бассейн был полон до краев

Пока что после полярной экспедиции на свет появился лишь один рассказ, любовная история. Тема не ахти какая новая — наверное, Финнеган надеялся найти на полюсе что-нибудь более значительное. Но сейчас Финнеган привлек внимание голливудской братии, и — если только они найдут с ним общий язык — у меня есть все основания полагать, что в конце концов ему повезет. Дай-то бог. ■

ЯН ДЖЕЖДЖОН

Знак

Перевод с польского РЕГИНЫ КОВЕНАЦКОЙ

Я старый. Часто сижу в парке, разглядываю листья на деревьях, а зимой — голые ветки. Есть у меня любимая скамейка. На ней полно всяких надписей, инициалов, сердец, пронзенных стрелой. Время от времени к моим ногам подходят дикие утки — ведь я сижу совершенно неподвижно и только смотрю.

Перед глазами у меня всегда одна и та же картина — деревья, дорожки, а вдалеке люди.

Я сижу и разглядываю их.

Иногда уставлюсь на какую-нибудь ветку и думаю, до чего же она неподвижна. Прямо-таки насыщена покоем.

По дорожке, где моя скамейка, мало кто ходит. Если же и случится кому пройти, я долго смотрю этому прохожему вслед. Думаю о нем, хотя он давно уже скрылся за поворотом, обычно с симпатией, разве что мне нездоровится: тогда я начинаю думать, что дорожка принадлежит только мне, а всякие шастают тут без разрешения Разные бывают у меня минуты, так-то вот.

Нельзя сказать, что моя жизнь богата событиями, но несколько дней назад со мной произошло нечто действительно необычайное. Кто бы подумал, что в мои годы, на этой скамейке, в тихом уголке парка такое может приключиться. Просто трудно поверить. Ну, я понимаю, на ярмарке жизни всякое бывает, но не здесь же, в этом уголке, где я столько лет сижу как пень. С тех пор я сам не свой. Как-то даже присел на другую скамейку, а это уж совсем невероятно. Я не очень-то верю в предопределение, но в этой истории ясно вижу перст судьбы, указующий на меня в моем уеди-

нении. Я это почувствовал, и теперь у меня нет сомнений, что человек, как невозделанная почва, живет себе спокойно, пока вдруг не упадет в нее зерно и не взорвет былой покой. И тогда наступает радостный праздник. Сейчас на моей улице праздник, это я знаю точно. Дикие утки уже не подходят ко мне так близко, видимо, инстинктивно чувствуют, что я взволнован, смотрят только издалека. Я тоже на них смотрю, но думаю уже совсем о другом.

Это было в воскресенье. Сижу, как обычно, задумавшись, смотрю в конец дорожки, и вдруг там кто-то появляется. Летит прямо на меня. Как всегда в таких случаях, я выпрямляюсь, опираюсь обеими руками на набалдашник палки и смотрю прямо перед собой. Чувствую, приближается, уже появился в поле зрения.

Не шевелюсь.

Он шагает как солдат на параде, того и гляди разнесет мою дорожку. Я этого не ожидал, никто никогда не ходил здесь столь стремительно, в парке все располагает скорее к покою. Я был просто поражен, так и подмывало посмотреть на него. Однако что-то толкнуло изнутри: будь осторожен, не поддавайся искушению.

Поэтому я краем глаза жадно следил за этим типом, а сидел так же прямо, как и вначале.

Наконец он подошел.

У меня по спине мурашки забегали. Впервые я испугался: а услышат ли люди мой крик? Услышат, успокаиваю я себя. У меня за пазухой был узелок с деньгами. Я почувствовал, что он меня просто душит, вот уж странно, я ведь никогда не замечал его тяжести.

Когда незнакомец обернулся и направился к скамейке, у меня одеревенели ноги ниже колен. Поворачиваю в его сторону голову и хочу что-нибудь сказать, а может, крикнуть, но моя нижняя челюсть только скачет вверх-вниз. Он садится возле меня и смотрит на эту мою челюсть, потом на шляпу. Я еще удивился, чего это он смотрит на шляпу.

— Тихо тут,— произнес он таким тоном, будто отдал команду «пли!».

— Тихо,— сказал я, но слово сорвалось с моих губ само по себе, без моего участия, я в этом уверен.

— Вы кормите уток? — спросил незнакомец снова так же резко, и я почувствовал себя виноватым, мог бы и раньше догадаться, что уток нужно кормить.

— Нет,— прошептал я смущенно.

— Ну да,— сказал незнакомец,— они ведь дикие.

— Конечно дикие,— ухватился я за это оправдание своей несообразительности. Тут я ощутил взгляд незнакомца на своем плече и подумал, что еще немного — и плечо задымится. Долго мы так сидели, и время от времени я чувствовал на себе его взгляд. Тогда я весь сжимался. Но не решался на него посмотреть, боясь спровоцировать еще какой-нибудь вопрос.

— Вы вчера тоже здесь сидели? — говорит незнакомец.

Я посмотрел ему в лицо. У меня был заготовлен вопрос: «А разве здесь запрещается сидеть каждый день?» Но не сказал ничего. Его лицо выражало что-то совсем иное, нежели голос.

— Я старый, мне здесь очень хорошо.— От этого человека исходило какое-то беспокойство. «На дне его глаз,— подумал я,— заложен динамит. И голос у него странный, резкий, как удар бича». Это становилось интересным.

— Я ищу покоя,— сказал незнакомец. Его карие глаза сверлили меня насквозь.

«Такой взгляд бывает у диких птиц»,— подумал я в тот момент.

— Меня зовут Августин,— говорит незнакомец и протягивает мне руку. Висит эта рука в воздухе, как пшеничный батон, полная, белая. Что поделаешь, протягиваю свою и говорю, что меня зовут Ян. Коснулся я его руки и вздрогнул. Она была теплая, как тельце только что подстреленной утки. «Отчего она такая? — подумал я и поспешил спрятать свою руку в карман, как бы испугавшись, что он еще раз захочет ее пожать.— А какой странный у него нос, длинный, как елка, да еще с красными прожилками». Мой взгляд скользнул по извилистым красным следам лопнувших сосудов. «Прямо-таки притоки, впадающие в одно русло, широкий алый ручей, перейти через который можно, только засучив штанины. На таком носу очки бы носить, точь-в-точь две ледяные горы в багрянце заходящего солнца». От этих мыслей я немного внутренне расслабился. Теперь я понял, что Августин с самого начала хотел чем-то со мной поделиться.

— У тебя, наверное, была интересная и богатая жизнь,— начал Августин.

— У-у, о моей жизни можно рассказывать часами,— ответил я. И вдруг почувствовал, как во мне зарождается симпатия к Августину. Что вызвало ее, пока еще трудно было сказать, но мне уже открылась в нем какая-то глубокая усталость, страх, беспокойство: так рев бурного потока, встретившего на пути горный порог, превращается в тихий рокот. Я начал внимательнее присматриваться к его сутулым плечам, к необыкновенным глазам. На нем было толстое зеленоватое пальто.— У тебя неприятности,— сказал я.

Августин смотрит на меня с минуту и говорит:

— Даже не знаю, можно ли это назвать неприятностями.— Сует руку во внутренний карман пиджака, словно это не рука, а маленький зверек, с которым нужно обращаться бережно. Вытаскивает оттуда продолговатую белую коробку и кладет ее на скамейку. Пальцы его так дрожали, что можно было подумать, он держит в руках реликвию, может кусочек распятия, а может, даже змею, которую лучше не тревожить. Открывает крышку, и я вижу на дне, на тонкой материи длинный черный волос. Смотрю на волос, потом снова на руки Августина.

АНТИРУБРИКА

— Это волос,— говорю.

— Да,— говорит он. Глядит на волос так, будто перед ним открылись врата рая. Будто земля залита водой, а глубокое темное ущелье — этот волос.

— Отчего это у тебя взгляд стал такой телячий? — говорю Августину.— Ничего не понимаю.

— Сейчас все объясню,— говорит Августин.— Я профессор ассирологии. Три дня назад в начале четвертого сижу я в библиотеке, листаю свою книгу и где-то в середине нахожу волос. Может, оно и глупо, но я решил, что это — знак. Судя по длине, волос принадлежал женщине. Однако больше мне ничего не известно. Я не знаю, старая она или молодая, красивая или уродина, примитивная или же возвышенная. Ничего не знаю, Янек, понимаешь? — Августин наклонился ко мне с таким видом, будто решил отгрызть мне ухо.

— А зачем тебе знать? — спросил я его.

— Это знак,— повторяет Августин.— Я был просто потрясен, понимаешь?

— Понимаю,— говорю задумчиво,—но ты ведь специалист по древней истории, удивляюсь тебе.

— Все удивляются! — Августин так заорал, что утки нырнули на самое дно. Сорвался с места и, ломая сухие ветки, завопил на весь парк: — Я не мумия, в древности я ищу отголоски настоящей жизни, я не мумия, понимаешь ты, Янек!

— Я-то понимаю,— отвечаю,— ну и что, для других ты прежде всего ученый.

— Плевал я на это,— рычит Августин.— Посмотришь, я ее найду и приведу сюда, к тебе, к этой самой скамейке, и тогда ты увидишь, кого она нашла, профессора ассирологии или живого человека. Я чувствую, что оброс какой-то паршивой коростой,— продолжает он,— и смотрю сквозь этот свой панцирь как черепаха, но я сброшу его с себя, мне только нужно, чтобы хоть кто-нибудь мне помог.— Августин так размахивал руками, что у него съехала назад шапка.

— А ты лысый,— сказал я автоматически, потому что, если бы хоть немножко подумал, не стал бы этого говорить.

Августин смотрел на меня некоторое время молча, потом опустил голову и сел рядом со своим волосом и рядом со мной.

Мне стало его жаль. Я не знал, чем ему помочь. Он сидел повесив голову, а в его глазах отражались скамейка, белая коробка с волосом и моя палка. «Плохо,— подумал я,— очень плохо». Я вспомнил, что ассирийцы славились своей воинственностью, может быть, он перенял эту их черту, отсюда и панцирь, от которого он не мог избавиться, пока не появился этот волос и не рассыпались наслоения многих лет, не пошатнулся его упорядоченный мир. Я смотрел в его глаза и видел, как рушилась призрачная конструкция, выстроенная за долгие годы. Так иногда гаснет лунный свет, упав в озеро. Так иногда морозным зимним утром умирает осень.

— Что ты собираешься делать? — спросил я Августина.

— Сегодня утром я решил, что сошел с ума,— сказал Августин так глухо, будто голос его, как вечерние испарения, поднимался со дна пруда.— Сегодня утром,— продолжал он,— мне показалось, что этот волос в моей книжке оставила дочь вождя племени Турукку, невестка ассирийского царя Ишмедагана. Это ведь невозможно, правда, Янек? — он повернул голову в мою сторону. В его глазах загорелись безумные огоньки. «В довершение ко всему у него смешались события, происходившие в Ассирии в 1677 году до нашей эры с настоящим временем»,— подумал я. И почувствовал боль в сердце.

— Нет,— говорю,— это невозможно.

Огоньки в его глазах угасают. Мои губы складываются в усмешку. «Нельзя допустить, чтобы она появилась»,— думаю я.

— Посмотри,— говорю,— это живой волос, я чувствую запах его обладателя, чувствую запах подушки, на которой он лежал. Это было недавно, Августин, а ты знаешь, сколько времени прошло с периода царствования Ишмедагана.

— Знаю,— отвечает Августин. «Как ты думаешь, я в своем уме?» — прочитал я вопрос на его умной физиономии.

— Я в этом уверен,— говорю и вижу, что на его лице откуда-то издалека появляется слабая улыбка. Кружит вокруг губ, и только теперь я замечаю, что у него свежие и прекрасно очерченные губы. «Щедра мать-природа,— думаю,— наградила человека таким богатством». Странная, конечно, мысль, но так уж, пришла в голову.

Волос лежал между нами, как лунная дорожка, из которой можно черпать горстями для себя и хватит еще другим, а может и всем. Почти улыбающийся Августин наклоняется над волосом и говорит мне прямо в ухо:

— Послушай, Ян, что со мной приключилось за последние два дня. Я отыскал двух читателей этой книжки. Один из них оказался журналистом, и, когда я сунул ему под нос этот волос, спросив, не его ли, он начал на меня так кричать, будто увидел дохлую крысу. «Почему люди такие скоты,— орал,— я бы себе никогда не позволил говорить с вами о волосах». «А со мной нечего говорить,— отвечаю,— потому что я лысый». «Со мной тоже нечего»,— зарычал журналист и содрал с головы шапку. Он был лысый. Я думал, он меня спустит с лестницы,— добавил Августин,— и вылетел из его дома. Пулей. Понимаешь?

— Понимаю,— ответил я.— Пулей.

— Потом я поехал в деревню: какая-то учительница, дома разводящая свиней, примеряла этот волос, но ее собственные были короче, а все остальное сходилось — и толщина и цвет. Она была явно польщена и представила меня мужу. Он потрепал меня по плечу так, что я до сих пор чувствую. Учительница приглашала приезжать еще, хотя никак не могла понять, чего ради я ношусь с этим волосом. «Профессор — ученый, он знает, что делает»,— изрек ее муж, а она, как покладистая жена, сочла это

объяснение единственным и исчерпывающим.

— И что дальше? — нетерпеливо спросил я.

— Третьей и последней читательницей моей книги была студентка, изучающая ассирологию. Я написал ей и сегодня получил ответ. С утра ношу письмо в кармане и боюсь распечатать. Вскрой его, Янек, прочитай.— И Августин дает мне розовый, аккуратный, запечатанный конверт. Разрываю его своими корявыми пальцами. Раскладываю на коленях белый лист, исписанный мелким, ровным почерком. Буквы похожи на песчинки или на бусинки четок.

— «Уважаемый пан Н.,— читаю.— У меня привычка закладывать книгу первым попавшимся под руку предметом. Иногда это бывает и волос. У меня длинные черные волосы. Мне двадцать лет, я студентка, изучаю ассирологию. Выбрала такое направление, потому что меня увлекла книга одного известного специалиста в этой области. Может быть, именно она и была у Вас в руках. Мне будет очень приятно с Вами познакомиться. Позвоните мне по телефону...» — И дальше был написан номер.

Августин сидел как громом пораженный. Лицо его то бледнело, то краснело. Вдруг он схватил волос и начал его целовать.

— Вот теперь мне кажется, что ты свихнулся,— сказал я.

— Прочитай еще раз, Янек,— попросил Августин.

Я прочитал письмо от начала до конца еще раз, потом еще. Никогда в этом парке так долго не звучал мой голос. Никогда я не проявлял столько активности, как в тот раз. Когда Августин вложил листок в конверт и спрятал вместе с волосом во внутренний карман пиджака, я знал письмо наизусть. Профессор сорвался с места, чмокнул меня в небритую щеку и помчался в том же направлении, откуда пришел. Его высокая фигура мелькнула среди стволов и скрылась за поворотом. «Хорошо, что я прочитал ему письмо»,— подумал я в ту минуту.

С тех пор прошло уже несколько дней; в парке ничего не происходит, но во мне что-то разрегулировалось. Я часто смотрю на то место, где лежал волос, касаюсь рукой скамейки. Только я один знаю, что теперь скамейка, кроме пронзенных сердец и инициалов, таит еще нечто очень для меня важное — удлиненную тень человеческого существования, лежащую рядом со мной в виде волоса той девушки, письмо которой я прочел профессору ассирологии. Я люблю теперь мой парк стократ больше и часто улыбаюсь прохожим, особенно девушкам, которые, по-моему, тоже вполне могли бы быть студентками ассирологии.

■

Венгерские народные сказки

(Литературная обработка Элека Бенедека, Ласло Араня, Дюлы Ийеша и Яноша Баллы)

Перевод с венгерского ЛАРИСЫ ВАСИЛЬЕВОЙ

МЫШИНЫЙ ХВОСТИК

В некотором царстве, в некотором государстве, за синими морями, за зелеными долами жил да был бедный человек. Отправился этот человек со своим сыном пашню пахать. Прошли они первую борозду, сын вдруг как закричит:

— Отец, отец, гляньте, я ключ нашел!

— И в самом деле ключ,— говорит отец,— хорошо бы тебе к этому ключу и сундучок найти!

Ну сказал и сказал.

Пашут они дальше, прошли вторую борозду, потом третью. Сын опять кричит:

— Отец, отец, я и сундучок нашел!

Вытащили они сундучок, вставили в скважину ключ — а он точь-в-точь к замку подошел. Подняли крышку, видят, а в сундучке мышка сидит с коротким хвостиком.

Вот если бы у мышки был длинный хвостик, моя сказка дальше бы продолжалась.

СТАДО ОВЕЦ

Жил да был на свете человек, и было у него большое стадо овец. И вот однажды понадобилось этому человеку перегнать свое стадо через узкий мостик.

Гонит он своих овец, гонит, а стадо большое-пребольшое, мостик узенький-преузенький — небось до сих пор еще всех овец не перегнал.

Подождем, пока перегонит, тогда дальше рассказывать буду.

ИЛОНКА И МИХОК

Было это или не было, да только жила в одном селе вдова со своим невезучим сыном. Вот однажды говорит Михок матери:

— Милая моя матушка, я жениться надумал.
— А кого ты в жены хочешь взять?
— Илонку, милая моя матушка.
— Что ж, ступай, сынок, попытай счастья.

Пошел Михок в дом, где Илонка с родителями жила, и получил в подарок иголку. Шел он шел домой, надоело ему в руках иголку держать, он и воткнул ее в воз сена, что по дороге везли, а сам рядом пошел. А когда к дому подошли, стал иголку искать, весь воз переворошил, да так с пустыми руками и вернулся к матери.

Мать у него спрашивает:
— Где ты был, милый Михок?
— У Илонки, милая матушка.
— А что ты принес ей?
— Ничего не принес, они мне дали.
— А что дали?
— Иголку.
— Ну-ка покажи!
— Я ее, матушка, в воз сена воткнул, искал потом, искал, да так и не нашел.
— Ай-ай-ай, сыночек, не то ты сделал, надо бы иголку в шляпу воткнуть.
— Ладно, в другой раз так и сделаю.

Прошло время. Снова говорит Михок матери:
— Милая моя матушка, я жениться надумал.
— А кого ты в жены хочешь взять, сыночек мой?
— Илонку, милая матушка.
— Что ж, ступай, попытай счастья.

Отправился Михок на смотрины и получил в подарок лемех от плуга. А как домой идти, стал он этот лемех себе на шляпу прилаживать, да только тот никак не хотел на шляпе держаться, то влево сползет, то вправо, даже шею Михоку порезал. Не знал Михок, как ему с лемехом быть, поставил его в угол и пошел домой без подарка.

— Ну, где был, сынок? — спрашивает мать.
— У Илонки, милая матушка.
— А что ты принес ей?
— Ничего не принес, они мне дали.
— Что ж тебе дали?
— Лемех. Уж я, матушка, прилаживал его к шляпе, прилаживал, ничего у меня не вышло, я и оставил его там.
— Не то ты сделал, сыночек мой, положил бы его на плечо да и принес домой.
— Ладно, в другой раз так и сделаю.

Снова Михок разговор заводит:
— Милая матушка, я жениться хочу.
— На ком, мой сыночек?
— На Илонке, милая матушка.
— Ну ступай, попытай счастья.

Пришел Михок в дом к девушке и получил в подарок щенка. Положил он его на плечо и понес домой. А щенок никак на плече сидеть не хочет, все вертится, вырывается, даже кусаться начал. Рассердился Михок и бросил щенка.

— Ну где был, сынок?
— У Илонки, милая матушка.
— Что принес ей?
— Ничего не принес, они мне дали.
— А что дали?
— Щенка маленького.
— Ну-ка покажи.
— Я на плече его нес, а он кусаться начал, я его и бросил.
— Ой-ой-ой, сыночек, не то ты сделал. Тебе бы веревку ему на шею надеть, вести за собой и посвистывать тихонечко да причмокивать.
— Ладно, в другой раз так и сделаю.

И вот снова Михок говорит:
— Милая матушка, я жениться хочу.
— На ком, мой сыночек?
— На Илонке, милая матушка.
— Что ж, ступай, попытай счастья.

Пошел Михок к Илонке и получил в подарок большой окорок. Обвязал его крепкой веревкой и потащил за собой к дому, да еще всю дорогу посвистывал да причмокивал. Собаки не заставили себя долго просить, сбежались со всей деревни; и пока Михок до дому дошел, окорок-то и съели, только косточку оставили.

— Ну, где был, сынок?
— У Илонки, милая матушка.
— Что принес ей?
— Ничего не принес, дали мне большой окорок, да и того нет.

— А эта кость откуда?

— Обвязал я окорок веревкой, потащил за собой, а собаки его и съели.

— Ах, беда, сыночек, не то ты сделал, тебе бы его за спину закинуть и домой нести; а уж дома мы над огнем бы его подвесили — пусть прокоптится.

— В другой раз так и сделаю.

Снова Михок говорит матери:

— Милая моя матушка, я жениться хочу.

— На ком, мой сыночек?

— На Илонке, милая матушка.

— Что ж, иди, попытай счастья.

Пошел опять Михок к Илонке, и дали ему там теленка. Завязал он ему веревку узлом на шее, взвалил на спину, и уж как тот ни брыкался, дотащил все же до дому.

— Где был, сынок?

— У Илонки, милая матушка.

— Что принес ей?

— Ничего не принес, они мне теленка дали.

— А где же теленок?

— Притащил я его на спине да и повесил на чердаке, пусть прокоптится.

— Ой, горе ты мое, не то ты, сыночек, сделал. Надо бы ему веревку на шею накинуть и домой вести, а в сарае к яслям привязать да сенца ему подбросить.

— В другой раз так я и сделаю.

Опять говорит Михок:

— Милая матушка, я жениться хочу.

— На ком, мой сыночек?

— На Илонке, милая матушка.

— Ну ступай, попытай счастья.

Пошел Михок к Илонке, и отдали родители ему девушку. Надел он Илонке веревку на шею да повел домой, приговаривая: «Ну, телушка, иди, иди!» А дома привязал ее в сарае, сена перед ней положил, запер дверь на засов и пошел в дом.

— Ну где был, сынок?

— У Илонки, милая матушка.

— Что принес ей?

— Ничего не принес, они дали.

— Что дали?

— Илонку.

— Так где ж она?

— В сарае привязана.

— Ой, сынок, не то ты сделал. Иди скорей, приголубь, приласкай ее да умасли чем-нибудь.

Взял Михок горшок масла — и за порог. Пришел к Илонке, погладил ее по голове и давай маслом маслить. Илонка, бедная, совсем растерялась, подумала: смеется над ней Михок и убежала домой.

А тем временем гости уже на свадьбу собрались, пошли они с женихом за невестой, помирили их и привели Илонку в дом Михока. А как пир закончился, отвели гости Михока с Илонкой на сеновал и оставили там одних. Не захотела Илонка с Михоком ложиться, вот и надумала: убегу от него, и стала Михока просить, позволь, мол, вниз ненадолго спуститься. Почуял Михок недоброе, привязал Илонке к большому пальцу на ноге длинный шнур и отпустил ее. А Илонка как только во дворе оказалась, отвязала от пальца шнур и привязала его козе за ногу, а сама домой припустилась. Ждал Михок, ждал Илонку, решил поторопить ее и стал за шнур дергать. Михок шнурок дергает, коза мекает. Мать Михока проснулась: что за шум такой, поднялась на сеновал, глядь — один сидит ее Михок.

— А где ж Илонка, сынок?

— Там внизу козой мекает, милая матушка.

— Как так — козой мекает?

— Да принязал я ей шнур к ноге, дергаю за него, а она — ни слова не отвечает, знай только мекает.

Спустилась матушка вниз, посмотрела, куда шнур тянется, увидала козу и поняла все. Опять подняли гостей, опять пошли за невестой, помирили молодых и снова отвели Илонку к жениху. Стали они жить-поживать, до сих пор бы жили, кабы не померли.

ЛИСТ ЖЕЛЕЗА

Жил да был за морем за океаном, а может еще дальше, бедный человек. И было у него три сына. А когда он умер, решили сыновья поделить его имущество, хоть имущества-то было всего один большой лист железа. Не знали сыновья, как его разделить, как разрубить, и решили положить пока в воду, чтобы размякло.

А когда железо размякнет и трое сыновей его поделят, я вам свою сказку дальше рассказывать буду.

◆

Наши гости

Барбара Фришмут

АВСТРИЯ

Принадлежность к определенному поколению многое означает в судьбе писателя. У каждого поколения свой опыт, свой путь, свои поиски и заблуждения, свое лицо Особенно это заметно в юности, когда на штурм литературных высот идут сообща. Не случайно различные литературные школы, группы, объединения собирают, как правило, молодых людей — и распадаются, когда молодые люди достигают творческой зрелости.

В австрийской литературе заметная смена поколений произошла в середине шестидесятых годов. Распалась неоавангардистская «Венская группа», сформировавшаяся в начале пятидесятых, и тут же возникла новая — «Форум Штадтпарк» с центром в Граце. Барбара Фришмут была единственной женщиной в этой группе. Тогда еще никто не знал, что вскоре ей предстояло стать самой известной в современной Австрии писательницей.

В 1968 году вышла ее первая книга — «Монастырская школа», своего рода «Очерки бурсы», воспоминания о детстве, проведенном в католическом пансионе. Этой книгой Фришмут подключалась к плодотворной в Австрии литературной традиции, оставившей целый ряд блестящих произведений («Эвальд Траги», «Пьер Дюмон» и «Урок гимнастики» Райнера Марии Рильке, «Тёрлесс» Роберта Музиля, «День абитуриента» Франца Верфеля). Затем последовали «Истории для Станека» и другие книжки для детей, многочисленные рассказы из современной жизни, в основном о женской судьбе в ситуации «кризиса брака». Лучшие из этих рассказов — «Бабушка и я», «Время читать Чехова», «Дерево забытой собаки», «Ветер на ощупь» — выдвинули Барбару Фришмут в число ведущих австрийских писателей. Успех закрепили недавно вышедшие романы «Мистификации Софии Зильбер» (1977) и «Ами, или Метаморфоза» (1978) — фантастические, полусказочные, «в манере Гофмана», с феями и волшебниками.

Барбара Фришмут впервые приехала в Советский Союз. Для начала мы просим гостью редакции рассказать о том, как она пришла в литературу.

— *Трудный вопрос. Вероятно, ответ на него сидит в подсознании. Оттуда вдруг однажды приходит импульс, мощный толчок: не могу не писать. Я училась на филологическом факультете, когда это произошло. Изучала тюркологию и унгаристику, несколько семестров провела в Турции, в Эрзеруме и в Будапеште. Может быть, сказался избыток впечатлений. А может*

быть, корни писательства лежат еще глубже — в детстве. Я родилась и выросла в Бад Оссе, есть такой курорт в Альпах. Очень модный курорт, издавна облюбованный писателями. Здесь часто бывали Гофмансталь и Шницлер, подолгу жил Герман Брох. Здесь он и был арестован в 1938 году гестапо и несколько месяцев провел в тюрьме, откуда его вызволил Джеймс Джойс. В послевоенные годы здесь бывали многие известные австрийские писатели. Неподалеку, в деревушке Ольсдорф, живет Томас Бернгард[1]. *Словом, здесь все кажется пропитанным литературой, сама атмосфера словно дышит ею. И здесь с детства воочию видишь, что горшки обжигают не боги, что писатели такие же люди, как ты.*

— И как проходил ваш литературный дебют?

— *Условия для старта в Австрии шестидесятых годов были не самые лучшие. Культурная политика страны была ориентирована прежде всего на подновление и подкрашивание традиционных театральных и музыкальных фестивалей — это в конце концов приносило валюту. Издательства захирели, многие писатели эмигрировали. Рассчитывать в этих условиях на издателя юному автору не приходилось, если только он не желал приспосабливаться к позавчерашним представлениям вчерашнего мира и не соглашался «вести себя незаметно». Но у нас, как, вероятно, во всякой маленькой стране, где все писатели или претенденты в таковые неизбежно знакомы друг с другом, возникают иные возможности для самореализации — в виде публичных чтений или стихийных журналов, организуемых то и дело рождающимися литературными объединениями. Мне посчастливилось оказаться в объединении, деятельность которого оказалась особенно плодотворной. Это — «Форум Штадтпарк» в Граце, объединение, давшее таких ныне известных писателей, как Петер Хандке, Вольфганг Бауэр, Герхард Рот, Петер Розай. У нас был свой дом, где мы могли собираться, спорить, устраивать чтения и представления. Там же вышел первый номер «Манускрипте» — теперь одного из самых авторитетных журналистов Австрии. Вот уже пятнадцать лет его неизменно выпускает, мужественно и, я бы сказала, виртуозно борясь с финансовыми трудностями, Альфред Коллерич, сам известный писатель.*

— Теперь, по вашему мнению, ситуация изменилась, возможностей публиковаться больше?

— *Да, можно сказать, что писатели моего поколения и читающая австрийская публика сделали шаг друг к другу. Писатели перестали видеть самоцель в языке и формальных экспериментах, обратились к жизни всей страны, к истории, преломившейся в судьбах отдельных людей. Показательной в этом смысле я считаю повесть Петера Хандке «Несчастье без желаний»*[1] *— самое известное его произведение. Да и читатели наши поняли, что чтение — тоже творчество, сотворчество, которое требует от человека большей духовной активности, чем телевидение, например. А что до возможностей публиковаться, то помощь, как это нередко бывало в Австрии и раньше, пришла извне. Нас стали охотно печатать западногерманские издательства. Некоторые из них начали даже настоящую охоту за юными австрийскими талантами. Это привело к тому, что изменилось отношение к нам и в самой Австрии. Ныне у нас свое любимое издательство с определенной литературной программой и достаточно строгим качественным отбором, так что напечататься в нем почетно для любого писателя. Это — «Резиденц-ферлаг» в Зальцбурге.*

— Значит, можно говорить об оживлении литературной жизни в Австрии наших дней?

— *Да, безусловно. И об этом свидетельствует не только количество и качество книжных изданий, но и заметный подъем журнального дела. Многие произведения, прежде чем увидеть свет в форме книги, проходят теперь апробацию в журналах. Помимо названного мной «Манускрипте», это прежде всего выходящий в Вене дважды в год толстый журнал «Протоколле», знакомящий также с новинками музыки и изобразительного искусства. Более теоретическим представляется журнал «Литература унд критик», однако и в нем нередко печатаются новые стихи, рассказы и переводы. То же самое можно сказать о журнале «Пестзойле», издающемся также в Вене. Свой отчетливый профиль у новейшего из крупных журналов «Веспеннест», объединяющего социально «ангажированных» авторов, которые стоят на марксистских позициях. Один из постоянных авторов этого журнала, Михаэль Шаранг, вам знаком, он был гостем «Иностранной литературы».*

— Можно ли, опираясь на теперешний подъем литературы в Австрии, яснее представить себе и определить специфику австрийской литературы?

— *Это поистине один из «проклятых» вопросов, вызывающий на протяжении нашего века множество споров и дискуссий. И до сих пор нельзя сказать, что вопрос этот решен. Ведь пишем мы по-немецки, хотя некоторые из нас и уснащают свою художественную речь «аустриацизмами», за что нам потом попадает от немецких критиков. После недавнего успеха австрийских авторов в ФРГ вновь встал вопрос о том, существует ли австрийская литература. Злые языки иногда утверждают, что австрийская литература — это то, что на-*

[1] О творчестве Т. Бернгарда см. «ИЛ» № 8, 1978.

[1] Рецензию на эту повесть см. в «ИЛ» № 6, 1978.

писано уроженцами Румынии (Пауль Целан), Болгарии (Элиас Канетти) или Германии (Петер Хандке), в Париже, Лондоне или Берлине. А австрийского в этих авторах будто бы лишь то, что они долгое время жили в Австрии. Это, конечно, не так. Все мы чувствуем себя австрийскими писателями, чувствуем особый общественно-политический и психологический климат своей страны. Можно указать черты австрийского в каждом отдельном произведении литературы, но чрезвычайно трудно отыскать какие-то глобальные и в то же время точные критерии. Да и потом это задача германистики. А я лишь тюрколог, да и то бывший.

— Приходилось ли вам переводить с турецкого?

— Приходилось, и я делала это с большой охотой. В турецкой литературе сейчас немало произведений на деревенскую тему, внешне бытописательских, но по сути поэтичных: я могла бы сравнить их с прозой Валентина Распутина, которого недавно с удовольствием прочла. Аналогичные процессы происходят и в венгерской литературе, с которой я также хорошо знакома.

— А кого из русских писателей вы любите?

— Самая большая моя любовь — Чехов. Думаю, что это любовь на всю жизнь.

— Фантастические превращения и приключения в ваших последних романах напоминают «Мастера и Маргариту» Булгакова. Знакомы ли вы с этим произведением?

— Да, я прочла его, когда мне указали на это сходство. Но, по правде говоря, роман несколько разочаровал. Так часто бывает, когда слишком многого ждешь от встречи — с человеком или книгой.

— Вы и в дальнейшем намерены писать романы?

— Да, хотя не обязательно фантастические. Следующий роман будет, вероятно, из современной жизни. Вообще в истории австрийского романа в последние десятилетия наблюдалась, на мой взгляд, большая пауза. Собственно, последний по-настоящему великий роман, который я знаю, это «Человек в камышах» Георга Зайко, вышедший в 1955 году. Ему принадлежит также и еще один значительный роман «На плоту». Странно но ни в самой Австрии, ни за ее пределами эти романы не особенно известны. Я думаю, что их время еще придет. Наиболее значительный австрийский роман последних лет — «Корректура» Томаса Бернгарда (1975). Двадцать лет, мне кажется,— достаточный срок, чтобы накопить мужество для нового открытия большой формы.

— Означает ли, по вашему мнению, смена поколений в австрийской литературе также и изменение проблематики романа? В частности, тема «преодоления прошлого», кажется, исчезает из романа последних лет?

— Иногда нас, молодых австрийских писателей, упрекают в том, что мы мало занимаемся в своем творчестве тем прошлым, которое именуют «темным». Но ведь большинство из нас пережило это прошлое в детском возрасте или вообще не пережило. Когда мы росли, царило великое молчание. Большинство из нас только юношами и девушками узнали, что на самом деле произошло. Шок от узнанного обошелся многим из нас в доверие к родителям. Однако я не думаю, что наша задача состоит в том, чтобы писать о Гитлере и концлагерях и вообще вести себя так, как будто мы — лучшая порода людей, чем те, что жили тогда. Ведь никто из нас не в состоянии доказать, что повел бы себя мужественнее, умнее или человечнее, просто нам выпало счастье не оказаться в той ситуации. Я думаю, наша задача скорее в том, чтобы распознавать ростки фашизма в современной жизни. У нас есть для этого могучий инструмент — язык, в котором ведь и происходит манипулирование общественным сознанием, ведущее в определенные моменты истории к таким явлениям, как национал-социализм. Выявлять и пресекать эти явления в зародыше — к этому нужно стремиться.

— Вдохновляет ли ваше творчество определенная цель, или оно скорее спонтанно?

— Конечно, писательство для меня прежде всего самотерапия. Но оно невозможно и без контакта с читателем, без взаимодействия с ним. Петер Хандке как-то сказал, что хотел бы своими книгами сделать читателя более чутким к слову, в частности научить его распознавать фальшивое слово, определять бесчеловечность по ее человеконенавистническим формулам. Я думаю, под этими словами Хандке подписался бы любой австрийский писатель моего поколения и я в том числе. Насколько это нам удается, судить не нам. Что до моего скромного опыта, то советский читатель скоро получит возможность судить о нем — в издательстве «Художественная литература» выходит мой роман «Мистификации Софии Зильбер».

Ю. АРХИПОВ

Фото А. РИКЕЛЬМАНА

◆

Среди книг

Издано в СССР

КОГДА ЧЕЛОВЕК НЕ ОДИНОК

ВЕСЕЛЫЙ И ГРУСТНЫЙ РАДИЧКОВ

Йордан Радичков. Повесть «Все и никто», рассказы из сборника «Пороховой букварь», «Воспоминания о лошадях» и другие новеллы. Перевод с болгарского. Составитель Н. Н. Пономарева. Предисловие А. М. Зверева. Редактор И. Н. Марченко. Москва, «Прогресс», 1979.

На русском языке вышел том произведений одного из самых известных, но и самых трудно переводимых болгарских писателей Йордана Радичкова. Начавший с лирической прозы, Й. Радичков был сразу радушно встречен критикой. Однако после первых же сборников рассказов («Сердце бьется для людей», «Простые руки» и других) в творчестве молодого писателя происходит резкий поворот. Как бы отрицая поэтику первых своих произведений, он, ко всеобщему удивлению, превращается из лирика в сатирика, точнее сказать юмориста.

Непривычный для болгарской литературы, сложившийся неожиданно, оригинально и самовластно, стиль Радичкова, в шестидесятые годы вызывавший страстные баталии, сейчас оценен по достоинству. Теоретики литературы единодушно признают, что «пародийное», «многоголосое», «многооттеночное» слово, введенное им в болгарскую литературу, как нельзя более подходило для отражения процесса превращения крестьянина в горожанина, специфического в болгарских условиях.

В ярмарочном круговороте, в самых разнообразных ипостасях проходит по страницам рассказов Радичкова болгарский крестьянин, мучительно расстающийся со старым укладом, пытающийся внести в современность хоть что-нибудь из своей живучей патриархальности. Выхваченный из действительности, этот типаж, мастерски воспроизведенный в форме гротеска, приобрел отмеченную критикой «марионеточность» и вместе с тем такую национальную характерность и узнаваемость, что болгарский читатель весело и без обиды узнал себя в радичковских героях, и даже критика честно признала: «Радичков — это все мы, прощающиеся с вековыми наслоениями в психике, сбитые с толку, обескураженные грозным наступлением техники». Появившиеся в шестидесятые годы сборники рассказов («Свирепое настроение», «Козлиная борода», «Кожаная дыня» и другие) принесли писателю славу проницательнейшего карикатуриста. Впрочем, карикатуры его весьма необычны. Теплый колорит, атмосфера авторской симпатии, окружающая эксцентричных, но наделенных своеобразным обаянием героев, выдают затаившегося лирика.

Да и у «марионеточных» его героев из их навязанной обстоятельствами комической внешности часто проглядывает «внутренний человек», исполненный юмора, смекалки — цивилизация в мире Радичкова также «испытывается» скептической крестьянской ухмылкой и метким народным словцом,— а то и поэзии. Во времена великих народных битв этот «внутренний человек» способен, прорывая внешнюю оболочку извечной крестьянской инертности и боязливости, определить свое место в исто-

рическом ходе времени, во имя справедливости пойти на самопожертвование, как это случается с забитыми и, казалось бы, на задворках истории проживающими крестьянами из сборника рассказов «Пороховой букварь».

Обратившись к теме антифашистской борьбы, Радичков сумел показать сложную и драматическую эпоху «порохового времени» в неожиданном ракурсе, обнаруживая проявления героического в каждодневном, заурядном, бытовом. Сборник — рассказы его плотно слиты друг с другом и представляют как бы отдельные главки своеобразной «азбуки» приобщения отсталых слоев крестьянства к историческому опыту своего народа — стал книгой о всенародности антифашистского Сопротивления в Болгарии и был удостоен Димитровской премии.

В последнее время радичковский герой освобождается от комических одежд, становится все серьезнее, приобретая «черты социально активной личности»,— критика, сетовавшая иногда на «безгеройность» радичковской прозы, отметила это в связи с выходом в свет повести «Все и никто» (1975). Собственно, настоящий «новый герой» и не мог сразу появиться у Радичкова — новое «прорастает» в его книгах из глубинных, взрыхленных историей пластов народного сознания.

В повести «Все *и* никто» — действие ее происходит в первые послевоенные годы — читатель сразу же попадает в уже знакомое «многолюдство» радичковского мира, погружается в обычную радичковскую «суматоху» — это название одной из его пьес (Радичков — оригинальный драматург, известный и за пределами Болгарии) и важная категория его художественного мира, давно принятая критикой в качестве емкого определения бушующей на страницах книг писателя «стихии превращений и смещений», порожденных резким столкновением патриархальности и современности.

Герой повести Иван Мравов по самой должности своей — он сельский милиционер — призван разбираться во всей этой сутолоке, со всем этим хитроумным и лукавым народцем, который, хотя и принял свою народную власть вполне искренне, все же так и норовит протащить в новые времена некоторые прежние излюбленные повадки. Сам Иван в отличие от многих своих земляков, ясно осознает и внутренний смысл, и конечную цель свершающихся перемен. Для него «суматоха» — не «пестрый хоровод карнавальных масок», как это казалось иногда читателям и критикам Радичкова, а непрерывная, разные формы принимающая борьба за новое, «его видимый и невидимый фронт».

На этом фронте Ивану и суждено погибнуть, ибо главное его дело — расследование загадочного преступления: убит и ограблен возвращавшийся из города с крупной суммой денег крестьянин (детективная интрига звучит здесь порой иронически и в то же время придает повести бо́льшую сюжетную сосредоточенность, чем в иных крупных вещах писателя). Убийцей оказывается молодой парень Матей, ровесник и друг Ивана, «свой человек в милиции». Легкомысленный красавец Матей, неожиданно для окружающих, да, пожалуй, и для себя, делающийся убийцей, человек, очень легко усвоивший внешние приметы нового и столь же легко расставшийся со старым, например с привычкой к крестьянскому труду,— образ по-своему не менее яркий, чем Иван Мравов. Это тип человека, со старого корня съехавшего, а к новому не приросшего, утерявшего нравственные ориентиры и потому оказавшегося легкой добычей для низменных страстей и соблазнов жизни. Поняв, что Иван его выследил, Матей убивает и своего друга.

Несмотря на трагический исход, правда и перевес на стороне совестливого и доброго Ивана Мравова, соединившего в себе вековой нравственный опыт родного крестьянского мира с революционной преданностью новым идеалам. На его же стороне симпатии и любовь — это особенно ощутимо в сцене похорон Ивана — обитателей «космоса Радичкова», трудно, но неуклонно приобщающихся к новой жизни, за которую погиб Иван Мравов.

Последний сборник рассказов писателя «Матрешки — шесть маленьких, одна большая» (1977) наводит на мысль, что Радичков сворачивает свой так полюбившийся публике раек, «загадочное» и прежде неуловимое авторское лицо приоткрывается из-под маски раешника. Как ни странно, оно оказывается серьезным, полным тревоги и отчасти знакомым — «лирическим». Шесть рассказов сборника (советский читатель познакомится с двумя из них — «Еруслимки» и «Змеиный снег»), объединенных общей темой связи человека и природы, чем-то напоминают раннего Радичкова, романтически утверждавшего эстетику старой деревни. Гармоническое разнообразие слитой с природой сельской жизни предстает в поэтических и вместе с тем доскональной конкретных картинах. Герои, обретающие бо́льшую реалистическую конкретность и психологическую насыщенность, даны через взаимоотношения с природой, и сами они являются как бы непосредственным ее продолжением, как, например, «похожий на редкую птицу» охотник Панко («Деревянный крюк»). Выясняется при этом, что радичковские персонажи владеют не только комическим языком, но и языком поэтическим, живописным, нестертым, языком народной мудрости, по-своему отвечающей на главные вопросы бытия. Так говорит старый Лазар («Дурман-трава»), осмысляющий свою жизнь, расцвеченную волшебными преданьями и поверьями, которыми было пропитано его детство.

Фантастика очень часто у Радичкова выступает как фантазия, как неискоренимая потребность народа в красоте, в «праздничном мире» поэтических легенд. Комическим вариантом типично радичковского фантазера выглядит Йона Мокрый

Валах, переходящий из рассказа в рассказ неистощимый выдумщик,— на каждый случай жизни у него припасено юмористически-мистическое объяснение, под каждым кустом он надеется высмотреть хоть какую-нибудь заваляшего лешего для пущего оживления обыденно-скучного порядка вещей. В рассказе «Ерусалимки» мы видим Йону, мечтательно любующегося — как собственным недалеким будущим — изображением «наивного и привлекательного» ада на стене заброшенной монастырской обители. К богу Йона относится так же благожелательно и добродушно, а ввиду нынешнего его незавидного положения даже сочувственно, как к чертям и русалкам. Признанный знаток народной психологии, Радичков остроумно и метко передает эту своеобразную трансформацию исконного болгарского безбожия в народном сознании.

Тревожной тональностью выделяется в сборнике рассказ «Змеиный снег», героем которого выступает сам автор, бродящий по родной земле. Она представляется ему «шипящим животным, которому наступили на горло». Если в стилистике других рассказов авторская мысль, сливаясь с размышлениями героев о природе, окрашивается крестьянским оптимизмом (вполне в духе радичковских персонажей с обнадеживающим юмором природа уподобляется мешку из-под муки — «сколько его ни тряси, все что-нибудь да останется»), то в «Змеином снеге» несколько апокалиптический, но удерживающийся на грани правдоподобия подбор деталей выражает острую тревогу человека, реально сознающего не только блага, но и опасности цивилизации.

Написанные твердым, явно сложившимся в своей специфичности почерком, «Матрешки...» свидетельствуют о глубокой внутренней закономерности творческого пути Радичкова, какими бы неожиданными ни казались иногда его повороты. Чтобы перейти к обобщению своих богатых и метких наблюдений над меняющей свое лицо деревней, писателю, видимо, было необходимо пропустить ее через испытание смехом, чтобы серьезнее, весомее прозвучало утверждение выдержавших суровую проверку качеств народного характера — таких, как любовь к природе и забота о ней, человечность, здравый смысл, согласие в поступках и мыслях, самостоятельность суждений, богатое воображение, творческое отношение к труду.

Этими качествами наделяет он своего Левшонка из вышедшего в том же 1977 году романа «Праща», они составляют сущность его молодого героя, навсегда покидающего деревенский мир, который ощущается им как «преодоленный», «изжитый», мешающий духовному росту, отсюда явствует, сколь далек Радичков от идеализации старого сельского уклада. Не случайно, однако, заголовком этого романа, романа о прощании с прошлым миром старой деревни, писатель делает название первобытного оружия, символизирующего (разумеется, это лишь одно из возможных толкований многозначной метафоры) непреходящую ценность некоторых «древних» человеческих качеств.

Для Йордана Радичкова, творчество которого проникнуто духом импровизации и артистизма, придумано много разных определений, по большей части лестных. Наиболее распространенное — «столикий Протей». Что касается вместимости художественного духа писателя и многообразия используемых стилистических средств, это сказано удачно, и сборник, вышедший на русском, дает представление о «протеистичности» его манеры: философски насыщенные «Воспоминания о лошадях» или трагически-напряженное «Последнее лето» соседствуют в нем с безудержно веселым и озорным «Ежом».

Представляется, однако, что у этого «Протея», и раннего и позднего, и веселого и грустного, есть постоянный «лик» с неизменным выражением любви к своим героям. Это и любовь мастера к своему материалу, изученному им в мельчайших подробностях и свойствах,— Радичков не только знает и любит повадки своих персонажей, он может занимательнейшим образом рассказывать о технологии приготовления трута для огнива, его книги можно использовать и как увлекательный справочник по фауне и флоре Болгарии. Но это также — что может быть еще важнее — и широкое, родственное сочувствие жизни, то, что придает произведениям этого, казалось бы замкнутого в национальном, писателя общечеловеческое значение,— недаром такой интерес испытывают к нему зарубежные читатели. В «Змеином снеге» есть такие авторские слова: «Я считаю, что в этом... мире есть нечто большее, чем сам мир... как и каждый человек больше нашего представления о нем, как и лицо каждого человека, как и лицо самой земли».

Эта же мысль звучит и в интервью Радичкова, которое взял у него по просьбе «Иностранной литературы» болгарский критик и журналист Атанас Свиленов.

Н. СМИРНОВА

РАЗГОВОР С ПИСАТЕЛЕМ

Атанас Свиленов. В Советском Союзе вышел представительный том ваших произведений. Причем вышел он в серии известных мастеров современной мировой прозы. С какими чувствами встречаете вы это издание?

Йордан Радичков. Я глубоко взволнован. Впервые на русском языке выходит моя книга, подбор которой сделан так, что мое творчество показано с различных сторон.

Я имею особую слабость к России, к Советской стране. Впервые я побывал там в 1959 году. Я попал в Москву в декабре ме-

сяце, когда самым теплым местом было метро. Оно поглощало все — людей, снег, зимние вихри, белые очереди... Спускающихся вниз принимали эскалаторы — впервые в жизни я видел такие бесконечные эскалаторы, перемещающие огромные толпы народа. Одних — в глубь земли, других — в обратном направлении. Впервые в жизни я видел такой огромный, заснеженный город, впервые сталкивался с такими масштабами, с такими огромными человеческими массами. Все это произвело на меня невероятно сильное впечатление, крепко запало в память. Прежние мои представления были почерпнуты или из литературы, или из кино. А все оказалось гораздо масштабнее и, главное, гораздо снежнее и севернее.

Тогда, после этих первых сильных впечатлений, у меня зародилось огромное желание при возможности осуществить такую поездку, чтобы захватить побольше зимы, севера и снегов этой страны. И потому, когда в 1963 году по линии связей между писательскими союзами мне предложили двухмесячное пребывание, главным образом в Москве и Ленинграде, я попросился на более, так сказать, открытые просторы, попросился в Сибирь. Мне не хотелось пролеживать простыни московских и ленинградских отелей, и еще у себя дома, тайком, я заготовил программу своего предполагаемого путешествия. Это было самое впечатляющее путешествие в моей жизни, хотя и после этого я немало поездил. Результатом этой поездки стала книга «Неосвещенные дворы».

Нигде после этого я не встречал людей, так широко скроенных. Меня тогда очень занимала проблема гуманизма, не потому, что она была в «моде»,— это тема, которая всегда в «моде», всегда в центре разговоров, это задача задач, как бы громко это ни звучало. Горький назвал литературу «человековедением», и другого, в сущности, быть не может. Как мещанин одержим «вещеманией», так писатель одержим темой человека.

В одной своей книге я отмечал, что в нашей вроде бы теплой Европе, в наших теплых Балканах я мерз больше, чем там, в Сибири, во время моей поездки. Холода я там не чувствовал! Ни в чем! Какие-то особенные не похожие на других люди, при встрече с подобными людьми возникает такое чувство, словно беседуешь с самим богом. У нас этого не случается — может быть, потому что мы живем слишком густо, слишком тесно. Нам ни на что не хватает времени. Может быть, от скученности человек немножко нам надоел. И мы общаемся с ним как-то по-дежурному, все становится механическим — приветствия, вопросы: «Как поживаете? Что поделываете?» — «Спасибо, неплохо. А вы как?» — «Да так себе» и т. д. То же самое и с телефонными разговорами. Вообще мы двигаемся как-то механически, как заведенные игрушки, и разговариваем чуть ли не автоматически, не вкладывая в сказанное никаких эмоций. Для меня же человек в первую очередь — существо эмоциональное, а уж потом интеллектуальное. И по сей день я стараюсь сохранить в себе прежде всего эмоциональное отношение к миру и к отдельному человеку.

Вот и сейчас, когда мы говорим по поводу моей вышедшей в Советском Союзе книги, у меня это вызывает множество эмоций. Потому что я познакомился с частью этой огромной страны, сохранил о ней глубочайшие воспоминания и буду хранить их до конца жизни. Эти впечатления как след от алмаза, как след от его резца по стеклу — такие нестираемые алмазные линии остались в моем сознании.

Если книга зарубежного писателя издается в какой-либо стране, он становится чем-то вроде подданного — хотя бы наполовину — этой страны. Я происхожу из маленького народа, маленькой страны, занимающей — если так можно сказать — пядь земли, но если в качестве писателя меня издают в другой стране. то — благодаря другому языку — моя территория расширяется, расширяется мое гражданство. Так писатель, будучи гражданином Болгарии, становится при этом наполовину гражданином Советского Союза... Для меня это чрезвычайно существенно. Я вспоминаю слова Сарояна, который был нашим гостем во время Второй международной встречи писателей в Софии. Когда ведущий с телевидения спросил его — человека все-таки пожилого,— почему он так много путешествует и чего он ждет от своих путешествий, Сароян ответил, что таким способом он проверяет художественную силу и прочность книг, которые он пишет. И если он находит сомышленников, если его книги встречают теплый прием в различных точках планеты, он убеждается, что он прав, и это не может его не радовать.

С другой стороны, я очень взволнован тем, что книга моя выходит в серии, составленной из сорока томов современных мировых писателей. Для меня это слишком высокая честь. Я говорю это не для демонстрации своей скромности, а вполне искренне. Для меня это большая неожиданность. Я думаю, советские люди проявили свое традиционное, слишком хорошее отношение к Болгарии и к перу болгарского пишущего человека.

Анатас Свиленов. Поскольку я являюсь все-таки стороной более объективной, то считаю, что вы этого внимания достойны.

Йордан Радичков. Если и достоин, то лишь благодаря тем плодотворным тенденциям, которые проявляются в современной болгарской литературе. И поскольку мое творчество, как говорят критики, отмечено этими тенденциями, этими новыми литературными веяниями, мне и удалось попасть в объектив. Я принадлежу к талантливому поколению, и я не один в этой, так сказать, упряжке, в ней занято много коней.

Должен признаться, что выход моей книги в этой серии, на русском языке, мой выход к советскому читателю меня даже смущает. Подобный том уже сам по себе обязывает. В литературе ведь не так, как

в спорте — натягивается лента на высоте двух метров, и все стараются ее перескочить. В спорте сразу видно, кто берет высоту, а кто нет. Книга же такая вещь, которую трудно оценить сразу, хотя и считается, что с каждым годом мы делаемся все просвещеннее и проницательнее. В наше время много глаз — и с разных сторон — следит за каждым явлением, даже самым мелким, в области духовной жизни любого народа, страны или общества. И несмотря на это, чуть ли не каждый день убеждаешься, сколько ты упустил, сколько значительных фактов ускользнуло от твоего внимания. Вот, например, на днях мы говорили с женой о том, с каким большим запозданием открыли для себя Василия Шукшина, этого самобытного и сильного писателя. А мы вроде люди интеллигентные и именно его-то не должны были просмотреть, потому что это явление, которое само по себе — средоточие многих направлений, своеобразное их скрещение. Творчество Шукшина — своего рода синтез различных искусств: и прозы, и драматургии, и сценаристики, и кинорежиссуры, и актерского мастерства. В нем были задатки так называемого ренессансного человека, к чему все мы стремимся.

Мы, интеллигенты, также пытаемся сохранить что-то от ренессансного духа. К сожалению, хотя мы и должны были бы быть примером для своего народа, а в мировом масштабе — для всего человечества, мы все еще очень далеки от этого. Для меня в современном мире моделью ренессансного человека в его изначальном виде является человек простой. Простой человек может построить дом, облагородить лозу и сделать из нее вино, может заколоть поросенка, сработать ткацкий станок для своей жены, которая на нем будет трудиться, он способен стачать обувь для всего своего семейства. При этом он может спеть и сплясать. А мы уже и петь разучились, только слушаем магнитофонные записи да грампластинки. Простой человек знает толк в метеорологии. Он может предсказать, когда погода испортится, а когда улучшится. Он должен знать это. Он очень ловок, у него руки, пальцы натренированы до совершенства. Он может ссучить и сделать веревку, завязать и развязать узел, он простыми ножницами может остричь своих детей. Как многое он умеет! Сделать мельницу, смолоть муку и хлеб замесить, если нужно... А кто из нас сейчас сможет сделать себе кровать или стол? Да ведь теперь в магазинах продаются машинки даже для резки хлеба! И для резки лука. Мы делаемся все более и более неуклюжими, неловкими, мы начинаем терять что-то существенное, отдаляться от самих себя. Надо всегда придерживаться того, что называется работой рук, работой ума, работой сердца. В этом и состоит естественная человеческая гармония.

Атанас Свиленов. Видимо, поводом для этих размышлений послужила отчасти и проза Шукшина?

Йордан Радичков. Может быть, может быть... К тому же при упоминании его имени мне сразу же вспоминаются традиции русской и советской литературы, в которых воспитан советский читатель. Предложить такому читателю свою книгу представляется мне дерзостью. Я знаю лучшие образцы этой литературы и не могу не отдавать себе отчет, что вкус советских читателей сформирован такими колоссами слова, как Достоевский и Гоголь, Тургенев и Толстой, Чехов, Бабель, Фадеев (в «Разгроме»), Леонов... Трудно заинтересовать такого читателя и удовлетворить его высокие требования. И все-таки я думаю, что самый благодарный читатель в современном мире — это советский. И я не могу не радоваться, что мне предоставляется возможность общаться с ним. Понравится ли ему моя книга, ее подбор, еще неизвестно, однако для меня сам факт ее издания — событие исключительное. Я достаточно поездил по миру и нигде не видел, чтобы читали так массово — все, в любых слоях населения — и чтобы читали так страстно. И чтобы так ценили книгу, так уважали писателя. В Советском Союзе на литературные чтения ходят так же, как, скажем, в Милане ходят в оперу.

В заключение я хочу поблагодарить издательство и всех, кто вложил в мою книгу свой труд и свои нервы, и особенно хочу поблагодарить переводчицу Нику Глен. Я очень рад, что болгарская литература имеет в лице Ники Глен настоящего патриота. Через ее руки прошло много болгарской прозы, и я надеюсь, что так будет и впредь. Она человек точный в своих оценках, бескомпромиссный, как друг, и очень скромный.

Атанас Свиленов. Книга вышла в Советском Союзе, на русском языке, но благодаря тому, что это язык мировой, она, возможно, проникнет и за пределы Советской страны. Что вы можете сказать на это?

Йордан Радичков. Разве это не прекрасно: писатель, погруженный в одиночество, сидит в своей комнате и работает, то есть пишет, или же пьет кофе и курит, потому что работа не идет, а в этот самый момент его книжка отправляется в путешествие по Москве, а может быть, попадает в ранний поезд, отправляющийся на восток, в Сибирь, или на юг. Может быть, она будет странствовать на пароходе — по Волге, Енисею или Ангаре. Мы все знаем, что труд писателя — это труд, которым занимаются в одиночестве, и вдруг оказывается, что замкнутый в своем одиночестве писатель является одновременно человеком общественным. Вот сейчас я посиживаю себе в Софии, а моя книжка где-то путешествует, колесит по необъятной Советской стране. И может, она тихонечко постучится в чью-то дверь, может, ее возьмет в руки незнакомый мне человек, человек из другой страны, у которого совсем другие традиции и другой литературный вкус, но который знает русский, и, может

быть, он заинтересуется моей книжкой и начнет ее читать. Где-то очень далеко совершенно незнакомый мне человек может стать моим единомышленником. Прекрасно, когда оказывается, что человек не одинок. Где-то на другом конце планеты, отделенном от тебя многими часами, днями и неделями пути, твоя книжка может занять место на полке в чьей-нибудь скромной домашней библиотеке. Ее возьмет в руки и перелистает человек, который захочет проверить, способен ли далекий и незнакомый ему писатель затронуть его душу. Вот в этом и состоит самое прекрасное, когда твою книгу переводят на другой язык.

Издано за рубежом

ГНЕВНОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА

Volker von Törne. Kopfüberhals. Berlin, Klaus Wagenbach, 1979.

Фолькер фон Тёрне. Копфюберхальс. 1979.

Западноберлинский поэт Фолькер фон Тёрне принадлежит к поколению, чьи детские годы прошли в черную пору нацистского господства. Он родился в 1934 году и, по его собственным словам, получил множество «незабываемых» впечатлений — факельные шествия, речи фюрера, горящие синагоги, вопли «зиг хайль», бомбежки, ночи в бомбоубежище и под конец — горящие города, развалины, «страх и снова страх». События недавнего прошлого надолго определили жизнеощущение поэта. Тема ненависти к фашизму и милитаризму, злая издевка над неисправимыми, не пожелавшими сделать выводов из уроков истории, над реваншистами и реакционерами всех мастей, пытающимися вновь увлечь немцев на опасный, чреватый катастрофами путь, прочно войдет в его творчество, будет повторяться в различнейших поэтических вариантах, неизменно сохраняющих силу и выразительность сатирического обличения.

В раннем стихотворении «Вопрос» мотив этот найдет предельно лаконичное и четкое выражение: «Дед мой шел умирать на запад. Отец — на восток. А мне в какую сторону?» Позднее, комментируя и поясняя эти строки, Тёрне скажет: «Мне понадобилось свыше десяти лет, чтобы я понял, в чем причины этого безумия (речь идет о фашизме.— *И. М.*). Простые истины часто понимаются с трудом. А в школах, к сожалению, не всегда учат, что войны — это не стихийные бедствия, вызываемые какими-то роковыми силами, что они готовятся и ведутся людьми. К сожалению, очень многие все еще не желают или не могут этого понять. Для них я и написал это стихотворение... Может быть, на пятьсот читателей найдется хоть один, который поймет, что война — это болезнь, как правило, со смертельным исходом. А бороться с ней можно, лишь зная возбудителя болезни»...

Время не приглушило этот мотив в творчестве Фолькера фон Тёрне. Для него тема войны и фашизма не имеет «срока давности». Более того, в зрелых произведениях поэта она звучит сильнее, отчетливее, глубже. Сатирическая направленность определяет и новую книгу его стихов с трудно переводимым названием — Kopfüberhals [1], в которой собраны преимущественно работы самых последних лет. Стихотворения этого сборника проникнуты болью и тревогой — поэт называет себя «трубадуром кровавейшего века». Отношение к недавней немецкой истории у Тёрне очень личное, ее трагедии и катастрофы пропущены сквозь его «гневное сердце».

Для Тёрне поэзия немыслима вне связи с историей. В стихотворении «Призвание» эта тема реализуется с впечатляющей силой. Он ощущает неотделимость собственной биографии от прошлого своего народа, от вершинных достижений немецкого духа, добрых, гуманистических традиций немецкой литературы, но и от глубочайших точек национального падения. В душе, памяти поэта все оставило неизгладимый след — и великие строки его предшественников, и позор нацистского варварства. Стихотворение написано по принципу сопоставления и контроля. В сознании автора Германия предстает и как родина «поэтов и мечтателей», но и как страна «палачей и торговцев». Потому, кстати, так часто варьируется в его поэзии тема прощанья, расставанья, желания покинуть край, запятнавший себя позором преступного двенадцатилетия.

«В раннем детстве я подружился с поэзией»,— говорится в «Призвании». В том самом Кведлинбурге, откуда родом автор, родился и крупнейший немецкий поэт XVIII века Клопшток. Но не только эту параллель вызывает в памяти Тёрне детство — ведь уже тогда он внимал рассказам матери о «предках, отважных белокурых и благородных германцах», слушал доносившиеся из радиоприемника «вопли фюрера». Первые же строки определяют тональность этого стихотворения — жизнь поэта предстает в тесной соотнесенности с историей его страны, он с горечью и болью воскрешает ее трагические эпизоды. Отец отправился с гитлеровской армией на восток и «остался лежать в снегу». Тема неправедности от-

[1] Измененное (за счет перестановки частей) выражение Hals über Kopf, что означает «опрометью», «кувырком».

цов, поплатившихся за свое безумие, часто повторяется у Тёрне.

Трудное послевоенное отрочество становится и началом исцеления — подросток знакомится с поэтами, которые станут ему особенно близкими,— Вийоном и Гейне, Брехтом и Тухольским. Именно они формируют его, учат понимать мир, самого себя. Не без их влияния он поймет свою глубокую ответственность за все, что происходит в мире. Отсюда родится и пафос таких глубоко гражданских стихов, как «Мысли в мае». Да, убийцы пытались воспитать его по своему образу и подобию, он пил молоко, отнятое у голодных, носил одежду, украденную у замерзающих, читал книги, одобрявшие разбой, слушал речи, подстрекавшие к убийствам, называл «бойню своим отечеством» и молился за «окончательную победу», когда города гибли в дыму и народы восставали против фашизма. И потому, признается поэт, он ощущает свою вину за «каждого погибшего», вину перед людьми.

В новом сборнике мощно прорывается давний скорбный мотив немецкой поэзии — тема враждебности буржуазного окружения художнику, или, говоря современным языком, конфликта между духом и властью. «Поэт живет здесь хуже, чем скотина»,— резко формулирует Тёрне в сонетах «Вознесение в Фриденау». В стихотворении «Свободен, как птица», близком по духу и смыслу к «Призванию», Тёрне выстраивает внушительный ряд поэтических предшественников, претерпевших «бесконечную череду страданий» в стране «верноподданных», которая «никогда не прощала своим поэтам песен свободы».

Острие политической сатиры Фолькера фон Тёрне направлено против националистического высокомерия и чванства, против обывательского самодовольства, лжи и лицемерия буржуазного общества. Он издевается над лозунгами социального партнерства, высмеивает манипуляторский тезис о «равных шансах» и «всеобщем процветании». «Мы заодно, и цель у нас одна»,— босс пролетарию сказал. Палач сказал тому, над кем петля висела: «Мы заодно, и цель у нас одна» («Мы заодно»). В стихотворении «День выплаты» сатирический эффект достигается за счет прямого, некомментируемого перечисления социальных «благ» сегодняшнего «общества потребления», каждую строчку легко представить себе шапкой в бульварной газете типа «Бильд»: «Непрерывно снижается квартплата», «Бесконечно падают цены», «Булочки увеличиваются в размере»... Лишая эти фразы контекста, автор искусно пользуется гротеском, доводит банальные формулы до абсурда: «Скоро придется организовать фонд в поддержку страдающих миллионеров».

Как и многие его коллеги по перу, Тёрне с возмущением откликается на актуальную проблему западноберлинских политических будней, всколыхнувшую всю прогрессивную общественность, травлю коммунистов, всех оппозиционных сил, запреты на профессию. Он создает сатирическую «Балладу о Хельге М.» — рассказ о молодой учительнице, которой власти отказали в праве преподавать, обвинив ее в «нелояльности и несоблюдении конституции». В чем же вина Хельги М.? «В ужасном 68-м» (пик студенческого движения) она шла вместе с другими студентами по улицам Западного Берлина, держа в руке красный флажок. Мало того, у нее и волосы «красные». И еще «фатальное» обстоятельство — в тайных кружках она читала «Капитал», а это, как известно, «вредно для молодежи», как, впрочем, и сочинения «господина Брехта». На счету у учительницы немало других «преступлений» — она дискутировала с рабочими на политические темы, раздавала листовки у заводских ворот и осмелилась любить человека, вступившего в Социалистическую единую партию Западного Берлина. Нет, резюмирует автор от имени западноберлинских вершителей судеб, такой человек «недостоин учить наших детей».

Тёрне чужды элегическое спокойствие или величавая размеренность стороннего наблюдателя, как и зашифрованность, смысловая «непроходимость», присущая многим современным западным лирикам. Прочно связанный с сегодняшним миром, откликающийся на все злободневные темы, поэт вместе со всем прогрессивным человечеством осуждает чилийскую хунту, поправшую свободу народа, и ликует, когда 1 мая 1975 года «вьетнамские товарищи» выходят танцевать «на улицы города Хошимина» («Письмо друзьям»).

Глубоко заботит поэта положение его сограждан, социальная несправедливость и предрассудки, классовое угнетение, свидетелем которых он становится ежедневно и ежечасно. «Лишь у кого монеты есть», тот что-то значит в этом обществе, с горечью констатирует его герой («Вознесение в Фриденау»). Тёрне и сам испытал, что значит на практике «всеобщее равенство», когда в 60-е годы был строительным рабочим, узнал, что такое «грязная, тяжелая физическая работа, жесточайшая эксплуатация, сверхурочные, необходимость угождать шефу, полнейшая покорность ради нескольких лишних пфеннигов в час».

Мир людей труда, их жизнеощущение близки поэту. Его герой — чаще всего человек из народа, вовсе не жаждущий продвижения на высшие ступени общественной иерархии. В стихотворении «На строительстве дороги» — это подсобный рабочий, обращающийся к своей возлюбленной. Он сознает разделяющую их границу — ведь она дочь «штудиенрата» и посещает гимназию, в то время как он орудует киркой. Нет у него ни «ягуара», ни скаковой лошади, зато есть сильные руки, искреннее чувство и стремление к счастью. В этом стихотворении, напоминающем народную песню, автор глубоко передает настроения и

чувства простого человека в мире сословных разграничений. В «Кухонной песне» возникает близкая тема, но интонация здесь иная — не оптимистическая и задорная, а грустная, меланхолическая звучит жалоба жены рабочего, не знающей ни достатка, ни досуга, а лишь однообразие и монотонность тяжкого повседневного труда, заботы, необходимость подсчитать каждый грош.

В лирике Тёрне возникает живая, движущаяся картина сегодняшней действительности Западного Берлина, четко обрисованы социальные реалии, которыми резко очерчено пространство жизни современного человека в капиталистическом мире, в котором становится все холоднее. В стихотворении «Ледниковый период» мотив неприкаянности человека формулируется с предельной ясностью — человека здесь хотят превратить «в ничто», «похоронить под рыночным мусором».

Тёрне — тонкий и изящный лирик, в равной степени владеющий искусством сатирического гротеска и пейзажного этюда, боевой политической песни, философской миниатюры и любовной поэзии. Ему доступны и зажигательно-оптимистические ритмы, и меланхолические картины деревенской природы, ощущение радости бытия, щедрости жизни и глубина раздумий о назначении человека на земле. Он поэт значительного диапазона, легко переходящий из одного регистра в другой, с одинаковой легкостью пользующийся и современными и классическими формами стиха, верлибром и рифмованной строкой, балладой и формой сонета. Рифма у Тёрне звонкая, запоминающаяся, часто его озорные, темпераментные стихотворения напоминают уличные песни.

При сравнении с предыдущими сборниками Тёрне замечен рост художественного мастерства, большая четкость мысли, емкость и образность поэтических формул, глубина обобщения. Он не переоценивает возможности поэта в современном мире, сознает, что ему «не сдвинуть горы». И все же не разделяет пессимизма многих своих собратьев по перу, убежденных в «бессилии поэтического протеста», в бессмысленности попыток повлиять на ход событий. Подобно Гейне, он хочет «пропеть новую песнь», ибо убежден: ничто не может сломить поэта, которому «есть что сказать».

И. МЛЕЧИНА

ЧАС ВОЗМЕЗДИЯ

Alex La Guma. Time of the Butcherbird. London, Heinemann, 1979.

Алекс Ла Гума. Время сорокопута. 1979.

Африканец по прозвищу Шиллинг Мурилe возвращался домой с каторги, куда попал по вине своего бывшего хозяина, белого фермера Ганса Мюлена.

Однажды Мюлен, в наказание за мелкую провинность, привязал Шиллинга Мурилe и его младшего брата Тими проволокой к столбам, чтобы на другой день отправить их в полицию. Но Тими до другого дня не дожил — проволока так глубоко врезалась в его тело, что он, истекши кровью, скончался. Шиллинг Мурилe выжил.

Дело это разбиралось в окружном суде. Судья снял с Ганса Мюлена обвинение в преднамеренном убийстве, но сделал ему строгое внушение. Господину Мюлену следовало быть осмотрительней, заявил он, и не давать «либералам, коммунистам и международным организациям вроде ОАЕ и ООН» повода утверждать, что белые южноафриканцы плохо относятся к черным.

На Ганса Мюлена наложили штраф, а Шиллинга осудили на десять лет каторжных работ якобы за покушение на хозяйского приказчика.

И вот теперь Шиллинг Мурилe шел мстить своему врагу.

Пока Мурилe сидел за решеткой, Мюлен успел сделать политическую карьеру: местная организация правящей партии выдвинула его кандидатом в парламент. Кроме того, ему предстоял выгодный брак с дочерью местного богача, воспитанной в «лучших традициях» африканеров (буров). Ничто, казалось, не омрачало жизни Ганса Мюлена. Он и не подозревал о нависшей над ним смертельной опасности.

В родной деревне Шиллинг Мурилe увидел печальную картину: от бездождия, длившегося много месяцев, посевы гибнут, скот мрет, трудоспособные мужчины бегут в город на заработки. В довершение всех бед крестьянам объявили, что через несколько дней их выселят из деревни и перевезут в другой район страны. Дело в том, что на территории этой деревни геологи обнаружили какие-то полезные ископаемые и группа дельцов, в том числе Ганс Мюлен, решила с благословения правительства прибрать эти земли к рукам. Но дело это оказалось не таким простым.

Староста деревни Хлангени (когда-то он носил титул вождя, однако комиссариат по делам «банту» разжаловал его) призвал крестьян не противиться переселению, но его сестра «мамаша» Тау — энергичная, неукротимого нрава женщина, пользовавшаяся среди односельчан большим влиянием,— обвинила его в малодушии. «Ты наш вождь,— сказала она брату,— а вождь должен вести народ вперед, а не назад. Конечно, идя вперед, мы можем погибнуть, но ведь и отступление принесет нам погибель. Так уж лучше вперед... Это наша земля, земля наших предков. Здесь наш дом, и закон белых нам не указ».

Узнав, что Шиллинг Мурилe замышляет убийство своего бывшего хозяина, «мамаша» Тау попыталась отговорить его: если уж мстить белым угнетателям, то не в оди-

ночку, а вместе со всем народом. «Скоро мы все потребуем возмездия... Тебя долго не было, и ты не знаешь, что чаша терпения переполнилась. Оставайся с нами, ты можешь быть нам полезен».

Слова эти не убедили тогда Муриле — он еще не понимал, что индивидуальный террор — это не путь к освобождению народа. Но потом, расправившись наконец со своим врагом, он понял, что его место — в борьбе вместе со своими односельчанами. В руках у него была винтовка, добытая на ферме убитого им Ганса Мюлена.

Такова в общих чертах главная линия романа «Время сорокопута». Напомним читателям, что сорокопут — это птица из отряда воробьиных. Питается насекомыми, мелкими земноводными и пресмыкающимися, мышевидными грызунами. Запасая себе пищу, насаживает добычу на иглы колючих кустарников и на острые сучки деревьев. Образ Шиллинга Муриле, выслеживающего свою жертву, в какой-то мере отождествим с этой птицей-охотником — отсюда, по-видимому, и название романа.

Алекс Ла Гума принадлежит к числу тех южноафриканских писателей, которые, живя долгие годы в вынужденной эмиграции, не порывают со своим угнетенным народом и, опираясь на богатый жизненный опыт, продолжают создавать правдивые, художественно полноценные произведения. В рекламном проспекте лондонского издательства «Хейнеман эдьюкейшнл букс», выпустившего книгу «Время сорокопута», говорится: «Последний роман Алекса Ла Гумы оправдал самые большие надежды его многочисленных читателей. Ни один другой южноафриканский писатель не нарисовал еще такой полной картины жизни представителей всех рас в небольшой общине Карру, оказавшейся перед лицом надвигающейся трагедии. В ней, как в капле воды, отражено современное положение Южной Африки».

В этих словах — немалая доля истины. Действительно, мало кому из африканских коллег Алекса Ла Гумы удалось с такой же художественной силой создать групповой портрет современного южноафриканского общества со всеми присущими ему сложностями межрасовых и социальных отношений. Убедительными нам представляются образы и Шиллинга Муриле — сильного, мужественного, ожесточенного несправедливостью человека, и «вождя» Хлангени — безвольного, надломленного старика, ставшего послушным исполнителем приказов властей, и фермера-африканера Ганса Мюлена — ловкого дельца и политикана, под внешним обаянием и «демократичностью» которого скрывается фашист, и англичанина-коммивояжера Эдгара Стоупса, презирающего африканеров, но вынужденного ради коммерческих интересов мириться с их господствующим положением в политической жизни страны, и Мейси — жены Стоупса, спившейся развратницы, возмечтавшей избавиться от мужа, чтобы получить за него страховую премию. Самым же ярким персонажем является образ «мамаши» Тау. В облике этой бесстрашной, могучего сложения женщины, готовой к самопожертвованию для народного блага, проглядывают черты настоящей революционерки. Эта «львица», как ее прозвали крестьяне, прежде жила в городе, но власти изгнали ее оттуда за участие в движении за права чернокожих женщин. «Они сочли меня слишком опасной для города»,— со смехом говорит она.

Как и в более ранних произведениях Алекса Ла Гумы [1], большую роль играет в романе лирический пейзаж, который помогает раскрыть отношение автора и его героев к окружающей действительности. Вот, например, как изобразил писатель в прологе к роману обстановку, в которой оказываются крестьяне, насильно перевезенные в необитаемый, бесплодный район страны: «Умчались, подняв тучи пыли, правительственные грузовики. Над равниной повисла подвижная пелена, сквозь которую виднелось знойное послеполуденное солнце, похожее на расплывшийся кусок добела раскаленного металла. Повисев какое-то время, пелена эта начала опускаться. Местность представляла собою совершенно плоскую белую пустыню, лишенную каких-либо характерных черт, если не считать двух пропаханных бульдозером дорог, которые пересекались, образуя подобие креста, выжженного на рябой и пропыленной коже земли. И еще виднелся вдали новый бак с водой. Он стоял на металлических опорах и казался железным кулаком, простертым к плоскому, пустому небу. Оседавшая пыль медленно покрывала металлические стены бака и поверхность солоноватой воды, с трудом добытой из-под песка; сваленное в беспорядке казенное имущество — брезентовые палатки; унылые лица людей, сгруженных с машин вместе с жалкой утварью, которую им разрешили взять с собой. Серая пыль застряла во влажных от пота морщинках около рта, в глазных впадинах и пропитала ветхую одежду, отчего люди сделались похожими на огородные чучела.

Чья-то рука копнула для пробы землю и, захватив пригоршню сухого песка, просеяла ее между мозолистыми пальцами. Нет, не годится эта земля под пашню, в ней и человека-то похоронить толком нельзя. Люди потоптались в пыли под горячим солнцем, потом разбрелись в разные стороны, растерянно озираясь вокруг. Жалобно запищал младенец, привязанный платком к спине матери, захныкал и попросил пить еще чей-то ребенок. Кто-то откашлялся и, сплюнув пыль, завел песню, другой поддержал его, и скоро запели все. Что еще делать людям в этой несчастной пустыне?»

Перечитывая произведения Алекса Ла Гумы, неизменно убеждаешься в том, что

[1] На русском языке изданы повести А. Ла Гумы «И нитка, втрое скрученная...», «Каменная страна», «В конце сезона туманов», «Скитания в ночи» и др. произведения.

более всего ему удаются образы простых людей, людей труда,— совсем, казалось бы, не героев. Почему? Ответ на этот вопрос можно найти в статье Алекса Ла Гумы «Чему я научился у Горького», опубликованной в «Иностранной литературе» (№ 3, 1968). «Героем может быть самый обыкновенный бедняк,— пишет он.— Размышляя об этом, я понял, что в мире гораздо больше именно таких героев... И моя тетя Мегги, которая порой напивалась, но однажды дралась со штрейкбрехерами у ворот фабрики, где она работала, была настоящей героиней».

Автор с гордостью вспоминает беседу с читателем, сказавшим, прочтя одно из его произведений: «Немножко похоже на Горького». Слова эти, заключает писатель, могут вдохновить человека на «новые усилия». Приятно отметить, что роман «Время сорокопута» — новый шаг вперед в творчестве этого одаренного художника.

К. ЧУГУНОВ

ГРУППОВОЙ ПОРТРЕТ

Poeti italiani del Novecento. Milano, Mondadori, 1978.

Итальянские поэты XX века. 1978.

Новая антология современной итальянской поэзии вызвала много споров. Они начались раньше, чем книга проделала путь между типографией и книжными магазинами. Претензии к составителю, профессору Падуанского университета Пьеру Винченцо Менгальдо, выражались, главным образом, в следующих вопросах: «Почему в антологии отсутствуют такой-то и такой-то? Почему, наоборот, в ней нашлось место для тех-то и тех-то? Почему, наконец, такому-то из включенных в книгу поэтов выделено столько-то страниц, а другому в три раза меньше?»

Никто никогда не оспаривал субъективности подобного рода изданий, однако антология Менгальдо вышла в «Меридианах» — престижной серии издательства «Мондадори», и потому место в ней едва ли не равноценно зачислению в классики. Отсюда обиды — за себя или за других, отсюда придирки к фактическим неточностям (так Эдоардо Сангвинети поспешил заметить, что он родился в Генуе, а не в Савоне), отсюда обвинения в предвзятости.

Как явствует из предисловия составителя, при отборе и расположении материала он исходил из убеждения, что «цели поэтической хрестоматии не совпадают с целями истории поэзии». Менгальдо отказался от деления поэтов на школы и направления, которое нередко оказывается в значительной степени условным, избрав хронологический принцип и взяв за основу не дату рождения поэта, а время первой публикации. Предисловие дополняется глубокими и исчерпывающими вступительными эссе к каждому из представленных в антологии авторов; отсутствие привычных комментариев к самим стихам объясняется тем, что книга «не является учебным пособием».

Антология охватывает годы между 1903-м (время выхода первых двух сборников Коррадо Говони, а также дебюта Серджо Кораццини) и 1978-м. Эти семьдесят пять лет итальянской поэзии Менгальдо делит в предисловии на три периода, или «фазы», подчеркивая достаточно общий характер такого деления: период авангардистских течений, период «реставрации», простирающейся между двумя мировыми войнами, и период реакции на постсимволистскую поэтику, в частности на герметизм.

В своей работе составитель руководствовался эстетическим принципом, который он четко декларирует в предисловии: «Не существует, на мой взгляд, понимания поэзии или опыта письма более убедительных, чем другие; существуют лишь стихотворения и поэты, более значительные и интересные, чем другие. Я не уверен также, что в поэзии и в искусстве в целом «новаторство» важнее «традиции», если предположить, что этот второй термин действительно имеет смысл, ибо каждый уважающий себя художник не продолжает традицию *вообще*, но выбирает *определенную* традицию или, лучше сказать, в конце концов сам ее создает...» И хотя в предисловии ни разу не названо имя Кроче, примат поэтических текстов над историко-литературным контекстом говорит о влиянии, которое Бенедетто Кроче продолжает оказывать на современное западное искусствоведение — в первую очередь на критиков поэзии.

В антологии нашли место образцы диалектальной поэзии, которая представлена стихотворениями Вирджилио Джотти (триестинский диалект), Делио Тессы и Франко Лоя (миланский диалект), Бьяджо Марина (венето), Тонино Гуэрры [1] (романьоло), Альбины Пьерро (неаполитанский диалект); о творчестве Пьера Паоло Пазолини и Андреа Дзандзотто можно судить не только по произведениям на общелитературном итальянском языке, но и по стихам, написанным на диалектах — фриулийском и венето. Диалектальные поэты не выделены в особый раздел антологии, их творчество рассматривается как неотъемлемая часть единого литературного процесса.

В Италии в поэтических антологиях поэты нередко бывают представлены не только оригинальными стихотворениями, но и переводами. Хрестоматийные переводы Унгаретти, Монтале, Квазимодо, ставшие признанным фактом отечественной словесности, по праву вошли в свое время в антологию «Новых лириков» Л. Анчески, «Лирику XX века» Л. Анчески и С. Антоничелли, «Поэзию XX века» Э. Сангвинети. Пьер

[1] Стихи Т. Гуэрры опубликованы в «ИЛ» № 7, 1979.

Винченцо Менгальдо пошел дальше: включил в свою антологию переводчика — Джайме Пинтора, погибшего в двадцать четыре года в рядах первых борцов движения Сопротивления (Пинтор представлен в книге переводами из Р. М. Рильке и Г. Тракля).

Менгальдо отобрал для своей антологии переводы из зарубежных поэтов, наиболее ярко выразившие индивидуальность переводчиков. Отмечая огромное культурное значение поэтического перевода, его влияние на отечественную поэзию, Менгальдо отражает в предисловии и в составе книги различные методы стихотворного перевода, оценивая их достоинства по конечному результату (так, противники свободных переложений едва ли станут отрицать высокое мастерство переложений Витторио Серени из французского поэта Рене Шара).

Представителю нашей школы поэтического перевода трудно согласиться с утверждением Менгальдо, будто Италия занимает первое место в мире по качеству переводов: итальянские издательства выпускают немало бескрылых переводов, напоминающих произвольно ритмизованные подстрочники и дающих представление скорее о содержании оригинала, нежели о его художественных особенностях.

Было время, когда в Италии переводили почти исключительно французских поэтов, что, естественно, суживало горизонты итальянской поэзии. Итальянская поэзия XX века открыла для себя образцы других поэтических традиций — прежде всего англоязычную поэзию. Изоляционистская политика фашистского режима не поощряла обращения к идеологически чуждым литературам стран — антагонистов фашистской Италии, и художественный перевод стал в двадцатых — тридцатых годах не только культурным, но и откровенно политическим актом.

Составитель антологии останавливается в предисловии на новом типе переводчика поэзии, сочетающего в себе поэта, переводчика и исследователя: не случайно, подчеркивает Менгальдо, в числе лучших итальянских критиков мы видим Эудженио Монтале и Серджо Сольми, Франко Фортини и Пьера Паоло Пазолини, а из представителей более молодого поколения — Джованни Рабони.

Итальянская поэзия XX века отразила на своих страницах наше бурное столетие, и это всесторонне показывает антология Менгальдо.

В мире апатии, вызванной в начале века крушением свободолюбивых идеалов Risorgimento, зашитная реакция «сумеречных» поэтов поддерживала в них иронический дух:

Поэт забавляется
бесконечно.
Мешать ему бессердечно.
Тем паче не надо злиться,
дайте ему порезвиться,
бедняжке,
ведь он и не помышляет
о большей поблажке.
Куку руру,
руру куку,
куккуккуруку!

Что значит сие безобразие?
Эти строфы... гм... экзотические?
Вольности, вольности,
вольности поэтические.
Они моя слабость[1].

(Альдо Палаццески. «Дайте мне порезвиться»)

В окопах первой мировой войны голос поэзии звучал вызовом жестокой правде бессмысленного риска, бессмысленных лишений:

В засаде
в этих внутренностях
развалин
часами
я волочил
свой скелет
заскорузлый от грязи
как подметка
или сморщенные ягоды
боярышника

Унгаретти
бедняга
тебе достаточно иллюзии
чтобы воспрянуть духом
Прожектор
оттуда
образует море
в тумане

В годы фашизма, противопоставляя свое творчество бодрому барабанному бою и олеографической слащавости официального искусства, лучшие итальянские поэты обращались к лирике и с помощью иносказаний выражали свое враждебное отношение к происходящему вокруг:

Сквозь эту беспросветность и рыданья,
когда людские твари озверели,
что слышишь обо мне? Боюсь, едва ли
больше того, что в каменном тоннеле
утратила, в который канул поезд.
Круг жернова, обуглившийся пень,
последние границы мирозданья.
Скирда осыпалась — и, выйдя поздно,
соединить бессонницу мою
и сон, где ты их видишь, дикобразы
склоняются над струйкой состраданья.

(Эудженио Монтале. «Вести с горы Амьята»)

Антология включает образцы гражданской поэзии Сопротивления, объединившей самых разных поэтов. Один из старейших среди них, Умберто Саба, писал в 1944 году, в первые дни после изгнания гитлеровцев и чернорубашечников из Флоренции:

Серпом и молотом украшен зал
и в пять лучей звездой. Но сколько боли
во имя этих знаков на стене!

[1] Переводы стихов принадлежат автору статьи.

На костылях вступает на подмостки
Пролог. Взметнув приветственно кулак,
он обращает к бедному партеру
свой монолог, и весело подростки
и женщины его словам внимают.
Он, все еще робея, говорит
о братстве душ...

Новое содержание поэзии потребовало раздвижения жанровых границ, обращения к эпике, к поэме, которое предвозвестил своими «стихотворениями-рассказами» Чезаре Павезе (кстати Павезе можно было бы дать шире, включив в антолотию страницы из его любовного канцоньере, изданного посмертно в 1951 году). В антологии представлены отрывки из «Плача экскаватора» (1956) и «Богатства» (1955—1959) Пьера Паоло Пазолини — автора, наиболее органично выразившего себя в эпических масштабах. Шире стал и традиционный лирический репертуар, существенное место в нем заняла лирическая поэма. Лирика по-прежнему остается ведущим жанром итальянской поэзии, и именно в лирике находит живое отражение сознание неустойчивости мира, о котором говорится в стихотворении Фортини «Переводя Брехта»:

Поэзия
ничего не меняет. Ничто не прочно. Но
ты пиши.

Составитель антологии «Итальянские поэты XX века» видел свою задачу не столько в том, чтобы отобрать для книги определенную «обойму» авторов, сколько в стремлении «дать возможность услышать, если это не слишком громко сказано, звучание их голосов». С читателем говорят несколько поколений поэтов, представляющих время, нравственный климат, поэзию Италии за последние семьдесят пять лет. Жаль, конечно, что за пределами тома остался ряд молодых поэтов, веско заявивших о себе в недавние годы,— Маурицио Кукки, Дарио Беллецца, Джампьеро Нери, Мило Де Анджелис, Анджело Лумелли. Впрочем, означает ли это, что антология обращена в прошлое? Думается, что нет: последние сборники Эудженио Монтале, Марио Луци, Витторио Серени, Джорджо Капрони, Аттилио Бертолуччи, Франко Фортини с полным основанием принадлежат сегодняшнему дню итальянской поэзии.

Е. СОЛОНОВИЧ

◆

Из месяца в месяц

АВСТРИЯ

«МЕДЛЕННОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ»

Так называется новая повесть известного австрийского писателя Петера Хандке.

Ее героя зовут Зоргер. По профессии он геолог. Родом откуда-то из Центральной Европы, он последние годы сотрудничает в Калифорнийском университете, а к началу повествования читатель застанет его на крайнем севере Аляски.

Это — типичный для Хандке герой, больше всего озабоченный восстановлением утраченной связи между собой и миром. Начатый им труд на геологическую тему «О пространствах» постепенно все больше превращается, как пишет рецензент западногерманского журнала «Шпигель», «в попытку заново обрести географию детства». Зоргера неодолимо тянет в места, где он родился и вырос. «Куда мы идем? — спрашивает он и отвечает: — Всегда домой».

Автор показывает своего героя в процессе этого «медленного возвращения». Три части повести соответствуют трем остановкам в пути: сначала бескрайние северные снега, где Зоргер приобщается к величественной красоте природы; затем осенний калифорнийский пригород, где пустяковые житейские столкновения выбивают из колеи «искателя совершенства», показывая, как ненадежно и призрачно обретенное им равновесие; наконец, Манхэттен, центральный район Нью-Йорка, где Зоргер осознает, что связь с миром — это прежде всего связь с другими людьми.

Самыми сильными в повести рецензент считает описания природы, которым присуща большая пластичность, точность и выразительность. В целом же повесть отмечена, по его мнению, некоторой искусственностью. Такому впечатлению во многом способствует и чрезмерная выспренность стиля.

БАРБАДОС

РОМАН-АВТОБИОГРАФИЯ ДЖОРДЖА ЛЕММИНГА

Среди писателей острова Барбадос, маленького государства в Карибском море, одно из первых мест принадлежит Джорджу Лемингу. Недавно с его самым известным романом «В зáмке моей кожи» познакомились на Кубе.

Лемминг начал свою литературную деятельность в 1946 году, в журнале «Бим». Позднее, как и многие его соотечественники-писатели, эмигрирует в Англию. Он автор романов «Эмигранты», «Сезон приключений», сборника очерков «Радости изгнания» и др.

Роман «В замке моей кожи» имеет автобиографический характер. В нем описываются годы детства и отрочества писателя, прошедшие в маленькой барбадосской деревушке. Критика отмечает жизненность наблюдений писателя, новаторство его изобразительных приемов. Это роман, пронизанный страстным обличительным пафосом колониальных порядков, установленных на острове британскими властями. «Отчаяние и трагедия людей Барбадоса времен колонии,— пишет во вступлении романа Эмилио Хорхе Родригес,— не мешают автору раскрыть все богатства их души. В этом Лемминг обнаруживает мастерство, позволяющее говорить о нем как о писателе-реалисте, обладающем особой чувствительностью к судьбам своего народа».

БАХРЕЙН

НОВИНКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Маленькое островное государство Бахрейн — один из самых развитых в культурном отношении эмиратов района Персидского залива. По количеству выпускаемых книг и другой печатной продукции он уступает, пожалуй, только Кувейту.

Большинство писателей и поэтов Бахрейна объединено в Лигу литераторов и писателей, возглавляемую поэтом Алави аль-Хашеми, которая издает их произведения.

Среди книг, вышедших в Бахрейне в последнее время,— сборник коротких рассказов под названием «Ска-

зание о голоде и молчании». В сборник вошли произведения современных бахрейнских новеллистов: Халафа Ахмеда Халафа, Мухаммеда Абд аль-Малика, Мухаммеда аль-Маджида, Халифы Салеха, Халида Лури, Исы Абдаллы Хилаля и Ахмеда Джумы Мубарака.

Опубликовано несколько новых сборников стихов. Среди них «Другая кровь» Касема Хаддада, «Тебе, родина, тебе, любимая» Саида аль-Овейнати, «Жаждущий влюбленный» Абд аль-Хамида аль-Каида, «Извинение перед детством» поэтессы Хамды Хумейис и «Птицы и тень дерева» ветерана бахрейнской поэзии Алави аль-Хашеми. Стихотворения этих сборников посвящены в основном современной тематике и написаны свободным размером на литературном арабском языке.

Вышло также несколько сборников стихов на местном бахрейнском диалекте: «Стихотворения на народном языке» известного поэта-рапсода Абд ар-Рахмана Рафиа, «Мечты утренней звезды» Ибрахима Бухинди и «Жажда пальм» Али Абдаллаха Халифы.

Из литературоведческих работ, опубликованных недавно в Бахрейне, арабская пресса называет книгу Мубарака аль-Хатыра «Первые современные произведения бахрейнских авторов (1875—1925)», а также труды шейха Ибрахима Бен Мухаммеда аль-Халифы.

БОЛГАРИЯ

ПЕВЕЦ РОДОП

Известному болгарскому писателю Николаю Хайтову исполнилось 60 лет.

Первые его книги («Лесные рассказы» и «Соперники») вышли в свет, когда ему было 37 лет и он работал инженером-лесоводом в Родопских горах. Он быстро стал популярным и любимым автором. Его «Дикие рассказы» переиздавались несколько раз. Были они опубликованы и в журнале «Иностранная литература» в № 2 за 1969 год. В его публицистике («Колючая роза»), как отмечала критика, громко звучит тревожный голос писателя. Его документальная историческая проза раскрывает национальный характер народа, прошедшего через многие испытания и сохранившего свой язык, свою культуру.

«Мы не можем без волнения читать книги этого писателя. Благородно и самоотверженно влюбленный в Родопские горы, в людей Родоп и их легенды, в их самобытную красоту,— пишет академик Пантелей Зарев в «Литературен фронт»,— автор открывает их нам. Магическое слово Родопы и жизнь людей этого края — тот могучий пласт, из которого черпает свою силу Хайтов-художник».

По сценарию Николая Хайтова режиссером Иваном Андоновым снят фильм «Черешневый сад», посвященный проблемам современного болгарского села. Съемки велись на родине писателя в селе Яворово в Родопских горах.

«Лакированные ботинки неизвестного солдата», фильм Рангела Вылчанова, снятый по его собственному сценарию, повествует о болгарском селе 30-х годов, о детстве автора. «Но это не только история одной жизни,— пишет Иван Драгошинов в журнале «Фильмови новини».— Живо, конкретно, в современной манере, с убеждающей силой обобщения показана биография, в которой отражается целая эпоха в развитии нации».
На снимке: кадр из фильма.

(Журнал «Фильмови новини»)

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

«РОМАНИСТ И ПОЛИТИКА»

Так озаглавлено опубликованное в «Морнинг стар» интервью, которое дал известный английский писатель Джон Фаулз литературному обозревателю газеты Бобу Лисону. (Повесть Джона Фаулза «Башня из черного дерева» была опубликована в «ИЛ» в № 3, 1979 г.) По мнению Боба Лисона, Джон Фаулз относится к числу тех редких в Великобритании романистов,

которые проявляют постоянный интерес к политике, к тем художникам слова, которые считают необходимым для себя говорить в своих книгах о том, каким должен быть мир. Отвечая на вопросы Боба Лисона, Фаулз заметил: «Моя позиция не слишком типична для англичанина. В Англии не принято откровенно высказываться о политике и религии. Но этот камуфляж не по мне, у меня на него попросту нет ни времени, ни желания. Может быть, это происходит потому, что в молодости на меня большое влияние оказал французский роман, а сейчас я нахожусь под сильным воздействием американской прозы. В нашей стране никогда бы не появился роман типа последней книги Хеллера «Чистый, как золото», в которой он осмысляет фигуру Киссинджера. У нас это невозможно, потому что до сих пор существуют абсурдные, с моей точки зрения, юридические ограничения о неприкосновенности личности».

Говоря об общественной позиции писателя, Фаулз заметил, что он с подозрением относится к романистам, которые нечетко формулируют свое отношение к политике и к проблеме нравственности. «Писатель должен отчетливо формулировать свои соображения относительно того, что, с его точки зрения, желательно в обществе, а что — нет».

В интервью Джон Фаулз коснулся вопроса о важности оптимистического подхода как к жизни, так и к литературе: «Людьми, которые недовольны миром и хотят, чтобы он изменился, чаще всего движут два чувства. Одно из них, на мой взгляд, совершенно бесперспективно и по сути своей бессмысленно. Оно сводится к тому, что всякая попытка что-либо изменить тщетна. Такое чувство порождает книги, весьма распространенные в английской литературе,— романы Ивлина Во, Кингсли Эмиса, так называемое правое сатирическое крыло в английской литературе. Или же можно обладать другим чувством — оптимизмом, убеждением, что благодаря вашим усилиям что-то все же изменится в обществе».

В своем последнем романе «Даниэл Мартин» Фаулз поставил перед собой очень сложную задачу — написать счастливый конец, что, как он сам заметил, противоречит существующему «правому» взгляду, своего рода эталону хорошего вкуса в прозе. Следуя этим канонам, конец должен быть грустным, по-беккетовски абсурдным. По этим правилам никак нельзя кончать повествование на мажорной ноте.

«Я против,— пишет Фаулз, — литературной моды, укоренившейся за последние три или четыре десятилетия, по которой получается, что жизнь совершенно бессмысленна».

Говоря о специфике прозы Джона Фаулза, Боб Лисон заметил, что в его романах чаще всего выведены характеры представителей среднего класса. Однако рабочие практически не появляются на страницах его книг.

«Дело в том,— сказал Фаулз,— что создавать правдивые характеры рабочих очень трудно, если не знаешь об их жизни достаточно много. А чтобы узнать, надо пожить в их среде. У меня же, к сожалению, нет такого опыта».

Отвечая на вопрос о своих дальнейших творческих планах, Фаулз заметил, что ему бы хотелось создать «по-настоящему политический роман», хотя он отдает себе отчет в трудностях, которые возникнут на его пути. Чтобы создать такое произведение, сказал он, необходимо находиться в контакте с тем миром, который реально существует, очень важно, чтобы в литературе были писатели, способные проанализировать всю общественную панораму, дать фронтальный срез общества, обнажить его внутренний механизм. Но при этом должна быть предложена и позитивная программа. «Решить такую задачу способен гений — лишь ему под силу создать произведение, равное великим симфониям Бетховена».

ВЕНГРИЯ

«ЛЕНИН И ЛУНАЧАРСКИЙ. ПИСЬМА, ДОКУМЕНТЫ, ЗАМЕТКИ»

К 62-й годовщине Великого Октября будапештское издательство «Кошут» выпустило сборник «Ленин и Луначарский. Письма, документы, заметки». С перепиской Ленина и Луначарского в таком объеме венгерский читатель познакомился впервые.

Об этой книге рассказал на страницах ежемесячника «Кёньвилаг» Дёрдь Бакчи, известный венгерский критик, автор многих работ по русской и советской литературе, в том числе фундаментального исследования «Революции, войны, литература. Русская и советская литература с 1890 года до наших дней».

А. В. Луначарский, первый народный комиссар просвещения молодого советского государства, пишет Д. Бакчи, боролся за культуру нового мира при поразительных, сейчас уже кажущихся невероятными обстоятельствах и одновременно вел бой за сохранение старого культурного наследия, за создание высокохудожественных произведений, за лучшие моральные и материальные условия для творческой интеллигенции.

Не приходится доказывать, отмечает критик, что отдельные документы, вырванные из определенного исторического контекста, не могут осветить все аспекты деятельности этих двух людей. Вот почему таким значительным событием явилось издание в Советском Союзе 80-го тома знаменитой серии «Литературное наследство», в котором совместная работа Ленина и Луначарского представлена с исчерпывающей полнотой — в том включены документы, записи бесед, многие неизвестные ранее письма, записки. Теперь эта книга «В. И. Ленин и А. В. Луначарский» вышла и на венгерском языке. «Читаешь скупые, лаконичные тексты документов и с изумлением узнаешь, чем только не приходилось заниматься

На экранах Венгрии демонстрируются две первые части нового фильма-трилогии известного режиссера Миклоша Янчо: «Венгерская рапсодия» и «Аллегро барбаро».
Венгерская печать много, интересно и полемически заостренно пишет об этой работе Миклоша Янчо, в основу которой лег кино-роман Дюлы Гернади и Миклоша Янчо «Vitam et sanguinem», вышедший в издательстве «Магветё» в 1978 году.
Фильм воссоздает события между двумя мировыми войнами и в годы второй мировой войны и рассказывает о выходце из буржуазного сословия, прошедшем сложный и противоречивый жизненный путь от стихийного протеста против фашистского режима Хорти до прихода в ряды коммунистов. «Главная сила и ценность новых фильмов Миклоша Янчо,— отмечалось на страницах газеты «Непсабадшаг»,— состоит в том, что режиссер с чрезвычайной достоверностью и художественной силой показывает особенности и корни венгерского фашизма».
В фильме заняты известные актеры: Дёрдь Черхалми, Дердьи Тарьян, Лайош Балажович, Берталан Шолти.
На снимке: актер Дёрдь Черхалми в роли главного героя фильма Иштвана Жаданьи.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

тогда народному комиссариату просвещения — и организацией детских лагерей, и выпуском новых советских марок, и агитационными плакатами в Москве, и тем, как предотвратить отправку за границу картины Боттичелли, и что надо сделать, чтобы составить новый указатель для библиотек и словарь классического русского языка... А как трогательно боролся Луначарский за сохранение милого его сердцу Большого театра... Переписка Ленина и Луначарского может показаться сухой, официальной. Тревожная обстановка того времени — гражданская война, голод, разруха — не позволяла прорываться в деловой переписке личным интонациям. Но из других материалов, из воспоминаний Луначарского узнаем, какие дружеские, сердечные отношения связывали Ленина и Луначарского, как ценил Ленин, хотя часто и критиковал его, разносторонние знания Луначарского, его блистательное перо, беззаветную верность идеалам революции.

«СЛОВО К СВОЕМУ ВРЕМЕНИ»

Так называется новая книга известного венгерского писателя Антала Гидаша, 80-летний юбилей которого широко отметила недавно литературная общественность страны.

Книга эта, вышедшая издательством «Магветё», пишет на страницах ежемесячника «Кёньвилаг» Ласло Неваи, — ретроспективный взгляд художника на свою большую, насыщенную революционной борьбой и творческим созиданием жизнь, половину которой он провел в Советском Союзе. Отсюда и содержание сборника: в него писатель включил и автобиографические зарисовки-эссе, и многочисленные воспоминания о венгерских и советских революционных деятелях, коллегах по перу, друзьях.

Рассказывая о себе, отмечает Ласло Неваи, Антал Гидаш остается объективным, но интонация повествования меняется, делается теплее, интимнее, когда он рассказывает о заслуженных ветеранах рабочего движения, товарищах по борьбе и особенно советских писателях, ставших его друзьями. С располагающей сдержанностью создал Гидаш проникновенные и глубокие новеллы-портреты, новеллы-характеры Белы Куна и членов его семьи, Александра Фадеева, Бруно Ясенского, Матэ Залки, Леонида Мартынова, Фридеша Карикаша, Корнея и Николая Чуковских.

За жизнью этих людей зримо встает обстановка, в которой они работали: годы между двумя мировыми войнами с их неповторимой новой, социалистической романтикой трудовых будней и атмосфера советской ли-

тературной жизни после второй мировой войны.

ГДР

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРЕМИИ

Национальные премии за 1979 год получили писатель Дитер Нолль за роман «Кипенберг», писатель Иоахим Новотный «за все творчество в целом», писатель Эрих Шлоссарек за телевизионные фильмы и телевизионные пьесы, писатель Вилли Майнк за «все творчество, в особенности за книги для детей и юношества», писатель Вильгельм Ткачик за поэтические произведения, драматург Клаус Хаммель. Национальной премии удостоены певец и актер Эрнст Буш, президент Немецкой академии искусств Конрад Вольф, президент Союза художников и скульпторов Вилли Зитте.

За большие заслуги в развитии детской литературы премия присуждена коллективу издательства «Киндербух-ферлаг». Премии получили также ряд режиссеров, актеров, композиторов, художников и несколько творческих коллективов.

«...Я БУДУ ПИСАТЬ И ПРОСТЫЕ И СЛОЖНЫЕ КНИГИ»

Газета «Берлинер цайтунг» поместила отрывок из нового сборника рассказов известного писателя Юрия Брезана «Подвенечный наряд». Эта книга, содержащая 24 рассказа и богато иллюстрированная, выходит в издательстве «Нойес лебен». В краткой аннотации приводится цитата из рассказа, написанного от первого лица. Отец писателя, видя творческие муки сына, работающего над большим романом, говорит ему: «Может быть, многие люди неохотно читают толстые книги. Возможно, они предпочитают рассказы». В этих словах, отмечает «Берлинер цайтунг»,— раздумья самого Брезана, написавшего после «толстого» романа «Крабат, или Изменение мира» более «простую» книгу, которой, по его мнению, является «Подвенечный наряд». В интервью корреспонденту еженедельника «Зонntаг» писатель поделился мыслями о своем творчестве, затронув и эту тему.

«Я часто встречаюсь с читателями, беседую с ними. Не так давно на книжном базаре я увидел, как пожилая женщина, чьим единственным университетом, по-видимому, была ее нелегкая жизнь, покупала моего «Крабата». Я решил предостеречь ее, объяснить, насколько сложен роман. Но она ответила мне, что хорошо знает мои книги, привыкла к моей писательской манере и надеется справиться и с «Крабатом».

Писать — это основное, что я делаю в жизни, это моя работа для общества, моя профессия. Меня интересует все, что происходит в мире, меня интересуют разные люди и события. Я пишу о прошлом и настоящем, стремлюсь связать их, помочь читателям понять прошлое, узнать жизнь народа и тот путь, который прошла страна. Очевидно, и в дальнейшем я буду писать и простые и сложные книги...»

Юрий Брезан — вице-президент Союза писателей ГДР, он ведет большую общественную работу. На вопрос о том, как он совмещает свои общественные обязанности с творчеством и пишет ли он что-то новое, писатель ответил:

«Когда видишь, что делаешь действительно нужное дело, чувствуешь большое удовлетворение. Сейчас я работаю над книгой, которая дается мне очень трудно. Я могу пока сказать только, что в этой книге идет речь о проблемах нравственности...»

ИНДИЯ

ФИЛЬМ О ВЕРНОСТИ И ДОЛГЕ

Газета «Джан юг» поместила рецензию своего кинообозревателя на фильм «Я деревце в твоем дворе», который с успехом демонстрируется на экранах индийской столицы. «Этот фильм — ответ деятелям кино, считающим, что зритель не примет фильм, если в нем нет насилия, поножовщины и секса»,— говорит

Берлинский театр «Фольксбюне» поставил спектакль по одноактной комедии Фреда Вандера «Бунгало». Герои пьесы, супруги, в погоне за материальными благами утратили нравственные устои. Их семейные отношения рушатся. «В сущности это психологическая драма, хотя автор и назвал ее комедией»,— пишет рецензент газеты «Берлинер цайтунг», отмечая удачу спектакля.

На снимке: Аннекатрин Бюргер и Катрин Кнаппе в сцене из спектакля «Бунгало».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

рецензент, давая высокую оценку картине, которая, повествуя о великом чувстве верности и долга, начисто лишена привычных атрибутов коммерческого фильма. Поставил картину молодой режиссер Радж Кхосла по сценарию Д. Р. Каматха.

«Нет никаких сомнений в том, что Радж Кхосла создал отличный фильм, который смотрится с неослабевающим интересом и трогает до глубины души»,— пишет рецензент.

В рецензии особо отмечаются великолепная игра всего актерского ансамбля, особенно исполнителей заглавных ролей. В их числе— молодая актриса Аша Парикх, известные актеры Виджай Ананд, Винод Кханна и другие. «Своей проникновенной игрой,— пишет рецензент,— Аша Парикх буквально покорила сердца зрителей».

Музыку к фильму написал композитор Ананд Бакши. Песни звучат в исполнении известного певца Лакшмиканта Пьярелала.

«Лучшее социальное произведение»—так говорится о фильме «Я деревце в твоем дворе» в рекламном объявлении, напечатанном в газете «Джан юг».

ИРАК

РАССКАЗЫ МАХМУДА АХМАДА АС-СЕЙИДА

Как сообщает бейрутский журнал «Аль-Адиб», в Багдаде вышло «Полное собрание рассказов» основоположника иракской новеллистики Махмуда Ахмада ас-Сейида.

Издание подготовили известные литературоведы Абд аль-Илах Ахмад и Али Джавад ат-Тахир. Арабская пресса высоко оценила эту работу.

ИТАЛИЯ

МОНОСПЕКТАКЛЬ ПО СТИХАМ РИПЕЛЛИНО

Профессор русской и чешской литературы Римского университета, театральный обозреватель еженедельника «Эспрессо» Анджелло Мария Рипеллино, безвременно скончавшийся в 1978 г., был неутомимым пропагандистом русской и советской литературы в Италии. Благодаря его переводам и литературно-критическим эссе для итальянского читателя своими, близкими становились Пушкин и Тютчев, Достоевский и Чехов, Блок и Маяковский, Пастернак и Заболоцкий. Рипеллино рассказал итальянцам о поэте XVIII века Г. Р. Державине. Более четверти века посвятил переводам на итальянский, казалось бы, непереводимого Велимира Хлебникова. Рипеллино создал в свое время «Антологию русской поэзии XX века», ему принадлежат книги о Маяковском и советском театре 20-х годов.

Деятельность Рипеллино— переводчика, литературоведа и театроведа — теснейшим образом связана с его поэтическим творчеством. На основе одного из его сборников стихов, «Симфониетта», актриса Роза ди Лючия с помощью режиссера Бруно Маццали создала через год после смерти автора спектакль—«именно спектакль, театральное действо, а не чтецкий вечер»,— подчеркивает газета «Унита».

Актрисе, как и автору стихов, одинаково подвластны, говорится в газете, и ирония, подчас почти комедиантство, шутовство, и глубокая трепетность, незащищенность, ранимость. Роза ди Лючия с большим мастерством передает мелодику стиха Рипеллино, в котором, наряду с традициями итальянской поэзии, ощутимо влияние русской литературы XX века, блестящим знатоком и пропагандистом которой был Рипеллино. «Глубокая любовь к традициям современных славянских литератур была почти определяющим фактором его поэтики»,— писал о нем поэт Джованни Джудичи.

ПРОМЕТЕЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Так характеризует выдающегося борца против диктатуры «черных полковников» в Греции Александра Панагулиса итальянский режиссер Джузеппе Феррара.

За плечами Феррары — те-

На снимке: Статис Галлелисис — исполнитель главной роли в фильме режиссера Джузеппе Феррары «Александр Панагулис».

(Газета «Паэзе сера»)

атральные и телепостановки, документальные и игровые фильмы; один из них, «Простая душа» по повести Г. Флобера, с успехом демонстрировался в 1977 году на X Международном кинофестивале в Москве.

В настоящее время Феррара ставит фильм о Панагулисе. «Мне хочется воссоздать,— заявил режиссер в беседе с корреспондентом газеты «Паэзе сера»,— эпический характер борца против диктатур всех времен и всех народов. И прежде всего — против фашизма. Фашизма как идеологии, фашизма как практики».

КАТАР

ИЗДАНО В КАТАРЕ

Тунисский журнал «Аль-Хаят ас-сакафийя» сообщает о новых книгах, изданных в Катаре. Среди них — сборник рассказов начинающей писательницы Кульсум Джабр. В сборнике шестнадцать рассказов, сюжеты которых почерпнуты из жизни современного Катара. О жизни страны рассказывается также в новеллах катарского писателя Халиля Ибрахима аль-Фазиа, вошедших в сборник «Часы и пальма».

Вышли также исследование литературоведа Ибрахима Юнуса о средневековом катарском поэте-рыцаре Катари Ибн аль-Фаджаа и книга «Народная песня в Катаре», написанная Мухаммедом Талибом Сальманом ад-Дувейком.

КНР

ЮБИЛЕЙ А. С. ПУШКИНА

180-летие со дня рождения А. С. Пушкина было отмечено в КНР в 1979 году статьей в газете «Жэньминь жибао». Видный китайский литературовед, знаток и переводчик русской литературы Гэ Баоцюань в статье «Пушкинские места» рассказал китайским читателям о великом русском поэте.

Гэ Баоцюань посвятил многие годы изучению жизни Пушкина и переводу его произведений на китайский язык. В феврале 1937 года, когда в СССР торжественно отмечалось столетие со дня смерти Пушкина, Гэ Баоцюань впервые посетил Михайловское и участвовал в торжествах на площади Пушкина в Москве. В Ленинграде Гэ Баоцюань побывал на последней квартире Пушкина на Мойке, ездил осматривать Царскосельский лицей.

Когда в 1956 году Гэ Баоцюань вторично посетил Ленинград и побывал в Пушкинском доме, он получил возможность познакомиться с подлинными рукописями Пушкина и книгами из его личной библиотеки. «Из материалов, собранных там, можно было видеть, что Пушкин в течение всей жизни испытывал глубокий интерес к Китаю,— пишет Гэ Баоцюань.— Он прочел немало книг о Китае на русском и французском языках и хранил в своей домашней библиотеке русский перевод «Троесловия» («Сань цзы цзин») и французский перевод «Сироты Чжао». (В Китае прошлого века «Троесловие» было первой книгой для чтения, исполнявшей роль азбуки или букваря, а «Сирота Чжао» — одна из знаменитых пьес китайского классического театра, ставшая известной в Европе еще в XVIII веке.) «Он написал несколько стихотворений, в которых упоминает Китай,— продолжает Гэ Баоцюань.— 17 января 1830 года он написал прошение царскому шефу жандармов Бенкендорфу с просьбой дозволить ему отправиться в Китай вместе с миссией, но получил отказ. Если бы Пушкин тогда смог осуществить свое желание, то в его наследии наверняка остались бы стихи, путевые записки и письма, посвященные Китаю. Но хотя Пушкин не попал в Китай, в начале XX века его имя стало известным в нашей стране. В 1903 году его знаменитая повесть «Капитанская дочка» была переведена на китайский язык под заглавием «Русская любовная история мисс Мари, или Записки о цветке и грезах мотылька». С тех пор сочинения Пушкина все чаще переводились на китайский язык, передавались по радио, декламировались и исполнялись на сцене, встречая горячую любовь и отклик читателей и слушателей».

Статья Гэ Баоцюаня иллюстрирована репродукцией с картины Н. Н. Ге «Пушкин в Михайловском». Статья, посвященная этой дате А. С. Пушкина,— одно из первых выступлений Гэ Баоцюаня после «культурной революции». Больше десяти лет этот литературовед, которому исполнилось 66 лет, хранил молчание. До этого в переводе Гэ Баоцюаня на китайский язык были изданы «Избранное» А. С. Пушкина и «Евгений Онегин». Он редактировал также переводы романов «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Время, вперед!» В. Катаева, «Падение Парижа» И. Эренбурга, поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели, армянского эпоса «Давид Сасунский». Им был написан «Очерк советской литературы», популяризировавший творчество советских писателей среди китайских читателей.

КАМПУЧИЯ

В столице Кампучии Пномпене налаживается нормальная жизнь. Недавно открылся первый кинотеатр. При режиме Пол Пота кино находилось под запретом; теперь, к неописуемой радости молодежи, в стране заново организован просмотр кинофильмов. На снимке: группа молодежи перед входом в пока единственный столичный кинотеатр.

(Газета «Морнинг стар»)

КУБА

«МОНИМБО — ЭТО НИКАРАГУА»

Так называется новый документальный фильм режиссера Фернандо Переса, премьера которого недавно состоялась в Гаване. Киноленту рассказывает о больших переменах в самых разных областях жизни, которые принесла никарагуанскому народу революция всего лишь за один месяц.

«Это великая привилегия,— сказал кинорежиссер в интервью корреспонденту газеты «Хувентуд ребельде»,— не только видеть, как рождается победа революции, но и запечатлеть ее средствами кинематографа. Во время поездки по Никарагуа членов нашей съемочной группы, в которую вошел известный кубинский кинооператор Иван Наполес, поразило участие почти всего народа, включая женщин и детей, в борьбе с тиранией. И вместе с тем нас потрясла беспримерная жестокость Национальной гвардии — «оплота диктатуры» Сомосы — в осуществлении политики геноцида.

Название фильма,— продолжал он,— символично. Монимбо — так называется один из кварталов города Масаи, жители которого вписали незабываемые страницы в историю многовековой героической борьбы никарагуанского народа за свободу и независимость. И одновременно это партизанское прозвище встреченной нами в рядах бойцов-сандинистов 20-летней девушки, сражавшейся против диктатуры Сомосы. А таких самоотверженных борцов, как она, в Никарагуа немало».

Ранее Ф. Перес приобрел известность документальным фильмом «Пусть ворвется ветер в мой город», посвященным бразильскому певцу Шико Буарке ди Оланда и привлекшим внимание кинокритики глубиной анализа политических и социальных проблем современной Бразилии (1978), а также кинолентой, посвященной Анголе (1976).

ПОЛЬША

СЪЕЗД ПЕРЕВОДЧИКОВ

2—10 октября 1979 года в Варшаве и Кракове происходил IV Международный съезд переводчиков польской литературы. Как и предыдущие съезды (1965, 1970, 1975 годы), он был организован польским Авторским агентством, которое постоянно следит за переводами, пропагандой и распространением польской литературы за рубежом и оказывает помощь переводчикам. На съезд приехали 100 переводчиков из 22 стран.

Съезд открыл председатель правления польского Авторского агентства Т. Маклакевич. С приветственной речью обратился к участникам съезда заместитель министра культуры и искусства ПНР В. Бек; он поблагодарил переводчиков за их работу, которая помогает людям разных стран лучше узнать и понять друг друга. От имени Международной федерации переводчиков выступил Д. Радо (Венгрия). Председатель польского Объединения авторов и сценических композиторов (ЗАиКС) К. Малцужиньский объявил о присуждении премий ЗАиКС зарубежным переводчикам польской литературы и польским переводчикам зарубежной литературы.

Лауреаты 1979 года — Н. Астафьева и В. Британишский (СССР), П. Балл (ГДР), Д. Джеруд (США), А. ван Кругтен (Бельгия), Х. Грущиньская-Дембская и Ю. Рогозиньский (Польша). Шестнадцати переводчикам из разных стран министерство культуры ПНР присвоило звание заслуженного деятеля культуры ПНР, среди них — Ю. Стадниченко и А. Эшпель (СССР).

На заседаниях съезда переводчики прослушали доклады польских критиков и филологов о польской поэзии (Я. Лукасевич и А. Васькевич), прозе (Х. Береза), драматургии (А. Гродзицкий), литературе факта, то есть репортаже, очерке, публицистике (Я. Рошко), об изменениях в лексике современного польского языка (М. Шимчак); творчеству Яна Кохановского (1980 год объявлен в Польше годом Кохановского) посвятил свой доклад Я. Пельц. Для переводчиков польской литературы были организованы встречи в пяти издательствах Варшавы и Кракова, участники съезда получили возможность посмотреть новые постановки польских театров.

Работу съезда освещали «Трибуна люду» и другие газеты, радио, телевидение.

На снимке: репродукция картины Веслава Гарболиньского «Ленин в Поронине».

(Альбом «Ленин в польской живописи»)

ЛЕНИН В ПОЛЬШЕ

Самые выдающиеся представители польского искусства посвятили свои произведения Владимиру Ильичу Ленину. Достаточно упомянуть Ксаверия Дуниковского, Збигнева Пронашко, Мариана Внука, Тадеуша Кулисевича. Особенно важные и интересные художественные открытия в разработке ленинской темы принадлежат живописцам. Двадцать четыре репродукции картин известных польских художников составляют альбом «Ленин в польской живописи», изданный в Кракове.

В представленных живописных работах подробно освещен период пребывания В. И. Ленина в Кракове и Поронине — это портреты и групповые сцены, пейзажи, изображающие места, связанные с жизнью Ленина в Польше. Несмотря на различие творческих манер художников, во всех работах просматривается общая тенденция, выражающаяся в стремлении к синтезу, к лаконичному и вместе с тем яркому раскрытию темы с помощью пластических средств. Образ В. И. Ленина в произведениях польских живописцев помимо огромного идейного значения получил сложную и тонкую психологическую трактовку. «Перед нами предстает глубокочеловечная личность, лишенная всякой выспренности и позы. Человечная — значит близкая и живая»,— пишет автор текста Ежи Мадейский.

«ТВОРЕНИЯ МАРИИ КУНЦЕВИЧ»

Под таким заголовком опубликована статья постоянного рецензента газеты «Жице Варшавы» Беаты Совинской, посвященная творчеству выдающейся польской писательницы Марии Кунцевич, которая отметила недавно свое восьмидесятилетие. «Ее произведения уже вошли в историю польской литературы, но это не означает, что творчество писательницы не продолжается дальше, оно вновь и вновь заявляет о себе новыми книгами, вызывающими всегда живой отклик среди читателей. Кунцевич,— пишет Беата Совинская,— занимает в нашей литературе особое место уже в межвоенные годы как одна из главных представительниц психологически бытового направления в польской литературе».

Наибольшим успехом в те годы пользовалась книга Марии Кунцевич «Иностранка». Прозаик, эссеистка, переводчица русской и англоязычной литературы, Мария Кунцевич необычайно плодотворна в своем творчестве. Прожив сложную и трудную жизнь (Кунцевич годы войны и первое послевоенное десятилетие провела в эмиграции во Франции, Англии, Соединенных Штатах), писательница сама говорит о себе: «Берясь за перо, я сама с собой дискутирую по некоторым вопросам, прежде чем их упорядочить». Ее послевоенные книги «Ключи», «Заговор отсутствующих», «Лесничий», «Тристан 46» получили широкую известность. В них писательница рассказывает о сложных судьбах поляков, оказавшихся в эмиграции, о

нравственном выборе, о долге, о любви к оставленной Родине.

Книга о трагической любви польского юноши и ирландской девушки «Тристан 46» вышла в русском переводе в издательстве «Прогресс». Без любви, пусть даже трагической, утверждает в этой книге писательница, трудно говорить о полноте жизни.

РУМЫНИЯ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ РЕПОРТАЖ

Бухарестский театр «МИК» начал новый сезон, по словам рецензента «Скынтейи» Миры Иосиф, «с программного и вместе с тем знаменательного выступления: премьеру спектакля по пьесе прозаика Фл. Нэстасе «Туман рассеивается» он показал зрителям в их «родном доме» — на заводе имени 23 августа».

В центре спектакля образ коммуниста Черни, на плечи которого ложится ответственная задача — выяснить подлинные причины трагической аварии на крупном металлургическом предприятии и спасти доброе имя и даже жизнь крупного ученого.

По оценке рецензента, спектакль «Туман рассеивается» — это драматический репортаж, насыщенный дыханием современности, привлекающий зрителя и интересным сюжетом, и глубиной нравственного поиска.

Успешно прошла премьера спектакля и в Национальном театре города Клуж-Напока. По словам режиссера Н. Скарлата, пьесу можно было бы назвать «портретом коммуниста в действии».

На снимке: актеры Леополдина Бэлэнуце и Николае Диникэ в спектакле «Туман рассеивается».

(Еженедельник «Ромыния литерарэ»)

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

ИЗДАНО В ЭР-РИЯДЕ

Журнал «Ад-Доха» поместил рецензию своего обозревателя Салиха ад-Дейрабани на две новые книги, изданные Литературным клубом саудовской столицы.

Первая из этих книг — сборник рассказов молодого писателя Абу аль-Азиза аль-Мушри под названием «Смерть в поисках воды». Вторая — литературоведческое исследование доктора Мухаммеда Бен Саада аш-Шувейира «Два аль-Хусри».

Рассказы аль-Мушри можно было бы назвать символическими зарисовками. Герои их бродят по пустыне в поисках воды, но безрезультатно. По мнению обозревателя, рассказы аль-Мушри выражают одиночество художника в обществе, «кризис эпохи, состоящий в физическом переселении из деревни в город без соответствующего ему духовного переселения».

Книга аш-Шувейира «Два аль-Хусри» посвящена двум выдающимся филологам и поэтам средневековья, носившим одинаковое родовое имя «аль-Хусри» и жившим в одном и том же городе — Кайруане. Вследствие этого их часто путают не только рядовые читатели, но и специалисты по арабской литературе, принимая их иногда за одного и того же человека.

На самом деле, как доказывает аш-Шувейир, один из аль-Хусри, полное имя которого Абуль-Хасан Али Абу аль-Гани аль-Хусри, был слепым поэтом, прославившимся своими стихами о Кайруане, другой же — Абу Исхак Ибрагим Ибн Али аль-Хусри — был преимущественно филологом, автором широкоизвестных трудов «Цвет литератур и плод сердец» и «Собрание драгоценных камней остроумия».

СИРИЯ

«ИСТОРИЯ РАНЕНОГО»

Союз арабских писателей в Дамаске издал книгу «История раненого» — единственный сборник рассказов одного из основоположников сирийской новеллистики покойного Фуада аш-Шаиба.

Первое издание этого сборника было опубликовано очень небольшим тиражом в 1944 году, но ни одного экземпляра сборника не сохранилось. Это побудило Союз арабских писателей подготовить новую публикацию сборника, который вышел под редакцией писателя Адиля Абу Шанаба. Рассказы Фуада аш-Шаиба посвящены в основном национально-освободительной борьбе сирийского народа.

США

«ЖИЗНЬ В ЛЕСУ»

Так озаглавлен новый сборник известной поэтессы Денизы Левертов (см. «ИЛ» № 10, 1972). Активно участвуя в демократическом движении, Левертов неизменно обращается к острослободневной гражданской тематике. В ее последней книге читатель найдет антивоенные стихи, вызванные воспоминаниями о трагедии Хиросимы произведения, посвященные судьбам и борьбе негритянской Америки. В поэзии Левертов возникают многие тревожные вопросы современности. Боль и заботы сегодняшнего мира неразрывно слиты с глубоко интимными переживаниями самого автора — так рождается сплав публицистичности и лиризма, отличающий все творчество Левертов, которая завоевала признание еще в середине 50-х годов.

Как и в прежних книгах, Левертов размышляет в своем сборнике о назначении поэзии и уроках выдающихся ее мастеров. Особый раздел составили стихотворения памяти Чезаре Павезе, некоторые из них написаны в форме обращений к матери рано ушедшего из жизни итальянского писателя. Стихи о своем детстве, которое прошло в Англии, Левертов также объединила в специальном разделе, самим его заглавием «Чехов на Уэст-Хит» подчеркнув ту огромную роль, которую в ее формировании сыграла русская культура.

Левертов — один из самых своеобразных мастеров свободного стиха в американской поэзии. Это подтвердили и вошедшие в книгу пейзажные стихотворения, а также цикл «Медитации для голоса соло», который, по характеристике автора, содержит «историю одной любви». В кратком предисловии к книге Левертов пишет, что в последние годы ее творчество направлялось двумя главными побуждениями. Во-первых, это потребность отступить от традиционных форм лирики и попытка освоить более широкие возможности. Во-вторых, это стремление избежать чрезмерной автобиографичности. Рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» Х. Сейдман, однако, находит, что лирика по-прежнему остается для Левертов наиболее органичной областью творчества, и отмечает «исключительную ясность и гармонию ее образного мышления».

ФИНЛЯНДИЯ

ЕЩЕ ОДНА ЖИЗНЬ СКАЗКИ

Финскую писательницу Туве Марику Янсон по праву называют одной из самых значительных сказочниц нашего времени. «Маленькие тролли и большое наводнение», «Прилетает комета», «Шляпа волшебника», «Мемуары папы Муми-тролля», «Опасное лето», «Волшебная зима», «Папа и море» — таков далеко не полный перечень книг Туве Янсон, завоевавших прочную известность как в Скандинавии, так и за ее пределами. Мастер слова и рисунка (писательница превосходно иллюстрирует свои произведения), Туве Янсон — лауреат многих отечественных и международных премий. В 1966 г. ей была присуждена «Нобелевская» премия сказочников — Международная золотая медаль Х. К. Андерсена.

На снимке: Муми-тролль — любимый персонаж Туве Янсон. Рисунок автора.

(Газета «Ланд ог фольк»)

Персонажи сказочных повестей Янсон, своеобразные существа, соединяющие в себе черты и животных и людей,—Муми-тролль из Долины муми-троллей, Муми-папа и Муми-мама, друзья Муми-тролля Снифф, Снусмумрик, фрёкен Снорк и другие — так же дороги и близки юным скандинавским читателям, как Пеппи Длинный Чулок и Малыш и Карлсон, который живет на крыше, созданные творческой фантазией Астрид Линдгрен. Тем приятнее отметить, что в Год ребенка маленькие телезрители Скандинавии получили возможность вновь окунуться в Муми-мир и встретиться со своими любимыми героями: на экраны вышла серия кукольных телеспектаклей, поставленных по мотивам повести-сказки Туве Янсон «Шляпа волшебника» (1949).

ФРАНЦИЯ

ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ

«Литературная жизнь эпохи в немалой степени формируется деятельностью литературных журналов. В

разнообразном и многостороннем обмене мнениями, в спорах, в идейной борьбе, отображенных на их страницах, вызревают главные направления литературы»,— пишет поэт и литературный критик Жан Марсенак в «Юманите» в статье «Перечитывать журналы», посвященной деятельности издательства Жана Мишеля Пляса. Давно исчезнувшие литературные журналы, бывшие в свое время ареной непримиримой борьбы старого и нового, косного и революционного в литературе, теперь снова стали доступны читателям благодаря работе Ж. М. Пляса и его сотрудников, которые разыскивают ставшие библиографической редкостью журналы и снова выпускают их в свет.

Среди наиболее значительных изданий этого рода Марсенак называет, например, двухтомник, в который вошли все номера журнала «Тропик», публиковавшегося в 1941—1945 годах на острове Мартиника Эме Сезером, Рене Менилем и их соратниками. «Тропик» неразрывно связан с Сопротивлением, с борьбой против вишистского режима и фашизма. Из номера в номер прослеживается активная работа журнала, помогавшего становлению национального своеобразия антильской литературы, опиравшегося на африканские истоки ее культуры, а также на французские культурные и политические традиции, воспринятые ею главным образом через творчество Бодлера, Рембо, Лотреамона, Аполлинера. Читая «Тропик», ясно видишь также и тот вклад, который в свою очередь внесла «творческая лаборатория» антильской литературы во французскую культуру. Марсенак отмечает также, что сегодня с продолжением развития традиций негритянского искусства можно познакомиться, читая специальный номер журнала «Эроп», посвященный современной литературе Бразилии.

Необычайно интересен и изданный Ж. М. Плясом сборник «Исследование поэзия», рассказывающий о двухстах пятидесяти литературных журналах, посвятивших свои страницы поэзии,— от самых известных до таких, названия которых многие читатели увидят впервые. Книга свидетельствует о том, какое большое место в литературе нашего времени занимает поэзия.

Следующим важным изданием Ж. М. Пляса будет комплект журнала «Коммюн», выходившего в период Народного фронта и принимавшего в эти решающие часы истории активное участие в борьбе французского народа против фашизма. Жан Марсенак подчеркивает актуальность переиздания «Коммюн».

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, М. Г. ФЕДОРОВ** (отв. секретарь), **К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Ж-17, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/XII 1979 г. А 00003. Подписано в печать 8/I 1980 г.
Бумага 70×108¹/₁₆=9 бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 30,70.

Тираж 480 000 экз. (1-й завод: 1 — 400 000 экз.) Зак. 4120.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 80 коп.

ИНДЕКС 70394